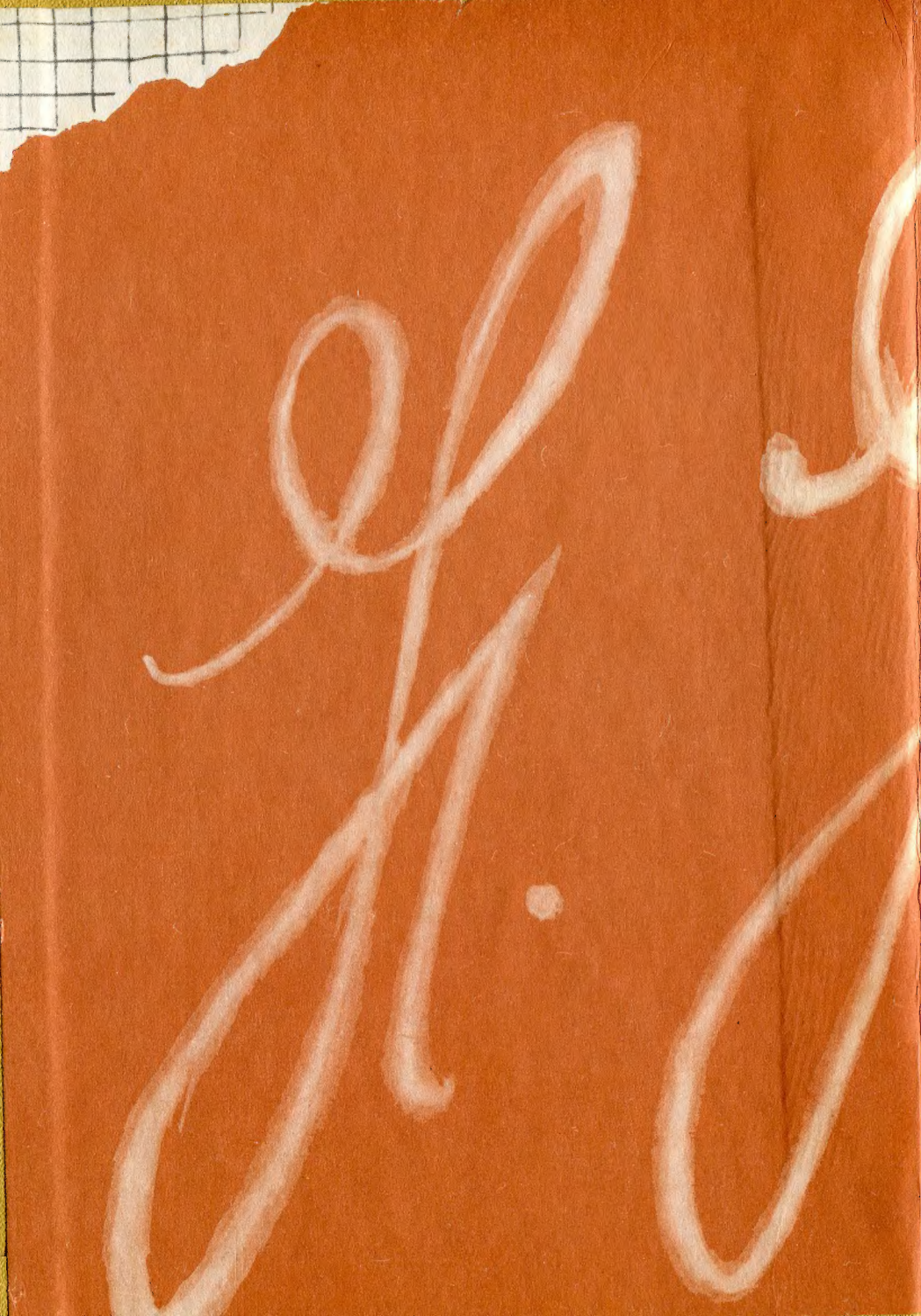
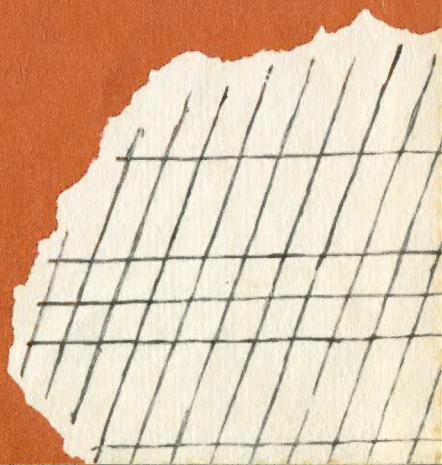


4 Николай Носов





Р
Роскош



Москва.
«Детская
литература»
1982.

НИКОЛАЙ

Н

О

2

Собрание сочинений
в четырёх томах

4

Майна на дне колодца.

ПОВЕСТЬ

Повесть о моём друге Мире.

О
В
Иронические
юморески

ТОМ

Н84

Р2

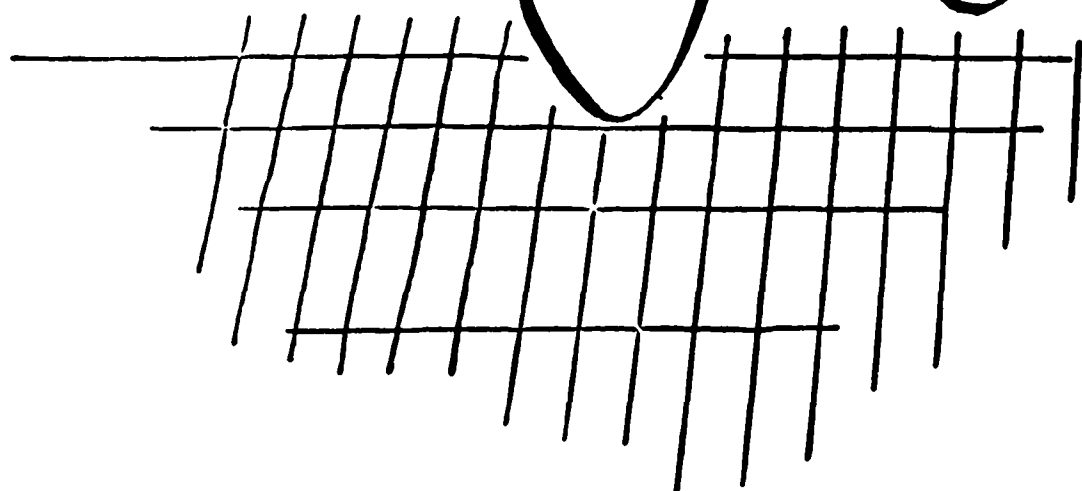
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

*Н. В. Свиридов, А. Г. Алексин,
С. П. Алексеев, А. А. Виноградов*

Н 4803010102—384 Подп. изд.
М101(03)82

© Состав. Оформление.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1982 г

Тайна на дне колодца



ПОВЕСТЬ



Часть первая

К СОЛНЦУ

Взрослые часто не понимают детей, потому что видят мир не таким, каким его видят дети. В окружающих предметах взрослые видят их назначение, видят то, чем эти предметы полезны для них. Дети же видят лицо вещей. Они не знают, откуда эти вещи явились, кто их сделал и сделал ли кто. Дети знают, что вещи существуют, что вещи живут, и относятся к вещам, как к живым существам.

Помню себя маленьким — четырехлетним, может быть, трехлетним. Вижу себя в окружении вещей, которые не только будят во мне какие-то мысли, но и действуют на мои чувства. Вот сутулый, с выдвинутыми вперед плечами, огромный, чуть ли не до потолка ростом, шкаф. Он стоит, подпирая своей

широкой, плоской спиной стену, погрузившись в какую-то свою глубокую, бесконечную думу. От него не много добьешься слов. Если он и произнесет что-нибудь на своем скрипучем, непонятном для меня языке, то лишь когда открывают дверцы, чтоб достать что-нибудь из одежды, хранящейся в его недрах.

По сравнению со шкафом буфет более легкомысленное и франтоватое существо. У него и цвет не такой серо-бурый, а с красноватым отливом. Верхние дверцы на его груди украшены деревянной резьбой, изображающей битых уток, подвешенных вниз головой. На нижних дверцах такие же резные изображения корзин, наполненных виноградными гроздьями. У него какая-то несуразная маленькая головка в виде полукруга с вырезанным по краям хитросплетением виноградных листьев, а на плечах торчат выточенные из дерева шпалеобразные фигуры, напоминающие собой что-то вроде двух огромных шахматных ферзей. Этот чудак буфет, наверно, воображает, что очень красиво, когда на плечах две такие нелепые штуковины.

Во всяком случае, он не такой задумчивый и не такой молчаливый, как шкаф. На его полках хранятся сахар, печенье, варенье в стеклянных банках (иногда даже конфеты!), соль, масло, хрен, перец, горчица, чай, кофе, какао, консервы, чашки, блюдца, стаканы, графины, бокалы, кофейная мельница (ее можно вертеть сколько угодно, когда никто не видит). В ящиках, которые выдвигаются из его живота, лежат ложки, вилки, ножи, салфетки и другие разные вещи. На нижних полках — стопы тарелок, розеток, соусницы, селедочницы, суповые миски, огромные блюда, медные подсвечники, чугунная ступка — в общем, вещи всё нужные, которые постоянно приходится доставать, отчего буфет то и дело говорливо скрипит, шипит, сипит, визжит, хрипит, крикает всеми своими дверцами и ящиками.

Словом, он существо хотя и нелепое, но вполне компанейское, чего не скажешь о креслах... Вот уж!.. В своих белых полотняных чехлах, из-под которых, точно из-под платьев, торчат только кончики ножек, они похожи на каких-то чопорных пожилых теток. Аккуратно протянув согнутые в локтях руки вдоль бедер с таким расчетом, чтоб была соблюдена строгая параллельность, они чинно сидят по углам комнаты, полуобернувшись друг к дружке, и молчат. Молчат напряженно, упрямо, сосредоточенно. Чувствуется, что им до зарезу хочется поговорить, посудачить о том о сем, да неохота показывать, что их могут интересовать такие пустяки, как праздные разговоры. Мне кажется, что, как только я уйду из комнаты, они сейчас же принимаются болтать о всякой всячине: их словно

прорывает от длительного молчания. Но стоит мне возвратиться — и они тотчас прикусывают язык, ручки тотчас — вдоль бедер, и опять тишина, будто никакого разговора и не было.

В их обществе я чувствую себя лишним, ненужным, стесняющим: чем-то вроде гвоздя в сапоге. Ни на минуту не оставляет мысль, что эти старые ханжи только и ждут, чтоб я поскорей выкатился за дверь и не мешал им изливать друг перед дружкой душу или перемывать косточки своим знакомым.

Диван, который стоит вдоль стены, тоже из их породы, но характер у него другой. Он смешит меня тем, что старается быть похожим на кресла. Пыжится, напускает на себя важность, а ничего не выходит. Ему и невдомек, что нет смысла выпячивать грудь и выставлать напоказ всем живот, которые до такой степени разрослись вширь, что уже ни на грудь, ни на живот непохожи. Не помогает ему и чехол, который он напялил на себя. Чехол до того широк, что уже потерял всякое сходство с платьем. А зачем ему платье? Он же мужчина! Диван, однако ж, не замечает всей смехотворности своего положения и, подражая креслам, тоже аккуратненько положил ручки вдоль бедер...

Но, может быть, он просто передразнивает кресла? Может быть, он подшучивает над ними? На самом деле его, может быть, распирает от смеха, и от этого он такой надутый? Как все толстяки, диван — добродушное существо, а все, у кого добродушный характер, любят пошутить, посмеяться. Только какой же смех может быть в присутствии этих чванливых кресел! Если мне случится попрыгать по дивану, он с удовольствием поскрипит пружинами, маскируя этими звуками свой смех. Таким образом, и сено цело и овцы сыты: и посмеялся чуточку и не разозлил никого. Ну, мы-то с диваном понимаем друг друга. Только мне, сказать по правде, не то что прыгать, но даже сидеть на нем, точно так же как и на креслах, нельзя: могу чехлы испачкать.

Да это не очень-то мне и нужно. Подумаешь! У меня больше дружбы со стульями. Хотя они тоже чем-то смахивают на людей (и ножки у них и спинки), но они не пыжаты из всех сил, стараясь изображать из себя каких-то недотрог. Словом, ребята они вполне свойские, с которыми можно, как говорится, запросто, без особенных церемоний.

А вот самая близкая для меня вещь в мире вещей — моя кровать. На ее плоских железных спинках, выкрашенных голубой краской, — две замечательные овальные картинки. На картинке, которая у меня в ногах и на которую обычно устремлен

мой взор, когда я лежу, изображены ветряная мельница, вдали — деревенские домики среди кудрявых лип и березок, а впереди — зеленая лужайка и поблескивающий на солнце ручей. Я люблю смотреть на этот «романтический» пейзаж... Вернее сказать, любил бы, если бы изготовители кровати не переусердствовали в своем стремлении усладить жизнь ребенка и не украсили верхушки обеих спинок литыми или штампованными из металла изображениями головы какого-то чудовищного старика, сплошь заросшего волнистыми змеевидными волосами, как у мифической Горгоны, при взгляде на которую люди, как известно, каменели от страха. Приоткрыв в какой-то издевательской усмешке черную дыру рта, заросшего вокруг кольцами бороды и усов, старик уставился на меня своими жесткими, неподвижными глазами, прячущимися в завихрениях косматых бровей.

Даже днем при взгляде на это, с позволения сказать, украшение меня охватывает неприятное, беспокойное чувство страха. Но днем я могу убежать от него в другую комнату, во двор и постараться выбросить его из головы. Но вот наступает ночь. Приходится ложиться спать. Я забираюсь в кровать, стараясь не глядеть в сторону пугающего меня изображения старика. Но не глядеть на него я не могу. Его лик словно притягивает к себе мои взоры. Я словно хочу разгадать, зачем он так настойчиво на меня смотрит, чего ему от меня надо, что он задумал против меня.

Гасят свет, и комната погружается во мрак, только окна, которые до этого были темные, даже черные, моментально становятся светлыми. Я гляжу на окно, на лицо окна. Верхняя часть оконной рамы — это лоб. Под ним две форточки — глаза (бывают и одноглазые). Нижние открывающиеся створки — щеки, между которыми длинный, от бровей до самого подбородка, нос. Рядом — другое такое же окно-лицо. Оба окна выжидательно глядят на меня, словно думают:

«Ну-ка, посмотрим, голубчик, что ты теперь будешь делать».

Мрак постепенно рассеивается, и я снова вижу страшного старика. В темноте вид у него еще более злобный. Я накрываюсь с головой одеялом и пытаюсь поскорее заснуть. Мое воображение разыгрывается. Мне чудится, что старик уже сошел со своего места и неслышно подкрадывается, чтобы схватить меня. Время идет. Никто меня не хватает. Наконец спасительный сон незаметно берет меня на руки и уносит в свое волшебное царство. Я вижу замечательные, фантастические, счастливые сны. Просыпаюсь утром в комнате, залитой

солнечным светом. Наскоро одевшись и бросив взгляд в сторону проклятого старика, я бегу во двор к цветам и деревьям, к траве, к солнцу, к небу, к радости. Народившийся новый день представляется мне нескончаемо длинным, и предстоящая очередная вечерняя встреча с мифическим стариком видится в таком отдаленном будущем, что уже не тревожит меня.

ВЕЛИКАН

Есть человек, которого я очень люблю. Это мой отец. Какой он? Я никогда не задавался этим вопросом и не берусь его описывать. Он такой как есть, каким должен быть и иным быть просто не может. Мне все нравится в нем: и лицо и голос. Он всегда ласков со мной и часто называет меня уменьшительными именами. Когда мы возвращаемся с прогулки и я шагаю из последних сил, чуть не падая от усталости, он подбадривает меня:

— Ну, шагай, Кока, шагай! Смотри, совсем немного до дома осталось. Ты у меня молодчина!

Единственное, что я могу сказать о нем, это то, что он очень большой. Его туфли, которые он любит называть в шутку «мои скороходы» (производства обувной фабрики «Скороход»), каждый раз приводят меня в изумление своей величиной, особенно когда я вижу их отдельно от него, то есть когда он снимает их. Иногда я пробую влезть в эти скороходы и походить в них. Несоизмеримость моих ног с этой гигантской обувью особенно сильно действует на мое воображение, и мой отец представляется мне каким-то фантастическим существом.

Мне нравится, когда мой добрый великан берет меня руками под мышки и поднимает над своей головой. Я вижу мир не таким, каким вижу его обычно, то есть с высоты своего ничтожного роста. Мне начинает казаться, что я тоже вдруг стал великаном, и все мое существо наполняется гордостью. Если же отцу вздумается подбросить меня кверху, я громко смеюсь, испытывая захватывающее чувство радости, смешанное со страхом. Но я люблю испытывать это чувство и прошу, чтоб он подбрасывал меня еще и еще.

Я не знаю, что делает мой великан на нашей планете: каково, так сказать, его жизненное поприще и чем он снискивает пропитание для себя и своей семьи. По моим представлениям, вся человеческая деятельность сводится к трем вещам: 1) бегать (можно ходить), 2) видеть и 3) есть, то есть потреблять

продукты питания. Откуда берутся продукты питания — это мне предстоит узнать в будущем, а пока я знаю лишь, что время от времени великан уезжает, и я не вижу его иногда по нескольку дней. Я скучаю по нем и спрашиваю мать:

— Когда папа приедет?

Если мать скажет: «Вечером» или «Завтра», это понятно мне. Вечером — это значит, когда кончится день. А завтра — это когда кончится день и пройдет еще ночь. Но если мать говорит: «Через пять дней», как это понять? Ведь я не умею еще считать.

— Это будет в воскресенье, объясняет мать, видя, что я не понимаю.

— А когда воскресенье? — задаю вопрос я.

— Воскресенье через пять дней.

— А сколько это пять дней?

Мать пытается наглядно объяснить мне значение этой числовой величины.

— Ну сколько у тебя на руке пальцев? — спрашивает она.

Я смотрю на свою руку с широко растопыренными пальцами и говорю:

— Много.

— У тебя пять пальцев, — говорит мать и, загибая один за другим пальцы на моей руке, считает: — Один день, два дня, три дня...

Наконец все пальцы загнуты, и я с недоумением смотрю на свою руку, стиснутую в кулак. Видя, что я ничего не понял, мать подводит меня к висящему на стене календарю.

— Сегодня какой день? Вторник, — говорит она и начинает загибать кверху один за другим листки. — Вот смотри: пройдет вторник, за ним среда, потом четверг, пятница, суббота... а вот видишь на листочке красная цифра — это и есть воскресенье. Мы будем каждый день отрывать по листочку, и, когда дойдем до этого листка с красной цифрой, приедет папа.

— У, это долго, если каждый день по листочку! — говорю я. — Давай оторвем все сразу.

Мать невольно улыбается и начинает объяснять мне, почему нельзя сразу, но я что-то не очень понимаю, какая может быть связь между этими бумажонками на стене и приездом отца.

Вечером, ложась спать, я долго обдумываю этот вопрос. Наутро встаю и, еще не одевшись, отрываю от календаря один за другим листочки, пока не появляется листок с красной цифрой.

— Вот, сегодня папа приедет, — говорю я матери, которая

застает меня за этим занятием, и показываю пальцем на красную цифру.

— Глупый! — говорит мать. — Я ведь тебе объяснила. Значит, ты ничего не понял! Один листок надо было оторвать.

— А если я хочу, чтоб папа приехал?

— Мало чего ты хочешь. Разве пройдут дни, оттого что ты оторвал листочки?

— Ну, я не знаю, как это там получается, — развожу я руками. — Может быть, и пройдут.

— «Может быть», «может быть»! — передразнивает меня мать. — Слушал бы, что говорят старшие. Давай одевайся.

Я начинаю натягивать чулки, которые вечно норовят вывернуться кверху пяткой. Мать поправляет чулок на моей ноге. То, что казалось мне трудным и сложным, так легко и просто получается у нее. Я люблю, когда мать помогает мне одеться. Сквозь чулок, даже сквозь ботинок, когда она завязывает шнурки, я чувствую тепло ее ласковых рук.

Через полчаса я сижу за столом на застекленной веранде и пью чай с молоком. За окнами на ярком солнышке мельтешат своими серебристыми листочками березы, порхают бабочки, жужжат суетливые мухи разных пород и калибров, плавно проносятся деловитые пчелы. Словом, вокруг много всякой живности: тут и глазастые голубые стрекозы с трепетными прозрачными крылышками, и мохнатые добродушные шмели, и злые полосатые осы. Для меня особенное удовольствие — увидеть стрекозу. А ос я боюсь. Мне кажется, что у них только и мысли, как бы залететь на веранду и ужалить меня.

Сквозь окна и открытую настежь дверь мне виден почти весь участок, на котором стоит наш дом. Перед самым домом — клумбы с цветами. Я уже знаю названия многих из них. Вот пахучие, пылающие, как огоньки, настурции. Словно озорные мальчишки, они карабкаются по толстым, кривым, узловатым стеблям, прячутся под большими круглыми листьями, похожими на зеленые зонтики. Вот маргаритки. Они как маленькие примерные девочки: чистенькие, аккуратненькие, немного застенчивые, стоят на своих тонких ножках и, склонив набок головки, о чем-то секретничают между собой. А вот анютины глазки — гордые красавицы. Разодевшись в яркие нарядные платья, они словно собрались на бал.

Но мои самые любимые — резеда: скромные, крошечные, неприметные цветочки с тонким, неповторимым, на всю жизнь запоминающимся запахом.

Если встать ночью, когда все спят, то на клумбах можно

увидеть гномиков, то есть маленьких человечков ростом с палец. Они приходят сюда из леса и нюхают резеду. Известно, что гномики ничего не едят и питаются запахом цветов. На головах у них красные остроконечные шапочки, а в руках — крошечные фонарики, которыми они освещают себе путь. Ночью мне надо спать, поэтому живых гномиков я пока не видал, но видал их на картинке, которую показывала мне мама.

Позади клумб — зеленая поляна, пестреющая беленькими ромашками, лиловыми колокольчиками, синими васильками и седыми, пушистоголовыми одуванчиками. За поляной — лес (десяток два молодых березок и ольх). Здесь живут мои милые подружки — безмятежно-спокойные, мечтательные фиалки и задумчиво-грустные ландыши (мне всегда ландыши почему-то кажутся грустными, может быть, потому, что выбирают места поединеннее, потемнее).

За лесом — лужайка, поросшая густым мхом и бледно-зелеными чешуйчатыми болотными хвощами (место здесь сыроватое). Дальше — серый, потемневший от времени деревянный забор с посаженными вдоль него запашистыми и липучими бальзаминовыми тополями. За забором — улица. Называется почему-то «Первая линия».

Наклонившись над блюдцем, я пью чай и болтаю под столом ногами. Хотя мне не раз твердили, что, сидя за столом, болтать ногами нельзя, я неизменно нарушаю это установление. Дело в том, что меня неудержимо тянет к движению, к перемещению в пространстве. Ноги мои хотят бегать. Но поскольку пить чай и бегать в одно и то же время нельзя, то ноги мои просто болтаются, изображая бег, а бегают вместо них глаза. Скользнув по поверхности стола, они выскакивают за дверь и бегут по посыпанной песком дорожке, которая ведет через весь участок к калитке...

И тут вдруг случается то, что никак не должно было случиться. Калитка неожиданно открывается, и в ней появляется мой великан. Я хочу крикнуть: «Папа приехал!» — но вместо этого от распирающей меня радости фыркаю прямо в блюдце, и весь чай с молоком выплескивается мне в лицо, попадая даже за уши. Выскочив из-за стола, я бегу по дорожке... нет, не бегу, а лечу над дорожкой, как шмель, как пчела... нет, как муха (мухи быстрее летают).

— Гоп!

С этим возгласом отец ловит меня, иначе я угодил бы ему головой прямо в живот. Минута — и я въезжаю в дом, сидя у него на плече.

— Вот! — торжественно объявляю я матери. — А ты говорила — глупый!

Отец рассказывает матери, что где-то что-то не то состоялось, не то не состоялось, поэтому он вернулся раньше, чем было намечено.

Мать рассказывает отцу про случай с календарем.

Весело хохочет отец. Спрашивает:

— Ты, может быть, думаешь, я на самом деле приехал, потому что ты календарь испортил? Это совпадение. Знаешь, что такое совпадение?

Он начинает объяснять мне, что такое совпадение. Я, конечно, не могу во всей полноте понять значение этого слова, но, когда впоследствии произошло еще одно совпадение, я уже знал, что это за штука такая, хотя кончилось в тот раз совпадение уже не радостью, а слезами.

НЕПОПРАВИМАЯ БЕДА

Встречаются люди, которые любят донимать детишек вопросами вроде: «Скажи, ты кого больше любишь, маму или папу?»

Они не понимают, что ребенку подчас трудно разобраться в своих чувствах, что ему к тому же не хочется обидеть мать или отца признанием, что он кого-то из них любит меньше. И невдомек этим людям, что любовь не какое-то однозначное, измеряемое лишь количественно чувство, где все решается вопросом: больше — меньше, сильнее — слабее. Они не думают, что по-разному чувство любви проявляется к матери или отцу, к брату или сестре, к близкому родственнику или просто знакомому человеку, что многое здесь зависит не только от человека, которого любят, но и от человека, который любит, от сложившихся взаимоотношений, обстоятельств и прочее.

Отца я вижу реже, чем мать, поэтому и чувства здесь, особенно при встречах, проявляются более бурно: отец схватит на руки, обнимет, поцелует... С матерью я обычно не разлучаюсь. Она всегда рядом или где-нибудь поблизости. Поэтому тут нет ни бурных встреч, ни объятий, ни поцелуев и нежных слов. Если мне и достаются иногда поцелуи, то только по праздникам, когда, по обычаю, полагается поздравить друг друга или когда я болею.

Вместе с тем вопрос, кого я больше люблю, кажется мне диким, непонятным, дурацким. Да кого же я могу любить больше матери? Да я разве люблю ее? Нет ничего, с чем можно

было бы сравнить мое чувство к ней. Она — моя ненаглядная. Без нее я не мыслю своего существования.

Помню: уже я в постели. Мать что-то делает, бесшумно передвигаясь по комнате. Кажется, она раскраивает материю, расстеленную на столе, собираясь что-то из нее шить. Чтоб разогнать сон, который уже давно одолевает меня, я напеваю какую-то сейчас уже позабытую песенку, а глаза мои неотступно следят за матерью.

— Почему ты не спишь? — спрашивает мать. — Пора уже спать.

— Еще не хочется, — говорю я.

И, конечно же, вру. Я бы должен сказать:

«Мне ужасно хочется спать, да ведь если я усну, то уже не буду видеть мою милую мамочку. Вот я и стараюсь наглядеться на тебя досыта, пока не одолел сон».

И тогда бы она сказала:

«Спи, родной! Завтра придет новый день, ты проснешься раненько и с утра можешь смотреть на свою ненаглядную. Смотри хоть весь день. Но тебе ведь скоро наскучит это, и ты убежишь гулять со своими друзьями... А когда вырастешь, тебе захочется повидать свет, и ты уедешь далеко-далеко. Вспомнишь ли ты тогда о своей мамочке? Приедешь ли хоть ненадолго повидаться с ней? Пришлешь ли о себе весточку?»

И я бы сказал:

«Я никогда не захочу расстаться с тобой, ненаглядная! А если поеду куда-нибудь, то и тебя заберу с собой. Мы всегда будем вместе».

И тогда она обняла бы меня и сказала:

«Ты будешь хороший сын! Ты будешь хороший человек! Всегда люби свою мамочку. Нет ничего на свете выше и святее этой любви!»

Ничего этого не было сказано, и я очень жалею о том, потому что теперь этого уже не скажешь.

Если мое чувство к отцу — это горный поток, который бурлит, и плещет, и бьется о берега, то чувство к матери — широкая, спокойно несущая свои воды река. Течения ее не замечаешь. Но если на пути этого спокойствия возникнет преграда, то получится... Ниагара!

Отец уезжает часто. Я уже привык к этому и переношу его отсутствие беспечно. Но однажды (сейчас уже не помню, по какой надобности) уехала мать. Великий боже, что происходило со мной! Дом опустел без нее, словно из него вынесли все и остались одни голые, чужие, холодные стены. Сердце

мое опустело и сжалось от боли. Солнце погасло на небе. Жизнь потеряла смысл. Слезы душили меня весь день. Более полувека прошло с тех пор, а я помню все, как будто это происходило вчера. На кухне Настя (домработница) стирает белье у раскрытого настежь окна, а я в изнеможении от слез лежу во дворе под окном на голой земле, подложив под голову старый, прохудившийся голубой эмалированный тазик, перевернув его кверху дном. Настя, стирая, поет во весь голос какую-то нескончаемую заунывную песню, а я рыдаю под эту песню и удивляюсь лишь одному: откуда во мне, таком маленьком, такая огромная боль, такая исполинская нечеловеческая тоска. Вот только не помню, чем все это кончилось. Не помню радости встречи с матерью. Наверно, я просто уснул, прижавшись разгоряченной щекой к холодному тазу.

Пусть говорят психологи и физиологи, что дети и старики часто плачут оттого просто, что очень слезливы, оттого, дескать, что слезные железы у них легко выделяют влагу. Я-то знаю, что это не так! Они плачут потому, что у них еще нет (или уже нет) сил справляться с чувствами, которые внушает им эта непонятная и неумолимая жизнь. Страдание от этого не уменьшается, а лишь увеличивается.

Я уже знаю, что мы живем в Ирпене. А Ирпень — это железнодорожная станция в двадцати пяти километрах от Киева по теперешнему счету (раньше считали на версты). Местность здесь красивейшая: есть лес и река, поэтому у многих киевлян в Ирпене дачи. Но мы, как и другие ирпенские жители, живем здесь постоянно, то есть и лето и зиму.

За забором, вдоль которого тянется дорожка от нашего дома к калитке, — дача Капийковских. Дом Капийковских — словно средневековый замок: с какими-то затейливыми террасками, балкончиками, мезонинчиками, островерхими башенками со шпилями и слуховыми окнами на крышах. Наш маленький беленький домик с зеленой двускатной крышей, без всяких прикрас, кажется чересчур простеньким и даже бедным по сравнению с этим роскошным «замком», но, если бы мне предложили, я бы не согласился поменяться с Капийковскими домами, потому что наш дом — родной, а дом Капийковского для меня чужой. Мне в нем было бы скучно и неудобно, я чувствовал бы себя стесненно, как в присутствии чужого, несимпатичного мне человека.

Усадьба Капийковских обжитая, ухоженная; вся в прудах с бетонированными берегами и прозрачной водой, сквозь которую хорошо видны плавающие рыбы. Вокруг растут яблони,

груши, сливы, вишни, а из бесполезных, то есть не плодовых, деревьев — акации.

Позади усадьбы Капийковских в просветах между деревьями видна железнодорожная насыпь. С крыльца нашего дома мне хорошо видно, как по железной дороге проносятся поезда. Для меня большое удовольствие увидеть поезд. А самое радостное событие — это когда мне дарят на праздник игрушечный паровозик с вагончиками. Жаль только, что в этом игрушечном железнодорожном составе всего лишь два вагончика. Но у меня план: когда-нибудь мне подарят еще паровозик с двумя вагончиками, я прицеплю все вагончики к одному паровозу, и получится как настоящий поезд.

Этому плану, однако, не суждено осуществиться. И не потому вовсе, что мне не дарят больше игрушечных поездов. Мне дарят, но они у меня не живут почему-то. Я их вечно ломаю, и к тому времени, когда мне дарят новый железнодорожный состав, от старого остается лишь одно воспоминание. Конечно, я не просто ломаю игрушки с целью уничтожения. Я их разбираю на отдельные детали, после чего собираю эти детали вместе, потом опять разбираю и опять собираю. И так до тех пор, пока не обломаются железки, с помощью которых детали держатся друг за дружку, после чего их уже не соединишь и остается лишь выбросить. Я, конечно, понимаю, к чему ведет это разбирание и собирание, но у меня какие-то непослушные руки. Я никак не могу заставить их не делать того, что им хочется.

Но вот наконец я снова (уже в который раз) счастливый обладатель любимой моей игрушки. Я лежу посреди комнаты и вожу по полу паровозик с прицепленными к нему двумя вагончиками. Когда лежишь, паровозик с вагончиками видны не сверху, а сбоку и выглядят совсем как 진짜 поезд. Мать примеривает перед зеркалом новую блузку или платье (сегодня какой-то праздник, мы ждем гостей или сами собираемся к кому-то в гости, сейчас уже не помню точно). Я как зачарованный смотрю на свой поезд и думаю о том, что теперь уж ни за что не стану ломать игрушку; а когда мне подарят еще такую же, вагонов станет вдвое больше и поезд будет длинней, а потом мне подарят еще — поезд станет еще длинней. Он растет у меня на глазах. Я уже вижу, как он мчится по стальным рельсам через поля и леса. Машинист в своей будке поворачивает рычаг, чтоб увеличить скорость, кочегар бросает лопатой черный уголь в паровозную топку. Сизый дым валит из паровозной трубы. Белый пар с шипением вырывается из-

под колес. Веселые пассажиры выглядывают в окна вагонов и машут мне руками. Слышен паровозный гудок. Гремят по рельсам колеса...

Кррак!

Мать отошла от зеркала, сделав шаг назад, и наступила ногой на поезд. Весь состав — и паровоз и вагончики — оказался сплюснутым в лепешку. Колеса отломались. Одно из них покатилося по полу далеко в сторону.

Я обомлел при виде такой катастрофы.

— Вот ты вечно бросаешь на полу свои игрушки! — с укоризной сказала мать. — Я и не заметила, что здесь твой поезд.

Только тут я понял всю непоправимость случившегося, и слезы брызнули из моих глаз.

— Ну, не реви, не реви. Я скажу папе, чтоб купил новый.

Да! Это еще жди, чтоб купил! И потом: когда купит новый, не будет старого, и опять состав получится только из двух вагончиков. Надо же было случиться такому как раз тогда, когда я дал себе клятву беречь игрушку, не ломать ее! Я еще громче заплакал. Ведь погиб не просто паровозик с двумя вагончиками. Погибла мечта собрать побольше вагонов, чтоб вышел настоящий железнодорожный состав.

— Вот ревет! — теряя терпение, сказала мать. — Небось если бы мать умерла, не плакал бы так.

Услышав это, я начинаю рыдать с удвоенной силой. Новое горе сдавило грудь. Ах, милая мамочка, зачем ты сказала такие слова! Теперь меня неотвязно будет преследовать мысль, что ты вдруг умрешь и я никогда-никогда не увижу свою ненаглядную.

— Ишь что делается! — качает головой мать. — И все это из-за какого-то паровозика! Из-за пустой игрушки!

«Нет! Не из-за игрушки! — хочется крикнуть мне. — Как ты могла подумать, что какая-то игрушка мне дороже тебя! Пусть соберут все игрушки со всего света, разве я возьму их, если для этого нужно будет расстаться с тобой? Что мне весь мир без тебя!»

Мать иронически усмехается, и я чувствую, что она даже не знает, какую рану нанесла моей душе. Рана эта не заживет никогда.

ЗАЧЕМ Я ЭТО СДЕЛАЛ!

А вообще-то я не один. Нас двое. Я и мой старший брат. Он старше меня на полтора года и представляет собой самостоятельную жизненную единицу, способную проявлять свою волю, принимать и отменять собственные решения, знающую, что, где, как и когда надо делать. Я же при нем нечто вроде тени, отбрасываемой в солнечный день предметом. Иными словами, я делаю то, что делает он, и бегу вслед за ним, если ему вдруг вздумается куда-нибудь бежать.

Вот мы вдвоем играем во дворе, отбивая палками штукатурку от стены нашего дома. Зачем нужно отбивать штукатурку да еще от собственного дома, я не знаю, но меня занимает этот процесс, в результате которого из-под осыпающейся известки все больше обнажается деревянная стенка, обитая дранкой. Может быть, в этом действии проявляется познавательный инстинкт (интересно узнать, что там, под штукатуркой, и из чего сделан дом). Удовлетворение же инстинкта, как известно, всегда сопровождается переживанием положительной эмоции, то есть, попросту говоря, доставляет удовольствие.

Но вот брату наскучивает это занятие. Он закидывает палку на крышу дома и, не сказав ни слова, бросается куда-то бежать. Я тоже кидаю палку на крышу. Но палка не долетает до крыши, а, ударившись о стенку дома, отскакивает и летит прямо в меня. Повернувшись, я удираю от палки, но она догоняет меня и стучит по спине. Не обращая на это особенного внимания, я бегу вслед за братом, путаясь ногами в высокой траве.

Нужно сказать, что мой брат — особенный человек. Он не любит бегать или ходить по дорожкам. Если уж он бежит, то бежит по прямой линии: трава так трава, лужа так лужа, грязь так грязь...

Преодолев травяные пампасы, мы мчимся через лесной массив, причем брат попутно сбивает ногами шляпки с попадающихся поганок и мухоморов, после чего преодолеваем болотистую местность, заросшую густым мхом, в котором буквально тонут ноги, и оказываемся перед забором. Брат и тут не сворачивает в сторону, чтобы выйти на улицу через калитку. Он лезет прямо через забор. Я лезу за ним, хотя поначалу препятствие это мне кажется неодолимым. Загнав под ногти пару заноз и оцарапав ногу, я взбираюсь на вершину забора, откуда прыгаю уже с другой стороны, но, не удержавшись на

ногах, падаю. Ничего! Достижение все же есть. Я тоже могу лазить через заборы!

Брат между тем бежит дальше. Поднявшись, я бегу за ним. На пути канава. Брат с разгона ловко взвивается в воздух — вот он уже на другом берегу канавы. Я тоже взвиваюсь в воздух и плюхаюсь точно посредине канавы, увязая по пояс в грязной, рыжевато-желтой воде. Цепляясь руками за траву, растущую по берегам канавы, я выкарабкиваюсь из засасывающей меня трясины и бегу, стараясь догнать брата, который уже далеко впереди.

Наконец мы у цели нашего путешествия. Обогнув усадьбу Капийковского с обратной стороны, мы оказываемся на берегу болота, тянущегося вдоль подножия железнодорожной насыпи. Над спокойной поверхностью болотной воды, затянутой местами ряской, возвышаются зеленые кочки и островки с растущими на них тонконогими, худосочными березками и ольхами. У некоторых деревьев стволы торчат прямо из воды. Берега болота усеяны голубоглазыми незабудками. Я уже давно заметил, что эти миленькие цветочки любят сырые места.

Однако не незабудки влекут сюда брата, а нечто иное: лягушки. Их тут полно. Настоящее лягушиное царство. Брат очень ловко умеет справляться с ними. Зажав пойманную лягушку в кулаке, он высоко поднимает руку кверху и с силой бросает лягушку на землю. Бац! Лягушка остается лежать без движения.

Не знаю, сам ли он придумал этот фокус с лягушками или видел, как это делали другие ребята, но я с завистью смотрю на его лягушачьи подвиги. Мне тоже хочется поймать хоть одну лягушку, но для этого у меня не хватает ловкости. Не успею я подбежать к высунувшейся из воды лягушке, как она тут же ныряет обратно под воду и прячется от меня в тине.

Постепенно мне становится ясно, что моя тактика не годится. Надо не бегать от лягушки к лягушке, а спокойно сидеть на берегу и, как только поблизости из-под воды высунется лягушка, тут же хватать ее.

Я приседаю на корточки у края болота и терпеливо жду. Скоро мое терпение вознаграждается. Прямо передо мной над поверхностью воды появляется лягушачья голова с выпученными, глядящими прямо в небо глазами. Я уже готов протянуть руку, но медлю, боясь спугнуть добычу. В это время лягушка начинает энергично шевелить под водой лапами, поворачивается головой прямо к солнцу и, зажмурив глаза, громко говорит:

«Квак!»

Тут-то я и схватил ее. Какое счастье! Все-таки я своего добился. Взмах руки. Бац! Лягушка остается на земле без движения.

Осуществилась моя мечта... Но что это? Какое-то неприятное чувство овладевает мной. Я уже не ощущаю почему-то прилива счастья, которое только что охватывало меня.

Если бы я был способен в те годы формулировать свои мысли, то, наверно, выразил бы их в таких простых словах: «Зачем я это сделал?»

Впоследствии, как в детстве, так и уже будучи взрослым, я не раз убеждался, что мы часто сами не знаем, в чем наше благо. Нам кажутся заманчивыми такие вещи, которых мы не стали бы делать, если бы знали, какие чувства будем испытывать, после того как наше стремление осуществится. Но ведь чтобы испытать эти чувства, надо, чтоб стремления осуществились, чтобы дело уже было сделано, чтобы слова, которых уже не вернешь, были сказаны...

У брата между тем новая идея.

— У тебя, кажется, есть денежки? — говорит он и, сунув руку ко мне в карман, достает два или три медных кружочка с выбитыми на них непонятными для меня обозначениями и буквами.

Такие кружочки, независимо от их размеров, носят у меня название денежек или копеек, но в чем назначение этих денежек, я не знаю. По моим представлениям, это предметы скучные и никакой ценности не представляющие. По сравнению с ними пуговицы куда полезнее и интереснее: их можно к чему-нибудь пришить, а многие из них даже очень красивы.

Зажав в кулаке монетки и не сказав ни слова, брат начинает бежать. Я, разумеется, бегу за ним. На этот раз цель нашего бега — бакалейная лавочка немца Шеккера на соседней улице. Прибежав в лавочку, брат протягивает стоящему за стойкой Шеккеру зажатые в кулаке монетки и просит дать ему сдобных булочек, именуемых в просторечии плюшками. Бросив полученные монетки в ящик под стойкой, Шеккер заворачивает в розовую бумажку несколько булочек и отдает брату.

Выйдя из лавочки и усевшись неподалеку на пустыре под большим дубом, мы начинаем уплетать с аппетитом плюшки, которые после продолжительной беготни на чистом воздухе кажутся особенно вкусными. Меня, однако, интересует вопрос, зачем брат отдал Шеккеру монетки, и я спрашиваю его об этом.

— Что ж ты хотел, чтоб он дал нам плюшки без денег? Он не дурак, — отвечает брат.

— А если б ты ему не отдал копеечки, он бы не дал тебе плюшки? — спрашиваю я.

— Какой же дурак станет давать тебе плюшки даром? — отвечает брат.

— А зачем Шеккеру деньги? — недоумеваю я.

— Ты дурак, — говорит брат. — Деньги каждому дураку нужны, потому что каждый дурак может купить за деньги, что ему надо.

Постепенно мне становится ясно, что никакой дурак ни-какому дураку ничего не даст, если тот ему не даст взамен денег. Это была для меня новость. Открытие! Я начинаю понимать, что эти скучные кружочки, которые я ни во что не ставил, имеют какое-то магическое свойство, в силу которого их можно обменять на все, что тебе захочется.

В это время я замечаю, что брат, не доев булочку до конца, бросает оставшийся кусочек в траву и принимается за другую. Меня удивляет, как можно выбрасывать такую вкусную вещь, и я спрашиваю брата, зачем он это делает. Брат объясняет, что он брал руками лягушек, а теперь, чтоб не испоганить всю булочку, держит ее за кончик и, когда булочку съест, этот кончик выбрасывает.

Опять что-то такое, чего не понимаю я. Лишь впоследствии я понял, что у меня тогда еще не было чувства брезгливости. Ведь брезгливость, как и стыдливость, не заложена в человеке от природы, а воспитывается обществом (животные обходятся без этих чувств). В то время я не считал лягушку чем-то гадким, омерзительным, скверным, и разговор с братом лишь напомнил мне о той, о моей лягушке, которая, вытянув задние лапки и раскинув передние, словно ручки, осталась среди незабудок на берегу.

Почему-то события этого дня запомнились мне во всей их последовательности. Безусловно, потому, что я узнавал каждый раз что-то новое, важное для себя и испытывал сильные чувства. Со временем и у меня появилось чувство брезгливости и отвращения к лягушкам. Мне приходилось делать над собой усилие, чтоб взять в руки лягушку, ящерицу или тритона. Но я никогда больше не делал этим животным зла. Даже когда стал взрослым.

Теперь, вспоминая те времена, я не удивляюсь тому, что чего-то не знал, но удивляюсь мыслям, которые приходили мне в голову. А беспокоила меня тогда ужасно мысль: каким человеком я вырасту, если все время буду бегать хвостом за Павлушкой, то есть за братом, и делать все, как он. Я боялся,

что из меня получится какой-нибудь никудышный, безвольный, несамостоятельный, бесхарактерный человек, неспособный принять какое-нибудь решение и осуществить его, человек, которому постоянно нужна будет нянька.

И мне ужасно хотелось сделать что-нибудь вполне самостоятельное, чтоб можно было сказать:

«Это я сам!»

ПРИГОВОРЕННЫЙ К КАЗНИ

В наш механизированный век детям рассказывает сказки машина, называемая телевизором. В дни моего детства таких машин не было, и детям рассказывали сказки ближайшие родственники, чаще всего дед или бабка или какая-нибудь прижившаяся в семье старушка нянюшка. В нашей семье не было ни дедки, ни бабки, ни прижившейся нянюшки, а сказки рассказывал отец. И, нужно сказать, хорошо умел это делать. Мы с братом, бывало, чуть вечер — просим его рассказать сказочку. Он долго отнекивается (так уж принято), говоря, что уже все рассказал и никаких новых сказок не знает. Но мы ведь и не просим новых. Мы согласны слушать старые, уже слышанные по пятьдесят раз сказки, чтоб еще раз пережить испытанные нами чувства.

Сказки эти — самые распространенные, ходовые русские народные сказки, которые действительно можно слушать по многу раз, и не надоеет. Среди самых любимых сказок — «Кот, петух и лиса», в которой коварная лиса хитро выманивает из дому глупого петуха: «Петушок, петушок, золотой гребешок, маслена головушка, шелкова бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку». И петух — дурень такой! — поддавшись на лесть, выглядывает в окошко, лиса тут же хватает его, после чего петух начинает призывать на помощь своего друга кота, ушедшего на охоту: «Котик, братик, выручи меня! Несет меня лиса за темные леса, за высокие горы, в глубокую нору». Услышав эти призывы, кот бросается на выручку и спасает петуха, предупреждая, что в следующий раз он уйдет далеко и не сможет услышать его крик, поэтому не надо поддаваться на уговоры лисы. Но простоватый петух все же каждый раз делал не так, как советовал ему кот. Конечно, он поступал глупо, непоследовательно, но я его понимал, этого петуха: бывает, и не хочешь чего-нибудь сделать, а вот возьмешь и сделаешь; и помнишь, что тебе двадцать раз твердили: нельзя, нельзя,

нельзя, а тебя словно под руку кто-то толкает. Было в натуре этого петуха что-то детское, доступное чувствам ребенка.

Умиляла в этой сказочке трогательная дружба кота с петухом и то постоянство, с которым кот приходил каждый раз на выручку своему незадачливому другу, ничего, впрочем, от него не получая взамен.

Нравились также сказка про волка и лису, в которой лиса подучила волка сунуть хвост в прорубь, чтоб наловить рыбы. Вот волк-простофиля опустил хвост в прорубь, вода в проруби замерзает, а лисица приговаривает: «Мерзни, мерзни, волчий хвост». Волк спрашивает: «Что ты, кумушка, говоришь?» — «А я говорю, ловись, рыбка, большая и маленькая». От сказки этой оставалось все же какое-то болезненное, неприятное чувство. Хвост у волка примерзал ко льду, прибежали мужики, начинали колотить волка, волк отрывал хвост и убегал. Жалко было волка. Думалось: ему ведь без хвоста больно!

Самая страшная сказка была про медведя на липовой ноге. О том, как повадился медведь на пасеку к мужику мед воровать, а мужик выскочил с топором. Медведь — удирать, а мужик бросил топор и отрубил медведю ногу. Баба стала варить мясо от этой медвежьей ноги, шерсть ободрала и стала прясть. А медведь решил отомстить. Сделал себе деревянную ногу из липы и березовую клюку, ночью пошел в деревню. Идет и приговаривает: «Скирлы, скирлы, скирлы, на липовой ноге, на березовой клюке. Все по селам спят, по деревням спят, одна баба не спит — мою шерстку прядет, мое мясо варит...»

Как только отец начинал страшным голосом это «скирлы, скирлы», мы с братом залезали с головой под одеяло и тряслись от страха, и все же каждый раз просили рассказать эту сказку.

Но самое неизгладимое впечатление произвела на меня сказка «Мальчик с пальчик», которая рассказывалась в таком варианте. Жили муж и жена. И у них было много детей. Самый маленький был мальчик с пальчик. Муж и жена были небогатые, а скоро и совсем обеднели. И вот однажды вечером муж говорит жене: «Давай заведем наших детей в лес да там и оставим. Все равно у нас уже нет денег, и кормить их нечем будет». Так они и решили. А мальчик с пальчик в это время не спал и все слышал. На следующий день он набрал полные карманы камешков, а когда отец повел его вместе со всеми братьями в лес, как будто на прогулку, он тайком бросал из кармана по одному камешку на землю. Вот отец отвел их в самую гущу леса да там и бросил, сказав: «Вы тут погуляйте, а я пойду поищу грибов». Ребята играли, играли, а отца все

нет и нет. Видят, уже и вечер скоро наступит. Все стали плакать. А мальчик с пальчик: «Не плачьте, я найду дорогу домой». И вот он по тем камешкам, которые бросал, когда по лесу шли, нашел дорогу домой. Пришли братья из леса, а войти в дом боятся. Стоят под окном и слушают, как отец с матерью разговаривают. Оказалось, что приехал брат отца и привез им много денег, и теперь они жалеют, что отвели своих детей в лес. Мать говорит, что надо идти искать их, а отец отвечает, что их все равно уже растерзали, наверно, хищные звери. Отец и мать начали плакать, а мальчик с пальчик и братья бросились поскорей домой. «А вот и мы!» — говорят. Все были рады. И стали жить-поживать да добра наживать.

С тех пор как я услышал эту сказку впервые, в моей душе поселилась тревога. Я только и думал о том, что родители мои обеднеют и отведут нас с братом в лес на растерзание диким зверям. Я, правда, не высказывал никому своих опасений, но мысли эти не покидали меня. Может быть, я был излишне впечатлительным ребенком. Может быть, я был в таком возрасте, когда еще рано слушать подобного рода сказки. А то ведь бывают сказочки и похлеще этой. Про бабу-ягу, например, которая варила детишек в огромном котле или сажала их на лопату — да в печь. Малый ребенок еще не понимает, что здесь к чему, где здесь правда, где ложь, и что у него в голове там творится, взрослым и невдомек. Они знай себе рассказывают свои сказочки, не задумываясь, какие мысли это внушает ребенку.

Один веселенький случай произошел со мной в таком возрасте, хотя и не на сказочной почве, но это как раз то, о чем к месту здесь рассказать.

В этот день отец был дома, а у нас почему-то был мальчик лет четырнадцати, которого я ни до того, ни после того ни разу не видел. Кажется, он приехал откуда-то к нашим соседям, а зачем пришел к нам, это было мне неизвестно. Звали его Тадеуш. Он был поляк и не совсем правильно говорил по-русски; то есть он говорил довольно чисто, без акцента, но некоторые слова он забывал или путал. Отец и этот Тадеуш что-то мастерили; сейчас, хоть убей, я не могу вспомнить, что именно, но то, что они делали, было для меня до чрезвычайности интересно. В ход были пущены и пила, и топор, и нож, и молоток, и напильник. Мне нравилось, что отец разговаривает с Тадеушем, как с равным, советуется с ним, что и как лучше сделать. И сам Тадеуш мне нравился. Он был стройный, красивый мальчик и очень увлечен был тем, что делал. У них что-то не

ладилось. Отец обстругивал ножом какие-то палки, потом сказал, что нож тупой. За нож взялся Тадеуш. Я, положив локти на стол и подперев подбородок руками, как зачарованный следил за всеми их действиями и с нетерпением ждал, что же из всего этого в конце концов выйдет. Воображение мое рисовало нечто доселе невиданное, фантастическое.

И, как бы пробуждаясь от своих грез и возвращаясь к нашей странной действительности, я слышу фразу, которую ни с того ни с сего вдруг произносит Тадеуш.

— Его, — говорит, — надо зарезать.

Ужас обуял меня. Я решил, что он предлагает зарезать меня. Ведь, кроме меня и их двоих, в комнате никого не было. Если бы Тадеуш имел в виду отца, он сказал бы: «Вас надо зарезать»; если бы он имел в виду себя, то сказал бы: «Меня надо зарезать»; но он сказал: «Его надо зарезать», а в третьем лице можно было говорить лишь обо мне в сложившейся ситуации. Что такое «зарезать», я уже знал тогда. Бывало, зарежут курицу или петуха — и в суп... Первой моей мыслью было спастись бегством, но, к своему удивлению, я не мог пошевелить ни ногой, ни рукой; даже пальцем не мог шевельнуть. Я словно окаменел. Нет! Это неправильное сравнение. Камень тяжелый, а у меня было такое впечатление, будто все мое тело онемело и потеряло вес. Мне казалось, что если из-под меня вытащить стул, я так бы и остался сидеть, повиснув в воздухе без всякой опоры.

— Ты хочешь сказать «наточить»? — словно сквозь сон, услышал я голос отца.

— Да, наточить, — смущенно махнув рукой, в которой держал нож, ответил Тадеуш.

— У нас нет бруска, но можно поточить о кирпич, — ответил отец.

Жизнь постепенно возвращалась ко мне. Я начал понимать, что парень просто ошибся из-за недостаточного знания русского языка и, вместо того чтоб сказать «наточить», сказал «зарезать». Испуг, перехвативший мое дыхание, понемножечку проходил. Я уже мог свободно дышать, шевелить пальцами и потихоньку болтать под столом ногами. Все это произошло в несколько секунд, может быть даже за одну секунду, но мне показалось, что протекла вечность.

Так в течение какой-нибудь ничтожной секунды я пережил чувства приговоренного к смертной казни и испытал радость помилованного.

Многие ли могут о себе это сказать?

СЧАСТЬЕ

Спросите любого взрослого, что такое счастье, и вы увидите, как трудно ему будет ответить на этот вопрос. Я же хотя и не взрослый, но без всякого затруднения скажу, что счастье — это когда у нашей кошки Мурки появляются маленькие котята.

Вытянувшись во всю длину и повернувшись на бок так, чтоб котят было удобно сосать молоко, Мурка лежит под крыльцом на куче ветоши, из которой она устроила для котят гнездо. У нее такой спокойный, удовлетворенный вид! Глаза ее светятся счастьем, я бы даже сказал — блаженством. Видно, что она очень довольна тем, что у нее есть маленькие котята и ей можно заботиться о них.

Если взять одного котеночка и отодрать его от живота Мурки, она ласково скажет:

«Мур-р!»

И лизнет вашу руку, как бы в благодарность за то, что вы приласкали ее детеныша.

Котята с таким усердием, с таким наслаждением, я бы даже сказал, с таким упоением сосут молоко, припав к животу матери, что не возникает никакого сомнения в том, что они тоже счастливы.

И если человеческое счастье заключается в том, чтобы видеть счастливыми тех, кого любишь, то я очень счастливый человек, так как очень люблю этих милых, симпатичных зверьков и могу любоваться ими, когда мне вздумается.

Одного любования, впрочем, ребенку мало, так как ему из всего хочется устроить игру. Мой старший брат (очень изобретательный человек) придумывает эксперимент: взять у кошки одного котенка, положить подальше в траву и посмотреть, что она станет делать. Кошка тотчас же вскакивает, подбегает к котенку, и, баяюшки, что она делает! Она хватает его прямо зубами и тащит обратно в свое логово. Меня прямо передергивает от страха. Ведь котенку, наверно, больно, думаю я. Мне уже известно, какие острые у кошки и зубы и когти. Я внимательно осматриваю котенка, но не замечаю на его теле никаких следов кошачьих зубов. Видать, кошка умеет очень осторожно брать котенка зубами и не причиняет ему вреда.

В дальнейшем опыты усложняются. Мы с братом прячем от кошки в траву всех котят и наблюдаем, как она переносит в зубах по одному котенку обратно в гнездо. Потом прячем котят подальше за домом. Но где бы мы их ни прятали, кошка обязательно находит их и водворяет на место. Наверно, если бы у нас

с братом не было других дел, мы уморили бы котят голодной смертью, так как кошке некогда было бы их кормить.

Сказать по правде, мне по временам становится жалко Мурку, глядя, сколько ей приходится переносить забот и трудов, но я стараюсь заглушить в себе чувство жалости. Во-первых, надо же как-то играть, а во-вторых, брат старше и лучше знает, что, как, когда и в каких случаях надо делать.

Дни между тем идут. Котята подрастают. У них прорезаются глаза, да такие большие, красивые. Котята начинают играть между собой. Борются, бегают друг за дружкой. А то какой-нибудь котенок спрячется за спину матери, а потом выскочит, как из засады, на кого-нибудь из своих братьев. Кошка с удовлетворением наблюдает за их игрой и ничуть не сердится, когда кто-нибудь из котят вздумает вскарабкаться ей на спину.

Этой безмятежной идиллии наступает конец, когда появляемся мы с братом. В руках у нас довольно большой, сколоченный из толстых сосновых досок ящик из-под гвоздей. Он напоминает собой те ящики, в которых высаживают на балконах цветы, только покороче. Мы сажаем в этот ящик котят и несем к пруду.

На нашем участке позади дома, недалеко от сарая, есть пруд. Нужно сказать, что он не из того сорта прудов, которыми украшена дача Капийковского. Он похож, скорее всего, на огромную черную четырехугольную яму, вырытую в черноземной почве и наполненную черной, как деготь, застоявшейся водой, в которой не живут ни рыбы, ни лягушки, ни пиявки, а живут какие-то противные бледно-серые, мягкотелые жуки величиной с большого кузнечика. Этих жуков мы с братом называем щипалками.

Пока мы несем котят в ящике, Мурка бежит за нами, трется боками о наши ноги и просительно заглядывает нам в глаза, как бы умоляя не сделать зла ее детям. Мы, однако ж, продолжаем невозмутимо шагать со своей ношей.

Подойдя к пруду, мы спускаем ящик с котятами на воду и отталкиваем его от берега. Ящик выплывает на середину пруда. Котята выглядывают из ящика, словно заправские матросы из-за бортов парохода. Мне даже кажется, что они улыбаются, радуясь тому, что плывут по воде.

Кошке, однако, не до радости. Она встревоженно мечется вдоль берега пруда то в одну сторону, то в другую, но, видя, что посуху ей до котят не добраться, вдруг прыгает в воду и плывет к ящику. Такой поступок с ее стороны для меня неожиданность. Я всегда был уверен, что кошки боятся воды и не умеют плавать. Но Мурка плыла с таким умением, будто всю

жизнь только этим и занималась. Из воды торчали только ее голова и кончик хвоста. Вот она подплывает к ящику и... Глупая! Что она делает!.. Она цепляется когтями за борт ящика. Ящик опрокидывается и начинает наполняться водой. Кошка успевает схватить одного котенка зубами и плывет с ним обратно к берегу.

Наблюдая эту волнующую сцену, я мысленно кричу: «Глупая! Одного спасла, а остальные утонут!»

Погружаясь все больше в воду, ящик ложится набок, но котята не тонут. Спасаясь от заливающей ящик воды, они выкарабкиваются на боковую стенку. Но ящик, продолжая вращаться, переворачивается кверху дном. Каким-то чудом котята успевают перебраться со стенки на дно. Ящик между тем вертится дальше и ложится на другой бок. Спасаясь от наступающей воды, котята перекочевывают на этот бок. Вращение ящика все убыстрится, и котятam приходится совершать чудеса эквилибристики, чтоб удержаться на поверхности.

— Спасай! — раздается команда брата.

Я поспешно сбрасываю штанишки и, преодолевая отвращение к щипалкам, лезу в воду. Добравшись до тонущего ящика, я вытаскиваю его вместе с котятами на берег. Кошка уже тут как тут. Собрав измокших котят вокруг себя, она ведет их обратно в свое гнездо, где тщательно облизывает каждого языком.

В этот день мы не повторяем больше этот эксперимент. Но на следующее утро мы с братом снова появляемся со своим ящиком возле Муркиного гнезда, и кошачья водяная феерия разыгрывается в той же последовательности, с теми же подробностями и с тем же концом. Этот кошачий «цирк» мы с братом устраивали для себя чуть ли не ежедневно, пока котята не подросли настолько, что научились выскакивать из ящика и удира́ть от нас до того, как нам удастся спустить ящик на воду.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Мать считает, что мы с братом становимся невозможными. В результате в доме у нас появляется новая вещь — кнут. Самый обыкновенный извозчицкий кнут, которым погоняют лошадей. Он состоит из кнутовища, то есть из небольшой дубовой палочки, к которой привязан тонкий ремешок из гибкой сыромятной кожи. На конце этот ремешок завязан узелком, чтоб было больнее, когда им стегают.

Кнутом этим нас, однако, никто не бьет. Он просто стоит

в углу комнаты на видном месте для устрашения. Предполагается, что, видя кнут, мы с братом будем воздерживаться от шалостей из опасения, как бы кнут не погулял по нашей спине.

Кнут все же не оказывает на нас своего магического воздействия. Мы продолжаем шалить. Мать то и дело грозит, что скажет отцу и попросит наказать нас. И она часто приводит в исполнение свою угрозу. Но отец дома бывает обычно в благодушном настроении. Ему неохота затевать возню и устраивать побоище.

— Ничего,— стараясь сделать вид, будто сердится, говорит он.— Я им все соберу в кучу.

Собрать в кучу на его языке означает — подождать, когда у нас с братом накопится побольше провинностей, и тогда уже за один раз рассчитаться с нами.

Наконец жалоба матери совпадает с соответствующим настроением отца.

— Ну, я им задам лупцовку! — грозитя он.— Сейчас я им устрою мойку!

Для того чтоб устроить так называемую мойку или лупцовку, отцу не нужны кнут, плетка или ремень, которыми пользуются в таких случаях в других семьях. Ему нужно полотенце. Это полотенце он берет за середину зубами так, чтоб оба конца свободно свешивались вниз, затем начинает скручивать руками один конец наподобие толстой веревки. Скрутив этот конец как можно туже и придерживая его рукой, чтоб он не раскрутился, он начинает точно таким же образом скручивать и второй конец.

Лоб у него нахмурен, щеки отдуваются, губы оттопырены, усы лежат двумя жесткими щеточками на полотенце, которое он держит в зубах. Лицо у него от этого какое-то чужое, незнакомое, несимпатичное. К тому же он еще громко сопит носом. Мы с братом притихли и, замирая от страха, прислушиваемся к этому сопению.

Но вот и второй конец полотенца скручен так же туго, как первый. Отец берет оба конца в правую руку и выпускает полотенце из зубов. Освободившись, оба конца полотенца уже сами собой скручиваются плотным жгутом. Размахивая этим жгутом, отец начинает гоняться за нами по всем комнатам, нанося удары по спине то одному, то другому. Я бы сказал, что это не так больно, как страшно. Боль от удара жгутом хотя и вполне ощутимая, но не резкая. После удара тело как бы зудит или чесывается. Но это ощущение быстро проходит. Набегавшись по комнатам и воображая, что с честью выполнил свой родительский долг, отец успокаивался и вешал полотенце на место.

Не думаю, что подобного рода меры имели какое-нибудь воспитательное значение, так как в чем заключались наши провинности?.. Ну, разбил чашку или стакан, порвал или испачкал одежду, промочил ботинки, лазая по болоту, вертел швейную машинку, не ел суп, так как наелся сахару перед обедом, опрокинул стакан с киселем и размазал кисель по скатерти, стараясь собрать его обратно в стакан. Все это такие вещи, которые трудно не сделать, а сделав, невозможно исправить. Никто же нарочно чашку не разбивал, и никто со злым умыслом не размазывал кисель по скатерти, и никто не рвал одежду специально для того, чтоб доставить неудовольствие родителям. Все это происходило случайно или по необходимости. Попробуйте, например, удержаться, чтоб не крутить швейную машинку, когда можно покрутить, или не сунуть в рот кусок сахару, когда так хочется сладкого. И попробуйте не промочить ноги, когда вам нужно лазить по болоту. А однажды я положил измокшие сандалии (совершенно новенькие, между прочим, только что купленные) для просушки в духовку, а они там изжарились: стали твердые, словно костяные, так что ими можно было забивать гвозди, но уж никак не надевать на ноги. Разве я знал, что так выйдет? А в другой раз я упал в бочку с водой. Я полез вслед за братом на крышу сарая и сорвался со стремянки. А бочка стояла рядом. Еще хорошо, что она была лишь наполовину наполнена водой. Поэтому я промочил только штанишки.

От таких случайностей никто не застрахован, и тут хоть бей, хоть не бей, а ничего не изменится. В итоге мать продолжала жаловаться на нас отцу, отец по временам брался за полотенце, сопел носом и гонялся за нами по комнатам.

Результат от всего этого какой-то был, безусловно. Однако ж не тот, которого ждали. Постепенно мне становилось ясно, что мой добрый великан не такой уж добрый и не такой уж великан, если сказать по чести. В свете всей этой суетни, беготни и сопения носом его величие как-то тускнело в моих глазах. Я, безусловно, видел, что человек он, в общем, добродушный, добросердечный, но убеждался также и в том, что он может быть не только добрым, но и злым, даже страшным по временам. И он уже не был для меня каким-то чудом. И я уже не ждал его приезда с таким нетерпением, как раньше, а вернее сказать, даже вовсе не ждал — без него было спокойнее.

Кстати, тогда я уже был в том возрасте, когда ребенок начинает замечать, что взрослые люди хоть они и взрослые, но состоят не из одних достоинств, а также и из недостатков.

Отец мой не любит, например, делать что-либо в спешке, и

ему приходится иной раз платить дань этой своей неторопливости. По утрам он любит поваляться в постели, и, если ему нужно с утра ехать в Киев, он не встанет пораньше, а поваляется, как обычно, но, поскольку к отходу поезда нужно поспеть на станцию вовремя, он придумал пить чай на ходу. Шагает себе не спеша по дорожке. В одной руке у него чашка, из которой он прихлебывает чай, в другой руке бутерброд, от которого он по кусочку откусывает. Как раз к тому времени, когда он подходил к калитке, чай оказывался выпитым, бутерброд доеденным. Тут же раздавался гудок приближавшегося к станции поезда. Услышав гудок, отец кидал пустую чашку в специально выкопанную для этой цели яму возле забора и, выскочив из калитки, бросался бежать как сумасшедший к железнодорожной станции, которая была в конце улицы. На поезд он садился уже на ходу или перед самым его отходом. Не мудрено было и опоздать в такой ситуации, но обычно ему все сходило с рук. Только один раз, насколько у меня осталось в памяти, произошла, как принято говорить, осечка.

Однажды отец ушел на поезд, сказав, что вернется из Киева лишь завтра, так как у него были там какие-то дела. Мать была занята по хозяйству, а мы с братом, почувствовав свободу, решили покататься по комнате на швейной машине. Эта машина была ножная, то есть такая, механизм которой приводится во вращение ногами. Внизу у машины были колесики, на которых ее можно было перекатывать по полу с места на место. Колесики эти были маленькие и вертелись плохо. Машина к тому же была тяжелая. Ее и с места можно было сдвинуть с трудом. И все же, поскольку были колесики, брату пришла в голову мысль катать друг друга на этой машине. Решено было, что сначала он покажет меня, потом я его. Подставив стул, я вскарабкался на машину и уселся на ней верхом, а брат принялся толкать машину сзади. Несмотря на невероятные усилия, машина двигалась со скоростью садовой улитки. Могу удостоверить, что езда на такой скорости не доставляет никакого удовольствия и недостаток скорости в таких случаях следует дополнять избытком воображения. Сейчас уже не могу сказать, сколько понадобилось времени и усилий, чтобы выкатить машину на середину комнаты.

Но тут как раз отворилась дверь, и в комнату вошел отец. Уже сам вид его не предвещал ничего доброго. Лицо было сердитое. Усы топорщились. Схватив брата за руку, он надавал ему по шее, потом стащил меня с машины и тоже надавал по шее, после чего поставил машину на место.

С плачем мы выбежали во двор, и брат сказал, вытирая кулаком выступившие на глазах слезы:

— Чего это он? Ведь он сказал, что вернется из Киева завтра.

— Ну,— ответил я, разводя руками,— совпадение.

Мне как раз пришел на память случай, когда отец вернулся раньше, чем его ждали, и тогда это было названо совпадением.

— Ты дурак,— ответил мне брат, потирая ушибленное место.— Никакого совпадения здесь нет, потому что он вовсе и не ездил в Киев.

— А куда он ездил?

— Да никуда,— ответил с презрением брат.— Каждый дурак догадается, что никакой дурак не успеет за такое время доехать до Киева и вернуться обратно. Просто он опоздал на поезд.

Так оно, конечно, и было. Отец опоздал на поезд и с досады отколотил нас. Вообще он наказывал нас под горячую руку, давая выход накопившемуся раздражению, а не для нашей, как говорится в таких случаях, пользы.

То, что я рассказываю,— лишь отдельные случаи. Обида проходит, как проходит боль. На тех, кого любишь, нельзя долго сердиться. И да не подумает никто, что у меня было несчастливое детство. Я был счастлив хотя бы уж тем, что меня никогда не воспитывали при помощи наказаний. Меня никто никогда не ставил в угол или на колени, не оставлял без обеда или без сладкого, не заставлял сидеть в душной комнате, когда так хотелось побегать на свежем воздухе во дворе, и т. д. Если мне иногда и влетало, то это можно было рассматривать лишь как случайность, непредвиденное обстоятельство или стихийное бедствие вроде наводнения или землетрясения, от чего не убережешься и на что нельзя сердиться, как нельзя сердиться на угол стола, о который ушибся.

ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ

Читать я научился в пятилетнем возрасте. Причем меня никто не учил. Учили моего старшего брата, а возле него и я выучился.

У отца был свой собственный метод обучения грамоте. Он не раз говорил, будто сам учился читать по вывескам на магазинах, и потому, вероятно, считал, что самое важное в этом деле — величина букв. И вот, когда брат выучил азбуку, отец взял газе-

ту (она называлась «Новости») и велел брату прочесть название, которое было напечатано самыми крупными буквами.

Брат начал называть подряд все буквы:

— Эн, о, вэ, о, эс, тэ, и.

— Ну, и что получилось? — спросил отец.

Брат немного подумал и ответил:

— Газета.

— Вот и болван! — рассердился тут же отец. — Читай снова внимательно.

— Эн, о, вэ, о, эс, тэ, и, — повторил брат.

— Ну, и что вышло?

Брат еще немного подумал и снова сказал:

— Газета.

— Ну и балбес! Где же ты видишь «газета»? Какие тут буквы? Читай.

— Эн, о, вэ, о, эс, тэ, и, — в третий раз повторил брат.

— Ну, и что будет?

Брат изобразил на своем лице глубокомыслие и опять сказал:

— Газета.

— Вот балда так балда! — кипятился отец. — Смотри, какая здесь первая буква? Эн?

— Эн, — согласился брат.

— Вторая буква какая?

— О, — потупившись, отвечал брат.

— Правильно! Третья какая?

— Вэ.

— Вэ! Правильно! Вэ! — подхватил отец. — Дальше какая?

— О.

— О! — завопил отец. — О! Правильно. Дальше!

— Эс.

— Эс. Дальше.

— Тэ.

— Так, правильно! Тэ. И последняя буква какая?

— И.

— И! — торжествующе закричал отец и хлопнул рукой по газете. — Что вместе будет?

— Газета, — буркнул угрюмо брат.

Я сидел тут же и смотрел на все происходившее, как на какое-то состязание, в котором ни один из соперников не хотел уступить победу другому. Отец обзывал брата последовательно балдой, балбесом, дубиной, пентюхом и ослом, но не мог от него добиться другого ответа. Брат же, очевидно, не совсем понимал

(или, вернее сказать, совсем не понимал), что от него требовалось, и, должно быть, воображал, что, повторяя одно и то же, он может каким-то образом переубедить отца. К тому же совершенно ясно было, что перед ним лежала именно газета, а не, к примеру сказать, одеяло или садовая лейка.

Вместе с тем, судя по той горячности, с которой отец принимал его ответы, видно было, что написано не «газета», а что-то другое. И я почему-то вспомнил, как иной раз, проснувшись поутру, отец спрашивал: «Принесли «Новости»?» Он любил иногда почитать газету в постели. И вот, когда, уже не помню в какой раз, отец заставил брата повторить все эти буквы: «Эн, о, вэ, о, эс, тэ, и» — и спросил, что получится, я потихоньку сказал:

— Новости.

Что тут было!

— Правильно! «Новости»! — закричал отец. — Смотрите, что делается: Колька маленький, а уже научился читать. А его ведь и не учил никто! Как же это ты сумел, а?

Он тут же усадил меня рядом за стол и велел прочитать какое-то совсем маленькое слово: не то «каша», не то «Маша», сейчас уже точно не помню, и был очень удивлен, когда я не смог это слово прочесть. Буквы я, как и брат, называл правильно, а когда отец спрашивал, что получилось, я только и мог сказать:

— Не знаю.

— Как? — закричал отец, потеряв терпение. — Такое слово, как «Новости», ты сумел прочесть, а тут пустяк прочитать не можешь! Э, так ты, значит, не прочитал, а просто угадал, что там написано «Новости»!

Он прогнал из-за стола и меня и брата.

Мы побежали гулять. Но меня все время сверлила мысль, как это я догадался, что на газете написано «Новости». То есть для меня было ясно, что я догадался, так как знал, что газета называется «Новости», но вот как из букв получается слово — в этом была какая-то тайна.

Вечером я взял газету, развернул ее на том месте, где было напечатано крупными буквами «Новости», положил перед собой и крепко задумался. Я думал над тем, как из букв получается слово «Новости». В том, что должно получиться именно это слово, сомнения не было. Но вот вопрос: как? Мне словно нужно было решить задачу, когда ответ известен, а самого хода решения никто не знает.

Я твердил про себя подряд все буквы: «Эн, о, вэ, о, эс, тэ, и» —

и ломал голову, как же из них получается слово «Новости». Ведь если складывать, приставляя как бы вплотную друг к дружке все эти буквы, то должно получиться какое-то чудачье, непонятное слово «Эновэоэстэи», совсем не похожее на слово «Новости». Я то и дело повторял это «Эновэоэстэи», и мне постепенно стало казаться, что оно все же чем-то смахивает на слово «Новости», только его вроде как бы произносит какой-то косноязычный, криворотый человек со свернутой набок челюстью. А то еще такие люди бывают, подумал я, которые ничего не могут сказать без того, чтоб вначале не протянуть: «Э-э». Это «э-э» нужно им как бы для разбега, без которого они никак не могут заговорить. Вот и тут: если написано «Новости», то к чему же вначале «э»?

Я попробовал отбросить это начальное «э», и вместо «Эновэоэстэи» у меня стало получаться «Новэоэстэи». Это уже показалось мне больше похоже на то, что требовалось. Однако и сквозь это слово как бы проглядывал косноязычный человек, у которого рот устроен так, что он ничего не может сказать, чтоб не сунуть куда надо и куда не надо это противное «э».

Я попробовал держать рот поровней и поуже, так, чтобы при чтении звук «э» не выговаривался, и, когда я прочитал слово таким способом, у меня получилось не что иное, как «Новости». Я почувствовал, что нахожусь на верном пути. «Э» явно здесь было лишнее. И у меня мелькнула мысль, что буквы, должно быть, имеют свои имена или названия. При чтении названия не произносятся полностью, а произносятся лишь частички этих названий. Например: «эн» — это название буквы, а при чтении «э» отбрасывается, а выговаривается только «н». У буквы «тэ» опять же отбрасывается «э», а произносится «т».

Я заволновался вдруг. Меня охватило какое-то непонятное чувство. Такое чувство, наверно, испытывает ученый, находящийся на пороге великого открытия. Он и рад и в то же время боится: вдруг его теория или гипотеза окажется ошибочной. Для того чтобы убедиться в правильности своей гипотезы, ему нужно проверить ее: поставить эксперимент.

Какой же эксперимент я мог поставить? И я сразу же догадался, что надо попробовать прочитать какое-нибудь новое, незнакомое слово с помощью вновь открытого мною способа. Я прочитал попавшееся мне на глаза слово в газете, и получилось «утро». Не какое-нибудь неизвестно что обозначающее «Утээро», а утро, которым начинается каждый день. Я прочитал еще слово, и получилось «нога». Опять же не какая-то непонят-

ная «эногэа», а самая обыкновенная, самая настоящая человеческая нога.

С этого момента я уже не мог остановиться и принялся за «чтение», то есть прочитывал отдельные слова, где бы они ни попадались мне: в книжке, в газете, на коробках с чаем, кофе или конфетами, на бутылках с уксусом или квасом, на вывесках магазинов... Радовался я этим словам, как встрече с добрыми старыми друзьями. В каждом из них было что-то знакомое, близкое. Трудности, конечно, на первых порах были, но я их преодолевал и через несколько дней уже вполне сносно читал.

К тому времени и брат одолел словесный барьер, то есть научился складывать из букв слова. Мы оба могли читать. Дядя Володя (брат отца) подарил нам по книжке. Это были два довольно толстенных, красивых томика издававшейся в дореволюционное время «Золотой библиотеки», на обложке которой в круглой рамке были изображены маленькие мальчик и девочка, склонившиеся над книгой. Томик, подаренный мне, назывался «Чудо-сказки», а другой, подаренный брату, — «Волшебные сказки».

В тот же день я принялся читать свои «Чудо-сказки» и уже не отходил от книги, пока не дочитал до конца, после чего засел за «Волшебные сказки». В моих представлениях о нашем странном мире, в котором мы с вами живем, произошел огромный скачок. Все как бы переменялось вокруг. Оказалось, что, кроме обыкновенных людей, которых я знал, существуют еще какие-то сказочные короли и королевы, принцессы и принцы, добрые и злые волшебники и волшебницы, феи и эльфы, колдуны, оборотни, ведьмы, великаны, люди, наделенные разными сверхъестественными способностями. Я узнал, что на свете существуют такие вещи, как волшебные палочки, шапки-невидимки, ковры-самолеты, сапоги-скороходы, а вокруг нас постоянно творятся волшебства и чудеса. Я снова и снова перечитывал эти сказки и ходил как зачарованный, не понимая, что со мной делается.

Так началась моя дружба с книгой.

Н Е Р А В Н О П Р А В И Е

Видя, что в деле освоения грамоты я не отстаю от брата, родители решили отдать нас в гимназию одновременно. В результате мы оба стали ходить к учительнице, которая взялась подготовить нас в подготовительный класс. Звали учительницу смешно: Павла Аполлинариевна. Она почему-то вообразила,

что при поступлении в гимназию будет экзамен по французскому языку. Пришлось нам, помимо прочих предметов, учить еще и французский язык. Никакой особенной премудрости здесь, впрочем, не было. Некоторые французские буквы, как «а» или «о», например, были такие же, как и русские. Даже некоторые французские слова были похожи на наши. «Лампа», например, по-французски будет «ля лямп», «линейка» — «ля линеаль», «самовар» — «ле самуар», а «утка» — почему-то «ле канар». Все это не представляло для меня трудности, хотя и не понадобилось на экзамене.

Говорили, что в обычную, государственную гимназию нас не возьмут, так как туда принимали только детей дворян. Но мы могли поступить в частную гимназию, куда принимали и недворян. К тому времени я уже знал, что люди бывают богатые и бедные. В Ирпене у нас был лесопильный завод, принадлежавший богатому немцу, фамилия которого была Ганс. Был кирпичный завод, принадлежавший богачу Сагатовскому. По соседству с нашим участком были огромнейшие заливные луга, владельцем которых был богач Пинский. Эти луга так и назывались — болота Пинского. На высоком берегу реки Ирпень стояла красивейшая двухэтажная каменная дача, принадлежавшая киевскому фабриканту дрожжей богачу Чоколову. Таким образом, о богачах я уже имел какое-то представление. Но я впервые слышал о том, что существуют люди, которые считаются благородными, которым было позволено то, что не позволялось другим, неблагородным или вроде как бы нечистопородным людям. Благородные были дворяне, неблагородные — мещане или еще того хуже: крестьяне.

Быть таким вот неблагородным или вроде как бы нечистопородным казалось обидно. Пожалуй, даже обиднее, чем быть бедным. В конце концов, богатым мог стать и бедный, если бы каким-нибудь путем разжился деньгами.

«Стать богачом нетрудно, — любил говорить мой отец, — нужно только узнать, как это делается».

А вот стать дворянином было нельзя. Дворянином надо было родиться, то есть надо, чтоб родители твои были дворянами. Если же родился недворянином, то тут хоть пиши, а ничего не выйдет. Так тебе всю жизнь и будут твердить:

«Не суйся с суконным рылом в калашный ряд».

Сознавать это было унижительно. И стыдно было за людей, которые придумали это деление на благородных и неблагородных, да еще чванятся перед другими своей чистопородностью, словно псы на собачьей выставке, одним из которых дают меда-

ли за то, что у них морда на пять сантиметров короче, чем нужно, а другим за то, что у них уши такой длины, что по земле волочатся. Конечно, в те годы сформулировать свои мысли я еще не умел, но нутром, так сказать, чувствовал, что это несправедливо и даже смешно.

Отец мой дворянином не был, так как родился в простой мещанской семье, богачом же не стал, видать, потому, что так и не узнал, как это делается. По профессии он был актером или, вернее сказать, артистом, а если сказать совсем точно — эстрадным артистом, певцом.

В дореволюционные годы на эстраде существовал так называемый квартет «сибирских бродяг». Все четверо участников этого квартета (и отец в том числе) одевались в ветхую, изорванную одежду, покрытую всевозможнейшими заплатками, обувались в крестьянские лапти, изображая собой арестантов, бежавших с каторги и пробиравшихся сквозь дебри сибирской тайги к себе на родину. Нарядившись в такую живописную рвань, артисты выходили на сцену и пели про то, как «глухой неведомой тайгою бежал бродяга с Сахалина звериной узкою тропой», или популярнейшую в те времена «Дубинушку» и другие «Песни тюрьмы и воли», как значилось на афише.

Этой своей артистической, «бродяжьей» деятельности отец отдавался до самозабвения. Он был участником русско-японской войны 1904—1905 годов и, таким образом, дважды пересек всю Сибирь, то есть когда отправлялся на войну и когда ехал обратно. Для него остров Сахалин, сибирская тайга, озеро Байкал и забайкальские степи, о которых пелось в песнях, были не звук пустой, а что-то близкое, осязаемое, то, что он видел своими глазами, что составляло как бы частицу его собственной жизни, частицу его души. Чувство тоски по родине и жажда свободы, испытываемые каторжниками и ссыльными, томящимися в неволе, или бродягами, рвущимися обратно в «Расею», чтобы хоть одним глазом взглянуть на родные места, прижать к своему истосковавшемуся сердцу близких, были в какой-то степени пережиты и им самим за годы царской солдатчины. И он на чужбине скучал по родным местам, по своим близким, страдал от разлуки со своей невестой, своей будущей женой — моей матерью, с которой обручился перед отправлением на войну. Рассказывая о случаях из своей солдатской жизни, о боях, в которых он участвовал в Порт-Артуре, на Сахалине или в Маньчжурии, он всегда вспоминал, как одолевала его тоска как ему хотелось поскорей вернуться домой.

Его второе путешествие через Сибирь после окончания рус-

ско-японской войны совпало с разгаром революционных событий 1905 года. Отец с воодушевлением и с какой-то мальчишеской радостью рассказывал о революции, которую видел своими глазами. И он говорил, что революция не победила в тот раз, но она вспыхнет снова и победит. И тогда будет свобода: не будет ни царя, ни дворян, ни богатых, ни бедных, все люди будут равны между собой, и всем будет хорошо.

А пока... пока по-прежнему был царь со своими тюрьмами и всякой неволей. А у народа были песни тюрьмы и воли, в которых только и говорилось, что о кандалах, о цепях, о каменных острогах, о железных решетках, за которыми изнывали люди, жаждавшие свободы:

Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно:
Дни и ночи часовые
Стерегут мое окно.

Или:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.

Неспроста поется в этой песне про золото. Сибирь в те времена — это страна золота и... проклятий.

Отец часто рассказывал о работах на золотых приисках, где ему пришлось побывать, о встречах в тайге с золотоискателями или старателями, как их называют в Сибири. Он и сам попытал счастья, бродя с тазиком по берегам одной из таежных золотоносных речушек. Намытое им ради сильных ощущений, как он говорил, золотишко (золотой песок) хранилось в шкатулке с разными безделушками на дне крошечного флакончика из-под духов с хорошо подогнанной пробкой. С виду это была просто щепотка песка, но не светлого, как на берегу реки, а темноватого, не просвечивающегося. Когда дома никого не было, мы с братом доставали из шкатулки флакончик и разглядывали золото. Если посмотреть на золотые песчинки в увеличительное стекло, то они становились крупнее, а при некотором усилии воображения превращались в настоящие самородки, светившиеся как бы изнутри магическим золотым цветом. Вот она, романтика! Вот оно, золото, на которое человечество затрачивает столько стараний и которому шлет столько проклятий.

Песни, исполнявшиеся квартетом «сибирских бродяг», были очень созвучны эпохе. В них отражались общественные настроения предреволюционных лет. И, конечно же, именно поэтому квартет «сибирских бродяг» пользовался большой известностью. Он выступал во многих городах тогдашней России и везде имел шумный успех. Весь или почти весь его репертуар был записан на граммофонных пластинках. Тогда ни радио, ни телевидения еще не было, но граммофон уже был.

Кончилось дело, однако, тем, что на эти бродяжьи песни тюрьмы и воли обратила внимание царская цензура. Кто-то в цензурном комитете будто бы сказал: «Что это еще за песни тюрьмы? Кому нужно слушать песни тюрьмы? И какая еще там воля? Чтоб никакой воли и духу не было!» В результате исполнять эти песни было запрещено, и квартет «сибирских бродяг» прекратил свое существование. Не знаю, как устроились другие члены квартета, а отцу удалось поступить на работу плотником в киевские железнодорожные мастерские. Там он делал деревянные лопаты для очистки железнодорожных путей от снега, а в летнее время, когда увеличивалось движение пригородных поездов, работал кочегаром на паровозе.

Обстоятельства сложились так, что меня и брата могли совсем не принять в гимназию, даже в частную, так как теперь мы были дети простого рабочего. Отец, однако, придумал выход из положения.

— Зачем мне говорить, что я рабочий? Буду говорить, что я домовладелец. У меня дом есть. Так и в анкете буду писать.

— Уж ты выдумашь! — сказала мать. — Домовладелец — тот, у кого большой дом с квартирами, которые он сдает жильцам за плату. А у тебя какой дом?

— Будто кто-то поедет посмотреть, какой у меня дом, — возразил отец. — Может быть, у меня тут дом в пять этажей.

— Это в Ирпене-то! Пять этажей! — ужаснулась мать. — Скажи еще, что у тебя небоскреб тут.

— И скажу.

— Сумасшедший! — с иронией отвечала мать.

С прекращением деятельности квартета заработок отца значительно уменьшился. Семья же наша к тому времени увеличилась. Кроме старшего брата, у меня уже была сестра младше меня на четыре года и брат младше на пять лет. Прокормить семью из шести человек да еще платить за обучение нас двоих в гимназии было отцу не по средствам. Поэтому решено было наш дом в Ирпене продать и нанять квартиру в Киеве. Все равно мы с братом не могли ежедневно ездить на занятия из Ирпеня

в Киев. Да и отцу было удобнее жить в Киеве, чтоб не тратить каждый день время и деньги на поездки по железной дороге.

— Как же ты будешь говорить, что ты домовладелец, если решил продать дом? — сказала мать.

— Ну, пока я не продал дом, буду говорить, что домовладелец, — ответил отец. — А когда продам, буду говорить, что торговец, торгую домами: один дом продал, куплю другой, а другой тоже продам.

— Тогда уж лучше говорить, что ты какой-нибудь маклер или же аферист.

— Что ж, это идея, — согласился отец. — У нас к какому-нибудь аферисту больше доверия, чем к рабочему человеку.

ВЫДЕРЖАЛ ЭКЗАМЕН

Наконец наступил день, когда нам с братом надо было поехать в Киев для сдачи вступительных экзаменов в гимназию. Еще накануне брат был совершенно здоров, но, проснувшись утром, он только приподнялся на постели и тут же опустил голову на подушку.

— Вставай, одеваться пора, — поторопила его мать.

— Головка болит, — жалобным голосом отозвался брат.

Мать подошла, приложила ладонь к его лбу.

— По-моему, у него жар, — встревоженно сказала она отцу.

Отец подошел и тоже приложил ладонь ко лбу брата.

— По-моему, жара нет, — сказал он, пожав плечами.

— Отчего же голова болит? — возразила мать.

— Очень болит? — спросил отец.

— Очень, — подтвердил брат и страдальчески поморщился.

— Может быть, простудился, — сказал отец, продолжая растерянно пожимать плечами. — Как же теперь с экзаменом быть?

— Ну какой тут экзамен, когда ребенок болен! — ответила мать. — Договорись на потом как-нибудь.

Мать всегда очень терялась, когда у кого-нибудь из нас появлялись признаки заболевания. В перспективе ей чудились самые губительные болезни: скарлатина, дифтерит, тиф, холера...

Нечего делать, отец повез на экзамен одного меня. Ехать нужно было сначала поездом, потом трамваем через весь Киев, от трамвая пешком до Рыльского переулка, где находилось пятиэтажное здание гимназии. Самого этого путешествия я не

запомнил, возможно, потому, что и раньше иногда ездил с отцом или с матерью в Киев. Запомнился мне почему-то класс, в котором происходил экзамен: огромная (непривычно огромная для меня), скучная комната с высоким беленым потолком, такими же белеными стенами, только в нижней части окрашенными до высоты человеческого роста клеевой краской в красновато-коричневый цвет. Три огромных, высоких окна, черная доска на стене, несколько рядов черных парт. В то время я даже не знал, что такое парта и как нужно сидеть за ней. Но другие ребята садились. Сел и я.

Запомнилось мне также общее впечатление от ребят. Я никогда раньше не видел такого большого количества мальчишек за один раз. Меня удивило, что все они разные и какие-то вроде бы не такие, как надо. У одного были слишком толстые, выпяченные вперед губы; другой был слишком курносый; у третьего были какие-то нелепо торчащие в стороны уши несколько бóльшего размера, чем полагалось, на мой взгляд, по норме; у четвертого было неестественно бледное лицо с узко поставленными черными глазками и съехавшимися на переносице бровями; у пятого лицо было красноватое, словно поджаренное, сам же он будто и не замечал, что ходит в таком поджаренном виде; у шестого на лице словно застыло выражение удивления: брови как бы сами собой лезли на лоб, а рот постоянно был чуточку приоткрыт; седьмой как-то осовело смотрел по сторонам сквозь узенькие щелочки глаз, будто вот-вот собирался заснуть...

Впоследствии я заметил, что все эти мелочи в человеческом облике обычно бросаются в глаза лишь с первого взгляда, но потом, при более близком знакомстве, их перестаешь замечать, и люди начинают казаться нам более обыкновенными, более естественными или, вернее сказать, более привычными. Тогда уже больше обращаешь внимания не на их внешний вид, а на их привычки, склонности, замашки или характер, то есть начинаешь видеть уже не только внешность, но и внутреннее содержание человека.

Приемные испытания я выдержал с полным успехом. В диктанте по русскому языку не сделал ни одной ошибки. Точно также, без ошибок, решил по арифметике все заданные примеры на сложение, вычитание, умножение и деление. На экзамене по закону божью вполне исправно отбормотал молитву «Отче наш». И на этом все кончилось.

Отец радовался, как дитя малое, словно я совершил какой-то героический подвиг. Из гимназии мы шли по улице. Он крепко держал меня за руку, называл Коленькой, Колюхой, говорил,

что я молодчина, что мне всего шесть лет, а я уже гимназист. Мне и вправду не исполнилось тогда и семи лет, знания же, требовавшиеся для поступления в подготовительный класс, соответствовали приблизительно знаниям окончившего второй класс теперешней школы. Широко шагая по тротуару, отец держал меня за руку, в результате чего я совершал гигантские прыжки. Мне казалось, что отец и сам готов запрыгать от радости.

Потом мы ехали на трамвае, на поезде. Отец понемногу утомился, но время от времени он как бы спохватывался, вспоминая о счастливом событии этого дня, широко улыбался и гладил меня рукой по голове. Когда, сойдя в Ирпене с поезда, мы подошли к нашей калитке, первое, что я увидел, был брат. Он бродил по двору возле пруда и старательно сшибал палкой колючки с чертополоха. Увидев его, отец как-то многозначительно крикнул и, не сказав ни слова, зашагал к дому. Я же подбежал к брату и закричал, ликуя от радости:

— Я экзамен выдержал!

— Вот и дурак! — ответил брат, продолжая сшибать палкой колючки.

На его лице не отразилось ни радости, ни печали по поводу того, что я выдержал экзамен.

— Почему дурак? — озадаченно спросил я.

— Потому что будешь теперь как дурак ходить каждый день в гимназию. Понял?

— А ты разве не будешь? — удивился я.

— Зачем же я буду ходить? Я не дурак, — сказал брат. — Я ведь не сдавал экзамен. А в гимназию без экзамена не берут.

— Ты ведь заболел, — сказал я.

— Ты дурак, — ответил брат. — Я вовсе не заболел. Я так просто сказал, что заболел, чтоб на экзамен не ездить.

Тут только я понял, какую совершил глупость, не догадавшись прикинуться больным и увильнуть от экзамена, как это сделал брат. Расстраиваться по этому поводу было поздно, но настроение у меня было испорчено, и я, понурившись, побрел домой.

Впрочем, как выяснилось позже, если бы я даже догадался прикинуться больным, это меня не избавило бы от гимназии. Дня через два или три отец, вставши поутру и увидев, что брат с аппетитом позавтракал и уже вышел из-за стола, спросил:

— Ну как, сегодня у тебя не болит головка?

— Ничего не болит. Пойду гулять, — беспечно отвечал брат и вприпрыжку побежал к двери.

Но отец остановил его:

— Тогда собирайся. Поедем сдавать экзамен в гимназию.

Оказывается, отец узнал, когда можно дополнительно сдавать экзамен, но брату решил ничего не говорить заранее, а сказать в то утро, когда нужно будет ехать, чтоб понапрасну его не волновать. Чудаки родители вообразили, что в прошлый раз он заболел, переволновавшись в ожидании экзамена.

Таким образом, брат ничего не выгадал. Он выдержал экзамен, как я, и мы оба сделали гимназистами.

Фамилия владельца нашей гимназии была Стельмашенко, в силу чего учащихся этого учебного заведения звали стельмашенковцами, стельмашаковцами или же просто стельмашаками. Форма у нас была такая же, как и у остальных гимназистов, то есть: синевато-серые гимнастерка и брюки и синяя фуражка, украшенная кокардой. По этой кокарде легко было отличить стельмашенковца от учащегося любой другой гимназии. У всех других гимназистов на кокарде была изображена цифра, обозначающая номер гимназии, в которой он учился. У нас же на кокарде вместо цифры была буква «С», то есть начальная буква фамилии Стельмашенко. Таким образом, с этой буквой на лбу мы ходили как бы клейменные, и нередко на улице можно было услышать по своему адресу:

«Вот стельмашака идет!»

Не знаю, как другим, а мне лично это казалось обидным.

Я УЗНАЮ О ТАЙНЕ

Наш милый уютный беленький домик с зеленой крышей был продан отцом человеку по фамилии Елисеев. Этого Елисеева я ни разу в жизни не видел, но, так сказать, заочно невлюбил его за то, что он купил наш дом. У меня было такое чувство, будто он не купил, а отнял у нас наше пристанище, наше гнездо. Мне была нестерпима мысль, что в доме, где все мне казалось таким близким, словно слившимся со мной самим, поселится теперь кто-то чужой, а нам даже нельзя будет прийти сюда и взглянуть на родной очаг.

До этого я не знал, что дом можно продать или купить, словно какую-нибудь тыкву, буханку хлеба или кусок колбасы. Акт купли-продажи представлялся мне в таком виде. Покупатель приходит в магазин или на рынок, дает продавцу деньги, получает нужную ему вещь и уходит, унося покупку с собой. Когда начались разговоры о продаже дома, у меня в голове зашевели-

лась глупая мысль: «Как же он (то есть тот, кто купит наш дом) унесет его? Разве можно унести дом?»

Скоро я понял, что, когда продается дом, покупатель приходит, платит деньги, но уже не уходит, а вместо него уходит продавец.

Продавая дом, отец решил не продавать вместе с ним весь земельный участок, а продать только ту половину, где находился дом. Другую половину отец решил оставить себе, надеясь впоследствии, когда позволят обстоятельства, построить новый дом. Для меня было новостью, что можно продавать не только дома, но и саму землю. Мысль об этом никак не укладывалась в моей голове. Продавать землю, казалось мне, все равно, что продавать воздух, который нужен всем и которым вправе пользоваться все в одинаковой мере.

Я уже привык к мысли, что земля, на которой стоял наш дом, была наша... Хотя нет! Вру. Вернее, я просто не думал, чья эта земля и принадлежит ли кому-нибудь вообще. Вместе с тем во мне жило какое-то чувство, подсказывавшее, что наряду с вещами, которые могут принадлежать кому-нибудь лично, существуют вещи, принадлежащие всем, иначе говоря, находящиеся в общем пользовании, как, например, улица или река. Каждый мог ходить на реку: любоваться ее красотой, купаться, кататься на лодке или просто валяться на песчаном берегу, загорая на солнышке. И никому не следовало поступать подобно дрожжевому фабриканту Чоколову, который велел огородить свою дачу так, что забор подходил к самой реке. Дача стояла на вершине холма, а забор спускался все ниже по косогору и, подойдя к реке, уходил еще метра на три в воду. Проникнуть на берег реки по ту сторону забора уже было нельзя, так как это значило бы забраться на чужую дачу, по которой разгуливали два здоровенных свирепых пса. Как раз в том месте река делала крутой поворот, образуя как бы залив, поросший по краям камышом и белыми кувшинками с огромными, круглыми, плававшими на поверхности воды темно-зелеными листьями, а на берегу стояли, склонившись над рекой, плакучие ивы с длинными, свисающими к самой воде ветвями. Казалось, там, за забором, было самое красивое место на всей реке. И почему-то страшно хотелось туда. И каждый раз, когда я видел этот забор, мною овладевало неприятное чувство: словно на меня надевали ошейник или намордник или ни с того ни с сего сажали в клетку, как кролика. Я думал, что если каждый станет подобным образом захватывать себе место возле реки и огораживать его забором, то останется множество людей, которым места на берегу не хватит, и

они не смогут не то что купаться или кататься на лодке,— не смогут даже прийти, чтоб взглянуть на реку, потому что вокруг будут одни заборы. Жизнь этих людей представлялась мне безрадостной и унылой. И я очень жалел их, этих людей. Вот какие мысли внушало мне мое разбушевавшееся воображение, когда я видел этот идиотский забор, а видел я его часто, так как он находился возле самого посещаемого места на реке: рядом с пляжем, недалеко от лодочной пристани.

Помню, отец, продавая дом, долгое время не мог договориться с Елисеевым относительно того, какая часть земли отойдет ему вместе с домом. Отцу обязательно хотелось, чтобы колодец остался целиком на нашей части земли. Елисееву же хотелось, чтоб граница между обоими участками проходила по колодцу, то есть так, чтобы воду можно было брать как с той, так и с другой стороны. В этом был определенный разумный смысл. Известно, что вода в колодце тем чище, чем чаще из него берут воду. Если воды берут мало, она медленно обновляется, в колодце заводятся личинки комаров и других насекомых, а вслед за ними лягушки, для которых эти насекомые и их личинки служат хорошей пищей. А кому же интересно пить воду из колодца с лягушками! Неспроста многие соседи сооружают один общий колодец на границе своих владений. Некоторые даже делают колодец перед домом, на улице, чтоб и живущие поблизости могли пользоваться водой. В таких колодцах вода обычно бывает хорошая, как говорят — «вкусная».

Однажды, когда мать доказывала отцу разумность такого решения, он обронил фразу:

— Ты же знаешь — тайна на дне колодца...

Я, случайно вертевшийся поблизости, тут же пристал к отцу с расспросами, какая тайна.

Он сказал:

— Тайна — это то, чего никто не должен знать, иначе она не была бы тайной. Так что ты держи язык за зубами и о том, о чем слышал дома, не вздумай нигде болтать. Понял?

Я ответил, что понял. Но с тех пор меня прямо-таки распирало от желания рассказать кому-нибудь, что у нас в колодце есть тайна. От этого желания язык так и корчился у меня во рту, вроде как бы чесался. Для начала я рассказал о тайне колодца брату, который не слышал нашего разговора. Брат сказал:

— Раз мы не знаем, какая тут тайна, то надо сперва узнать, что это за тайна. Может быть, это какая-нибудь тайная тайна, которую надо держать в тайне, потому что если всякий дурак

поймет, что эта тайна — уже не тайна, а такая тайна, которая известна каждому дураку.

Поделившись тайной с братом, я почувствовал некоторое облегчение, словно переложил часть тяжести на его плечи. Язык уже не так корчился у меня во рту. Мы побежали к колодцу и стали разглядывать, что там на дне. Однако ничего, кроме двух-трех лягушек, мне лично разглядеть не удалось. То, что в колодце живут лягушки, не было для нас тайной. Мы знали, что отец время от времени принимался чистить колодец, то есть вычерпывал из него воду и вылавливал лягушек, спустившись вниз по лестнице.

Сделав свое открытие, мы побежали домой, и брат тут же доложил отцу, что в колодце опять завелись лягушки.

— Много? — спросил отец.

— Четыре, — ответил брат. — В каждом углу по штуке.

— А с чего это вы вздумали смотреть в колодец? — вскинулся вдруг отец.

— Мы хотели проверить, есть ли там лягушки, — не моргнув глазом, ответил брат.

— Гм! — сказал отец и метнул понимающий взгляд в мою сторону.

Он, однако ж, ничего не сказал мне, только сердито засопел носом, и усы у него ошетинились.

После всех переговоров отец согласился провести границу между нашими владениями и елисеевскими по колодцу, то есть так, чтобы обе суверенные договаривающиеся стороны в равной степени имели доступ к воде. Поделившись с соседом колодцем, отец, однако, не поделился с ним тайной. Тайна так и осталась тайной. Сколько мы с братом ни торчали возле колодца, сколько ни смотрели на дно, тайна не открывалась. Потом почему-то мы стали думать, что отец верит, будто этот колодец должен или может принести ему счастье. Ведь бывают такие вещи, которые приносят счастье. Вот и этот колодец такой. Сначала мы с братом по секрету от всех называли колодец тайным, потом стали называть колодцем счастья или просто счастливым колодцем. Постепенно вера в то, что колодец счастливый, укрепилась в нас или мы просто привыкли так думать. Мысль о том, что у нас есть такой тайный счастливый колодец, приносила какое-то удовлетворение. Вселяла надежду. На что? Я даже не знаю сам.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Переехав в Киев, мы поселились на Глубочицкой улице, которая залегала в глубине огромнейшего оврага или каньона, как было бы правильнее его назвать. По этой улице или (что одно и то же) по дну оврага можно было спуститься из верхней части Киева в его нижнюю часть, расположенную вдоль берега Днепра и называвшуюся Подолом.

Я часто пытался представить себе нашу будущую киевскую квартиру. Мне почему-то казалось, что мы поселимся в большом пятиэтажном доме с балконами, с затейливыми лепными украшениями на стенах, с какими-то чудесными замысловатыми статуями у подъезда или над подъездом (иной раз и не поймешь, что или кого такая статуя изображала: ангела или демона, «Размышление» или «Задумчивость» или еще какую-нибудь аллегория). Я часто видел такие дома, когда ездил с отцом и матерью в Киев, а потом вспоминал о них, как о каком-то чудесном видении. И не было у меня мечты прекраснее в те времена, чем мечта навсегда поселиться в Киеве, где такие замечательные парки, бульвары и скверы, с красивыми оградами и аккуратно подстриженными кустами и деревьями, где дома — словно сказочные дворцы, а по улицам движутся толпы прохожих, скачут во всю прыть рысаки, звенят трамваи, проносятся автомобили, оглашая воздух трубными звуками сигнальных рожков. Правда, автомобилей было тогда, как говорится, не густо, но они существовали уже и вносили свою долю оживления в кипучую городскую жизнь.

Я был еще очень мал тогда. У меня не было никакого жизненного опыта, и я не мог знать, что мечты не всегда соответствуют действительности, что за очарованием часто следует разочарование, что планы, которые мы создаем в своем воображении, обычно бывают богаче, чем их воплощение, что мы часто сами не знаем, нужно ли нам хотеть того, чего хочется, и не лучше ли нам хотеть не того, чего хочется, а того, чего и не хочется вовсе.

Дом на Глубочицкой улице, в котором отец нанял квартиру, оказался не пятиэтажный, как ожидал я (или, вернее сказать, как мне хотелось), а одноэтажный, причем какой-то серый, невзрачный, скучный на вид. В нем было всего несколько квартир. И что это за квартиры были! Ступив на небольшое, в три ступеньки, крылечко, вы попадали в холодные дощатые сенцы с решетчатым окном во всю стену до потолка, как обычно делается на закрытых террасках. Из сеней дверь вела прямо в кухню, в ле-

вой стене которой прилепилась одним своим боком большая русская печь с огромной черной, широко разинутой пастью. Напротив этой пасти было окно, выходившее, однако же, не во двор, а в сенцы, в результате чего в кухне даже в яркий солнечный день было полутемно. Из кухни дверь вела в единственную комнату с единственным окном, смотревшим на улицу.

В эти «хоромы», как насмешливо обозвала нашу новую квартиру мать, мы и переехали со всеми вещами и мебелью во главе с глубокомысленным шкафом и говорливым буфетом, со всеми кроватями, стульями и столами, с сундуком, комодом, швейной машиной, граммофоном, а также с картинами, о которых было известно, что отец привез их с японской войны. На этих картинах были изображены разные японские виды с неизменно торчащей где-нибудь на заднем плане конусообразной горой Фудзияма. Отец говорил, что японцы иначе не рисуют. Им обязательно надо, чтобы на каждой картине хоть где-нибудь в углу была изображена эта их любимая Фудзияма.

Не поехали с нами лишь чванливые, чопорные кресла и добродушный толстяк диван. Для таких важных персон в нашей новой квартире положительно не было места, и пришлось их оставить до лучших, как говорится, времен в Ирпене, в сарае. Я лично, сказать по правде, расстался с ними без сожаления, поскольку мне все равно не разрешалось на них сидеть.

Вход в описанную мной квартиру был со двора, если можно назвать двором то, что это слово должно было обозначать. В сущности, никакого двора здесь не было, так как, выйдя из сеней, вы упирались в подножие обрыва, то есть в крутую, почти отвесную стену оврага, на дне которого стоял дом. Чтобы выбраться на улицу, надо было пройти по узкой дорожке между стеной оврага и домом мимо других таких же, как наша, квартир. Повернув за угол и пройдя вдоль боковой стены дома, вы тут же попадали к деревянным воротам с калиткой. Одним словом, не разгуляешься. Во всем чувствовалось стеснение. Тесно было в доме, тесно было в этом, с позволения сказать, дворе, тесно было и на улице с узенькими, лепящимися прямо к стенам домов тротуарами, шагая по которым только и приходилось глядеть, как бы не налететь на кого-нибудь из прохожих.

Вот когда я пожалел об ирпенском раздолье. С тех пор как мы переехали в Киев, в душе у меня поселилась мечта о возвращении обратно в Ирпень. Да и не только у меня в душе. У всех была такая мечта. Все только и твердили об этом, больше же всех отец.

«Ничего,— ободряюще говорил он.— Главное то, что у нас

в Ирпене земля есть. Раз есть земля, можно построить дом. Вот если бы земли не было, тогда и думать, конечно, нечего. Не в воздухе же дом построишь. А поскольку земля есть, все можно сделать... Не сразу, конечно, а постепенно, потихонечку, помаленечку: сначала сарайчик построить, а там, глядишь, понемножку и домик... Сразу ведь ничего не делается...»

И он долго мог рассуждать на тему о том, что сразу ничего не делается, что все делается постепенно, что все нужно начинать с маленького... Я с удовольствием слушал эти рассуждения. Под них так хорошо мечталось! Отец как бы видел в своем воображении уже готовый сарайчик, выросший, словно по мановению волшебного жезла, где-нибудь в углу двора, а я видел себя на лугу (на болоте Пинского), где среди сочной зеленой травы копошилось бесчисленное множество разнообразнейших кузнечиков, кобылок, божьих коровок, жучков, паучков, мотыльков, букашек, мурашек, козявок, словом, всего, что на всяческие лады бегало, прыгало, скакало, ползало, порхало, летало, радуя глаз и заставляя душу замирать от восторга. У отца сарайчик постепенно наполнялся сосновыми бревнами, тесом для строительства дома, а мое воображение уносило меня в лес с его таинственным зеленым шумом и птичьим гомоном или на реку с ее тихими заводями и песчаными отмелями, где можно было сколько душе угодно барахтаться вместе с другими ребятами в воде, поднимая тучи брызг и оглашая окрестности дикими криками, визгом и хохотом, которые самопроизвольно вырывались из груди, не желая сидеть внутри тела, когда вокруг было столько света, воздуха, красоты и простора.

К счастью, мы недолго прожили на дне описанного мной оврага, и вскоре (уже не помню, в силу каких причин) переехали в один из окраинных районов Киева, именовавшийся в те времена Шулявкой, на Борщаговскую улицу № 70. Почему-то мне запомнился этот номер: может быть, потому, что число было круглое, то есть заканчивающееся нулем. Дом здесь был тоже одноэтажный, и квартиры были устроены по тому же принципу, что и на Глубочицкой улице, то есть сначала сени, потом полутемная кухня с окном, выходящим в сени, потом комната. Разница заключалась в том, что и сени, и кухня, и комната были немного просторнее. А главное, не было торчащей под самым носом и закрывавшей доступ свету стены оврага. Выйдя из сеней, теперь уже можно было увидеть не подножие обрыва, а невысокий деревянный заборчик, за которым весело зеленел сад: яблони, груши, сливы, вишни, кусты смородины и малины. В комнате было два окна, выходивших во двор (дом стоял во дворе). Под

окнами росла большая черемуха. Весной она зацветала так пышно, что казалось — это уже не дерево, а белое облако, каким-то чудом опустившееся на землю. Летом все дерево было осыпано темно-синими, почти черными ягодами величиной с горошину, которые мы поедали в огромных количествах. А зимой... О! Зимой было самое интересное, потому что на черемухе в это время года бывали частыми гостями снегири. Их хорошо можно было разглядеть, если забраться на подоконник и прижаться лицом к стеклу так, чтоб видеть верхние ветки дерева. Много лет прошло с тех пор, но я и сейчас очень легко представляю себе эту сказочную картину. На ней лишь одни голые, корявые темно-серые ветки черемухи, опущенные сверху белым снежком, а на ветках сидят красногрудые птички.

Милые друзья моего детства, мои милые снегири! Как я мечтал поймать хоть одного из вас и держать дома в клетке! Я воображал, что был бы самым счастливым человеком на свете, если бы мне подарили вдруг снегиря. Но мое детство так и прошло без снегиря. Никто никогда не дарил мне ни снегиря, ни какой-нибудь другой птички в клетке. Но я не жалею об этом. Я даже рад, что никогда не сажал вольную птицу в клетку, не держал ее взаперти, в то время как она могла летать и наслаждаться свободой.

И не знаю сейчас уже, испытал бы я полное счастье в те времена, если бы стал вдруг обладателем снегиря. Но зато хорошо знаю, что был самым счастливым человеком на свете именно тогда, когда смотрел на моих любимых пичужек из окна и предавался своим мечтам.

ПЕРВЫЕ ДВОЙКИ

Обычно, возвратившись из гимназии, мы с братом обедали, потом садились делать заданные на дом уроки, после чего отправлялись гулять. Но однажды, после обеда, когда мы уже вышли из-за стола, а мать была чем-то занята в кухне, брат сказал, не разжимая зубов и с каким-то индифферентным, то есть ничего не выражающим, выражением на лице:

— Пойдем гулять.

— А уроки делать когда? — спросил я.

— А уроки сегодня не будем делать, — с тем же невозмутимым видом ответил брат.

— А вдруг завтра спросят? — высказал опасение я.

— А может быть, и не спросят.

В этом ответе чувствовалось какое-то разумное основание. Ведь в гимназии было совсем не то, к чему мы привыкли, занимаясь с Павлой Аполлинариевной, которая каждый раз проверяла, сделали ли мы заданное на дом. Но если у Павлы Аполлинариевны нас было всего двое, то в гимназии, в классе, было около сорока учеников. Конечно, учитель при всем желании не мог на каждом уроке опросить всех учеников. Это мы, безусловно, скоро заметили, и мой сообразительный брат пришел к совершенно логическому умозаключению, что если учитель не каждый день спрашивает уроки, то можно не каждый день и учить их.

Мы потихоньку оделись и двинулись через кухню к выходу. Мать, конечно, увидела наш маневр и спросила:

— Куда же вы? А уроки учить?

Этот вопрос застал нас врасплох, но мой находчивый брат и тут не растерялся.

— Нам сегодня ничего не задано! — закричал он, успев выскочить в сени.

— Нам сегодня ничего не задано! — закричал я ликующим голосом, проскакивая боком сквозь полуоткрытую дверь вслед за братом.

Я нарочно кричал ликующим голосом, чтоб мать видела, как я радуюсь по поводу того, что нам ничего не задано. Эта уловка, очевидно, подействовала, и мать не стала задерживать нас.

Мы прогуляли до вечера, а на следующий день, к счастью (может быть, вернее было бы сказать — к несчастью), никто из учителей не спросил нас. Опыт, как говорится, удался, и мы стали его повторять. Не каждый день, конечно, так как в этом случае мать догадалась бы, что мы ее обманываем, а с промежутками. Однако теперь, когда мы садились за уроки, то выполняли их не целиком, а только наполовину или процентов на тридцать пять. Если мать спрашивала, почему мы так быстро сделали уроки, то мы отвечали, что сегодня нам мало задано.

Результаты такого отношения к учебе не замедлили сказаться на нашей успеваемости. В тетрадях у нас и в дневниках запестрели двойки и единицы. Я научился, как принято говорить, хлопать глазами, то есть молча стоять на виду у всего класса, когда учитель вызовет к доске и велит отвечать урок. В такие моменты мне было, конечно, стыдно, но я полагал, что это от непривычки, а когда я попривыкну, то перестану стыдиться своей нерадивости, глупости, тупости или неспособности к учению (не знаю, какое слово тут лучше употребить), и тогда все будет хорошо.

В конце концов родители все же заметили, что по части уче-

ния дела наши идут далеко не блестяще. Теперь по возвращении с работы отец время от времени устраивал нам проверку, в результате которой обнаруживалось, что задачи по арифметике решены нами неправильно или даже вовсе не сделаны. И в том и другом случае мы оправдывались тем, что задачи трудные и мы не знаем, как их решить. Приходилось отцу объяснять нам, но для этого ему самому сначала надо было понять, как сделать задачу. Однако задачи попадались подчас такие, что и ему были не по зубам. Он подолгу просиживал над задачкой, морщил лоб, хмурил брови, сердито сопел носом и на чем свет стоит проклинал составителей задачника, которые придумывают для детей такие задачи, что и взрослый не может решить.

К его чести нужно сказать, что он всегда додумывался до правильного решения. Но это была только половина дела. Вторая половина заключалась в том, чтоб растолковать нам, как сделать задачу, но тут у него, нужно прямо сказать, совсем ничего не получалось. Не могу припомнить, чтоб я хоть раз понял что-нибудь в его объяснениях. Обычно, объясняя, он нервничал, горячился, кричал, удивляясь, как это мы не понимаем того, что ему было совершенно ясно. Ему почему-то казалось, что чем громче он будет кричать, тем нам будет понятнее. Результат же получался противоположный. Я лично настолько шалел от этого крика, что терял способность соображать и уже даже не пытался понять задачу, а отвечал наобум, если отец задавал какой-нибудь вопрос. Услышав неправильный ответ, отец еще больше ярился, стучал по моему лбу указательным пальцем и кричал:

— Думать надо! Думать, а не болтать чепуху! Вот слушайте еще раз задачу.

И он снова, не знаю в какой раз, начинал громко читать задачу про какого-нибудь купца, который купил столько-то пудов муки первого, второго и третьего сорта, причем муки первого сорта было на столько-то меньше, чем муки второго сорта, и стоила она на столько-то дороже за пуд, чем мука третьего сорта, а муки третьего сорта было на столько-то больше, чем первого сорта, и стоила она на столько-то дешевле за пуд, чем мука второго сорта. И спрашивалось, сколько денег заплатил за всю купленную муку купец, если известно, что за муку третьего сорта он заплатил столько-то рублей.

Прочитав задачу, отец делал паузу, чтобы дать нам подумать, и спрашивал:

— Что нужно сделать?

— Помножить, — отвечал брат.

— Что помножить?

Брат называл число, выражавшее общее количество пудов муки, и число, обозначающее стоимость муки третьего сорта.

— Ну, и что будет? — с иронией спрашивал отец.

— Нет, поделить, поделить, — поспешно отвечал брат, видя, что не угадал.

— Ну, и что будет? — с той же иронией спрашивал отец.

— Не знаю, — пожимал брат плечами.

— Вот и балбес! Не знаешь, а говоришь! Что же будет, если ты станешь делить всю муку на стоимость третьего сорта? Что нам известно?

Мне хотелось сказать, что нам ничего не известно, но неверным ответом я боялся навлечь на себя гнев родителя и поэтому помалкивал. Видя, что мы оба молчим, отец сам отвечал на свой вопрос:

— Нам известно, сколько всего было муки, — это раз; известно, что муки первого сорта было на столько-то меньше второго, а третьего на столько-то больше, чем первого, — это два; еще известно, что пуд муки первого сорта был на столько-то дороже, чем пуд второго сорта, а пуд третьего сорта был на столько-то дешевле второго. Известно также, сколько стоила вся мука третьего сорта. Что мы можем узнать? — задавал он очередной вопрос.

Мне хотелось сказать, что мы ничего не можем узнать, но я решил сохранять благоразумие и продолжал молчать.

— Мы знаем, сколько стоила вся мука третьего сорта, — стараясь натолкнуть нашу мысль на верный путь, сказал отец. — Если бы мы знали, сколько стоит пуд муки третьего сорта, то, поделив, могли бы узнать, сколько пудов было третьего сорта. Мы можем узнать цену пуда муки третьего сорта.

На этот раз мне со всей решительностью хотелось сказать, что этого мы не можем, но отец продолжал:

— Можем! Почему?.. Потому что мы знаем, что пуд третьего сорта стоил на столько-то дешевле пуда второго, а пуд второго — на столько-то дешевле пуда первого. Сложив эти числа, мы узнаем, на сколько дешевле был пуд третьего, чем пуд первого, а чтоб узнать, сколько стоил пуд третьего, надо это число отнять от цены пуда первого сорта. Мы не знаем цены пуда первого, но мы можем узнать, так как знаем, сколько было всего пудов муки, и знаем, что первого было на столько-то меньше второго, а третьего — на столько-то больше второго. Если мы сложим эти числа и результат отнимем от общего количества муки, а то, что получится, поделим на три, а к тому, что полу-

чится, прибавим, на сколько больше, то узнаем, сколько было пудов муки первого сорта... Отсюда уже нетрудно будет узнать, сколько было второго и третьего сорта, так как мы знаем, на сколько их было меньше...

Нужно сказать, что, когда отец доходил до этого места в своих рассуждениях, я уже переставал представлять себе, что происходит вокруг, и понимал не больше, чем если бы он говорил не на русском языке, а по-китайски. Я сидел, словно погруженный в гипнотический сон, от которого меня пробуждал радостный возглас отца, которым он заканчивал свои рассуждения:

— Вот видите — все ясно! Значит, какой будет первый вопрос?

«Какой будет первый вопрос? Какой будет первый вопрос? — вертелось у меня в голове. — Да убей меня бог на этом самом месте, если я могу сказать, какой будет первый вопрос!»

Очевидно, у брата было не больше на этот счет соображений, чем у меня, так как и он сидел, не раскрывая рта. Наше молчание приводило отца в ярость. Он сам говорил, какой будет первый вопрос, и снова повторял все свои рассуждения, а когда доходил до конца, то оказывалось, что к этому времени мы уже успевали забыть, какой будет первый вопрос, и все приходилось начинать сначала, впрочем с тем же результатом. В конце концов он брал лист бумаги, записывал первый вопрос, производил соответствующее арифметическое действие, потом записывал второй вопрос, повторяя вслух каждое слово, словно вдавливал его в наши головы, опять делал нужное по ходу задачи сложение, вычитание, умножение или деление, записывал третий вопрос, и так до конца задачи. Обычно на этой стадии мы с братом говорили, что все поняли, и нам оставалось переписать отцовские записи в свои тетрадки, дополнив ошибками, которые были вполне оправданны, если учесть то состояние, в котором мы к тому времени находились.

Спустя несколько лет мне пришлось помогать в занятиях моим младшим сестре и брату, и неожиданно для себя я снова встретился с этим купчишкой, покупавшим пудами муку разных сортов. Я заметил при этом, что в задачнике шли задачи сначала попроще, потом посложней. Сначала купец покупал муку двух сортов, потом — трех, но в одинаковых количествах, и т. д.

Научившись предварительно решать задачки попроще, мы без особенного труда разобрались и в сложных задачках. Оказалось, вся беда заключалась в том, что, когда надо было решать простые задачи, мы с братом преспокойно гуляли, а когда

отец наконец взялся за нас, было поздно. Мы уже очень отстали. Класс за это время ушел вперед.

Не понимая, о чем на уроке ведется речь, я вообще переставал слушать объяснения преподавателя. Мысли мои витали где-нибудь далеко. Я все больше и больше привыкал к этому витанию и витал уже даже в тех случаях, когда разговор шел о чем-нибудь вполне доступном моему пониманию. Кризис, таким образом, усугублялся. Развязка приближалась.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Для меня лично все это кончилось, как принято говорить, плачевно: я остался в подготовительном классе на второй год. Это был первый крепкий щелчок, полученный мной от жизни, заставивший меня поверить, что я в каком-то смысле человек исключительный. На самом деле: исключая меня, все учившиеся вместе со мной ребята были переведены в первый класс. Даже брат мой был переведен, и для меня это было удивительнее всего. Уж я-то прекрасно знал, что отметки у него были ничуть не лучше, чем у меня.

Отцу, который по окончании учебного года побывал в гимназии, сказали, что старшенького, то есть моего брата, перевели в первый класс, а младшему будет полезнее посидеть еще годик в подготовительном классе, потому что он (он — это я, значит) слишком мал.

Такая акция со стороны гимназического начальства показалась мне крайне непоследовательной и несправедливой. Получалось, что меня оставили на второй год не потому, что я плохо учился, а потому, что был мал. Из этой истории можно было сделать лишь один согласующийся с законами логики вывод: плохо — не плохо учиться, а плохо быть маленьким.

О том, что плохо быть маленьким, мне и без всякой логики было известно, так как это я проверил на своей собственной практике. Ни для кого не секрет, что маленьким не только надо учиться, то есть ходить в школу, решать головоломные задачки, хлопать глазами, когда учитель спрашивал урок. У маленьких сверх того бывают еще разные обязанности по дому. На мне с братом лежала обязанность носить из колодца воду и ходить в булочную за хлебом.

Ходить в булочную было страшно, так как у ее двери постоянно дежурил преогромнейший, ростом с теленка, рыжий лохматый пес с толстым, как полено, хвостом и страшной, сви-

репой мордой, представлявший собой нечто среднее между мордой дикой свиньи и пятнистой гиены. К каждому, кто выходил из булочной, этот рыжий разбойник бросался и хриплым лаем выпрашивал подачку. Все покупатели уже знали этого попрошайку и, проходя мимо, бросали кусочек хлеба, который он ловил на лету и проглатывал, словно акула.

Меня этот рыжий бродяга, этот сухопутный крокодил, этот, с позволения сказать, «наш четвероногий друг» изводил до такой степени, что я не рад был и жизни. Ему было мало того, что я платил ему обычную дань, то есть, выходя из булочной, бросал кусочек хлеба. Нет! Проглотив подачку, он тут же бросался за мной вдогонку и рывкал у меня над ухом с такой силой, что душа моя уходила в пятки. Чтоб отделаться от моего преследователя, я швырял еще кусочек хлеба, стараясь забросить его назад, подальше, в надежде, что, пока пес будет разыскивать хлеб, я успею удрать. У пса, однако ж, был наметанный глаз и хороший нюх. Он быстро находил брошенный кусок и, проглотив его, снова догонял меня, так что приходилось швырять ему еще кусок, впрочем, все с тем же результатом.

Так он обычно преследовал меня чуть ли не до самого дома, после чего возвращался обратно к булочной.

Дома дело обходилось без нежелательных разговоров, если продавец отпускал в этот день мне хлеб с довеском. В таком случае можно было израсходовать на моего мучителя довесок, и пропажа не обнаруживалась. Если же довеска не было, приходилось отламывать для собаки кусочки от каравая или буханки. Мать обычно тут же замечала, что хлеб общипан, говорила, что этого нельзя делать, что если я хочу есть, то должен потерпеть до обеда... Если я пытался объяснить, что хлеба не ел, а отдал собаке, то мать говорила, что собаки бояться не надо, потому что она старая и беззубая и никого не кусает, что она вовсе не злая и не страшная. Все это, впрочем, ни в чем меня не убеждало. Я продолжал бояться собаку, и если бы это от меня зависело, то согласился бы совсем не есть хлеба, лишь бы не ходить в булочную.

Говорили, что эта собака настолько большая и прожорливая, что хозяин не в состоянии накормить ее досыта, и поэтому она промышляет у булочной по собственной, так сказать, инициативе. Говорили также, что у нее вовсе нет хозяина, что она просто бездомная и вынуждена сама заботиться о своем пропитании. Я все же думал, что хозяин у нее имелся, так как иногда ее у дверей булочной не было, и можно предположить, что в это время она отдыхала дома. Но, может быть, покушав у булочной хлеба,

она отправлялась куда-нибудь в мясную, чтоб подкрепиться мясом?

В сущности, для меня было безразлично, отдыхала собака дома или пошла в мясную. Не встретив на своем обычном посту моей мучительницы, я чувствовал себя счастливым... если в этот день мне не предстояло еще идти за водой.

В те времена в Киеве на таких окраинных улицах, как наша Борщаговская, водопровода вообще не существовало. Воду брали из колодцев, а колодцы имелись далеко не во всех дворах. Ближайший колодец, из которого разрешалось брать воду всем желающим, находился в полутора кварталах от нашего дома. Тащить ведро с водой в такую даль обременительно даже для взрослого, а для ребенка моих лет и вовсе было не под силу. При своей мизерной комплекции я еле мог дотащить полведра воды, да и то приходил с насквозь промокшими по бокам штанами: проклятая вода выплескивалась из ведра, и я, как ни старался, ничего не мог с ней поделать.

Это, однако, заботило меня меньше всего. Самое трудное заключалось в том, чтоб достать воду из колодца, над бревенчатым срубом которого имелся ворот с наматывающейся на него длиннущей цепью. К этой цепи привязывалось ведро. Первый этап операции состоял в том, чтобы, вращая железную рукоятку ворота, опустить ведро на дно колодца, вслед за чем наступал наиответственнейший момент: необходимо было сманипулировать рукояткой так, чтоб ведро наполнилось не целиком, а только наполовину (полное ведро я бы не смог вытащить из колодца). Если эта часть операции проходила успешно, нужно было снова вращать рукоятку, в результате чего цепь наматывалась на ворот, ведро с водой постепенно поднималось, пока наконец не появлялось вверху над срубом колодца. Тут наступал второй ответственный и даже рискованный, я бы сказал, момент. Прекратив вращение, теперь надо было одной рукой придерживать рукоятку ворота, а второй рукой поскорей схватить ведро за дужку, чтоб оно не полетело обратно в колодец. После этого можно было совсем отпустить рукоятку и, уже ухватившись обеими руками за дужку, вытащить ведро наружу.

Выполнять этот маневр было одинаково трудно как летом, так и зимой, но зимой дело осложнялось тем, что от постоянного расплескивания воды вокруг колодца постепенно образовывалась ледяная куполообразная гора. Воду приходилось доставать, стоя на вершине этого купола, поскользнувшись же на льду, можно было вполне свободно полететь в колодец с ведром в руках. Этого со мной, однако, не случилось ни разу, и скорее

всего потому, что работать воротом мне самому приходилось не так уж часто. Обычно у колодца брал воду кто-нибудь из взрослых, и каждый из них охотно наливал мне полведра воды. Если же у колодца никого не было и я, доставая воду, терпел бедствие, что случалось, когда ведро наполнялось целиком и у меня не хватало сил «выкрутить» его из колодца, я терпеливо ждал, пока не прибудет помощь. И помощь в виде идущих к колодцу мужчины или женщины с ведром в руках обычно вскорости появлялась. Спасибо всем этим добрым людям. Это я считаю своим долгом сказать теперь, потому что тогда я, кажется, частенько забывал даже поблагодарить их.

Свет, как говорится, не без добрых людей, и если бы на свете были одни только добрые люди, то я даже не знаю, что было бы! К сожалению, на свете, помимо добрых, всегда имеется и некоторое количество злых людей. На нашей Борщаговской улице тоже жил один злой человек, от которого мне приходилось много терпеть. Звали этого злого человека Степка-растрепка. Он был на год или на два старше меня и часто ходил мимо нашего дома. Первое время после того, как мы переехали на Борщаговскую улицу, я этого Степку не замечал. Мне до него не было дела. И ему до меня не было дела. Каждый из нас был сам по себе. Но на нашей улице напротив нашего дома жили две маленькие девочки. Сейчас я уже не помню, как их звали. А может быть, я даже и не знал их имен. Мне до них тоже, в общем-то, дела не было. Помню, что одна из них была черненькая, то есть черноглазая и с черными волосами, другая — беленькая. Они играли у себя во дворе, часто выскакивали из калитки на улицу и бегали в палисаднике перед домом.

И вот однажды, когда Степка шел по улице, они высунулись из калитки и, подождав, когда он пройдет, крикнули вслед: — Степка-растрепка, Бешеный Огурец!

Степка моментально остановился, круто повернулся и бросился к обидчицам. Девчонки, однако, успели захлопнуть у него перед носом калитку и запереть на крючок. Степка с разбегу налетел на калитку и тут же отскочил от нее, как футбольный мяч, попавший в штангу ворот. Видя, что калитка заперта, он поднапер на нее плечом, но так как это не помогло, он в сердцах стукнул по ней ногой и, больно ударившись, запрыгал на одной ноге.

Вся эта сильно комическая сцена разыгралась у меня на глазах, а так как я был большой любитель посмеяться, то тут же расхохотался. Услышав смех, Степка обратил весь свой гнев на меня.

— А ты тут чего еще зубы скалишь? — закричал он и помчался через дорогу прямо ко мне.

Я быстро юркнул к себе во двор, а он, остановившись в калитке, закричал, грозя кулаком:

— Ну, ты еще попадешься мне!

И действительно! С тех пор я стал ему «попадаться». Обычно, увидев меня на улице, он бросался за мной в погоню и если успевал догнать до того, как я скроюсь в калитке, то давал мне по шее. Это было обидно и ужасно меня сердило. Не зная, как отплатить ему, я дожидался в бессильной злобе, когда он отойдет от наших ворот подальше, и, высунувшись из калитки, кричал:

— Степка-растрепка, Бешеный Огурец!

Он же отвечал, что я еще попадусь ему, что мы еще встретимся, что он мне покажет и прочее в таком роде. И, конечно же, оказывался прав. Я не раз улепetyвал от него, и успех мне сопутствовал лишь в том случае, когда я был ближе к спасительной калитке, чем он. Если же дислокация была такова, что ближе к калитке оказывался он, то дело не обходилось без подзатыльников и тумачков.

Самая неблагоприятная ситуация для меня возникала, если я попадался ему, когда нес из колодца воду. Поставить ведро на тротуар и вступить в единоборство с ним я не мог, поскольку он был и старше меня и сильнее. Оставить ведро и убежать тоже было нельзя, так как он мог плюнуть в ведро или просто опрокинуть его и разлить воду. В таких случаях я, насколько мог, убыстрял шаг, стараясь не выпустить из рук ведро, а он спокойненько шел за мной и отвешивал подзатыльники один за другим, пока, в конце концов, я все же не добирался до заветной калитки.

В общем, терпеть от этого Степки мне приходилось не меньше, чем от собаки, дежурившей у булочной. Может быть, даже больше. В действиях собаки не было ничего оскорбительного, унижающего мое человеческое достоинство. Собака просто хотела есть и не имела намерения обидеть или напугать меня. Но Степка систематически и сознательно колотил и унижал меня. И за что? За то, что я смеялся? Но попробуйте не смеяться, когда вам смешно, и вы увидите, что это так же трудно, как плакать, когда не хочется плакать. Ну и пусть бы я был виноват в том, что смеялся, все-таки кара за это была неестественно велика. Наказание, так сказать, не соответствовало преступлению.

Степка наказывал меня лишь потому, что он мог наказывать, а не потому, что я заслуживал наказания. Допустим, что я был

бы такой же большой, как Степка, а Степка был бы такой маленький, как я в те времена. И если бы я (большой) посмеялся над Степкой (над маленьким Степкой), разве он мог бы после этого колотить меня? Нет! Пришлось бы ему потерпеть, вместо того чтобы показывать свою власть. Таким образом, вся моя беда заключалась лишь в том, что я был слишком мал.

И вот в довершение всех бед я остался еще на второй год. И опять-таки, выходит, потому, видите ли, что был «слишком уж мал». Что тут скажешь на это?.. Ха-ха, как говорится! И ничего больше.

НА ДНЕ

Люди, не имеющие детей, иной раз больше любят заняться с детишками, нежели их собственные родители. Родители, должно быть, думают, что с этим еще успеется, а время между тем потихонечку идет себе да идет, ребята вырастают, а тогда чего уже с ними играть? А может быть, родителям и без того надоедает возиться с детишками, так сказать, в силу своих родительских обязанностей? Бездетные же люди имеют какую-то потребность общения с детьми и поэтому не прочь иногда поиграть с ними, пошутить, поговорить на разные темы.

У дяди Володи, очевидно, имелась такая потребность, а поскольку своих детей не было, он любил подшучивать со мной и братом: поиграть с нами в мяч или в снежки, сходить в лес или покататься с горы на санках. К тому же он часто покупал нам подарки, так как у него всегда были деньги. Вернее, деньги были у его жены Софьи Павловны или, проще говоря, моей тети Сони, но, поскольку он на ней женился, эти деньги считались все равно что его, и он начал думать, как бы пустить их в оборот. В конце концов он додумался заняться торговлей и открыл лавку.

В те времена на Галицкой площади (то есть на одной из самых больших киевских площадей) был огромный рынок. Как раз в том месте площади, где кончался Бибиковский бульвар, был построен ряд новых деревянных лавок. Одна из этих лавок была дяди Володина. Купил он ее или арендовал, этого я не знаю. Торговля в этой лавке велась дегтем, колесной мазью, мелом для побелки стен, коноплей, просом, овсом, отрубями, жмыхами, мылом — в общем, всем, что могло понадобиться крестьянам, привозившим на рынок продукты своего хозяйства. Кроме того, торговля велась древесным углем, употреблявшимся в те времена повсеместно для жаровен и самоваров.

Держать уголь в лавке было нельзя, так как он все вокруг пачкал. Весь запас этого товара хранился в специальном амбаре, построенном во дворе позади лавки. Было, однако, хлопотно каждый раз закрывать лавку и отправляться с покупателем в амбар, чтобы отпустить уголь. Поэтому дядя Володя придумал, чтоб на время летних каникул мы с братом по очереди (то есть один день я, другой день он) сидели в амбаре и отпускали покупателям уголь. Он сказал, что это дело нехитрое, что сидеть в амбаре придется каждому лишь через день, так что останется время и на гулянье, а между тем мы будем потихонечку приучаться к делу.

Таким образом, началось наше великое (как мы его называли потом) сидение в амбаре.

Этот амбар представлял собой огромный погреб или, если выразиться более современно, бункер, то есть наполовину врытый в землю сарай с серым цементным полом и потолком и такими же цементными стенами. В этом бункере имелось лишь одно крошечное, забранное железной решеткой окно, к тому же находилось оно не на обычном уровне, как в домах, а высоко под потолком, как это делается в тюрьмах. Кроме маленького кусочка неба, в это окно ничего не было видно.

Тут же, под окном, то есть на самом освещенном месте, была насыпана куча древесного угля, стоял стул, на котором я мог сидеть, а к железному крюку, прикрепленному к потолку, были подвешены огромные весы с коромыслом и двумя большими медными чашками. На этих весах я взвешивал уголь. При этом поднимались целые тучи мельчайшей угольной пыли, которая оседала у меня на лбу, на носу, на щеках и даже на ушах, так что на сплошь черном, словно покрытом сажей, лице у меня сверкали только белки глаз да зубы во рту. Мало того: эта проклятая пыль лезла и в нос и в рот, так что мокрота, которой я то и дело отхаркивался и сморкался, была чернее самого черного дегтя.

Время от времени ко мне в подвал спускался кто-нибудь из покупателей с записочкой от дяди Володи, на которой было обозначено, сколько угля следовало отпустить. Каждому покупателю я отвешивал требуемое количество угля и от каждого выслушивал какое-нибудь насмешливое замечание по поводу того, что я слишком мал, или что я слишком черен, или что я здесь, в этом подвале, словно чертенок в аду, а уголь у меня, стало быть, для поджаривания грешников. На все эти не слишком разумные замечания я отвечал презрительным молчанием, так как что тут ответишь? Разве моя вина в том, что я был слиш-

ком мал, и разве я мог не быть черным, если имел дело с углем?

Когда торговля кончалась и я отправлялся домой, прохожие на улице оглядывались на меня и тоже отпускали разные шуточки по моему адресу. А маленькие ребяташки бежали иной раз за мной гурьбой и кричали, захлебываясь от смеха:

— Трубочист! Негритенок! Страшила! Чучело!

Особенно тягостными были для меня первые дни сидения в этом угольном каземате. Покупатели являлись не часто, поэтому скучать приходилось главным образом в одиночестве. Сидя на стуле, я глядел на кучу угля, над которой в серебристой полоске солнечного луча, падавшего из окна, толклись мириады угольных пылинок. Но мысленно я был далеко от этой кучи. Я был со своими друзьями, которые, как всегда в это время, гуляли в Кадетской роще, купались или удили рыбу в Кадетском пруду. Пруд этот огромный — целое озеро — был тут же, рядом с Кадетской рощей. Кроме пруда, неподалеку имелось еще обширнейшее болото, по которому можно было путешествовать, прыгая с кочки на кочку или бродя по колону в воде.

Как раз накануне, совершая путешествие по болоту, мы нашли под кустом, на кочке, гнездо дикой утки с выводком диких утят. Утята были крохотные, пушистые и до такой степени легкие, что, казалось, ничего не весили. Их можно было брать из гнезда и сажать в воду, и они не тонули, а без всяких усилий держались на поверхности воды. Самой утки поблизости не было. Может быть, мы спугнули ее и она пряталась от нас где-нибудь в кустах или зарослях камыша. Мы решили утят не трогать, а приходить сюда ежедневно и наблюдать, как будут они расти.

Ну и вот!.. Теперь, вместо того чтобы гулять в лесу, купаться или ловить рыбу в пруду, вместо того чтобы путешествовать по болоту и любоваться дикими утятами, я должен был сидеть в темном, сыром подвале в ожидании редких покупателей и томиться от скуки.

Когда глаза мои полностью освоились с царившим вокруг полумраком, мое внимание привлекла лежавшая в одном из темных углов подвала куча того, что теперь называют макулатурой, а тогда называлось просто бумажным хламом. Здесь были старые газеты, журналы, не переплетенные и даже не разрезанные книжки собраний сочинений разных писателей, которые давались в приложениях к выходившему в те времена журналу «Нива». По мере надобности дядя Володя брал из этой кучи бумагу и относил ее в лавку для заворачивания покупок своим покупателям.

Как только эта куча попалась мне на глаза, я принялся читать книгу за книгой и в сравнительно небольшой срок прочитал полные собрания сочинений Гауптмана, Ибсена, Гамсуна, Метерлинка и ничего или почти ничего в них не понял. В то время я еще не умел выбирать книги, подходящие для моего возраста, а читал все без разбора и не бросал книгу, если видел, что она для меня непонятна, а продолжал упорно читать, надеясь, что мне вдруг, каким-то чудом откроется ее тайный смысл.

Однажды, роюсь в куче бумажного хлама, я вытащил какую-то старую, истрепанную книжонку, в которой листочки еле держались, а некоторые и вовсе были оторваны. Обложка истерлась до такой степени, что мне с трудом удалось прочитать название. Это были сказки Ганса Христиана Андерсена. Я хотел эту книжку тут же бросить обратно в кучу, но подумал: если она так сильно потрепана, то это потому, должно быть, что ее читали многие люди, а раз так, то, наверное, она интересная. Я начал эту книгу читать и уже не мог от нее оторваться. Хотя я уже знал в то время, что сказки — это неправда, мне казалось, что в этих сказках изображена самая настоящая, самая доподлинная жизнь.

Особенно сильное впечатление произвела на меня в этой книжке история, которая называлась «Гадкий утенок». Я очень сочувствовал бедному утенку, потому что мне самому приходилось в жизни терпеть много обид: и от страшной собаки, и от бешеного Степки-растрепки, и от ребятишек, которые дразнили меня, и от насмешливых покупателей. К тому же еще я остался на второй год и меня все время сверлила мысль, что, как только закончится лето, я снова пойду в школу, и все ребята, с которыми я учился в прошлом году, будут подходить ко мне и с презрением говорить:

«Эх, ты! Остался на второй год! Мы теперь будем первоклассники, потому что мы умнее. А ты глупый. Ты глупый гадкий утенок, вот ты кто!»

ЗА ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ

А в общем, все обошлось как-то. Никто не дразнил меня, когда я пришел осенью в школу, никто не говорил презрительных слов. Все для меня началось заново, с той разницей, что теперь я сидел за партой уже не с братом, а был у меня товарищ Володька Митулин, маленький худенький мальчик с остреньким носиком, бледным лицом и большими голубыми глазами. Я очень

привязался к нему, так же как и он ко мне. У него была страсть: дарить что-нибудь. Бывало, придет утром в класс с каким-нибудь красивым карандашом и показывает мне:

— Смотри, какой карандаш. Правда, красивый?

— Красивый,— соглашаюсь я.

— Вот попробуй, как хорошо рисует.

Я возьму карандаш, почиркаю по бумаге.

— Правда, хорошо?

— Хорошо,— соглашаюсь я.

Он заглядывает мне в глаза. Видит, что карандаш на самом деле нравится мне.

— Хочешь, тебе подарю?

Я, понятное дело, отказываюсь. Мне не хочется отбирать у него вещь, которая его так радует. Тогда он начинает клясться, божиться, что ему ничуть не жалко, что, если он захочет, у него завтра же будет тысяча таких карандашей. Видя же, что я не соглашаюсь, он кричит своим тоненьким голосом:

— Ну хорошо, пополам! Пополам!

И, уже не дожидаясь моего согласия, вытаскивает из кармана перочинный нож и разрезает карандаш на две части.

Я, конечно, тоже старался не оставаться в долгу, и у нас установилось такое обыкновение: что бы у кого ни было — карандаш, грифель, ластик, мелок, кусок смолы, сургуча, пластилина или оконной замазки,— все пополам. Но бывают ведь вещи, которых не разделишь так просто: какая-нибудь диковинная пуговица, красивая открытка, иностранная монетка или почтовая марка. Попробуй, однако, отказаться от медной блестящей пуговицы (самой настоящей солдатской пуговицы!), если ему уж так хочется подарить тебе! Сегодня ты не взял у него пуговицу, а завтра он не возьмет у тебя переводную картинку, которую тебе хочется подарить ему.

— Вот возьмешь,— говорит,— пуговицу, тогда возьму у тебя картинку.

В общем, был он какой-то, что называется, «шиворот-навыворот», не такой, как другие мальчишки, с которыми один разговор:

«Вот ты не дал мне вчера пуговицу, которую я просил, а сегодня не получишь у меня картинку. Как говорится — фигос под нос!»

Однажды приносит осколок красного стекла. Если приложить его к глазу, а другой глаз зажмурить, то весь мир вокруг преображается: все становится ярким, красочным, необычным,

словно попадаешь в какое-то волшебное царство. Смотришь в это стеклышко, смотришь, никак наглядеться не можешь. А он только улыбается:

— Хочешь, тебе подарю?

Увидев, однако, по выражению лица, что ты не можешь принять от него такую драгоценность, тут же спохватывается:

— Ну, ладно, пополам! Пополам!

Как всегда быстрый на руку, он кладет стеклышко на пол — и трах каблуком. Вместо того чтоб расколоться надвое, стеклышко разлетается на мелкие части, которые и собрать нельзя. Он смотрит на них с каким-то спокойным недоумением и не спеша садится за парту.

— Ну вот,— говорит,— ни мне, ни тебе не досталось.

И все это с каким-то непривычным добродушием, без всякой досады, будто и дело было только в том, чтоб никому не досталось.

Нужно сказать, что игрушками, которые есть у теперешних ребят, мы не были избалованы, потому что тогда шла война. Это была первая мировая война, которая началась, еще когда мы жили в Ирпене, то есть до нашего поступления в гимназию. Вначале все думали, что война скоро кончится, но шли дни, недели, месяцы и годы, а конца ей все не было видно. Множество народа было убито, искалечено, отравлено ядовитыми газами. Миллионы рабочих и крестьян были оторваны от своей работы и посланы на фронт. В деревнях не хватало рабочих рук. Некому было сеять хлеб. Жить с каждым днем становилось трудней.

Теперь мне не просто надо было сходить в булочную да купить хлеба. Приходилось иной раз отстоять в длинной очереди. А бывало и так, что хлеба на всех не хватит, и вернешься домой с пустыми руками.

Люди потихоньку говорили между собой, что простому русскому человеку, так же как и простому рабочему-немцу, не за что убивать друг друга, что война нужна только нашему царю Николашке (так непочтительно называли в народе царя Николая Второго) и немецкому кайзеру Вильгельму, которые задумали отнять друг у друга какие-то земли, и вот если мы сделаем революцию и свергнем царя Николая, а немцы свергнут своего Вильгешку, то война прекратится сама собой, солдаты разъедутся по домам, и всем сразу станет легче.

Таким образом, Февральская революция, которая произошла, когда я второй год учился в подготовительном классе, не была неожиданностью для меня, но в то же время она соверши-

лась неожиданно, как случается то, чего давно с нетерпением ждешь. Сейчас я уже не помню, на каком из уроков явившийся в класс учитель с торжественной значительностью в голосе объявил нам, что произошла революция и царь Николай Второй отрекся от престола.

Это сообщение вызвало всеобщее ликование. И тут же обнаружилось, как понимали мы, дети, смысл происшедшего. В нашем представлении слово «революция» было равнозначно словам «свобода», «воля». А свобода, по нашему мнению, была, когда каждый мог делать, что ему хочется, и не делать, чего не хочется; следовательно, мог бы и не учиться, потому что учиться нам, в общем-то, не хотелось. Кто-то из учеников тут же выскочил из-за парты и, несмотря на присутствие учителя, широко распахнул дверь и выбежал вон из класса. Вслед за ним бросились и мы, то есть все остальные.

Коридор быстро заполнялся учениками, выбежавшими из других классов. Все мы с диким визгом, криком и гиканьем ринулись вниз по лестнице, словно лавина с гор, и, выбежав на улицу, принялись рвать в клочья свои тетради, дневники и даже учебники. Весь короткий Рыльский переулок был густо усеян изорванными листочками из книг и тетрадей.

На следующий день поднялся сильный ветер. Он вымел из Рыльского переулочка все эти бумажки прямо на Софийскую площадь. Они кружились в воздухе, словно птичья стая, вокруг памятника Богдану Хмельницкому. И железный гетман, сидя на железном коне, властно указывал на вихрившиеся вокруг обрывки бумаги своей гетманской булавой. Мне запомнилась эта картина.

Время, однако, шло, а перемен что-то не видно было. Заводы и фабрики по-прежнему оставались в руках богачей-фабрикантов. По-прежнему богачи помещики владели огромными землями, а у бедняков крестьян земли не хватало и нечем было прокормить себя и свою семью. И самое главное — по-прежнему шла война, уносящая тысячи жизней.

Но правду сказать, перемены все же какие-то произошли, и заключались они в первую очередь в том, что если о чем-то прежде говорили таясь, потихоньку, то теперь не стеснялись говорить во весь голос. Все повсюду о чем-то спорили... хотя вру, прошу прощения — спорили не о чем-то, а о том, как жить дальше, что делать, какая должна быть революция, какая власть.

У нас в доме споры происходили между отцом и дядей Колей, братом моей матери. Дядя Коля часто приходил к нам

и был очень дружен с отцом. Предметом их споров были обычно разногласия между большевиками и меньшевиками. Отец был за большевиков и считал, что правы большевики. Дядя Коля был за меньшевиков и считал, что правда на их стороне. Слушая эти споры, я никак не мог понять причину разногласий, да, признаться, подозревал, что и сами спорщики этого до конца не понимали. Если отец говорил, что правы большевики, так как они хотят того-то и того-то, то дядя Коля отвечал, что ведь и меньшевики хотят именно этого, на что отец отвечал, что меньшевики хотят не этого, а чего-то другого, а дядя Коля отвечал, что чего-то другого хотят именно большевики. Спорщики постепенно забирались в такие словесные дебри, из которых сами уже не могли выбраться, и спор кончался тем, что дядя Коля, сунув в пепельницу уже не знаю какую по счету выкуренную папиросу, с добродушным упрямством мотал головой и говорил:

— Не-ет, я все-таки меньшевик!

— А я большевик! — не сдавался отец.

Нужно сказать, что спорили они вполне корректно, без запальчивости, не теряя уважения друг к другу. Может быть, тому причиной были родственные отношения и разница в возрасте. Дядя Коля был младше. Отец знал его еще мальчиком, по привычке говорил ему «ты» и называл просто Колей. Дядя Коля неизменно говорил отцу «вы» и называл Николаем Петровичем.

Ни тот, ни другой не были членами большевистской или меньшевистской партий, но в тогдашние времена было такое обыкновение: кто был за большевиков, тот считал себя большевиком и говорил, что он большевик, а кто разделял взгляды меньшевиков, говорил о себе: «Я меньшевик».

Что касается меня лично, то я безусловно был за большевиков, но, признаюсь, вовсе не потому, что знал программу большевистской партии и мог сказать, чем она отличается от других всяких программ, а, во-первых, потому, что за большевиков был отец, во-вторых, само слово «большевик» мне нравилось, а слово «меньшевик» не нравилось по той ассоциации, что больше всегда лучше, чем меньше; лучше иметь чего-нибудь больше, нежели меньше, лучше быть большим, а не маленьким и т. д. К тому же из всех разговоров определенно чувствовалось, что большевики против буржуев (так тогда было принято называть богачей), что они за народ, то есть за бедняков, и не просто за бедняков, а за самых бедных, за неимущих, у кого совсем ничего нет, за пролетариев. Кстати,

слово «пролетарий» тоже нравилось; в нем было что-то легкое, воздушное, летающее.

Эти слова, то есть «большевики», «меньшевики», «буржуи» и «пролетарий», были самые употребительные в те времена. Их можно было услышать дома и во дворе, на улицах и площадях. Наравне с ними употреблялось, пожалуй, только слово «долой»: «Долой войну!», «Долой буржуев!», «Долой Временное правительство!», «Долой десять министров-капиталистов!» (то есть тех десять богачей-министров, из которых состояло Временное правительство).

Ветер революции только подул, а взбаламученное людское море уже не могло успокоиться. Оно бурлило, кипело. Его, как говорится, штормило. На городских площадях то и дело происходили митинги. На платформу подкатившего к тротуару грузовика один за другим взбирались ораторы и выступали перед собравшейся вокруг толпой. Они говорили, щедро уснащая свои речи такими словами, как «эксплуатация», «экспроприация», «национализация», «демократизация», «демобилизация», «контрибуция», «реставрация», «узурпация», «милитаризация» и так далее в этом роде. Насыщенные такими словами речи были непонятны мне. Да и не одному мне, насколько я мог заметить. Уже после митинга в поредевшей толпе начинались свои, более понятные для меня разговоры.

— Чего там рассусоливать долго,— говорил какой-то бородатый дядя, обращаясь к стоявшему рядом такому же дяде, но без бороды.— Отобрать у богачей все богатства и поделить между остальными.

— А как делить? Поровну, что ли? — спрашивал тот, который без бороды.

— Знамо дело, поровну. Как же еще?

— Ишь ты! «Знамо дело»! — передразнивал который без бороды.— Вот поделим поровну. Тебе, скажем, тыщу рублей и мне тыщу. Ты свою тыщу проедать начнешь, а я в дело пушу: фабричку заведу, рабочих найму, продукцию выпускать начну да тебе и таким, как ты, продавать буду. Ты свою тыщу через год проешь да ко мне в работники наниматься придешь. Вот так и будет: сначала поровну, а пройдет время — новый класс богачей народится. Тогда что? Новую революцию делать?

— Ну, тады что? Тады новую,— растерянно бормотал бородач.

— Эх, ты! «Тады, тады»! — корчил презрительную гримасу собеседник и, раскрыв рот, показывал бородачу язык: — Вот тебе и «тады»!

Такие разговоры были более понятны и оставались в памяти. Постепенно становилось ясно, что простым дележом награбленных богачами капиталов дела не решишь, а нужны меры, чтоб одни люди не могли обогащаться за счет других.

Многие революционеры, томившиеся при царе в тюрьмах, получили свободу. То было время, когда в Россию вернулся Ленин, скрывавшийся от преследования царского правительства в Швейцарии. Возвращались и другие революционеры, бежавшие из России в разные страны. Постепенно возвращались политические ссыльные и каторжники из далекой Сибири.

Как только произошла Февральская революция, все запреты царского правительства отпали как бы сами собой, и на сцене снова появился квартет «сибирских бродяг». В это время я и услышал песни тюрьмы и воли, но уже не дома, а на концерте, на который взял меня с братом отец. До этого я ни разу на эстрадном концерте не был. Был только несколько раз в кино, два раза в цирке и один раз в оперном театре.

Никакой концерт тогда не обходился без так называемых куплетистов, рассказчиков, танцоров (в большом ходу был эстрадный танец чечетка), а также оригинального жанра, то есть фокусников, иллюзионистов, отгадчиков мыслей на расстоянии, эксцентриков, которые до упаду смешили публику, разыгрывая самые уморительные сценки. Впервые попав на концерт, я на все это смотрел, как говорится, разинув рот и развесив уши, а когда в конце концов на сцене появился квартет «сибирских бродяг», я не узнал этих хорошо мне знакомых людей, в том числе и родного отца. Мало того, что они нарядились в какую-то несусветную рвань, у всех были всклокоченные, словно давно не чесанные волосы, лица заросли дремучими бородами, за плечами — котомки, в руках — длинные суковатые палки или посохи. Лишь у одного палки не было, а был баян. Уже когда запели, я понял, что тот, который с баяном, и есть мой отец, так как я знал, что он не только поет в квартете, но и аккомпанирует на баяне. Я догадался, что он, как и другие, загримировался, надев парик с косматыми волосами, наклеив бороду и усы. Помимо лаптей с онучами и покрытого разноцветными заплатами коричневого крестьянского армяка, на нем была старая, помятая, выдавшая виды черная шляпа, на полях которой зияла дыра величиной с кулак.

После исполнения квартетом каждого номера публика оглушительно хлопала в ладоши, кричала «браво», стучала ногами и приходила в такое неистовство, словно перед ней были не

артисты, а самые настоящие беглые каторжники, явившиеся на сцену прямехонько из сибирской ссылки.

С тех пор мы с братом пользовались любой возможностью, чтоб попасть куда-нибудь на концерт, а концерты тогда давались не только в эстрадных театрах или концертных залах, но даже в кино. Некоторые киевские кинотеатры в те годы работали не по обычному графику. Отдельных сеансов в этих кинотеатрах не было. На весь вечер полагался один киносеанс, перед которым устраивали большой эстрадный концерт. Публика в убытке не была. Насладившись концертом, она смотрела еще на закуску кинопрограмму, состоявшую обычно из так называемого видового фильма, кинохроники, короткометражной комедии с тумаками и подзатыльниками и большой драмы с завлекающим названием или американского боевика с ковбоями, с погонями, убийствами, нападениями, похищениями, с индейцами, вигвамами, мокасинами и томагавками.

Фильмы эти были так называемые немые, но шли они не в абсолютной тишине, а под музыку, исполняемую на пианино. Пианист время от времени поглядывал на экран и, если в картине было что-нибудь грустное, исполнял выбранную на свой вкус какую-нибудь грустную мелодию; если в фильме происходила битва, драка, погоня, падение поезда под откос или с моста в реку, он играл что-нибудь бравурное; когда же на экране общество веселилось или происходили танцы, он тут же переключался на какой-нибудь плясовой мотив. Без такого музыкального сопровождения немой фильм терял больше половины своей прелести, и многое в его восприятии зависело от квалификации пианиста, от его умения подобрать на каждый момент соответствующую музыку и тронуть, так сказать, зрителя за душу качеством исполнения.

Я не знаю, какой кинофабрикой был поставлен демонстрировавшийся в те времена кинофильм под названием «По диким степям Забайкалья». Содержание его примерно следующее. У какого-то бедняка крестьянина за неуплату долга помещику городовые отбирают единственную корову. Отчаявшийся крестьянин оказывает сопротивление полиции. За это его отдают под суд и ссылают в Сибирь на каторгу. Дома остаются жена, малые ребятишки, старенькие родители. Истосковавшись по родным, по дому, бедняга совершает побег, пробирается с невероятными трудностями через всю Сибирь, но, когда уже почти добирается до родного дома, его снова хватает полиция и водворяет обратно на каторгу, так и не дав повидаться с родными.

Не знаю также, кому именно принадлежала мысль пока-

зывать этот фильм не просто под музыку, а в сопровождении квартета «сибирских бродяг», но эффект получился самый ошеломляющий. Содержание исполняемых квартетом песен предельно соответствовало содержанию фильма, и это производило такое эмоциональное воздействие на публику, что все плакали. Когда я впервые смотрел этот фильм, то, оглядевшись по сторонам, заметил, что весь зал буквально пестрел беленькими носовыми платочками, которыми зрители утирали слезы. Я был уверен, что у меня ко всем этим песням уже давно выработался стойкий иммунитет. Поэтому я довольно долго крепился, но когда исполнение дошло до слов:

Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берет,
Унылую песню заводит:
Про родину что-то поет...—

и увидев в то же время на экране, что бродяга действительно садится в лодку и, открывая рот, что-то поет, я не выдержал, и слезы брызнули из моих глаз. Теперь уже до конца фильма слезы душили меня. Жалко было невинно пострадавшего беднягу. И в душе зрела ненависть к обездолившему его богачу помещику и вообще ко всем богачам, полицейским, царским чиновникам, чинившим суд и расправу над бедняками. И я, может быть впервые, понял, что неспроста народ сочинил песни тюрьмы и воли. Неспроста существовали эти песни и квартет, распевавший их. Они будили мысли и чувства людей и тем самым служили делу борьбы за торжество справедливости на нашей земле.

«ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ»

С империалистической войной покончила лишь Октябрьская революция. Однако тут же началась гражданская война, так как беляки вовсе не хотели уступать власть Советам. Когда в городе устанавливалась Советская власть, отец вместе со всем квартетом работал в культпросвете (то есть в отделе культурного просвещения) Красной Армии. Работа эта заключалась в тех же выступлениях квартета «сибирских бродяг», но происходили они уже не в театрах или концертных залах, а в красноармейских частях или военных госпиталях. На одном из таких выступлений в госпитале мне случилось побывать,

и этот день мне особенно запомнился, может быть, потому, что тогда я познакомился с настоящим большим искусством театра.

Я и раньше знал, что существуют драматические театры, где актеры играют пьесы, но думал, что это неинтересно, поскольку там не показывают фокусов, не пляшут чечетку, не играют на музыкальных инструментах, даже не поют под музыку, как в опере, а просто говорят простыми человеческими словами, как в простой человеческой жизни. К тому же я воображал, что выступления артистов будут происходить в какой-нибудь больничной палате, где на койках будут лежать раненые. Эти раненые будут стонать от боли, а артисты будут делать свое дело, то есть петь, играть, плясать, не обращая внимания на стоны и слезы.

Все, однако, вышло не так, как рисовалось моему воображению.

Оказалось, что при госпитале, который помещался в здании бывшего военного училища, имеется большой зал со сценой, как в настоящем театре. Мы приехали задолго до начала спектакля, но на сцене несколько актеров и актрис уже готовились к представлению: намечали, где что будет стоять из мебели, кто и откуда будет выходить на сцену, наскоро проговаривали текст своих ролей, и из услышанных слов я понимал, что собирались играть гоголевскую «Женитьбу». Это произведение моего любимого Гоголя к тому времени я уже прочитал, но оно не произвело на меня такого впечатления, как «Вий», «Тарас Бульба» или «Страшная месть».

Я слонялся по скупо освещенной сцене, разглядывая кулисы и несложную декорацию, вернее сказать — задник, изображавший стену комнаты со стоящими на подоконниках олеандрами, фикусами и геранью в горшках. Сбоку была приколочена к полу довольно шаткая рама с навешенной на нее легкой фанерной дверью, открывая которую актеры могли входить, появляясь на сцене.

В зрительном зале, отгороженном от сцены занавесом, тоже был полумрак. От пустых, не заполненных зрителями рядов стульев веяло казарменной скукой. Через некоторое время в зале включили полное освещение. Понемногу, не спеша начали собираться зрители. Своим внешним видом большинство их ничем не напоминало раненых бойцов. Некоторые были в старорежимных солдатских гимнастерках или матросских бушлатах, другие — в простых рубашках-косоворотках, куртках или вошедших тогда в моду френчах с застегивающимися на пуговицы огромными накладными карманами. Очевидно, это

был период, когда в Красной Армии еще не было введено специальное обмундирование и бойцы воевали в той одежде, в которую их одели еще в царской армии или в которой они пришли из дому. В общем, публика почти ничем не отличалась от обычной городской публики. Разница была лишь в том, что обычно, отправляясь в театр, люди старались принарядиться, а эти были в простом, если так можно выразиться, затрапезном виде, впрочем без всяких следов неряшливости, расхристанности. Бросалось в глаза отсутствие женщин, которые обычно придают нарядный вид театральной толпе. Здесь были одни так называемые мужики. Попадались среди них раненые: кто с рукой на перевязи, кто с палочкой или даже с костылем, но в основном это были уже почти совсем оправившиеся от своих ран бойцы. Они приходили с какими-то серьезными, даже, как мне показалось, суровыми лицами. Было заметно, что чувствовали они себя тут привычно, как дома, но вели себя тихо, разговаривая между собой негромко, без шуточек, без смеха, без балагурства, которое частенько бывает необходимой принадлежностью мужского общества, как только оно соберется в количестве более двух человек. Дисциплинка, так сказать, ощущалась. А может быть, сказывалось уважение к месту, в котором собрались бойцы.

К началу спектакля зал был наполнен так, что не было ни одного свободного стула. Меня оставили за кулисами, а это я любил: хотя и приходилось все время стоять, но лучше было видно, что происходит на сцене. Представление началось с концерта, а концерт, как обычно, начался с пения. На сцену вышел певец в черном старомодном фраке и с такими же черными, прилизанными до блеска волосами, словно он только что выскочил из парикмахерской, и запел не то «Куда, куда вы удалились», не то «Не счесть алмазов в каменных пещерах». В общем, какую-то чушь, по тогдашним моим понятиям.

Я вообще, нужно сказать, не любил пение, а этих певцов и певиц просто ненавидел и каждый раз с нетерпением ждал, когда они наконец уберутся со сцены. Мне к тому же казалось, что на концерте для бойцов уместнее было бы спеть что-нибудь боевое, какую-нибудь залихватскую солдатскую песенку, а не это хныканье про неизвестно куда удалившиеся дни. Я заранее был уверен, что бойцам не понравятся ни этот тип с его буржуйским фраком, ни его козлиное пение, и был удивлен теми щедрыми аплодисментами, которыми наградили певца слушатели, как только он кончил романс. Впрочем, я тут же решил, что бойцы хлопают в ладоши просто из вежливости, чтоб не

обидеть артиста, который так чистенько вырядился для них и причесался и так старательно пел. И еще одна досадливая мысль шевелилась в моем мозгу: хлопают, дескать, чтоб показать, будто понимают толк в пении (в этом я постоянно подозревал публику, когда она одобряла то, что не нравилось мне).

Так или иначе, хороший прием, оказанный слушателями певцу, ни в чем меня не переубедил, и я решил набраться терпения, зная, что теперь он не уйдет, пока не споет еще два-три, а то и все четыре романса. Аплодисменты утихли, и он принялся за новый романс: «Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты, как мимолетное виденье-е...» Как раз в это мгновение за кулисой с противоположной стороны сцены появилось мимолетное виденье в образе женщины, довольно еще молодой и красивой. Должно быть, артистка какая-нибудь, подумал я и от нечего делать принялся разглядывать это «мимолетное виденье», а она тоже поглядывала на меня с едва заметной улыбкой на губах. Впрочем, как я убедился тут же, никакой улыбки не было, а это у нее просто так губы были устроены, что казалось, будто она чуточку улыбается. Приглядевшись, я заметил, что лицо у нее спокойное, глаза серьезные, даже немножечко грустные. Мне почему-то стало казаться, что я уже где-то видел это лицо, только я никак не мог вспомнить где.

Пока я раздумывал, она вдруг исчезла, а через минуту появилась за кулисой, рядом со мной.

— Хорошо поет, правда? — прошептала она.

Я хотел сказать: «Плохо», но, взглянув на нее, увидел в ее глазах что-то такое покорное и покоряющее в то же время, что у меня сразу пропала охота перечить ей, и, кивнув головой, я сказал:

— Ага!

— Тебе нравится? — спросила она.

— Ага!

Очевидно, решив, что, кроме этого «ага», от меня все равно ничего не добьешься, она сказала ласково, словно угощая меня этим пением:

— Ну, слушай, слушай!

И, слегка прикоснувшись ладошкой к волосам на моей макушке, ушла так же бесшумно, как появилась.

Концерт оказался паршивый (с моей точки зрения), так как в нем только пели. После певца выступала певица, после певицы — опять певец, только другой, потом еще певица, так что я извелся вконец и всем им желал провалиться поочередно под

сцену. Все это закончилось выступлением квартета, который мне и без того надоел.

Потом началось представление «Женитьбы», и я увидел, что эта моя Мимолетное Виденье была не артистка, а что-то вроде режиссера. Она предупреждала артистов, когда кому выходить на сцену, говорила, когда поднять или опустить занавес, и все время находилась за противоположной кулисой, но я уже на нее и не смотрел вовсе, так меня захватила игра актеров. Все они переоделись, загримировались, как требовалось по пьесе, и были сами на себя не похожи, словно переродились: и говорили и ходили не так, как тогда, когда я видел их на репетиции. Это перевоплощение чрезвычайно удивило меня и ужасно смешило. Тот, который играл Подколесина, нарядился в какие-то чудацкие гороховые штаны, наклеил бакенбарды и все время валялся на диване. Превратившись в какого-то лежебоку, байбака, тюфтя, он тянул слова жалобным, недовольным, хныкающим голосом, так, словно его обидел кто.

— Степан! — канючил он, зовя слугу, краснощекого кудрявого парня.

А когда Степан являлся, он начинал расспрашивать, ходил ли он к портному, и шьет ли портной фрак, и много ли уже нашил, и не спрашивал ли портной на что, мол, барину нужен фрак, не задумал ли барин жениться. Узнав же, что портной этим не интересовался, он отпускал слугу, а через минуту звал снова и допытывался, ходил ли он в лавочку за ваксой, и не спрашивал ли лавочник, для чего барину вакса, и не хочет ли, «дискать», барин жениться. Он так и говорил: не «дескать», а «дискать». А этот Степан ходил все время с надетым на руку сапогом, а в другой руке у него была сапожная щетка, которой он старательно начищал сапог. В первый раз, как только пришел, он тут же хотел почесать кончик носа и испачкал его ваксой, после чего так уже и ходил с черным носом. Каждый раз, как только он появлялся со своей простодушной румяной физиономией и черным носом, я начинал хохотать, ну, и все зрители тоже, конечно, смеялись. Я обратил внимание на то, что каждый раз я начинал смеяться первый, а вслед за мной смеялись уже все остальные. Это потому, думалось мне, что я нахожусь ближе к актерам и раньше всех вижу и слышу, что происходит на сцене.

Вскоре я заметил, что Мимолетное Виденье делает мне из-за противоположной кулисы какие-то знаки, отрицательно качая головой и прикладывая палец к губам. Я понял, что не должен

громко смеяться, и стал больше сдерживаться. Но известно, что смех такая штука: чем больше сдерживаешься, тем громче смеешься, когда он в конце концов все же прорвется. Это и случилось со мной, когда явилась сваха Фекла Ивановна. Актриса, которая играла эту Феклу Ивановну, была совсем еще не старая женщина, а тут она превратилась в какую-то допотопную старушеницу в широченном салопе с невероятным количеством складок и заговорила совершенно натуральным старушечьим голосом, нараспев, что само по себе уже было смешно. К тому же многие слова она произносила не так, как надо, а перековеркивала на свой лад: вместо «флигель» у нее получалось «хлигерь», вместо «этажи» — «елтажи», вместо «нравится» — «ндравится», вместо «деликатес» — «великатес» (это она невесту назвала деликатесом), а дойдя до слова «обер-секретарь», она никак не могла одолеть его, несколько раз начинала сначала, и в конце концов у нее получилось что-то вроде «обер-секлехтаря». Когда она добралась до этого «обер-секлехтаря», я уже больше не мог выдержать и, забыв все на свете, заржал, как молодой конь, выпущенный на свободу. Вслед за мной загрохотал и весь зрительный зал.

Еще смех окончательно не утих в зале, как Мимолетное Виденье опять явилась передо мной и с ласковой укоризной сказала:

— Ну миленький! Ну так нельзя! На сцене никто не должен смеяться.

Схватив мою руку, она потащила меня из-за кулис. Я бежал за ней, спотыкаясь о какие-то косяки, прибитые к полу сцены. Мигом мы очутились в фойе. Там она прихватила стул и, войдя в зрительный зал, поставила его посреди прохода между рядами, прямо против сцены. Усадив меня на этот стул, она сказала:

— Сиди вот и смейся сколько угодно. Тут можно.

Нагнувшись, она крепко поцеловала меня в щеку и быстро ушла, оставив вокруг запах духов, которые очень хорошо пахли.

Нужно сказать, что в детстве я обладал каким-то необъяснимым магическим свойством, в силу которого ни одна хорошенькая женщина не могла передо мной устоять и обязательно бросалась меня целовать, как только я попадался ей на глаза. Особенно любили целоваться артистки. Они и между собой целовались каждый раз при встрече. Когда я был совсем маленький, то отбивался от них кулаками, но теперь я уже не мог позволить себе такое неджентльменское обращение с женщинами, а только старался держаться от них подальше.

Смотреть спектакль из зрительного зала, да еще сидя на

стуле, было гораздо лучше, тем более, что я был совсем близко от сцены. И мне все хорошо было видно. Действие между тем перенеслось в дом невесты, Агафьи Тихоновны, куда стали сходиться женихи — один смешнее другого, а самый смешной, по фамилии Яичница, был такой толстый, что застрял в дверях. Стены комнаты ходили ходуном (это же декорация была), а он никак не мог пролезть сквозь дверь. Наконец девка Дуняшка пихнула его сзади ногой с такой силой, что он, как пробка, вылетел на середину сцены. Действие чем дальше, тем становилось смешней. Я смеялся так, что упал со стула. Многие бойцы поднимались со своих мест, чтоб взглянуть, кто это смеется так, а когда пьеса кончилась, все бросились ко мне, схватили меня на руки. Кто-то крикнул:

— Качать парнишку!

Я полетел кверху, подброшенный десятком рук. Внутри у меня похолодело, как бывает, когда высоко взлетаешь, качаясь на качелях. В это время человек в черной кожаной куртке крикнул:

— Отставить качать парнишку! Отпустите его! Вы что, живого ребенка не видели?

— Да где же его увидишь, товарищ командир? — заговорил тот, который держал меня на руках. — У меня дома Васятка совсем несмышлениш был, когда меня на царскую службу взяли. Потом три года империалистической, потом год на гражданской. Васятка теперь небось аккурат такой, как этот мальчонка будет.

— Братишки! — закричал вдруг стоявший рядом боец. — Братишки, покончим с белой гидрой! Добьемся счастливой жизни! Помрем, так пусть хоть наши детишки счастье увидят.

— Ша! — закричал командир. — Тише! Никому помирать не надо. Отпустите сейчас же мальчонку! Напугали ведь!

Бойцы тянулись ко мне со всех сторон и целовали кто в щеку, кто в лоб, кто просто в плечо. Передавая меня из рук в руки, они наконец поставили меня на сцену. Тут Мимолетное Виденье схватила меня за руку и увела.

— Ты, видно, любишь смотреть спектакли? — спросила она, когда мы очутились в помещении за сценой.

Я сказал, что люблю.

— Так ты приходи к нам в театр. У нас по воскресеньям бывают утренники. Знаешь, где театр Соловцева?

Я сказал, что знаю.

— Вот и приходи перед спектаклем, когда захочешь. Скажешь, что ты ко мне, и тебя пропустят.

Она назвала свое имя и отчество и спросила, заглядывая в глаза:

— Не забудешь?

— Нет,—уверенно отвечал я.

Напрасно я был так уверен. В театр к ним я так и не собрался, уже не помню почему, а имя и отчество ее скоро забыл, и осталась она в моей памяти просто как Чудное Мгновенье.

НА НОВОМ МЕСТЕ

Всему на свете бывает конец. Поэтому пришел конец и Борщаговской улице с ее кособокими, щербатыми тротуарами, бездонным колодцем, страшной собакой и Степкой-растрепкой, Бешеным Огурцом. То есть Борщаговская улица со всеми ее атрибутами осталась на месте, но мы-то оттуда уехали. Сбылась наконец моя мечта поселиться в большом пятиэтажном каменном доме с балконами, с затейливыми лепными украшениями на стенах, красивыми каменными статуями у подъезда или над подъездом.

Дом этот был на углу Большой Караваевской и красивейшей Марино-Благовещенской улиц, по левую сторону, если идти от Галицкой площади. Здесь было все, чего мне хотелось: и лепные украшения, и статуи, и даже кариатиды, то есть красивые каменные женщины, которые, закинув за голову руки, поддерживали снизу балконы. Таких женщин было по две штуки под каждым балконом. Обе улицы утопали в зелени деревьев, по обеим ходил трамвай, что, по тогдашним моим понятиям, было достоинством, а не недостатком.

Перед домом как со стороны Караваевской, так и со стороны Марино-Благовещенской были палисадники с большими остролистыми кленами. Я любил, забравшись на клен и примостившись на развилке ветвей, читать какую-нибудь увлекательную книгу. Так, правда, было не очень удобно, но зато интереснее: легче было вообразить себя в лесных чащобах, непроходимых дебрях или тропических джунглях, о которых шла речь в книге.

Квартира наша помещалась на самом верху, то есть на пятом этаже. До нас в этой квартире жил какой-то белогвардейский генерал, бежавший после революции со всей своей семьей за границу. Всего в этой генеральской квартире было семь больших комнат. Из них три комнаты достались на нашу долю. В трех других комнатах, в которые был отдельный вход, поселилась другая семья. И еще в одной комнате, где раньше был ка-

бинет генерала, поселилась еще одна маленькая семейка — всего из двух человек, то есть бездетные муж и жена.

Две наши комнаты выходили окнами на Караваевскую улицу (в каждой комнате по два окна), но поскольку дом стоял на углу, то видна была и Марино-Благовещенская улица. Третья, самая большая комната, с тремя окнами, выходила в сторону двора. Из окон этой комнаты была видна вся Караваевская улица вплоть до поворота, где начинался Ботанический сад, в котором мы пропадали летом по целым дням, за исключением тех случаев, когда уходили купаться в Кадетском пруду.

Из квартиры было два выхода. Одна лестница, с каменными ступенями, вела к парадному входу на Марино-Благовещенской улице. Другая же, так называемая черная лестница, с чугунными ступенями, вела в вымощенный булыжником двор, железные решетчатые ворота которого выходили на Караваевскую улицу. Во дворе был двухэтажный деревянный сарай с террасой, на которую выходили двери сараев второго этажа. Сарай этот назывался у нас, дворовых мальчишек, «пароходом», потому что терраса с балюстрадой при небольшом усилии воображения превращалась в палубу корабля, по которой можно было бегать, выкрикивая разные команды вроде «полный вперед», «право руля», «свистать всех наверх» и другие морские термины. Отсюда же, то есть с «палубы», можно было проникнуть сквозь потайной лаз на чердак сарая, где находился штаб организованной мною шайки «разбойников» под названием «Гремучая змея», осуществлявшей набеги на отряды бойскаутов, проводивших свои игры в Ботаническом саду. Устроив засаду, мы неожиданно обстреливали их каштанами, а когда они, испугавшись, бросались бежать от нас, словно стадо баранов, мы незаметно убегали куда-нибудь подальше, понимая, что, обнаружив в конце концов малочисленность нашего отряда, они легко могли одолеть нас.

Мой старший брат не принимал участия в этих вылазках, так как сам в то время был членом скаутской организации. Меня же в скауты не приняли по причине моего малолетства. Я, таким образом, считал себя как бы объявленным вне закона и находил удовлетворение в том, что вел партизанскую войну против этой организации пай-мальчиков, с которой поклялся не иметь ничего общего и бороться всеми имевшимися в моем распоряжении средствами.

Самой любимой моей комнатой в нашей новой квартире был зал (так мы называли комнату с тремя окнами). Потолок в ней был не белого, как это обычно делается, а темно-красного цвета,

щедро украшенный по краям разноцветной лепкой. Этим потолком я лично способен был любоваться словно произведением искусства. Но главным украшением этой комнаты являлся камин, который, кстати сказать, мы никогда не топили, так как, чтобы нагреть помещение с его помощью, потребовался бы чуть ли не целый воз дров. Топили обычно кафельную голландскую печь, установленную в небольшом треугольном коридорчике, в который выходили двери всех трех наших комнат. Печь была расположена так, что обогревала все три комнаты сразу. Камин, в сущности, нужен был не для тепла, а скорее для красоты, для престижа, для уюта.

И я любил его, этот наш старый добрый камин, как любят старого доброго друга. Рядом с ним я чувствовал себя чем-то вроде блудного сына, возвратившегося после сорокалетней разлуки под отчий кров, либо чем-то вроде старого морского волка, ушедшего на покой после многолетних плаваний по всем морям и океанам, либо доживающим век в своем родовом замке девяностолетним английским лордом с подагрой в обеих ногах или какой-нибудь другой фамильной болезнью. Сидя на стуле с книгой в руках и протянув свои подагрические ноги к каминной решетке, я смотрел своим тусклым, старческим взором на пылающее в камине пламя (воображаемое, конечно), и в этом пламени передо мной проходили картины далекого, невозвратимого прошлого. Конечно, быть лордом противоречило моим политическим убеждениям, но это же было только на время, и мое сознание прощало мне невольную прихоть воображения, тем более что лорд был довольно симпатичный и добрый старик, много перенесший на своем веку, и при наличии целой кучи достоинств у него был лишь один-единственный недостаток, а именно — его непролетарское происхождение; но, в конце концов, какой же человек может обойтись вовсе без недостатков, в особенности если живет в четырнадцатом или пятнадцатом веке. В общем, виноватыми в моей, если так можно сказать, бесхребетности были, очевидно, прочитанные мною книги да еще волшебник камин, навевавший мне такого рода сны наяву.

С этим камином у меня была особенно тесная дружба, так как он к тому же был поверенным одной моей тайны. Сбоку у самого пола я заметил, что одна изразцовая плита камина прилегает неплотно, и, попытавшись отделить ее, обнаружил тайник. Из этого тайника я извлек два старинных пистолета с длинными иссиня-черными стальными дулами и красивыми узорчатыми рукоятками, отделанными черненым серебром. Один пистолет был капсюльный, с помощью которого можно

было стрелять пистонами или капсюлями, другой — с кремневым запалом. Эти пистолеты, без сомнения, принадлежали в прошлом какому-нибудь рыцарю, и, засунув их за пояс, легко было вообразить себя самым настоящим средневековым рыцарем или запорожским казаком.

Мы с братом решили взять эти пистолеты себе в качестве военных трофеев, поскольку они были брошены бежавшим с поля боя беляком-генералом. Обычно мы прятали их в обнаруженном мной тайнике и играли ими, когда никто из старших не видел. Ведь родители ни за что не позволили бы нам взять чужие вещи.

Пистолеты эти годились не только для игры в войну, но и для театральных представлений. Комната с камином превращалась тогда в зрительный зал и в сцену одновременно, а члены «разбойничьей» шайки — в обычных миролюбивых зрителей, за исключением тех, которые назначались мною в актеры. Впрочем, много актеров не требовалось, так как все основные роли исполнял я сам, не говоря уж о том, что режиссура тоже лежала на моих плечах. Большим успехом, помнится, пользовалось представление «Тарас Бульба», в котором Тарас Бульба — а его роль играл, конечно же, я — затевал разговор в оскорбительном тоне со своим сыном Остапом («А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой!»), после чего между ними начиналась, к великой радости зрителей, кулачная драка. После же примирения с Остапом, которое наступало, если драка не заходила слишком далеко, следовала расправа с изменившим своей родине и переметнувшимся в католическую веру Андрием.

«Стой и не шевелись! — страшным голосом говорил Бульба. — Я тебя породил, я тебя и убью!»

Приладив свежий капсюль к запалу пистолета и хорошенько прицелившись, я нажимал курок. Раздавался выстрел. Из дула пистолета тянулся синеватый дымок, и бедняга Андрий замертво падал на пол. Эта трагическая сцена производила сильный эффект, но заканчивалась обычно весело, так как сраженный выстрелом Андрий, конечно же, не мог испустить дух спокойно, а, согласно моему режиссерскому замыслу, предварительно конвульсивно дергался всем телом и дрыгал ногами, что вызывало дружный смех зрителей. Смех этот, однако же, не смущал меня, так как раздавался по адресу изменника Андрия, ничего, кроме презрения, не заслуживавшего.

Были тут и другие театральные постановки, но о них слишком долго пришлось бы рассказывать.

Наши новые жилищные условия оказались вполне подходя-

щими для того, чтоб зажить полнокровной индейской жизнью, хотя, по правде сказать, быть индейцем не так легко, как кто-нибудь, может, думает. Во-первых, индейцу нужен вигвам. А где его взять? Пришлось мне таскать из Ботанического сада ореховые прутья, потом эти прутья сплести так, чтоб получился каркас, который следовало обшить бизоньими шкурами, а бизоньи шкуры надо было делать из старых газет, окрашивая их в коричневый цвет. Во-вторых, индейцу нужны были штаны с бахромой по краям, ну и головной убор, конечно. Штаны я скроил и сшил собственноручно из старого мешка, который раздобыл где-то, головной убор соорудил из петушиных, гусиных и индюшачьих перьев, которые собирал везде, где они только попадались. Кроме того, я сделал самый настоящий индейский тамтам, или, вернее сказать, барабан. Целый месяц я вымачивал в воде кроличью шкурку, чтоб из нее можно было повыдергать шерсть и получить, таким образом, кожу для барабана. В общем, была работка, скажу я вам! Иной взрослый за деньги не трудится у себя на работе столько, сколько приходилось трудиться мне, и притом без всякой мысли о каком бы то ни было вознаграждении. А потом, когда все было готово, родители запротестовали и сказали, чтоб я убрал свой вигвам, так как это ни на что не похоже, когда посреди комнаты стоит какой-то шалаш или овин.

Это было явное преувеличение, так как вигвам стоял не посреди комнаты, а в углу. Но, в сущности, дело от этого не менялось, поскольку вигваму, конечно, место было не в комнате, а где-нибудь под открытым небом. Я и сам понимал, что тут вышло некоторое, так сказать, несоответствие, и обещал завтра же разобрать вигвам. На следующий день, однако, что-то помешало мне выполнить свое обещание, и я сказал, что сделаю это завтра. С тех пор так и пошло: завтра да завтра. Родители между тем понемногу привыкли к виду вигвама и уже не так часто напоминали мне о нем.

А вскорости мы заболели все. В то время свирепствовал сыпной тиф. Переносчиками этой страшной болезни были вши, то есть крошечные насекомые-паразиты бледно-желтого цвета, которых и глазом-то не всегда разглядишь. Эти вши расплодились тогда повсюду в огромных количествах. Мать всячески боролась с ними, стараясь поддерживать чистоту. У нас был громадный пятиведерный самовар из оцинкованного железа, в котором она постоянно вываривала белье. Только так и можно было избавляться от этих зловредных насекомых: в кипятке они дохли и уже не могли больше кусаться и переносить заразу.

Несмотря на все старания, мы все же не убереглись от этой ужасной болезни. И первой не убереглась мамочка. Неожиданно она почувствовала недомогание и вскоре слегла. Температура у нее поднялась до такой степени, что начался бред. Она никого не узнавала, и ей все время казалось, что в углу комнаты сидит черт. Она умоляла нас прогнать этого черта и порывалась убежать от него, выскочив из окна (это с пятого этажа-то!). Отец в таких случаях крепко держал ее руками, чтоб она не могла выскочить из постели. И за ней постоянно надо было следить. По временам, казалось, сознание возвращалось к ней, и, увидев меня, она говорила:

— Ну-ка, подойди сюда. Подойди!

— Зачем? — спрашивал я с опаской.

— Ну подойди, не бойся! Фу! Как тебе не стыдно! Боится родной матери! — с укоризной говорила она, и ее большие черные глаза на исхудавшем, бледном лице блестели, как у безумной.

Я и на самом деле боялся, так как впервые видел человека в бреду. К тому же я прочитал где-то, что безумцы очень хитры и ловко умеют прикидываться нормальными людьми для выполнения своих безумных замыслов. Если бы она попросила подать ей воды или сделать что-нибудь, я тотчас бы сделал, но она не объясняла, зачем звала меня к себе, и я опасался, нет ли тут какого-нибудь подвоха. Впрочем, минуты просветления быстро проходили у нее, и она снова начинала метаться в бреду.

Скоро заболели один за другим и мы, все четверо ребят. Отец держался дольше всех, но и он наконец свалился. Я не знаю, что бы мы делали, если бы не тетушка Аня, жена дяди Коли. Она проводила у нас целые дни, готовила еду и за всеми ухаживала.

Я почему-то болел дольше всех. Уже и отец, и мать, и все остальные выздоровели и занимались своими делами, а я все лежал и лежал. Страшная слабость охватила меня, и не было сил поднять руку или голову. Меня кормили, как маленького, и еще уговаривали поесть, так как есть-то мне расхотелось вовсе. Наконец кризис (то есть самая тяжелая и опасная фаза болезни) миновал и у меня. Тут я сразу почувствовал аппетит и ощутил как бы прилив сил, но когда я, понемногу окрепнув, попытался встать с постели, то увидел, что не могу ходить. Ноги подогнулись подо мной, и я сел прямо на пол. У меня хватило сил только на то, чтоб стать на колени, держась за кровать руками, а когда я пытался выпрямиться, то ноги опять подги-

бались, и приходилось садиться на пол. Это показалось мне почему-то страшно смешным.

Мать услышала мой смех из другой комнаты и, войдя, увидела меня возле кровати.

— Почему ты смеешься? — спросила она.

— Я не могу ходить, — отвечал я.

Она молча взяла меня на руки и уложила обратно в постель. Потом сказала:

— Это ничего. После болезни всегда так бывает. Я тоже не могла ходить, когда начала выздоравливать. Тебе надо еще полежать. Ты понемногу наберешься сил и научишься снова ходить.

— А почему ты плачешь? — спросил я, заметив слезы на ее глазах.

— Я плачу от счастья, — сказала она. — Все мы остались живы, а теперь я вижу, что и ты выздоровел. Я так счастлива!

Это было для меня что-то новое. До сих пор я думал, что плакать можно только от горя.

С тех пор я уже почти не лежал, а все больше сидел в постели. По временам я вставал и, держась руками за кровать, потихоньку ходил вокруг нее. Потом стал передвигаться по комнате, держась руками за стены, чтоб добраться к окну. Увидев это, мать принесла мне бамбуковую палочку и сказала, чтоб я ходил, опираясь на нее. Я попробовал ходить с палочкой, как старенький старичок, и увидел, что так было гораздо удобнее: не нужно было каждый раз хвататься руками за стены. Осмелев, я решил предпринять серьезное путешествие и, с усилием открыв дверь, вышел в большую комнату, где ни разу не был за последние полсотни дней. Вигвам мой по-прежнему стоял на том месте, где я его построил. Добравшись до него и заглянув внутрь, я увидел в нем свое индейское снаряжение: и лук, и стрелы, и барабан... И у меня появилось какое-то странное ощущение, будто с тех пор, как я с такой страстью смастерил все эти вещи, прошло множество лет. Мне даже казалось, что это не я все сделал, а какой-то другой мальчик, очень на меня похожий, но все же не я. Это в какой-то степени и вправду так было, поскольку, пока я болел, я о многом думал и как-то переменялся, то есть был уже не тем, кем был прежде.

Между тем подошла зима. Дров у нас не было. Ни у кого тогда не было дров. Отец принес откуда-то маленькую железную печечку на четырех ножках и несколько железных труб, вроде водосточных. В верхней части дымохода голландской печки он пробил круглое отверстие и вставил в него одну

из труб, а другие трубы соединил между собой и с железной печкой. Тяга получилась хорошая, и железную печку можно было топить щепками, хворостом, соломой, бумагой, картоном и вообще всяческой дрянью, которая была способна гореть. Иногда печь нагревалась так, что бока ее становились красными, но тепла от нее хватало лишь на одну комнату, именно на ту, в которой она стояла. Теперь наша жизнь проходила главным образом в этой комнате. Здесь мы и ели и спали. Железная печка давала не только тепло, но и служила для приготовления пищи.

Отец, приходя домой вечером, часто приносил пару поленьев дров, фанерный ящик, старую железнодорожную шпалу, какое-нибудь бревно неизвестного происхождения либо просто доску от забора. В тот период все деревянные заборы в городе были поломаны и растащены жителями для вот таких железных печек, которые почему-то назывались «буржуйками».

В конце концов пришла очередь и моего любимого вигвама. В один из морозных дней, когда совсем нечего было жечь, я разобрал вигвам, так что получилась порядочная охапка топлива. И как сказал поэт: «Я сжег все, чему поклонялся. И поклонился всему, что сжигал».

Или что-то вроде этого.

МЕЧТА

Кроме баяна, отец умел играть на таких музыкальных инструментах, как гитара, мандолина, балалайка. У нас в доме всегда были эти инструменты, и я просил отца научить меня играть на каком-нибудь из них. Отец показал мне, как настраивать мандолину, гитару и балалайку, научил играть некоторые простенькие музыкальные произведения, вроде так называемого «Собачьего вальса», без которого в те времена не обходилось обучение ни одного начинающего гитариста или балалаечника, и сказал, что гитара требует серьезных занятий с опытным преподавателем, на балалайке вообще не стоит учиться, а на мандолине я сам могу подбирать по слуху те мелодии, которые знаю, то есть те, которые могу пропеть или просвистеть. Я попробовал, и это стало у меня получаться. Беда была в том, что я знал слишком мало мелодий.

В школе у меня был товарищ, который довольно хорошо играл на мандолине, и я кое-чему у него научился. Когда мы переехали на Марино-Благовещенскую, я познакомился с Костей Волынцевым, который жил в нашем доме у своего дяди,

настройщика пианино и музыкального мастера, как он себя называл. Вся квартира у этого дяди была завалена принятыми в починку гитарами, мандолинами, балалайками, альтами, скрипками и тому подобными инструментами, которые он постоянно склеивал, туго стягивая веревками, и покрывал лаком, отчего по всему дому пахло смолой, как в сосновом лесу, и даже крепче, я бы сказал, так как лак разводился скипидаром, а скипидар, как известно, делается из сосновой смолы.

Костя Волынцев нигде не учился, но умел понемножку играть на всех инструментах, которые поступали в ремонт к его дяде, и, кроме того, играл на мандолине в оркестре народных инструментов при клубе железнодорожников, который помещался напротив нашего дома. Я тоже стал играть в этом самодеятельном оркестре. Там я встретился с довольно опытными мандолинистами и многому у них научился.

Репертуар мой расширился. Я понемногу освоился с инструментом. Раньше, чтоб разучить какую-нибудь мелодию, мне нужно было предварительно подобрать ее на мандолине, двигаясь как бы в темноте, на ощупь, после чего уже напрактиковаться исполнять ее в нужном темпе и без ошибок. Через некоторое время я заметил, что мне уже не нужна эта предварительная стадия. Если я запоминал какую-нибудь вновь услышанную мелодию, то есть если я мог пропеть или хотя бы мысленно повторить в памяти, то мог тут же и сыграть ее без какой-либо подготовки: пальцы как бы сами собой нажимали на нужные лады и извлекали нужные звуки. Мандолина стала послушна мне, как мой собственный голос.

У меня была какая-то непонятная для себя самого потребность играть новые мелодии, и, когда их не было, я сочинял их сам, то есть импровизировал, хотя, по правде сказать, я тогда и не знал о существовании такого слова, как «импровизация». Это получалось у меня как бы само собой, когда было соответствующее настроение.

Мы с Костей Волынцевым часто приходили друг к другу и играли: один на мандолине, другой на гитаре. У него был хороший слух, и он быстро подбирал аккомпанемент к любой мелодии на гитаре. Однажды, когда мы исполнили чуть ли не весь наш репертуар, я принялся импровизировать на мандолине. Он спросил, что это за вещь я играю. Боясь, как бы он не стал надо мной смеяться, я сказал, что это новое танго, которое я слышал на концерте. Тогда как раз входили в моду фокстроты и танго. Костя поверил и просил научить его играть это танго. Я готов был исполнить его просьбу, но оказалось, что, пока мы

разговаривали, я забыл, с чего начинается моя импровизация, а пока вспоминал начало, забыл и продолжение. Костя подо-
саждал и сказал, что у меня память дырявая.

С тех пор я исполнял свои импровизации, лишь оставаясь в одиночестве, причем заметил, что придумываемые мною фан-
тазии с такой же легкостью вылетают из моей головы, как и при-
ходят в голову. Я чувствовал себя как неграмотный, который
способен сочинять складные стихи, но записывать их не может
и тут же забывает. Чтобы записывать музыку, нужно было знать
ноты. А мне почему-то хотелось записывать, может быть, только
потому, что я этого не умел.

В одном из букинистических магазинов (а у меня тогда уже
была страсть шататься по букинистическим и вообще по книж-
ным магазинам) я купил старенький самоучитель нот и, про-
читав его от корки до корки, всё, как мне показалось, понял,
но, когда стал пробовать играть по нотам, у меня ничего не
получалось. Как известно, в нотных знаках записывается высота
каждого музыкального звука и длительность его звучания.
И вот я никак не мог уловить меру этой длительности. Пробив-
шись уж не помню сколько времени и решив уже отказаться
от своей затеи, я однажды попробовал сыграть по нотам какую-
то простенькую, хорошо мне знакомую песенку вроде «Во саду
ли, в огороде». И вот тут-то я наглядно, так сказать, узнал,
что такое эти восьмые, четвертные, половинные и так называе-
мые целые ноты в их временном, ритмическом выражении. После
этого опыта все сразу стало на свои места, и хотя разбирать по
нотам незнакомые произведения было трудно, но все же полу-
чалось нечто похожее на что-то, из чего постепенно выкристал-
лизовывалась определенная мелодия, которую можно было
заучить на память.

Таким образом, я выучил по нотам несколько венгерских
танцев Брамса, песенок Шуберта, вальсов и полек Иоганна
и Иосифа Штраусов, «Танец маленьких лебедей» Чайковского,
«Песнь индийского гостя» Римского-Корсакова и некоторые
другие. Все родные и знакомые, слышавшие мою музыку, твер-
дили, что мне надо учиться играть на скрипке. Подобно тому
как теперь мода учить ребятишек на пианино, тогда была мода
учить на скрипке.

Среди моих знакомых ребят из нашего дома был мальчишка
Алешка Демидюк. При полном отсутствии музыкального слуха
он учился играть на скрипке в консерватории. Отец у него был
простой сапожник, но мечтал вывести сына, как тогда говори-
лось, в люди и выучить на музыканта. Проучившись в консер-

ватории три года, Алешка все еще пиликал свои нескончаемые гаммы, причем ужасно фальшивил и не умел сыграть ни одной самой пустячной мелодии. Да что сыграть! Когда ему хотелось пропеть какую-нибудь всем знакомую песенку, вроде популярнейшего в те времена «Яблочка», он просто выкрикивал слова, без всякого намека на какой-нибудь музыкальный мотив. Однажды, зайдя к нему, я попробовал поиграть на его скрипке, сначала пиччикато, то есть извлекая звуки не смычком, а пальцем. Нашупав примерное расположение ладов, я попробовал поиграть смычком и, потренировавшись немного, тут же «исполнил», сейчас уже не помню, что именно, «Танец маленьких лебедей» или «Песнь индийского гостя».

Пришел его отец, мужчина немного ниже среднего роста, не улыбчивый, неразговорчивый, небритый, усатый и в сапогах. Он молча постоял надо мной, послушал, как я «играю», и, не сказав ни слова, ушел в свою сапожную мастерскую. Но Алешка был удивлен до крайности и не верил, что я впервые держу скрипку в руках. Я объяснил ему, что у скрипки такой же строй, как у мандолины, разница лишь в том, что на грифе мандолины обозначены лады, соответствующие определенным нотам, на скрипке же эти лады не обозначены. Но поскольку пальцы у меня при игре на мандолине уже привыкли попадать на нужные лады, то и тут они попадают куда надо как бы сами собой.

С тех пор Алешка смотрел на меня как на какое-то чудо природы и все удивлялся, почему я не поступаю в консерваторию. Что мог я на это ответить? Во-первых, я вовсе не хотел сделаться на всю жизнь музыкантом, то есть человеком, существование которого начисто лишено каких-либо приключений (а именно этого жаждала моя романтически настроенная ребячья душа), если же я играл на мандолине, то только потому, что мне это нравилось. Во-вторых, хотя школа, где я учился, была для меня примерно чем-то вроде божьего наказания, но я уже как-то сжился с нею, чувствовал себя ее частицей. Бросить ее, расстаться навсегда со школьными товарищами, пойти туда, где я никого не знаю, было для меня все равно что отказаться от собственной матери или перейти в католики.

Постепенно разговоры о том, что мне надо учиться на скрипке, все же на меня как-то подействовали и внушили мысль, будто я на самом деле хочу этого. Отец, однако, сказал, что если я хочу учиться на скрипке, то должен сперва заработать деньги, чтобы купить ее. Единственный способ, которым мог заработать деньги мальчишка моего возраста в те времена, была продажа газет вразнос. Таким образом, в моей жизни

начался так называемый газетный период. Раненько утречком я вставал и бежал в типографию, оттуда с пачкой газет мчался по улице, выкрикивая название газеты. Выгоднее всего, по моим расчетам, было торговать газетами на вокзале, так как многие пассажиры, чтобы скоротать время в ожидании поезда, любили почитать газету либо покупали ее с тем, чтоб прочитать в поезде.

Однако при первом же моем появлении на перроне меня здорово оттузили двое сорванцов-мальчишек, монополизировавших торговлю газетами на вокзале и в пригородных поездах. В результате я перенес поле своей деятельности на рынок, помещавшийся на Галицкой площади. На рынке ни у кого никаких особенных привилегий не было, каждый мог продавать что ему вздумается, и никто ничьих прерогатив не нарушал. Здесь к тому же иной раз можно было увидеть цыгана с дрессированным медведем, петрушечника с его кукольным театром, бродячего фокусника-китайца с его «Шарика — есть, шарика — нет», послушать песни старого седоусого кобзаря и тому подобное.

Я довольно скоро сообразил, что без соответствующей рекламы никакая торговля успешно идти не может, и каждый раз начинал свой рабочий день с того, что заглядывал на последнюю страницу газеты, в так называемый отдел происшествий. Там обычно печаталось что-нибудь сенсационное по части краж, ограблений, убийств, вообще разного рода преступлений и несчастных случаев, сведения о которых почему-то больше всего интересуют публику. Теперь, вместо того чтоб кричать просто: «Газета!», я вслед за названием газеты выкрикивал примерно следующее: «Последняя новость! Четырехлетний ребенок убил мать, отца, родного дедушку и маленького котенка! Последняя новость! Четырехлетний ребенок убил мать, отца, родного дедушку и маленького котенка! Сенсация!» Горя желанием поскорей узнать подробности столь невероятного происшествия, публика гораздо быстрее раскупала газету.

В те дни, когда в отделе происшествий ничего интересного не было, приходилось изворачиваться и усиленно шевелить мозгами. Так, в одной из подобного рода газет я обнаружил статью, где упоминалось о Джордано Бруно, обвиненном средневековой инквизицией в ереси и приговоренного к сожжению. Идея была подсказана самой газетой, и, бегая между торговыми рядами, я кричал: «Последняя новость! Человек, которого сожгли на костре живьем! Последняя новость! Живого человека сожгли на костре! Сенсация!» Газета с этой более чем трехсотлетней давности новостью шла нарасхват.

В другой раз в газете совсем никакого потрясающего материала не было, но на глаза мне попался фельетон под названием: «Из мухи сделали слона». Речь шла о каком-то пустяковом случае, который раздули в целую историю, не имеющую, разумеется, никакого отношения ни к мухам, ни к слонам. Однако поскольку в заголовке черным по белому было напечатано: «Из мухи сделали слона», то я и кричал: «Сенсация! Слон из мухи! Новое достижение науки! Из мухи сделали слона! Сенсация!»

Многие, конечно, только посмеивались, но находились такие, которые покупали газету.

В общем, торговля моя шла довольно живо и шла бы еще живей, если бы не предубежденное отношение к прессе тогдашней публики, которая почему-то считала, что в газетах печатается одна брехня.

Выпадали, однако ж, дни, когда я быстро распродал весь свой запас газет и успевал сбегать в типографию за новой пачкой.

Наиболее привлекательным для меня местом на рынке были книжные палатки. Там можно было купить любую подержанную книгу, начиная с «Книжки-копейки», самого дешевого сытинского издания, вплоть до многотомной энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Тут же тянулись ряды букинистов более низкого, так сказать, пошиба. Расстелив какую-нибудь дерюжку прямо на земле или, говоря точнее, на булыжнике, которым была вымощена базарная площадь, такой книготорговец выкладывал свой товар, как говорится, лицом, то есть так, чтоб были видны обложки с названиями книг. И книги тут были самые ходовые, то есть не какой-нибудь Фукидид или Ксенофонт, которые не поймешь про что и пишут, а Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор Купер, Луи Буссенар, Киплинг, Брет Гарт, Густав Эмар, Конан Дойл, Стивенсон, у которых что ни страница, то какое-нибудь потрясающее приключение. Тут же красовались уцелевшие с дореволюционных времен серийные выпуски с отдельными рассказами про сыщиков Ната Пинкертона, Шерлока Холмса, Ника Картера, распутывавших самые невероятные преступления и пользовавшихся особой любовью у читателей того сорта, к которому принадлежал в те времена я.

Понятно, что мне не всегда удавалось удержаться от того, чтоб не истратить часть денег на покупку возбуждавшей мое любопытство книжки. В основном же весь доход от продажи газет я отдавал отцу «на скрипку».

Впрочем, это только так говорилось «на скрипку», на самом же деле деньги уходили «на жизнь». Срок приобретения скрипки все отодвигался и отодвигался, так что в конце концов я перестал верить, что когда-нибудь получу ее.

ЧУДО ДВАДЦАТОГО ВЕКА

Помимо интересовавших меня книжных палаток, на рынке были палатки, в которых велась торговля самыми разнообразными предметами, начиная со старых штанов и кончая подозрными трубами. По своему виду такая палатка напоминала что-то вроде современного комиссионного или антикварного магазина. Рядом со стоящим в глубине палатки на полке граммофоном с изогнутой широкой трубой стояли хрустальная ваза, чайный сервиз, графин с граненой стеклянной пробкой, никелированный самовар, полдюжины медных подсвечников, сифон для сельтерской воды. На боковой полке, выстроившись в ряд, стояли дамские туфельки разных фасонов и размеров, тут же гипсовый бюст Лермонтова и гармонь-трехрядка. На противоположной полке в таком же порядке выстроились мужские ботинки и полуботинки, также разных размеров и разной степени изношенности. На нижних полках и по бокам прилавка в самых неожиданных сочетаниях стояли и лежали такие предметы, как морские ракушки самых причудливых форм, употреблявшиеся в качестве декоративных украшений и пепельниц, бронзовые статуэтки, фарфоровые безделушки в виде галантных средневековых кавалеров и расфранченных придворных дам, веера с изображением японок в кимоно или летящих аистов, шеренга мраморных слоников — один меньше другого, целый набор шкатулок, ларчиков, корзиночек с принадлежностями для вышивания или вязания, увесистый чернильный прибор из серого с прожилками мрамора и с таким же мраморным увесистым пресс-папье, морской бинокль самых невероятных размеров, пульверизатор из синего стекла с красной резиновой грушей для накачивания воздуха, волшебный фонарь, толстенный альбом для семейных фотографий, глиняная копилка в виде тупорылой свиньи с продолговатым отверстием на спине для опускания монет и т. д. Над всем этим добром где-нибудь в углу висела на гвозде скрипка, балалайка или гитара.

Увидев однажды скрипку, я уже наведывался сюда чуть ли не ежедневно, чтоб удостовериться, не продали ли ее еще. Скрипка, впрочем, скоро исчезла, но я продолжал посещать эти

места, уже, конечно, не ради скрипки, а ради, так сказать, познания всякого рода вещей, как посещают люди выставки, музеи или картинные галереи. Да и на самом деле интересно было. То вдруг появится на прилавке чучело ястреба или совы, или оленьи рога, то барометр со стрелкой и циферблатом с интригующими надписями: «Ясно», «Пасмурно», «Умеренный ветер», «Буря», то стереоскоп с картинками, которые можно было посмотреть. Наконец появилась вещь, которая всецело завладела моим вниманием. Это был киноаппарат. По своему внешнему виду он был похож на волшебный фонарь для демонстрации диапозитивов, но от обычного волшебного фонаря его отличало наличие зубчатых барабанов, представлявших собой лентопротяжный механизм, двух бобин для наматывания киноленты (одна бобина сверху, другая снизу). На верхнюю бобину к тому же был намотан ролик обычной тридцатипятимиллиметровой киноленты, на которой можно было разглядеть кадрики со снятыми на них людьми и городской улицей.

Сам фонарь, в котором помещалась небольшая керосиновая лампа, был покрыт яркой, радовавшей глаз красной эмалевой краской. Бобины, так же как и вращавшийся перед объективом трехлопастный obturator, были матово-черные, а оправка объектива, как и зубчатые барабаны с прижимными роликами, были никелированные. Весь аппарат сказочно сверкал своими металлическими деталями. Правду сказать, было заметно, что он уже не новый, но нового тогда ведь и быть не могло, поскольку в годы гражданской войны никаких киноаппаратов и волшебных фонарей, так же как и других детских игрушек, уже не делали. Людям было не до того. Уже давно не работала текстильная и обувная промышленность. Закрылись стекольные и фарфоровые заводы. Наконец перестали работать и сахарные заводы. Обыкновенную кастрюлю, кружку или стакан негде было купить. Если разбивался стакан, его тщательно склеивали специальным клеем. Вместо сахара часто употребляли вредный для здоровья и совершенно непитательный сахарин. Жить было тяжело. Но все равно жить очень хотелось. И очень хотелось иметь киноаппарат и показывать дома кинокартины.

О том, что на рынке в палатке продается киноаппарат, я рассказал старшему брату. Мы с ним решили скооперироваться и накопить капитал, требуемый для покупки киноаппарата. Вдвоем мы развили бешеную деятельность по продаже газет. Самым трагичным, что тогда могло случиться, по моим представлениям, было, если бы аппарат кто-нибудь купил до того, как нужная сумма оказалась нами накопленной. Нечего и го-

ворить, что каждый день мы наведывались и проверяли, не продан ли «наш» аппарат.

Скажу коротко: все обошлось без трагедии. Спустя два или три столетия (считая по столетию в каждой неделе) нужная сумма наконец была собрана. И вот мы уже мчимся со скоростью метеоров по Марино-Благовещенской улице с чудом двадцатого века — знаменитым изобретением знаменитых братьев Люмьер в руках.

Одним махом мы взлетаем по лестнице на пятый этаж к себе домой (лифт бездействовал: не было электричества, так как городская электростанция не работала). Не дожидаясь вечера, в полутемном коридоре мы прикалываем к стенке лист белой бумаги. Заряжаем кинолентой поставленный на табурет аппарат. Мы не знаем, как это делается, но действуем интуитивно, по догадке. Наконец зажигаем лампу внутри фонаря, и — о ужас! — вместо изображения на стене прямоугольник с размазанными краями и покрытый расплывчатыми, бесформенными грязными пятнами, совершенно ни на что не похожими... О презренные люди! О жалкие, низменные торгаши! Они продали нам не чудо века, а какую-то старую, испорченную мясорубку! Столько многодневных усилий, столько великих надежд в один миг разлетелось в прах! Кто-то из нас пробует подвинуть вперед объектив (в спешке мы забыли о наводке на фокус). Изображение на стене принимает более определенные очертания. Еще движение объектива — изображение становится четким. Ура! На экране улица с застывшей у стены дома фигурой человека. Человек повернул голову, смотрит назад, как видно, чего-то боится.

Фу!

Теперь можно немного передохнуть после пережитых волнений.

Можно на минуту присесть, как перед отправлением в дальний путь...

Отфокусировав еще раз как следует изображение, один из нас (я не помню сейчас, кому именно принадлежал приоритет в этой области) начинает вертеть торчащую сбоку рукоятку. Слышится мерный таинственный стрекот. Замелькали лопасти пришедшего во вращение обтюратора. Трепетно задвигалась кинолента, перематываясь с верхней бобины на нижнюю. И — чудо! — застывший на экране человек ожил, сделал шаг, другой и пошел, пошел по улице, держась поближе к стене и поминутно оглядываясь. Видимо, он на самом деле кого-то боялся, ожидая, что вот-вот сзади из-за угла выскочат пре-

следователи. Вот он уже совсем повернулся и шагает спиной вперед, чтоб не оглядываться поминутно назад. На его пути продуктовая лавочка, владелец которой выставил для рекламы свои товары прямо на тротуаре. Тут ящик с куриными яйцами, лоток с аккуратно уложенными на нем помидорами в несколько рядов, в виде пирамиды, рядом — лоток с так же красиво уложенными апельсинами. Не заметив препятствия, преследуемый спотыкается и садится прямо в ящик с яйцами. Пытаясь выбраться из ящика, он сшибает ногой лоток с помидорами. Помидоры сыплются ему на голову. Наконец ему все же удается выбраться из ящика с раздавленными яйцами. Он растерянно ощупывает рукой измокшие в липком яичном белке штаны, но тут же поскальзывается на раздавленном помидоре и снова летит на землю, опрокидывая на этот раз лоток с апельсинами. Апельсины катятся по тротуару в разные стороны. Из дверей выбегает владелец магазина. Увидев произведенные разрушения, он заботливо помогает упавшему прохожему подняться, после чего наносит ему сильный удар кулаком в челюсть. Прохожий отскакивает в сторону. Разозлившись, он налетает на обидчика и пытается нанести ему прямой удар в лицо. Лавочник, однако, ловко уклоняется от удара. Прохожий с разбега проскакивает в дверь и исчезает в магазине. Противник спешит следом за ним. Вот они уже оба в магазине. Между ними разворачивается настоящее сражение. В ход идут пакеты с сахаром и мукой, гири и другие предметы, которые противники мечут друг в друга. Прикрываясь табуреткой, словно щитом, прохожий швыряет в лавочника бутылки с уксусом и вином. Лавочник, ловко прячась за стойкой, «отстреливается» банками с тертым хреном, горчицей и фруктовым сиропом. Израсходовав запасы «снарядов», прохожий отступает по лестнице вверх. Лавочник преследует его, но получает удар табуреткой по голове. Табуретка рассыпалась на кусочки. Лавочник катится вниз по лестнице и сшибает с ног женщину, вошедшую в магазин. Женщина вскакивает и, обозлившись, бьет лавочника зонтиком по голове.

Удар! Еще удар!... А что дальше? Дальше-то что?.. Ничего! Лента кончилась. Верхняя бобина пуста. Вся лента — на нижней бобине. С лихорадочной поспешностью мы перематываем ролик обратно на верхнюю бобину и прокручиваем вторично. Если в первый раз мы смотрели картину, как говорится, на полном серьезе, озабоченные лишь вопросом, получится у нас что-нибудь вообще или нет, то теперь мы начинаем замечать комизм положений, в которые попадают герои фильма, и по-

тихоньку посмеиваемся. Покрутив ленту во второй раз, крутим в третий и теперь смеемся в полную силу.

Наконец мы уразумели, что перед нами не какая-нибудь кинодрама, а самая что ни на есть комическая лента, даже, скорее всего, из числа тех, которые принято было называть «сильно комическими». Мы смотрим картину снова и снова. Смотрим сами и другим показываем. Всем! Всем! Всем! Всем, кто хочет смотреть. Все смотрят и смеются. И мы смеемся вместе со всеми, каждый раз замечая подробности, которые раньше ускользали от нашего внимания. Если раньше нам казалось смешным, что человек, получивший удар по голове табуреткой, скатывается с лестницы, то теперь смешит выражение лица, с которым он катится по ступенькам.

Теперь, когда мы бываем с отцом на концертах, в кино-театрах, то просим, чтоб нам разрешили смотреть из кинобудки. Там мы завязываем знакомство с киномехаником, рассказываем, что у нас «тоже» есть киноаппарат, и выпрашиваем у механика немножечко киноплёнки. В те времена в кинобудках часто залеживались старые фильмы, и механику ничего не стоило дать нам небольшой ролик с отрывком какой-нибудь драмы из великосветской жизни, кинохроники и даже американского фильма с ковбоями и индейцами, скачущими на лошадях и палящими друг в друга из ружей. Мелькают лошадиные ноги. Вьются по ветру длинные гривы. Белые дымки вылетают беззвучно из ружейных стволов. Всадники на полном скаку падают с лошадей. Ужас до чего захватывающе! Поостывший было интерес к киноаппарату, таким образом, время от времени подогревается.

А жизнь между тем идет своим чередом. Я по-прежнему ношусь каждое утро как угорелый со своими газетами и со своими «сенсациями» — зарабатываю «на скрипку», как говорится. Мне кажется, что я давно заработал уже не то что на скрипку, а на целый контрабас, но у отца все один и тот же разговор: погоди еще капельку. В конце концов совесть его, видно, заела, и в одно прекрасное утро мы отправляемся с ним... Куда? Ну, не в музыкальный магазин, конечно (в ту пору никаких музыкальных магазинов не было), а все на тот же рынок. Обходим все палатки, торгующие разным старьем, но нигде не находим того, что нам нужно. Теперь у нас один путь — на толкучку.

Толкучка, или, как ее иначе называют, барахолка, — это там, где каждый толчется со своим товаром в руках. Кто хочет продать ботинки, у того в руках ботинки, кто продает брюки или старую шапку, у того в руках брюки или старая шапка,

а кто хочет продать скрипку, у того в руках, разумеется, скрипка. В тот период всеобщей разрухи торговля старьем приобрела такой размах, что на толкучке можно было купить любую вещь, за исключением разве что пианино и трамвайных вагонов. Правда, иной раз приходилось изрядно потолкаться, пока встретишь продавца с нужным товаром.

Нам, однако же, повезло. Не успели мы дойти до толкучки, выплеснувшейся с Галицкой площади на примыкавшую к ней широкую Степановскую улицу, как увидели нечто, по поводу чего отец, у которого, как известно, на каждый жизненный случай была пословица, сказал:

— Смотри-ка, недаром говорится — на ловца и зверь бежит.

Я посмотрел в сторону, куда он показывал, и увидел, что «зверь» этот была безобидная, скромно одетая интеллигентная женщина со скрипкой в руках, спускавшаяся по Бибиковскому бульвару к рынку. Как только она подошла ближе, отец спросил:

— Продается скрипка?

— Продается, — с застенчивой улыбкой ответила женщина, словно чувствуя себя виноватой в том, что ей приходится продавать скрипку.

— Сколько стоит?

Женщина назвала цену. Отец взял скрипку, повозил смычком по струнам. Потом вручил скрипку мне. Достал из кармана бумажник и расплатился с женщиной. Поблагодарив, женщина повернулась и поспешно ушла обратно, так и не дойдя до рынка. Отец был явно доволен и собой и покупкой. Он радостно улыбался. Хлопал меня рукой по спине. Говорил, что нам здорово повезло, и повторял свою шуточку насчет ловца и зверя. Потом он отправился по своим делам, а я поплелся со скрипкой домой.

Именно поплелся. Не бежал. Не помчался. Не полетел, как на крыльях! Я воображал, что буду радоваться, как только скрипка окажется в моих руках, но почему-то не радовался. Не ликовал. Какое-то странное, сложное чувство владело мной. Я понимал, что, добившись наконец скрипки, я сделал свой выбор, определил свой жизненный путь. Правилен ли он? Впервые мне приходилось задумываться над тем, что я делаю нечто нужное мне не сейчас, не сегодня, а то, что нужно будет мне во всей моей последующей жизни. А этого ли я хотел для себя от жизни? Я мысленно уверял себя, что да. Именно этого! И сам не верил себе. Вернее сказать, сомневался, верю ли я сам себе или не верю. Весь я был — одно сплошное сомнение и сомне-

вался даже в том, на самом ли деле я сомневаюсь в чем-то или это мне только так кажется.

Впрочем, когда я дошел до дома, то каким-то образом дошел до умозаключения, которое мог бы сформулировать словами Юлия Цезаря: «Жребий брошен. Рубикон перейден».

ЗА РУБИКОНОМ

Итак, жребий брошен. Я дома и настраиваю скрипку. Пробую сыграть известные мне мелодии. И я не в восторге от своей музыки. Что-то не нравится мне. Не то чтобы я ощущал фальшь. Конечно, фальшь есть, но не в этом беда. Когда я поупражняюсь, пальцы привыкнут попадать на нужные лады — и фальши не будет. Это я понимаю. Но мне не нравятся сами извлекаемые мною звуки. В них недостает чистоты, певучести. Струны у меня не «поют», а как-то раздражающе пищат, визжат или скрипят. Особенно когда меняется направление движения смычка. Здесь, перед тем как остановиться, смычок замедляет свое движение, и это замедление сопровождается противным, раздражающим слух скрипом. Когда же смычок начинает двигаться в обратном направлении, он не сразу приобретает нужную скорость — и опять тот же терзающий уши скрип!

Я понимаю, что нельзя же сразу выучиться играть на скрипке. Отец обещает найти мне учителя. А пока он «ищет», я покупаю себе так называемую «Школу Берио», то есть сборник упражнений для обучающихся игре на скрипке. Играю помещенные в этом сборнике этюды и терзаю свои собственные уши своей собственной музыкой. Постепенно я переиграл почти все помещенные в «Школе» этюды и упражнения, но не знаю, добился ли каких-нибудь успехов. Чувствую, однако ж, что у меня что-то не ладится...

Отец наконец нашел мне учителя. Он живет на Малой Васильковской улице. Там у него на четвертом этаже маленькая квартирка с маленькими комнатками, а комнатки — с маленькими окнами (это, должно быть, после нашей большой квартиры на Марино-Благовещенской мне все у него кажется крошечным, миниатюрным). Зовут его Луарсаб Саркисович. Он не турок, но и не грек. Это известно в точности, так как он сам о себе любит говорить словами популярной в те годы песенки: «Я не турок, я не грек, я кавказский человек». Он напевает себе под нос эти слова, не уточняя, однако ж, к какой именно кавказской нации принадлежит.

Он невысокого роста. Худой. Волосы черные с проседью. Глаза задумчивые, грустные. Очень густые брови. Одет небрежно.

Когда я являюсь к нему впервые, он велит мне сыграть упражнение из «Школы Берио». Стоя перед пюпитром с раскрытыми нотами, я старательно пиликаю заданное упражнение. Он в это время шагает по комнате за моей спиной, курит самодельную папироску, разгоняя рукой выпускаемые из рта клубы дыма, словно отмахивается от одолевающей его мошкеры. Прослушав до конца мою музыку, он продолжает шагать, погрузившись в задумчивость, словно забыл обо мне. Потом говорит:

— Так, конечно, можно играть...

Слово «конечно» он произносит на свой манер. Обычно звук «ч» в этом слове мы произносим, как «ш», в результате чего у нас получается «конешно» или, вернее, «канешно». Он же особенно старательно выговаривает «ч», так что вместо «канешно» у него получается «канечи́но».

— Так, конечно, можно играть,— говорит он,— но если ты так будешь играть, то из тебя никогда не выйдет хорошего музыканта. Понял?

— Понял,— отвечаю послушно я, не понимая, однако, что здесь, собственно говоря, мне нужно было понять.

— Ну, вот и хорошо,— радуется он.— Тебе нужно поставить левую руку, и тебе нужно поставить правую руку. Скрипку держи вот так...

Он показывает, как держать скрипку, бесцеремонно хватая меня за локти, и пытается согнуть руки так, словно они у меня сделаны из проволоки. Подергав таким образом меня за руки и окинув критическим взглядом всю мою фигуру, как художник, рисующий с натуры, он велит повторить заданное упражнение, но обозначенные в нем четвертные ноты играть как целые, то есть увеличивая продолжительность их звучания в четыре раза.

Я снова начинаю играть упражнение, но в более тягучем, занудливом, я бы сказал, темпе. Он же ходит, изредка поглядывая на меня и подавая команды. Этих команд всего две: «ик» и «от». «Ик» сокращенно означает «ик себе», то есть «к себе», или, говоря пространнее, «Руку со смычком надо держать ближе к себе». Команда «от» означает «от себя», то есть «Руку со смычком держать дальше от себя».

Он (мой учитель то есть) не очень разнообразит свои задания. С тех пор как я к нему хожу, я играю все то же упраж-

нение в замедленном в четыре раза темпе и выполняю все те же команды: «ик» и «от», «ик» и «от» — до полнейшего отупения.

Вся семья учителя состоит из жены и дочки. Дочка приблизительно моих лет. В общем, она, можно сказать, красивая, но в ней что-то не нравится мне. У нее длинные черные волосы и какого-то неуловимого цвета змеиные, немигающие глаза. По-моему, у змей, как у рыб, глаза никогда не закрываются, поэтому они (то есть змеи) моргать не могут. К тому же она (то есть дочка) всегда молчит. За все время я не слышал от нее ни одного слова. Я даже не знаю, какой у нее голос. Она часто подходит к двери, молча слушает, как я «играю», и насмешливо улыбается своей змеиной улыбкой. Наверно, ей до смерти надоели «ученики», приходящие к ее отцу со своими скрипками.

Жена у него (у моего учителя) — настоящая ведьма. Иногда посреди наших занятий она возвращается с рынка с сумкой, наполненной всякими продуктами (капуста, картошка, огурцы, помидоры...) и начинает ругательски ругать что-нибудь или кого-нибудь: то жаркую или холодную погоду (чтоб ее черти взяли!), то слишком крутую лестницу (чтоб она провалилась!), то слишком дорогие цены на продукты (чтоб они сгорели!), то мужа за то, что слишком мало зарабатывает, то меня за то, что не уплатил за уроки. Меня, правда, она ругает не прямо, а косвенно. За меня достается мужу.

— Где ты набрал таких учеников, чтоб тебя черти взяли! — кричит она. — Люди добрые, скажите на милость, где вы такое видели? Ты разве не знаешь, что ученики должны платить за уроки? Ты что, можешь воздухом питаться? Ты что, Рокфеллер или Ротшильд? А?

В общем, грубая женщина! Он смиренно помалкивает, давая ей выговориться. Когда же она доходит до Рокфеллера и Ротшильда, он умоляюще улыбается (улыбка трогает лишь уголки его губ) и говорит:

— Ну-ну-ну!

Вместо «ну-ну-ну» у него получается нечто среднее между «ну-ну-ну» и «ню-ню-ню».

— Ньу-ньу-ньу!

Он успокаивающе потряхивает пальцами левой руки в ее сторону, потом ободряюще потряхивает пальцами правой руки в мою сторону:

— Играй!

Я продолжаю пикировать прерванное упражнение. Она, захва-

тив свои продукты, уходит на кухню, откуда доносятся звуки удаляющейся грозы в виде стука топором по полену, ножом — по капусте, горшком — по плите, с попутными пожеланиями топору лопнуть, ножу — околоть, горшку — сгореть и т. д.

Мне совестно перед учителем, перед его ведьмой женой и змеей дочкой. Самолюбие мое страдает. Мне совестно напоминать отцу об уплате долга. Я перестаю ходить на уроки. Месяца через два отец дает мне наконец требуемую сумму. Я снова являюсь к своему учителю.

— Эх, Коля, Коля! — укоризненно бормочет он. — Почему ты не приходил? За это время ты уже концерты давал бы.

Сказочки! Я знаю, что никаких концертов я не давал бы.

Он открывает ноты и велит мне играть уже игранное сто раз упражнение в том же замедленном темпе и с теми же командами «ик» и «от».

Смычок мой начинает мучительно ползать по струнам, извлекая тягостные, заунывные звуки с раздражающим скрипом на «поворотах». Учитель же как будто и не замечает этого надоедливого скрипения. Продолжая водить смычком по струнам, я начинаю думать о том, что со стороны, может быть, извлекаемые мною звуки кажутся более мелодичными, чем кажутся мне самому. Я давно заметил, что, играя на мандолине, слышу звуки не такими, какими они слышатся мне, когда на той же мандолине играет кто-нибудь из моих приятелей. Я понимаю: когда звучащий инструмент находится у меня в руках, звуковые колебания достигают органа слуха не только по воздуху, но и непосредственно по моему телу. Отсюда разница в восприятии звука. Играя же на скрипке, я прижимаюсь к ней подбородком, и звуковые колебания от нее передаются к органу слуха непосредственно по костям черепа, в абсолютно, так сказать, неотфильтрованном виде, и это действует особенно раздражающе. А зачем мне это раздражение? Почему я должен раздражать свой слух? Ради какой такой великой цели? Мне не нравится слушать, как скоблят железным гвоздем по стеклу! Меня не тянет к исполнительской деятельности. Я не мечтаю об аплодисментах. Мне не нужно оваций! Я бы еще согласился сочинять музыку. Но иногда. Только тогда, когда хочется и если хочется, а не делая из этого себе профессию. Навсегда погрузиться в мир звуков?! Отказаться от всего живого?! Нет уж, спасибо! Это не для меня!

Урок окончен. Учитель велит мне дома играть все то же упражнение, но обозначенные в нем четвертные ноты играть как целые, то есть в четыре раз длинней. Он советует (уже

в который раз) играть перед зеркалом, чтоб видеть, когда надо держать смычок «ик себе», когда «от себя».

Я говорю:

— Хорошо.

Я говорю:

— Спасибо.

Я говорю:

— До свиданья!

Я иду домой и по дороге еще раз обдумываю все от начала и до конца. На ходу всегда так хорошо, так активно и так продуктивно думается!

Дома я прячу скрипку, для того чтобы никогда в жизни уже не прикасаться к ней.

Я проверил себя. Эта проверка мне не дешево обошлась. Я принял решение. Это решение мне нелегко далось.

Я бы мог обвинить в своей неудаче отца: ему нужно было купить мне скрипку на год-два раньше, чем он купил. Ему не нужно было задерживать оплату уроков. Он должен был поинтересоваться моими занятиями, подбодрить меня...

Я бы мог обвинить учителя: он бескрылое существо, человек без фантазии. Его уроки слишком скучны и однообразны. Он должен был понимать, что имеет дело с мальчишкой, которого распирает от нетерпения, который ненавидит зубрежку и толчение воды в ступе.

Я бы мог обвинить его ведьму жену за то, что ворчала и злилась.

Я бы мог обвинить и змею дочку за то, что смотрела на меня, как удав на кролика.

Я бы мог обвинить весь свет.

Но я никого не виню. В том числе и самого себя.

У меня не хватило настойчивости?

Нет!

У меня не хватило любви к делу.

Всего лишь!

И этого больше чем достаточно.

Хорошо еще, что я не слишком поздно узнал об этом!

КАК ОН УЧИТСЯ!

Тот, кто читает эту историю, должен представлять себе, что я не только увлекаюсь хождением по концертам, театрам или кино, не только «живу в джунглях», строю вигвамы и «вол-

шебные замки», сижу на деревьях и воюю с бойскаутами, не только играю на музыкальных инструментах и читаю увлекательные книги или устраиваю театральные представления, исполняя роли Тараса Бульбы, Вия или Роберта-дьявола, занимаюсь в промежутках между этими делами тасканием из сарая на пятый этаж дров (когда они у нас есть) и воды (когда ее нет, то есть когда не работает городской водопровод), уборкой помещения, подметанием и мытьем полов, хождением в лавочки, чисткой самоваров, медных кастрюль, ложек, ножей и вилок (чистить нужно золой до полного блеска). Это не говоря уж, конечно, о том, что на моей обязанности лежит еще хворать всеми распространенными в те времена болезнями, как, например, тиф, корь, скарлатина, испанка, ветрянка, свинка, бронхит, плеврит, коклюш и другие. И еще он (то есть тот, кто читает эту историю) должен ни на минуту не выпускать из виду, что все это происходит не в обычное мирное время, а в тревожные, боевые годы гражданской войны и что, помимо всего прочего, я еще хожу в школу и как-то (именно «как-то») учусь.

Уже и не помню, как я учился второй год в подготовительном классе, но учился, видимо, как-то так, что меня все же перевели в первый класс без каких-либо осложнений (под осложнениями я понимаю работы на лето, осенние переэкзаменовки и прочее). Братец же мой — бесшабашная голова — и в первом классе учился по своему старому методу, за что и был оставлен на второй год (на этот раз не помог и возраст). Тут я и «догнал» его.

Мой друг Володька Митулин после каникул почему-то уже не пришел в класс. Я снова сел с братом за одну парту, и мы стали учиться с прежним рвением или, вернее сказать, без какого бы то ни было рвения вообще. В конце концов нас, наверно, выгнали бы из гимназии за неуспеваемость, не случись Октябрьская революция, которая произошла вскорости после того, как начались занятия в первом классе.

Вслед за Октябрьской революцией тут же началась гражданская война, которая в отличие от империалистической шла уже не где-то там на границах или неподалеку от границ государства, а прокатывалась волнами чуть ли не по всей стране. Немцы, петлюровцы, гетманцы, деникинцы, белополяки, которых большевики (то есть Красная Армия) поочередно вытесняли из города или же сами были вытесняемы ими. Киев неоднократно переходил из рук в руки, и часто, когда мы утром являлись в класс, кто-нибудь из учителей говорил нам:

«Дети, город в осадном положении. Занятия временно прекращаются. Идите домой. О дне возобновления занятий будет объявлено».

И мы отправлялись домой и наслаждались свободой и неделю, и две, а то и весь месяц, пока, наконец, на подступах к городу не происходило решающее сражение. Обычно оно начиналось ночью. Как правило, в такую ночь мы не спали, а прислушивались к канонаде, в которой уже не различалось отдельных выстрелов, так как они сливались в одно непрерывное злобное гудение («И залпы тысячи орудий слились в протяжный вой»). А на рассвете мы, мальчишки, выстроившись вдоль тротуаров, смотрели, как по улице с утра и до вечера в город вступали части одержавшей победу армии. Легко гарцевала, звонко цокая копытами, нарядная конница, дробным, свободным шагом (словно картошку сыпали) шагала уставшая, посеревшая от дорожной пыли пехота, тархтели по булыжной мостовой пулеметные тачанки, тяжело громыхала артиллерия, обычно замыкавшая шествие.

Власть в городе менялась. Постепенно налаживалась мирная жизнь, но опять-таки только до следующего осадного положения. Обстоятельства складывались так, что сколько-нибудь планомерного учета успеваемости учащихся в школе не велось, и нас всех из года в год без разбора переводили в следующий класс. Таким образом, все способствовало тому, что мы с братом отставали в учебе все больше и больше, постепенно становясь так называемыми «запущенными», «безнадежными» или «отпетыми».

Брат, однако, не чувствовал ущерба от такого своего положения, так как им давно уже владела «одна, но пламенная страсть» — стать художником, а художнику-де ни математика, ни физика и никакая другая наука не нужны вовсе. Для меня лично этот вопрос не решался так просто. Я тоже любил рисовать, но занимался рисованием лишь как игрой. Мысль стать художником, всю жизнь корпящим над своими красками, не казалась мне заманчивой. Начитавшись к тому времени Фенимора Купера, Майн Рида, Жюль Верна, Густава Эмара, Луи Буссенара, Стивенсона и других подобного рода авторов, я весь бурлил от каких-то неясных грез и видел себя в будущем занятым какой-то необычайно значительной деятельностью: то скакал в образе ковбоя на горячем мустанге сквозь прерии дикого Запада, то был чем-то вроде капитана Гаттераса, рвавшегося, несмотря на пургу, мороз и ледяные торосы, к своей заветной цели — Северному полюсу, то путешествовал

по знойной Африке вместе с Давидом Ливингстоном, в промежутках же между этими делами был индейцем из племени гуронов или ирокезов, средневековым рыцарем и запорожским казаком, а кроме того, Шерлоком Холмсом, Оводом и Христофором Колумбом — одним в трех лицах; и если уже говорить до конца правду, то капитан Немо — это тоже был я.

В общем, в голове у меня была путаница ужасная! Я, как Дон Кихот, не понимал, кто я, где я и чего хочу. По мере того, однако, как я выходил из детского возраста, чувство реальности начало постепенно возвращаться ко мне. Я стал понимать, что не смогу сделаться средневековым рыцарем, поскольку сейчас никакого средневековья не было. Запорожским казаком тоже нельзя было стать, так как Запорожская Сечь давно прекратила свое существование. Даже Христофором Колумбом я не мог стать, поскольку Америка уже была открыта и Колумбу на моем месте уже нечего было бы открывать. Скорее чувством, чем умом, я стал понимать, что в прошлое смотреть нечего, а надо смотреть в будущее. И время от времени меня стало посещать какое-то безотчетное беспокойство о своем будущем. Я стал ощущать тягостную неловкость оттого, что чего-то не понимаю на уроках, не могу решить заданную на дом задачу, выполнить упражнение и тому подобное.

Поскольку я не мог исправить одним ударом создавшееся положение (уж очень все было запущено), то и не брался за дело, а махнул на себя рукой, стал считать себя, как было принято говорить, пропавшим и плыл по течению, стараясь не думать, что из всего этого в конце концов выйдет. Все свободное время я отдавал играм и чтению, причем читал все, что под руку попадет, начиная с Камилла Фламариона, писавшего фантастические романы о космических путешествиях, и кончая Клавдией Лукашевич, сочинявшей слащавые повести из детской жизни.

Не знаю, к каким берегам вынесло бы меня мое течение, если бы не один случай, о котором я и хочу рассказать.

В тот период гражданская война подходила к концу, хотя об этом тогда еще никто не догадывался. Казалось, что теперь она будет длиться вечно. Хозяйственная разруха достигла своей кульминации, то есть самой высокой степени. Не работали фабрики и заводы. Не было каменного угля, так как немецкие войска, покидая Донбасс, затопили водой все шахты. Из-за недостатка топлива не работали электростанции. Трамвайное движение в городе прекратилось. В домах не было электрического освещения. Керосина тоже не было, потому что керосин,

как известно, делается из нефти, а нефти в то время тоже уже никто не добывал. В результате электрические и керосиновые лампы вообще вышли из употребления. По вечерам помещение обычно освещали плошками, или, как их иначе называли, каганцами. Брали небольшое блюдечко, в него наливали какое-нибудь масло (годились любое жирное, способное гореть вещество). В это масло опускали скрученный из ваты фитилек. Один из концов этого фитиля клали на край блюда и зажигали. Фитилек потихоньку горел, давая свет, уступавший по силе свету от обыкновенной спички. Но и такой свет был благо, когда не было совсем ничего (сколько книг я перечитал при свете такого каганца!). Ваты в аптеках не было. Поэтому вату для фитилей добывали из зимних пальто, выдирая ее из подкладки. Спички тоже не продавались, поэтому в ходу были различнейшие зажигалки, сделанные из стреляных винтовочных гильз.

Не хватало одежды, обуви, а главное — не хватало еды. Часто мы сегодня не знали, что будем есть завтра, и, сказать по правде, я не помню дня, чтобы наелся досыта, и если бы такой день выпал, я бы его запомнил, это уж непременно. В холодное зимнее время от бескормицы гибли лошади (автомобилей тогда было мало, ездили и перевозили грузы преимущественно на лошадях). Обессилен от истощения, несчастная лошадь падала прямо посреди улицы и уже не могла встать. Ее выпрягали из саней или телеги и оставляли там, где ее настигла смерть. Поскольку трамвайное движение прекратилось, мы ходили в гимназию пешком и на своем пути обычно видели по несколько лошадиных трупов. Один из таких трупов долго лежал на углу Борщаговской улицы и Брест-Литовского шоссе, другой валялся в начале Бульварно-Кудрявской улицы, третий на Сенной площади, неподалеку от рынка. Зимнее время способствовало сохранению лошадиных трупов, но изголодавшиеся собаки не давали им особенно долго залеживаться. Обычно можно было видеть целую свору собак, обдиравших дохлую лошадь со всех сторон и вдобавок грызущихся между собой. С покрасневшими от лошадиной крови мордами, а некоторые от головы до хвоста измазавшиеся в крови, они внушали нам отвращение. Обычно из гимназии мы возвращались целой компанией ребят и считали своим долгом разгонять собак, поедавших дохлых лошадей, бросая в них камнями. Нам было жалко бедную лошадь, и мы думали, что делаем доброе дело, отгоняя от нее противных собак.

В действительности собаки эти служили хорошую службу, освобождая город от гниющей падали. Работали же они своими

зубами настолько чисто, что через некоторое время от лошади оставался белый, словно омытый водой, скелет. Но собакам работы хватало, так как вместо съеденной лошади на Брест-Литовском шоссе появлялась новая дохлая лошадь в начале Бибиковского бульвара, а вместо лошади на Сенной площади появлялась лошадь на Малой Подвальной улице и т. д.

Спасаясь от голодухи, все больше народу уезжало из города. Все знавшие какое-нибудь ремесло — сапожник, портной, скорняк, столяр — потянулись в деревню. Многие из учителей перекочевали туда же. Там они учили крестьянских детишек, а крестьяне снабжали их продуктами: яйцами, салом, картошкой, кукурузой — всем, что годилось в пищу. Наступил период, когда в гимназии у нас не осталось и половины учителей. Остались лишь сугубые интеллигенты, у которых не было никаких связей с деревней, как, например, учитель русского языка Петр Эдуардович Деларю (из обрусевших французов), добродушный Владимир Александрович (никогда не знал его фамилию), преподававший природоведение, немка, то есть преподавательница немецкого языка Ольга Николаевна, и француженка Вера Дмитриевна. Грозный Леонид Данилович, преподававший математику, куда-то исчез, а вместо него появился худой и высокий, но не менее грозный Карапет, преподававший ранее математику лишь в старших классах. Ни имени, ни фамилии этого учителя никто не знал, а Карапет была его кличка. Правда, кто-то из учеников уверял меня, что на самом деле его зовут Карапет Иванович и можно, желая задать ему какой-нибудь вопрос, назвать его этим именем, но я лично на такой эксперимент не отваживался. Слишком дорого мог обойтись этот эксперимент, окажись Карапет не Карапетом Ивановичем, а кем-нибудь другим.

Ввиду нехватки учителей Петр Эдуардович преподавал в тот год у нас не только русский язык, но и анатомию. Ольга Николаевна, помимо немецкого языка, преподавала и географию. Владимир Александрович преподавал уже не природоведение, а физику. Карапет же преподавание математики совмещал с должностью неизвестно куда девшегося инспектора и вылавливал на переменах шаливших в коридорах учеников (а может быть, это у него было такое, как теперь называют, хобби). Однажды я счастливо избежал самой страшной кары — исключения из гимназии, — ловко ускользнув из его рук, о чем расскажу сейчас.

Был период, когда мы, не знаю по какой причине, проходили в помещение гимназии не с главного входа, а с бокового.

Дверь внизу лестничной клетки бокового входа была небольшая, одностворчатая и выходила в маленький коридорчик или тамбур, а из тамбура уже был выход на улицу. Я и двое моих товарищей сообразили, что если по окончании занятий спуститься раньше всех в тамбур и, закрыв внутреннюю дверь, крепче держать за ручку, то спускающиеся сверху ученики не смогут ее открыть, так как дверь открывалась внутрь, а все прибывающие сверху и напирające друг на друга ученики будут только мешать друг другу. Расчет оказался верным. Придуманый нами номер мы проделывали несколько дней подряд, держа в осаде весь наличный состав учащихся, наподобие трех рыцарей из романа Генриха Сенкевича «Огнем и мечом», которые втроем защищали узкий горный проход от целой армии противника. Можно легко представить себе, какой поднимался крик и вой, когда вся лестница заполнялась снизу доверху рвущимися домой ребятами.

Эти наши «рыцарские» подвиги кончились тем, что в один печальный день Карапет, выскочив через главный вход, пробежал по улице и, открыв дверь в тамбур, застиг нас на месте преступления. Двоих моих друзей он сразу схватил за шиворот, я же, молниеносно учтя опасность положения, успел удрать, пронырнув между его длинными, широко расставленными ногами. Оба моих соратника были исключены из гимназии, я же благодаря вот такого рода своей пронырливости избежал наказания.

Зато в другой раз мне повезло меньше, и я угодил Карапету прямо, как говорится, в лапы. Один из классов у нас был отделен от коридоров не капитальной стеной, а легкой фанерной перегородкой. Кто-то из ребят выломал из этой перегородки кусок фанеры у самого пола, так что образовалась четырехугольная дырка, сквозь которую можно было, слегка нагнувшись, вылезти из класса в коридор, минуя дверь. Мне почему-то особенно нравилось проникать в класс и выходить из класса не через дверь, а через этот лаз. Так было романтичнее, что ли. И вот однажды, когда я вылезал в коридор из этой дырки, кто-то в классе бросил в меня каштаном, но попал не по мне, а по фанерной стенке над моей головой. Раздался гулкий удар. А в это время по коридору проходил бдительный Карапет. Услышав стук, он глянул вниз и увидел меня вылезающим из дыры. Тут же сцапав меня за руку выше локтя, он грозно спросил, зачем я ломаю стену. Я стал уверять его, что стены не ломал.

— Но я же слышал,— настаивал Карапет.

Я принялся объяснять, что звук, который он слышал, произошел оттого, что кто-то бросил в меня каштаном, а дырка в стене уже была давно.

Тут к нам подошел Владимир Александрович, который лишь недавно был назначен нашим классным наставником.

— Как он учится? — строго спросил его Карапет.

Я не сомневался, что Владимир Александрович скажет, что учусь я из рук вон плохо (это вполне соответствовало действительности), но, к моему удивлению, Владимир Александрович, на секунду замявшись, сказал:

— Ничего.

Услышав такой ответ, Карапет наконец отпустил меня.

Очутившись на свободе и понемногу придя в себя от испуга, я начал думать, почему так ответил Владимир Александрович Карапету. До этого случая я пребывал в полной уверенности, что всем хорошо известны мои успехи, или, вернее сказать, мои неудачи в учении. Постепенно я, однако, припомнил, что Владимир Александрович давно не спрашивал меня по своему предмету, а как обстоят мои дела у других учителей, он, должно быть, не знал, так как лишь в этом году был назначен нашим классным наставником, учебный год к тому же совсем недавно начался. Вопрос строгого Карапета застал нового классного наставника, как видно, врасплох. Сказать, что я учусь хорошо, Владимир Александрович не мог, так как вовсе не был уверен в этом, сказать же, что я учусь плохо, тоже чувствовал себя не вправе. Вот он и избрал нечто среднее между «плохо» и «хорошо», в результате чего получилось уклончивое «ничего».

Я мысленно вертел это слово на всяческие лады и почувствовал, что его можно произнести так, что оно будет звучать почти как «хорошо», но можно произнести и так, что оно прозвучит прямо-таки как «плохо». Я начал припоминать, как его произнес Владимир Александрович. Оказалось, что он начал это свое «ничего» несколько нерешительно и первые его две трети прозвучали почти как «плохо», но, видимо, он сам спохватился, пока говорил, и, чтоб поправить дело, конец слова произнес более уверенно, оптимистически, отчего в целом оно прозвучало почти как «хорошо».

Я сам задавал себе мысленно вопрос строгим голосом Карапета:

«Как он учится?»

И отвечал голосом Владимира Александровича:

«Ничего!»

И это «ничего» получалось у меня прямо-таки как «хорошо», «совсем прилично».

И я подумал, что, может быть, не только Владимир Александрович, но и другие учителя не знают, что учусь я на самом деле плохо, что я неспособный, пропадающий и так далее в этом роде. Я вспомнил при этом, что в период летних каникул помещение гимназии было отдано под военный госпиталь, после чего из учебных кабинетов исчезли все наглядные пособия: коллекции насекомых, банки с заспиртованными каракатицами, электрические машины, глобусы, географические карты. Исчез даже неизвестно кому и для чего понадобившийся человеческий скелет, и теперь на уроках анатомии, чтобы показать, из каких костей состоит человеческий скелет, Петру Эдуардовичу приходилось использовать в качестве наглядного пособия свои собственные руки, ноги и другие части тела, что очень веселило зрителей, или, вернее сказать, учащихся.

Как только эти обстоятельства пришли мне на память, в моей душе затеплилась надежда, что вместе со скелетом и другими вещами из гимназии исчезли и классные журналы с учетом успеваемости за прошлые годы. Их, наверно, порвали на цигарки содержащиеся в госпитале раненые и уничтожили, таким образом, все вещественные доказательства моих неудач в учении.

И тогда я подумал:

«Если так, если никто не знает, что я плохо учусь, то, может быть, никто этого и не узнает, если я приложу старания и начну учиться получше?»

В общем, одно слово, сказанное Владимиром Александровичем, вызвало целый вихрь мыслей в моей голове. Я чувствовал, что во мне произошел какой-то переворот. У меня сразу переменялся взгляд на жизнь, на людей. Теперь я знал, что никто не относится ко мне с недоверием, и у меня самого появилось больше доверия к людям. Я понял, что никто не станет карать меня за старые грехи. Груз прошлого больше не давил меня. Я почувствовал легкость необыкновенную и в этот день уже не шел домой по улицам, а летел над городом как бы в состоянии невесомости. И какой-то нежный, ангельский голос пел во мне:

«Как он учится?»

И другой ангельский голос пел в ответ:

«Ничего-го-о-о!»

РЕШАЮЩИЕ БОИ

Итак, дорога передо мной была открыта. Я понимал, что впереди — большие трудности. Справлюсь ли я? В силах ли я? Смогу ли я? И вообще в человеческих ли это возможностях? Я не знал. Я знал лишь, что хочу. И какое-то чувство говорило мне, что «хочу» — это значит «могу».

В тот день, вернувшись из школы, я тут же засел за уроки и, скажу откровенно, впервые без неохоты, без желания поскорее отделаться от них.

Правда, от этого не сразу получился у меня толк. Есть предметы, как, например, география, ботаника, зоология, в изучение которых можно включиться с середины. А вот в других предметах, как в алгебре, если не усвоил предыдущего, то ничего не поймешь в последующем. Дома у нас никто ничего не понимает в алгебре и никто ничего не может мне объяснить. Карапет в классе тоже ничего не объясняет, а все только спрашивает да еще в какой-то издевательской, веселой манере. Вот Карапет, к примеру, вызывает меня к доске, диктует уравнение и не просто велит решить его, а задает вопрос в такой форме:

— Не можешь ли ты, голубчик, удовлетворить мое любопытство и сказать, чему равен x ?

Так как я не могу удовлетворить его любопытство, он приглашает к доске на помощь мне другого ученика:

— Ну-ка, вот ты, Смирнов, сделай, пожалуйста, одолжение и объясни нам, чему равен x .

Видя, однако, что Смирнов не может сделать такого одолжения, Карапет вызывает к доске Быстрова, за Быстрым — Калугина... Постепенно у доски становится тесно. В классе начинают раздаваться смешки.

— Кто смеется? — строго спрашивает Карапет. — Кому там весело? Тебе, Орлов, весело?

— Мне не весело, — признается Орлов.

— Ах, тебе не весело? — иронизирует Карапет. — Тебе, стало быть, скучно! Ну, чтоб тебе не было скучно, иди к доске и объясни нам, чему равен x .

Орлов подходит и, деловито стуча по доске мелом, начинает излагать примерно следующее объяснение:

«Так как в задаче говорится то-то и то-то, а это на столько-то больше того-то, то x равен тому-то плюс то-то, а вместе это дает то-то. Составляем уравнение: x плюс то-то равно тому-то. Решаем уравнение: x равняется тому-то минус то-то. В результате получаем то-то. Значит, x равен тому-то».

— Ну вот! — радостно обращается Карапет ко мне. — Теперь понял?

— Понял, — говорю я.

— Садись, в таком случае. Все садитесь, — отдает распоряжение Карапет.

Мы все гурьбой удаляемся от доски. Я сажусь на свое место, так и не поняв, почему x сначала был равен чему-то плюс что-то, а потом вдруг стал равен чему-то, но уже минус что-то. Мне, однако, всегда выгоднее сказать, что я понял: остается надежда, что Карапет, может быть, не поставит мне на этот раз плохую отметку. Если же я начну упорно твердить, что не понял, то он быстро разберется, что я в алгебре ни уха ни рыла, как у нас принято говорить, то есть абсолютно ничего не понимаю.

А я на самом деле ничего не понимаю в алгебре. Я не понимаю самой алгебры. В моей голове туман. Отчего это? Может быть, я хворал, когда мы начали проходить алгебру, или по какой-нибудь другой причине отсутствовал на уроках. А может быть, я и присутствовал, да не слушал объяснений преподавателя, а потом, когда спохватился, было поздно: класс ушел далеко вперед, и для меня теперь вся эта алгебра вроде китайской грамоты. Но если так... Если начать все сначала, то, может быть, я одолею эту премудрость? Ведь выучил же я по самоучителю ноты. Почему нельзя выучить по самоучителю алгебру? Почему здесь обязательно нужен учитель? Но бывают ли самоучители алгебры? Я что-то не слыхал о существовании таких самоучителей.

Обдумав все это, я раскрываю алгебраический задачник Шапошникова и Вальцева, но не там, где нам задано, а на первой странице, где помещены самые начальные упражнения, расположенные столбиком: $a + a =$, $b + b =$, $a - a =$, $c + c + c =$... «Что это?» — ломаю голову я. Это похоже на арифметические примерчики для самых маленьких, вроде: $2 + 2 =$, $3 + 3 =$, $2 - 2 =$... Но два плюс два будет равно четырем. А чему может быть равно $a + a$? Ведь это же не цифры, а буквы! Из букв можно складывать слова и читать книги. Для того и придуманы буквы! А здесь при чем они, эти буквы? Какой в них смысл? Явная бессмыслица!

Я заглядываю в задачник дальше. Там идут примерчики уже посложнее, вроде: $2a + 3a =$, $3a + 4b - 2b =$, $4c - c =$... А это что же? Тут уже буквы перемешаны с цифрами! Словно какой-то сумасшедший задался целью перепутать азбуку или грамматику с арифметикой! Пробую заглянуть в ответы,

но ответов на эти упражнения нет. И главное: никаких объяснений! Решай как знаешь!

Тут мне почему-то приходит на память, что среди моих школьных учебников есть еще одна книжка по алгебре. Это не задачник, и называется книжка просто «Алгебра», и автор ее Киселев. В эту книжку я вообще никогда не заглядывал. Возможно, в классе иногда и задавали прочесть в этой книжке ту или иную главу, но поскольку задания приходилось выполнять сплошь по задачнику Шапошникова и Вальцева, то я и имел дело с Шапошниковым и Вальцевым, не тратя драгоценного времени на чтение Киселева, который даже и не знаю зачем вообще нужен.

В поисках выхода из создавшегося безвыходного положения или из любопытства (сейчас уже не помню точно) пробую почитать эту книжку. Читаю. Разумеется, с первой главы читаю, так, словно бы это у меня какой-нибудь занимательный роман про индейцев или про подводную лодку. И мне вдруг начинает казаться, будто я понимаю что-то! Нет! Мне не начинает казаться, а просто кажется, что я понимаю... Да нет! Не кажется! Просто я понимаю — и всё тут! Алгебра, как оказывается, — это часть математики, изучающая общие законы действий над числами. В алгебре какое-нибудь число может быть условно заменено какой-нибудь буквой, и наоборот, под какой-нибудь буквой может подразумеваться любое число. Например: под буквой «а» мы можем подразумевать, скажем, число «2» или «3», и если мы запишем: « $a + a$ », то это может означать, что число «2» или «3» мы берем два раза или умножаем на два; следовательно, можем записать, что « $a + a = 2a$ ».

Прочитав главу, я тут же возвращаюсь к задачнику и убеждаюсь, что легко могу делать эти буквенные примерчики, доступные пониманию пригодишки, если ему, конечно, с толком все разобъяснить. Дальше у меня дело идет так: читаю очередную главу у Киселева и делаю соответствующие примеры и задачки из соответствующего раздела Шапошникова и Вальцева, потом снова читаю Киселева и снова разделяюсь с главными моими врагами — Шапошниковым и Вальцевым. Хороший у меня союзник — Киселев! Хороший у меня учитель — Киселев! Вот он где, самоучитель алгебры! Он, оказывается, лежал у меня в сумке или на полке, а я даже не подозревал, что он у меня есть. Искал, как пошехонец, рукавицы, а они за поясом!

Таким способом за два или три дня я «прохожу» такой «кусочек» алгебры, который ребята в школе не проходят и

за два месяца. Но не все трудности уже позади, потому что впереди такой крутой и опасный перевал в алгебраическом хребте, как алгебраические дроби.

Мой мудрый советчик, мой добрый друг и союзник Киселев начинает к тому же почему-то вилять в стороны и вместо того, чтобы говорить прямо, без обиняков, что-то там мямлит, темнит, все чаще ссылаясь на арифметику, утверждая, что и сложение, и вычитание, и умножение, и деление алгебраических дробей производится подобно арифметическим дробям... Как это «подобно»? Будто я знаю, как это делается в арифметике. Об арифметических дробях я только и знаю, что они состоят из числителей и знаменателей и их можно как-то там складывать, вычитать, делить и умножать. Как-то! Но как? Этого я вам не могу сказать. Может быть, мы этого не проходили. Или меня, может быть, не было в классе, когда это проходили. Или, может быть, я и был, так сказать, физически, но мысленно витал где-нибудь в дебрях реки Амазонки.

Возможно, однако, Киселев не так уж и виноват. Зачем ему писать двадцать раз об одном и том же? Я помню, что когда мы проходили арифметику, то, помимо арифметического задачника Евтушевского, у нас был еще учебник, который назывался просто «Арифметика», и автором этой «Арифметики» был все тот же старина Киселев... Роюсь в своих книжках, отыскиваю «Арифметику» Киселева и начинаю читать. Ну, в самом начале там говорится, что числа, которые складываются, называются слагаемыми, а результат сложения называется суммой, и прочая всем известная чепуха. Это я пропускаю. Начинаю читать раздел, который называется «Обыкновенные дроби» — про числитель и знаменатель... Тоже всем известно. Пропускаю. Читаю раздел «Сложение обыкновенных дробей» и узнаю, что, для того чтобы сложить две дроби, их надо привести к общему знаменателю. А чтоб привести к общему знаменателю, нужно отыскать общее наименьшее кратное, а чтоб отыскать это самое наименьшее кратное, нужно разложить на простые множители и еще найти какой-то общий наибольший делитель.

Общий знаменатель! Простые множители! Наименьшее кратное! Наибольший делитель! Это что еще за зверье такое?.. Листаю книжку в обратном порядке. Нахожу раздел «Разложение чисел на простые множители». Читаю. Узнаю постепенно и про простые множители, и про наименьшее кратное, и про наибольший делитель. Только после этого возвращаюсь к дробям, постигаю, как отыскивается общий знаменатель, без которого не обходится ни сложение, ни вычитание простых дро-

бей. Перехожу к умножению и делению дробей, что, вопреки ожиданию, оказывается проще, чем сложение и вычитание.

Подтянув арифметические резервы, снова иду в наступление на алгебру. Алгебраические дроби не выдерживают натиска, несут большие потери и отступают в беспорядке. Алгебра бросает против меня хорошо подготовленные отряды многочленов и одночленов, выводит из засады отрицательные числа, палит из всех орудий отношениями, пропорциями, уравнениями и чем только может. В моих позициях образуются бреши. Мне то и дело приходится отступать на заранее подготовленные рубежи и выравнивать линию фронта. Все мои неудачи происходят из-за того, что я слишком быстро продвигаюсь вперед, стараясь обойти стороной некоторые опорные пункты в оборонительной системе Шапошникова и Вальцева. В тылу у меня остаются огневые точки противника, которые наносят мне непоправимый ущерб.

На ошибках учимся. Меняю тактику. Если я раньше решал не все задачи в задачнике, а с выбором, если иной раз я отступался от какой-нибудь не слишком покладистой задачки, предпочитая ей другую, посговорчивей, то теперь прихожу к мысли, что надо разделяться с ними со всеми подряд, не давая ни одной спуска. Расчет мой прост. Мне неизвестно, какие задачи в учебнике легкие, какие трудные. Но решение легких задач не отнимает много времени. Если же задача попадается трудная, то трудна она для меня лишь потому, что я чего-то не знаю, не понимаю. Преодолевая трудность, я что-то узнаю, постигаю, начинаю понимать то, чего раньше не понимал. Путь наибольшего сопротивления был единственно правильный путь.

Теперь, если в задачнике попадалась задача, которая не выбрасывала сразу же передо мной белого флага, ей приходилось сидеть в осаде, пока я ломал над ней голову. С одной такой каверзной задачкой (как сейчас помню) я пронянчился чуть ли не с неделю. Я выучил ее наизусть и думал над ней, где бы ни находился: и дома и на улице, и сидя, и стоя, и лежа, и на ходу, и когда обедал и ужинал, и когда ложился спать, и когда вставал, одевался и умывался. И ужасно я на нее злился, потому что она сильно задерживала мое продвижение по непокорной алгебре. Однажды ночью я долго не мог заснуть, так как думал над этой задачей. А когда заснул, приснился мне сон. Будто я сижу за столом и решаю эту задачу. И приснилось мне, будто я додумался, как решить задачу, и прикончил-таки ее. Проснувшись утром, я тут же заглянул в задачник и увидел, что ответ был правильный. Таким образом, я во сне понял то,

чего не понимал наяву. Значит, даже когда я спал, мозг мой продолжал работать, и работал правильно.

Впоследствии я читал, что великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев открыл один из основных законов химии — периодическую систему химических элементов — во сне, то есть когда спал. В те времена многие химики предполагали, что существует какая-то связь между атомными весами химических элементов (то есть простых веществ) и их свойствами, но никто никак не мог додуматься, в чем заключается эта связь, какая тут между ними зависимость. Дмитрий Иванович Менделеев так долго и упорно думал об этом, что забывал о еде и сне. А когда однажды заснул, то увидел во сне свою периодическую систему в форме уже готовой таблицы, которую помещают теперь в каждом учебнике химии.

Когда я прочитал это о Менделееве, то поверил, что во сне действительно можно сделать научное открытие, так как со мной самим произошло нечто подобное. Правда, мое открытие не имело для науки и человечества такого большого значения, как открытие Менделеева, но для меня лично оно было очень важно. Не знаю, кто из нас больше радовался: Менделеев, когда придумал свою мировую периодическую таблицу, или я, когда решил свою каверзную алгебраическую задачу. Для меня впервые, может быть, в тот момент стало ясно, что настоящая человеческая радость — в борьбе, в труде, в преодолении трудностей.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Нечего, конечно, и говорить, что, пока я продвигался галопом по алгебре, а заодно и по геометрии, класс не стоял на месте, и мне необходимо было не только наверстывать упущенное, но и выполнять задаваемые на дом уроки. Теперь я уже не считал возможным являться в класс с несделанными домашними заданиями и если не справлялся с ними самостоятельно, то хотя бы списывал у товарищей. Я же ведь должен был поддерживать марку ученика, который учится не как-нибудь, то есть спустя рукава, а «ничего», то есть вроде как бы совсем прилично.

Впрочем, надобность в списывании по мере моего продвижения вперед постепенно отпадала. Мне к тому же еще здорово повезло в том отношении, что русский язык уже кончился, то есть мы прошли уже всю грамматику вместе с синтаксисом

и этимологией, и вместо них начали проходить литературу. Таким образом, теперь уже никто не заводил речи ни о причастиях, ни о деепричастиях, я же, признаться, не сильно в них разбирался, то есть, если сказать по совести, не мог отличить одно от другого. Теперь вместо всего этого нужно было только читать книжки: «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» Пушкина, «Герой нашего времени» Лермонтова, «Шинель», «Ревизор», «Мертвые души» Гоголя, «Обломов» Гончарова. Ну, и так далее. Читать для меня было, в общем-то, одно удовольствие. Неожиданно для себя я убедился, что можно читать не только Фенимора Купера да Майн Рида, но и таких авторов, которые сильно от них отличаются, заставляя задумываться над такими сторонами жизни, которые как-то ближе меня самого касаются. Увлечшись, я, помимо требовавшихся по программе «Рудина», «Отцов и детей» и «Нови» Тургенева, прихватил остальные три его романа: «Дым», «Дворянское гнездо», «Накануне» и еще кое-что из менее крупных произведений. Вообще я стал читать не только сыщицкую и приключенческую литературу, но и классическую. На уроках же было интересно поговорить о прочитанном: о так называемых «лишних людях», вроде Онегина и Печорина, о хлестаковщине, маниловщине, обломовщине. Вот когда я почувствовал, что и во мне сидят (в известной дозе, конечно) и хлестаковщина, и маниловщина, и в особенности эта проклятая обломовщина, от которой я изрядно-таки пострадал.

С физикой мне «повезло» тоже, поскольку к тому времени уже были пройдены такие скучные разделы, как «Механика», «Жидкости» и «Газы», оставшиеся на карте моей памяти «белыми пятнами». Только из раздела «Жидкости» в моем мозгу запечатлелся один островок в виде закона Архимеда, да и то, надо полагать, потому, что об этом Архимеде рассказывалось как о каком-то смешном чудаке, который сидел в ванне, а потом голый бежал по улице и кричал: «Эврика!», что означало «Нашел!».

Короче говоря, мы начали новый раздел физики — «Электричество», усвоение которого не требовало знания закона всемирного тяготения или гидростатического парадокса, что весьма облегчало мою задачу. Электричество к тому же казалось очень занимательной наукой, так как изучение его сопровождалось показом опытов, которые мы в шутку называли фокусами. Да они и на самом деле смахивали на фокусы. Пробковый шарик, подвешенный на ниточке, почему-то притягивался к натертой сукном стеклянной палочке, а прикоснувшись к ней, начинал вдруг отталкиваться. Если же к наэлектризованному таким пу-

тем шариком подносили натертую сукном эбонитовую палочку, то он опять же притягивался к ней. Наличие двух родов электричества доказывалось на конкретных, наглядных примерах, что имело существенное значение для мальчишечьего мышления, которое не терпит ничего абстрактного, беспредметного, основанного на одних рассуждениях или умозаключениях.

Поскольку физический кабинет, как уже упоминалось, был в школе расхищен, Владимир Александрович вовлек нас в изготовление самодельных наглядных пособий вроде электроскопов, конденсаторов, лейденских банок, электрофоров. Дома я с увлечением мастерил сначала эти приборы, а потом уж и гальванические элементы, электромагниты, микрофоны, телефонные трубки, электрические звонки и телеграфные аппараты.

Таким образом, я все глубже уходил в дебри науки об электричестве, надеясь, что передо мной вот-вот откроется первопричина этой загадочной силы, которая притягивала и отталкивала предметы, проскакивала в виде искр или молний, намагничивала железо, заставляла колебаться мембраны телефонов, вертела электромоторы, разлагала воду на составные части, действовала на магнитную стрелку, пробегала с молниеносной скоростью по проводам, передавая телеграфные сигналы и телефонные разговоры, накаляла нити электрических ламп, заставляя их светиться, двигала по рельсам трамваи, поднимала и опускала лифты и фуникулеры. Первопричина эта никак, однако, не хотела открываться, а вместо нее открывались новые проявления этой силы в виде катодных и рентгеновских лучей, электромагнитных колебаний, с помощью которых можно было передавать телеграфные сигналы на расстоянии, радиоактивности, сущности которой не могли в те времена объяснить даже сами ее открыватели, и много других вещей.

Я уже начал было мастерить колебательный контур и когерер Бранли для передачи и приема электрических сигналов без проводов, но у меня что-то не ладилось. То ли железные опилки в трубке Бранли были ржавые и не хотели пропускать ток, то ли напряжение в колебательном контуре было недостаточно высоким, и электромагнитные волны не возникали или были слишком слабыми. В общем, мне так и не удалось выяснить причину неудачи, потому что в это время мы как раз начали проходить химию, и я со всем пылом и жаром набросился на эту науку, призванную, как я подозревал, объяснить сущность всего сущего и всего, что происходит вокруг в природе.

В тот год у нас в классе появился новичок Люстик Боровский, чех по происхождению. Настоящее имя его было Леонард,

но дома и мать и обе старшие сестры звали его Люсиком. На первых порах я с этим Люсиком подрался, сейчас уже даже не помню из-за чего. (Я заметил, что слишком часто пишу «не помню», но тут уж ничего не поделаешь. Как говорится, что есть, то есть: если не помню, то так и пишу «не помню», а если помню, то пишу «помню».) Так вот, я с ним, значит, подрался, как это часто бывает между ребятами, а потом вдруг обнаружилось, что мы оба влюблены в химию, и на почве этой «любви» между нами возникла большая дружба. Нам обоим мало было смотреть на химические опыты, которые демонстрировал в классе преподаватель, и мы решили устроить свою химическую лабораторию на чердаке дома, где он жил, на Лютеранской улице, недалеко от Крещатика. Там в углу обширного чердачного помещения за дощатой перегородкой была комнатуха или чуланчик с полукруглым оконцем и с неизвестно кем и для чего устроенным подобием длинного стола или верстака, на котором мы с удовольствием могли расположиться со своими приборами. Лучшего места для лаборатории и придумать было нельзя, поскольку образующиеся при различных химических реакциях такие резко пахнущие и ядовитые газы, как хлор, аммиак, сероводород, ацетилен и другие, легко рассеивались по всему чердаку и, в сущности, никому не мешали.

Москва, как известно, не сразу строилась. Так и наша лаборатория. Сначала все наше химическое оборудование ограничивалось стеклянными пробирками с резиновыми пробками и тонкими трубочками из легкоплавкого стекла, но постепенно мы обрастали хозяйством; появлялись колбы, простые и эрленмейеровские (то есть конусообразные): реторты, мензурки, двугорлые банки, фарфоровые тигли и ступки, термометры, спиртовые и ацетиленовые горелки, железные штативы, а также различнейшие химикалии, на что уходили все наши всякими способами добываемые капиталы.

Все химическое оборудование и химикалии в стеклянных банках, снабженных наклейками с аккуратно написанными химическими формулами, были красиво расставлены вокруг на полочках. На столе стояли спиртовые горелки и железные штативы с закрепленными в них колбами и ретортами. Все это имело таинственно-романтический вид, словно здесь трудился в поисках «философского камня» или «эликсира жизни» какой-нибудь средневековый алхимик. Из окошечка нашей лаборатории далеко внизу была видна спускавшаяся полукольцом к Крещатику и утопавшая в зелени каштанов Кругло-Университетская улица.

Отец Люсика был живописец вывесок, и в его мастерской всегда имелся запас искусно выполненных, словно напечатанных, эмалевых табличек с надписями вроде: «Не курить», «Не сорить», «Не плевать», «Посторонним вход воспрещен» и тому подобными. Для того чтобы обезопасить помещение лаборатории от непрошенных посетителей, мы приколотили к двери взятую Люсиком у отца табличку: «Посторонним вход воспрещен», а немного пониже этой — еще одну (для полной, так сказать, безопасности): «Высокое напряжение. Опасно для жизни» — с устремленной по диагонали стрелой, изображавшей электрическую искру. Под защитой этих предостерегающих надписей мы оставляли все свое химическое богатство без опасения за его сохранность.

Кто-нибудь может подумать, будто я только и делал, что безвылазно торчал в нашей лаборатории. А вот и ничего подобного! Чего только я не успевал тогда!

Ходил в публичную библиотеку. Читал там книжки. И нужные и ненужные, то есть те, что требовались по школьной программе, и те, что вовсе не требовались: и художественную литературу и научно-популярную. Там впервые познакомился с книгами Циолковского, Уэллса и Николая Морозова, просидевшего двадцать пять лет в Шлиссельбургской крепости и писавшего о таких удивительных вещах, как четвертое измерение. Еще была книга «1000 химических рецептов» Винклера. Из нее я делал выписки, что из чего и как надо делать. А потом мы это делали в своей лаборатории.

Играл в шахматы. Да как играл! Так что кричал во сне. А когда просыпался утром, в голову лезли какие-то нелепые мысли, к примеру: как стать с постели «слоном» или «конем». На улице я ловил себя на том, что о встречных пешеходах думаю, как о пешках противника, которые надо либо «побить», либо «пропустить», либо «запереть», то есть преградить им путь. На противоположную сторону улицы я переходил обычно «слоном», то есть по косой линии, перекрестки же переходил преимущественно «ладьей», то есть по прямой.

Пел в школьном хоре. Хотя пение и не любил слушать, но сам почему-то пел. Как обычно, в хоре пели на разные голоса, и петь надо было стараться так, чтоб не сбиваться со своей партии. Увлекала, должно быть, совместность, коллективность этого действия, производившая какой-то неожиданный звуковой эффект.

Играл в оркестре. Уже и после того, как распростился со скрипкой, продолжал играть на мандолине, разучивая новые

мелодии и подбирая аккомпанемент на гитаре. Меня интересовала связь между мелодией и гармонией. Для тех, кто не знает или забыл, скажу, что мелодия заключается в последовательности, в чередовании отдельных звуков, гармония же — в их совместном, одновременном звучании. Хотелось выяснить, почему одной части мелодии соответствует определенный, состоящий из нескольких совместно звучащих нот аккорд, другой же части мелодии, то есть другому чередованию звуков, соответствует уже другой аккорд. Тут, как мне казалось, существует какое-то правило, по которому можно автоматически гармонизировать любую мелодию. Впоследствии я узнал, что такие правила на самом деле имеются. Существуют даже композиторы, которые сочиняют только мелодию, оркестровку же поручают музыкантам, знающим правила гармонизации. Теперь, как известно, это может делать даже машина. Компьютером называется. Этот компьютер может даже мелодию вместо композитора сочинить. Говорят, что скоро с помощью компьютеров вообще музыку можно будет писать. Неизвестно только, можно ли ее будет слушать.

«ЖУРНАЛ ИКС»

Думаю, что вопрос о музыке решит будущее. В прошлом же я интересовался не только музыкой, но и другими вещами. Я очень дружил со своими двоюродными братьями Шурой Тихоновым и Сережей Василевским. Втроем мы часто предпринимали длительные прогулки, или, как мы их называли, путешествия, по берегам Днепра, Труханову острову и другим местам. Карабкались по береговым кручам, обрывам, лазили по оврагам, по лабиринтам пещер, вырытых еще в доисторические времена людьми каменного века, а позже расширенных древними монахами, переселившимися впоследствии в пещеры Киевского Печерского монастыря.

Помимо этих «путешествий» и «исследований» пещер, мы все трое были по горло загружены работой по выпуску ежемесячного иллюстрированного журнала, для которого писали рассказы, повести и даже романы с продолжением научно-фантастического, детективного, приключенческого и военного содержания, с убийствами, ограблениями, сражениями, пожарами, наводнениями, землетрясениями, с рыцарями, индейцами, пиратами, кладоискателями, призраками, привидениями, извержениями вулканов, подводными лодками, дирижаблями, гигант-

скими осьминогами, средневековыми замками, морскими змеями, пороховыми бочками, людоедами — вообще всем, что могло поразить воображение мальчишек того возраста, в котором мы тогда находились. Журнал имел интригующее (как нам казалось) название: «Журнал Икс» и выпускался лишь в одном экземпляре. Хотя на обложке и обозначалось, что он ежемесячный, но мы обычно не укладывались в сроки, потому что мало ведь было сочинить рассказ, повесть или очередное продолжение начатого романа: помимо этого их надо было начисто переписать в довольно объемистую общую тетрадь, нарисовать картинки и красивую обложку, без которых журнал имел бы вид обычной ученической тетради. Для придания большего разнообразия прозаический текст требовалось перемежать стихотворным, для чего писались всяческие баллады, элегии и другие стихи, жанр которых я затрудняюсь определить. Поскольку материала обычно не хватало, в тетради всегда оставалось несколько чистых страничек с конца, которые мы наспех заполняли эпиграммами, экспромтами, юморесками, главным же образом карикатурами, большим мастером которых был Шура.

Сергей до переезда в Киев жил со своими родителями в Петрограде и однажды оговорился. Желая предложить нам пройтись по Крещатику, он сказал: «Прогуляемся по Невскому». Это и дало мне пищу для эпиграммы (если ее так можно назвать):

Раз Сережа Василевский
Погулять пошел на Невский.
Весь Крещатик обошел,
А проспекта не нашел.
Говорил он: «Бес попутал,
Города я перепутал».

Стишки эти сопровождались Шуриной карикатурой, на которой Сережа был изображен с таким растерянным выражением лица, что без смеха нельзя было смотреть.

Это не единственная эпиграмма, которую я написал. Их писал я много, да сейчас уже не помню. Одну, впрочем, помню:

Сочинитель Шура Тихонов
За столом писал рассказик тихо он.
Но как только написал,
От восторга заплясал.

Здесь Шура нарисовал карикатуру, изобразив себя пляшущим впрыска. Рот был растянут в улыбке до ушей, но сходство было почти портретное, что казалось особенно смеш-

ным. Нужно сказать, что у него был несомненный талант. Рисовал он легко, без какой бы то ни было подготовки, то есть без предварительного наброска карандашом, а сразу пером, и все выходило как бы само собой. Я тоже рисовал, но более мучительно, если так можно сказать, и в какой-то экспрессионистской манере, хотя о существовании такого направления в искусстве, как экспрессионизм, не подозревал и даже слова такого не знал. Мое рисование годилось только для иллюстрирования тех потрясающих сцен, которые описывались в моих тогдашних «романах», где гигантский спрут хватает своими чудовищными щупальцами трехмачтовый фрегат и топит его со всеми людьми в морской пучине.

Кроме этого, с позволения сказать, романа, помню, была у меня еще история про маленького итальянца Джованни, похищенного гориллой у его родителей, путешествовавших по Африке.

Были там у меня и совсем фантастические истории, как, например, рассказ про подводных людей или повесть о человеке, который обладал способностью принимать облик других людей и, ловко выдавая себя за них, обдeldывал всякие свои делишки. Шура тоже неустанно снабжал журнал повествованиями вроде этих. Что же касается Сергея, то он отдавал предпочтение исторической тематике. Он любил читать романы из рыцарских времен. Наиболее любимым его писателем был Вальтер Скотт.

Любопытно, что наша тогдашняя бурная, героическая и трагическая действительность не находила никакого отображения в нашем «творчестве». Это, должно быть, объяснялось тем, что в прочитанных нами книгах тоже не было изображения современности и мы считали, что для книги годится лишь что-нибудь экзотическое, экстравагантное, удаленное от нас по времени, постороннее, даже потустороннее, вроде Вия, Наутилуса, Человека-невидимки или Робура-Завоевателя. Необходимо к тому же учитывать, что война вблизи не выглядит такой романтической, как изображенная спустя время в занимательной, сюжетной форме, когда мы комфортабельно читаем о ней или смотрим по телевидению, зная, что нам самим она ничем не грозит. Для нас война была прозой жизни. Отец часто бывал в отъезде, и случалось так, что надолго задерживался, оказавшись за постоянно перемещавшейся линией фронта. Это были дни тревожного ожидания. Нередко среди ночи на улице завязывалась перестрелка, трещали пулеметы, грохали взрывы гранат. Мы всей семьей в таких случаях ложились на пол (это когда

жили на Борщаговской), ползком выбирались из дома и отсиживались в погребе, который находился напротив входа в нашу квартиру. Старуху соседку, жившую за стеной от нас, подстрелили в один из таких боев на улице. Долгое время она лежала с закрытым какой-то дерюжкой лицом у двери своей квартиры, вытянувшись поперек узкого прохода так, что попасть к себе домой мы могли, лишь перешагнув через ее труп. Время было зимнее. Учились мы во второй смене. Темнело рано. И весь день неизменно преследовала мысль, что придется, возвращаясь домой, прыгать в темноте через труп старухи. А мертвецов я ужасно боялся. Хоронить ее было некому, она была совсем одинокая. Наконец за нее взялись собаки. Только тогда ее похоронили. Кто, где и как — этого я уж не знаю. Впрочем, я мог бы порассказать истории и пострашней. Но в них нет ничего поучительного. Так что я уж помолчу лучше.

Все сочиняемое нами для «Журнала Икс» не являлось продуктом нашего собственного жизненного опыта, в силу чего и не представляло собой никакой литературной ценности. Мы и не обольщались на этот счет. Ни один из нас не мечтал в будущем стать писателем, и мы изводили массу времени совершенно, так сказать, бескорыстно, не ставя перед собой задачи овладения писательским мастерством с целью использования этого мастерства впоследствии ради так называемого «куска хлеба». Для нас эти занятия были простой игрой. Нам нужно было во что-то играть, вот мы и придумали себе такую игру, без всяких расчетов и поползновений на какой бы то ни было «кусочек».

Думаю, что и мои занятия химией тоже в известной мере были игрой. Мы с Люсиком что-то познавали, делая свои опыты, но в то же время играли в химиков. Однако близилось время окончания школы. Пора было подумать о выборе жизненного пути. Кем быть? Куда идти? Для нас не было никаких сомнений в том, что идти надо в химики. Казалось, отними у нас надежду сделаться химиками, и мы на всю жизнь станем несчастными людьми, проклинаящими все на свете, и самих себя в том числе.

КОНЧАЛАСЬ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

В годы гражданской войны наиболее популярной личностью среди киевского населения был дурачок Вася. Свою популярность Вася завоевал тем, что круглый год, и летом и зимой, даже в самый лютый мороз, ходил без шапки и босиком. В сущности, он был помешанный, то есть душевнобольной. Хотя помешатель-

ство его было тихое, не представлявшее опасности для общества, Вася вел себя не особенно тихо. Опираясь на две клюки, которые держал в руках, он ковылял по улице на своих обмороженных, покрытых болячками ногах, сопровождаемый увязавшимися за ним ребятишками, и выкрикивал очередную сенсацию, укладываясь обычно в короткую фразу, которую он непрестанно повторял:

«А Деникин наступает! А Деникин наступает!...»

Или:

«А Петлюра наступает! А Петлюра наступает!...»

И так далее, в этом же роде.

Неизвестно, на чем основывались эти широковещательные прорицания полоумного Васи — на какой-либо осведомленности или на распространявшихся среди населения слухах, — известно только, что они иногда сбывались, хотя при частой смене властей в ту пору это легко можно было объяснить совпадением.

В общем, так или иначе, даже в периоды относительного затишья в военных действиях, Вася служил постоянным напоминанием, что живем мы в беспокойное время и всегда можно ожидать какого-нибудь наступления...

Кончалась гражданская война.

Постепенно возвращались в города разбежавшиеся по деревням горожане.

Возвращались и учителя в школы.

И порядка в школе становилось больше.

И все больше спроса было с учеников.

И я увидел, что вовремя взялся за ум. Ко мне предъявляли больше требований. Но и я сам предъявлял больше требований к себе.

Я не рассказал, что сейчас же после революции наша частная гимназия перешла в государственную собственность и уже не называлась Стельмашенковской, а просто Девятой гимназией. Всего до революции в Киеве было восемь государственных гимназий, и все они назывались по номерам: от первой по восьмую, а теперь к ним присоединилась еще и девятая. А потом, когда была образована единая трудовая школа, наша гимназия, как и все остальные, была переименована в трудовую школу-семилетку, номер сейчас уже не помню какой.

Теперь часто приходилось слышать, что нашим ребятам трудней учиться, чем прежним. Это не совсем так. В дореволюционной гимназии, помимо обязательных немецкого и французского языков, изучались еще церковнославянский, древнегре-

ческий и латинский (то есть древнеримский) языки. Изучать эти так называемые мертвые языки было дело муторное, так как ни на минуту не оставляла мысль, что ни к чему учить языки, на которых говорили тысячу или две тысячи лет назад, а теперь уже никто и не говорит нигде. Многие не выдерживали постоянной зубрежки и уходили из гимназии или их исключали за неуспеваемость. Русское правописание тогда было гораздо сложнее теперешнего. Звук «е» обозначался тогда не только буквой «е», но еще и буквой «ять», которая писалась на манер твердого знака с палочкой впереди, но произносилась в точности так же, как буква «е». И вот в одних словах нужно было писать «е», а в других почему-то «ять». И не было никакого правила, по которому можно было бы определить, какую букву нужно писать: «е» или «ять». Слова, в которых писалась буква «ять», нужно было просто запомнить, а их было столько же или почти столько, как и тех, в которых писалась буква «е». Таким образом, в памяти надо было держать чуть ли не весь словарь. Вместо одной буквы «и» тоже было две, даже три, то есть «и» простое, как пишут теперь; кроме него, было «и с точкой», как в немецком или французском языках, и еще буква «ижица», похожая на перевернутую вверх ногами букву «л». Кроме буквы «ф», была еще «фита». Произносилась она точно так же, как «ф», но в некоторых словах почему-то нужно было писать «фиту». И еще в конце каждого слова, кончавшегося твердой согласной, нужно было писать твердый знак.

Со всеми этими грамматическими излишествами покончила только революция. Советская власть сразу же отменила и букву «ять», и «и с точкой», и «фиту», и «ижицу», и твердый знак в конце слов. Многие грамматические правила были упрощены. Изучение церковнославянского языка, так же как древнегреческого и латинского, было отменено. Закон божий тоже был отменен. То есть упразднены были предметы, требовавшие не понимания, а одной лишь зубрежки, и в этом было огромное облегчение. Правда, тому, кто уж очень разленился или слишком отстал, все равно было трудно, но все-таки, как говорится, жить было можно. Как вспомнишь, бывало, что теперь уже не нужно ломать голову, какую букву писать, «е» или «ять», так сразу на душе становилось легче.

Я не рассказал также, что, пока длилась война империалистическая, а потом гражданская, продукты и вообще все товары дорожали и дорожали. Разные торгаши, лавочники, спекулянты пользовались тем, что товаров было мало, и все время поднимали цены на них. Дошло до того, что коробка спичек, которая

стоила копейку, стала продаваться за рубль, а потом и за сто рублей, а потом и за тысячу. Тысяча рублей была в те времена самая мелкая монета или, вернее сказать, самая мелкая купюра, и называлась она уже не «тысяча рублей», а просто «кусок». Если предмет стоил десять тысяч рублей, то говорили, что он стоит десять «кусков», а если стоил сто тысяч рублей, говорили — сто «кусков». Счет на «куски» держался, однако, недолго, так как цены росли с бешеной скоростью, и вместо тысяч рублей в ход пошли миллионы, которые называли «лимонами» для легкости, так сказать, произношения. Уже такие «мелкие» купюры, как тысяча рублей, и употреблять было нельзя, поскольку, чтобы уплатить за коробку спичек, скажем, миллион, потребовалась бы тысяча бумажек по тысяче рублей (каждый знает, что миллион — это тысяча тысяч). Отсчитать тысячу бумажек по тысяче рублей и не сбиться со счета было не такое простое дело. Эти бумажки не уместились бы ни в кошельке, ни в бумажнике, а разве что в саквояже или в мешке. Поэтому тысячерублевые бумажки просто вышли из употребления, как до этого перестали употреблять бумажки достоинством в рубль, десятку или сотню рублей. Теперь самая мелкая денежная бумажка стала — миллион, по ценности равная чему-то вроде теперешней копейки.

Эти вышедшие из употребления денежные знаки, выпущенные разными правительствами, мы, то есть тогдашние мальчишки, собирали в виде коллекций, на манер того, как теперешние ребята собирают почтовые марки. Цены между тем продолжали расти, счет уже доходил до миллиардов, но в это время Советская власть уже отбила все нападения разных белогвардейских генералов с иностранными интервентами и приступила к мирному строительству.

Начали с того, что выпустили новые деньги, уже не в виде миллионов рублей, а в виде обычных рублей с копейками, и устроили государственные, кооперативные магазины, где все товары продавались по так называемым твердым, установленным государством ценам. Теперь уже частные торговцы, то есть лавочники и разные спекулянты, не могли взвинчивать цены, то есть брать за товары дороже, чем они стоили, так как каждый мог купить, что ему нужно, в государственном магазине по дешевой цене. Торговать в собственной лавочке частным торговцам становилось не так уж выгодно. Один за другим они закрывали свои магазины и поступали куда-нибудь на работу. Дядя Володя, у которого я когда-то сидел в угольном погребе, тоже закрыл свою лавочку и поступил продавцом в бакалейный

магазин. Торговать углем он бросил еще раньше, так как сидеть у него в погребе я мог только летом, во время каникул, когда спрос на уголь не так уж велик. Зимой же, когда было самое время продавать уголь, я должен был учиться и не мог по целым дням пропадать в погребе.

Хлебные и вообще всякие продовольственные карточки были в то время отменены, и никаких продуктовых пайков уже не выдавали, так как за деньги тогда все можно было купить. За концерты артистам хорошо платили. Квартет «сибирских бродяг» постоянно имел работу, так что нужды нам не приходилось терпеть.

ЦИРК

Однажды отец не мог заехать перед концертом домой за баяном и велел нам с братом притащить баян к началу представления в театр «Мулен-Руж». Баян в плотном деревянном футляре — штука тяжелая. Чтобы нам было легче, отец придумал просунуть сквозь ручку футляра палку от половой щетки. Мы с братом должны были положить концы палки на плечи так, чтоб баян висел посередине. Попробовав, мы убедились, что получилось действительно не тяжело. Баян можно было тащить по улицам, подобно тому как туземцы Центральной Африки носят убитых на охоте косуль. Такую картинку мы видели в учебнике географии.

Однако то, что казалось легким вначале, на самом деле оказалось не таким уж легким. Палка от половой щетки врезалась в плечи. Мы то и дело останавливались, чтоб переменить плечо, но баян все же доставили в театр вовремя, за что были вознаграждены возможностью посмотреть представление. С тех пор мы уже чуть ли не ежедневно таскали баян то в один театр, то в другой и каждый раз смотрели представление. Нас ничуть не смущало то обстоятельство, что приходилось по несколько раз смотреть одну и ту же программу. Во-первых, смотреть хоть что-нибудь было лучше, чем ничего не смотреть; во-вторых, были такие номера, которые не надоедало смотреть по несколько раз; в-третьих, некоторые номера иногда заменялись другими из-за болезни артистов, что являлось для нас, как говорится, приятным сюрпризом.

Конечно, мы были рады, когда выступления квартета кончались в одном театре и начинались в другом. Здесь уж наверняка можно было увидеть что-нибудь новенькое. Но иногда наступали

так называемые черные дни, когда у отца не было выступлений, и нам поневоле приходилось коротать время дома. Поскольку мы уже были отравлены театральным ядом, то такое бесхитростное времяпрепровождение действовало на нас прямо-таки убийственно, и мой хитроумный братец придумал такую вещь.

— Давай вечером возьмем баян, отнесем в «Мулен-Руж» и посмотрим представление, — сказал он.

— Так квартет же не выступает сегодня в «Мулен-Руж», — ответил я.

— Ты дурак, — сказал брат. — Кто там знает, выступает квартет или не выступает. Билетерша увидит, что мы принесли баян, и пропустит нас.

— А вдруг она догадается, что мы обманываем?

— Ну, скажем — ошиблись: нам в «Ша-Нуар» нужно, а мы в «Мулен-Руж» пришли.

Чтоб не таскать каждый раз тяжелый баян на пятый этаж, мы обычно оставляли его внизу, в сарае. Вечером мы, не сказав никому ни слова, спустились в сарай, взяли баян и потащили его на палке прямехонько в «Мулен-Руж». Билетерша, даже не глядя, пропустила нас. Мы оставили баян, как обычно, в гримерной, а после представления унесли его как ни в чем не бывало домой, то есть в сарай.

На следующий день мой изобретательный брат сказал:

— Знаешь, мы с тобой дураки.

— Почему? — заинтересовался я.

— А ты не догадываешься?

— Нет, — признался я.

— Потому что ты дурак, вот и не догадываешься.

— Ну ладно, — согласился я, — я дурак, потому что не догадываюсь, почему мы с тобой дураки? Но почему мы все-таки дураки?

— Потому что, чтоб попасть в «Мулен-Руж» или в какой-нибудь другой театр, вовсе не нужно тащить туда тяжелый баян.

— Так без баяна же нас не пропустят, — ответил я.

— А мы вынем баян из футляра и принесем пустой футляр. Никто же не станет проверять, есть в футляре баян или нет.

Мысль была верная. В тот вечер мы так и сделали. Тащить на палке пустой футляр было куда легче, чем с тяжелым баяном, и все обошлось как нельзя лучше. С тех пор так у нас и пошло. Когда у отца было выступление, мы приносили футляр с баяном, а когда выступления не было, мы отправлялись в какой-нибудь театр или концертный зал с пустым футляром. Все билетерши и

швейцары нас уже знали и пропускали беспрепятственно, независимо от того, выступал в тот день квартет или не выступал. Наши заботы сводились к тому, чтобы не притащить как-нибудь по ошибке баян, когда выступления не было, или не явиться вдруг с пустым футляром, когда выступление будет.

И все же в один, как говорится, прекрасный, а вернее было бы сказать, в один несчастный день случилась осечка. И довольно крупная.

Незадолго до этого квартет «сибирских бродяг» в течение двух недель выступал в цирке (цирк тогда не особенно заботился о так называемой чистоте циркового жанра). За эти две недели мы с братом настолько пристрастились к цирковым представлениям, что уже не мыслили себе жизни без них. Как только выпадал вечер, когда у отца выступления не было, мы брали пустой футляр и тащили в цирк. Там, как обычно, мы оставляли футляр в гримерной, а сами скорехонько поднимались по боковой лестнице в бельэтаж, откуда нам разрешалось смотреть представление. Спешили мы главным образом, чтоб не попадаться на глаза клоунам Донато и Жакони, которые любили выкидывать разные шуточки.

Когда мы впервые увидели их в гримерной, Донато сказал, что у него пропало яйцо, которое снесла дрессированная курица. А Жакони сказал, что это мы с братом взяли. Мы стали уверять, что никакого яйца не брали, но Донато сунул руку брату в карман, достал яйцо и, погрозив пальцем, сказал, чтоб он больше не делал так. Брат покраснел от смущения, и мы поскорей от них удрали. Вообще-то они были очень смешные, если смотреть издали, но вблизи казались страшными. Оба в широченных штанах, длиннющих, до колен, пиджаках, огромнейших штиблетах, раза в два больше, чем надо. У Жакони был парик с огненно-рыжими волосами и огромнейшей, во всю голову, розовой лысиной, огромный красный нос и румяные щеки. У Донато, наоборот, все лицо было серое, словно вытесанное из камня, а на голове такая же серая арестантская шапочка. Он никогда не смеялся и не улыбался, даже когда попадал в очень смешные положения, и это как раз почему-то особенно смешило зрителей. Каждый раз, когда он видел нас с братом, он доставал из кармана яйцо, совал в рот и делал вид, что проглатывает его целиком, после чего доставал яйцо из собственного уха. Несмотря на эти заигрывания, мы старались держаться от него подальше и убегали. А он, видимо, забавлялся тем, что мы побаиваемся его, и не оставлял своих шуток.

Тогдашний цирк отличался от теперешнего тем, что после

обычного циркового представления в трех отделениях на арене устраивался чемпионат по французской борьбе, на которую публика тех времен смотрела, как теперь смотрят на футбольные или хоккейные состязания. Если же борьбы не было, то после обычной программы давалась длинная цирковая пантомима. Как раз в те дни шла пантомима с огромной гориллой, которую охотники поймали в Африке, привезли в город и продали какому-то богачу. И вот эта горилла вырвалась из клетки, похитила дочь-красавицу богача и удрала с ней. Убитый горем богач назначает огромное вознаграждение тому, кто поймает гориллу и вернет ему дочь. В то время в цирке на Николаевской улице (его разрушила бомба во вторую мировую войну) напротив оркестровой площадки была небольшая сцена, на которой, меняя декорации, можно было показывать и дом богача, и африканские джунгли, и вообще все, что потребуется. Горилла, таким образом, могла метаться и по арене, и по сцене, и по оркестровой площадке и лазить под куполом цирка по натянутым тросам, качаться на трапециях с девушкой в руках, которая поминутно падала от страха в обморок. Охотники гонялись за гориллой с ружьями, но стрелять опасались, так как убитая или раненая горилла могла выпустить свою жертву из рук и несчастная девчонка убилась бы, свалившись сверху.

Обычно французская борьба или пантомима кончались чуть ли не за полночь, и мы возвращались домой, еле держась на ногах от усталости. В тот вечер, о котором я рассказываю, футляр на палке, когда мы тащили его домой из цирка, показался мне непривычно тяжелым, о чем я и сказал брату.

— Мы дураки,— сказал брат.— Это не футляр тяжелый, а баян тяжелый. Мы забыли вынуть баян.

— Почему же мы не заметили, когда несли баян в цирк? — удивился я.

— Потому что спешили и не были такие уставшие,— объяснил брат.— А сейчас мы уставшие, и баян даже кажется тяжелее обычного.

На другой день отец сказал, чтоб мы принесли к вечеру баян в театр «Пиколет». Вечером мы, как всегда, спустились вниз, схватили баян (а он так и стоял в сарае с палкой, просунутой сквозь ручку футляра, как мы оставили накануне) и потащили в «Пиколет». Когда мы явились, весь квартет уже был в сборе. Отец тут же открыл футляр, растерянно заморгал глазами и недоуменно спросил:

— Что это такое?

Брат заглянул в футляр и от удивления разинул рот.

— Что это, я спрашиваю? — строго повторил отец.

— Э-это Донато... и Жакони,— запинаясь, пробормотал брат и еще зачем-то добавил: — Я уверен!

— Какие еще Донато и Жакони? — закричал в негодовании отец.— Я же вижу, что это кирпичи!

Я заглянул в футляр. Там действительно вместо баяна лежало полдюжину самых простых кирпичей.

— Где баян? — продолжал бушевать отец.

— Ну, там, наверно,— развел брат руками.

— Где — там?

— Ну, в сарае...

Отец выскочил за дверь, но тут же вернулся.

— Ключ! — сказал он.

— Какой ключ? — не понял брат.

— Ну, ключ от сарая, растяпа!

Брат достал из кармана ключ.

— Николай Петрович, возьмите извозчика,— посоветовал отцу Александр Николаевич, который пел в квартете басом.

— Ну разумеется! Не бегом же я побегу! — с раздражением отвечал отец, выскакивая за дверь.

Оставшиеся члены квартета собрались вокруг футляра с кирпичами.

— Ну, рассказывайте, как же все получилось? — спросил кто-то из них.

— Это Донато и Жакони,— начал брат.

— Ну ты же видишь, что это кирпичи, а никакие не Донато и Жакони,— сказал баритон Галковский, которого мы звали просто дядя Вася.

— Честное слово, дядя Вася, это Донато и Жакони. Я уверен...

Дядя Вася приложил руку брату ко лбу, чтоб узнать, нет ли у него жара.

— Честное слово, это Донато и Жакони. Это они положили. Я уверен,— продолжал брат.

— Так Донато и Жакони в цирке, а мы с тобой где? — возразил Галковский.

— Так мы же вчера-то ведь были в цирке,— пытался объяснить брат.

— Ну, вы были в цирке, а кирпичи-то как попали в футляр? — недоумевал Галковский.

— И футляр был в цирке.

— Как же он в цирк-то попал?

— Ну, мы всегда так делаем...

— Всегда так делаете? Как же это?

— Ну, всегда так делаем: берем пустой футляр...

Наконец брату удалось объяснить, как мы путешествуем по концертам с пустым футляром.

Самый строгий и сердитый человек во всем квартете был бас Александр Николаевич. До того как начать петь в квартете, он был учителем пения в школе. Ему постоянно что-нибудь не нравилось. Он всегда был чем-нибудь недоволен, вечно хмурился и сердито крякал. Но эта история почему-то насмешила его больше, чем всех остальных.

— Так вы, значит, всегда так делаете? — повторял он и заливался громким смехом.

Наконец он сказал:

— Ну, вы, братцы, бегите в зал, а то прозевааете представление. А я поговорю с аккомпаниаторшей. Может быть, нам придется под рояль выступать. Еще неизвестно, найдет ли отец баян в сарае. Может быть, он и не в сарае вовсе, а в цирке... Представление смотрит.

— Может быть, на нем в цирке Донато и Жакони играют! — крикнул вслед нам Галковский.

Мы разыскали в зале в последнем ряду свободное местечко и сидели как на иголках до тех пор, пока на сцене не появился квартет «сибирских бродяг». Увидев у отца в руках баян, мы с облегчением вздохнули. Значит, баян все же оставался в сарае.

Подозрение брата, что над нами подшутили Донато и Жакони, было не лишено основания. Они, должно быть, заметили, что мы появляемся со своей ношей в те дни, когда выступлений квартета не было. Заглянув в футляр и не обнаружив в нем баяна, они поняли нашу уловку и решили нас проучить. Я даже убежден, что именно так и было, потому что заметил, как они оба смотрели на нас с улыбкой, когда мы уносили футляр, наполненный кирпичами. Улыбался даже Донато. Это был первый раз, когда я видел у него на лице улыбку. И, кстати сказать, последний. В цирк после этого случая мы не скоро попали. Отец строго-настрого запретил нам трогать баян, и наши вылазки на разные представления резко сократились. К тому же наступил сентябрь. Надо было нажать на учение, тем более что это был уже последний год нашего пребывания в школе.

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

Что сказать мне, прощаясь со школой? Конечно же, я очень изменился за время пребывания в ней. Кстати сказать, изменилась и сама школа. Старая гимназия уж очень отпугивала казенщиной. Я, вырванный с корнями из вечно живого, движущегося, дышащего, волнующегося, многомерного, кудрявого мира трав, цветов, деревьев, кузнечиков и всяческой живности и пересаженный в трехмерное Эвклидово пространство, ограниченное ровными, пересекающимися под прямыми углами геометрическими плоскостями стен гимназических классов и коридоров, чувствовал себя неуютно. Форменная куртка стесняла движения и давила горло. Гимназическая, словно одеревеневшая фуражка с клеенчатой подкладкой давила лоб, мешая думать, и, в общем-то, держалась на голове плохо, к тому же постоянно за что-нибудь цеплялась. В классе все время приходилось испытывать страх, что тебя спросят о том, о чем ты никакого представления не имеешь, к тому же нужно было сидеть, словно в тисках, за партой, в то время как организм требовал движений. В коридоре во время перемены можно было попасться на глаза инспектору, который, глядя на тебя сквозь очки, словно на какое-то ничтожное насекомое, мог сделать выговор за то, что давно не стригся, и велеть завтра же пойти в парикмахерскую.

Учителя держались с учениками строго, вроде как надсмотрщики с арестантами. Наверно, считалось, что если быть с нами добрей, то мы, как говорилось, сядем на голову и с нами не будет сладу. Страшнее всех был учитель математики Леонид Данилович. Он одевался в какой-то полувойенный мундир со стоячим воротником, синие брюки с красными лампасами и был похож на царя Николая Первого, портрет которого печатался на двухкопеечной почтовой марке: такие же аккуратно подстриженные усики, строгий, непреклонный взгляд несколько выпученных стоячих глаз и гордо посаженная голова. Он часто опаздывал на урок. Расшалившиеся ребята поднимали шум. Но чуть только он входил в класс своим быстрым, решительным шагом, моментально наступала могильная тишина. Если при этом было известно, что предстоит письменная работа, у меня перехватывало дыхание и начинал болеть живот.

Однажды после звонка учителя долго не было. Ребята развлекались как кто мог. Я с кем-то из друзей заигрался в пятнашки. Мой партнер, спасаясь от меня бегством, ловко проскользнул между рядами парт и выскочил в коридор. Выскакивая

вслед за ним, я столкнулся в дверях с входившим учителем, врезавшись головой прямо ему в живот. От испуга во мне все замерло и похолодело.

«Ну, все! Пропал! — пронеслось у меня в голове. — Я уже исключен из гимназии!»

Петр Эдуардович (а это был он) спокойно взял меня за руки чуть повыше локтей, приподнял кверху и отставил в сторону, словно какой-нибудь мешавший ему предмет, после чего зашагал к столу в своей развевающейся д'артаньяновской крылатке. Не помню уж, как я сел за парту и затаив дыхание следил за Петром Эдуардовичем, который как ни в чем не бывало начал урок. Только после того как урок кончился и Петр Эдуардович ушел, до моего сознания начало доходить, что вся эта история останется без каких-либо зловредных последствий для меня. И тогда в мою голову закралось подозрение, что Петр Эдуардович просто добрый человек. Иного объяснения я не находил, потому что другой на его месте не упустил бы представившейся возможности хотя бы накричать на меня и напомнить, что раз звонок был, то все должны сидеть на местах, а не носиться по классу как угорелые.

Моя гипотеза нашла подтверждение в конце года, когда на одном из уроков Петр Эдуардович сказал, что должен опросить всех, так как учебная четверть кончается, а отметки не выставлены. Давно прозвенел звонок. За окнами было темно (мы учились во вторую смену). Поскольку урок был последний, Петр Эдуардович спрошенного ученика отпускал домой. Класс постепенно пустел. Наконец остался лишь один ученик, сидевший на предпоследней парте в крайнем ряду. Петр Эдуардович почему-то его не спрашивал. Он продолжал сидеть за столом перед раскрытым журналом и о чем-то задумался. Должно быть, спешить ему было некуда. Дома, вероятно, его никто не ждал. Вот он и задумался неизвестно о чем. Потом встал, закрыл журнал, сунул его под мышку, словно собрался совсем уходить, но вдруг взглянул в сторону оставшегося ученика и сказал удивленно:

— Слушай, а тебя-то ведь я не спросил! Ты так тихонько сидел, что я тебя и не заметил. Как же это случилось, а?

Я (а этот ученик был именно я) только руками развел, словно разделяя его недоумение. Но, сказать по правде, я-то знал, что он не заметил меня потому, что я нарочно сидел тихо, стараясь не привлекать к себе внимания. В какой-то книжке я прочитал, что глаз животных устроен так, что легко замечает движущиеся предметы, и что если в лесу, к примеру, сидеть тихо, не

шевелиясь, то животные и птицы будут подходить и подлетать к тебе близко, словно принимая за какой-нибудь неживой предмет, и их хорошо можно будет разглядеть. Я предполагал, что и человеческий глаз в какой-то степени обладает свойством скорее различать движущиеся предметы, и поэтому старался сидеть неподвижно, чтоб не привлекать к себе внимание учителя. Чем меньше становилось учеников в классе, тем неподвижнее делался я, а под конец словно вовсе одеревенел и сросся с партой. Эксперимент мой, в общем, оказался удачным. Подивившись такому казусу, Петр Эдуардович раскрыл журнал и поставил мне какую-то отметку, не задав ни одного вопроса.

— Ну, иди домой. Мы и так засиделись с тобой тут,— сказал он с какой-то непонятной и неожиданной для меня лаской в голосе.

И я пошел домой. И по дороге все думал об этом случае, постепенно приходя к умозаключению, что учителя такие же люди, как и мы с вами, а некоторые из них бывают даже добрые и способные по-человечески отнестись к своему ближнему, даже если этот ближний — простой мальчишка. Спасибо ему. Я, правду сказать, писал тогда уже грамотно, потому что много читал. Читая же, попросту запоминал, как пишется каждое слово, а вот что у глаголов имеются какие-то залого, действительный там или страдательный, а местоимения бывают возвратные, притяжательные, указательные,— в этом разбирался не шибко, и, спроси меня Петр Эдуардович, я бы, наверно, ответил на двойку.

Как выяснилось со временем, Владимир Александрович тоже оказался человеком добрым, добродушным и даже веселым. Когда мы стали постарше, он даже любил пошутить с нами. Так, вызывая ученика к доске, он говорил, к примеру:

«Ну-с...— И тут же добавлял: — Хотя «нус» по-немецки «орех», а по-русски это значит: «Ну-с, молодой человек, что нам на сегодня задано?»»

В такой шутливой манере он разговаривал с нами, а если приходилось к случаю, то мог даже рассказать анекдот. Услышав однажды от кого-то из учеников нелепейший ответ, он рассказал анекдот, как один маленький мальчик увидел огромный артиллерийский снаряд, размером в человеческий рост, и сказал: «Вот такая штука если попадет тебе в голову, то навеки будешь калека». Не помню уже, к чему этот анекдот был рассказан, но было очень смешно.

В общем, у каждого из учителей был свой характер, в соответствии с которым он себя вел. Попадались среди них люди

раздражительные, нетерпеливые, любившие поворчать и даже прикрикнуть на ученика, были и просто строгие, недоступно-холодные (обычно математики), а были и слабохарактерные, безвольные, хныкающие от природы, вроде преподавателя ботаники Григория Тимофеевича Протоплазмы. Протоплазма — это была не фамилия его, а прозвище. Объясняя нам строение клетки, он, естественно, рассказал и о протоплазме, ребята же, услышав это новое для себя слово, тут же подхватили его и уже иначе, как Протоплазмой, Григория Тимофеевича не называли (за глаза, конечно). На уроках у него всегда было шумно. Ребята обычно чувствуют, когда можно безнаказанно пошуметь. А Григорий Тимофеевич расстраивался, говорил, что бросит нас, уедет в деревню и не будет больше нас учить, воображая, должно быть, что мы так-таки возьмем и заплачем, если он вздумает от нас уйти.

Постепенно мы, то есть и учителя и ученики, всё больше узнавали друг друга. А даже знание недостатков человека в какой-то степени примиряет нас с ним, делает его как-то ближе, понятнее. Ведь пугает именно непонятное, неизвестное, тайное. Таким образом, мы привыкали друг к другу. Постепенно привыкал я и к самим школьным стенам. Гимназическая форма на мне пообносилась, пообмякла и стала привычнее. По примеру других гимназистов, я вытащил из фуражки распиравшую ее изнутри пружину, в результате чего она стала удобнее для ношения и более обтекаемая на вид. После революции гимназическую форму вообще отменили. В годы гражданской войны каждый носил что хотел или, вернее сказать, что имел. Все стало как-то проще, вольнее, или, выражаясь научно, демократичнее.

Главное же — отменили двойки. То есть отменили вообще все отметки — и двойки, и единицы, и тройки, и четверки с пятерками. Отметки считались чем-то вроде неравноправия. Если ученик знал урок, то писали в журнал или в тетрадь: «успевает» или «удовлетворительно», а сокращенно — «уд». Если не знал, писали «не успевает», «неудовлетворительно» или «неуд». Вскорости учителям и самим не понравились эти «уды» и «неуды». Было несправедливо писать «уд» или «успевает» и тому, кто действительно хорошо выучил урок, и тому, кто не то выучил, не то недовыучил, не то совсем не учил, а ответил так, что трудно даже придумать, что ему лучше поставить — «уд» или «неуд». Постепенно учителя стали придумывать всякие уловки и писали одному: «успевает», а другому: «хорошо успевает», третьему: «посредственно успевает», четвертому: «плохо успевает». То есть ученик не то чтобы совсем «не успевает». Он

успевают, но не так хорошо, как надо бы, то есть не то чтобы на все сто процентов ничего не знает, кое-что он знает, но, как говорится, «плавает» и даже довольно-таки сильно «плавает», вот-вот ко дну пойдет.

Это было время, когда я уже взялся за ум, и до сих пор помню, как меня обрадовала оценка, выставленная в тетради, вот только уже не помню, по какому предмету. А оценка была такая: «Вполне успевают». Не знаю, какой отметке по теперешнему счету соответствовало это «вполне успевают», — может быть, тройке с плюсом, может быть, даже четверке, возможно, даже пятерке. Это была импровизированная оценка, которой учитель хотел показать свое небезразличие к тому, как учится ученик, и как-то хотел отметить, что ученик успевает не просто, а полностью, так что лучшего и желать нечего. На меня слово «вполне» в этой оценке действовало как-то больше, чем само «успевает». Оно свидетельствовало, что я вполне, так сказать полностью, полноценно наполнен знанием. И я несколько дней подряд после того ходил с сознанием какой-то такой наполненности и то и дело мысленно произносил про себя: «Впол-не!» Думаю, что такое чванство с моей стороны было вполне извинительно, поскольку я вовсе не был до того избалован хорошими отметками.

Братец мой в то время уже серьезно занялся живописью. У него завелся приятель Толя Буськов. Они оба отрастили себе длинные волосы до плеч, как у настоящих художников, оба носили какие-то несуразно длинные блузы, чуть ли не до колен, вроде бывших тогда в моде толстовок, но без поясков (тоже как у настоящих художников). Каждый смастерил себе из фанеры этюдник, то есть большой плоский ящик, в котором помещались кисти и краски с огромной четырехугольной палитрой. На крышке такого этюдника с внутренней стороны прикреплялся кнопками кусок грунтованного холста, на котором можно было рисовать масляными красками. С этими этюдниками они ходили куда-нибудь в лес, на реку или в поле и рисовали пейзажи, как настоящие художники. Это называлось у них — ходить на этюды.

За лето брат увешал этими этюдами все стены дома и очень гордился своей работой. Видя, что я засиживаюсь за учебником алгебры, он посмеивался надо мной и говорил:

— Алгебра чепуха! Алгебру каждый дурак может выучить, а картину написать — талант нужен.

— Если алгебра чепуха, то возьми вот реши задачку, — предлагал ему я.

— А я не дурак, чтоб задачи решать. А ты если дурак, то сиди и решай.

Положение, однако, переменилось, когда начался учебный год. Брат уже не говорил, что алгебра чепуха, а терпеливо (а иногда и не очень терпеливо) сидел и ждал, когда я решу задачу, чтобы тут же переписать решение себе в тетрадь. Он и его друг собирались поступить в художественную профшколу, из которой открывался путь в художественный институт, но для этого надо было сначала окончить семилетку. Таким образом, без алгебры никак нельзя было обойтись. Овладевать же этой сухой, ненавистой для него наукой он не хотел, так как внушил себе мысль, что тот, кто способен к рисованию, не способен к математике, к тому же математика ему не понадобится в жизни, поскольку он уже решил стать художником. Растолковать задачу ему было нельзя, так как у него не было никакой подготовки. С ним нужно было бы позаниматься, чтоб наверстать упущенное, и таким образом подготовить его к пониманию материала, который проходили в классе. Но заниматься чем-то сверх того, что было задано на уроке, он решительно не хотел. Мне было ясно, что нельзя научить того, кто не хочет учиться, и я со спокойной совестью давал ему списывать, а на уроках подсказывал.

У нас была хорошо продуманная система подсказки. В какой-то книжке я нашел азбуку для глухонемых, в которой буквы обозначались различным положением пальцев правой руки. Запомнить эту азбуку не представляло почти никакого труда, так как многие буквы, изображаемые с помощью пальцев, напоминали обычные печатные или рукописные буквы. Так, например, сложенные средний и указательный пальцы обозначали букву «п». Эти же пальцы растопыренные обозначали букву «л». Три опущенных пальца обозначали «т», а повернутые кверху, они обозначали «ш». Буква «а» обозначалась пальцами, сжатыми в кулак. Буква «о» — большим и указательным пальцами, сжатыми в виде колечка, и так далее.

Вначале мы, как говорится, скуки ради тренировались по дороге в школу, разговаривая между собой на улице с помощью пальцев, словно два глухонемых. Уже после первых же опытов, когда брата вызывали к доске, я мог просигнализировать ему любой ответ или решение задачи с такой скоростью, с какой он мог записывать на доске. Способ оказался настолько результативным, что нам все сходило с рук, и занятия шли вполне «успешно».

О школе у меня осталось воспоминание не как о каком-то

убогом геометрическом пространстве, за которое я принял ее на первых порах, тем более что и школа не оставалась на одном месте. Вскоре после революции здание бывшей стельмашенковской частной гимназии было передано вновь образовавшейся польской гимназии, где обучение велось на польском языке. Нас, ставших «бездомными», перевели в помещение на Лютеранской улице, а через год или два — в здание бывшей Второй гимназии, находившееся рядом с величественными древними стенами Десятинной церкви, которая, как известно, была построена еще в X столетии князем Владимиром, отдавшим на ее сооружение десятую часть своих доходов (поэтому церковь и называлась Десятинной). Напротив здания школы стоял красивейший памятник княгине Ольге, жене князя Игоря. Этот памятник, высеченный из белого известняка, был настолько изъеден временем, что, казалось, изображал не княгиню Ольгу, а саму Историю. Неподалеку был Софийский собор, построенный князем Ярославом Мудрым на месте одержанной им победы над печенегами. В общем, куда ни ступи, места были самые что ни на есть исторические. Доставляло удовольствие пробежаться по земле, по которой, без сомнения, ходили когда-то и Игорь, и Ольга, и Владимир, и Ярослав Мудрый, а до них даже сам вещий Олег. Невольно думалось: раньше князья ходили, разные феодалы, а теперь я хожу — обыкновенный советский школьник. Это вам не фунт изюму, как любили тогда говорить в Киеве (и, наверное, в Одессе).

Несмотря на скитания по разным местам и различные переформирования, наш школьный коллектив крепко держался вместе; никто не разъединял учеников, не рассортировывал по другим школам и классам по принципу совместного или отдельного обучения или по географическому признаку, то есть по месту жительства. Учителя в основном тоже оставались все те же, гимназические. И это, как мне кажется, хорошо, потому что люди, объединившиеся с какой-то общей целью, представляют собой нечто живое, целое, и всегда хочется, чтобы живое жило, а целое оставалось целым. Это живое так и осталось в моей памяти живым. Воспоминание о нем — это воспоминание о Времени, об Эпохе, о Революции, о Будущем, которым жили наши сердца.

Часть вторая

В ПОИСКАХ ВЫХОДА

Ну и вот: отгремели громы гражданской войны и стали понемногу забываться все эти интервенты и оккупанты, монархисты и националисты, Деникин и Врангель, немцы, белополяки, гетманцы, голод, холод, грязь, нищета, вши, бандитизм, батька Махно, Петлюра, холера, испанка, тиф... Начался период мирного строительства. Нэп, то есть новая экономическая политика, которая должна была покончить с разрухой, причиненной стране войной.

В то время уже начали работать текстильные и обувные фабрики. Все постепенно сбросили с себя износившиеся шинелишки военного образца и громоздкие австрийские солдатские башмаки с обмотками. Многим хотелось уже пофрантить, пофорсить. И уже появилось желание смотреть на что-нибудь красивое и изящное. И пропала уже охота смотреть на ту рваную, сермяжную одежонку, в которой выступал на эстраде квартет «сибирских бродяг».

Но некоторым, возможно, уже попросту надоело слушать эти старые, всем известные песни про цепи и кандалы, про тюрьму и неволю, про железные решетки и каменные остроги. Все это осталось уже где-то в прошлом. Наступили новые времена, а, как говорится, новые времена — новые песни. В результате квартет все реже включался в программы концертов. Выступлений становилось все меньше и меньше. Начало одолевать безденежье, и надо было искать какой-то выход.

А выход виделся такой: уехать обратно в Ирпень. Ведь уехали из Ирпеня в Киев потому, что нам с братом надо было учиться. Теперь учение кончалось, и ничто не мешало возвратиться обратно. Правда, теперь у нас там не было дома. Оставался лишь небольшой участок земли. Но некто Кринёв, у которого в Ирпене была дача, предложил отцу жить в его доме. Сам он жить там почему-то не мог даже летом и боялся, что дом без присмотра растащат.

— В Ирпене будет легче, — говорил отец. — Там все свое будет. Огородик развести можно: будет своя картошечка, огурцы, помидоры, капуста...

— Можно кур завести, — говорила мать.

— Поросенок можно выкормить,— продолжал отец.— На зиму свое сало будет.

— Хорошо бы козу купить,— предлагала мать.

— А со временем и свой домик построим,— подхватывал отец.— Не сразу, конечно, а понемножечку. Сначала — сарайчик...

Начиналась старая, уже всем знакомая песенка о том, что ничего сразу не делается, что все нужно начинать с маленького...

Признаюсь: Ирпень и меня манил своим привольем. Но мне хотелось учиться дальше. У меня была мечта стать химиком. Химия мне представлялась наукой наук. То есть такой наукой, которая дает познание природы всех вещей: что из чего делается, из чего состоит и откуда берется, в чем начало и причина мира, в котором мы с вами живем. Все это мне казалось очень важным для себя выяснить, а тут уж без высшего образования никак не обойтись, насколько я понимал.

Не знаю, как в других городах, но в Киеве в те времена школ-десятилеток, дававших среднее образование, не было. Система образования была как бы трехступенчатая: сначала семилетка, потом профшкола, дававшая среднее образование и какую-нибудь узкую специальность, а потом уже вуз, то есть институт. Были еще так называемые рабфаки, созданные специально для взрослых рабочих, желавших подготовиться к поступлению в вуз. Студентам рабфаков выплачивали стипендию, но поступить туда могли лишь рабочие со стажем. Существовали еще вечерние рабшколы с той же трехгодичной программой, что и рабфаки, но стипендий там не давали; правда, и денег за обучение не брали, поступить же туда мог каждый желающий.

Вся эта система образования окончательно еще не устоялась в те годы. Так, например, художественная профшкола почему-то имелась в Киеве. Имелась также механическая профшкола, окончив которую можно было поступить в политехнический институт.

А вот химической профшколы почему-то не было. Такая профшкола появилась года через два-три после того, как я окончил семилетку, то есть когда лично мне она уже была не нужна.

Мой двоюродный брат Шура, который окончил семилетку в один год со мной, решил поступить в землемерную профшколу. Вернее, за него решили родители. У его отчима был знакомый землемер. Этот землемер убеждал всех, что лучшей профессии

и не может быть. Во-первых, зарплата приличная. Во-вторых, на все лето нужно куда-нибудь выезжать, в результате чего к зарплате прибавляются всякого рода командировочные, суточные, квартирные, подъемные, сверхурочные и еще даже не знаю что. Учиться всего два года, а в итоге — верный, обеспеченный кусок хлеба. Шура и мне советовал поступить в землемерную школу, но мне это не казалось заманчивым. Не то чтоб я имел что-нибудь против хорошего, обеспеченного куска хлеба. Нет! Против куска я никогда ничего не имел. Я тогда считал и теперь считаю, что все мы должны работать ради того, чтоб обеспечить себя этим куском и не есть чужого куска. Даже если работа не по вкусу, на это роптать не следует. Работаем мы, в конце концов, не для удовольствия и не для разминки, а для того, чтоб прокормить себя, чтоб не сидеть на шее у общества или вообще на чьей-нибудь шее.

Некоторой части наших теперешних молодых людей мы как-то сумели внушить мысль, будто все, что бы они ни сделали, они делают не для себя, а для общества. И вот такой молодой человек, чуть только пошевелит пальцем, уже кричит: «Это я сделал для общества!» Но если такой молодой человек не имеет еще возможности приобрести личную (теперь почему-то стало принято говорить «личную», а не «собственную») автомашину, дачу, резиновую надувную лодку с мотором или еще что-нибудь, он уже кричит, что общество ему чего-то недодает, что общество виновато в том, что у него чего-то нет. Ход его мыслей ясен. Если все, что он делает, — это для общества, то и все, что делает общество, — это для него. А как же иначе?

Нет спору: конечно, лучше делать работу, которая тебе по душе, и, пока имеется возможность выбора профессии, надо эту возможность использовать. Я подумал: идти на два года в землемерную школу, изучать то, что мне не нравится, потом работать землемером, которым мне быть не хочется, и все из-за того, что у землемеров всяческие подъемные и командировочные и землемером можно сделаться быстрее, чем химиком? Нет! Пусть путь, избранный мной, более труден и долог, я не стану из-за этого расставаться со своей мечтой. А мечта моя — поступить на химический факультет Политехнического института.

И я решил: до того, как мне исполнится восемнадцать лет (а раньше восемнадцати я не мог поступить в институт), у меня есть три года; эти три года я буду учиться в вечерней рабочей школе. Днем буду работать где придется, кем придется и сколько придется.

Только вот где найти работу? В то время еще существовал такой пережиток капитализма, как безработица. Многие заводы и фабрики были разрушены войной. Восстановительный период лишь начинался.

БЛИЖЕ К КОЛОДЦУ

Дом Кринева стоял на вершине бугра, каковой, насколько я разбираюсь в геологии, являлся частью дюны, протянувшейся вдоль левого берега реки Ирпень, или, точнее сказать, поймы этой реки. Местами дюна подходила вплотную к реке, как, например, там, где были пляж, лодочная пристань и каменная дача бывшего владельца дрожжевой фабрики богача Чоколова. В других местах дюна отступала от реки на значительное расстояние, должно быть, размываемая весенними паводками, затоплявшими пойму.

В тот геологический период, когда Кринев построил свой дом, дюна, надо полагать, окончательно закрепились на месте, о чем свидетельствовал травяной покров, еще, правда, довольно редкий и состоявший в основном из зубровки, то есть сухой, жесткой травы с такими резучими, зазубренными краями, что о нее вполне свободно можно было порезать ноги (если, конечно, бегать по ней босиком). Только в нижней части криневской усадьбы, где начинались пойменные луга, разрослась небольшая рощица, состоявшая из берез, осин, ольх, верб и таких деревьев, которые в разных местах называются по-разному, здесь же они назывались лозой. Ну, и трава в этой лесистой части была поразнообразнее, погуще и посочней.

Дюну, о которой идет речь, разрезала как бы надвое железнодорожная линия, идущая, судя по табличкам с надписями на вагонах поездов, из Киева в города с какими-то птичьими названиями, например: Тетерев, Коростень и еще какая-то Бородянка, в которых я никогда в жизни не был.

При взгляде на дюну в том месте, где ее пересекало железнодорожное полотно, нетрудно было убедиться, что строители изрядно ее пораскопали и увезли немалую толику песка в то место, где он требовался для сооружения насыпи. Если стать на железнодорожное полотно в этом месте, то по одну сторону можно было увидеть песчаный обрыв, которым кончался бугор, и красовавшуюся на вершине этого бугра среди зелени кустов и деревьев импозантную двухэтажную чоколовскую дачу с островерхой красной чешуйчатой черепичной крышей и архи-

тектурными излишествами в виде башенок, бельведерчиков, балкончиков и разного рода фестончиков. Если поглядеть с того же места в противоположную сторону, то можно было увидеть другой такой же песчаный обрыв, которым кончался бугор, увенчанный кринева дачей.

Нечего и говорить, что дача Кринева ни в какое сравнение с чоколовской дачей не шла. Как говорится, и труба пониже и дым пожиже. Это было заурядное одноэтажное строение дачного типа, обитое тесом, окрашенным теперь уже облупившейся и полинявшей краской, которая, по всей видимости, была когда-то зеленого цвета. Крыша была железная, темно-бурая, то есть того цвета, который давала наиболее употреблявшаяся для окраски крыш краска, называвшаяся железным суриком. А в общем, дом был не какая-нибудь развалина, а довольно крепенький. Три комнаты с кухней. В одну сторону выходили, как водится, сенцы с крылечком, в другую — открытая веранда. С этой веранды видна железная дорога с резвыми пассажирскими поездами и бесконечными, лениво ползущими товарными составами. Прямо, за железной дорогой, — все та же чоколовская дача с ее балконами и фестонами. Направо — возвышающийся над прибрежными ивами железнодорожный мост: чудесное сооружение, приковывавшее к себе внимание своими величественными, пересекавшимися по диагонали металлическими фермами. А налево...

Налево осенью и зимой, когда деревья теряют, как говорят поэты, зеленый свой убор и ветви становятся прозрачными, сквозь них можно было увидеть по ту сторону железной дороги зеленую крышу нашего, вернее сказать — бывшего нашего, домика, который отец когда-то продал Елисееву. Теперь там у нас остался лишь участок земли со счастливым колодцем.

Да! Целая эпоха прошла с тех пор, и вот мы снова на прежнем месте. То есть почти на прежнем. Зато теперь у нас все свое будет: картошечка, огурчики, помидорчики, заведем козу, поросеночка, а там, глядишь, и свой домик построим... Не сразу, конечно, а постепенно. Все начинается с малого, как любит говорить отец.

Начинать, безусловно, нужно с картошки. Это общее мнение. Только где ее сажать? Конечно, не здесь, на песчаном кринева бугре, а на нашем участке. Там земля жирная, чернозем! Целина! Там только приложить руки — урожай будет ого! Вот только прикладывать руки пока вроде никто не собирается. Отец ежедневно с утра уезжает в Киев. Зарабатывать на жизнь надо ведь! Мать занята по хозяйству. Старший брат то ли не

верит в чудодейственную силу земли, то ли занят своим рисованием. У него мечта стать художником, и ему теперь надо готовиться к поступлению в художественную профшколу. Я вижу, что прикладывать руки к земле надо мне. Больше никому!

Рано утречком я — лопату на плечо, беру малышей Ляльку и Бобку, то есть моих младших сестру Ларису и брата Бориса, и мы втроем отправляемся на наш участок.

По улицам мы, конечно, не ходим. Это было бы слишком долго. Просто перелезаем через железнодорожное полотно, проходим коротеньким безымянным переулком — и сразу у цели.

Великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев в своем романе «Новь» написал: «Поднимать следует новь не поверхностно скользящей сохой, но глубоко забирающим плугом».

И он, без сомнения, прав. Поднимать новь или, как ее теперь называют, целину лучше всего плугом. Но для этого прежде всего надо иметь этот самый плуг, а к нему неплохо бы еще и лошадь (тракторов в те времена у нас вообще не существовало). Поэтому техника обработки земли у нас такая. Сильными ударами лопаты сверху вниз (словно ломом) я вырубаю в поросшей густой травой земле четырехугольный кусок дерна, а Лялька и Бобка по моей команде бросаются на этот кусок, как на зверя, хватают его в четыре руки и переворачивают кверху лапами, то есть, прошу прощения, кверху корнями. Сделав это, они тут же отскакивают в сторону, а я наношу лопатой этому куску несколько сильных ударов, чтоб рассечь его на части. Затем я вырубаю новый четырехугольник земли. Лялька и Бобка подскакивают, словно два тигра, и опрокидывают кусок на спину. Я снова добиваю его лопатой. Так и идет у нас.

Нужно сказать, что это занятие не так увлекательно, как купание в реке или игра в волейбол. Но из двух зол, как говорится, надо выбирать меньшее: или игра, или картошка. Мы выбрали картошку, и в этом, конечно, не было ничего удивительного. В те времена этому овощу вообще придавалось большое значение. В тот год, а может быть, годом позже появилась популярнейшая детская песенка, в которой были такие слова:

Здравствуй, милая картошка-тошка-тошка!

На всем протяжении от Белого до Черного моря не было ребенка, который бы эту песенку не распевал, настолько она пришлась всем по вкусу. Все пели ее как заколдованные.

Целую неделю подряд мы являлись на участок с утра и начинали выворачивать наизнанку землю. В результате на поверхности земного шара появилось что-то вроде довольно заметной гряды, на которой, как я считал, можно было начинать посадку. Это, однако ж, была лишь иллюзия, так как не было как раз того, что нужно было сажать. То есть, попросту говоря, не было самой картошки.

Чтобы купить для посадки картошку, нужны были деньги. А у отца, как назло, дела пошли совсем плохо. Квартет «сибирских бродяг» окончательно распался. Кто-то из членов квартета нашел себе постоянную работу в другом городе и уехал из Киева. Пока искали ему замену, устроился куда-то в театр и другой член квартета. Теперь и надежды как-нибудь поправить дело не было. У отца же завелся новый приятель. Он был из оставшихся в нашей стране после войны пленных австрийцев, хотя по национальности был не австриец, а мадьяр, то есть венгр. Очень черноволосый и смуглолицый. Звали его не по имени и отчеству, а просто Дёмка. Этот Дёмка довольно бойко играл на скрипке, и они вместе с отцом стали играть в одном ресторанчике на Галицкой площади. В тот период, то есть в период нэпа, разного рода рестораны, ресторанчики, кафе открывались повсюду. Ни радио, ни трансляции, ни магнитофонов или проигрывателей с громкоговорителями тогда еще не существовало. Для привлечения посетителей в крупных ресторанах играли целые оркестры. Ну, а для маленького ресторанчика достаточно было и скрипки с баяном. Впрочем, отец и Дёмка со своими баяном и скрипкой умели создавать в ресторанчике такой шум, что на улице было слышно за два квартала, и это должно было являться хорошей приманкой для посетителей.

Отец, однако, не испытывал особенного удовлетворения от подобного рода деятельности. Он еще питал какие-то надежды на возрождение квартета, но теперь все чаще повторял, что ему «не везет в жизни». Уже и не помню, сколько прошло времени, пока он наконец собрался купить с пуд мелкой картошки для посадки. Но когда я с малышами отправился ее сажать, то увидел, что это невозможно, поскольку вскопанная земля за время нашего отсутствия решила взять реванш и принялась зарастать травой. Из каждой щели между комьями земли трава вымахивала могучими пучками, так что комья срослись между собой, словно зарубцевавшиеся раны.

Пришлось нам эту траву рубить под корень. Я и Лялька рубили лопатами, а Бобка рубил топором, потому что у нас было только две лопаты.

А потом я принялся рыхлить землю. Взмахнув граблями, словно кузнечным молотом, я с силой опускал их вниз так, что они впивались зубьями в землю, после чего дергал рукоятку к себе. Комья слежавшейся земли рассыпались, но работа шла медленно. Чтоб убыстрить дело, я придумал такую рационализацию: Бобка садился на грабли, а я, ухватившись за рукоятку, таскал его по вскопанной земле подобно тому, как лошадь таскает борону. Силы мои, однако, иссякли, и я буквально выдохся на первой же борозде. Не знаю, что бы мы делали, если бы случайно мой взгляд не упал на наш волшебный колодец. Мне тут же пришла в голову мысль: взять подлиннее веревку, один конец привязать к граблям, другой — к вороту над колодцем; если ворот вертеть, веревка будет накручиваться на него, грабли с сидящим на них Бобкой будут таскаться по вскопанной земле и боронить ее.

Скажу коротко: план этот оправдался во всех деталях. До наступления темноты мы взборонили землю так, как никакой лошади и не снилось.

А на следующий день произвели посадку картошки. Это уже было проще простого.

Как говорится, детские игрушки.

ТРУДОВЫЕ МОЗОЛИ

Поскольку мы собирались купить козу, для нее необходимо было запастись на зиму сеном, а для этого надо было скосить на участке траву. Отец заблаговременно купил косу, приладил к ней косовище, то есть длинную деревянную палку с ручкой посередине. Столярничать отец любил и, пока прилаживал косовище, твердил, что в сельском хозяйстве все надо делать вовремя, и траву надо скосить своевременно, потому что на месте скошенной травы к концу лета вырастет новая и ее еще раз можно будет скосить. Закончив работу, он прибил в сарае пару гвоздей повыше, повесил на них косу и сказал, что косу нельзя класть на пол, так как, наступив на нее нечаянно, можно порезать ногу. Нельзя также ставить косу в угол или просто к стене, так как, упав, она может поранить кого-нибудь. По всем этим разговорам было видно, что он понимал толк в косьбе и в обращении с косами. Однако, повесив косу на стене, он забыл о ней. Уже повсюду косили траву, а у нас коса так и висела в сарае.

Меня, однако, беспокоило, что будущей козе нечего будет есть зимой, и, видя, что о косовице никто даже не думает, я оста-

вил рыбную ловлю, которой было увлекся после посадки картошки, и взялся за косу. В конце концов, чтобы косить траву, сельскохозяйственную академию кончать не обязательно. Однако ж и сноровка нужна. Если просто махать косой (как, возможно, думают некоторые), то ничего не выйдет. В этом я убедился в первый же день, когда коса у меня, вместо того чтоб ровно срезать траву, то обескураживающе втыкалась в землю, то, легко скользнув по траве, самовольно выпархивала кверху. Постепенно я все же постиг премудрость. Надо было уловить, при каком положении рук и наклоне туловища коса правильно срезала траву, и косить, уже не изменяя наклона, продвигаясь вперед маленькими шажками: взмах косой — два маленьких шажка вперед, еще взмах — еще два маленьких шажка... Спинной хребет должен как бы окостенеть в одном положении. Если же косить стоя на месте и вытягивая всё больше руки с косой, а потом уже делать сразу большой шаг вперед, то положение косы в руках будет меняться, и она начнет вытворять разные фокусы.

На второй день дело пошло у меня гораздо успешнее, а на третий я и вовсе овладел этой профессией. За несколько дней я обкосил все, что было вокруг. А потом мы с Лялькой и Бобкой ворошили траву, чтоб она скорее просохла на солнце, после чего таскали готовое сено на сеновал, то есть на чердак сарая. Лялька и Бобка таскали в мешках, а я накладывал сено в сетку от гамака, так что за один раз уносил чуть ли не целую копну.

Покончив с сеноуборкой, я хотел было снова приняться за рыбную ловлю, но заметил, что какие-то шустрые кустики травы с серо-зелеными листьями и длинными белесыми стеблями оккупировали всю картофельную территорию. Молодые ростки картошки с едва развернувшимися листочками только начали высываться из-под земли, а эти непрошеные гости с гордо поднятыми головами уже расселились по всему полю, словно тут была их собственная плантация.

Впоследствии я заметил, что обычно на лугу, где растут такие травы, как клевер, осока, ковыль, овсюг или пырей, этот серо-зеленый сорняк не встречается. Но стоит вскопать хоть маленький клочок земли — он тут как тут, словно только и дожидался, чтоб для него подготовили почву, как для какого-нибудь культурного представителя растительного царства. А кто он такой, этот «представитель»? Как его зовут? Даже имени его никто не знает! Пришлось нам с этим самозванцем бороться, то есть просто-напросто выдергивать его из земли

вместе с корнями. Да, погнули-таки мы спины, и к тому же в такое время, когда другие ребята по целым дням торчали в реке и из воды не высывались.

И вы думаете, на этом конец? Как бы не так! Пришлось еще с этим «фруктом» повозиться, когда наступила пора окучивания. Ну, да про все не расскажешь! Скажу коротко: все эти разговоры о «щедрых дарах природы», о «дарах земли» — не что иное, как миф, поэзия, красивая сказка! Земля никаких даров не дает даром. Ко всему надо приложить труд. Даже гриб, к примеру, не просто пойдешь в лес да возьмешь. Его еще поискать надо. А теперь, если бы кто-нибудь за меня и землю вскопал, и посадку произвел, и прополку провел, и окучивание, в общем, сделал бы все до конца и сказал: «Ну, что ты предпочитаешь, пойти в магазин за картошкой или принести с огорода?» — я бы не задумываясь пошел в магазин. Там мне насыпали бы в сумку картошки без всяких хлопот, а тут ведь на огород тащись, землю копай лопатой, а земля грязная, липкая, раскисшая от осенних дождей... Нет! Желательно, чтоб каждый на своем личном опыте убедился, что даже простая уборка картошки — это «не вздохи на скамейке и не прогулки при луне», как сказал поэт, правда несколько по другому поводу.

Уже потом, изучая политэкономия, я узнал, что цена продукта определяется количеством труда, затраченного на его производство.

Эту истину легче усвоить тому, кому пришлось узнать цену труда или вырастить на своем веку хотя бы десяток кило картошки.

А труд, если сказать по правде, ценится иногда до смешного дешево. Это я узнал в то же лето, поступив работать на бетонный завод, изготавливавший бетонные круги для сооружения колодцев. Такой круг представлял собой как бы отрезок бетонной трубы диаметром метра в полтора и такой же длины, с толщиной стенки сантиметров в пятнадцать. Завод этот находился у подножия уже упоминавшейся дюны. Если стать перед дюной лицом к реке, то справа на горке будет все та же чоколовская дача, а слева, под горкой — завод. Впрочем, это только так говорилось — «завод». На самом деле завода, как такового, не было, а стоял просто на пустыре деревянный сарайчик, в котором хранились запасы цемента, две-три железные формы для наполнения цементным раствором, несколько лопат, деревянных трамбовок, носилки и грохот для просеивания щебня — вот и все оборудование.

Если посмотреть со стороны, то могло показаться, что кому-то пришло в голову устроить вокруг этого сарайчика дюжины две или три бетонных колодцев. В действительности это были не колодцы, а лишь отформованные, подсыхающие или, вернее сказать, затвердевающие бетонные круги. По мере затвердевания круги увозили, а на их месте формовали новые. Бетонная масса для наполнения форм делалась из цемента, песка, щебня и обыкновенной воды. Цемент привозили в мешках, так сказать, в готовом виде. Песок брали прямо из дюны, тоже в готовом виде. Воду, также в готовом виде, черпали из колодца. Единственным ингредиентом, который нуждался в изготовлении, был щебень. Изготавливать же его нужно было из обломков старого, негодного кирпича. Положив кирпич на какой-нибудь камень покрупнее, нужно было колотить молотком по кирпичу, раздробляя его на всё более мелкие части, пока не получались кусочки величиной с половину или четверть спичечного коробка.

Бить щебень как раз и являлось моей обязанностью. Помимо меня, этим делом на заводе было занято еще с десятков мальчишек примерно моего возраста. Дело это, в общем, нехитрое, хотя на первых порах случалось угодить молотком не по кирпичу, а по собственному пальцу, но к этому довольно быстро привыкаешь (не к ударам по пальцам, разумеется, привыкаешь, а бить молотком по кирпичу, не попадая по пальцам).

Наиболее трудная часть работы заключалась не в битье щебня, а в просеивании его на грохоте. Грохот — это что-то вроде неглубокого деревянного ящика с дном из железной решетки и ручками, как у носилок. Насыпав несколько лопат щебня в ящик, нужно было взять грохот за ручки с кем-нибудь из товарищей и энергично трясти, двигая вперед и назад. Щебень с грохотом прыгал по железной решетке, при этом всяческие мелкие частички и кирпичная пыль отсеивались.

Несколько дней подряд я колотил щебень, а когда наколотил довольно большую кучу, принялся грохотать с одним из приятелей. Нужно было просеять не только мою долю, но и его. В первый же день я натер кровавые пузыри на руках и устал так, что на следующее утро еле пришел на работу. Поскольку нам не удалось просеять весь щебень за один день, пришлось снова браться за грохот. Кровавые пузыри у меня на руках полопались, но я уже не обращал внимания ни на боль, ни на усталость. Когда с просеиванием было покончено, я снова взялся за молоток, стараясь держать ручку так, чтоб не слишком тревожить изодранную на пальцах кожу. Постепенно мои пузыри подсохли и почернели от запекшейся крови. Кожа на руках затвердела.

Когда пришло время просеивать новую порцию щебня, у меня уже были довольно солидные мозоли, хорошо предохранявшие кожу от натирания. Таким образом, я на практике постиг ту истину, что трудовые мозоли — это не просто классовая принадлежность пролетариата, а нечто вроде защитной реакции организма на внешние раздражители.

В общем, я убедился, что иметь мозоли не так уж плохо. Плохо только, что заработки были невелики. Оплата была сдельная, и, как ни вертись, на круг и рубля в день не получалось. Как выяснилось впоследствии, бетонный заводик этот был не государственный, а принадлежал какому-то товариществу, вроде как бы акционерному обществу, члены которого делили между собой полученную прибыль, а для наемной силы, то есть для мальчишек вроде меня, устанавливали такие сдельные расценки, что особенно, как говорится, не разжиреешь. Это было, однако, вполне законно оформленное предприятие со своей конторой, с печатью и штампом, о чем я узнал, когда мне понадобилась справка с места работы, которую нужно было представить в рабшколу.

ФАНТАЗИИ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

В вечерней рабочей школе, куда я попал, состав был самый разнокалиберный, разношерстный. Была тут и молодежь обоего пола, окончившая, как и я, семилетку, но попадались и довольно солидного возраста дяденьки, не имевшие даже семилетнего образования. В соответствии с этим и программа была самая универсальная. Иначе говоря, проходили все сразу: и алгебру, и геометрию, и физику, и грамматику, и политэкономию, и историю, и литературу...

Я ничего не имел против того, чтоб повторить правила грамматики, поскольку тут у меня были кое-какие пробелы в знаниях. Физику мы начали изучать с самого начала, то есть с раздела «Механика», и это тоже было кстати, потому что если бы меня спросили, что такое сила, работа, мощность, тяжесть и тому подобное, я, хоть убей, не сумел бы ответить, так как начал сознательно относиться к учебе уже после того, как мы «прошли» этот раздел физики в семилетке и начали изучать электричество.

Время мое в тот период было уплотнено до предела. Проснувшись на рассвете и едва позавтракав, я бежал с молотком в руках на бетонный завод и дробил щебень. Часа в четыре

я работу кончал и бежал домой. Пообедав, я бежал на станцию, чтоб не опоздать к поезду. В поезде я спокойно мог отдохнуть, вернее сказать — почитать какую-нибудь книжку или учебник в течение 45—50 минут, то есть пока поезд шел от Ирпеня до Киева. Занятия в школе были с семи часов вечера до десяти или одиннадцати. После занятий я мчался обратно на вокзал, снова отдыхал в поезде под убаюкивающий стук колес и являлся домой частенько, когда уже было за полночь.

Мой старший брат, как и намеревался, поступил в художественную профшколу. Но поскольку занятия там были не вечерние, ему не с руки было ездить ежедневно на поезде, так как нужно было слишком рано вставать. Поэтому, съездив разок другой, он предпочел вообще не ездить, а ночевать в Киеве у дяди Коли. Так у него и пошло. Он ночевал, а заодно и столовался всю неделю у дяди, а домой приезжал только на воскресенье.

Бетонный заводик, на котором я дробил щебень, был сезонное предприятие. Он мог работать только до наступления холодов. Сентябрь и октябрь на Украине бывают обычно достаточно еще теплыми, но в ноябре уже возможны заморозки, поэтому в конце октября все работы на бетонном заводе были прекращены, и я оказался, как принято говорить, свободным.

Какое-то время я еще ездил на занятия в Киев, но это было довольно-таки дорогое удовольствие. Билет на поезд в один конец стоил 35 копеек. Следовательно, на поездки мне требовалось 70 копеек в день. Свои «заработки» у меня кончились. Обращаться с просьбой о деньгах к отцу было не всегда удобно. Дело в том, что к тому времени отец все чаще стал возвращаться домой, что называется, «под мухой». На этой почве у него с матерью возникали неприятные разговоры. Отец объяснял, что он денег не пропивал, что его угостили посетители ресторана, где он играл со своим Дёмкой. Но мать не желала входить в детали. Ей вообще не нравилось, что отец выпивал, а на какие деньги — это было для нее безразлично, как она уверяла. Вместо того чтобы дать отцу проспать, она тут же начинала его корить. Дело кончалось криком и какой-нибудь скандальной сценой. На следующее утро отец просыпался не в духе, наверно, с похмелья, как я теперь понимаю, и говорить с ним о деньгах было небезопасно.

Однажды я поехал на занятия в Киев, не имея денег на обратный проезд. Говоря точнее, у меня был полтинник, так что на обратный билет не доставало целого двугривенного. Не знаю, на что я надеялся, когда ехал. Вообще у меня в характере

была склонность к фантазиям. Пришло мне в голову, что надо ехать, я и поехал. Думал: зайду к кому-нибудь из родственников и переночую. Когда же занятия кончились, мне показалось неудобным являться к родственникам в такое позднее время. Ведь до этого я ходил к родственникам только в гости, а кто же приходит в гости, так сказать, глядя на ночь? В результате мне пришла фантазия провести ночь, просто прохаживаясь по улицам. Раньше мне никогда не случалось проводить ночи подобным образом, и я не представлял себе, насколько это комфортабельно или, вернее сказать, некомфортабельно.

На оставшиеся у меня деньги я купил буханку хлеба. Хлеб этот был не черный, но и не белый, а что-то среднее между ними. Мне как раз такой хлеб очень нравился, и я воображал, что если съем всю буханку, то это вполне заменит мне ужин. Бесцельно слоняясь по улицам, я отламывал от буханки по кусочку и ел. К своему удивлению, я не успел прикончить и четверти буханки, когда почувствовал, что не хочу больше есть. Не могу сказать, что я насытился. Сытости вроде как бы не чувствовалось, а вместе с тем и есть вроде бы не хотелось. Разобравшись в своих ощущениях, я понял, что не хотелось именно хлеба, а чего-нибудь другого я бы, наверное, с удовольствием съел.

Улицы между тем постепенно пустели. Наконец совсем обезлюдели. Ноги мои устали. Вдобавок меня начало клонить ко сну. Я зашел в какое-то парадное. Там было пусто и тихо. В глубине лестничной клетки под потолком уныло светилась подслеповатая пятисвечовая электролампочка. В описываемые мной времена никому и в голову не пришло бы заливать более ярким светом места общего пользования, потому что тогда существовал так называемый режим экономии. Повсюду говорили и в газетах писали, что сейчас во всем нужна строжайшая экономия, поскольку восстановление народного хозяйства требует больших затрат. Эстрадные куплетисты распевали песенку, в которой был такой припев:

Потому — режим экономический,
И во всем нам надо действовать практически:
Изживать все недостатки,
Чтобы все было в порядке,
И народный капитал беречь.

Эта песенка была из числа тех, которые называют прилипчивыми. Стоило хотя бы раз услышать ее, и она уже никак не хотела выходить из головы. Чем бы человек ни занимался, о чем бы он ни думал, он неизменно ловил себя на том, что думает не

о чем нужно, а в голове у него вместо мыслей просто вертятся слова этой песенки:

По-то-му — ре-жим э-ко-но-ми-че-ский...

Такова сила искусства!

В парадном, куда я забрел, было достаточно места, чтоб лечь. Но пол был каменный и грязный. На мой взгляд, было как-то вроде неэстетично — улечься на пол. Заснуть, сидя на ступеньке лестницы, тоже было рискованно: кто-нибудь из запоздавших жильцов мог наткнуться на меня в темноте и принять за вора. Я решил спать, стоя у двери и прислонившись спиной к стене. Если кто-нибудь войдет, думалось мне, я тут же проснусь и выйду за дверь, сделав вид, будто я только что спустился с лестницы и ухожу из дома.

Такое решение объяснялось, конечно, недостатком жизненного опыта. До этого мне никогда еще не приходилось спать стоя. В литературе я также не встречал никаких указаний на то, что кто-нибудь спал когда-либо подобным образом. Приоритет в этой области принадлежал, безусловно, мне. Но, как всякое новшество, способ этот нуждался в экспериментальной проверке. Однако провести эксперимент до конца мне не пришлось все же. С одной стороны, мешало то обстоятельство, что сон в таком непривычном положении никак не хотел приходить. С другой стороны, я скоро почувствовал, что ноги от стояния на месте устают даже больше, чем при ходьбе. Все суставы начинают ныть. Боль отдается в позвоночнике. Начинает ломить в затылке, даже почему-то в плечах и особенно в пояснице. К тому же в парадном неуютно, одиноко, скучно. Кругом мрак и зловещая тишина.

Изредка доносящиеся с улицы шаги прохожих внушали мысль, что идут именно сюда, ко мне, и заставляли напрягаться в ожидании встречи, которая неизвестно чем могла бы и кончиться.

Не знаю, что бы я делал, если бы в голову не пришла спасительная мысль отправиться на вокзал и провести ночь в зале ожидания для пассажиров. Покинув свое убежище, я зашагал по пустынным улицам к вокзалу. Расчет мой оказался верным. На вокзале было светло, тепло и дажелюдно, что вовсе немало-важно, как я теперь понимал. Усевшись на свободной лавочке, я положил рядом книжечку рассказов Мамина-Сибиряка, которую прихватил с собой, чтоб почитать в поезде, а на книжку положил недоеденную буханку хлеба. Растянувшись на лавочке, я положил голову на буханку, с удовлетворением ощутив, что

она вполне могла сыграть роль подушки. Сон, однако, почему-то не сразу пришел ко мне, а вместо него пришло какое-то официальное административно-вокзальное, железнодорожное лицо и сказало, что на лавочке спать нельзя. Я ответил, что вовсе не сплю, а просто так, захотел немножечко полежать. Но лицо объяснило мне (кстати сказать, довольно вежливо), что вот это как раз и запрещено правилами: спать отнюдь никому не возбраняется, спать можно, но только сидя, а забираться на лавку с ногами нельзя, независимо от того, спишь ты или не спишь. Таковы правила, и их нарушать нельзя.

Что ж делать! Я сел покорно, свернул книжечку трубкой и сунул в карман. Буханку положил на колени и принялся, что называется, клевать носом, то есть, неожиданно засыпая, ронял голову на грудь, быстро наклонялся вперед всем корпусом, словно собирался кого-то боднуть, но тут же просыпался и откидывался назад на спинку лавочки.

Публики на вокзале между тем становилось всё меньше. Наконец отошел последний назначенный по расписанию поезд, и распорядившееся человеческими судьбами административно-должностное лицо начало выгонять из помещения вокзала засидевшихся посетителей. Оно сказало, что вокзал закрывается и зал должен быть «очищен» от пассажиров.

Пришлось мне «очистить» вокзальное помещение, словно я его засорял своим присутствием.

«ВОЛЬНИЦА»

Покинув вокзал, я заметил, что вместе со мной на привокзальную площадь вышли еще два каких-то небрежно одетых и давно небритых субъекта, которых я, впрочем, не успел как следует разглядеть, поскольку, не сказав друг другу ни слова, они быстро зашагали, один в одну сторону, другой — в другую, и скрылись во мраке, словно их ветром сдуло.

Наверно, они по опыту уже знали, что в такую пору не следует подолгу задерживаться на одном месте. А может быть, каждому из них было известно какое-нибудь пристанище, где можно было провести остаток ночи.

Не имея никакого определенного плана, я оглядел расстилавшуюся передо мной площадь. Вдали, по правую руку, возле забора, ограничивающего владения «железнодорожной державы», полыхал огонек костра, вокруг которого сидели несколько беспризорников. В те времена фигура беспризорника, то есть

одетого в невозможнейшие лохмотья, грязного, давно немытого и нечесаного мальчишки, потерявшего в годы войны родителей, была как бы неотъемлемой принадлежностью городского пейзажа. Шел уже 1924 год. Но я помню, что еще и в 1931 году, когда вышел на экраны фильм «Путевка в жизнь», борьба с детской беспризорностью не была закончена. Беспризорники очень любили ходить на этот фильм из их собственной жизни. Я сам не раз видел, как, собравшись стайкой, они просачивались в какой-нибудь кинотеатр на дневной сеанс, когда зрителей было поменьше. Хотя этих несчастных ребятишек уже тогда, то есть в 1924 году, помещали в детские дома и специальные колонии, но они упорно убегали оттуда, предпочитая жить на свободе, промышляя попрошайничеством и воровством. Все эти беспризорники представляли как бы определенную касту или корпорацию, живущую по своим собственным законам и противопоставлявшую себя остальному обществу.

Неподалеку от костра стоял огромный черный котел цилиндрической формы. В ту пору повсюду на киевских площадях и улицах можно было видеть такие котлы. В них разогревали асфальт для покрытия мостовых и тротуаров, пришедших в негодность за время войны. В течение дня котел настолько разогревался, что не успевал остыть за ночь и, таким образом, являлся хорошим прибежищем для беспризорников на ночь, особенно с наступлением холодов. Мне показалось странным, что увиденные мной беспризорники предпочитали проводить ночь у костра, вместо того чтоб залезть в котел и спать преспокойно в тепле. Я решил использовать упущенную ими возможность, но когда подошел к котлу и заглянул на дно, то увидел, что оно плотно уложено спящими беспризорниками. Они лежали, тесно прижавшись друг к дружке, словно сардельки, поджариваемые на сковороде, и спали таким крепким сном, на который способны только ребятишки их возраста.

Убедившись, что все вакантные места в котле заняты, я решил погреться у костра, так как холод уже довольно ощутимо напоминал о себе. Беспризорники совершенно никак не отреагировали на мое появление в их среде. Ни один даже не повернул ко мне головы. Только худенький, тонкий, как тростинка, мальчишка, рядом с которым я присел у костра, метнул косой взгляд в мою сторону. От моего внимания не ускользнуло, как сверкнули белки его глаз на совершенно черном от грязи лице.

У остальных (всего у костра сидело четверо) были такие же черные, словно покрытые слоем копоти или сажи физиономии.

Видимо, у них вообще не было выработано привычки когда-либо умываться или хотя бы мыть руки.

Молчание, впрочем, длилось недолго. Сидевший напротив меня мальчишка постарше сказал, как бы ни к кому не обращаясь:

— Слышь, Тонкий, ты сидишь ближе, спроси у фрайера, чего это он принес нам.

Фрайер на блатном, то есть на воровском, языке, как мне было известно, означало не что иное, как простофиля, простак, деревенщина, вообще неопытный, не принадлежащий к блатному миру наивный чудака, которого легко можно обвести вокруг пальца. Не было никакого сомнения, что в данном случае фрайер — был именно я. Худенький мальчишка ткнул своим грязным пальцем в буханку, которую я держал под мышкой, и спросил:

— Что это у тебя?

— Хлеб с маслом, — ответил я. — Сейчас поужинаем и будем ложиться спать.

Я разломил буханку на пять частей, по числу сидевших вокруг костра. Со всех сторон потянулись грязные руки, и каждый взял свою долю. Тонкий тоже взял кусок и, приоткрыв рот, выжидательно посмотрел на меня.

— А масло? — спросил он.

— Масло? — сказал я и с сожалением развел руками. — Масло, понимаешь, в магазине осталось.

Сидевшие у костра так и фыркнули от смеха, и это, как видно, задело самолюбие не ожидавшего подвоха Тонкого.

Он бросил мне на колени доставшуюся ему краюху хлеба и буркнул сердито:

— Ты что, пришел сюда надсмехаться над нами?

Он так и сказал: «надсмехаться».

Его действия, однако, не вызвали одобрения старшего мальчишки.

— Ты что это вздумал швыряться хлебом? — строго сказал он. — Ты что, лорд Керзон или Чемберлен, может быть? Ну-ка, иди за обрезками.

— Сам иди! — буркнул упрямо Тонкий.

Старший мальчишка был, как видно, парень покладистый. Он молча встал, подошел к забору, отогнул в сторону болтавшуюся на одном гвозде доску и исчез в образовавшемся отверстии.

Тонкий поглядывал на меня исподлобья, словно стараясь узнать, сержусь ли я, потом быстро протянул руку и схватил

брошенный им кусок хлеба. Видя, что я не препятствую ему, он сказал, явно стараясь завязать разговор:

— Ты, видать, из детского дома сбежал?

— Это ты, наверное, сбежал,— ответил я таким тоном, чтоб он почувствовал, что я еще сержусь.

— Я-то сбежал,— сказал примирительно он.

— А зачем?

— Там скучно. Все кричат. И никуда не пускают.

— А куда тебе надо?

— Ну, «куда, куда»! Я мамку ищу.

— А где твоя мамка?

— Вот чудак! Если бы я знал где, зачем бы искал? А у тебя есть мать?

— Есть.

— Ну? — искренне удивился он.— Почему же ты не поедешь к ней?

— Я и хотел, да на билет не хватило денег,— ответил я.

— А это далеко?

— Двадцать пять верст.

— А двадцать пять верст — это много?

Видно было, что в счете он не особенно силен: небось и до десяти не сосчитал бы. Я на секунду задумался, как попроще объяснить ему. Но тут снова заскрипела доска в заборе. Это вернулся парнишка, отправившийся за обрезками. В руках у него было что-то завернутое в старую засаленную газету.

— Зеркай, пацаны, Кочан обрезков припер! — обрадованно сказал черноволосый мальчонка, сидевший рядом с Тонким.

Кочан сел у костра и, не сказав ни слова, развернул газету. В свертке оказались обрезки колбасы самых разных названий: чайной, любительской, краковской, кровяной, ветчинной. Тыкая пальцем в сторону каждого сидевшего у костра, Кочан пересчитал всех, не забыв ткнуть в грудь и себя, после чего разделил принесенные обрезки на пять частей и вручил каждому его порцию. Все, аппетитно чавкая, принялись уплетать колбасные обрезки с хлебом.

— Шамай, хорошие! — обратился Тонкий ко мне.

Стараясь не думать, какой путь проделали и в каких руках побывали доставшиеся на мою долю обрезки, я тоже стал есть, постепенно приходя к мысли, что ко всему можно привыкнуть: нужно только стараться поменьше думать и не давать воли воображению.

Тонкий искоса поглядывал на меня, словно хотел узнать, нравится ли мне угощение. Потом сказал, кинув в мою сторону:

— Слышь, Кочан, у него мать есть.

Слово «мать» он произнес как-то уважительно или любовно, словно пропел: «Ма-а-ать!»

— Врё...— мотнул головой Кочан.

— Чтоб я так жил! — поклялся Тонкий.— Только она далеко: двадцать пять верст на поезде ехать.

— Олух царя небесного! — со снисходительным презрением ответил Кочан.— Если б у меня была мать, я бы двадцать пять раз по двадцать пять верст пехтурой протопал. Я бы топал, топал, топал, пока не упал. Понял?

— Понял,— послушно ответил Тонкий.

В это время я почувствовал, что кто-то залез мне в карман. Обернувшись, я увидел, что сидевший рядом черномазый, как и все остальные, парень (как его звали, не помню) вытащил торчавшую из моего кармана свернутую трубкой книжку.

— Что это у тебя? — спросил.

— Сам видишь, книжка.

— А-а...— протянул он, будто только теперь понял, что это книга.

— А для чего книги? — спросил Тонкий.

Он, видимо, отличался любознательностью.

— Книги — это пища для ума,— начал я.

— Как это? — не понял Тонкий.

— Ну, что такое пища, знаешь?

— Ну,— развел Тонкий руками.— Пища — это такая шамовка.

— Пища — это всякая шамовка или еда, вот как хлеб или колбаса,— объяснил я.— Только хлеб, колбаса — это шамовка для желудка... Что такое желудок, знаешь?

— Это который у меня в пузе?

— Вот-вот. Хлеб, колбаса — это шамовка для желудка, который у тебя в пузе, а книга — это шамовка для ума, который у тебя тут.— Я постучал его пальцем по лбу.— Понял?

— Понял. А ты почитай... Или не можешь?

— Почему не могу? Только больно поздно!

— Читай, читай, все равно без дела сидим,— подхватил Кочан.— А надоешь, так скажем.

Я перелистал книжку, стараясь отыскать что-нибудь более доступное по возрасту и развитию моих слушателей. Выбрав рассказ «Зимовье на Студеной», я начал читать им эту трогательную историю про старика, жившего в одиночестве на Севере, попутно стараясь объяснить, что такое Север и зимовье и почему на зимовье обоз приходит только раз в году,

но они неохотно слушали мои объяснения, нетерпеливо махали руками, говоря:

— Ты читай! Читай дальше! Ну тебя!

Художественная ткань рассказа — магия слов — настолько захватывала их, что мои комментарии казались лишь досадной помехой.

Широко раскрыв глаза, приоткрыв рты, забыв все на свете, они жадно ловили слова писателя об огромной нечеловеческой дружбе простого, одинокого, всеми забытого старика и одинокой собаки, которую, как сказал писатель, старик любил гораздо больше, чем люди любят друг друга. И она его тоже любила. Уже я кончил рассказ, а ребята продолжали неподвижно сидеть у костра, будто окаменели. Они словно прислушивались к словам, которые уже улетели.

Куда?

Кто знает.

А может, и не улетели вовсе?

Может, остались в их душах.

Навсегда.

На всю жизнь.

Тот, который вытащил у меня из кармана книжку, покачал головой. Сказал:

— Стариком плохо быть.

— Да,— отозвался кто-то со вздохом.

И все вдруг опустили головы, словно отдавая последний поклон старику, ушедшему из этого странного мира, в котором мы все с вами живем.

— Молодым лучше быть. Вот как мы,— сказал Кочан.

— Да! — опять отозвался кто-то, как эхо.

Все сразу приободрились и, словно освободившись от придавившей их тяжести, подняли головы.

Тонкий осторожно тронул меня за локоть.

— Ты знаешь...— просительно сказал он.— Ты еще почитай.

— Да, да! — загомонили все вокруг.— Давай еще!

Я выбрал какой-то другой рассказ и начал читать. Некоторое время все молча слушали, но Кочан вдруг сказал с возмущением:

— Ты что? Ты это что читаешь?

— Ну, рассказ,— пожал я плечами, не понимая, чего он вдруг взъерепенился.

— А про что рассказ? Это же не про старика Елеску с Музгаркой.

— Про Елеску мы прочитали уже. А это другой рассказ.

— Не-е-т! — решительно протянул Кочан. — Ты про Елеску читай.

— Правда, читай про Елеску с собакой, — запросили все хором.

— Второй раз? — удивился я.

— Ну и что! Второй раз.

— Кто же это читает по два раза одно и то же!

— Ну ничего. Ну, а ты читай! Ничего! — слышались со всех сторон уговоры.

— Ладно, — развел я руками и принялся читать рассказ, как говорится, на «бис».

Ребята и на этот раз слушали с таким же жадным одушевлением. Когда чтение подходило к концу, в трепетном свете костра возникла из ночной темноты фигура беспризорника, голову которого украшала большая, не по размеру, матросская бескозырка. Горячась и волнуясь, Кочан обратился к нему:

— Слушай, Боцман, какая пилюля! Старик, понимаешь, один с собакой, а вокруг на сто верст ни души. Он людей только раз в году видел, когда обоз приходил за рыбой. Так он, понимаешь, разговаривал с собакой, вот как я с тобой.

— Шо? — удивился Боцман. — Ты со мной, как с собакой?

— Да нет! Это старик с собакой, как ты со мной. И пес все понимал, вот как ты понимаешь.

— Шо? Я как пес понимаю? — снова удивился Боцман.

— Да нет! Ты не понимаешь! Вот пес понимал...

— Шо? — окончательно возмутился Боцман. — Я не понимаю, а пес понимал? Вот как дам тебе, так это тебе уже не пилюля будет, а микстура потекет из носа!

— Э! — досадливо махнул Кочан рукой. — Вот ты послушай! Ты почитай, — обратился он ко мне.

— Что? В третий раз читать? — удивился я.

— Ну и что? Пусть Боцман послушает.

— Ну почитай! Что тебе стоит? Пусть послушает. И мы послушаем, — взмолились все.

— Ладно, нехай читает, — милостиво разрешил Боцман, разлегшись у костра на асфальте.

Нечего делать, я принялся читать в третий раз про Елеску с его Музгаркой, но, не прочитав и двух страниц, услышал мерное похрапывание. Оглядевшись, я увидел, что все мои слушатели, и сам Боцман в том числе, спят, растянувшись в разных позах вокруг костра. Подбросив в костер оставшуюся охапку сосновых щепок, я опустил голову на еще не совсем остывший после заливки мостовой асфальт и заснул как убитый.

МЫ БЕСПРИЗОРНИКИ

Теперь я умный. Вернее, не такой простофиля, как прежде был. Жизнь все-таки чему-то понемножку учит всех нас. Сейчас же после окончания занятий в рабшколе я, не теряя времени, иду на вокзал, пристраиваюсь поудобнее на лавочке с таким расчетом, чтоб не валиться ни назад, ни вперед, ни набок, и старательно «сплю» в таком положении часов до двух ночи, пока не выгонят, после чего без каких-либо протестов и деклараций отправляюсь бродить по улицам. Чего там! Ведь побродить надо всего часа четыре каких-нибудь, а там гостеприимные двери вокзала открываются снова, и опять можно приходить и ложиться или, вернее сказать, садиться спать: добирать полагающуюся для сна восьмичасовую норму.

Самое трудное в этом деле — прогулять эти самые четыре часа. У меня такой метод: с вокзала, как только закроется, я отправляюсь вверх по Безаковской, потом по Бибиковскому бульвару до Крытого рынка. На здании этого рынка — большие часы. Можно посмотреть, который час и долго ли еще нужно «гулять». Дальше — путь по Крещатику до Думской площади. Там на здании бывшей городской думы — тоже часы. Оттуда вверх по Софийской улице до Софийской площади (и там часы), потом на Сенной рынок (часы), а оттуда вниз по Бульварно-Кудрявской на Галицкую площадь, где тоже есть часы и недалеко до вокзала.

Удивительно все же, до чего ночью медленно время идет! Днем оно бежит, так что никуда не поспеваешь, а тут совершишь целое кругосветное путешествие по городу, глядишь, всего час прошел! Значит, пускайся в новую кругосветку с какими-нибудь изменениями маршрута для разнообразия.

Ввиду наступившего похолодания и слякотного сезона мостовые асфальтировать перестали. Котлы для варки асфальта стоят холодные, и беспризорных возле них нет. И вообще беспризорников что-то не видно стало. То есть днем они попадают, а ночью где-то прячутся. Наверно, у них для ночлега какое-нибудь место есть. Где только, хотелось бы знать...

Все же узнал!.. Однажды шел после занятий к вокзалу. Меня обогнали двое беспризорных. Один оглянулся, улыбнулся во всю ширину рта — узнал меня. Оказалось, Кочан, мой старый знакомый.

— Кимарить чапаешь? — спрашивает.

— Негде, — говорю я.

— Чапай за нами, у нас левая хазовка есть.

На нормальном русском языке «кимарить» — значит «спать», «чапать» — «ходить», «левая» — значит «хорошая», а «хазовка» — помещение, пристанище.

Я молча «почапал» за ними. На Степановской мы свернули в какой-то двор, зашли в дом с черного хода. Стали подниматься по лестнице. Добрались до пятого этажа и еще выше полезли по какой-то совсем уже узенькой лестничке.

«На чердак полезли», — сообразил я.

Очутившись под самой крышей, остановились на площадке перед низенькой дверью. На двери оказался замок довольно внушительного размера.

«Вот и попали в хазовку!» — мелькнула у меня досадная мысль.

Они, однако, и не пытались проникнуть в дверь, а полезли в слуховое окно, слабо светившееся сбоку площадки. Я тоже полез за ними. Выбравшись на крышу, они поползли на четвереньках друг за дружкой. Я тоже пополз на четвереньках по краю крыши. Добравшись до другого слухового окна, они по очереди пролезли в него. Я тоже полез в окно ногами вперед. Кочан подбодрил меня:

— Прыгай, не бойся.

Я отпустил руки. Ноги коснулись мягкого, засыпанного песком пола.

Неподалеку, прилепленная к выступу кирпичной трубы, светилась тоненькая восковая свечка. Свет от нее героически боролся с наседающим со всех сторон мраком обширного чердачного помещения. На дымоходах, тянувшихся с разных сторон к кирпичным трубам, расположились во всяких позах с десятка полтора беспризорных. Один из них подошел ко мне. На голове — какая-то рваная черная поповская шляпа. Обут в дырявые галоши, подвязанные веревочками, чтоб не свалились с ног. Руки — в карманах брюк.

— Не бойся, Крендель, он фартовый, я знаю, — успокоил его Кочан.

«Фартовый» на их языке — это нечто противоположное фрайеру, то есть свой в доску.

— Ты откуда? — спросил Крендель меня, не вынимая рук из карманов.

— Оттуда, — показал я пальцем на крышу.

— Еще скажешь, что ты сам ангел, с неба спустился.

Все вокруг фыркнули:

— Ангел! Ха-ха!

— А ты что за птица? — спросил Крендель приятеля Кочана.

— Это Артист. Петь умеет, — ответил за приятеля Кочан.

— А ну-ка, ну-ка, спой что-нибудь, — сказал Крендель и, подойдя к трубе, где горела свеча, уселся на дымоходе.

Артист принял позу певца, выпятил живот и заголосил что было силы:

Позабыт, позаброшен
С молодых ранних лет,
Я остался сирото-ою,
Счастья-доли мне нет...

— Стой, стой! Заткнись! — заорал вдруг, выходя из себя, Крендель. — Что вы все, черт вас побери, одну и ту же песню поете? Хотелось какую-нибудь новую песню послушать, а он все про то же! Ты что, никаких других песен не знаешь?

— Так это же самая жалостливая, — сказал Артист. — Я как войду в вагон, как завою, так все только сморкаются и медяки суют: только подставляй шапку.

— Артист счастливый, — сказал мне Кочан. — Петь хорошо. А вот воровать страшно. Я мильтонов ужаси до чего боюсь!

— Так чего ж не поёшь? Ты бы пел, — говорю.

— Как же петь, не умеючи? Попробуй сам.

— Мне пробовать незачем, — говорю. — Попробуй ты, я проверю, есть ли у тебя слух.

— Тут не слух. Голос надо.

— Я, — говорю, — лучше знаю, что надо. Ну-ка, пропой, как Артист пел: «Позабыт, позаброшен...»

— По-за-быт, по-за-бро-шен... — заголосил Кочан, как говорится, совсем не из той оперы.

Впоследствии я убедился, что у беспризорников, как правило, совершенно не развит музыкальный слух. Может быть, потому, что они выросли без матерей и никто в детстве не пел им колыбельные песни. Какая-то причина существовала, наверно. Вообще они были молчаливы. Много разговаривать не любили. Если говорили, то коротко. Только то, что надо.

— Где же твоя книжка? — вспомнил Кочан. — Ты бы почитал, а мы бы слушали.

— Про Елеску? — усмехнулся я.

— А чего? Хорошо бы и про Елеску.

Книжки на этот раз со мной не было.

— Хочешь, стихи почитаю? — предложил я.

— Без книжки?

— Ну, я и так помню.

— Эй, пацаны, садись ближе, Ангел стихи будет читать без книжки! — провозгласил Кочан.

Я сел на теплый дымоход. Ребята уселись вокруг. Я прочитал им наизусть вступление к «Руслану и Людмиле».

— Здорово! — одобрил Кочан. — Мне бы так, я бы в поездах читал, как Артист. Тоже, наверно, деньги давали бы.

— Еще как давали бы! — подхватил кто-то.

— Ну и чего тут, — говорю. — Выучи и читай.

— Да разве выучишь?

— Почему же не выучишь? Дети легко стихи выучивают.

— Так то дети.

— И вы дети.

— Мы беспризорники.

— Не имеет значения, — сказал я. — Давайте-ка все повторяйте за мной.

И начал:

— «У лукоморья дуб зеленый...»

— «У лукоморья дуб зеленый...» — как эхо, отозвались ребята.

Они все подвинулись ближе и сидели передо мной на песчаном полу чердака. В глазах, смотревших на меня снизу вверх, светилась надежда, что они осилят «науку».

— «Златая цепь на дубе том...» — продолжал я.

— «Златая цепь на дубе том».

— «И днем и ночью кот ученый...»

— «И днем и ночью кот ученый...»

— «Всё ходит по цепи кругом».

— «Всё ходит по цепи кругом».

— «Идет направо... — здесь я делал паузу, — песнь заводит...»

— «Идет направо — песнь заводит...»

— «Налево... — пауза еще больше, — сказку говорит».

— «Налево — сказку говорит».

— «Там чудеса... — После этого страшным голосом: — Там леший бродит!»

— «Там чудеса: там леший бродит!» — Ребята хорошо перенимали интонацию.

— «Русалка на ветвях сидит». — Это спокойно, напевно.

— «Русалка на ветвях сидит...»

И так у нас пошло с некоторыми пропусками, которые я

сделал, чтоб ребятам легче было запомнить. Наконец мы добрались до последних строчек:

И там я был, и мед я пил;
У моря видел дуб зеленый;
Под ним сидел, и кот ученый
Свои мне сказки говорил.

К этим стихам я разрешил себе прибавить еще одну жалостную строчку:

— Подайте копеечку на пропитание!

— Подайте копеечку на пропитание! — с энтузиазмом подхватили ребята.

— Вот и все,— говорю.— А теперь повторим сначала. Ну-ка, разом: «У лукоморья дуб зеленый...»

Дружно повторили стихотворение второй раз. Потом еще и третий.

— А теперь,— говорю,— сами.

Сначала вышла заминка. Никто не отваживался начинать. Потом все же нашелся смельчак, провозгласивший:

— «У лукоморья дуб зеленый!»

И все хорошо пошло. Если кто-нибудь забывал продолжение, то обязательно в общей массе находился кто-нибудь, кто вспоминал, и все подхватывали. Я убедился, что теперь и без моей помощи обойдутся.

Растянувшись на теплом дымоходе, я заснул под хоровое исполнение стихов.

В тот раз проспал всю полагавшуюся мне восьмичасовую норму, как говорится, с полным комфортом.

Обстоятельства сложились так, что в эту хазовку я больше не приходил, Кочана и его приятелей с тех пор не встречал ни разу и, таким образом, не мог узнать, пошел ли на пользу им мой урок. Тем более я был удивлен, когда, не помню уже какое время спустя, в вагон поезда, только что тронувшегося в путь от Киева, вошла привычная для тех лет чумазая фигурка беспризорника и, остановившись в проходе между лавочками... нет, не запела, как все ожидали, привычную жалостливую песню, а объявила во всеуслышание:

— Стихи! — И начала декламировать с выражением: — «У лукоморья дуб зеленый...»

Все, как говорится, были приятно удивлены. Для публики это было что-то новенькое. Все, посмеиваясь, бросали в шапку проходившего между лавочками исполнителя медяки; я же, сколько ни всматривался, не мог признать в нем кого-нибудь

из тех, кто в тот раз на чердаке с таким рвением повторял за мной эти бессмертные строки.

А потом... потом это стало обыкновением. И уже не редкость было услышать в вагоне поезда или трамвая про этот вечнозеленый дуб, который стоял у лукоморья. Певцы, конечно же, не перевелись, но наряду с ними появились еще чтецы-декламаторы. У певцов, правду сказать, репертуар был пошире. Кроме песни про позабытого и позаброшенного с молодых ранних лет сироты, исполнялась иногда песенка, начинавшаяся такими словами:

Горит свеча дрожащим светом...

Была еще жалостливая песенка, которая начиналась так:

Товарищ, товарищ, болят мои раны!..

Были и еще песни, сейчас я уже не припомню их, но из стихов исполнялись только «У лукоморья дуб зеленый». Это я точно помню. Многие удивлялись такой приверженности беспризорников именно к этому произведению великого нашего поэта. Но одному только мне было известно происхождение этого феноменального факта.

«ГОВОРIT МОСКВА»

В публичной библиотеке, куда я приходил почитать, позаниматься, а заодно и просто посидеть в тепле, мне попала книжка. На обложке была изображена широко улыбающаяся физиономия симпатичного малыша, прижимающего к ушам плоские телефонные трубки. Как называлась книжка, не помню, но в ней рассказывалось, как самому сделать радиоприемник. Тогда только начала работать первая в нашей стране радиостанция имени Коминтерна. Но никакой радиопромышленности еще не существовало. Купить радиоприемник в магазине было нельзя. Однако, как говорилось в книжке, можно было самому смастерить приемник и слушать радиопередачи.

Это было на заре так называемого радиолюбительства.

Спустя несколько лет трудно было увидеть дом, на крыше которого не торчали бы мачты с протянутыми между ними проводами радиоантенн. Радиоприемники тех времен были слишком еще маломощны: дальность приема и слышимость

находились в прямой зависимости от высоты и длины антенны. Каждый радиоловитель стремился поднять свою антенну как можно выше и протянуть ее насколько можно длинней. Тот, кто не видел своими глазами, даже не представляет себе, какой вид имел город, изукрашенный всеми этими антеннами.

Так называемых радиоловителей развелось тогда столько, что было организовано специальное общество ОДР, то есть Общество друзей радио. Члены этого общества собирались в своих секциях, делились опытом работы, рассказывали друг другу, как лучше устроить радиоприемник, какую выбрать схему, по какому способу лучше наматывать катушки и пр. Кроме того, издавался специальный ежемесячный журнал. Назывался «Радиоловитель». В нем излагались разные проблемы радиодела. Рассказывалось о новых достижениях в этой области. Был также отдел для начинающих: для тех, кому хотелось начинать делать радиоприемники.

Такое повальное увлечение со стороны радиоловителей неудивительно. Ведь создавался новый, невиданный и неслыханный дотоле вид общения между людьми. Что-либо случившееся в одном месте земного шара мгновенно могло стать известно в любом самом заброшенном его уголке. Совершалась победа над временем и пространством. Люди чувствовали, что радио дает в их руки возможности, о которых раньше можно было только мечтать. В человеческом обществе от природы заложен инстинкт общения. Человечество интуитивно чувствует, что сила его и спасение — в общении, в общих усилиях Разума. Этим, как мне кажется, и объясняется возникшее в тот период стихийное увлечение наматыванием разного рода катушек, изготовлением конденсаторов, трансформаторов и всего прочего, что требовалось для сооружения чего-то хоть мало-мальски пригодного для приема распространявшихся в эфире радиоволн, несущих с собой человеческий голос, глубокие мысли и высокие чувства, очарование и поэзию, короче говоря, — всё, что теперь прозаически называется одним термином: «информация».

Но это, правду сказать, уже было потом. На первых порах многие скептически, то есть с недоверием, относились к радио с его многообещающими возможностями. Первых радиоловителей считали какими-то ненормальными чудаками. Наверно, и в моей натуре было что-то чуждающее, потому что, как только я прочитал эту книжку о самодельном радиоприемнике, в моей голове поселилась ничем не омраченная, нетерпеливая мысль заняться как-нибудь на свободе постройкой радиоприемника.

В моих мечтах без всяких усилий возникает на крыше нашего ирпенского дома антенна. Тихий вечер. В доме тепло и уютно. Я надеваю наушники. Поворачиваю ручку приемника. Слышу голос далекой Москвы. Узнаю самые последние новости, которые еще не успели попасть в газеты. Поворот ручки. Я слышу голос Берлина, Праги, Братиславы, Парижа, может быть даже Лондона. Лютуют волшебные, словно космические, звуки музыки. Что это? «Лунная соната» Бетховена, исполняемая каким-нибудь знаменитейшим пианистом. Ее сменяет рапсодия Ференца Листа. Вот ликующие, победные звуки вальса из оперы Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении симфонического оркестра. Вот вдруг модный фокстрот, танго. Играет джаз. И вдруг — торжественные, словно возвышающиеся друг над другом, растущие, словно этажи небоскребов, звуки фуги Баха, может быть, исполняемые на том же органе, на котором играл сам Иоганн Себастьян Бах... И это где!.. У нас в Ирпене. В захолустье!

Я даю наушники матери. Пусть послушает. Она постоянно чем-то занята. Штопает одежду, шьет белье, вяжет ребятам варежки или носочки. Это по вечерам. А днем — стряпня. Жизнь ее скучна и наполнена одними заботами. Из дому — никуда. Ни в кино, ни в театр. Так жить страшно. Хорошо бы ей радиоприемник! Она бы слушала по вечерам радио...

Я даю наушники малышам. Ляльке и Бобке. Они тоже хотят послушать. Я вижу, как они улыбаются.

Последнее время я вдруг стал задумываться о судьбе малышей. В сущности, они не такие уж малыши. По возрасту им давно пора учиться в школе. А они разве учатся? Как же так получилось? Что-то произошло с моими родителями. Когда мне и моему старшему брату пришло время учиться, отец и мать позаботились о том, чтоб определить нас в гимназию. Ради этого мы всей семьей переехали на жительство в Киев. Правда, когда спустя десять лет задумали возвратиться в Ирпень, то говорилось, что теперь не то, что в старые времена, теперь и в Ирпене есть семилетка. Малыши могут учиться и в Ирпене. Но вот переехали в Ирпень, настала осень. Лялька и Бобка сидят дома или гоняют по улицам, а в школу их никто и не думает посылать. Да и как посылать? В первый класс им идти уже поздно. По возрасту их надо было бы подготовить в третий или четвертый класс, а они-то ведь и читать не умеют. Кто их будет готовить? Поглощенные своими заботами, неурядицами, ссорами, родители об этом как будто вовсе не думают. Старший брат тоже не думает. У него свои заботы. Ему надо учиться,

чтоб стать художником. Я тоже хочу продолжать учение. Как-то я не мыслю себя не то что без любимой специальности, не то что без высшего образования, а без знаний, завоеванных человечеством. Мне кажется ничтожным, недостойным, нечеловеческим существование без использования всех возможностей, которые отпущены человеческому уму от природы. Но если такое существование кажется невозможным мне, почему оно возможно для моих брата, сестры? Почему я не должен помочь им, если никто другой этого не хочет или не может сделать?

Сказать по правде, учение в вечерней рабшколе дает мне лишь моральное удовлетворение. Пока мы проходим то, что я уже изучал в семилетке. Но мне приятно приходить по вечерам в теплое, светлое помещение, проводить время в обществе людей, стремящихся к знанию.

Мы уже все знакомы между собой. Встречаем друг друга улыбками, шутками.

Но иногда ведь следует делать не только то, что приятно, но и то, что нужно. В конце концов, знания, требующиеся для поступления в институт, я могу почерпнуть из книг. В этом деле у меня уже есть опыт. Мне к тому же тягостно выпрашивать у отца деньги, нужные на расходы. Ведь эти деньги отцу приходится отрывать у семьи. А семье и без того трудно. Да и жить, как я живу, тоже не дело! Это все моя маниловская мечтательность виновата. Я почему-то вообразил, что так можно: скитаться ночью по улицам, торчать на вокзале, валяться на чердаках...

А откуда я знал, что так нельзя?

Ну что ж, теперь знаю. Теперь я могу сказать себе: «Я попробовал. Я проверил. Я вижу, что это никуда не годится, и могу вернуться домой. Дома, как говорится, и солома едома. Дома и стены помогают».

В рабшколе я достал программу, рассчитанную на все три года обучения, с указанием нужной литературы. В Политехническом институте я тоже получил программу для поступления на химический факультет. Я зашел в первую попавшуюся семилетку и расспросил, какие знания нужны для поступления в четвертый класс.

На оставшиеся у меня деньги я купил букварь и книжку, как самому сделать радиоприемник.

Я приехал домой и сказал Ляльке и Бобке:

— Вот вам, чертенята, букварь. Будете учить азбуку.

Что-то я не заметил особенной радости на их физиономиях.

Но мать была довольна. Лицо ее смягчилось улыбкой,

когда она увидела в моих руках букварь. Должно быть, ее все же беспокоило, что малыши растут неграмотными.

Но кто был по-настоящему рад моему возвращению, так это Цезарь. Наш пес.

Он с визгом прыгал вокруг меня, клал передние лапы мне на плечи и лизал своим слюнявым языком мои щеки.

Насилу я от него отбился.

ИДЕЯ

В ту зиму в нашем доме учились все. Не только Лялька и Бобка. Даже Цезарь был включен в учебу. Я прочитал в журнале статью, как дрессировать собак, и он у меня не получал никакой еды без того, чтобы не проделать предварительно какое-нибудь задание: постоять на задних лапах, принести в зубах палку, отыскать спрятанный предмет или пролаять нужное число раз. Я лично в тот период взялся за самостоятельное изучение логарифмов, то есть того раздела алгебры, которого мы не проходили в семилетке.

Забегая несколько вперед, скажу, что с логарифмами я вполне успешно справился, после чего взялся за изучение тригонометрии; Лялька и Бобка вполне успешно поступили осенью в четвертый класс; а Цезаря вполне успешно у нас украли. Он был чистопородный пойнтер, то есть хороший охотничий пес, но бегал без всякого присмотра по улицам. Соседи давно предупреждали, что его в конце концов у нас украдут. Так оно и случилось, о чем мы, впрочем, не очень жалели, поскольку надеялись, что у новых хозяев он будет лучше питаться.

У нас же с питанием, мягко выражаясь, было не так чтоб уж очень жирно.

Мать постоянно твердила, что отцу нужно устроиться на работу. На мой взгляд, вся беда была в том, что разговоры эти она затевала, когда отец возвращался навеселе и был в особенно воинственном настроении. В таком состоянии он начинал хорохориться, кричал, что сейчас безработица, что ему не везет в жизни, в подтверждение чего приводил всяческие пословицы и поговорки вроде: «На бедного Макара все шишки валятся», «У людей и долото бреет, а у нас и бритва не берет», «Если не повезет, то и на верблюде собака укусит» и так далее в этом же роде.

В результате всех разговоров возникла идея приобрести

лошадь. Некоторые ирпенские жители, имевшие лошадей, промышляли извозом, то есть возили на железнодорожную станцию кирпич с кирпичного завода, бревна из леса, круги с бетонного завода, и неплохо зарабатывали. Матери хотелось, чтоб отец занялся этим делом. В таком случае он перестал бы играть в ресторане со своим Демкой и был бы подальше от вина, которое, как она считала, его губило. Отец соглашался, но так как денег на покупку лошади не было, то решено было продать граммофон, швейную машину и имевшиеся в доме золотые вещи: два обручальных кольца, браслет и медальон матери, подаренный ей отцом в день их свадьбы. Медальон, как мне казалось, был очень красивый. Он имел овальную форму, снаружи был украшен резьбой, изображавшей веточку с листьями и тремя красными камнями в виде цветов. Если медальон открыть, то внутри на его крышках можно было увидеть слева миниатюрный фотопортрет отца, а справа — матери. Единственная драгоценность, с которой отец не хотел расстаться, была хранившаяся в небольшом флакончике щепотка золотого песка, который он собственноручно намыл, когда был на золотом прииске в Сибири. Он сказал, что много за это золото все равно не заплатят, а оно ему дорого как память и он скорее согласен расстаться с обручальными кольцами, чем с этим песком.

Матери, как утверждала она, ничего не было жалко, лишь бы поскорей купить лошадь, чтоб отец занялся настоящим делом. Ей казалось, что он тут же перестанет пить и жизнь станет счастливой. Единственная жалоба сорвалась у нее, когда очередь дошла до продажи швейной машины.

— Как будто родное дитя свое собираюсь продать! — пробормотала она, как-то виновато взглянув на меня.

В глубине ее черных красивых глаз я увидел растерянность и тревогу. Сердце мое сжалось от какого-то щемящего чувства. Бедная женщина не понимала, почему ей в голову пришла такая странная, пугающая мысль. И я скорее чувством, чем умом, понял эту мысль. Сколько детских рубашонек, распашонек, трусиков, платиц, штанишек было сшито ею для своих подрастающих детишек! Образ машинки в ее сознании слился с образом детей, для которых она мастерила все эти вещи.

Я сказал, что, может быть, лучше не продавать машинку, но мать ответила, что иначе мы не соберем нужную сумму.

— Но ведь тебе постоянно приходится что-нибудь шить, — сказал я.

— Шить не обязательно на машинке. Шить можно вруч-

ную. Я это умею. Я ведь училась в детстве,— сказала она.

У меня не остались в памяти подробности продажи швейной машинки. А вот как продавалось золото, это я запомнил. Отец договорился со знакомым ювелиром, Апельцыным по фамилии, что мы с братом привезем ему эти золотые вещички (сам он почему-то не смог или не захотел поехать). Предварительно отец вынул из медальона крошечные портреты свой и матери. Медальон опустел, как покинутое жилище.

В своей ювелирной мастерской Апельцын сидел за столом против витрины, выходившей на улицу. Над столом висел большой красивый стеклянный шар, наполненный прозрачной голубоватой жидкостью. Луч света, проходивший сквозь эту жидкость, фокусировался на изделии, которое Апельцын держал щипчиками. Это была золотая сережка, отделанная бирюзой, к которой он припаивал золотую дужку. В глазу у Апельцына торчал монокль, а во рту была тонкая, изогнутая на конце медная трубочка, в которую он старательно дул с таким расчетом, чтобы пламя от стоявшей на столе ацетиленовой лампы направлялось на припаиваемую дужку.

Оставив свою работу, он осмотрел принесенные нами вещи. Кольца взвесил на маленьких аптекарских весах, что-то записал на бумажке, что-то на что-то помножил. Опять записал. С браслетом проделал такую же манипуляцию. С медальоном поступил по-другому. Открыв его, зачистил изнутри край тупоносом ножом, смочил зачищенное место желтой жидкостью из флакона. По цвету и запаху я догадался, что это была азотная кислота. Убедившись, что кислота никак не действовала на металл, он выковырял из медальона красные камешки и, завернув их в бумажку, отдал нам. Потом специальными щипчиками безжалостно сплющил обе крышки медальона, так что они сразу превратились в бесформенные обломки, и только после этого положил их на весы. Я спросил, зачем он сломал медальон. Он ответил, что такие медальоны уже вышли из моды и золото все равно надо будет пустить в переплавку.

Что-то болезненно шевельнулось у меня внутри, когда я увидел, как равнодушно была исковеркана вещь, которую мать носила на своей груди, а носила она ее в радостные, счастливые дни, когда был праздник, когда ждала гостей или сама собиралась в гости или в театр. Она считала эту вещь красивой и любила ее. Это был свадебный подарок, и там были портреты ее и отца...

Апельцын объяснил, что принесенное нами золото разной пробы и оценивается по-разному за грамм. Сейчас я уже не

помню ни этих расценок, ни того, сколько мы получили за все наши «фамильные драгоценности». Помню, что брат спросил, сколько платят за грамм золотого песка. Апельцын насторожился. Мне показалось, что в глазах его блеснула не то жадность, не то любопытство.

— А что, у вас золотой песок есть? — спросил он.

— Нет, это я так просто спросил, — сказал брат, и глаза его сделались узенькие, словно щелочки.

У него всегда такие глаза были, когда случалось соврать. И лицо становилось неподвижным, как деревянная маска.

Апельцын объяснил, что в самородках или в виде песка золото совершенно чистое, без всяких примесей, и поэтому ценится наиболее высоко. Уже не помню, сказал он, какая цена такому золоту, или не сказал. Мне, в сущности, это было безразлично.

В публичной библиотеке я нашел книгу о том, как выбирать при покупке лошадь. В книге рассказывалось, что лошадь живет около тридцати лет, а чтоб узнать ее возраст, надо заглянуть ей в рот и посмотреть, насколько стерлись у нее зубы. Если каких-нибудь зубов у нее нет, то эта лошадь — уже не лошадь, так как не сможет нормально пережевывать пищу и питание будет ей не впрок.

Надо проверить, нет ли у нее каких-нибудь изъянов: не хромая ли она, не слепая. Если лошадь очень худа, то она, значит, уже стара. В книге говорилось также, что у каждой лошади должен быть паспорт, в котором указан ее возраст, масть, рост, имеющиеся недостатки. Без паспорта лошадь покупать нельзя, так как она может оказаться краденой.

ЦЕННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ

Покупать лошадь надо было на ярмарке, которая собиралась по воскресным дням на Демиевке, то есть в одном из окраинных районов тогдашнего Киева. Ярмарка — это не обычный рынок или базар. На базаре продают овощи, фрукты, зелень, мясо, рыбу — в общем, все, что годится в пищу. А на ярмарке — все остальное. То есть все, что нужно крестьянину в его хозяйстве. А также все, что ему не нужно. Вернее сказать, то, что у него есть лишнего, что он хочет или может продать или специально изготовил на продажу. Лен, конопля, пенька, лыко, мочало, пух, перо, шерсть, волос, кожи, метлы, овчины, корзины, лукошки, бочки, кадушки, корыта, решета, ведра, тазы, грабли,

лопаты, гончарные изделия, кони, волы, коровы, козы, овцы, куры, гуси, маленькие поросята...

Над всем этим шум, гомон, крик. Все на всяческие лады расхваливают свои товары. Не стесняются в средствах, чтоб привлечь к себе внимание. Крестьянка, торгующая гончарными изделиями, подняла над головой горшок и старательно колотит по нему палкой. Торгующий бочками не только орет во все горло, но и стучит скалкой по бочкам, извлекая из них громоподобные звуки. Продавец скобяных товаров схватил какую-то железяку и колотит ею изо всех сил по ведру или лопате...

— Ведра! Ведра! Лопаты! Грабли! Продаем, чуть не даром отдаем! Ведра! Лопаты! Косы! Серпы!

— Бочки! Кадушки! Корыта! Навались, у кого деньги завелись!

— А ось глэчики (горшки, значит), глэчики, макитры, кухлыки, крынки! Глэчики! Ось, купать горшенятко!

— Скильки за цю макитру?

— Два карбованци.

— Що?!

— Два рубли, кажу.

— Дорого!

— А скильки б вы дали?

— Пять копийок.

— А трясця вашей матери! Идись по три чорты! От як дам цю макитрою! Матери твоей ковинька!

На ярмарке невозможно побыть, чтоб не услышать чего-нибудь по адресу своей матери. Еще ничего, если ей пожелают трясцю или ковиньку, а не что-либо похуже того.

— Глэчики! Миски! Макитры!

— Бочки! Кадушки! Навались!

Бум! Бам! Блям! Бах! Трах! Звяк! Бряк! Топ! Мык! Хрюк! Кряк! Гогот!

Семнадцатый век! Плюшкинские времена! А шум — тысяча децибелов! Такое теперь услышишь разве что на стадионе в разгар футбольного матча или на выступлении модного джаз-оркестра. А чем достигалось? Собственной глоткой, без всякой электроники, без усилительной техники, без какой бы то ни было акустики!

Да! Было времечко!

Конный ряд (то есть там, где продают лошадей) представляет собой, в сущности, не один, а два ряда телег с выпряженными лошадьми, а между этими двумя рядами — как бы улица, по которой можно провести покупаемую лошадь, посмотреть, как

она ходит, не хромая ли. Первое, что мы видим посреди этой улицы,— это огромный, раза в полтора крупнее всех остальных продающихся лошадей, конь, исхудавший до предела возможного. В далеком прошлом это, может быть, даже какой-нибудь знаменитый рысак, но сейчас это просто живой конский скелет, обтянутый лошадиной шкурой. Буквально, как принято говорить, кожа да кости. Трудно понять, какими силами жизнь еще держится в нем. Демонстрирует этот живой скелет черноволосый цыган в синих штанах, заправленных в сапоги, в вышитой косоворотке, подпоясанной красным кушаком. Поддерживая под уздцы коня, цыган то и дело тычет ему кулаком в зубы, отчего конь старается держать голову выше, шарахает по сторонам глазами, пытается встать на дыбы, но так как сил для этого нет, он просто приседает на задние ноги. Цыган, однако, тянет за узду, и, вместо того чтоб присесть, конь, нервно перебирая ногами, словно приплясывая, таскается вперед и назад за своим мучителем. Окружающие с улыбкой посматривают на это даровое представление. Да и у самого цыгана веселые огоньки в глазах. Он, видимо, доволен резвостью своего подопечного коняги или просто старается сделать вид, что ничего грустного в этой картине нет.

Как только я увидел этого коня, у меня появился страх, как бы отец не купил его. Опасения мои оказались, однако ж, излишними. Было совершенно очевидно, что представляла собой такого рода покупка. Да и мать и все знакомые предупреждали, чтобы мы ни в коем случае не покупали лошадь у цыгана. Мы, то есть отец, я и мой старший брат, проšliсь по рядам, приглядываясь к лошадям, прислушиваясь к разговорам и прицениваясь. Собственно, приценивался, конечно, отец. Деньги были у него. Мы с братом даже не знали, какой суммой располагаем, поэтому и цена лошади сама по себе ничего нам не говорила.

Отец, однако, испытывал какое-то затруднение, то ли не зная, на чем остановить свой выбор и чем его обосновать, то ли опасаясь заплатить лишнее или купить не то, что нужно. Не могу точно припомнить, как и почему подле нас оказалась фигура цыгана, которого отец запросто называл Мироном, словно век с ним был знаком. Кажется, отец велел нам с братом подождать, сам же пошел в сторону, где была чайная, откуда вернулся с этим Мироном. У меня же навсегда осталось впечатление, будто цыган этот вынырнул перед нами прямо из-под земли. Вынырнув же, принялся тут же яростно расхваливать какого-то скромного, флегматичного, понурого конягу, которого

продавал флегматичный, молчаливый седоусый крестьянин с люлькой в зубах, похожий на запорожского казака в отставке.

Конь этот (что о нем сказать?) не имел того вида, к которому привык рядовой городской житель, то есть человек, встречающийся с обычными извозчичьими лошадьми на городских улицах. Что-то типично деревенское, сермяжное, если так можно сказать, было в этом коне. Он не то сутулился, не то горбился, словно привык с натугой, неспешно таскать за собой плуг или соху, а не бегать в легкой упряжке с коляской или телегой по укатанной, хорошей дороге. Недоставало в его виде резвости, грации, той лошадиной стати, которая так нравится людям в конях. Не было в нем также и той глубокомысленности, в которую впадают по временам даже очень резвые кони. Вся его фигура говорила о какой-то безучастности ко всему окружающему. Главное же, что настораживало, — это его худоба. Правда, он не был так худ, как тот конь, которого с таким старанием рекламировал первый цыган, но во всяком случае худощавый или, что называется, тощий.

Цыган Мирон, однако ж, клялся, божился, что конь хороший, что его только нужно немножечко подкормить; призывал все силы небесные в свидетели того, что он говорит правду; кричал «разрази меня гром, покарай меня бог», колотил себя кулаком в грудь, пытался разорвать ворот своей рубашки, хватал из-под ног горсть земли и кричал, что сейчас будет есть землю.

Я хотел посмотреть коню в рот, чтоб проверить, как у него обстоит дело с зубами, но не знал, с какой стороны к этому приступить. В книжке говорилось, что надо открыть коню рот и осмотреть зубы, а вот как заставить коня открыть рот, об этом в книжке не говорилось. Кстати, я вспомнил про паспорт и сказал отцу, что надо бы посмотреть паспорт коня. Но отец почему-то подмигнул мне и сделал знак, чтоб я помалкивал, так, словно мы пришли на ярмарку не для того, чтоб купить коня, а чтоб украсть его. Цыган, однако ж, наклонился ко мне, изображая всей своей фигурой внимание. Выслушав же вопрос о паспорте, вместо ответа начал снова рвать на себе ворот, бить кулаком в грудь, кричать «разрази меня гром», хватать пятерней землю. Но даже, когда он, горячась, кричал, что будет есть землю, губы его играли улыбкой, глаза же были неуловимы, то есть глядели вскользь, мимо лица: мне ни разу не удалось встретиться с ним взглядом.

Так он паясничал и шаманил, пока отец, словно загипнотизированный, не начал повторять за ним, что конь хороший,

его только подкормить надо и что-то вроде этого. Не успел я оглянуться, как деньги были заплачены. Тут только на свет появился паспорт коня. Отец отдал паспорт мне и велел нам с братом вести коня домой, а сам вместе с цыганом и бывшим хозяином коня отправился «обмывать» покупку, потому что без этой «обмывки» покупка не могла считаться счастливой.

Крик кончился. Дело было сделано. Я посмотрел в паспорт и что-то в груди у меня словно упало вниз. Коню было двадцать восемь лет. Во рту недоставало каких-то зубов. Кажется, эти зубы назывались кутними. Впрочем, неважно, как они назывались. Отсутствие каких-то зубов само по себе было признаком нехорошим. Да и возраст говорил сам за себя. Все это было известно мне из книжки, но я старался уговорить сам себя, что это, может быть, ничего. В сущности, я ведь ничего не понимал в лошадях. Если кони, как говорилось в книжке, живут в среднем до тридцати лет, то это в среднем. Нам, может быть, повезет и наш конь проживет до тридцати пяти. Может быть, его действительно подкормить надо...

В общем, человек такое существо: его можно уговорить. Оно может дать себя уговорить. Оно даже само себя может уговорить. Вот и я начал понемножечку уговаривать сам себя и начал верить, что коня можно будет подкормить, уже не думая о том, чем мы его будем подкармливать.

Звали его, коня то есть, как значилось в паспорте, Ванькой.

НА КОНЕ

Оттранспортировать в Ирпень это приобретенное нами ископаемое непарнокопытное, этот реликт, именуемый Ванькой, можно было лишь по способу пешего хождения, то есть на своих двоих, или, вернее сказать, на своих четверых. Практически это осуществлялось так: один из нас шел впереди и тянул коня за повод, привязанный к уздечке, другой шел с хворостинной сзади, чтобы в случае надобности подгонять коня. Тому, кто шел сзади, было страшно, и это естественно: всему миру известна народная мудрость, гласящая: «Бойся собаки спереди, лошади — сзади, а глупого человека — со всех сторон». Поскольку в данном случае мы имели дело с лошадью, то и бояться следовало, согласно народной мудрости, тому, кто сзади. Но это теоретически. Практически бояться приходилось и тому, кто был спереди. Во-первых, он боялся, чтоб лошадь как-нибудь

невзначай не укусила его (вдруг ее рассердит что-нибудь; мало ли что ей может прийти в голову: возьмет еще и зубами хватит). Во-вторых, было опасение, что лошадь, испугавшись чего-нибудь, может вдруг «понести», как тогда говорилось, то есть броситься вскачь, не разбирая пути и ничего не соображая от страха.

В те времена такие случаи были не редкость. Когда появились первые автомобили, они наводили страх даже на некоторых людей. Все привыкли к тому, что впереди экипажа (коляски, к примеру, или телеги) обычно бежала лошадь и тащила его. Видя же, что экипаж катится как бы сам собой, без помощи поставленной впереди лошади, многие пугались или приходили в недоумение. Но люди существа умные и быстро соображали, что тут, наверно, какая-нибудь хитрость. Лошади же по недостатку ума воображали, должно быть, что тут не иначе, как какая-нибудь чертовщина. Завидев такую самодвижущуюся коляску, они теряли всяческое самообладание и, не взвидя света, бросались бежать галопом куда попало. Если такая напуганная лошадь была запряжена в бричку или телегу, то бричка или телега переворачивались, люди вываливались прямо на мостовую и хорошо, если отделывались только ушибами. Помимо того, такая несущаяся без всякого соображения лошадь могла кого-нибудь сбить с ног, растоптать и вообще наделать разных бед.

По мере того как автомобилей становилось на улицах больше, лошади постепенно привыкали к ним и переставали пугаться. Но это относилось в основном к городским, извозничьим лошадям. Деревенская лошадь, для которой автомобиль или трамвай были в диковинку, могла все же испугаться этого вида транспорта со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Мы не знали, как поведет себя наш ископаемый Ванька, попав на шумную городскую улицу. Пока мы шли с ним от ярмарочной площади по тихим узеньким улочкам, все обстояло благополучно. Но вот мы вышли на Большую Васильковскую и зашагали по обочине мостовой, стараясь держаться поближе к тротуару. Мимо нас промчался легковой автомобиль. За ним прогромыхал довольно тяжелый грузовик. Нужно сказать, что выхлопные трубы автомобилей в те времена не были оборудованы глушителями, поэтому даже поездка на легковом автомобиле сопровождалась как бы пулеметной пальбой. Шины грузовых автомобилей к тому же не были снабжены надувными баллонами, а делались из сплошной твердой резины, что при езде по тогдашним булыжным мостовым производило страшный грохот.

Ванька, однако ж, не испугался ни пулеметной пальбы, ни грохота. Он даже ухом не повел, когда мимо нас с непрерывным, нетерпеливым звоном проехал трамвай, а продолжал размеренно, не спеша шагать, синхронно переставляя одно за другим свои четыре копыта. Надо полагать, что за свою долгую конскую жизнь он насмотрелся всяких чудес и такие человеческие выдумки, как различные самодвижущиеся тележки, трамваи и даже поезда, уже не удивляли его.

Он шагал все с тем же безучастным видом со скоростью примерно пять километров в час. Мы с братом могли бы, конечно, идти быстрее, но решили не подгонять коня, чтоб он как-нибудь ненароком не пустился вскачь и не удрал бы от нас. По всей видимости, принятая им скорость была для него привычной. Он шагал как заведенный, не убыстряя движения и не замедляя; казалось, если его не остановить, он может шагать, пока не обойдет вокруг земной шар, да так и будет кружить, пока завод не кончится.

Мы с братом понемногу успокоились, и я, шагавший сзади, принялся уже более детально знакомиться с нашим приобретением. Сравнивая его с другими попадавшимися навстречу лошадьми, я заметил, что у Ваньки была какая-то особенная, нестандартная шерсть. Она была какая-то шероховатая, словно старый, потрепанный войлок, которым обивали в те времена для утепления двери, то есть она не лежала гладко, не лоснилась, как обычно на лошадях, а как бы торчала или топорщилась, словно на древнем мамонте или на современном буре медведе, разве только была несколько посветлее и чуточку покороче. Этим, возможно, и объяснялось, что конь имел какой-то типично не городской вид.

Тем, кто воображает, что наш Ванька был нечто вроде донкихотовского Росинанта, могу прямо сказать: ошибаетесь. Росинант был тощ, это правда, но он был строен, высок, подтянут (по крайней мере, его таким рисуют художники). У него была своя гордая лошадиная красота. Это как и с людьми бывает. И у людей: один — высокий, худой, но держится молодцом, другой — низенький и широкий, но не потому, что расплылся от жира. Он тоже худой, но по природе своей ширококостный, кряжистый, приземистый. Такой у него экстерьер (если этот термин тут к месту). Вот и у Ваньки был совсем не тот экстерьер, что у Росинанта. Не хватало в нем той внутренней лошадиной изящности, элегантности. Чего-то донкихотовского не хватало. Уж слишком веяло от него древесинной, чем-то пещерным, что ли.

Представьте себе. Воскресенье. На улице — приодевшиеся

по случаю праздничного дня прохожие. Они, может быть, в гости идут или в парк, чтобы культурно провести время, а тут вдруг рядом на мостовой такой пещерный медведь, то бишь, прошу прощения, не пещерный медведь, конечно, а такой вроде как первобытный конь, явно не вписывающийся в современный городской ландшафт. Впрочем, публика на улице вполне культурная и никаких насмешливых замечаний по адресу нашего коня себе не позволяет, если не считать того, что уж как-то слишком пристально, слишком назойливо на него поглядывает. Мы с братом стараемся делать вид, что нас не смущают все эти взгляды, будто мы их и не замечаем.

Вот мы вполне благополучно продефилировали мимо величественного готического собора, к которому по случаю воскресного богослужения тянулись со всех сторон благочестивые прихожане-католики. Еще немного терпения — и мы поворачиваем на нашу родную Марино-Благовещенскую улицу. Марино-Благовещенская не такая широкая, как Большая Васильковская. Трамваи, которые то и дело обгоняют нас, проходят чуть ли не впритирку к нашему Ваньке. Но Ваньке все нипочем! Он держится с завидным хладнокровием. Я лично каждый раз прихожу почему-то в волнение, когда нас обгоняет трамвай.

Наконец мы на углу Большой Караваевской. Идем мимо нашего дома, в котором мы прожили столько счастливых лет. Трудных лет, наполненных жизнью, борьбой. Может быть, именно потому и счастливых.

И вот — Брест-Литовское шоссе. Шагаем вдоль высокой бетонной ограды, за которой владения бывшего нефтяного или керосинового короля Нобеля. Среди зелени кустов и деревьев — гигантские цилиндрические резервуары для бензина, керосина, нефти, и на каждом — надпись огромнейшими буквами: «НОБЕЛЬ», «НОБЕЛЬ», «НОБЕЛЬ»...

Напротив нобелевских владений — завод сельскохозяйственных машин Фильверка и Дидина. Завод не работает со времен войны. С пуском его не торопятся. Крупных помещиков, которые могли бы покупать сельскохозяйственные машины, теперь нет, а крестьянам-единоличникам машины вроде как бы ни к чему — да и не по карману. Дальше, по ту же, то есть по правую, сторону шоссе — папиросная фабрика. За ней — завод «Ауто». Нет, это не автозавод. Автомобилей в нашей стране тогда еще не делали. «Ауто» — небольшой авторемонтный завод. Автомашины покупали за границей, а вот ремонтировать приходилось уже самим. Правда, автомобили на городских улицах были уже не редкость, но ездили главным образом все же

на лошадях. Дальше, тоже по правую сторону,— узенькая фабричная улица. На ней — небольшой кинотеатрик «Рекорд». Когда-то в этом «Рекорде» я впервые в жизни увидел кинофильм. Чуть дальше, но уже по левую руку,— Борщаговская улица. Узенькая, кривая, убийственно длинная, одноэтажная улица моего детства. Она для меня полна воспоминаний, главным образом военного содержания. В военном отношении ей особенно повезло. Какая бы армия ни брала Киев, она обязательно вступала в город по Борщаговской улице. Какие только войска не протопали по ее булыжной, ухабистой мостовой!

Но... мимо!

Мимо воспоминаний!

Вот уже Борщаговская с моим прошлым далеко позади. А впереди мое будущее: Киевский политехнический институт, на химический факультет которого я мечтал поступить. С каким-то душевным трепетом я всегда проходил мимо этой красивой чугунной решетки, за которой вдали виднелись корпуса института.

Сбудутся ли мои мечты?

Как бы мне хотелось, чтоб они сбылись!

А вдруг не сбудутся?

Что тогда?

Какая-то непонятная тревога овладевала душой. И что-то приятное было в этой тревоге. Как перед решающей схваткой. Кто победит?

Жизнь меня или я ее?

Мимо!

Мимо будущего!

Институт позади, а впереди — чугунолитейный завод Греттера и Криванека. Завод уже восстановлен, и трубы его дымят. Правда, теперь уже без Греттера и Криванека. И даже имя ему дано новое: завод «Большевик». Гордое имя.

Здесь город кончается. Начинается просто пустырь. Это по левую сторону шоссе. Зато по правую... Гремите, литавры, трубите, трубы... Впереди — джунгли моего детства: львы, тигры, питоны и крокодилы, медведи и леопарды, зубры, шакалы, страусы, лоси, койоты, верблюды, слоны, фламинго, дикие собаки динго, обезьяны, тюлени, лебеди, муравьеды, кенгуру, утконосы... Зоопарк!

...Разжившись деньгами на билет, мы четверо (я с братом и двое наших приятелей) отправляемся с утра в зоопарк. Здесь мы пропадаем у клеток, вольеров и загородок с животными до тех пор, пока у всех, как говорится, не подведет животы. Стран-

ная смесь ощущений. Целая палитра эмоций! Жалко беднягу мишку, которого заперли в тесной клетке и даже погулять не пускают. Он смотрит на нас добродушным, умоляющим взглядом. Да что мы можем для него сделать? Если бы могли, честное слово, выпустили бы! Страусам лучше: им отведена довольно большая территория, есть где побегать. Диким уткам, гусям, лебедям совсем хорошо: они беззаботно плавают и ныряют в своих водоемах и не помышляют о том, чтоб куда-нибудь улететь.

Волков нам тоже, в общем-то, жалко. Но мы не прочь их иногда подразнить: суем сквозь решетку клетки палки. Волки с ожесточением кусают палки. Шерсть на них дыбом, острые зубы оскалены, глаза горят бешеной ненавистью. Нам страшно.

Больше всего времени мы проводим, конечно же, возле клеток с обезьянами. Это природные акробаты. К тому же очень смешат своим сходством с людьми. Бывало, нахохочемся за день так, что до вечера животы болят.

В общем, зоопарк был для нас чем-то вроде модели земного шара в миниатюре. Там были уголки, где, казалось, не ступала нога человека. Насмотревшись на зверей, мы спускаемся в глубокий овраг, склоны которого заросли деревьями так густо, что лучи солнца не пробиваются сквозь листву. Спустившись на дно оврага, мы путешествуем по этой сумрачной терра инкогнита и пробираемся на старую, заброшенную территорию зоопарка, где, судя по полуразрушенным бетонированным берегам, были когда-то водоемы для водоплавающих птиц или для рыб. Теперь эти водоемы пересохли, и, роясь на их дне в песке, мы отыскиваем монетки, главным образом серебряные пяточки, а иногда гривенники старой, царской чеканки. Нам непонятно, почему монетки попадают именно там, где раньше была водная гладь, следовательно, никто не ходил и не мог обронить их. Лишь впоследствии я узнал о существовавшем в народе поверье, что если бросить монетку в какой-нибудь водоем — в бассейн фонтана, в море или в реку, — то это приносит счастье. Если при этом задумать какое-нибудь желание, то задуманное исполнится...

Ну, вот и зоопарк уже позади. Мы совсем отрываемся от города с его цивилизацией и культурой. Перед нами открытое поле. Начинаем сливаться с природой. Здесь наш четвероногий Ванька уже не производит впечатления ходячего анахронизма. Нет здесь ни беспрерывного потока людей, ни пугающих самодвижущихся тележек. Вон только по обочине шоссе бредет какой-то одинокий человек. Но он добрый и, как видно, общи-

тельный. Остановившись, заговаривает с нами. Спрашивает, почему мы оба с братом идем пешком. Ведь один из нас мог бы ехать верхом. Можно чередоваться. Сначала один едет, а другой ведет коня на поводу, а потом другой едет, а первый ведет.

— Ну, с кого начнем? С тебя, что ли? — спрашивает добрый человек и помогает мне взобраться на спину коня.

И вот я уже верхом на коне. Впервые в жизни. Страшновато, конечно. Особенно когда конь начинает шагать. Но ничего. Можно держаться за гриву. Понемножечку привыкаю к положению всадника. В то же время начинаю ощущать, что сидеть на спине у Ваньки не так уж удобно. Уж очень худая у него спина! Не гладкая. Из-за худобы хребет выпирает так, что кажется, будто сидишь на доске, поставленной вдоль конской спины ребром. Шерсть на Ваньке мохнатая, торчащая в стороны, и скрадывает худобу. Но когда сидишь верхом, то на ощупь хорошо заметно, как выпирают хребет и ребра. Неожиданное открытие, я бы сказал!

Павлушке, то есть брату, не терпится тоже покататься на лошади. Я спешиваюсь, держу коня под уздцы, жду, когда брат вскарабкается ему на спину. Снова отправляемся в путь. Потом опять еду я. Тут навстречу нам попадает еще один добрый человек. Он удивляется, почему один из нас едет, а другой плетется пешком. Говорит, что на лошади можно и двоим ехать. Так часто делают всадники, у которых на двоих одна лошадь. Мы, конечно, решаем последовать совету этого доброго человека. Брат велит мне сесть поближе к шее коня, отдает мне в руки поводья, залезает на коня и, сидя сзади, держится руками за мои плечи.

— Поехали, — говорит.

— Но! — говорю я и слегка ударяю коня пятками по бокам.

Мы продолжаем путь, но теперь мне страшно вдвойне. Во-первых, я уже не могу держаться за гриву, так как у меня в руках поводья; во-вторых, теперь коня никто не ведет, и я опасаясь, как бы он не помчался сдуру куда-нибудь по своему выбору. Конь, однако ж, никуда не мчится, а шагает все с той же скоростью, на которую, казалось, был запрограммирован со дня рождения.

Так мы путешествуем с полным «комфортом», пока не встречаем еще одного доброго человека. Этот третий добрый человек был почему-то злой и принялся ругать нас с братом самыми последними словами. Так вот, этот добрый злой человек, всячески изругав нас, сказал, что бедный конь еле на ногах держится, что ему подышать пора, а мы два здоровых балбеса вздумали

мучить бедное животное и забрались ему на спину. Наконец мы отъехали на такое расстояние, что перестали слышать все эти эпитеты и решили последовать совету этого доброго человека. Нам стало казаться, что конь вот-вот рухнет под нами. На всякий случай мы оба спешили и дальше уже транспортировали коня по своему прежнему методу, то есть один спереди, другой сзади.

Добрые люди не оставляли нас между тем без своего внимания. Миновав поселок Святошино и прокрутившись по кривым улочкам деревни Беличи, мы встретили еще одного доброго человека, который участливо расспросил нас, откуда и куда мы ведем коня, узнав же, что мы ведем его в Ирпень, он сокрушенно покачал головой и сказал, что до Ирпеня конь, пожалуй, не дойдет, сдохнет. Этот диагноз привел нас с братом в уныние; к тому же очередной встреченный добрый человек без всяких околичностей осведомился, не на живодерню ли мы ведем коня, когда же узнал, что не на живодерню, только руками развел, с недоумением сказав, что куда же его еще можно вести, если не к живодеру.

В дальнейшем все встречные добрые люди уже не называли нашего коня иначе, как аргамак, орловский рысак, одёр, кляча, живой труп, ходячий шкилет и дохлятина, высказывая при этом самые пессимистические прогнозы относительно его ближайшего будущего. Когда мы наконец прибыли с конем домой, то искренне были удивлены, что слышанные нами в пути прогнозы не оправдались.

ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА

Я уже говорил, что отец постоянно жаловался на невезение, проклиная его на всяческие лады. Но как же могло везти, спрошу я вас, если делать все не по-людски, а шиворот-навыворот? Конечно же, сначала нужно было приобрести телегу, а потом уже покупать лошадь. Если я начну утверждать, что теперь легче купить автомобиль, чем в прежние времена телегу, то просто совру, потому что телегу вообще невозможно было купить. Телегу надо было делать на заказ, а тут уж приходилось иметь дело с плотником, колесником, а главное, с кузнецом.

Проще всего обстояло с плотником, а вот с колесником пришлось повозиться, потому что в Ирпене был только один колесник, да и тот очень старый, флегматичный и наполовину глухой. Он был немец по национальности, а по фамилии Шток-

фиш. Правда, все жители называли его на русский лад: Штокич, но он не обижался, так как почти ничего не понимал по-русски. Он знал всего несколько русских слов, зато ругаться умел сразу на трех языках: на русском, польском и, конечно же, на немецком. Он постоянно сосал коротенькую деревянную трубку, набивая ее каким-то особенно вонючим табаком, который он выращивал на своем огороде. С этой трубкой в зубах и в огромнейших башмаках, выдолбленных из дерева, он был похож на голландского или фламандского крестьянина с картины Ганса Гольбейна-младшего. Обычно он по целым дням сидел на завалинке своего дома, греясь на солнце, и только приговаривал:

— Пэче!

То есть печет, припекает, пригревает.

Когда я приходил к нему, то заставлял обычно сидящим на этой завалинке с неизменной трубкой в зубах. На мой вопрос, готовы ли заказанные ему колеса, он только похлопывал себя рукой по накаленной солнцем коленке и, как бы не слыша моего вопроса, кивал в сторону высоко стоявшего в небе солнца, крутил головой и произносил уже известное мне слово:

— Пэче!

Непонятно было, радовался он или печалился по поводу того, что «пэче», или просто удивлялся способности солнца накалять окружающие предметы.

Выслушав несколько раз подряд мой вопрос и выколотив о край завалинки свою носогрейку, он говорил, разводя, словно в недоумении, руками:

— Нема ни единой спицы сухая!

После чего снова набивал не спеша трубку, поднимался с завалинки и, повернувшись ко мне спиной, уходил в дом, выругавшись на прощание:

— Донэр вэтэр! Пся крэв! Тшорт побери!

Что такое «тшорт побери», каждому русскому и без перевода ясно. «Пся крэв» по-польски означает «собачья кровь». А «донэр вэтэр» — это немецкое ругательство, точного перевода которого даже сами немцы не знают. Я спрашивал многих немцев, что такое «донэр вэтэр».

«Это такое ругательство,— объясняли мне.— Когда человек сердится, он говорит: «Донэр вэтэр».

«Ну, это понятно. А что означают сами слова «донэр вэтэр» в переводе на русский?» — допытывался я.

В ответ на это немцы только руками разводили и говорили, что «донэр вэтэр» — это «донэр вэтэр»; когда немец сердится, он должен говорить: «Донэр вэтэр».

Так я ничего и не уразумел, но про этот «донэр вэтэр», а заодно и про «пся крэв» достаточно наслушался, пока наконец колеса были готовы, после чего наступила пора мучительства с кузнецом, который не хотел начинать делать телегу, пока не получит задаток, когда же наконец получил, не начинал потому, что у него была какая-то другая работа.

Пока дело тянулось с колесником да с кузнецом, Ванька пасся стреноженный на подножном корму: отъедался, подкармливался, как считал отец. Без телеги мы, конечно, не могли приспособить коня ни к какой работе и только катались на нем верхом для развлечения.

В начале лета, с возобновлением работ на бетонном заводе, я, как и в прошлом году, бил щебень и немного подрабатывал на нужные мне книги, но потом мы наколотили такое количество щебня, что его хватило бы заводу на весь год работы. Получился так называемый «кризис перепроизводства», в результате которого все мальчишки, и я в том числе, были «уволены» и пополнили «армию безработных», которых и без нас было предостаточно в те так называемые нэповские времена.

Помимо забот о траве, коне, огороде (в том году я снова посадил картошку), у меня было еще одно дело. В какой-то книге (уже не помню, был ли это очерк минералогии или геологическое описание) я прочитал, что золото — очень распространенный на земле металл и встречается в природе почти повсюду, но в крайне малых, микроскопических количествах. Наиболее богатые месторождения золота находятся у нас в Сибири. Но и в других местах было обнаружено золото. Так, например, золото было найдено на Украине, недалеко от Киева, в пойме реки Ирпень. Однако, как указывалось в книге, эти месторождения были настолько бедны золотом, что никакая промысловая добыча его не рентабельна. Иначе говоря, добыча этого золота обойдется дороже тех денег, которые можно за него получить.

И все же мысль о том, что где-то поблизости имеется золото, засела у меня в голове. В книге не указывалось, в каком именно месте на реке Ирпень было обнаружено золото, и я решил попытать счастья, то есть поискать. Не знаю, то ли во мне проснулся так называемый поисковый инстинкт, то ли, может быть, меня начала одолевать свойственная мне маниловская мечтательность. Мой старший брат и его друг Толя Буськов, с которым он учился в художественной профшколе, говорили, что если я найду золотые россыпи, то все равно не смогу взять их себе, а должен отдать государству. Я отвечал, что вовсе не собираюсь

брать себе россыпи и, конечно, отдам их государству, а сам буду работать на приисках и получать причитающуюся мне зарплату. Если же содержание золота в россыпях окажется скудным и государство не захочет разрабатывать их, оно не станет жадничать и не будет возражать, если я буду промывать золото на свой риск и намою хотя бы на полтинник в день. Надо же мне, в конце концов, где-нибудь работать и хотя бы немного зарабатывать!

Когда брат и Толя Буськов отправлялись на берег Ирпеня писать этюды, я тоже шел с ними, прихватив с собой тазик для промывки песка и саперную лопатку, сохранившуюся у меня со времен войны. Брат посмеивался надо мной, называл меня золотопромышленником, концессионером и говорил, что я заболел «золотой лихорадкой».

Однако недаром, как видно, существует пословица: «Над чем посмеешься, тому и послужишь». Скоро он и сам заболел, правда не золотой лихорадкой, а сходной болезнью, которая известна в народе под названием кладоискательства.

ОПЯТЬ ЭТА ТАЙНА!

Симптомы кладоискательства, которым заболел брат, заключаются в том, что человеку начинает казаться, что где-то поблизости зарыт клад, и человеком овладевает непреодолимое желание этот клад отыскать.

Началось это у брата таким образом. Однажды отец приехал домой поздно ночью и притом сильно на взводе. Вообще-то определить степень опьянения не было никакой возможности, так как, сколько бы ему ни пришлось выпить, он всегда держался на ногах твердо. Только в голове у него начинало что-то путаться. Он замечал, что из-за своего пристрастия к вину все больше терял уважение матери, и болезненно это переживал. Ему страшно хотелось, чтоб она его уважала, как уважала тогда, когда они встретились в молодости, полюбили друг друга и решили не расставаться всю жизнь и делить все радости и печали. Ему хотелось, чтоб все встречали его улыбками, чтоб все радовались его приходу, но, видя недовольное лицо матери, он расстраивался и старательно доказывал, что достоин всяческого уважения, но ему попросту не везет, его никто не понимает, но он еще всем что-то докажет и напишет книгу, и тогда всем все станет ясно, и все что-то увидят, и вот тогда только все что-то поймут... Он давно уже толковал, что напишет книгу,

хотя всем было ясно, что никакой книги он написать не может, и все разговоры об этой книге обходились обычно без всяких последствий. Но на этот раз братец почему-то вдруг возьми и спроси:

— А как будет называться книга?

— А ты небось думаешь, что я не знаю, как она будет называться? — прицепился тут отец к брату.

— Ничего я не думаю. Я так просто спросил.

— Хотел над отцом посмеяться! — не отставал отец. — Вот, мол, батька твердит все, что напишет книгу, а сам даже не знает, как она будет называться! Нет, брат, батька у тебя не такой дурак. Он знает, что название для книги — это всё. Будет название — будет и книга, а не будет названия, так и книги не будет. Понял?

— Ну вот мне и интересно, какое будет название. Его ведь еще придумывать надо, — ответил брат.

— Ничего не надо придумывать! Все уже сделано. Вот тут все есть, — отец похлопал себя ладонью по лбу.

— Ничего там нет, — махнул брат рукой.

— Чего нет? — удивился отец.

— Названия нет.

— А если я скажу, тогда что будет?

— Ну, тогда будет.

— Что будет? — не понял отец.

— Ну, название будет, — объяснил брат.

— Ну, так слушай, название будет такое: «Тайна на дне колодца».

— Не модно, — махнул брат рукой. — Это во времена Диккенса такие названия книгам давали. А теперь мода другая.

— Какая же теперь, по-твоему, мода?

— Вот если б ты, к примеру, книгу назвал «Бред сивой кобылы» или «Сарынь на кичку, елова шишка», то было бы модно, или, например, «Печаль полей винцом полей»...

— Каким винцом? — с недоумением спросил отец.

— Будто не знаешь, какое винцо бывает!

— А! Издеваешься! — закричал отец.

Он бросился на кухню, схватил топор, но брат успел выскочить за дверь. Отец выбежал во двор и принялся гоняться вокруг дома за братом. Мы все с тревогой глядели в окна, наблюдая за этой погоней. Хотя я и понимал, что отец просто хотел попугать брата, но все-таки было страшно смотреть, как он бегал за ним с топором в руках при лунном свете.

Уже было часа два ночи, когда отец наконец уgomонился и лег спать.

— Что он там вчера про тайну на дне колодца трепался? — спросил меня на другой день брат.

Мы оба вспомнили, что когда-то, в детстве, уже слышали об этой колодезной тайне и пытались ее разгадать, а потом уже о ней и не думали. Но тут отец снова сказал о ней, что дало толчок нашим мыслям. Брат высказал предположение, что отец зарыл на дне колодца какой-нибудь клад, потому что если бы клада не было, то и никаких разговоров о какой-то там тайне не было бы.

Как раз перед этим я прочитал в каком-то журнале статью о кладах. Сейчас я уже не помню, что это был за журнал: не то «Вокруг света», не то «Хочу все знать», не то издававшийся в те времена журнал «Глобус». В статье писалось, какие бывают клады, почему они возникают и как их отыскивают. При этом рассказывалось, как незадолго до революции группа каких-то не то преступников, не то экспроприаторов (сейчас уже точно не помню) напала на поезд и ограбила вагон, в котором перевозили серебряные слитки. Остановив поезд, они нагрузили этими слитками телегу и умчались на тройке лошадей. На след похитителей, однако, вскоре напала полиция. Тогда они спрятали слитки, а сами разбежались кто куда. Полиции, однако, удалось задержать одного из них. На допросе он сознался, что похитители бросили слитки в колодец, только он не знает, в какой именно, потому что сам не участвовал в этом деле. Полиция после этого обыскала множество колодцев во всей округе, но слитков так и не нашла.

Когда я рассказывал эту историю брату, он сказал, что слитки, наверно, лежат в нашем колодце и отец об этом знает.

— Ты еще скажешь, что отец был в этой шайке, которая похитила слитки! — ответил я.

— А что ты думаешь, по пьяной лавочке еще и не то можно сделать, — сказал брат. — Сегодня он за родным сыном с топором гоняется, а завтра возьмет да и поезд ограбит.

— Но слитки-то ведь были похищены тогда, когда отец еще не пил, — возразил я.

— Это верно, — согласился брат. — Но, может быть, они бросили слитки в наш колодец, а он про то и не знает.

— Почему же он тогда твердит, что тут какая-то тайна?

— Правда. Он не может не знать. И я буду не я, если не узнаю, что там за слитки.

— Но если ты вытащишь слитки, то могут узнать, что это он их похитил. Это может для него плохо кончиться,— сказал я.

— Это ничего,— сказал он.— Во-первых, слитки были похищены еще при старом режиме. А во-вторых, мы будем действовать осторожно. Сначала посмотрим, что там есть, а потом будем смотреть, что делать.

По плану брата нужно было вычерпать из колодца воду, как это делал отец, когда вылавливал лягушек, после чего спуститься вниз и покопаться на дне. Для того чтобы не возникло каких-нибудь подозрений у соседей, мы решили сделать вид, что берем воду для поливки огорода.

Прокопав канавку, чтоб вода сбегала от колодца к посаженной мной картошке, мы принялись таскать воду в четыре руки, то есть двумя ведрами. Пока один выкручивал ведро воротом, другой вытаскивал ведро на веревке. Я позаботился, чтоб вода, бежавшая по канавке, равномерно растекалась вдоль картофельных рядов. Время было жаркое, и поливка была очень кстати. Часа два мы трудились как каторжные, пока не достигли дна. Тогда брат спустился вниз по веревке, стал наполнять ведра песком со дна, а я выкручивал эти ведра наверх и вываливал песок прямо на землю возле колодца. Уже не помню, сколько мы этих ведер вытащили. Братец наконец выбился из сил и, ухватившись за веревку, сказал, чтоб я тащил его кверху. Я попытался крутить ворот, но это оказалось мне не по силам. Тогда брат сказал, что мы дураки, потому что надо было спускаться в колодец мне. Я легче его, и он смог бы меня выкрутить из колодца. Я сказал, что он может выбраться по веревке сам. А он сказал, что не может, так как он перетрутился и на то, чтоб карабкаться по веревке, уже нет сил. Я сказал, чтоб он отдохнул, потому что, когда он отдохнет, силы его восстановятся и он сможет выкарабкаться.

Он стал отдыхать. А день между тем кончился. Стало смеркаться. В колодце сделалось совсем темно, и брату стало там страшно. К тому же колодец постепенно наполнялся водой, и брат стал бояться, что он утонет. Я сказал, что позову кого-нибудь на помощь. А он сказал, чтоб я не смел, потому что тогда все над нами будут смеяться. Но поскольку он все время твердил, что ему и страшно и холодно, мысль моя стала усиленно работать, в результате чего я додумался, как ему помочь. Я сказал, что брошу ему веревку, а он пусть обвяжется ею. Я буду его поднимать на этой веревке, а он пусть ухватится руками за ту веревку, которая привязана к вороту, и поднимается вверх по этой веревке. Таким образом, я буду помогать

ему лезть вверх, а он будет помогать мне тащить себя. В конце концов мы так и сделали и соединенными, так сказать, усилиями вытащили его на поверхность.

Выкарабкавшись из колодца, брат с досадой пнул кучу вытащенного нами песка ногой, плюнул на нее и сказал, что мы с ним дураки, что никаких слитков на дне колодца нет и не было, что никакие дураки не стали бы бросать слитки в чужой колодец, а если и были там слитки, то какие-нибудь дураки их уже давно и без нас достали, что я как хочу, а его лично в колодец больше никакими коврижками не заманишь. Он так говорил, словно это я сказал, что там слитки. Правда, я сказал, что читал статью, но что слитки у нас в колодце, я ничего не говорил. Это он сам домыслил, а теперь оказалось, что я во всем виноват.

ДРУЗЬЯ

В тот вечер, когда мы вернулись домой, отец сказал, что кузнец завтра начинает делать нашу телегу, и велел прислать помогать мальчишку. Поскольку мальчишкой в нашей семье мог считаться скорее я, нежели старший брат, то было решено, что именно я и пойду.

— Там ничего делать не надо, — сказал отец, — будешь только раздувать горн.

Кузница была на краю Ирпеня, под самым лесом. Это было старое, черное, насквозь прокопченное дымом деревянное строение, вроде покосившегося набок сарая, без окон, с широкой дверью, которая всегда была распахнута настежь, так как свет в кузницу мог попадать только через эту дверь. Посреди кузницы, прямо против двери, на огромном деревянном чурбане, наминавшем древесный пень, стояла наковальня. Неподалеку от наковальни, слева, был горн, дым от которого выходил из помещения через ту же дверь. С другой стороны, то есть справа, был грубо сколоченный крепкий дубовый стол, врытый в землю всеми четырьмя ножками, с привинченными к нему тисками. В темных углах сарая валялся покрытый пылью и копотью разный железный хлам. У наковальни обычно стоял огромный пудовый молот, именуемый в просторечии кувалдой.

Сам кузнец был невысокий, короторукий и коротконогий, коренастый мужик, заросший до самых ушей дремучей, торчащей во все стороны бородой, отчего голова его казалась вдвое больше, чем нужно. Я решил, что он нарочно не брил бороду, потому что постоянно имел дело с раскаленным железом, от

которого, словно метеориты, разлетались во все стороны искры. Эти «метеориты» обычно застревали в его бороде и не могли нанести вред коже лица и шеи.

Горн, раздувать который было моей обязанностью, представлял собой совсем не то, что я думал. С подобного рода механизмом я уже давно был знаком. У родственников моего приятеля Гучи, живших по соседству с нами в Киеве на Борщаговской улице, была своя не то что кузница, а целая кузнечная или механическая мастерская. Они брали заказы на изготовление разных буравов для бурения земли, лемехов для плугов, гаек, болтов и прочих металлических изделий. Мы с Гучей часто наведывались в эту мастерскую посмотреть, как у них идут дела. Нас, мальчишек, обычно не прогоняли, а, наоборот, иногда даже давали покрутить какой-нибудь из горнов. Горны у них в мастерской были железные, с педалью, как у швейной машины. Нажимая на эту педаль, можно было приводить во вращение колесо, которое, в свою очередь, вертело вентилятор, заключенный в металлический кожух. Струя воздуха от этого вентилятора целиком направлялась на тлеющий каменный уголь и раздувала пламя. Вертеть такой горн было одно удовольствие и не составляло труда даже для ребенка.

По сравнению с этим механизмом, сделанным по последнему слову техники, горн нашего ирпенского дремучего кузнеца представлял какую-то доисторическую фукалку, с помощью которой раскаляли металл при изготовлении наконечников для стрел наши предки еще в начале бронзового или железного века. Здесь не было ни педали, ни колеса, ни вентилятора, а были кожаные мехи вроде гармошки. Эту гармошку нужно было все время растягивать и сжимать при помощи рычага, как у ручного насоса, чтоб выжимать из нее струю воздуха, который раздувал пламя в горниле. Гармошка эта хрипела, шипела: воздух из нее вырывался не только туда, куда надо, но во все стороны, в результате чего усилия тратились непроизводительно, и, чтоб раскалить железо до нужной температуры, приходилось затрачивать столько усилий, что дух, казалось, готов был выскочить из груди вон. Вся беда заключалась в том, что нельзя было передохнуть ни на минуточку, так как железо начинало тут же стынть, и, чтоб нагреть его снова, приходилось как бы наверстывать упущенное и затрачивать еще больше усилий.

Кузнец сам почти ничего не делал, так как всю основную работу выполняли я и его сын Алеша. Как только железо в результате затраченных мной усилий раскалялось до нужной

кондиции, кузнец брал его клещами, клал на наковальню и говорил:

— Алеша, вдарь!

И Алеша, вооружившись пудовым молотом, начинал «вдарять». По всей видимости, он был опытным молотобойцем. Молот в его руках начинал двигаться снизу, от самой земли, описывал в воздухе круг и с размаху вдарял по раскаленному железу, после чего отскакивал в сторону. Алеша давал молоту опуститься вниз, опять почти до земли, и, не задерживая кругового движения, снова поднимал над головой и с силой опускал на обрабатываемую деталь. Кувалда кружилась в воздухе, непрерывно нанося железу удары. Кузнец только поворачивал нужной стороной обрабатываемую деталь и в перерывах между ударами молота стучал по ней небольшим молотком. Эти удары не приносили, однако ж, никакой пользы, а производились как бы для ритма. Когда кузнец ударял не по успевшей остыть детали, а рядом с ней, то есть просто по наковальне, это служило Алеше сигналом к прекращению работы кувалдой.

Алеша опускал молот на землю и, опершись на его ручку, отдыхал, тяжело дыша всеми ребрами, словно загнанная лошадь. От обильного пота рубашка прилипала к телу, так что ребра были хорошо видны. Кузнец тем временем совал успевшее потемнеть железо в горн и говорил мне:

— Качай.

Теперь наступала моя очередь доводить железо до белого каления, а себя — до состояния загнанной лошади, после чего Алеша снова начинал «вдарять», а я отдыхал. Такое разделение труда и отдыха было, безусловно, необходимо, так как если бы Алеше самому приходилось и раздувать горн и работать молотом, он бы просто не выдержал. Недаром говорится: «Куй железо, пока горячо». И Алеша ковал, пока оно было горячо, я же разогревал, пока оно не успевало растерять остатки тепла. В результате мы оба выматывались. К счастью, в нашей работе часто бывали спасительные перерывы, когда кому-нибудь из клиентов кузнеца требовалось подковать лошадь, починить колесо или что-нибудь еще. В таких случаях все работы по изготовлению нашей телеги откладывались, и мы с Алешей получали возможность отдохнуть.

Алеша был высокий, почти на голову выше меня... я хотел сказать — парень или юноша, но скажу лучше — мальчик, каким он остался в моей памяти. Наверно, он был годом старше меня, но очень худой (я тоже, нужно сказать, был не толстый). Лицо его поражало бледностью, без какого-либо следа загара

или румянца на щеках. Глаза сидели глубоко, и от этого он казался неприветливым, суровым. Я ни разу не видел, чтоб он улыбался. К тому же он постоянно молчал. Отец его тоже не отличался многословием. Весь лексикон его, как мне показалось, состоял из двух фраз. Первая: «Алеша, вдарь», вторая: «Качай». С первой фразой он обращался к сыну, со второй — ко мне. Что же касается Алеши, я не помню, чтоб он сказал мне хоть слово. Он все делал молча, с какой-то сосредоточенной, напряженной, тупой угрюмостью. Мне начинало казаться, что он отупел от тяжелой работы, к которой отец начал приучать его с малых лет, и вырос ограниченным, недоразвитым, дефективным, кем-то вроде дегенерата или, как теперь говорят, некоммуникабельным, что ли.

Когда у нас получался перерыв в работе, он не принимался болтать о чем-нибудь, как другие ребята, а выходил за дверь, садился на низенькой лавочке, стоявшей у стены кузницы, и молча смотрел на зеленую лужайку, пестревшую полевыми цветами, на лесную опушку, на небо. Постепенно дыхание его становилось менее глубоким и более ровным, напряженное выражение лица сменялось спокойным, он даже иногда бросал взгляд в мою сторону, если я сидел рядом, и мне казалось, он вот-вот заговорит, но он только молча вздыхал и снова с каким-то непонятным для меня интересом разглядывал и траву, и деревья, и небо, словно видел все это впервые. Я не решался заговорить с ним: думал, он сердится на меня за то, что ему приходится делать для нас телегу.

Основная задача кузнеца заключалась в том, чтоб выковать переднюю и заднюю оси телеги. Для этого надо было как бы расплющить, растянуть в длину два железный бруска так, чтобы в средней части, где оси крепятся к телеге, они имели прямоугольное сечение, а по краям, где надевают колеса, были круглые. Все это достигалось путем горячей обработки железа, то есть посредством битья по раскаленному куску железа молотом. В теперешние времена, если понадобится подобного рода работа, используют паровой или электрический молот, для раздувания пламени в горне включают электромотор, тогда же вся эта горячая обработка производилась исключительно при помощи мускульной силы.

Однако все эти мучения с горячей обработкой были лишь цветочки. Ягодки появились позже, когда началась так называемая холодная обработка. Вот тогда-то я и узнал, как говорится, почем фунт лиха. Для того чтобы колеса не соскочили с телеги, их надо было закреплять гайками. Для этого на осях и

внутри гаек надо было делать винтовую нарезку. Чтоб сделать нарезку, ось укреплялась в вертикальном положении в тисках, и дальнейшая обработка велась при помощи инструмента, известного в технике под названием прибора для нарезки винтов вручную. Этот прибор представлял собой как бы две соединенные железные рукоятки, или два рычага, между которыми было утолщение с четырехугольным отверстием. В это отверстие вставлялись плашки, то есть режущие детали из твердой стали с винтообразными выступами. Когда плашки навинчивались с помощью рычагов на ось, они как бы снимали с металла стружку, оставляя на оси винтообразную бороздку. При первом прокручивании эти бороздки были неглубокие, потом плашки в приборе менялись на такие, которые оставляли на оси более глубокие следы... и так до тех пор, пока не получалась хорошая, полноценная нарезка.

Нарезку как гаек, так и осей приходилось делать по холодному, то есть не размягченному накаливанием металлу, так как плашки не должны были нагреваться, иначе они быстро затупились бы и пришли в негодность. Снимать же стружку с холодного металла было чертовски трудно. Мы с Алешей действовали в четыре руки. В то время как он толкал рычаг с одной стороны, я толкал другой рычаг с другой стороны, в результате чего плашки навинчивались на ось. Когда вся эта планетарная система поворачивалась на сто восемьдесят градусов, я перехватывал Алешин рычаг, а он мой, и вращение продолжалось до тех пор, пока мы оба в изнеможении не падали грудью на рычаги (каждый со своей стороны) и повисали в таком положении, стараясь отдышаться. Усталость по временам была такая, что дыхание перехватывало в груди и становилось тошно.

Меня удивляло, что Алеша, который так ловко орудовал пудовым молотом, уставал на этой нарезке не меньше, чем я. Постепенно я понял, что у него сил было не больше, чем у меня, с молотом же он управлялся ловко лишь потому, что приобрел сноровку, но и это, как видно, тоже доставалось ему нелегко.

И вот однажды, прокручивая очередную плашку, мы оба, выбившись из сил, в одно и тоже время упали на рычаги и бесильно повисли на них, еле переводя дух от усталости. И я, взглянув мельком на Алешу, заметил, что и он в это же время взглянул на меня. Наши глаза встретились. И Алеша при этом как-то не то утвердительно, не то отрицательно качнул головой, и в его глазах я увидел что-то глубоко осмысленное, глубоко

понимающее. Он как бы выразил мне сочувствие и в то же время высказал жалобу, прося сочувствия у меня. Этот взгляд сказал мне больше, чем все слова, которые он мог бы произнести.

И я увидел, что он вовсе не оступел от тяжелой работы, а мог чувствовать все, как и я, как и все остальные люди.

Во мне росло неприязненное чувство к его отцу. Все знали, что он давал за проценты под заклад деньги, то есть занимался ростовщичеством. Если ему вовремя не возвращали долг, он продавал взятую в заклад вещь с выгодой для себя. Таким образом, деньги у него имелись, и он мог нанять себе помощника или молотобойца, без которого в кузнечном деле не обойтись. Но если в царское время он мог взять молотобойца в качестве ученика, который работал бы за харчи, то есть за пропитание, то теперь, по советским законам, он должен был платить ему положенную зарплату. А ему расставаться с деньгами не хотелось, и он фактически эксплуатировал своего сына.

Так я думал. В то время я читал книжки по политэкономии, по истории революционного движения. В моем воображении этот кузнец-ростовщик представлялся мне в образе кулака-миroeда или капиталистической гидры, а мы с Алешей были пролетариат и могли сделать революцию. Но революция уже была сделана без нас, так что нам оставалось помалкивать и работать. В общем, этот кузнец был жадина и эксплуататор. Он, наверно, и меня заставил бы ковать железо, если б не боялся, что из-за неопытности я трахну кувалдой не по железу, а ему по рукам, так что он никогда в жизни уже больше ничего не сможет ими хватать.

Кроме осей и шкворня, мы наковали с Алешей разных болтов и гаек, сделали на них нарезки, наготовили скоб для крепления частей, разных дужек, втулок, крючьев, колец — и всё это молча. Однажды я пришел в кузницу, но Алеши там не было. Он был во дворе, на крыльце дома, где они жили, и разговаривал с матерью. Она посылала его не то в магазин, не то на рынок, а он отвечал, что все понял, что пойдет и все сделает и все принесет. В его голосе слышалась радость. Должно быть, радовался, что можно куда-то пойти, вместо того чтоб торчать в этой осточертевшей кузне. И он щебетал, словно вырвавшаяся на свободу птица.

Я впервые слышал, как он говорил! И я почему-то очень обрадовался этому. Незаметно для самого себя я успел привыкаться к нему и чувствовал, что мы с ним друзья, хотя так и не сказали друг другу ни слова. Никогда не слышал, чтоб где-нибудь на свете были еще двое таких вот друзей.

Не было железа для изготовления шин, и постройку телеги пришлось приостановить. Кстати, уже давно нужно было собрать урожай картошки, о которой я перестал думать из-за всех этих кузнечных дел. В первый же свободный день мы с братом отправились на огород с лопатами и мешками. Прихватили с собой также и малышей и коня Ваньку в качестве вьючного животного для перевозки или, может быть, вернее сказать, для переноски мешков с картошкой домой.

Когда мы пришли на огород, то первое, что привлекло мое внимание, была кучка песка, которую мы с братом выгребли из колодца. Я заметил, что Павлушка перехватил мой взгляд и как-то внутренне, про себя, усмехнулся. Я сразу понял, над чем он смеется. С тех пор как я заболел этой, как он называл, золотой лихорадкой и побродил с тазиком для промывки по берегам реки, у меня выработалось что-то вроде условного рефлекса на песок. Если я видел белеющий где-нибудь песок, то ли на пляже, то ли на железнодорожной насыпи, или мне просто на глаза попадалась песчаная куча, меня так и тянуло взять тазик и попробовать промывать этот песок: вдруг там обнаружатся золотые крупинки.

Я увидел, что брат угадал мою очередную дурацкую мысль. После этого я уже старался даже не глядеть больше в сторону колодца.

Целый день мы провозились с уборкой картошки, а вечером, когда все уже легли спать, я дал волю своей фантазии, и мне вдруг стало казаться, что моя дурацкая мысль не такая уж дурацкая. Если я пробовал промывать песок вдоль всех берегов реки, то можно было промыть и тот, который мы вытащили из колодца. Меня охватила какая-то непонятная уверенность, что там есть золото. Эта мысль так взволновала меня, что я долго не мог уснуть. Какое-то нетерпение охватило меня. Хотелось тут же вскочить и бежать к колодцу с тазиком для промывки песка.

Постепенно я, однако же, успокоился. Или сон меня одолел. Сейчас я уже в точности не могу вспомнить. А наутро проснулся поздно да еще решил поваляться в постели, поскольку, к величайшему моему удовольствию, не надо было идти к кузнецу. О своем намерении промыть песок я даже забыл и, только после того как позавтракал, вспомнил, подумав с какой-то самоиронией: «Что за чушь может прийти в голову, когда размечтаешься!» Вскоре все же я пришел к мысли, что, воз-

можно, это не такая уж чушь, а еще через небольшой промежуток времени я и вовсе забеспокоился. Мне начали лезть в голову мысли, что, пока я здесь прохлаждаюсь, кто-нибудь из соседей возьмет этот песок для какой-нибудь своей надобности: ну, хотя бы посыпать дорожки или употребить для приготовления штукатурки, чтобы обмазать стены.

Не прошло и пяти минут, как я уже лихорадочно искал свой тазик, который куда-то запропастился. Брата не было дома, и я подумал, что он, должно быть, куда-нибудь ушел писать свои этюды. Я решил поискать в сарае и, выйдя во двор, неожиданно увидел брата бегущим из-за железнодорожной насыпи к дому. Лицо его было встревожено. От быстрого бега он ничего не мог сказать, а только молча протягивал мне тазик, который держал в руках. Только теперь, заметив у него свой тазик, я понял, что произошло нечто непоправимое.

— Кучу украли? — спросил я испуганно.

— Какую кучу? — с недоумением спросил он.

— Ну, песок!

— А! — махнул он рукой. — Я золото нашел. По-моему...

— Какое золото?

— Ну, какое золото бывает, — пожал он плечами.

— Где же оно?

— А вот! — И он протянул мне тазик, который держал в обеих руках.

На какой-то момент у меня мелькнула мысль, что он спятил с ума.

— Где же золото?

— Ну, в тазу.

— Так он же пустой!

— А ты хотел, чтоб был полный? Это никакой дурак, я думаю, не отказался бы!

Я взял у него тазик и внимательно осмотрел. На дне было с десяток темных песчинок.

Брат сказал:

— Ты химик. Ты можешь определить, золото это или, может быть, какая-нибудь мура?

Взяв стеклянную пробирку, я осторожно собрал в нее песчинки и принялся разглядывать их в увеличительное стекло. Они отсвечивали металлическим блеском.

— Где ты это нашел? — спросил я.

— Ну, в песке.

— В каком песке?

— Ну, в куче, которую мы из колодца вытащили.

- Ты всю кучу промыл?
- Нет, я только попробовал. Там еще много, наверно.
- Тогда надо бежать,— говорю.
- Куда?
- Промывать песок. Куда же еще!
- А анализ не надо делать?
- Анализ,— говорю,— потом. Сейчас надо бежать, пока не растащили кучу.
- Кто же ее растащит?
- Ну, мало ли кто. Может быть, кто-нибудь видел, как ты мчался как сумасшедший.

Теперь мы уже как два сумасшедших побежали с тазиком обратно к колодцу. К моей радости, куча оказалась на месте. Бросив в тазик пригоршни две песку и наполнив его до половины водой, я принялся усиленно встряхивать тазик круговым движением и, когда вода как следует замутилась, выплеснул ее вместе с песком. На дне тазика остался как бы мазок желтого цвета.

Золото! Это было, безусловно, золото. Все происходило, как в прочитанных мной рассказах про золотоискателей. Собрав со дна таза золотые песчинки, образовавшие этот живописный мазок, в пробирку, я снова наполнил его песком и водой. Брат вырвал у меня таз из рук. Принялся встряхивать. Выплеснул. Что-то неудачно у него получилось. Мазка не было. С трудом мы нашли на дне три-четыре песчинки.

— На́, болтай лучше ты, у тебя больше опыта,— сказал брат, отдавая мне таз.

Я принялся промывать песок. Дело шло с переменным успехом. Иногда получался вполне заметный мазок, как и в первый раз. В другой раз вся добыча ограничивалась одной или двумя песчинками. Случалось и так, что совсем ничего не было. Видно, распределение золота в песке имело неравномерный характер. И все же, когда весь песок был промыт, пробирка оказалась почти наполовину наполнена темным, непросвечивающимся песком. Она казалась тяжелой, словно в нее насыпали свинцовой дроби.

— Это, несомненно, металл,— сказал брат,— но какой? Может быть, это вовсе и не золото?

— Вот придем домой и установим точно,— ответил я.

— А как мы установим?

— Увидишь.

Дома я занялся химическими опытами впервые с тех пор, как мы вернулись в Ирпень из Киева. Укрепив на специальной

деревянной подставке три пробирки, я бросил в каждую из них по несколько крупинок добытого нами металла, после чего в одну пробирку налил крепкой соляной кислоты, во вторую пробирку — серной, в третью — азотной.

Брат впервые с интересом отнесся к химии.

— Это что ты туда за вонючие жидкости льешь? — спросил он.

— Это не вонючие жидкости, — авторитетно ответил я, — а серная, соляная и азотная кислоты. Если крупинки хоть в одной из этих кислот растворятся, то это не золото.

— А если не растворятся?

— Ну, тогда золото, — развел я руками.

— А если, допустим, в серной растворятся, а в соляной и азотной не растворятся? — продолжал спрашивать брат.

— Тогда не золото, — объяснил я. — Золото не растворяется ни в серной, ни в соляной, ни в азотной кислотах.

— А долго надо ждать?

— Ну, я не знаю. Я ведь с золотом никогда не имел дела. Подождем до завтра.

— Это до завтра ждать! — ужаснулся брат.

— Зато уж наверняка будет, — утешил я его.

— Отцу ничего говорить не надо. Ему не понравится, что мы раскрыли его тайну, — предупредил брат.

— А он, думаешь, знает, что в колодце золото?

— Почему же он, по-твоему, про какую-то колодезную тайну болтал? Ясно, знает, — сказал брат. — Должно быть, когда колодец копали, он попробовал промывать песок и нашел золото. Он ведь видел, как промывают в Сибири золото, когда на японскую войну ходил.

— Да, — вспомнил я. — Он ведь и сам там нашел золото, которое во флаконе.

— Верь ты ему! — с презрением сказал брат. — Это он не там нашел, а здесь.

— Где здесь?

— В колодце. Где же еще?

— Почему же он говорит, что в Сибири?

— А что он, дурак, чтоб говорить, что не в Сибири? Станет говорить, что у него в колодце золото, чтоб каждый дурак лазил к нему в колодец за золотом! Он не дурак!

— Значит, то золото, которое у него во флаконе, вовсе не из Сибири, а из нашего же колодца?

— Ясно.

Крупинки между тем без всякого изменения лежали на

дне пробирок. Кислоты, по всей видимости, на них совершенно не действовали. У меня почти не оставалось сомнения, что наша находка — золото.

— А почему тебе пришло в голову там искать? — спросил я брата.

— Когда ты вчера посмотрел на песок, я сразу подумал, что ты подумал, что там золото. А вечером я лег спать да и думаю: вдруг там на самом деле золото? Ты уже везде искал, а там не искал. Должно же оно где-нибудь быть, думаю.

— Почему же ты мне не сказал?

— Я думал, ты спишь.

— А утром?

— Утром не хотел тебя будить. Ну, и думал, вдруг там никакого золота не окажется и ты будешь надо мной смеяться, скажешь: заболел золотой горячкой.

Он стал спрашивать, почему золото могло оказаться на такой глубине. Я объяснил, что золото находят по берегам рек, потому что вода размывает природные месторождения и уносит крупинки золота, которые оседают по берегам и на дне. Реки часто меняют русла. Старое русло может засыпать песком, на его месте может образоваться дюна, поэтому золотосносный слой может обнаружиться на глубине.

— Тогда надо поискать золото на участке там, где пониже. Колодец — на возвышенности, а мы пороемся в более низких местах. Там, может быть, только копни — тут же золото, — высказал предположение брат.

Поскольку исследуемые частички в пробирках не подверглись за ночь воздействию кислот, мы со следующего же дня принялись за геологические изыскания. Делалось это так. Снимался слой чернозема толщиной около метра, то есть, говоря проще, копалась яма глубиной с метр. Под слоем чернозема обнаруживался слой песка. Этот песок мы пробовали промывать и, не обнаружив в нем ни крупинки золота, начинали рыть яму в другом месте.

Через несколько дней у брата уже начались занятия в профшколе, и он сказал:

— Мы с тобой тут как дураки роемся, а может быть, это и не золото вовсе. Ты ведь не ювелир. Лучше я отнесу пробирку Апельцыну и узнаю точно.

— А если Апельцын спросит, где ты взял этот песок?

— Скажу, отец из Сибири привез.

На другой день, уезжая в Киев, брат захватил с собой пробирку с нашей добычей, а вечером вернулся в таком виде,

что я сразу и не узнал: в модном однобортном коверкотовом пиджаке, в таких же брюках-дудочках, то есть суживающихся книзу, по тогдашней моде; из-под брюк выглядывали наимоднейшие пестрые носки, на ногах — остроносые штиблеты из желтой кожи, на голове — модная фетровая шляпа, и еще на шее у него был узенький галстук-гудочек, какие только входили в моду. Кроме того, в руках у него было два больших свертка.

Увидев, что я на него воззрился, он подмигнул мне и приложил палец к губам, чтоб я помалкивал. Мать, конечно же, сразу обратила внимание на перемену в его костюме и спросила:

— Где это ты все взял?

— Купил.

— А деньги откуда?

— Картину продал.

— Какую картину?

— Ну, свою картину «Зимний пейзаж», — не моргнув глазом, ответил брат. — У нас в профшколе устроили выставку прошлогодних работ. Я еще весной дал для выставки этот пейзаж, и вот теперь его купил кто-то.

Мать только головой покачала. Я между тем развернул один из принесенных братом свертков, надеясь, что там костюм для меня. Но в свертке была аккуратно сложенная старая одежда брата. Зато в другом свертке оказался новенький модный непромокаемый плащ.

— Что же ты мне только плащ купил? — с обидой спросил я.

— Это не тебе. Это тоже мне, — сказал брат. — На тебя этот плащ велик будет.

Напялив на себя еще и этот плащ, он принялся вертеться в нем перед зеркалом, выпячивая грудь, как индийский петух.

— Сколько же тебе Апельцын заплатил за золото? — спросил я.

Брат назвал какую-то сумму.

— А сколько ты истратил?

— Все и истратил.

— Значит, тебе всё, а мне ничего! — говорю.

— За что же тебе? Золото ведь я нашел. Ты вон сколько искал и ничего не нашел, а я взял пошел и сразу нашел.

— Вот что это проклятое золото с людьми делает! — сказал я, саркастически усмехаясь. — Вместе работали, вместе копали, а как только золото попало в руки, сейчас же — мое!

— Ну чего ты ерепенишься? — сказал брат. — В следующий раз найдем — твое будет.

— А где его найдешь? Мы уже весь участок обыскали.

— Чудак! Из колодца достанем. Там много.

— Под каким же предлогом ты сейчас в колодец полезешь? Тогда огород поливать нужно было.

— Предлог найдем. Если в это время кто-нибудь из соседей придет за водой, скажем, что я часы уронил в колодец.

— А ты что, еще и часы купил? — удивился я.

— Нет, на часы не хватило денег. В следующий раз и часы можно будет купить.

— Нет уж, — говорю. — Сначала мне купим одежду. Я тоже не хочу оборванцем ходить.

Когда пришел отец, мать сказала:

— Глянь-ка, наш Павлушка как отличился. Картину с выставки у него купили.

— Да что ты? — удивился отец. — Ну-ка, ну-ка! Да ты только погляди на него! Красавец! Экипировался, значит! Это какую картину? «Зимний пейзаж», говоришь? Слушай, да ты везучий, я вижу! Талант! Деньгу зашиб своим трудом. Теперь я за тебя спокоен! Ты свою дорогу нашел в жизни. Я же говорю: искусство должно приносить пользу... художнику! Ха-ха-ха! Ну-ка, покажись, покажись! Дай я тебя поцелую, сыночек!

Брат вертелся перед ним в своем новом костюме, то надевал шляпу, то снимал, то плащ на себя напяливал, одним словом, выпендривался, если говорить на теперешнем языке, а отец все нахваливал его и повторял свою шуточку насчет того, что искусство должно приносить пользу художнику.

С тех пор отец при каждом подходящем случае не отказывал себе в удовольствии погордиться своим удачливым сыном и произносил уже известные монологи:

«Гляди-ка! Талант! «Зимний пейзаж»! Везучий! Деньгу зашиб! Шляпу надел! Обеспеченный кусок хлеба с маслом!..»

И так далее в этом же роде.

Когда же он являлся домой в особенно боевом настроении, он опять же затевал разговор на эту тему, но уже в другом тоне:

«Ты что думаешь, картину продал, так умнее батьки стал? Твой батька еще себя покажет! Шляпу надел! Плевал я на твою шляпу!..»

Словом, разговоров на эту тему хватило на целый год и даже больше.

На другой день мы с братом отправились к колодцу со всем своим золотопромышленным снаряжением и принялись

вычерпывать воду в быстром темпе в два ведра. На этот раз уже не брат, а я опустил в колодец и наполнял ведра песком. В общем, мы и на этот раз натаскали песка не меньше, чем в предыдущий, а когда стали промывать, не обнаружили в нем ни одной золотой крупинки... Ни одной! Растерявшись, мы подумали было, что это какое-то «ошибочное явление», как выразился брат, и промыли весь песок еще раз, однако с тем же отрицательным результатом.

После этого мы уже даже не знали, что думать, а так как оба очень устали, то уселись на край колодца, чтоб передохнуть. От этого, должно быть, колодец и «ухнул» (тоже выражение брата), то есть он не развалился, что тоже могло произойти, а как-то сразу опустился под нами и в одно мгновение стал вдвое ниже, чем был. От толчка мы оба чуть не полетели в колодец и скорей отскочили в сторону. Я почему-то вообразил, что началось землетрясение, и только потом догадался, что, поскольку мы подрыли основание колодезного сруба, он под действием собственной тяжести опустился вниз.

Уже вечерело. Собрав свой золотопромышленный инвентарь, мы ушли, опасаясь, как бы нас кто-нибудь не обвинил в том, что мы укоротили колодец чуть ли не на целый метр против нормы. По дороге домой брат сказал:

— Что за оказия! Почему в тот раз вон сколько золота оказалось, а на этот раз — шиш?

— Должно быть, золотоносный слой кончился,— высказал предположение я.

— Зачем же ему понадобилось так вдруг кончаться? Я понимаю, если бы мы в первый раз побольше добыли, во второй — поменьше, а там и совсем ничего, это было бы понятно. А так непонятно что-то выходит!

— Это легко объяснить,— сказал я.— Если бы мы в первый раз вытащили одно ведро песка и сразу промыли, то было бы побольше, потом вытащили бы еще ведро — стало бы поменьше; в третьем ведре оказалось бы еще меньше, а в четвертом — совсем бы уж ни крупинки золота. А у нас как получилось? Мы вытащили сразу несколько ведер вместе со всем золотом, а теперь там наверняка ничего нет, хоть до центра земли копай.

— Мы не дураки, чтоб до центра земли,— сказал брат.— Теперь каждому дураку ясно, что надо в другом месте копать.

С ЕДИНОЛИЧНИКАМИ

Брат, однако ж, не стал в тот раз продолжать свои поиски, так как уехал в Киев. Мне же вскоре снова пришлось отправиться к кузнецу, так как он раздобыл где-то железо и нужно было кончать дело с телегой. Дело это снова потянулось в том же темпе, то есть не спеша, поскольку постоянно перемежалось какой-нибудь посторонней работой.

Наконец телега была всё же сделана. Упряжь у нас была заранее куплена. Я запряг Ваньку (до этого я достаточно насмотрелся, как нужно запрягать лошадей) и впервые приехал домой на своей, на собственной или, как теперь, наверно, сказали бы, на личной телеге.

Вот!.. А на следующий день выпал снег. Началась зима. Мы поставили телегу под навес и стали думать, где раздобыть сани. Ясно было, что до конца зимы телега нам не понадобится.

Как доставали сани, кому их заказывали или купили готовыми, этого я почему-то не помню. Одно только помню: что в тот период у нас в доме усиленно склонялась пословица: «Готовь сани летом, а телегу зимой». Ждать все же лета, чтоб начать готовить сани по правилам, предписываемым народной мудростью, отец почему-то не захотел. В один прекрасный день сани (самые простые деревенские деревянные сани с деревянными полозьями) появились у нас во дворе. От этого, однако, течение нашей жизни никак не переменялось. Ванька по-прежнему стоял в сарае и жевал запасенное мною сено или хрупал овес, который отец ежевечерне привозил для него в мешке из города. Если отец привозил не овес, а отруби, он и от отрубей не отказывался. Все это он делал с таким сосредоточенным, серьезным видом, точно выполнял какую-то наинужнейшую, ответственнойшую работу.

Выезжать работать на лошади отец никак не мог собраться, поскольку возчикам, возившим бревна из леса на станцию, деньги выплачивались не ежедневно, а раз в две недели. Отцу же ежедневно нужно было давать матери на расходы, а тут еще прибавились траты на корм для коня. Двухнедельного запаса денег у отца никогда не было, зато не было и недостатка в пословицах, оправдывавших создавшееся противоречие между имевшимися возможностями и препятствиями к их использованию.

Убедившись, что отец не может взяться за эту работу, я задумал взяться за нее сам. Дело, в общем-то, казалось мне, было нехитрое. Присмотрюсь, что делают другие возчики,

и сам буду делать то же, решил я. Одевшись утречком потеплей, я запряг Ваньку в сани и поехал в лес. Дорога была накатанная, сани скользили по ней хорошо. В лесу навстречу мне попадались возчики с бревнами. Эти возчики служили мне ориентирами, по которым я добрался в конце концов до делянки, где, по всей видимости, происходили недавно порубки. На занесенной снегом полянке чернели в разных местах штабеля бревен. У одного из штабелей кто-то из возчиков нагружал свои сани. Я тоже подрулил (на этот раз уже, однако ж, не по дороге, а по снежной целине) к штабелю, который был поближе, и стал накладывать на сани бревна, выбирая не самые тяжелые, а те, что были мне под силу поднять. Нагрузив сани так, чтоб не получилось слишком много, но и не так, чтоб уж слишком мало, я уселся на бревна и стал погонять коня. Ванька дернулся, по привычке, вперед, но, почувствовав, что на этот раз ему придется тащить уже не пустые сани, остановился и больше не двигался с места. Чтоб облегчить тяжесть, я слез с саней, но этим не пробудил сознательности коня. Не помогло также и то, что я сбросил часть бревен, уменьшив поклажу чуть ли не наполовину. Постепенно я убедился, что толстая шерсть, словно слой войлока, защищала коня от ударов и ему, в сущности, было безразлично, стегают его кнутом или не стегают. В ответ на сыпавшиеся удары он, как говорится, даже ухом не вел.

Что сделаешь? Я выломал из орешника прут или, если сказать точнее, палку и, понукая коня, треснул его хорошенечко этой палкой. Почувствовав, что тут уже что-то новое, Ванька задвигал ушами. После второго удара он вдобавок еще завертел глазами и, уловив боковым зрением, что я снова замахнулся палкой, рванулся вперед, словно стараясь убежать от удара. Сани двинулись. Размахивая палкой, я ухватился рукой за оглоблю, стараясь помочь Ваньке вытащить сани из снежной целины на дорогу.

Здесь мы остановились, чтоб отдохнуть, перед тем как тронуться в дальний путь. Когда же я решил, что пора трогаться, опять возник конфликт, для разрешения которого, в конце концов, снова потребовался такой убедительный аргумент, как палка. К этой веской аргументации приходилось прибегать каждый раз после остановки, а останавливаться приходилось часто, чтоб дать коню передохнуть.

Как-никак мы все же добрались до железнодорожной станции. Здесь приемщик указал мне место, ограниченное двумя парами вбитых в землю шестов, где я должен был выложить в штабель привозимые мной из леса дрова с таким расчетом,

чтоб получалась кубическая сажень. Для большей наглядности скажу, что штабель должен был получиться девять аршин в длину, три аршина в высоту, ширина же его определялась длиной бревна (аршин — это старая мера длины, равная семи-десяти одному сантиметру). Когда я сгрузил привезенные мной бревна, то увидел, как много понадобится еще труда, чтоб заполнить отпущенное мне пространство. Подумать только: девять аршин, то есть больше шести метров в длину и больше двух метров в высоту!

Я утешил себя тем, что начало все же положено, и отправился налегке домой. День зимний короток, больше одной ездки все равно совершить нельзя. К тому же надо было обдумать все, с чем я встретился за день. Я заметил, что все возчики одеты в овчинные тулупы, шапки-ушанки, меховые рукавицы и сапоги. На мне же вместо тулупа было довольно легкое пальтецо, хотя и на вате, но вполне доступное для всех ветров. Шапка такая, что при среднем морозце уже приходилось хвататься за уши. Вместо рукавиц на руках интеллигентские перчатки, не имевшие привычки водить знакомство с какими-то там лесными бревнами. Главное же, на ногах не сапоги, а ботинки. Снега в лесу по колено. Как только сойдешь с дороги, снег попадает под брюки, залезает в ботинки, в носки, а ногам и без того холодно.

Обдумав все, я решил объявить войну неблагоприятным метеорологическим условиям и внести некоторые коррективы в свою амуницию. Попросил мать сшить мне самые примитивные, но теплые рукавицы на вате. Взял старую отцовскую мохнатую папаху, сохранившуюся у него со времен русско-японской войны. Разорвал на части мешок и полученной мешковиной обмотал на следующее утро ноги поверх ботинок. Чтоб мешковина не размоталась, я привязал ее крепко веревками и брюки снизу завязал тоже веревочками, чтоб под них не забирался снег. В такой обуви, в мохнатой бараньей шапке и огромных ватных варежках на руках я имел вид, представлявший собой нечто среднее между турецким башибузуком и Микки-Маусом.

Своим нарядом я поставил было в тупик не избалованных обилием развлечений возчиков, которые сразу не могли даже решить, что лучше избрать объектом для своих шуток: мой вид или моего конягу. Все же лошадиная тема, видимо, была им ближе по духу, поэтому они оставили в покое мой вид и продолжали отпускать шуточки по адресу бедного Ваньки. С этими шуточками я познакомился в первый же день, и они

повторялись в дальнейшем почти без вариаций. Обычно кто-нибудь из возчиков спрашивал, кормлю ли я чем-нибудь своего коня или он живет на пище святого Антония; или кто-нибудь с самым серьезным видом делал мне внушение, что коня ежедневно надо кормить, потому, ежели его не кормить, он может подохнуть; или кто-нибудь начинал убеждать меня, что конь мой благородных кровей и его надо кормить не сеном или овсом, а кашей, лучше всего манной, а поить надо «какавой».

Особенно донимал меня своими насмешками один кичливый и язвительный возчик, которого звали Ониськой. У него был тоненький, ехидно загнутый крючком, ястребиный нос и скудная бороденка, которая никак не хотела расти на щеках, а пробибалась только на подбородке, представляя собой просвечивающуюся насквозь поросль чего-то среднего между свиной щетиной и собачьей шерстью рыжевато-го цвета. Он, по-видимому, дорожил своей «бородой», то и дело поглаживал ее рукой, словно желая проверить, не разрослась ли она погуще, о чем, надо полагать, втайне мечтал. Помимо этой смехотворной псевдорастительности на лице и ястребиного носа, он был обладателем пары лошадок, небольших, но очень ладненьких, гладеньких, старательных и смышленных. Они делали всё без всякого понукания, сами знали, когда надо тронуться, когда остановиться и куда свернуть. Словно сговорившись между собой, они дружно поднапрягались, когда нужно было вытащить тяжело груженные сани из снежного завала или преодолеть крутой подъем. Хозяин только суетился около них и начинал подбадривать, когда дело и без него было сделано. Создавалось впечатление, что не лошадки при нем, а он при лошадках, и лошадки это хорошо понимали, только помалкивали.

Он, однако, очень гордился тем, что у него такие добрые кони, тем, что на нем такой ладный, теплый тулуп, и меховые рукавицы, и крепкие юфтевые сапоги. Он самодовольно похлопывал кнутовищем по голенищам своих сапог, с превосходством поглядывал на моего Буцефала, и справедливости ради надо сказать, что, с его точки зрения, ему было чем гордиться: он был, что называется, справный мужик... но вредный. Во вредности его характера я убедился при обстоятельствах, о которых сейчас расскажу.

Уже в первый или во второй день своей работы я сделал открытие, что полозья груженных саней при остановках примерзают к накатанной дороге и, чтоб отодрать их в таких случаях, коню приходится затрачивать слишком много усилий. Поразмыслив как следует, я придумал хороший метод. В сани я обычно

клат на всякий случай запасную оглоблю. Перед тем как трогаться после остановки в путь, я подсовывал конец оглобли под сани и, действуя оглоблей как рычагом, встряхивал сани, чтоб примерзшие полозья отодрались от дороги, после чего тут же начинал погонять коня. В результате проведенной рационализации коню легче было сдвинуть груженные сани, и дело обходилось без излишней затраты сил.

Однажды, встряхивая при помощи своего оглобельного метода сани, я заметил, что находившийся неподалеку Онисько с явно выраженным любопытством наблюдает за моими действиями. Проследив за всей этой оглобельной процедурой до конца, он только головой покрутил, пряча ехидную ухмылку в рукавицу и делая вид, что приглаживает свою несчастную бороденку.

Впоследствии я заметил, что возчики, трогая с места, обычно дергают правую или левую вожжу, заставляя коня немножечко повернуть сани. При повороте примерзшие полозья легко отдираются от дороги, и коню уже не составляет особенного труда стронуть сани с места. Я тут же освоил этот прием, и мне вдруг стало понятно, над чем смеялся в тот раз Онисько. Он догадался, для чего мне понадобились все эти сложные манипуляции с оглоблей, да не захотел сказать, что есть более простой способ, о котором каждый деревенский мальчишка знает. В общем, вредненький мужичонка был! Единоличник, если сказать одним словом. Тогда колхозов и колхозников еще нигде не было. А с тех пор как появились колхозы, таких мужичков с подобного рода ехидной единоличностной психологией значительно поубавилось. Работая сообща, люди как-то приучились и более сочувственно относиться друг к другу. Теперь небось кто-нибудь и не поверит в возможность существования таких людей. Но они все же существовали. Даю честное слово! Сам видел.

Постепенно я кое-чему учился, да вся беда заключалась в том, что конь мой был старый, изъездившийся. Если такой справный мужик, как Онисько, мог увезти на своей паре добрых коньков за один раз чуть ли не целую четверть сажени бревен, то я никак не мог прихватить больше восьмушки. Да и восьмушки, видно, не выходило, потому что я возил да возил уж и не помню сколько дней, а никак не мог выложить полную сажень. Приемщик приходил, приставлял свою мерку и каждый раз говорил, что все еще не хватает. Я не сразу и сообразил, что мой злосчастный, медленно растущий штабель представлял собой то, что теперь принято называть «бесхозный объект»,

то есть нечто вроде кормушки для любителей попользоваться тем, что «плохо лежит». Каждый возчик спешил поскорей выложить свою сажень, сдать ее приемщику и уже больше не думать, что кто-нибудь может стащить из его штабеля хоть бревно. Если какому-нибудь возчику не доставало нескольких бревен, чтоб закончить свою сажень, он без всяких церемоний брал недостающие бревна из моего штабеля, перекладывал в свой, сдавал приемщику и шел получать денежки.

Мамочка, как говорится, рóдная (с ударением на первом слоге), что со мной было, когда я установил эту истину! Подумать только, что это делали не какие-нибудь голодранцы, не человеческое отребье, не расшалившиеся мальчишки, таскающие яблоки из чужого сада, а вполне взрослые, серьезные, рассудительные, справные мужики, каждый из которых годился мне в отцы и мог чему-нибудь поучить. Да, черта с два они научили бы чему-нибудь хорошему! Первой моей мыслью было — натаскать из их штабелей бревен, да я тут же оставил эту затею, так как совсем недавно слышал, как один такой справный мужичок говорил другому справному мужичку:

«Если кто возьмет у меня хоть бревно, то так хрясну по черепу, что мозги вон. И ничего мне за это не будет, потому как — моя собственность. Имею полную праву».

Они и на самом деле были убеждены, что имеют право убить вора. Так испокон веку деревенские мужики обычно самосудом расправлялись с конокрадами. Убьют — и концы в воду. В то же время для себя они не считали зазорным взять что плохо лежит. Но взять у такого же справного мужика, как он сам, — это одно (это уже негоже, вроде как несолидно), а взять у мальчишки, который в ответ не мог «хряснуть» как следует, — это и сам бог велел, это уже и не воровство вовсе, это только дурак не сделает.

Вот такая была философия!

К тому времени я измотался так, что впору было все бросить, да жаль было всей проделанной работы. И деньги были нужны. К тому же до полной меры не хватало всего лишь какого-нибудь десятка бревен. Нужно было сделать еще рывок, чтоб закончить эту затянувшуюся «одиссею». Денек для этого рывка выдался морозный — не по моей худой обуви и одежке. Ехать же пришлось глубоко в лес, потому что с ближних делянок все бревна уже порасхватили проворные возчики. Наконец я отыскал нужную делянку и нагрузил сани. Нагрузил я, разумеется, не десятком бревен, рассчитывая, что если вчера не доставало десятка, то на сегодня может создаться такое по-

ложение, что будет недоставать и двух десятков. Словом, я положил на сани свою обычную норму, по силам моему коню.

Короткий зимний день между тем подошел к концу. Красное декабрьское солнце клонилось к закату, когда я тронулся в обратный путь. Времени у меня оставалось в обрез. В незнакомой мне части леса я сбился с дороги и поехал не в ту сторону, куда нужно. Ночь застала меня в лесу, и вскоре я понял, что заблудился. Мороз усилился. Я усердно скакал на ходу, стараясь согреть застывшие ноги. Конь, однако ж, уверенно шагал по дороге, и когда я выбрался наконец из леса, то увидел, что попал не к Севериновской улице, по которой ездил обычно, а на дорогу к Киевской улице. Ночь была лунная, и я сразу узнал знакомое место. Для езды с грузом этот путь не был удобен, так как здесь требовалось преодолеть крутой подъем. Выйдя из леса, дорога сразу ныряла вниз, как бы на дно оврага, а потом круто взбиралась вверх. Мы легонечко спустились с горки, а на горку, как я и ждал, конь уже не пошел. Нечего делать, я решил перевезти груз в два приема. Сбросил с саней половину бревен, и мы потащили с Ванькой первую часть груза на гору. Я говорю «мы», потому что я тоже тащил сани вместе с конем и вдобавок погонял его палкой. Наверху я опорожнил сани и, завернув коня, спустился за оставшимися внизу бревнами. Вторую половину мы втащили уже, мягко выражаясь, с меньшей резвостью, то есть останавливаясь чуть ли не через каждую дюжину шагов и растрачивая понапрасну силы, чтобы стронуть с места примерзшие сани.

Наконец мы вторично взобрались наверх, и я принялся нагружать перевезенные в первый раз бревна. Сил у меня уже оставалось мало, и каждое бревно казалось вдесятеро тяжелее обычного. От мороза, который забирал все круче, я буквально коченел. Руки мерзли. Пальцы на ногах сначала ныли от холода, потом как бы онемели. Я не ощущал уже, холодно им или тепло, просто не чувствовал, что они у меня есть. Когда же бревна были уложены, хитрый конь, догадавшись, как видно, что я снова увеличил нагрузку, решил объявить так называемую сидячую или, вернее было бы сказать, стоячую забастовку. То есть сколько я ни понукал его, сколько ни колотил палкой, он не двигался с места, решив, очевидно, более выгодным для себя терпеть побои, чем тащить тяжелые сани.

Мороз между тем не дремал. Я чувствовал, что у меня онемели уже не только пальцы на ногах, но целиком все ступни. Появилось ощущение, что я уже не хожу по земле, а как бы порхаю над ней, машинально переставляя ноги. Это необычное,

новое ощущение встревожило меня. Я огляделся по сторонам и не увидел ничего, где бы можно было укрыться от холода. Мне стало страшно. Не зная, что предпринять, я схватил оглоблю, встряхнул примерзшие сани и заодно стукнул оглоблей коня по крупу. Конь не то с удивлением, не то с упреком оглянулся на меня, но после второго удара уразумел, видно, что пора кончать «шутки», и, рванувшись вперед, потащил сани.

Да простит меня Общество покровительства животным! Я сам знаю, что поступил нехорошо. А разве хорошо колотить коней острыми шпорами? Разве хорошо ради одной только моды отрубать ни в чем неповинным собакам хвосты и уши? Разве хорошо резать ножом кур, коров, маленьких телят и цыплят, а потом есть их?.. Хорошо рассуждать, сидя дома, в тепле, а когда приходится туго, уж какие тут рассуждения!

До самой станции мы ехали не останавливаясь. Я топал рядом с санями, не чуя под собой ног (в буквальном смысле). На станции я быстро побросал привезенные бревна на свой штабель, поднял валявшуюся на снегу оглоблю, чтоб положить в сани. Ванька же вообразил, что я хочу огреть его еще раз, и бросился бежать с такой прытью, что я насилу догнал его. Домой он всю дорогу мчался бегом. Да и нечего было медлить.

Дома я налил из самовара в таз горячей воды и сунул в нее обмороженные ноги. Обе ступни были белые как бумага. Я принялся растирать их и разминать руками, стараясь восстановить кровообращение. Чувствительность постепенно возвратилась к ступням. Вместе с ней возвращалась и боль. Кончил я это дело, совершенно выбившись из сил, когда обе ноги покраснели от прилива крови. Я не знал, так ли я поступил, как следовало в подобных случаях, и сделал ли все, что надо. Ноги мои болели страшно, и это пугало меня. Боль, однако, постепенно утихла. Я лег в постель и уснул.

СТРАШНЫЙ СУД

И приснился мне страшный суд. Будто все звери собрались и судят меня. Прокурором, то есть обвинителем моим, на этом судебном процессе выступал Конь. Не потерпевший Ванька, а какой-то другой конь, вообще представитель всей конской породы. А адвокатом или защитником у меня был Осел. Не в переносном смысле осел, а в самом подлинном: то есть самый обыкновенный длинноухий осел. Это было коварство со стороны всей звериной братии — подсунуть мне такого умника в защит-

ники. Да уж ничего не поделаешь: поскольку тут распоряжались не люди, а звери, то и действовали они по своему звериному усмотрению.

— Он должен ответить за все,— сказал в своей речи мой обвинитель.— Это еще пустячки, когда оглоблей бьют. Думаете, коню хорошо, когда его колют острыми шпорами, чтоб он шибче скакал? А разве сладко приходится, когда клеймят каленым железом? Ведь так прижгут, что испечется кожа и шерсть потом уже не растет в этом месте всю жизнь.

— А это делается, чтоб тебя не украли,— вставил свое слово Осел.

— А ты, длинноухий, молчи, когда не спрашивают! Мне неважно, для чего это делают. Нельзя живую скотину жечь. Он должен ответить и за оглоблю, и за острые шпоры, и за железо каленое...

— А я вам, братцы, скажу, что хуже всего — в неволе сидеть,— сказал Медведь.— Ну, ты поймал меня. Ну, захотел подраться — ударь дубиной или оглоблей и отпусти в лес. А так, на всю жизнь в зверинец, в клетку... В клетке-то два шага вперед да два шага назад. Да ты лучше убей, чем вот так всю жизнь за решеткой держать! Раньше поймает цыган, проделает дырку в носу, вставит кольцо да и водит на цепи с оглоблей по ярмаркам — и то интеллигентнее было! Нет, пусть ответит за все: и за оглоблю, и за кольцо в носу, и за клетку.

— А волкам что за жизнь? — подхватил Волк.— Говорят, волков убивать надо, потому что они обижают бедных овечек. А сами-то что с овечками делают? Зарежут бедную да и съедят. Волк и то лучше. Он овцу съест, так хоть шкуру оставит, а человек и овцу съест, и шкуру на себя напялит. Это как называется? Волк во всем виноват?

— Это у них называется «лицемерие»,— объяснил Осел.

— За такое лицемерие убивать надо! — начала свою речь Лиса.— Нагонят народу человек сто. Флажков в лесу поставят. Через каждые десять шагов — охотник с ружьем. Выгонят лисичку из леса да и бах из ружья. Так хоть бы ради мяса. А то мясо это и не едят вовсе. Выбросят! А из шкуры горжетку сделают — как будто лисичка целая, даже глаза стеклянные вставят — и носят на шее. Это как называется?

— Это называется «мода»,— ответил всезнающий Осел.— А мода — все равно что закон.

— Варварство это, а не закон! За такой закон судить его без всякого снисхождения!

— А то еще люди бывают,— сказал Цыпленок.— Он тебе и курицу не зарежет, до такой степени интеллигентный, а курятину любит и шашлыки кушает. А цыпленка (он еще и на свете не пожил) и того слопаёт. Это как называется?

— А это у них называется «гуманизм»,— авторитетно сказал Осел.— Или, вернее сказать, «гурманизм»,— поправился он.— Не знаю точно.

Тут наступила очередь сказать свое слово Собаке.

— Собака, говорят, друг человека. А сами на цепь сажают. Ну, если я виновата, побей меня, разве я что скажу? А то так, без всякой вины, возьмут да и отрубят хвост, а уши обрежут. Если бы им еще для какой-нибудь пользы мой хвост был нужен. А то так просто. Что это?

— Эстетика,— коротко пояснил Осел.

— Да лучше меня оглоблей, чем такую эстетику! — недовольно проворчала Собака.

— За такую эстетику живьем глотать надо! — прошипел Крокодил.

— А это уже анархия! — парировал Осел.— Сегодня ты меня проглотил, а завтра я тебя. Что же будет?

— Дурень ты, дурень! Если я тебя проглочу сегодня, как же ты сможешь меня проглотить завтра?

Тут заговорили все сразу, весь звериный ареопаг: львы, тигры, слоны, олени, леопарды. Наконец судья зазвонил в колокольчик и обратился ко мне:

— Обвиняемый, признаешь ты себя виновным в том, что бил лошадь оглоблей?

Весь звериный ареопаг уставился на меня глазами. Казалось, как только слово вылетит из моего рта, все, как по команде, бросятся на меня. И, замирая от страха, я пробормотал немеющим языком:

— Признаю.

— Что ты можешь сказать в свое оправдание?

Голос пропал у меня, но язык еще нашел в себе силы сказать:

— Я хотел жить.

— Суд удаляется на совещание,— сказал судья.

От волнения я даже не разглядел, кто был судья и кто входил в состав суда. Скоро они вернулись, но я опять не разглядел или не запомнил, кто это: люди или какие-нибудь звери. Судья огласил приговор, состоявший в основном из какого-то бессмысленного набора слов, что-то вроде следующего:

«Приговор. Именем закона всех зверей. Принимая во внимание. Учитывая положение. Руководствуясь презумпцией закона всеобщего благоутробия. В согласии с согласованным согласовательным согласованием. Виновного считать виновным и приговорить к жизни. Приговор привести в исполнение. Осужденного отпустить на все четыре стороны и злобы на него не питать».

Пока я видел надвигавшуюся со всех сторон опасность, пока я ощущал необходимость бороться с ней, я как-то держался. Но как только мое существо осознало, что все кончилось и силы для борьбы не потребуются, я упал на землю, почувствовав страшную физическую слабость. Вместе с тем я ощутил, что моральные мои силы тоже иссякли. Слезы стали душить меня. Постепенно мое сознание возвращалось к действительности, и я начал догадываться, что лежу вовсе не на земле среди зверья, а в своей постели. Мать услышала мои всхлипывания и спросила:

— Что с тобой? Чего ты плачешь?

Я умолк и ничего не ответил, сделав вид, что заснул. Я не мог рассказать ей свой сон, так как нужно было бы признаться, что я бил Ваньку оглоблей. И я никогда никому за все эти долгие годы не признавался в том. Вот сейчас признаюсь впервые.

Проснувшись наутро, я быстро побежал на станцию. Я должен был опередить возчиков, пока они не вернулись из леса и не начали растаскивать мой штабель. Разыскав приемщика, я сдал ему выложенную мной сажень. На этот раз недостачи не было. Он выдал мне квитанцию, по которой я получил в кассе шестнадцать рублей, то есть столько, сколько полагалось за вывозку кубической сажени бревен.

Может быть, кто-нибудь думает, что я купил из этой своей первой получки матери цветов, как теперь советуют делать молодым людям, заработавшим свои первые деньги? Нет, я не купил матери цветов. Получка эта у меня была не первая. До этого я уже получал деньги на бетонном заводе, но и тогда я не купил матери цветов. Цветы во множестве росли вокруг. И никому из нас не нужны были цветы. А нужна нам была картошка. Та картошка, которую я вырастил на огороде, уже была съедена, и ее снова нужно было приносить с рынка. А в общем, я не помню, на что ушли эти деньги. Скорее всего, мы их проели.

Проделав весь этот лошадиный опыт, я убедился, что для отца не годится эта работа. Если бы он за нее и взялся, то не

смог бы заработать столько, чтоб прокормить семью. Но поскольку мне все-таки хотелось что-нибудь делать, поступить же куда-нибудь на работу не было никакой возможности как из-за безработицы, так и по причине моих недостаточных лет (тогда еще только появлялось кое-где фабрично-заводское ученичество — фабзавуч), то я и продолжал возить бревна на станцию.

Поскольку я уже постиг в то время индивидуалистический характер моих товарищей по работе, моих коллег, моих «братьев» по классу, их мелкотоварный предпринимательский беспардонный дух, то и поступал в соответствии с обстоятельствами. Ставил метки анилиновой краской на своих бревнах. Загонял в бревна с обратной стороны гвозди и привязывал верхние бревна к нижним проволокой, чтоб их не так просто можно было хапнуть и положить в свой штабель. В общем, как говорится: «С волками жить — по-волчьи выть». Я не хочу сказать, что в окружавших меня людях было одно только волчье. Это только так называемое присловье. Добывали они хлеб свой своим трудом. Но человеческое проявлялось у них, видно, только в более узком, семейном кругу или в каких-нибудь необычных ситуациях.

Однажды порвался у меня хомут, а шорника в Ирпене вообще не было. Пришлось отнести хомут в Романовку, где был шорник. И вот возвращался я с починенным хомутом из Романовки через лес, и попался мне навстречу Онисько, ехавший на своих жизнерадостных конягах порожняком за бревнами. Увидев меня пешим да еще с хомутом на плечах, он как-то растерянно приоткрыл рот. Остановив коней, он молча провожал меня взглядом, пока я проходил мимо его саней, и только потом уже в спину спросил:

— Что Ванька-то? Подох?

Я не сразу сообразил, что, увидев меня идущим из лесу с хомутом, он, естественно, мог подумать, что конь подох, поскольку по опыту своему деревенскому знал, что такой старый конь не мог прожить долго. И вот он, как и следовало ожидать, как это и бывает обычно с конями, свалился где-то в лесу, чтоб уже никогда больше не встать, я же, прихватив хомут, чтоб его не стащили, отправился доставать у кого-нибудь лошадь, чтоб привезти домой сани. Все это я сообразил в четверть секунды, то есть быстрее, чем об этом рассказываю здесь, и ответил со вздохом:

— Подох.

Онисько как-то испуганно дернул плечами и уставился на меня. Я же, остановившись, пристально смотрел ему прямо в

глаза, стараясь разглядеть, как подействовала на него эта новость. И на его обычно самодовольном, ехидно-насмешливом лице я увидел на этот раз что-то вроде смятения и выражения обыкновенного человеческого сочувствия и участия.

— Как же ты теперь будешь? А? — спросил он.

И в его голосе чувствовалась непривычная душевная теплота.

Я молча повернулся и пошел прочь. Я не ответил на его вопрос, радуясь, что на этот раз он не может посмеяться над моим конем, поупражняться в своем неглубокомысленном остроумии. Пройдя шагов двадцать, я обернулся и увидел, что он все еще смотрит мне вслед со скорбным выражением на лице. Поймав мой взгляд, он сокрушительно покачал головой и что-то пробормотал. Чудак, как видно, воображал, что в нашей семье погиб кормилец, каким обычно в крестьянском хозяйстве был конь. Ему даже не приходило, должно быть, в голову, что Ванька при всем его старании, при всех моих ухищрениях едва вырабатывал на корм самому себе.

Когда на следующий день Онисько увидел меня с Ванькой, запряженным в сани (с живым Ванькой), он только на секунду открыл в удивлении рот, словно хотел что-то сказать, да так и не сказал ни слова. С тех пор я уже не слышал от него ни одной насмешки, ни одной шуточки над моим злосчастным конем.

Так прошла вся зима. У меня была надежда, что летом конь перейдет на подножный корм: содержание его будет обходиться дешевле. Да летом и работать полегче, уж хотя бы потому, что теплей.

Весеннее солнце растопило снега. Дороги развезло, как говорится, ни на санях, ни на телеге. Но пока дороги не окрепли как следует, с Ванькой и на телеге выезжать было нельзя. Пришлось ему дать отпуск. Тем более, что из земли уже полезла травка. Обычно я оставлял дверь сарая, игравшего роль конюшни, открытой. Ванька сам выходил и отправлялся к опушке, расположенной у подножия пригорка роши щипать молодую травку. На ночь он возвращался в сарай, где в кормушке для него обычно было припасено угощение.

Однажды, проснувшись утром, я выглянул в окно и увидел, как Ванька вышел из двери сарая и остановился на самой вершине бугра, откуда ему хорошо были видны и железнодорожная насыпь с промчавшимся по ней стальным конем, и красивая чоколовская дача за насыпью, и прекрасный железнодорожный мост над прибрежными ивами, и чудесная

роща внизу с начинающими зеленеть молодыми листочками, и ясное голубое небо с белыми барашками облаков. Он оглядел все это и опустился на землю, подогнув под себя все четыре ноги. Потом лег на бок и...

Тот, кто первый сказал, что конь отбросил копыта, видел, как умирают кони.

Я УЗНАЮ ЕГО ПО ГЛАЗАМ

Шел 1926 год. Находившийся в Ирпене кирпичный завод все еще не восстановили, но километрах в десяти от Ирпеня, недалеко от деревни Яблонки, был другой кирпичный завод, который уже начал работать. Я задумал поступить на этот завод, но нужно было представить справку, что мне исполнилось восемнадцать лет. Поскольку восемнадцати лет мне еще не было, я решил прибегнуть к методу, который, по наивности, считал своим собственным изобретением и только впоследствии убедился, что метод это давно известен под названием простого арапства. Придя в поселковый Совет, я спросил у сидевшей за столом секретарши (довольно миловидной девушки):

— Можно мне получить справку, что мне восемнадцать лет?

Расчет у меня был такой: если секретарша начнет проверять по книгам и обнаружит, что мне нет еще восемнадцати, то я скажу, что вовсе и не утверждаю этого, а только спрашиваю, можно ли получить такую справку, если же нельзя, то я и не настаиваю. Спросить ведь не запрещается.

Девушка, однако, не стала рыться в книгах, а просто написала красивым почерком нужную мне справку и приляпала в надлежащем месте круглую фиолетовую печать, что было очень мило с ее стороны.

С этой справкой я отправился на следующее утро в заводоуправление, где мне сказали, чтоб я разыскал старшего рабочего, который бегал где-то по заводу, а он уж определит, какую мне дать работу. У работавших на заводе в то время было обыкновение подшутить над новичком, и, когда я спрашивал у кого-нибудь, где старший рабочий, меня посылали туда, где он как раз в это время и не мог находиться.

Пока я искал таким остроумным образом старшего рабочего, я успел немного приглядеться к работе всего огромного заводского организма как в отдельных частях, так и в целом. Все в этом организме начиналось с глинища, то есть с огромной расселины в земле, вроде оврага, на дне которого, словно

муравьи, копошились люди с лопатами и копали глину. Со дна глинища был проложен кверху монорельсовый путь, по которому, влекаемые стальным тросом, двигались вверх подвесные вагонетки, груженные глиной. Навстречу им по параллельному рельсу в глинище спускались порожние вагонетки.

Подвесная дорога, выбравшись на поверхность земли, поднималась на плоскую крышу деревянного строения, где было установлено в горизонтальном положении огромное металлическое колесо, которое, непрерывно вращаясь, тянуло трос с вагонетками. Как только груженная вагонетка попадала наверх, она автоматически отщеплялась от тянувшего ее троса и опрокидывалась. Глина из нее высыпалась. Находившийся тут же рабочий отвозил вагонетку по огибавшему вращающееся колесо рельсу и прицеплял ее к тросу с другой стороны, в результате чего порожняя вагонетка начинала двигаться обратно в глинище. Несколько рабочих смешивали лопатами непрерывно поступавшую глину с песком (откуда брался песок, я не успел разглядеть) и бросали эту смесь в четырехугольное воронкообразное отверстие в дощатом настиле. На мой вопрос, где старший рабочий, один из этих деятелей ткнул пальцем в сторону воронки, на дне которой вращались навстречу друг другу два железных барабана вроде катков, употреблявшихся при асфальтировании мостовых. Попадавшие в зазор между катками комья глины расплющивались и, проваливаясь вниз, исчезали бесследно.

— Если попадешь в эту воронку, то из тебя наделают кирпичей и фамилии не спросят. Понял? — сказал мне деятель.

Я ответил, что понял.

А старший рабочий был здесь как-то в прошлом году, да чуть не угодил в эту воронку. С тех пор сюда и не наведывался.

— Почему же меня послали сюда? — удивился я.

— А это ты спроси у того, кто послал.

Спустившись вниз, я снова оказался у строения, из широких дверей которого рабочие вывозили тачки с уложенными на них в два ряда кирпичами из сырой глины. Когда я наконец отыскал старшего рабочего, он сказал, чтоб я взял тачку и тоже возил кирпич.

Тачка — это такая тележка на одном колесе, которую возят, держа за ручки и толкая впереди себя. Обычно тачка снабжается чем-то вроде ящика, в который можно насыпать песок, землю, глину, мусор, вообще все, что нужно перевозить. Но в тачке для перевозки сырого кирпича вместо ящика были прилажены сверху две доски, на которые и укладывался кирпич. Доски

эти устанавливались над колесом с таким расчетом, чтоб они сохраняли горизонтальное положение во время движения, иначе кирпич мог с них свалиться. Центр тяжести нагруженной тачки находился, таким образом, значительно выше оси колеса, что создавало неустойчивое равновесие. При малейшей неосторожности тачка переворачивалась, кирпич падал и, шмякнувшись о землю, приобретал такую форму, при которой дальнейшая его обработка теряла всякую целесообразность: из него все равно уже ничего строить было нельзя. Впрочем, с этим явлением я познакомился несколько позже.

Начал я с того, что взял тачку из тех, которые в достаточном количестве валялись неподалеку от пресса (так называлось как самое помещение, так и находившаяся в нем машина для формовки сырого кирпича). С этой тачкой я направился туда же, куда направлялись другие рабочие с пустыми тачками, то есть к одному из прессов (а их было два). Конечно, я не с первого раза разобрался в устройстве этой машины, но оно заключалось в следующем. Сырая глина, пройдя между двумя вращавшимися под потолком помещения барабанами (их-то я видел на дне воронки вверху), падала вниз и проходила еще через две пары таких же барабанов или вальцов, благодаря чему хорошо разминалась и перемешивалась с песком, после чего попадала в подобие гигантской мясорубки, кончавшейся двумя выходившими в разные стороны мундштуками четырехугольной формы. Из такого мундштука глина вылезала в виде длинного четырехугольного бруска, который скользил по вращающимся валикам и резальному станку. Станок этот представлял собой металлическую тележку с такими же валиками внизу и с устройством в виде гильотины, посредством которой можно было отрезать от непрерывно вылезавшего из мясорубки глиняного бруска за один раз по три кирпича, сложенные торцом друг к другу. Ножи этой гильотины делались из прочной стальной проволоки и резали глину, словно масло. Отрезав тройку кирпичей, резчик движением рычага отводил тележку вперед, находившаяся по другую сторону станка съемщица брала отрезанные кирпичи и клала на тачку, которую подкатывал в это время к станку тачковоз. Как только тачка была полностью нагружена, тачковоз отбывал с нею, а на его место подкатывал свою тачку следующий тачковоз.

Все это сопровождалось невообразимым шумом. Пыхтела, стонала и ухала находившаяся в соседнем помещении паровая машина, вертевшая не только колесо, тащившее вагонетки из глинища, но и все остальное, что только могло вертеться:

валы, шкивы, шестерни, барабаны, приводные ремни, гигантские винты мясорубок, гнавшие со страшным напором глину. Вокруг все стучало, трещало, скрипело, визжало, лязгало, звякало, скрежетало, гремело и грохотало. Земля под ногами дергалась, корчилась. Воздух был наполнен вибрацией, от которой дрожали не только барабанные перепонки в ушах, но и все тело. Это был не просто шум, а нечно пугающее. Казалось, что все вокруг падает, валится, рушится, летит кувырком и вот-вот прихлопнет тебя.

Первое мое движение было бежать без оглядки от этого шума. Видя, однако, что никто никуда не бежит, что все ведут себя так, будто ничего особенного не происходит, я тоже старался не подать виду, что испугался, и, когда подошла моя очередь, подкатил тачку к станку, но поставил ее не то слишком далеко, не то слишком близко, а в общем, так, что съемщице неудобно было накладывать на нее кирпич. Съемщица (довольно молодая деревенская дивчина) принялась мне что-то кричать, но из-за шума я не мог разобрать ни слова. Только по выражению лица было видно, что она сердится. Поскольку глина из мундштука все же лезла не переставая, съемщица набросала на мою тачку кирпичи вкривь и вкось, так что тачку клонило набок и ее невозможно было везти.

Отъехав от пресса, я остановился, чтоб уложить поровней кирпичи, но это не понравилось следовавшему за мной тачковозу. Дело в том, что тачку нужно было везти не по земле, а по так называемым гонам. Эти гоны, представлявшие собой длинные железные полосы толщиной в полсантиметра и шириной в десять — пятнадцать сантиметров, были проложены от прессов к катрагам, то есть к длинным строениям в виде барачков, только без стен. Под этими катрагами работали укладчицы. Они снимали с тачек подвозимый тачковозами сырой кирпич и укладывали его столбиками для просушки. Работа была сдельная. За каждую привезенную тачку укладчица выдавала тачковозу жестяной жетончик. По этим жетончикам, сдаваемым в конце рабочего дня табельщику, подсчитывался дневной заработок тачковоза.

Поскольку сдельщина, никто из тачковозов (а всё это были молодые, здоровые парни из окрестных деревень) не желал терять времени даром. Пока я возился со своим кирпичом, за мной выстроилась целая вереница тачковозов. Вся эта вереница кричала, изрыгая всяческие проклятия по моему адресу. Я даже не сообразил сразу, что их, собственно, так обозлило. Наконец один из тачковозов, свернув в сторону, прокатил тачку

по грунту и въехал на гон уже впереди меня. Его примеру последовали и остальные тачковозы. Каждый из них, совершив объезд, бросал мне на прощание полный презрения взгляд.

Кое-как уложив кирпич, я тронулся в путь, но уехать далеко все же не смог. От какого-то неосторожного движения тачка перевернулась, поддев меня под ребро ручкой так, что я буквально повис на какое-то мгновение в воздухе. Весь кирпич полетел на землю, превратившись в бесформенную грудку глины. А что удивительного, если вес кирпича на тачке более чем втрое превышал мой собственный вес! При таких обстоятельствах, пожалуй, и лошадь не справилась бы...

Дело, однако, было не в силе и не в весе, а в отсутствии сноровки, навыка. Год спустя я работал тачковозом на ирпенском заводе (он уже был восстановлен в то время) и вполне свободно справлялся с тачкой, наложив кирпич не в один ряд, как было принято, а в два и даже три ряда. Но тогда, в первый день, у меня не было никакого навыка, я растрачивал понапрасну силы, стараясь покрепче сжимать ручки тачки, колесо то и дело съезжало с гона, я старался въехать на него обратно с разбега, что не всегда удавалось, и часто кончалось тем, что тачка опрокидывалась. На меня со всех сторон сыпались проклятия, насмешки, ругань. Я всем мешал...

Для чего я говорю здесь об этом? Какой тут, так сказать, авторский замысел? Какая мораль?

Знаю: многие сейчас упрощенно воображают, что, как только произошла революция, как только установилась Советская власть, все люди сразу, как по сигналу, стали такими хорошими, какими мы их видим теперь, характеры их сразу переменились, все преисполнилось чуткости, внимания и уважения друг к другу. В действительности это, конечно, произошло не сразу. Это процесс медленный, затяжной. Чуткость, внимание, доброжелательность, благоразумие накапливались постепенно и не так быстро, как этого хотелось бы. Даже в наши благословенные дни этого добра еще не везде и не на всех хватает. Я не хочу сказать, что еще и до сих пор где-то что-то еще не так чтоб уж чересчур слишком. Но есть еще кое-где возможность, так сказать, двигаться в этом направлении.

Кое-кому.

Теперешний молодой человек хочет, чтоб его тепло встретили, когда он впервые приходит на завод или вообще начинает свой самостоятельный трудовой путь. И мне думается, что он не жаждет оркестров. Мне кажется, что он не ждет от нас

громких речей. Я уверен, что он мог бы обойтись без бьющих в глаза и шибяющих в нос обрядов, пусть даже новых и утвержденных какой-то авторитетной комиссией. Нехорошо выйдет, если мы начнем воображать, будто всё сделали, сыграв на трубах, произнеся причитающиеся речи и совершив какую-то, в общем-то, по самой своей сути ничего не значащую церемонию или обряд посвящения в молодые рабочие или начинающие отцы. Нехорошо потому, что произвести все эти сотрясающие воздух действия гораздо дешевле и проще, чем проявить самую простую, естественную, человеческую, душевную теплоту. Если теплоты этой не будет, если будут одни только трубы, то будет хуже, чем если бы не было и самих труб.

Да простит меня читатель за это «лирическое отступление».

И я не хочу сказать, что когда-то все было так уж плохо и вокруг были одни только плохие люди. Нет же! Разве каждый из этих сердитых молодых людей был сам по себе чем-то плох? Просто они еще не представляли собой слаженного коллектива, дружной рабочей семьи. Среди них не было товарищеской спайки. Не было и заботы об общем деле. Каждый только и думал, чтоб нахватать побольше жетончиков. И никому в голову не приходило сказать:

«Товарищи, он у нас новенький. Ему трудно. Пусть первое время возит не по две дюжины кирпичей, а по одной. Отвезет пару тачек — получит жетончик. Таким образом, и кирпича меньше загубит и задержек из-за него меньше будет. Завод только выиграет от этого».

Нет! Никто этого и не подумал сказать. Каждый только ругался. А бешеная Мотька (так звали съемщицу) просто запустила мне в голову тремя кирпичами, которые держала в руках, когда я не успел вовремя подставить тачку. Я, правда, увернулся, так что кирпичи попали не в голову, а в плечо, и было совсем не больно, потому что кирпичи-то ведь были мягкие, из сырой глины. Но разве это дело — в живого пролетария кирпичами швырять? Что я ей, лорд Чемберлен, которого надо было бить за то, что организовал против нас интервенцию? Где ее рабочая честь? Где классовое самосознание? Где международная солидарность? Полная политическая несознательность, одним словом! Если они и были пролетарии, то еще только начинающие, несозревшие. Им еще надо было зреть и зреть, чтоб дойти до кондиции. Так оно и было. Многие их этих парней и девчат пришли на завод с единственной мыслью заработать денег на корову или коня, нужного в их крестьянском хозяйстве... И вдруг тут между ними и этой коровой появлялась

преграда в виде неумелого слабака, чикающегося со своей тачкой и путающегося у всех под ногами.

Что ж, так и прошел весь день? Один мрак и невежество? Ни одного светлого пятна? Ни одной доброй души? Ни одного доброго слова?.. Нет! Есть чем добрым вспомнить и этот день!

Когда я уже совсем выбился из сил, пытаюсь загнать обратно на гон соскочившее колесо тачки, оказавшийся поблизости гонщик (он прокладывал гоны к катрагам) крикнул:

— Стой, хлопец, ты не так робишь!

И, подбежав, объяснил, что не надо стараться наехать колесом на гон с хода. Надо спокойно поставить тачку, нажать на ручки, чтоб колесо поднялось вверх, и, повернув на подставке тачку, опустить колесо на гон. Таким образом, все обходится без затраты лишних усилий и без риска опрокинуть тяжелый груз.

Я взглянул на гонщика. Парень, может быть, года на два старше меня, с виду — типичный крестьянин-бедняк, на Украине их называли «незаможники», то есть у кого, как говорится, ни кола ни двора, что до революции батрачили у богатых крестьян, у помещиков или шли в город наниматься на фабрики и заводы. Одет в ситцевую заплатанную рубаху, штаны с такими же многочисленными заплатками. Худой. Долговязый. Худые длинные руки. Босые ноги с худыми длинными пальцами. Длинное худое лицо. Я только на миг встретился с ним взглядом, но на всю жизнь запомнил его глаза.

Не помню уже, в то лето или в другое я шел как-то из леса и увидел ребятишек, бежавших мне навстречу гурьбой. Впереди шагал высокий парень без шапки. Шапку он держал в руках, бережно прижимая к груди. По серьезным лицам ребят я понял, что произошло что-то важное. В ответ на мой вопрос парень показал мне шапку, в которой сидели желторотые, еще не совсем оперившиеся птенцы. Оказалось, что ребята нашли в лесу гнездо с птенцами и принесли птенцов домой, а парень объяснил им, что они сделали нехорошо, и теперь они идут, чтоб посадить птенцов обратно в гнездо. Что-то в этом парне показалось знакомым мне, но я никак не мог вспомнить что, и, только когда они уже убежали все, я вспомнил. Глаза. У него были те же глаза, что и у моего гонщика, то есть у того парня, который не прошел равнодушно мимо и помог. Мне. Слабому.

С тех пор я много встречал людей. И у многих видел эти глаза. И каждый увидит их у человека, который не пройдет мимо плачущего малыша без того, чтоб не спросить, чего он

плачет, может, обидел кто, может быть, заблудился или по мамке соскучился, и обязательно успокоит, утешит, скажет: «Не надо плакать. Мамочка придет скоро. Утри слезы. Вот так. Все хорошо будет!»

КОГДА ХОЧЕТСЯ К ЛЮДЯМ

Уж и не знаю, как в тот день я сумел дотянуть до гудка. Несмотря на хороший совет, я не одну еще опрокинул тачку и устал до такой степени, что еще чуточку — и просто заплакал бы. А что удивительного? И конь на моем месте заплакал бы. Если бы кони, конечно, умели плакать.

Но вот прогудел спасительный гудок. Остановилась паровая машина. Повисли до завтрашнего утра вагонетки над глинищем там, где их застал гудок. И кончился весь этот стук и гром. И прекратился крик. И насмешки. И ругань. И все разошлись по домам. А я долго лежал совершенно неподвижно в траве неподалеку от завода. А потом пустился в обратный путь.

На следующее утро насилу оторвался от постели. Все тело мое болело, словно меня пропустили сквозь все эти вальцы или барабаны. Я все же решил не сдаваться. Ведь самый трудный первый день я выдержал и кое-чему научился. Помучусь еще пару дней и буду справляться с тачкой не хуже других. Так думалось мне. Но старший рабочий решил иначе. Утром, когда я пришел на завод, он отвел меня к зданию кирпичеобжигательной печи и сказал:

— Будешь работать мусорщиком.

Мусором здесь назывался шлак, то есть остатки от сгоревшего каменного угля, употреблявшегося для обжигания кирпича. В обязанности мусорщика входило вывозить этот шлак из печи. Тачка для шлака была гораздо устойчивей той, на которой возили кирпич. Поработав с этой тачкой, я по привычке, окреп физически, прошел «обкатку», так что потом мне уже никакая тачка не была страшна.

С тех пор у меня так и пошло. Я работал и учился. Продирался сквозь дебри тригонометрии, удивляясь тому множеству математических истин, которые можно извлечь из одной такой простой геометрической фигуры, как треугольник. Одолевал по самоучителю немецкий язык, а также ряд дисциплин, объединявшихся тогда под общим названием «политграмота». В имевшихся у меня программах указывались книги, которые следовало прочитать. Среди них «Манифест Коммуни-

стической партии» Маркса и Энгельса, «Происхождение семьи, частной собственности и государства», «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» и др. Когда я начал эти книги читать, то увидел, что в них говорилось о таких вещах, о которых я раньше даже не думал. Я заинтересовался. В те времена программы по политграмоте еще не были приведены в надлежащую систему, и в них включались произведения, которые теперь читают студенты вузов при изучении диалектического материализма. Так, например, в моей программе было указано, что нужно прочесть введение к книге Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Я раздобыл эту книгу и был настолько захвачен, что прочитал не только введение, но и всю книгу от начала и до конца. Я, конечно, тогда не все еще понял в этой книге. В ней было много неожиданного для меня. И я увидел, что можно интересоваться не только тем, как устроен мир и из чего состоит вещество, но и как устроено человеческое общество, по каким законам оно живет, в чем причина разногласий между людьми. И я стал читать разные философские книги. И мне стало понятно, почему Сократ когда-то сказал:

«Я решил перестать заниматься изучением неживой природы и постараюсь понять, почему так получается, что человек знает, что хорошо, а делает то, что плохо».

У приятеля моего брата Толи Буськова отец был художником, вернее, учителем рисования в школе. Он выписывал выходившие еще до революции журналы по искусству: «Аполлон», «Весы» и еще не помню какие. Брат брал у Толи эти журналы, и они вместе рассматривали репродукции с разных картин, которые помещались в этих журналах. Я тоже любил рассматривать репродукции, но сверх того читал печатавшиеся в журналах статьи. В результате я стал понемногу думать об искусстве и убедился, что брат и Толя рисуют свои этюды не так, как следовало. Они, например, выбирали какое-нибудь место, садились со своими этюдниками и говорили:

— Я буду рисовать в эту сторону, а ты рисуй в ту.

И рисовали таким образом то, что попадало в поле их зрения.

Я говорил им:

— Вы не так делаете. Вы просто срисовываете, что видите перед собой. А это не все, что требуется от художника.

— А что, по-твоему, требуется от художника?

— От художника требуется, чтоб картина его говорила что-то не только глазам зрителя, но и его сердцу, чтоб дейст-

вовала на его чувства. Дело не в том, чтоб все срисовать точненько. Надо, чтоб картина была живая. Надо, чтоб чувствовалась либо полуденная жара, когда все в природе как бы замирает от зноя, или чтоб чувствовалось дуновение свежего утреннего ветерка, пробегающего по листьям деревьев. Если рисуешь зиму, надо, чтоб чувствовалось, что день морозный: мороз бодрит, а снег так и скрипит под ногами; или, наоборот, оттепель: снег талый, мокрый, тяжелый, из него хорошо лепить снежки. Надо изображать не просто природу, а состояние природы, потому что именно это больше действует на чувства зрителей, чем просто вид.

— Ну хорошо,— говорили они,— а как этого добиться?

— Это достигается в первую очередь выбором места, которое рисуешь, и выбором времени.

— Так и мы выбираем место,— возражали они.

— Надо выбирать место, которое соответствует замыслу картины,— отвечал я,— а вы выбираете место, где вам удобнее сидеть.

Такие мои высказывания выводили из себя моих собеседников. Брат в конце концов просто посылал меня к чертям собачьим, а Толя Буськов говорил:

— Вот ты и выбери, а мы посмотрим.

— И выберу,— отвечал я.

А я между тем уже давно приглядел одно таинственное местечко, вид которого так и хотелось унести с собой, чтоб показать всем. Что-то в этом виде внушало какое-то необъяснимое чувство... Какое именно? Почему? Каким образом? Вот в этом-то и хотелось разобраться. Это и хотелось понять.

Если идти вверх по течению Ирпеня, то за железнодорожным мостом, неподалеку от деревушки Романовки, река образовала довольно широкую тихую заводь. За этой заводью была сырая, болотистая лужайка, поросшая камышом. За лужайкой — зеленый пригорок с приютившимися на нем беленькими хатками, над которыми чернели верхушки вековых сосен. Я часто приходил сюда с удочкой, потому что на этом месте хорошо клевал окунь. Когда день начинал клониться к концу и дневной жар спадал, над болотистой местностью поднимался легкий туман. Он, словно облако, закрывал пригорок, отчего деревенские хаты вместе с подступавшим к ним вековым лесом казались как бы повисшими в воздухе над водой. Что-то фантастическое, неземное было в этой утопавшей в тумане и тишине картине, что-то волшебное, колдовское. Сердце охватывало какое-то непонятное, щемящее чувство покинутости, заброшен-

ности, одиночества... И хотелось поскорей уйти куда-нибудь, туда, где люди, чтобы не чувствовать одиночества...

И я задавал вопрос сам себе: что же, прийти сюда с красками и кистями и зарисовать этот пейзаж? Так тут ведь не успеешь расположиться, как картина изменится, наступит темнота. Тут, может быть, не раз приходиться надо, не два да еще ловить время, когда будет туман. Может, сначала сделать эскиз, то есть набросок, а потом по памяти писать картину, как художники-передвижники делали? Но они ведь иной раз целый год картину писали, а то и два. К тому же у них мастерство было. Они учились по меньшей мере с десятков лет, прежде чем начать картины писать. Но к чему это теперь, когда изобретена фотография? Можно прийти и сфотографировать этот вид. А где фотоаппарат взять? Может быть, самому сделать?

И вот во мне все уже кипит. У меня идея: сделать фотоаппарат. Научиться фотографировать. Из учебника физики я знаю, что в принципе фотоаппарат — дело простое. Но при фотографировании надо как-то проявлять пластинки, как-то закреплять, как-то печатать снимки. Требуются специальные сведения, которых в учебнике физики нет. Где взять эти сведения? Ясно: в книжке по фотографии.

У букинистов мне не удалось раздобыть книжки по фотографии. Но прямо-таки за бесценок я купил несколько годовых комплектов старых журналов. Один журнал назывался «Вестник фотографии», другой — «Фотографический листок». Там куча различных рецептов проявителей, закрепителей, усилителей, ослабителей, виражей. Целый курс лекций для начинающих. Описание различных систем аппаратов, начиная от новейших усовершенствованных зеркалок и кончая самыми простыми, как их в насмешку называли за их вид, «комодами», которые не требовали даже наводки на фокус. Тут же таблицы для расчета выдержки, или экспозиции. Как оборудовать фотолабораторию. Как сделать красный фонарь. Как сделать фотоувеличитель. А вот как раз то, что мне нужно: как самому сделать фотоаппарат. Оказывается, действительно дело несложное. Любая деревянная коробка годится, лишь бы не пропускала света. Самая сложная часть в таком аппарате — объектив, но его можно сделать из стекла от простых очков.

В общем, я прочитал обо всем: и о научной фотографии, и о художественной, и о разных курьезных и смешных случаях, происходивших с фотографами, и о том, как снимают «пушкарри», то есть уличные фотографы, аппарат которых представляет

собой не только фотокамеру, но и походную фотолабораторию с проявителем, закрепителем и запасом фотоматериалов для изготовления снимков. Как раз на такую «пушку» и смахивает сооруженный мной аппарат! Это просто фанерный, окрашенный внутри черной краской ящик. Впереди у него объектив из стеклышка от очков, сзади — окошечко с матовым стеклом, сбоку — круглая дыра с черным рукавом из двойной светонепроницаемой бархатной материи. Сквозь этот рукав можно просунуть внутрь аппарата руку, вынуть из хранящейся на дне ящика коробки фотопластинку и поставить ее на место матового стекла. Вот и все. Можно снимать. Предварительно нужно только навести аппарат на снимаемый объект так, чтоб изображение попало на матовое стекло и выдвиганием объектива добиться, чтоб изображение вышло четким, не расплывчатым. Конечно, таким аппаратом с рук снимать нельзя, только со штатива. Но и штатив я сделал. Неказистый на вид, но надежный. К толстой треугольной дощечке (головке штатива) прикрепил петлями три деревянные ножки. В центре головки — дыра. Сквозь эту дыру просовывается болт для крепления аппарата к штативу.

Что дальше?

Еду в Киев. Покупаю коробку (дюжину) пластинок. Тогда снимали не на пленке, а на стеклянных пластинках, покрытых светочувствительной эмульсией. Пачку фотобумаги. Метол и гидрохинон для проявления. Специальных фотомагазинов в те времена не было. Все это — и пластинки и бумага — продавалось почему-то в аптеках.

И вот я на своем заколдованном месте, со своим допотопным фотоаппаратом. Укрепленный на треноге аппарат этот напоминает большеголового, тонконового марсианина из романа Уэллса «Борьба миров». Я явился слишком уж рано. Тумана еще нет. Зато есть время, чтоб обдумать все как следует. Я рассматриваю на матовом стекле изображение воды с отразившейся в ней деревушкой на пригорке. Постепенно мне начинает казаться, что чего-то не хватает в этой картине. Впереди ровная, чистая поверхность воды. Какое-то чутье мне подсказывает, что нехорошо, когда впереди пусто. Пробую выбрать другую точку для съемки. Нахожу такое место, где на берегу растут камыши. Но по-моему, нехорошо получается, когда камышей много. Они заслоняют все остальное. Выбираю такое место, где на переднем плане, несколько сбоку, всего один куст камыша. Окончательно закрепляюсь на этом месте. И волнуюсь. Почему-то волнуюсь.

Тумана нет. Но еще, безусловно, рано. Туман будет. Немного погодя. Или его не будет. Тут никто в точности ничего не может сказать. Высчитываю по таблице выдержку. Предварительно. Ведь снимать не сейчас надо. А освещенность еще может перемениться. Думаю о том, что, может быть, лучше закрыть аппарат, поставить на место матового стекла пластинку, чтоб быть готовым снять, как только появится туман. Но мне почему-то хочется увидеть, как получится изображение тумана на матовом стекле аппарата... Наконец над водой появляется легкое марево. Или мне это лишь кажется? Нет, не кажется. На матовом стекле уже вполне заметна белесоватая дымка. Теперь уже надо спешить. Поскорей закрываю снаружи светонепроницаемой крышкой матовое стекло, просовываю сквозь бархатный рукав внутрь аппарата руку, убираю матовое стекло, кладу его на дно камеры. Уже хочу открыть коробку с пластинками, но тут же спохватываюсь. Объектив-то я не закрыл! Хорошо, что вовремя вспомнил: я же мог засветить все пластинки. Закрываю объектив крышечкой. Ставлю на место пластинку. Вытаскиваю из рукава руку... Кажется, все правильно сделал... Можно снимать.

Осторожно, чтоб не пошевелить аппарат, снимаю с объектива крышечку, отсчитываю секунду (для этого надо произнести слово из четырех слогов. Я произношу «двадцать один» (так все фотографы делают) и тут же закрываю объектив. Снова просовываю руку сквозь рукав, убираю в коробку пластинку, а на ее место ставлю другую. Туман сгустился, и я решил сделать еще снимок, на всякий случай. Уже когда снял, заметил, что поверхность воды в реке совершенно спокойная. Деревенские избы отражаются в ней, словно в зеркале, так что самой воды как будто и нет вовсе. Поставил третью пластинку. Бросил в воду увесистый камень. Пошли по воде круги. Отражение стоявших на пригорке избышек запрыгало, заколыхалось. Делаю третий снимок.

Пожалуй, довольно на первый раз. К тому же туман уже начал закрывать весь вид.

Собрав свое не очень портативное снаряжение, отправляюсь в обратный путь. По дороге волнуясь. Получится ли что-нибудь у меня? Недоумеваю, почему я решил вдруг отправиться в такой дальний путь, чтоб сделать свой первый снимок. Можно было снять что-нибудь около дома: проверить, как работает аппарат, как проявлять пластинки, вообще хоть немного освоить это новое для меня дело. Нет! Сразу взялся за выполнение какого-то сложного замысла.

Дома жду, когда наступит полная темнота. Ведь у меня нет специального затемненного помещения для фотолаборатории. Вспоминаю прочитанные мною в журналах рассказы о фотолюбителях, устраивавших свои лаборатории в темных кладовых, чуланах, ванных комнатах, в шкафах-гардеробах, в крайнем случае под столом и даже под кроватью, завешанных со всех сторон одеялами. Я начинаю понимать всех этих чудаков, или, лучше сказать, одержимых (впоследствии и сам не раз оказывался в таком положении): ведь так не терпится удостовериться, вышло ли что-нибудь на твоей пленке или пластинке!

Но вот наконец стемнело. Я уединяюсь в темной комнате. Зажигаю свечу в фонаре с красным стеклом. Купленные мною пластинки нечувствительны к красным лучам спектра. За процессом проявления можно следить при красном свете. Погруженная в проявляющий раствор пластинка кажется при красном свете белой, словно чистый листок бумаги. Я волнуюсь, потому что на этом светлом прямоугольнике не появляется никакого изображения... Спокойствие! Реакция проявления так называемого скрытого изображения происходит не сразу. Требуется время, чтобы жидкость проникла в эмульсию и проявляющее вещество вступило в соединение с частичками бромистого серебра, подвергшимися действию света. Проходит два-три десятка секунд, и на пластинке начинают проступать первые следы изображения. Постепенно начинаю узнавать снятый мною пейзаж. В негативном виде: светлые места, как небо, белые стены изб, туман, яркие блики на воде получают темными и все больше чернеют. Темная земля, трава, темные деревья и их отражения в воде остаются светлыми. Постепенно и на них появляются какие-то детали. Не знаю, как описать охватившее меня чувство. Радость, ликование, но вместе с ними и опасение, тревога: а вдруг что-нибудь да не так! В общем, и тут волнение, но какое-то другое... Все виды волнения!

Проявляю до тех пор, пока изображение не начинает довольно явственно проступать с обратной стороны пластинки. Теперь, после споласкивания в воде, ее можно опустить в фиксаж.

Наконец все три пластинки проявлены и отфиксированы. И лежат в большом тазу с водой. Промываются. Промывку можно вести при обычном свете. Еще на мокрых пластинках я пытаюсь разглядеть, что вышло. Если смотреть на негативное изображение с обратной стороны (со стороны стекла), то при определенном наклоне темные места на негативе кажутся светлыми и можно уловить изображение, какое должно получиться

на отпечатке. Мне кажется, что эксперимент мой удался, но в этом можно быть уверенным лишь после того, как я напечатаю снимки, то есть не раньше завтрашнего дня. Негативам-то ведь нужно просохнуть.

А пока...

Я вспоминаю рассказ об одном художнике, писавшем портрет одной дамы, которая спросила его, о чем он думает, когда пишет.

«Я не думаю, мадам,— ответил художник.— Я волнуюсь».

Мне кажется, я понимаю этого художника.

Еще придется поволноваться!

А пока... передышка.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Мне везет! Все три снимка с технической, то есть с чисто фотографической, стороны получились удачными. Это значит, что нет передержки, ни недодержки, ни перепроявки или недопроявки. Все это у меня еще впереди. Еще будут и передержки, и недодержки, и засветки, и такие казусы, когда снимешь на пустую кассету или забудешь открыть у кассеты шторку, или перепутаешь кассеты и сделаешь два снимка на одной и той же пластинке...

Многие начинающие фотолюбители обычно сталкиваются с какой-нибудь такой неудачей, и это на всю жизнь отбивает у них охоту заниматься фотографией. К счастью, со мной этого не случилось. Мне, однако, трудно решить, какой из снимков наиболее верно передает мой замысел, то есть то настроение, которое внушает вид одинокой, заброшенной лесной деревушки. Присмотревшись как следует и пообдумав, я отложил в сторону самый последний снимок. Это тот, который я снял, после того как бросил в воду камень. Поверхность воды здесь получилась довольно эффектной, но излишне волнистой, как будто во время бури, тогда как деревья, кусты и прибрежные тростники остаются совершенно спокойными, как при полном безветрии, что как-то не вяжется одно с другим и не дает определенного впечатления.

Второй снимок тоже пришлось отбросить. Я его сделал, уже когда облако тумана над водой расширилось до такой степени, что вышло за края снимка и превратилось в сплошную поперечную полосу, которая словно делила снимок на две части: верхнюю, с лесом, и нижнюю, с водой и отразившимися

в ней избушками. Получалось как бы два длинных снимка, разделенных какой-то непонятной белой полосой, что вызвало лишь недоумение.

И только на третьем снимке, то есть на том, который я снял первым, туман еще не разросся вширь и имел вид облачка, плотного посредине и прозрачного по краям. Деревенские избушки просвечивали сквозь это облачко, что придавало им какой-то призрачный, неземной вид. Снимок очень выиграл от того, что на переднем плане получился кусочек берега с кустом камыша. Было видно, что облако тумана находилось позади камыша, а деревня и все остальное — позади облачка. Это придавало снимку нужную глубину. На фото, таким образом, получились лес, река и деревня и даже сам воздух.

Я долго разглядываю этот снимок. Мне кажется, что он внушает то же чувство покинутости, одиночества, которое испытываешь там, на берегу тихой заводи. Если посмотреть на снимок в увеличительное стекло, то впечатление усиливается. Мне ясно, что надо сделать увеличенный отпечаток... И вот уже моя фотокамера превращается в фотоувеличитель. Если на место матового стекла поставить снятый негатив и осветить с обратной стороны, то на стене можно получить увеличенное изображение, как от волшебного фонаря. Трачу все свои капиталы на покупку бумаги большого формата, ванночек для проявления, нужных химикалиев.

Увеличенный снимок наконец готов, и я показываю его брату и Толе Буськову.

Они долго мрачновато смотрят на снимок.

— Да-а,— говорит наконец Толя, нарушая затянувшееся молчание.

В голосе его, однако, слышится одобрение. Я думаю, что это начало более распространенного высказывания. Но в разговор вмешивается брат.

— Фотография — не искусство,— изрекает он.

Из статей, напечатанных в журналах, я знаю, что фотография имеет множество применений. Может применяться и для научных целей, как, например, микрофотография или аэрофотосъемка. Или для фотографирования при археологических раскопках. Или для съемки следов преступления при судебных расследованиях. Может иметь просто прикладное значение. По фотографии, например, нагляднее можно представить себе африканскую саванну, норвежский фиорд или исландский гейзер. Такие снимки могут быть очень полезны в книжке по географии. Но бывает фотография художественная.

А художественная фотография — тоже искусство. Она, как и каждое искусство, может действовать не только на ум, но и на чувства.

Все это я стараюсь растолковать моим собеседникам, но брат говорит:

— Фотографию каждый дурак снять может.

— Допустим,— соглашаюсь я.— А что это доказывает?

Брат начинает объяснять, что́ это доказывает, и у него получается, что если каждый дурак может заниматься фотографией, то каждый, кто занимается фотографией,— дурак.

Неожиданный вывод, я бы сказал. У нас начинается спор, где ни одна сторона ничего не может доказать другой стороне. Тогда такие споры были не редкость. В те времена живопись переживала, как принято говорить, кризис. С тех пор как появилась фотография, художники уже не могли рисовать свои картины, выписывая все подробности и детали, так как с этой задачей фотография справлялась гораздо быстрее и лучше. Чтобы их картины чем-то отличались от простых фотографий, многие художники стали писать размазисто. Но фотографы быстро доказали, что и они могут снимать размазисто. Тогда художники начали прибегать к разным фокусам. Появились различные футуристы, кубисты, пуантилисты, суперматисты, беспредметники (теперь они называются абстракционистами). Кубисты рисовали людей в виде комбинации кубов, шаров и цилиндров, пуантилисты рисовали свои картины разноцветными точечками или мазочками, суперматисты изображали нагромождения различной длины черточек и прямоугольничков, а беспредметники рисовали так, чтоб вообще невозможно было понять, что нарисовано. Слова «фотограф», «фотография», «фотографичность» считались у них ругательными словами. А когда появилось кино, они стали и его ругать и говорили, что кино — это тоже не искусство.

Странное существо — человек! Еще в каменном веке это существо начало выдалбливать на камне рисунки, чтоб помочь рукой своей памяти, помочь своему мозгу сохранить нужные образы, не дать им забыться. А потом, когда это существо изобрело способ сохранять нужные образы без того, чтоб мучительно долбить камень или кропотливо выписывать их красками, оно сказала, что это уже не искусство.

Какое дитя, рисуя свои примитивные картинки, не мечтало о том, чтоб эти картинки двигались, были как живые? Но постепенно, становясь взрослым, дитя привыкало к тому, что картинки не могут двигаться. А когда появилась возможность

делать движущиеся картины, это ставшее взрослым дитя сказало, что такие картины — не искусство.

Когда на смену немому кино пришло кино звуковое, сам Чарли Чаплин (великий Чаплин!) проклинал это новшество и утверждал, что, заговорив, кино перестанет быть искусством. Для понимания, какие новые огромные возможности дает кинематографу живое человеческое слово, гениальному Чарли Чаплину не хватило гениальности.

Не будем, однако, ошибки отдельных людей приписывать человечеству. Хотя предубеждение против фотографии держится в какой-то степени до сих пор, человечество все же широко пользуется ею. Не стоит придавать значения тому, что о ней говорят слишком много мнящие о себе художники. Недаром сказано, что дураком можно оказаться на любом языке. Можно снять фотографию, которая будет пробуждать в нас добрые чувства, можно написать картину, которая вызовет лишь омерзение. В конце концов нашлись художники, которые сами начали заниматься фотографией. И нужно сказать, что из них получались неплохие мастера этого дела, так как они обладали уже какой-то изобразительной культурой. А овладев фотографией, они могли идти работать в кино, становились кинооператорами. Ведь в своей основе кино — не что иное, как живая, движущаяся фотография.

В то время, о котором я пишу, уже были сняты такие советские кинофильмы, как «Броненосец «Потемкин», «Красные дьяволята», «Аэлита», «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков», «Мисс Менд». Уже в любом захолустье, куда мог добраться киномеханик с кинопередвижкой, помещавшейся в чемодане, люди могли увидеть игру таких замечательных артистов МХАТа, как И. Москвин (в фильме «Коллежский регистратор»), как М. Чехов (в фильме «Человек из ресторана»). Уже появились кинокомедии с участием Игоря Ильинского («Закройщик из Торжка», «Папиросница от Моссельпрома», «Шахматная горячка»).

Хотя это были еще только немые фильмы, уже никто не спорил, искусство кино или не искусство, но зато горячо спорили, каким должно быть советское киноискусство. Подобно тому как было образовано «Общество друзей радио», возникло «Общество друзей советского кино» — ОДСК. На членском билете ОДСК были начертаны слова Ленина, сказавшего, что из всех искусств самым важным для нас является кино. Члены ОДСК собирались на просмотры новых кинофильмов, обсуждали их, устраивали дискуссии. Не только кинодеятели, но и люди

разных профессий, простые зрители могли высказывать свое мнение о просмотренных фильмах. Отчеты об этих обсуждениях публиковались в печати. Казалось, в деле кино были заинтересованы все: и те, кто его делал, и те, для кого оно делалось. Так оно и было. Так и должно было быть.

Если театр, как сказал Гоголь, является такой кафедрой, с которой можно сказать миру много доброго, то и кино является кафедрой, но с еще большей аудиторией. Мне также хотелось сказать миру хоть сколько-нибудь доброго. Но в чем заключается добро — это надо было узнать. Надо было учиться.

Как раз незадолго до этого Киевское училище живописи и ваяния было реорганизовано в художественный институт, в котором, помимо живописного, скульптурного, архитектурного и полиграфического факультетов, имелось киноотделение, готовившее кинооператоров и художников-декораторов для кино. На это киноотделение я и решил поступить, без всяких колебаний распроставшись с мыслью поступить в политехнический институт.

ТАЙНА РАСКРЫТА!

Начав заниматься фотографией, я уже не мог это дело бросить и все оставшиеся у меня деньги тратил на покупку пластинок, фотобумаги и нужных химикалий, так что в конце концов остался буквально (прошу простить за не слишком изящное выражение) без штанов. Вернее сказать, без собственных штанов, так как штаны на мне все же были, но не собственные, а государственные. Короче сказать, я ходил в полученной мной на заводе спецовке, имевшей довольно непрезентабельный вид.

Помню, отец почему-то был дома и как-то по-особенному, внимательно посмотрел на меня, и на лице у него появилось выражение, словно он сделал неожиданное для себя открытие.

— Слушай,— сказал он мне,— да ведь ты у нас, оказывается, невезучка!

Я даже опешил вначале, потому что уж никак не считал себя обиженным в чем-то судьбой. Учеба моя шла хорошо. У меня было увлекательное занятие, дававшее мне глубокое удовлетворение, я бы даже сказал — ощущение счастья. Работать я перешел на ближний завод, и свободного времени оставалось больше. Еще на первом заводе я вступил в профсоюз, и у меня

был уже солидный (по тем временам) стаж. Сам отец очень гордился своим профсоюзным стажем, а вступил он в члены профсоюза железнодорожников, еще когда работал в железнодорожных мастерских. Так что, по моим понятиям, у меня все складывалось довольно благоприятно, и я был просто озадачен таким заявлением отца.

— Почему невезучка? — с недоумением спросил я.

— Да вон Павлушка, смотри, в профшколе учится, картину продал, экипировался, а ты...

У меня так и чесался язык сказать, что никакой картины Павлушка не продавал, что ему, правда, повезло однажды с золотом, но на таком везении никаких разумных расчетов строить нельзя, потому что с тех пор он перекопал чуть ли не весь участок, но ни одной крупиночки золота так и не нашел.

Я, однако, удержался и ничего не сказал отцу. Брату же я говорил, что золото, очевидно, залегает на большой глубине и для его разведки надо копать поглубже или бурить скважины, на что брат отвечал, что он не дурак, чтоб бурить скважины, потому что если повезет, то золото можно найти и на поверхности, а если не повезет, то тут хоть бури, хоть не бури — все равно ничего не найдешь.

— А если ты дурак, то бери и бури,— предлагал он мне.

У меня, должен признаться, к тому времени интерес к золотоискательству почему-то совсем пропал и не было охоты не то что бурить, а даже копать.

А на следующий день отец поехал в Киев и случайно встретил Апелцына, который рассказал ему, что Павлушка продал ему золотой песок. Домой он вернулся в этот день рано и был мрачный, как грозовая туча. Не сказав никому ни слова, он полез в шкаф, достал шкатулку, вынул из нее уже известный нам флакончик с щепоткой золотого песка. Убедившись, что золотой песок на месте, отец, однако, не успокоился, а помрачнел еще больше и метнул в сторону брата испепеляющий взгляд.

«Вот и молния! — пронеслось у меня в голове.— А сейчас будет гром».

— Говори, мерзавец, где ты взял золото? — загремел отец, не выпуская из рук флакончика.

— Ка-а-кое золото? — заикаясь от испуга, пролепетал брат.

— Которое ты продал Апелцыну. Ты где его взял?

— Ах, это... — протянул, овладев собой, брат.— Ну, я взял его там, где и ты.

— Там, где и я? — возмутился отец. — У меня нет никакого золота!

— А это что у тебя в руках?

Отец встряхнул флакончик, который все еще продолжал держать в руках, и сказал:

— Этот песок я привез из Сибири.

— Знаем, из какой Сибири, — с насмешкой ответил брат.

— Где же я, по-твоему, его взял, если не в Сибири?

— В колодце.

— В каком колодце?

— Ну, в нашем колодце. В каком же еще?

— А-а... — протянул отец и раскрыл рот, словно вытащенный из воды окунь. — А... а ты, значит, песок, который отвез Апельцыну, достал из колодца?

— Из колодца, — подтвердил брат. — О чем же я тебе толкую?

— А какое же ты имел право брать песок из колодца? Ты его положил туда, что ли?

— А ты, что ли, его туда положил? — парировал брат.

— Да, если хочешь знать, именно я его туда и положил. А ты что думал?

— Я думал... Что я думал? — растерянно пробормотал брат, как бы спрашивая сам себя. — Я думал, там золотоносная жила.

— Что? Золотоносная жила?!

Отец вдруг расхохотался так громко, что я заподозрил, не спятил ли он с ума.

— Варя! — закричал отец, зовя мать, которая была занята чем-то во дворе. — Послушай, что этот пентюх придумал!

Отец всегда называл брата пентюхом, когда сердился. Когда мать пришла, он рассказал, что Павлушка умудрился выудить из воды золотой песок, который они вместе с ней бросили в колодец на счастье в день своей свадьбы.

Не помню, чтоб мать была очень огорчена этим обстоятельством. Еще прошлой весной мы продали ставшие ненужными нам телегу, сани, конскую упряжь и купили хорошую молодую дойную козу. Эта коза давала очень вкусное молоко, а есть могла все: и траву, и сено, и осыпавшиеся с деревьев осенние листья, и хлебные корки, и картофельные очистки, и капустные кочерыжки. Нынешней весной она родила козленочка, вернее, козочку. Они обе, и коза и козочка, бегали за матерью, как собачонки. А матери словно доставляло удовольствие заботиться о них.

Выслушав юмористический рассказ отца про золотиносную жилу, мать ушла к своим козам. Отец же стал допытываться у брата, почему ему пришлось в голову лезть в колодец. Брат ответил, будто я сказал, что в колодце есть золотые слитки. В результате отец переключил свое внимание на меня и стал спрашивать, откуда я взял, что там золотые слитки. Я ответил, что сам впервые слышу про золотые слитки и никогда о золотых слитках не говорил, а если и говорил что-нибудь, то только о серебряных слитках, которые перевозили в почтовом вагоне на поезде, а какие-то не то бандиты, не то экспроприаторы отцепили вагон, слитки переложили в телегу и ускакали с ними на тройке лошадей, а потом полиция целый год искала этих похитителей и только одного из них поймала, а он сказал, что слитки бросили в колодец.

— В наш колодец? — удивился отец.

— Да почему в наш! — ответил я. — Мало ли колодцев на свете.

— Просто какая-то чушь, ерунда, сапоги всмятку! — ворчал недовольно отец. — Золотиносная жила, серебряные слитки, экспроприаторы, полиция... Какая сейчас может быть полиция!

— Так это же не сейчас, а при проклятом старом прошлом еще, — ответил я.

Отец только рукой махнул, но тут же спохватился.

— А деньги, которые ты получил от Апельцына, где? — обратился он к брату.

— Деньги на мне, — ответил Павлушка.

— Это как понимать?

— Ну, на мне. — Брат похлопал себя рукой по пиджаку, по брюкам.

— А-а... — понимающе протянул отец. — А ты говорил, картину продал. Ты продал картину?

— Да ну вас с картиной! — с досадой ответил брат. — Теперь не старый режим. Теперь буржуев нет, и никакой дурак тратить деньги на картины не станет.

— Как это так?

— Да вот так.

— Чушь какая-то, — начал было снова отец, но тут же махнул рукой и больше к этой теме не возвращался.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕТСТВО

Штаны, или, вернее сказать, более или менее приличный костюм мне все же пришлось купить, так как наступила пора сдавать экзамены в институт, куда я не мог явиться в простой рабочей спецодежде. Да и со спецодеждой, беря расчет на заводе, я вынужден был распроститься. Пришло время волнений, известных каждому, кто когда-нибудь куда-нибудь поступал. И пусть не думают теперешние абитуриенты, что тогда поступить в институт было легче, что конкурсы были меньше. То был период, когда всех обуяло стремление чему-нибудь учиться. Поступала не только молодежь, получившая среднее образование,— поступали кадровые рабочие, которые в дореволюционные годы не имели возможности учиться, теперь закончившие рабфаки; поступали бывшие военные, демобилизовавшиеся из армии и успевшие пройти нужную подготовку.

Признаюсь, что больше всего я боялся экзаменов по рисованию, так как совсем не готовился к ним. Экзаменов этих было три: рисунок с натуры, рисунок по памяти и вольная композиция в цвете. Когда я узнал, что только на рисунок с натуры дается целых пять часов, я воспрянул духом. За пять-то часов, думалось мне, я уж что-нибудь да намалюю. Никогда в жизни на рисование больше двадцати минут за один присест я не тратил. Мне повезло в том отношении, что я познакомился с ребятами, учившимися на подготовительных курсах, имевшихся при институте. Большинство из них обычно успешно проходило приемные испытания, так как усваивало манеру преподававших на курсах институтских профессоров. Этим профессорам нравилось иметь последователей, иметь, так сказать, «свою школу», а сами они рисовали так, чтоб фигуры или предметы были словно вырезаны из картона, как у художника Матисса, или представляли собой как бы соединение водосточных труб, вроде как у художника Фернана Леже, и притом еще, чтобы как бы разваливались на куски, как у Пикассо. Манеру эту нетрудно было усвоить,— требовалось только пойти на компромисс со своей совестью тому, у кого уже установились какие-то взгляды на искусство, но поскольку мои взгляды еще не определились и я тогда не знал, в чем заключается искусство живописи, и думал, что оно, может быть, и заключается в том, чтоб выворачивать вот так наизнанку предметы, и поскольку к тому же я не собирался сделаться живописцем, то мне, в сущности, все равно было, как рисовать.

На фотокиноотделении, куда я поступил, все ребята отличались какой-то одержимостью, приверженностью к своему делу. И это как бы само собой объединяло, сближало нас. А может, это была просто молодость вообще. Уж очень мы любили поболтать, порассказать друг другу о разных случаях из своей жизни, главным образом с юмористической окраской, поговорить о кино, о театре, вообще об искусстве. Многие не расходились по домам тотчас после занятий, а оставались, чтоб порисовать в мастерской, поснимать в павильоне, проявить в фотолаборатории материал или просто потрепаться (это тогдашний жаргон) с товарищами. Часто темы разговоров не исчерпывались тут, а продолжались еще и на улице, по дороге домой.

Однажды, когда я шел с одним из своих товарищей, Виктором Конотопом, по Большой Подвальной, он вдруг предложил:

— Зайдем к Женьке Зотову.

О своем знакомстве с Зотовым Виктор мне никогда не говорил, но сказано это было так, словно я должен был знать, о ком идет речь. Я сказал, что, когда учился в подготовительном классе гимназии, у нас был мальчишка по фамилии Зотов. В самом начале года он имел несчастье стащить у товарища очаровавший его мальчишечью душу перочинный ножичек. За это его тут же исключили из гимназии. Он бежал из дому, добрался до Одессы, пробрался тайком на корабль и пустился в дальнейшее плавание.

— Это он,— сказал Виктор.

Я почувствовал, что совершил оплошность, сболтнув то, что Виктор мог и не знать о своем знакомце. Боясь, как бы не сделать и еще глупость, я сказал:

— А хорошо получится, если я вдруг приду? Такая встреча может быть для него неприятна.

— Вся эта история ему дорого обошлась,— сказал Виктор.— В конце концов он вырос честным человеком, но в нем живет чувство вины и какая-то неуверенность в себе. Хотелось бы, чтоб он убедился, что его детской ошибке сейчас значения уже никто не придает, что все это осталось в прошлом. Когда его мать узнала, что мы вместе учимся, то просила затащить тебя к ним. Она, кажется, знает твоего отца и тебя, кажется, где-то видала.

Мы поднялись на второй этаж и очутились в квартире, напоминавшей нашу бывшую квартиру на Марино-Благовещенской улице, но более обжитую, где каждая вещь как бы срослась

со стенами и что-то говорила о ее хозяевах. Я был до крайности удивлен, как мало могло измениться лицо восьмилетнего мальчишки, превратившегося в долговязого худощавого юношу, или, вернее было бы сказать, молодого человека. Хотя прошло больше десятка лет, я его сразу узнал. Тот же непокорный вихор на лбу. Те же светлые, почти не приметные на лице брови. Открытый взгляд приветливых серых глаз и робкая, привычная, словно застывшая на губах улыбка. Непривычны были только его большие, подвижные, как у музыканта, руки и острые, худые коленки, обрисовывавшиеся под материей брюк, когда он сидел на низком кресле.

Разговор завязался так, будто мы расстались только вчера. Я расспрашивал о морях и странах, где ему пришлось побывать. Он рассказывал скромно, без того превосходства, которое встречается у «старых морских волков» перед сухопутной крысой вроде меня, которая знает море только по учебнику географии да по романам Жюль Верна. Я спросил, что он делает сейчас. Он сказал, что работает кочегаром на паровозе, в море уходить не собирается, так как хочет поступить на рабфак, но побаивается, что не одолеет алгебры.

Я ответил, что бояться нечего, так как я задумал снять учебный фильм: «Пять уроков алгебры для отстающих или непонимающих».

— Так это еще жди, когда ты снимешь,— ответил он.

— Ждать не надо. Я тебе расскажу содержание, и ты все поймешь.

В это время в комнату вошла женщина. Мне показалось, что я ее уже где-то видел. Виктор сказал:

— Мария Гавриловна, это Коля Носов.

Приветливо улыбнувшись и протянув мне руку, она сказала:

— Мы, кажется, с Николаем Николаевичем уже немножко знакомы. Вы помните?..

— Я помню чудное мгновение,— ответил я, сразу вспомнив обстоятельства нашей встречи, как только услышал ее голос.

А обстоятельства были такие. Я смотрел концерт из-за кулис, куда меня привел отец лет десять назад. На сцене артист, которому я от души желал провалиться под пол, старательно исполнял романс Глинки на слова Пушкина «Я помню чудное мгновение...». В это время в противоположной кулисе появилась молодая красивая женщина... та, которая сейчас стояла передо мной. Услышав мой ответ, она залилась счастливым смехом и сказала:

— Я вижу, вы точно помните. А я правда была тогда хороша собой?

— Вы и сейчас не хуже,— ответил я.

— Вы дамский угодник! — продолжая смеяться, сказала она.— А тогда смотрели на меня волчонком. Вы были такой хорошенький маленький гимназистик, и мне так хотелось приласкать вас!

Она ласково взъерошила волосы на голове Женьки, сидевшего в кресле и со своей застывшей улыбкой слушавшего наш разговор. Мне вспомнилось легкое прикосновение ее теплой ладони к моей макушке. Тогда. Там. За кулисами.

— Вы зачем смотрели на меня волчонком? — строго спросила она.

— Я вас принял за артистку,— ответил я.— А я с тех пор, как был малышом, очень боялся артисток, потому что, как только попадался им на глаза, они тотчас бросались меня целовать.

— Но теперь вы уже не боитесь артисток? — спросила она.

— Теперь не боюсь, но теперь они почему-то уже не бросаются целовать меня.

Этот ответ насмешил всех, а меня самого, как это случается с некоторыми острями, больше всех.

Она сказала:

— Вы, я вижу, как и прежде, любите посмеяться. Тогда вы, кажется, чуть не упали от смеха со стула у нас на представлении.

— Вы наговариваете на меня, Мария Гавриловна. Я не чуть не упал, а просто свалился со стула на пол.

Она позвала нас пить чай. За столом спросила о моем отце. Я сказал, что у отца дела плохи. С тех пор как распался квартет, он играет со своим приятелем в кабачке.

Главная же беда — пьет.

— Что пьет? — спросил Женька.

— Ну, не чай, конечно,— развел я руками.

— Это я понял. Я в том смысле спрашиваю, водку пьет или легкие вина.

— Пьет водку и от легких вин не отказывается. Это зависит от того, чем угостят захмелевшие посетители. А у них страсть: как только напьются, сейчас же музыканта угостить.

— Да, это нехорошее для него место,— сказала Мария Гавриловна.

— А куда он пойдет? В драматические актеры не годится. Петя не может.

— Почему петь не может? — спросил Женя.

— Чтоб петь, надо голос иметь, — говорю.

— Как же он пел в квартете?

— Так квартет как строится, — начал объяснение я. — Там четыре голоса: первый тенор, второй тенор, баритон и бас. Первый тенор, баритон и бас могут выступать соло. Это красивые голоса. А у него второй тенор. Что называется, ни два, ни полтора. Высокие ноты, как первый тенор, он брать не может, низкие ноты, как баритон, тоже не может. В квартете партию второго тенора он может вести, а для сольного выступления не годится. Петь, конечно, можно, только слушать нельзя.

— А что он до этого делал?

— По-моему, он всю жизнь пел да на гармошке играл. Правда, одно время работал на железной дороге. Зимой лопаты делал, но это ему не нравилось. Летом кочегаром на паровозе ездил. Это, кажется, ему было больше по душе.

— Почему же сейчас на паровоз не идет?

— Сейчас, говорит, безработица.

— Какая безработица? — махнул рукой Женя. — Сейчас транспорт развивается. Мы закупаем паровозы в Швеции. Получаем новые сормовские паровозы. В депо требуются кочегары, машинисты, помощники машинистов.

— Хорошо, что ты сказал. Надо будет сказать ему, — ответил я.

— Мамуся, — обратился Женя к матери, — Коля собирается снять научную кинокартину «Алгебра в два счета для дураков». Он поможет мне одолеть эту науку.

— А вы хорошо учились по алгебре в школе? — спросила Мария Гавриловна.

— Хуже некуда! — ответил я. — Но это как раз и ценно, потому что я теперь знаю, на чем обычно спотыкаются изучающие этот предмет. А вообще — это не наука, а, как говорил Манилов Чичикову, в некотором роде совершенная дрянь, чепуха, выдуманная, чтоб пугать маленьких детей. А взрослому человеку надо только растолковать, в чем секрет фокуса, глядишь — и самого фокуса нет: просто ловкость рук, мыльный пузырь, просто фу-фу, как говорил Чичиков.

— Это ты уж загнул, — сказал Виктор. — Про мыльный пузырь Чичиков не говорил.

— Но про фу-фу говорил?

— Про фу-фу говорил. Это точно, — согласился Виктор. — И еще он говорил: «Какой же русский не любит быстрой еды?»

Этой шуткой он до слез рассмешил Марию Гавриловну, которая только и делала, что подсовывала нам чего-нибудь поесть, и, казалось, была очень довольна, что мы с Виктором уписывали все с истинно студенческим аппетитом.

О многом мы болтали в тот вечер. Прощаясь, Мария Гавриловна просила нас с Виктором приходить. И это была не просто вежливость.

Я возвращался в студенческое общежитие, где тогда жил, и у меня было такое чувство, словно я возвращаюсь из своего прошлого, из своего детства, куда так неожиданно для себя вдруг попал.

ТАЙНА

Обычно по субботам я приезжал на воскресенье домой. И не только для того, чтобы побыть с родными, но и, как говорится, в рассуждении, чего бы покушать, потому что жили мы с братом на одну стипендию. На одну в буквальном смысле слова, так как стипендию получал только я. В те времена стипендиями обеспечивали не всех студентов подряд, а лишь членов профсоюзов, рабочих с производственным стажем, беднейших крестьян, так называемых незаможников. Брат же ни под одну из этих категорий не подходил.

На этот раз у меня еще была цель: поговорить с отцом относительно появившейся возможности поступить работать на железную дорогу. Я не знал, как приступить к этому разговору, потому что отец не любил, когда его, как он выражался, начинали учить жить. В эту субботу к тому же отец явился домой с новыми проклятиями по адресу своего постоянного невезения. На этот раз невезение заключалось в том, что его приятель Демка решил окончательно вернуться к себе в Венгрию. Неодолимая сила уже давно тянула его в родные края. Распадался, таким образом, еще один процветавший «художественный ансамбль». Подыскать замену такой бесшабашной головушке, как Демка, по всей очевидности, было трудно.

Я подождал, когда отец понемногу уgomонится, и начал разговор издалека.

— Тебе Мария Гавриловна велела кланяться,— говорю.

— Какая Мария Гавриловна?

— Зотова.

— А, это у которой с сыном что-то случилось?

— Ничего,— говорю,— с ним не случилось. Объяехал на

пароходе полсвета, теперь на железной дороге работает кочегаром. Доволен. На паровозе, говорит, лучше. Не то что в море!

— Да уж, конечно.

— Только не каждого туда и берут,— говорю.— Я, помню, хотел на железную дорогу хотя бы путевым ремонтным рабочим устроиться,— не взяли. Сказали, что только членов профсоюза железнодорожников принимают. Это законно, по-твоему? Чтоб стать членом профсоюза железнодорожников, надо на железной дороге поработать, а чтоб поработать на железной дороге, надо членом профсоюза железнодорожников быть. Заколдованный круг!

— Ну, на железной дороге свои правила,— сказал отец.— У членов профсоюза железнодорожников привилегии. Бесплатный проезд, например. Напринимай всех в профсоюз, а потом катай всех бесплатно!

— Ну и получили пилюлю! — говорю.— Паровозов в Швеции накупили. Машинисты требуются, кочегары, а их нет. Вот и стоят паровозы без дела...

— Какая чепуха!

— Вот тебе и чепуха! — говорю.

Мать вмешалась.

— Ты бы пошел,— говорит.— Хотя,— она махнула рукой,— тебя не возьмут.

— Это почему же? — вскинулся отец.

— От тебя винищем за версту разит. Разве пьянице паровоз доверят?

— Какой же я пьяница? Если выпью когда, то разве что для компании.

— Все алкоголики так говорят.

— Ну вот: я уже алкоголик! Я член профсоюза железнодорожников. Меня не имеют права не взять.

— Какой же ты член?

— У меня профсоюзный билет есть.

— Так там уже забыли, что у них такой член. Ты и членских взносов не платишь.

— Я безработный. Имею право не платить.

В общем, разговорная машина была пущена в ход, и в конце концов уже не мать говорила, что отцу надо на паровоз идти, а отец матери.

В конце концов он все же пошел в депо, где встретил многих старых знакомых. Его приняли на должность кочегара. Отец попросился на нашу линию, то есть на линию, которая шла через Ирпень. Когда я в следующий раз приехал домой, малыши, то

есть Лялька и Бобка, ходили надувшись от гордости, словно два индюка.

— Папка будет на паровозе работать! — таинственно сообщил мне Бобка и, переглянувшись с Лялькой, добавил: — Видал миндал?

Это такое присловие было у отца. Малыши подхватили его и теперь к каждой своей фразе добавляли этот «видал миндал».

— Будет машинистом! — сказал Бобка.

— Видал миндал! — ответила Лялька. — Кочегаром!

— Ну, сначала кочегаром, а потом машинистом. Видал миндал?

— Видал миндал! — ответила Лялька. — В машинисты сразу не берут. Сначала помощником машиниста.

— Ну, помощником машиниста, а кто главнее, по-твоему, машинист или кочегар?

— Конечно, машинист.

— Много ты понимаешь! Кочегар важнее. Видал миндал?

— Смотрите на него! Видал миндал! Машинист управляет машиной!

— А без кочегара паровоз все равно не поедет. Вот тебе и видал миндал!

Не зная, что сказать, Лялька просто дала Бобке по шее, спросив при этом, видал ли он миндал.

Бобка ответил ей тем же и тоже спросил про миндал. Некоторое время они просто тузили друг друга и только было слышно:

— Видал миндал?

— Видал миндал?

В это время пришел отец и спросил, из-за чего шум. Драчуны бросились к нему со слезами на глазах.

— Вот скажи, кто главнее на паровозе: машинист или кочегар? — перебивая друг друга, спрашивали они.

— Оба главнее, — попробовал отшутиться отец.

— Нет, ты скажи.

— Я и говорю. У машиниста свои обязанности, у кочегара — свои. Ты, наверно, думаешь, что у кочегара только и дела, что уголь в паровозную топку лопатой бросать? — спросил он Бобку.

— Да, — наивно отвечал Бобка.

— Как бы не так! А за температурой кто должен следить? Кочегар! А за давлением в паровом котле? Опять кочегар. А колосники кто должен прочистить?

— Какие колосники?

— Подрастешь — узнаешь! — не вдаваясь в подробности, ответил отец. — А трубы продуть? А нагар снять? А запас воды в тендере сделать?

— А разве воду в тендере возят? — спросила Лялька.

— А ты думала, в чайнике? — рассмеялся отец. — А каменный уголь в топке разжечь? Вы, может быть, думаете, что уголь в топке как дрова в печке — сунул спичку, они и горят?

— А разве нет?

— Вот я вам принесу с паровоза кусок угля. Вы его бросьте в печку. Увидим, загорится он у вас или нет.

На следующее утро, заслышав грохот колес проносящегося по мосту поезда, малыши с визгом выскакивали из дома и, остановившись на пригорке у края обрыва, махали руками вслед проносившимся поездам.

Я в тот день в институт не поехал, сейчас уже не помню почему. Кажется, простудился и прихворнул. Малыши учились во вторую смену и после обеда убежали в школу. Днем пригородные поезда ходили редко. До наступления темноты из Киева должен был пройти еще только один трехчасовой поезд. Мать что-то шила, пристроившись у окна. Я заметил, как она не то нетерпеливо, не то тревожно поглядывает на стрелки стенных часов. Потом накинула на плечи свое ветхое осеннее пальтецо, пошла в сарай и вывела на пригорок козу. Была поздняя осень. Трава на пригорке увяла. В окно я видел, как коза опускала голову вниз, нюхала увядшую траву, потом поднимала голову кверху и заглядывала в глаза матери, будто хотела спросить, зачем она ее сюда привела.

Но вот со стороны моста послышался грохот. Выскочив из-за прибрежных ив, поезд помчался по железнодорожной насыпи. Мать подняла руку, словно хотела поправить платок на голове, застенчиво огляделась по сторонам и робко помахала рукой навстречу приближавшемуся паровозу. Из окошечка паровозной будки кто-то высунулся и замахал рукой, в которой трепетал на ветру зеленый железнодорожный флажок.

Отгрохотал, затих исчезнувший за поворотом дороги поезд. Мать вернулась домой. Украдкой вытерла набежавшие на глаза слезы. Я сделал вид, что ничего не заметил.

В ту же ночь выпал снег и уже не сходил с земли до самой весны. Были морозы и оттепели. Были метели, и вьюги, и снежные заносы, задерживавшие движение поездов.

И прошло полгода. И снова была весна. И покрылась новеньким зеленым ковром земля. И зазеленели свежей весенней зеленью деревья вокруг.

И было ослепительное апрельское утро. Мы с отцом шли на станцию. Он ехал на работу, я — в институт. И он сказал:

— У меня сегодня торжественный день. Уже не кочегаром поеду, а помощником машиниста. Теперь уже смело могу сказать, что трудности позади.

— Трудно было кочегарить? — спросил я.

— Кочегарить было нетрудно. Трудно было человеком стать.

— Как это? — сделал я вид, что не понял.

— Все тянуло к старому, понимаешь! Спасибо, мать помогла!

— Как же она помогла?

— В первый же день она вышла на бугор перед домом и помахала рукой. И не знаю, почему эта картина так взволновала меня. На следующее утро у меня было, однако ж, такое настроение, что впору бросить все и пойти обратно в этот вертеп с его пьяным угаром, к которому я привык за столько лет. Но я задумал: поеду еще раз; если мать выйдет снова, значит, такова судьба — останусь на паровозе.

— И она вышла?

— Вышла. И представь себе: с тех пор каждый раз — и в снег и в мороз, и в метель и в дождь — что бы ни было, она выходит на пригорок и машет рукой. Теперь вот — поверишь? — уже месяц меня совершенно не тянет к вину. И я знаю: больше уже и не потянет. Я свободный человек. Поезжу годик помощником и стану машинистом. Так что все впереди! И запомни: мы чувствуем, что счастье было, когда оно уходит от нас. Но не чувствуем, когда оно есть. Не надо гневить судьбу. Я счастлив.

— Вот видишь, как вышло, — сказал я. — Пока ты верил, что тайна на дне колодца принесет счастье, оно отворачивалось от тебя. А теперь, когда на дне колодца нет тайны, счастье пришло.

— Почему же теперь нет тайны?

— Ну, мы с Павлушкой золото вынули.

— Золото вынули, а тайна осталась, — ответил отец. — Когда в день нашей свадьбы мы с матерью бросили в колодец это золото, каждый из нас задумал желание, и мы дали обещание прийти в день нашей золотой свадьбы, то есть через пятьдесят лет, к колодцу и сказать друг другу, что каждый задумал.

— И вам ни разу не хотелось сказать, что вы задумали?

— Хотелось, конечно. Терпеть трудно. Но сказанное легко забывается. А то, что нужно хранить в тайне, помнишь крепче. Вот мы и терпим оба. И хочется дожить, чтоб сказать...

Так мы разговаривали в тот раз.

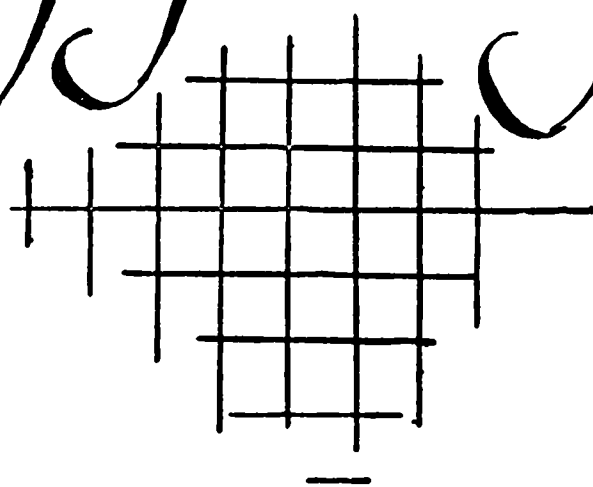
И я навсегда запомнил тот разговор.

И куда бы я ни поехал с тех пор, где бы я ни был, я вижу картину.

Я вижу мчащийся по рельсам поезд. Я вижу пригорок и стоящую на краю обрыва маленькую женщину. Она машет рукой поезду, уносящемуся вдаль.

Я вижу старый колодец. И я вижу мужчину и женщину с белыми, словно в снегу, головами. Они идут по зеленой траве, взявшись за руки. Так ходят маленькие детишки, боясь потеряться в этом странном мире, где мы с вами живем. Я вижу, как они подходят к дряхлому полуразвалившемуся колодцу и долго стоят с непокрытыми головами. И я вижу, как он наклоняется и что-то шепчет ей на ухо. И я вижу, как, обхватив его за шею руками, она что-то шепчет в ответ. Но я не слышу, о чем они говорят. Это тайна.

Повестъ о моём друге Игоре





Глава первая

МЕЖДУ ГОДОМ И ДВУМЯ

«Дидя, ву!»

Вечер 31 декабря 1963 года. Я держу Игоря на руках перед наряженной новогодней елкой. Он тянется ручонками то к сверкающему стеклянному шару, то к светящейся лампочке и кричит, захлебываясь от восторга:

— Дидя, ву! Дидя, ву-у!

Он называет меня не деда или дедя, как обычно зовут своих дедушек другие ребята его возраста. Я у него почему-то «дидя». Я не возражаю против такого названия. Наоборот, оно мне даже нравится. Во всяком случае — оригинально.

Интересно то, что он не кричит просто «Ву!», или «Во!»,

Печатается с сокращениями.

или «Ва!», выражая радость по поводу увиденного предмета. Нет, ему хочется, чтоб и я порадовался вместе с ним.

А поделиться радостью с другим — разве это не проявление чувства дружбы, которое доступно ребенку уже в тот период, когда он начинает произносить свои первые слова?

Первые слова

Первые его слова — это, конечно, «мама» и «папа», которыми он может выразить, однако ж, гораздо больше того, что они означают.

Увидел на диване мамины перчатки и сказал, улыбнувшись:
— Мама!

Нашел на полу гвоздь и, протянув его мне, сказал с какой-то серьезной значительностью:

— Папа!

(Папа в те дни оборудовал дома фотолабораторию и часто имел дело с молотком и гвоздями.)

Без сомнения, слово «мама» обозначало в данном случае не саму маму, а то, что увиденный предмет принадлежит маме, а слово «папа» могло означать, что найденный гвоздь нужен папе, пригодится папе, что его нужно отдать папе или что-нибудь в этом роде.

Одним словом

Петя и Лида уезжают с Игорем от нас домой. Таня дает Игорю заранее припасенный для него большой апельсин. Игорь держит апельсин в руках и как зачарованный смотрит на него. Он явно наслаждается ярким, необычным оранжевым цветом этого нового для него предмета, его непривычным, новым, приятным запахом. Интерес у него к апельсину, видимо, исключительно эстетический. Он и не пытается его съесть. Показывает апельсин отцу и говорит голосом, в котором слышится какое-то глубокое чувство:

— Баба!

Показывает апельсин матери и говорит тем же тоном:

— Баба!

Вернувшись домой, Петя позвонил мне по телефону и рассказал, что Игорь всю дорогу не расставался с апельсином. И сейчас апельсин у него в руках. Игорь то и дело показывает его и твердит:

— Баба!

Он, конечно, хочет сказать, что это бабушка подарила ему такую изумительную вещь, как он доволен, что эта прекрасная вещь есть у него, как он благодарен бабушке, и, может быть, еще многое, уже доступное его чувствам, но еще недоступное языку.

Умение найти выход из трудного положения

Игорь нашел на полу какой-то крошечный черный кружок и протянул мне.

— Что это? — задумался я вслух. — Какой-то кружочек.

— Биби, — говорит Игорь.

— Как — биби? — говорю. — Автомобиль разве такой? Ты ведь знаешь, какой автомобиль.

— Биби, — настойчиво повторяет Игорь.

Тут только я понял, что это было колесо, отломавшееся от игрушечного автомобильчика. Именно это Игорь и хотел сказать словом «биби».

В другой раз вытащил из чулана завалившуюся за шкаф тарелку и сказал:

— Ням-ням.

Ясно!

Дома у него стоят у дверей миниатюрные валеночки с крошечными галошками. Думаю: знает ли он такое слово, как «валенки»? Спрашиваю:

— Что это?

Не задумываясь, отвечает:

— Тпруа.

Тоже понятно, так как «тпруа» на языке почти всех малышей означает глагол «гулять».

Однажды увидел на улице брошенную кем-то изношенную женскую туфлю, нагнулся над ней, осмотрел деловито и определил:

— Баба.

Наверно, решил, что Таня как-нибудь проходила по улице и потеряла с ноги туфлю.

В четырех словах

Петя и Лида приехали после работы с Игорем. Спустя некоторое время мы все вместе решили пойти с Игорем погулять. Увидев, что пальто надеваем и мы с Таней, а не только отец и мать, Игорь обрадованно стал твердить:

— Мама, папа, баба, дидя!.. Мама, папа, баба, дидя!..

На улице он то и дело останавливался посреди тротуара и торжественно, с чувством произносил:

— Мама, папа, баба, дидя!!!

Обычно он гуляет с папой или с мамой, в каких-то случаях с ними двоими. И тут вдруг в его жизни впервые такое происшествие: все четверо пошли с ним гулять. Для него это целое событие, отношение к которому он и выразил имевшимися в его запасе словами:

— Мама, папа, баба, дидя!

Абстрактное мышление

Ему еще не было и года, но он уже узнавал на рисунке кошку или собаку и говорил: «Киса» или «Ав-ав». При этом рисунок мог быть крайне условным и даже силуэтным.

Уже давно отвечает на вопросы:

— Как кошечка говорит?

— Мяу!

— А собачка?

— Ав! Ав!

— А как воронка?

— К-р-р-р!

— Как зовут уточку?

— Вутя-вутя!

Хлеб, как белый, так и черный, любое печенье, плюшки, слойки, баранки, пироги, ватрушки, пирожное объединяются у него под названием «бум-бум». Вода, чай, какао, сидро, фруктовые соки — вообще все, что пьется, а также сам глагол «пить» — носят обобщающее название «теа-теа». Мясо, котлеты, колбаса, сосиски — вообще все мясное — обозначаются симпатичным словечком «типти». Конфеты, шоколад, мармелад, пастила и т. п. называются «ака». А вот еда вообще, в широком смысле, в том числе сам глагол «есть», и даже тарелки, миски, кастрюли, как предметы, относящиеся к еде, еще более широко обобщаются под словом «ням-ням».

Последнее время много пишут о том, что детей в школе теперь будут учить обобщать и абстрактно мыслить. А зачем, хотелось бы знать, когда это они и без того умеют.

Множество слов ребенок знает, не умея, однако, произнести их. Игорь может показать, где у него глазки, носик, ротик, ушки, ножки, хотя произнести этих слов не умеет. Может показать, где дверь, где окно, стол, стул, кровать. Может показать, где часы, причем покажет и ручные, и будильник, и стенные. На рисунке или фотографии правильно покажет, где дядя (то есть мужчина), где тетя (женщина). Если сказать ему: «Принеси молоток», он принесет именно молоток, а не клещи или же ложку.

Нетрудно заметить, что знание предметов (их назначение, свойства) и потребность наименовать их появляются у ребенка раньше, чем он научится произносить нужное название. Любопытно, что ребенок самостоятельно ищет способы выразить свою мысль, изыскивая для этого какие-то свои средства, которым, кстати, его никто и не учит.

Увидев однажды на кухне кусок мыла, Игорь показал на него пальцем и стал страдальчески морщить лицо, жмурить глаза, тереть их руками, трясти головой, словно желая показать этим, что ему уже знаком этот зловерный предмет, от которого так мучительно щиплет глаза. Совершенно очевидной была потребность что-то сказать, но так как слов не было, он обозначил знакомый ему предмет жестами, мимикой, движениями своего тела.

— Это мыло,— говорю я.— Скажи: «Мы-ло».

Но он только показывал пальцем на мыло, на глаза, жмурился и тряс головой, как котенок, на которого случайно брызнули водой.

Сколько я ни старался, он так и не смог произнести слово «мыло».

На другой день мы были с ним в комнате. Вдруг на кухне что-то глухо стукнуло, ударившись о пол. Игорь тут же стал морщиться, жмуриться, показывать на глаза пальцем.

— Что с тобой? — забеспокоилась Таня.

— Мы...

— Что «мы»?

— Мы...

Придя на кухню и убедившись, что с полки свалился на пол кусок мыла, мы догадались, что Игорь хотел сказать «мыло», но сумел произнести только первый слог этого трудного для него, нового слова.

Удивительно, однако, что он догадался, что упало именно мыло, а не какой-нибудь другой предмет.

Хороший способ

Итак, изобретен очень хороший способ употреблять новые слова, произнося лишь один первый слог. «Мыло», таким образом, у Игоря — это «мы», «молоко» — «мо», «камешек» — «ка», «клюшка» — «кю», «пуговица» — просто «пу» и т. д.

Однажды приходит ко мне:

— Баба, пу.

Никак не додумаюсь, что бы это могло означать. А он все свое:

— Баба, пу.

Пришли к Тане.

— Что он тут все твердит: «Баба, пу»? — спрашиваю.

— А это он нашел где-то пуговицу и отдал мне, чтоб я спрятала.

Тут только я вспомнил, как недели две назад он нашел на полу пуговицу, а я, боясь, как бы он не проглотил ее, велел отнести бабушке. Он со всей серьезностью выполнил это ответственное поручение. А поскольку Таня похвалила его, погладила по головке, сказала спасибо и аккуратно спрятала пуговицу в шкатулку, он, видимо, пришел к выводу, что пуговицы для нее являются большой ценностью. На этот раз, найдя на полу пуговицу, он уже самостоятельно решил отдать пуговицу ей, о чем и доложил мне:

— Баба, пу.

«Баба, пу» в данном случае означало, конечно: «Я нашел пуговицу и отдал бабушке, как в тот раз, когда ты велел мне».

«Тук»

Забавляя Игоря, я подбрасывал кверху плюшевого медвежонка и ловил его. Неожиданная способность мишки летать по воздуху ужасно понравилась Игорю. Один раз медвежонок подлетел на такую высоту, что стукнулся о потолок. Это так обрадовало Игоря, что он принялся хохотать, и каждый раз, когда я подбрасывал медвежонка, просил:

— Тук! Дидя, тук!

Запоминает дорогу

Петя рассказывал, что, когда едут к нам на Киевскую улицу по Кутузовскому проспекту и поворачивают у светофора в Пятый Можайский переулок, Игорь всегда говорит:

— Дидя.

Что означает: «К дедушке».

Однажды проезд в Пятый Можайский был закрыт, пришлось ехать по Кутузовскому проспекту дальше, чтоб повернуть потом. Когда проехали привычный поворот, Игорь встревожился, заволновался, стал кричать:

— Дидя! Дидя!

И не успокоился до тех пор, пока кружным путем не подъехали к нашему дому, но уже с другой стороны. Тут только на его лице появилась улыбка.

«Бононо»

Очень любит бегать босиком. Когда его переобувают, обычно брыкается, пытается вырваться, чтоб побегать по полу без ботинок, и нетерпеливо кричит:

— Бононо!

Когда ему наконец удастся вырваться из рук ошалевших родителей, он бежит по всей комнате, стуча с видимым удовольствием голыми пятками по полу и издавая торжествующий клич:

— Бононо! Бононо-о-о!!!

«Бононо» на его языке означает «босиком».

Работа мысли

Я зажал в кулаке одну из крошечных пластмассовых машинок, которыми он часто играет, и говорю:

— Угадай, что у меня в руке?

— Шар.

Это он вспомнил, очевидно, что до этого мы прятали друг от друга и искали металлический шарик от детского бильярда.

— Нет, не угадал,— говорю.

— Кла-кла,— говорит он.

«Кла-кла» — значит, конный оловянный солдатик — кавалерист.

— Нет,— говорю.

— Дядя?

«Дядя» на его языке — это пеший солдатик — пехотинец.

— Нет! — торжествую я.

Долго думает... Я уже хочу раскрыть секрет, а он говорит вдруг:

— Биби.

Додумался все-таки, какой мелкий предмет, имеющийся в его обиходе, может скрываться в руке. Значит, мысль его уже работает, рыщет среди знакомых образов и названий, помнит их, перебирает в памяти, сопоставляет и пр.

Как шутят, когда еще не исполнилось двух лет

Играем с пластилином.

— Сделаем колбасу,— говорю.

Скатал ему из пластилина длинную колбаску. Игорь взял ее, раскрыл широко рот, делая вид, будто хочет откусить кусочек, а сам искоса, лукаво поглядывает на меня. Заметив, что моя рука невольно тянется, чтоб отнять у него эту «колбасу», расплывается в улыбке.

А вот любимая его шутка. Берет со стола тарелку, поднимает над головой и делает вид, что хочет с размаху бросить на пол. Увидев у окружающих выражение ужаса на лице, громко смеется и, довольный своей шуткой, ставит тарелку на стол.

Самое длинное слово

Самое длинное слово у него — это «апельсин». Но и его он произносит на свой лад.

Гуляли с ним во дворе. Он увидел на снегу брошенный кем-то кусочек апельсиновой кожуры, наклонился над ним, внимательно осмотрел и объявил во всеуслышание:

— Нипелин!

«Маня»

Помимо специфических детских слов вроде: «ава», «типти», «бай-бай», «ням-ням» и слов, обозначаемых лишь первым слогом, у него есть и обычные, общеупотребляемые слова, которые он произносит, однако, на свой младенческий лад, упрощая

трудные для него окончания. «Банка» у него — «баня», «щетка» — «щоня», а себя он называет почему-то «маня».

Занимаемся с ним рисованием. Рисую ему автомобиль. Он берет карандаш, пририсовывает в переднем окне автомобиля вертикальную черточку. Говорит: «Папа». Во втором окне рисует черточку поменьше. Говорит: «Мама». Рядом с папой рисует маленькую закорючку. Говорит: «Маня».

Это значит — он с мамой и папой в автомобиле.

Если его спросить, показав на отца:

— Это кто?

Скажет:

— Папа.

— А это?

— Мама.

— А это?

— Баба.

— А ты кто?

— Маня.

Как узнать, что это слово у него значит? У него нет в языке средств объяснить это. Он знает, что он — «маня», и это все. Я думаю, что «маня» — это мальчик или, может быть, маленький, или малютка, как обычно зовет его Таня.

«Пока»

Родители научили его говорить, прощаясь, «пока». Это для него, конечно, несравненно легче, чем длинное «до свидания». Теперь этим своим «пока» он смешит всех родных и знакомых, и даже незнакомых: лифтерш в подъезде, продавщиц в магазинах, шоферов такси. Однажды насмешил даже милиционера, который хотел оштрафовать его отца за нарушение правил езды на автомашине.

Удивительна та изобретательность, с которой только начинающий говорить ребенок использует каждое новое слово для выражения своих мыслей. Обычно, бывая у нас, он старается втянуть в игру весь имеющийся в наличии людской состав, то есть не только меня, но и Таню с Тamarой. Иногда, однако ж, у него появляется желание играть с кем-нибудь одним, уединяясь в комнате и даже закрывая дверь, чтоб никто не мешал. В таких случаях, если появляется кто-нибудь непрошенный, он бесцеремонно выталкивает его из комнаты, упираясь руками в живот.

Однажды мы с ним играли, катая по полу мячик. Он очень

увлекся этой новой для него игрой. Вдруг открывается дверь, и в комнату заглядывает Тамара. Остановившись посреди игры и нетерпеливо махнув рукой, Игорь бросает вдруг совершенно неожиданную фразу:

— Тетя, пока!

— Что «пока»? — недоумевает Тамара. — Ах, «пока»! Ну, пока так пока. Ха-ха!

Стараясь показать себя человеком необидчивым, покладистым, она закрывает дверь и удаляется, оставляя нас вдвоем.

И действительно, зачем вскакивать, оставлять игру, грубо толкать кого-то в живот, стараясь выставить за дверь, когда достаточно сказать «пока», и умный человек поймет, что от него требуется.

«Мимо»

Играя, Игорь бросал в ванну с водой солдатиков. Один раз промахнулся. Увидев, что солдатик упал на пол, Игорь сказал:

— Мимо!

И засмеялся.

Вечером, когда уходил домой, на него надевали пальто. Он не попал рукой в рукав и опять сказал:

— Мимо...

Но на этот раз не смеялся, может быть, потому что устал и хотел уже спать.

Несколько дней спустя гуляли с ним в парке. Развлекались тем, что пускали бумажные лодочки в ручье. Берег был высокий, поэтому лодочки приходилось просто бросать сверху. Одна из лодочек упала в воду вверх дном.

Увидев такую неудачу, Игорь и тут сказал:

— Мимо!

Не совсем точно, правда, но что сделаешь, когда маловато в запасе слов! Более подходящего не нашлось.

«Закири»

В его словаре почти одни существительные да междометия. Хуже всего обстоит с глаголами. Если ему надо сказать кому-нибудь: «Иди сюда» — он просто берет за руку и тащит. Если надо сказать: «Уходи» — просто выталкивает без цере-

моний. Один глагол он все же хорошо знает. Очень любит прятаться в шкаф, так, чтоб его закрыли дверцей снаружи. Залезет в шкаф и кричит:

— Закири! Закири!

«Баба, киса»

Очень любит нашего кота Мурзика, которого называет «киса». Приседает на корточки и, склонив голову набок, заглядывает коту в глаза. Или ложится на пол, обнимает кота за шею и пытается поцеловать. Очень сердится, когда Мурзик не желает общаться и удирает. Чтобы умиловить своего любимца, угощает его киселем, яблоком, апельсином. Видя, что кот не прельщается этими лакомствами, выстраивает перед ним своих оловянных солдатиков, ставит перед ним свои игрушечные автомобильчики, воображая, что кот станет играть с ним в солдатики или катать автомобильчики. Исчерпав все возможности, приносит хоккейную клюшку и с размаху хочет треснуть ею беднягу Мурзика.

Однажды родители оставили Игоря у нас, но к вечеру запоздали. Ему пора было спать. Он закапризился. А когда родители наконец прибыли, он не захотел одеваться, расплакался. Ничем нельзя было его унять. Таня принесла его любимца Мурзика, но на этот раз Игорь даже смотреть на него не хотел.

Тогда Таня щелкнула пальцами и скомандовала:

— Мурзик, гоп!

По этому сигналу Мурзик всегда прыгал ей на плечи.

Увидев такой цирковой номер, Игорь моментально умолк. Расплывшись в улыбке, он с удивлением смотрел, как Мурзик, распушив поднятый кверху хвост, ходит по плечам Тани. Еще глаза его были полны слез, а он уже громко смеялся. Насмеявшись, сказал:

— Баба, киса.

Все огорчения были забыты. Он безропотно позволил надеть на себя пальто, шапку, обвязать шею шарфом. На прощание я поцеловал его, а он потянулся к Тане и сказал:

— Баба.

Таня нагнулась к нему, и он, обняв ее за шею, крепко поцеловал.

А вообще-то он не большой любитель всяких телячьих нежностей, в том числе и поцелуев.

«Да» и «нет»

Удивительно, до чего много можно сказать при помощи всего двух слов «да» и «нет», даже если произносить их, как это делает Игорь, на один лад:

— Ам!

«Да» — это «ам» спокойное, протяжное, «нет» — «ам» резкое, короткое.

— Хочешь колбаски?

— А-а-ам.

— А кисель будешь есть?

— Ам!

— Ты с кем ездил к бабушке Мане? С мамой?

— А-а-м.

— А папа ездил с вами?

— Ам!

С помощью этого «ам» с ним можно разговаривать на любые темы, нужно только умело ставить вопросы. Вскорости, однако, уже вместо «ам» он вполне членораздельно произносит и «да» и «нет». Даже строит с их помощью свои первые фразы.

Однажды, отправляясь гулять, оказывал упорное сопротивление, когда я хотел надеть на него пальто.

— Дидя, нет! Дидя, нет! — настойчиво твердил он, отбиваясь от ненавистного ему пальто.

Увидел раз, что Таня наливает ему чаю, и сказал:

— Баба, чай нет.

Это, конечно, значило, что он не хочет чаю.

В другой раз подставил стул и полез на письменный стол за каким-то заинтересовавшим его предметом.

— Упадешь, — говорю ему. — Бух!

— Я бух нет, — отвечает.

Как-то уходя от нас с отцом домой, он твердил по установленному им же самим обычаю, прощаясь с каждым в отдельности:

— Баба, пока! Дидя, пока! Тетя, пока!

Петя с усмешкой спросил:

— Может быть, ты еще скажешь и «Папа, пока»?

— Папа пока нет, — быстро, не задумавшись ни на секунду, ответил Игорь.

Удивляет то, что он не только сумел построить фразу, вполне выражавшую его мысль, использовав имевшиеся в наличии крайне скудные языковые средства, но и правильно понял вопрос, заданный в условной, даже иронической форме.

Хитрость

Еще и двух лет не исполнилось, а уже научился хитрить! Очень понравился ему витамин «С» с глюкозой. Съел две таблетки и еще просит.

— Больше нельзя,— говорю.

— Бабе,— просит он, протягивая руку.

— Ну ладно,— соглашаюсь,— отнеси бабушке.

Дал ему штучку. Он понес ее Тане, показал, не выпуская из рук, и сказал:

— Маме.

Понес маме, но, не дойдя до нее, сунул таблетку в рот. Потом вернулся ко мне и говорит:

— Папе.

— Нельзя,— говорю,— ты уже много съел.

— Папе.

«Ну,— думаю,— посмотрю, что будет». Дал еще таблетку. Он понес ее папе, но не пройдя и половины пути, положил таблетку в рот.

Вот и верь после этого людям!

Когда мы начинаем понимать юмор?

Начал почему-то отца звать «Петя», а мать — «Лида». Может быть, потому что слышит, что они сами так называют друг друга. Я уже у него не просто «дидя», а «дидя Ко», или «дидя Коля», в отличие от другого дедушки Тимы. Таня теперь не просто «баба», а «баба Таня», в отличие от другой бабушки Мани. Тетя Тамара в отличие от других всяческих тетей — «тетя То», или «тетя Тома». Возможно, для единообразия в наименованиях начал и отца звать папа Петя, а мать — мама Лида.

Однажды разглядывал фотоснимки и называл, кто снят: «Папа Петя, мама Лида, дидя Коля, баба Таня». Потом по ошибке, показав на мою фотографию, сказал:

— Баба Коля.

Тут же взглянул на меня растерянно и громко расхохотался.

В другой раз чем-то сильно увлекся, играя, и, обращаясь ко мне, сказал:

— Дидя баба.

И опять засмеялся над своей ошибкой.

Если судить по Игорю, то мы начинаем понимать юмор уже в возрасте до двух лет. Причем юмор в высшем его проявлении, когда человек способен смеяться над самим собой.

Выражение благодарности

Однажды Игорь увидел у нас на кухне кусок свежего туалетного мыла очень красивого синего цвета. Весь день не расставался с этим мылом, то и дело повторяя:

— Мыло си.

Или:

— Мыло сине.

Пришлось Тане подарить ему этот кусок мыла.

Когда приехал отец, Игорь показал ему подарок и сказал:

— Мыло дом.

То есть возьмем мыло домой, оно мое, мне его подарили.

— А ты сказал бабушке спасибо? — спросил отец.

Игорь подошел к Тане и, прижав мыло к груди, сказал:

— Баба, мыло, спасибо!

Услышав, что все его хвалят за вежливость, он еще раз подошел к Тане и сказал:

— Баба, спасибо, мыло.

Первый рассказ о случившемся происшествии

Как-то утром Петя привез к нам Игоря, а сам быстро уехал: спешил куда-то. Не успев раздеться, Игорь начал твердить, как-то горячась и волнуясь:

— Папа, дядя, бензин дай! Дядя, папа, бензин нет!

Видя, что мы не очень-то его понимаем, он повторял эти две фразы, иногда лишь меняя порядок слов.

Мы, конечно, поняли, что по дороге у Петра кончился в машине бензин, и он попросил у встречного шофера немного бензина, но тот не дал. Когда Петр приехал, он подтвердил, что именно так и было.

Разговор Игоря теперь напоминает разговор индейца, знающего несколько слов из языка белых. Однако у индейца — ум взрослого человека, большой жизненный опыт, а также знание своего собственного языка, у Игоря ничего этого нет. Но с задачей все же справляется.



Глава вторая

ОТ ДВУХ ДО ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ

Лучший подарок

Третье мая 1964 года. Игорю исполнилось два года. На свой день рождения Игорь приехал с родителями к нам и сразу доложил:

— Сок.

Это значило, что он по дороге пил фруктовый сок.

Получил от всех подарки, среди которых разноцветные строительные кубики, заводной автомобильчик с сигналом (что сразу очаровало его), красный и синий воздушные шары.

Обычно, уезжая домой, он берет только те из подарков, которые больше понравились. И хотя больше всего на свете любит автомашинки (которые теперь уже начал называть не «биби»,

а машинками), на этот раз, уезжая, взял с собой лишь шары. Своей шаровидной формой, цветом, величиной и фантастическим стремлением вверх они произвели на него наиболее сильное впечатление. Хотя это был самый дешевый подарок, на который никто не возлагал никаких надежд, он оказался самым желанным.

«Я сам»

В свои два года Игорь довольно устойчиво держится на ногах, может самостоятельно передвигаться. Вообще у него большая, какая-то инстинктивная тяга к самостоятельности.

Играя с ним, копаю лопаткой песок.

— Я! Я! — кричит Игорь, стараясь отнять у меня лопатку.

— Ну хорошо, копай сам, — соглашаюсь я и отдаю лопатку ему.

Идем с ним по улице. Держу его за руку, но ему это почему-то не нравится.

— Я! Я! — кричит он и, вырвав руку, шагает впереди меня.

— Ну иди сам, — соглашаюсь я.

Он быстро усваивает слово «сам» и уже не кричит просто «я», а кричит «сам» или «я сам».

Обычно, спускаясь или поднимаясь по лестнице, я поддерживаю его за воротник пальто. Раньше он молча сносил такое унижение, но теперь протестует:

— Сам! Я сам!

Если я все же не отпускаю, он садится на корточки и сидит до тех пор, пока я не отпущу ворот.

Дома пытается вскарабкаться на стул. Хочу посадить его или хоть поддержать, чтоб не упал. Нет!

— Сам! Сам!

И даже пытается отпихнуть меня рукой.

Ну ладно, пожалуйста: сам так сам!

Взрослому и не понять, какое это достижение для двухлетнего малыша самостоятельно вскарабкаться на стул, а если со стула еще перебраться на стол, то и вовсе геройство.

Внимание

Приехав к нам и не видя Тамары, Игорь сразу спросил:

— Тетя Тамара?

Ему объяснили, что тетя Тамара на работе, скоро придет.

Пошли с ним гулять на пруд, пускали бумажные кораблики.

Когда вернулись домой, он опять сказал:

— Тетя Тамара.

Ему опять сказали, что тетя Тамара еще не пришла с работы, но скоро придет.

После обеда он лег спать и, проснувшись, сейчас же сказал:

— Тетя Тамара.

Узнав о таком внимании со стороны Игоря, Тамара была обрадована, поскольку из-за панибратского обращения Игоря с ней считала, что он относится к ней пренебрежительно.

Впервые в жизни

Мы с Петром и Игорем поехали в лес. Интересно наблюдать человека, впервые в жизни очутившегося среди деревьев. (Если Игорь и был в прошлом году в лесу, то ему исполнилось чуть больше года, и в памяти, естественно, никаких впечатлений не сохранилось.)

Нужно было перейти по доске через канаву. Игорь протянул мне руку и говорит:

— Пепереми, я — бух.

То есть переведи, я упаду.

В лесу увидел толкущихся в воздухе комаров и с какой-то уверенной безапелляционностью констатировал:

— Мухи.

Комары и на самом деле, в общем, похожи на комнатных мух, с которыми он уже достаточно знаком, комаров же ни разу не видел.

С мерным, довольно громким жужжанием между стволов деревьев медленно пролетел майский жук. Игорь с удивлением проводил его взглядом. Это было уже совсем что-то новое, поскольку по комнатам пока майские жуки не летают.

— Это жук,— сказал я ему.— Жук.

Отправились дальше. Игорь нашел под деревом сосновую шишку. С любопытством разглядывал ее.

— А это шишка,— сказал я.

Бережно спрятал шишку в карман.

Нашел в траве брошенный кем-то дырявый резиновый мяч. Поиграли этим мячом, наподдавая его ногами.

К вечеру на небе появился сверкающий, словно отлитый из золота серп луны. Увидев луну, Игорь удивленно стал показывать в ее сторону пальцем и кричать:

— О! О!

Должно быть, даже не знал, как назвать этот загадочный и

новый для него предмет. Возможно, он и видел луну в городе, но при вечернем городском освещении она, конечно, такого впечатляющего эффекта не производит.

— Это луна,— сказал я ему.

Домой шли вдоль канавы, с берега которой одна за другой плюхались в воду испуганные нами лягушки.

— Это лягушки,— сказал я, видя, что он заинтересовался производимыми лягушками звуками.

Он тут же принялся бегать вдоль канавы, пытаясь разглядеть в полутьме хоть одну лягушку. Не уверен, что это ему в какой-то мере удалось. Видимо, он все же решил, что лягушки — это что-то вполне симпатичное, заслуживающее внимания. Когда мы направились к ждавшей нас на шоссе машине, он помахал в сторону канавы рукой и сказал:

— Люлюшки, пока!

Дома Лида спросила его, что он видел в лесу. Он старательно перечислил:

— Мухи, жук, мяч, луна, шишка, люлюшки.

«Касабачка»

Очень любит колбасу, которую называет «касаба». К этой «касабе» у него очень нежное отношение, поэтому он часто называет ее не просто «касаба», а уменьшительно: «касабачка». Хотя в таком варианте слово искажено до неузнаваемости, но грамматически оно образовано правильно, то есть в соответствии с законами языка: если от слова «колбаса» можно образовать уменьшительное «колбаска», то от слова «касаба» получится не иначе, как «касабачка».

Теперь в нашем доме колбаса вообще переименована в «касабачку». Никто из нас не скажет:

— Хочется колбасы.

А:

— Хочется касабачки.

Или:

— Касабачку будешь есть?

Или:

— Какой касабачки купить: любительской или языковой?
И т. п.

Благодарность

Родители научили его говорить спасибо. Удивительно, что ребенок, которому исполнилось лишь два года, в совершенстве понял смысл благодарности.

Подошел как-то ко мне, протянул резиновый шарик, из которого вышел воздух, и попросил надуть. Надув шарик, я отдал ему. Он взял его и сказал:

— Спасибо.

Это «спасибо» удивило меня. Я-то воображал, что ребенок в этом возрасте способен поблагодарить за полученную конфетку или игрушку, вообще за что-нибудь имеющее материальное выражение. В данном случае он благодарил за труд, за внимание, за заботу, то есть за то, что, казалось, было выше его понимания.

Однажды попросил меня застегнуть ему верхнюю пуговицу на пальто, и, когда я исполнил его просьбу, он, ни на секунду не задумавшись, как бы машинально сказал:

— Спасибо.

И побежал играть.

В другой раз не мог сам открыть дверь. Я отворил ему. Тоже сказал:

— Спасибо.

Мылся однажды в ванне. Говорит:

— Горячо.

— Ну я прибавлю холодной,— говорю я.

Отвернул кран.

— Вот попробуй,— говорю.

Он протянул под кран руку, почувствовал, что вода стала прохладнее, и говорит:

— Спасибо.

В зоопарке он, увидев толпу у загородки с зеброй, попросил:

— Подними.

Я поднял его, так чтоб он мог рассмотреть зебру, и, когда опустил обратно на землю, он опять же сказал:

— Спасибо.

Играл во дворе с мячиком. Мяч выкатился за решетку забора на тротуар. Шедшая по улице женщина с хозяйственной сумкой в руках, видя, что он не может дотянуться до мячика, подняла его и просунула сквозь прутья ограды. Она была так удивлена, услышав от него «спасибо», что даже головой покачала. Постояла, глядя, как он с мячом играет, после чего сказала:

— До чего воспитанный! Это же надо!

Как-то играл он в парке в песочнице и попросил у какого-то малыша лопатку. Когда тот ему дал, Игорь сказал:

— Спасибо.— И добавил: — А ты мне скажи — пожалуйста.

Муха-Цокотуха

Петр рассказывал Игорю «Муху-Цокотуху» Чуковского: «Пошла муха на базар и купила чайник...»

Муха купила, конечно, самовар, но слова «самовар» Игорь не знает, а для чего нужен чайник — это он уже хорошо усвоил.

Дальше стихотворный текст Петр забыл и перешел на вольный прозаический пересказ сказки о том, как муха угощала жучков, паучков, комариков; дала им чаю...

— Сладкого,— подсказал Игорь.

Потом комарики забрались на стол и стали там танцевать.

Такая акция со стороны комариков очень развеселила Игоря. Он громко смеялся, очевидно наглядно представляя себе, как эти насекомые забрались с ногами на стол и отплясывали там, кто как умел.

Быстрое развитие речи

Однажды Петр вышел с Игорем на улицу. Игорь от него вырвался и побежал вдоль по тротуару. А навстречу шла незнакомая женщина и спрашивает:

— Да куда же ты это бежишь так?

А он только махнул рукой и говорит:

— Да ну тебя!

Через три недели

Мы с Таней ездили на три недели в Ленинград. Как только Игорь появился у нас, когда мы приехали, он сразу сказал:

— Утки, утки.

Это он вспомнил, как мы в последний раз перед отъездом ходили с ним в зоопарк и кормили хлебом уток в пруду.

Пока мы отсутствовали, в его речи произошли сильные изменения: я у него уже не «дидя», а «дедушка Коля», или просто

«дедушка»; Таня — не просто «баба», а «бабушка», или, как у него иногда получается, «бабочка».

Очень понравился ему миниатюрный кусочек душистого мыла, который Таня привезла из Ленинграда. Он раза три нарочно мыл этим мылом руки под краном, хотя терпеть не может умывания.

Решил взять мыло домой, но запротестовал, когда я положил мыло в пустой спичечный коробок. Дважды заставлял меня вынимать мыло из коробка и носил его, зажав в кулаке. Насилу я уговорил его положить мыло в карман. И то он поминутно совал руку в карман и проверял, лежит ли там мыло.

К дедушке

Лида рассказывала, что, когда мы уезжали в Ленинград, Игорь, лежа в постели, играл с автомашинкой: везет ее по подушке, потом поворачивает в сторону и говорит:

— Поехали к диде Коле.

Строгое соблюдение обычаев

Нежные родители приучили его целоваться при расставании. Теперь, ложась спать, он целует подаренную ему деревянную лошадку и просит отца:

— Поцелуй лошадку.

Однажды, когда родители уходили с ним от нас, он, находясь уже на лестнице, вдруг поднял отчаянный крик.

— В чем дело? — спрашивают его. — Что случилось?

— Я бабушку не поцелул!

Пришлось возвращаться обратно, чтобы он поцеловал бабушку.

Могут ли цветы ходить?

Приехал к нам на дачу. Увидел на клумбе цветы. С интересом глядел на них. Потом спросил:

— А они могут ходить?

Разговор с собакой

Лида взяла Игоря на руки и понесла показать ему сидевшую в конуре на заднем дворе собаку Джека.

Увидев собаку, Игорь сказал:

— Кости.

Он уже, оказывается, знает откуда-то, что собаки любят кости.

— Костей нет,— сказала ему Лида.— Будут — принесем.

— Собака,— со всей серьезностью обратился Игорь к собаке,— собака, костей нет, будут — принесем.

Можно не сомневаться: он думает, что собака понимает его слова.

Чтение мыслей на расстоянии

Пришла хозяйка, взяла у Тани оставшееся от обеда мясо и начала жаловаться, что собака стала плохо есть: зимой так хорошо ела, а теперь почти ничего не ест и очень исхудала, может быть, заболела.

Потом она ушла с мясом в руках, а когда вернулась, Игорь спросил:

— Собака ест мясо?

Оказывается, он сообразил, что хозяйка ходила отдать мясо собаке. Я же на это не обратил внимания, так как в разговоре прямо не говорилось, что она берет мясо для собаки.

«Я еду!»

Купили ему трехколесный велосипед самого крошечного калибра. Быстро выучился вертеть ногами педали. Катит по асфальтовой дорожке от ворот к дому. Вдруг увидел шагах в двадцати вышедшую на крыльцо Таню и как закричит:

— Бабочка, осторожно! Я еду!

Дальше дорожка была неровная. Он и говорит:

— Дорога поломатая.

Классификация деревьев

Были в лесу. Показывает на березу:

— Что это?

— Береза,— говорю.

Показывает на другую березу:

— Это что?

— Береза.

Показывает на третью березу:

— А это?

— Тоже береза.

Показывает на четвертую:

— А это?

Петр не выдержал:

— Ты же сам видишь, что береза! И то береза, и это береза, и это тоже береза.

Показал Игорю новую березу и спрашивает:

— Что это?

— Береза,— отвечает Игорь.

— Правильно! А вот это — сосна.

Возможно, Игорь вначале думал, что каждая береза называется как-нибудь по-иному, то есть имеет свое название, собственное имя, вроде как человек. Ведь он видел их впервые и не замечал того общего, что в них есть. А может быть, как раз замечал и хотел проверить себя. Он как бы прозревал разумом, наталкиваясь на мысль, что существует какой-то принцип, по которому даются обобщающие названия для однородных предметов. Недаром же он спрашивал именно о березах, то есть о деревьях с белыми стволами, хотя вокруг были и липы, и дубы, и сосны. В данном случае названия других деревьев его почему-то абсолютно не интересовали.

Испытание сил

Когда гуляем у пруда, любит бросать в воду палки и камни с плотины. Однако поднимать камни с земли ему неинтересно. Каждый раз, бросив камень, деловито обращается ко мне с просьбой:

— Камень большой.

Поскольку весь интерес заключается в том, чтобы камень, плюхнувшись в воду, произвел наиболее шумный эффект, то понятно, почему он должен быть большой.

Собрав поблизости наиболее крупные экземпляры, я начинаю подсовывать ему камни помельче. Это его не устраивает, и он отправляется на поиски более подходящего материала.

Ухнув в воду несколько изрядных булыжников, он хватается руками за огромный валун, весом около тонны. Глядя на это, мы

с Таней невольно хохочем. С недоумением посмотрев на нас, как бы не понимая, что нас так рассмешило, Игорь переводит взгляд на валун, за который продолжает держаться руками, и тоже начинает смеяться.

Шутить так шутить!

Нашел в лесу аккуратно вырезанную кем-то дубовую палочку и все время не расставался с ней. Когда шли мимо пруда, бросил палку в воду и стал просить, чтоб я достал.

— Зачем же бросил? — спрашиваю.

— Я больше не буду.

Достал ему палку. Он поболтал ею в воде, снова бросил и опять просит достать.

— Ты же сказал, что больше не будешь.

— Я больше не буду.

Снова достал ему палку. Он опять поболтал и бросил.

— Ну вот, — говорю, — ты же обещал!

— Я больше не буду!

Еще раз достал палку. Он тут же размахнулся и со словами: «Я больше не буду» — бросил палку далеко в воду и принялся хохотать.

Умная собака

Мы с Игорем возвращались с пруда, где он, по обыкновению, забавлялся тем, что швырял камни и палки в воду. Навстречу нам по тротуару бежал пудель с огромной палкой в зубах. За ним шел хозяин и все время кричал:

— Положи палку! Брось палку сейчас же!

Но пудель не слушался.

Как раз в это время улицу перебегала кошка. Пудель бросился за ней, не выпуская палку из зубов. Кошка вскарабкалась на дерево. Положив палку на землю, пудель полаял на кошку, потом схватил палку и побежал с нею дальше по направлению к пруду. Хозяин не переставал кричать:

— Брось палку! Брось палку, тебе говорят.

Пудель упорно продолжал тащить палку в зубах.

Игорь, который смотрел на все это с огромнейшим любопытством, сказал:

— Собака побежала бросить палку в воду.

Ну, а как же иначе? Мы ведь и сами, когда идем с ним на пруд, собираем по дороге разные камни, палки, чтоб бросить в воду.

Цветочек

Гуляли с ним в лесу. Попали на полянку, где росло много колокольчиков.

Я сказал:

— Сорви бабушке Тане цветочек.

Он сорвал колокольчик, аккуратно оборвал на стебельке все листья, чтоб действительно остался один цветочек, и понес колокольчик домой.

Основы математики

Петр утверждает, что Игорь умеет считать до трех, но, по моему, это преувеличение. Игорь освоил счет пока только до двух, но зато он уже постиг такое арифметическое действие, как сложение.

Недавно он играл с автомобильчиками. Поставил одну автомашинку на пол, потом другую и сказал:

— Две машинки поставить в гараж.

Я поставил рядом третью автомашинку и спросил:

— А теперь сколько машинок?

Он ответил:

— Много.

Я стал добиваться от него более точного ответа. И добился-таки! Точный ответ получился такой:

— Две и одна.

Эстетическое развитие

Пришел к нам в теплой красной шерстяной кофточке. Хотели снять с него эту кофточку — не согласился:

— Некрасиво, — говорит, — будет.

Ишь ты! В красоте уже разбирается: согласен париться в шерстяной кофточке, лишь бы красиво было.

Увидел у нас на полке маленькую статуэтку. Говорит:

— Какая хорошенькая девочка стоит!

Я решил поучить его рисовать красками. До этого рисовали только цветными карандашами.

Когда провел по листу бумаги в первый раз кисточкой, смоченной красной краской, на лице появилось удивленное выражение, радость. Он не ожидал, что так ярко получится.

Нарисовал какие-то завитки. Говорит:

— Тут большая речка... Тут маленькая речка... Тут мост. Тут лодка.

Стал проводить кисточкой какие-то энергичные косые линии, сверху вниз. Говорит:

— Дождь идет.

Исчеркал этими линиями весь лист, так что в конце концов ничего не стало видно, и говорит:

— Пойдем бабочке Тане покажем.

Показали. Вернулись в комнату. Измазал зеленой краской зеркало шкафа и спрашивает:

— Красиво, дедушка?

На другой день приехал к нам — и сразу:

— Где мои красочки?

«Будешь кушать!»

Были с ним в зоопарке. Больше всего на этот раз ему понравился морж, ловко ловивший кусочки хлеба, которые бросали ему посетители. Мы купили городскую булку, Игорь бросал в бассейн по кусочку и кричал:

— Морж, разевай рот. Будешь кушать!

Паровоз

Ходили с ним гулять к паровозному депо, которое видно из окна нашего дома. Когда шли по мосту через железную дорогу, увидел внизу паровоз:

— Во! Черный паровоз!.. Где еще черный паровоз?

Спустились по лестнице вниз и позади депо увидели другой паровоз, который маневрировал и поминутно свистел. Это произвело на Игоря сильное впечатление. Когда возвращались домой, он сказал:

— Придем домой, расскажу бабочке Тане: «Бабочка Таня, мы видели черного паровоза. Много дыма. Свистел».

Этот рассказ он действительно слово в слово повторил дома, и сверх этого еще изображал из себя паровоз, пыхтел и свистел для наглядности.

Как истинные друзья

Теперь чуть ли не каждый день ходим к депо смотреть на паровозы. К тому же неподалеку от депо огромнейшая песчаная куча — целая гора песку. Так что можно не только играть с любимым песочком — делать окопы, строить крепости для солдатиков, но и кувыркаться, прыгать, скатываться с горы вниз и пр.

Однажды возвратились с этой горы уставшие. Лежали на диване и отдыхали. Он достал из кармана пачку любимых мятных таблеток «Холодок». Сам ел и меня угощал. Когда осталась одна расколовшаяся пополам таблетка, он одну половинку взял себе, другую дал мне. Я свою половинку положил на стол, чтоб потом отдать ему, но он сказал:

— Дедушка, кушай. Хорошая!

Пришлось съесть. Потом я нашел в буфете еще несколько мятных таблеток. Он снова стал меня угощать.

Я сказал:

— Не хочу.

— Я тогда тоже не буду есть.

— Ну, я буду есть леденец, — предложил я.

— Дай мне леденец, а ты ешь мятную, — сказал Игорь.

Я отдал ему леденец и стал есть мятную. Тогда он положил леденец на стол и тоже стал есть мятную.

Теперь всегда, когда ему дают что-нибудь: яблоко, апельсин, конфету, он говорит:

— А дедушке?

Понимание юмора

Таня несла Игоря на руках. У него в руках были три автомашинки. Одна машинка упала на пол. Таня попросила меня:

— Подними, пожалуйста, у нас одна машинка брякнулась.

Игорь очень смеялся. Он уже знал слово «упала», но, услышав вместо ожидаемого «упала» неожиданное «брякнулась», полностью оценил юмор.

Когда пускали на полу юлу, она, кончив вертеться, упала на бок и быстро покатилась в сторону. Таня сказала:

— Во, побежала!

Это тоже показалось Игорю страшно смешным. Он тут же подхватил это слово и стал повторять:

— Побежала! Ха-ха-ха! Побежала!

Он-то знает, что юла бегать не может, а тут на самом деле

было похоже, что юла побежала, вместо того чтоб спокойно вернуться на месте, как ей положено.

Я попробовал запустить юлу вверх ногами. Это удалось и тоже вызвало у Игоря громкий смех.

Однажды, играя с солдатиками, он поставил одного солдата вниз головой и очень смеялся над своей ошибкой.

«Чик — и доехали!»

Ехали с ним на метро. Очень устали. Говорю ему:

— Теперь уже скоро. Сейчас пройдем по подземному переходу, сядем на другой поезд, а там — одна остановка: чик — и доехали.

Это выражение ему очень понравилось. Всю дорогу он только и делал, что твердил:

— Чик — и доехали!

В другой раз подхватил слово «трах-тарарах» и весь день повторял его.

Для чего нужно сравнение?

Стал почему-то путать звуки. Вместо «л» у него иногда получается «р», а в другой раз почему-то наоборот. Вместо «с» получается «ш», и тоже наоборот. Вместо «з» — «ж», и опять-таки наоборот. И никакой системы здесь нет. Вместо «корова» он может сказать «колова», а вместо «лошадь» — «рошадь». Иной раз не скоро и поймешь, какое слово он хочет сказать. В таких случаях стараешься задать ему какой-нибудь вопрос, чтоб он изменил слово или повторил его в сочетании с другими. Он же со своей стороны тоже прилагает старания быть понятым и подыскивает для этого средства.

Во дворе увидел малыша в ярко-коричневом пальто. Говорит:

— Какой ты лыжий!

Заметив, что ни я, ни малыш его не поняли, повторил:

— Лыжий.

Пока я раздумывал, что он тут заменил: «р» на «л» или «з» на «ж», он сказал:

— Лыжий, как шоколадка.

Тут только я обратил внимание, что пальто на малыше было коричневого, шоколадного, почти рыжего цвета.

В данном случае понадобилась необходимость подыскать сравнение, чтобы быть понятым.

Страх

Был чем-то напуган. Отказался пойти в зоопарк:

— Волк меня съест.

Не захотел пойти посмотреть на паровозы:

— Боюсь черного паровоза.

В кого стрелять!

Играли в охотников. Сидели на диване и прицеливались из ружей то в одну сторону, то в другую, будто по лесу шли. Спрашивает:

— Ты в кого стреляешь?

— В птичку,— говорю.

— В птичек,— говорит,— нельзя стрелять. Они хорошие.

— А в кого можно?

— В волков. Они плохие.

— А в людей можно? — спросила Таня.

— В людей нельзя. Они падают и уже не поднимаются.



Глава третья

ОТ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ

Гордость и краса

В два с половиной года он пошел в детский сад и в первый же день принес стишки из детсадовского фольклора:

Трынти-брынти, колбаса,
А я гордость и краса!

«Чудесные штаны»

Купили Игорю зеленые штаны. Когда он приехал, стащили с него старенькие красные штанишки, из которых он уже немножко вырос, и надели вместо них зеленые. Он постоял перед зеркалом и сказал с удовлетворением:

— Чудесные штаны!

По-моему, для двух с половиной лет это чудесно сказано.

Трудное слово

Таня купила ананас. Я показал его Игорю и спрашиваю:

— Что это?

— Шишка.

Действительно, очень похож на нераскрывшуюся сосновую шишку, только раз в пятьдесят больше. До этого мне как-то ни разу в голову не приходило это сходство, может быть, потому, что я в детстве вообще ананасов не видел.

— Это ананас,— говорю.— Скажи: «ананас», «а-на-нас»...

Он посмотрел на меня задумчиво, словно виновато, потом опустил глаза и печально сказал каким-то упавшим голосом:

— Я так не могу.

Пошутил

Игорь. Мама, давай играть.

Лида. Давай. Я буду зайчик.

Игорь. А я буду лев. Я тебя съем!

Лида (*с деланным испугом*). Ай-ай-ай!

Игорь (*с улыбкой*). Я пошутил.

Новый глагол

Игорь с Тамарой играют в солдатики.

Тамара. Ура! Мои твоих в плен берут.

Игорь (*обиженно*). А ты не уракай! Мои солдаты на елке сидели. Их не было видно.

Романтика

Очень любит, чтоб его катали по полу на коврике. Упросил меня, чтоб я его покатаю. Я усадил его на коврик.

— Куда поедет? — спрашиваю.

— В Далекое Край.

Скульптура

Взял кусочек пластилина, воткнул в него две спички, надломил их посередине, так что они стали похожи на какие-то полусогнутые лапы, и говорит:

— Паук.

Действительно, очень на паука похоже.

Сказка

Игорь. Хочешь, расскажу тебе сказку?.. Шел лев. Увидел зайчика. Он его взял и съел. Все.

Важная причина

В детском саду спросили Игоря:

— Ты дома балуешься?

— Нет. Когда я балуюсь, папа и мама делаются злыми.

(Он, конечно, хотел сказать — делаются сердитыми, сердятся.)

Классификация животных

Играли с Игорем. Игра заключалась в том, что все его резиновые зверушки были погружены в вагоны и поехали на поезде в «лес». Лес был на полу возле шкафа. Там он доставал из вагонов зверей, приговаривая:

— Этот не боится. А этот боится.

Того, который «не боится», он отдавал мне, чтоб я «пускал его в лес», то есть ставил на полу у шкафа. А тех, которые «боятся», он ставил в стороне, под пластилиновой елкой.

В разряд боящихся попали: уточка, цыпленок, курица, овечка, зайчик, то есть вполне безобидные звери. А в числе небоящихся (вернее сказать, бесстрашных) оказались хищники: лев, тигр, крокодил, дикий кабан и почему-то осел. И верно! Они все сильные, их никто не может обидеть; скорее сами кого-нибудь обидят.

Что такое хорошо и что такое плохо!

Однажды попросил меня за ужином:

— Давай почитай про грязнулю.

Обратив внимание на то, что я ем, добавил:

— ...когда поешь.

Потом терпения у него не хватило, и он стал все настойчивее просить почитать ему «Про грязнулю».

«Про грязнулю» — у него называется книжка Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», которую Петя и Лида уже давно с большим успехом читают ему.

Стал читать ему про грязнулю и с удивлением убедился, что он во многих местах громко смеется. Спрашиваю его после строфы: «Этот вот кричит: «Не трожь тех, кто меньше ростом!..»

— Хороший мальчик, правда?

С серьезно-задумчивым выражением глаз шепчет протяжно:

— Да-а!

Когда прочитали до конца, спрашиваю:

— Ты тоже будешь делать хорошо, правда?

Опять с тем же выражением, убежденно:

— Да-а!

Вечером, когда ложились спать, читали «Храбрый утенок» Бианки. Все доступно и очень понравилось. И еще раз «Что такое хорошо и что такое плохо» Маяковского. Слушал с тем же интересом, удовольствием и смехом и с комментариями:

— Плохой!.. Хороший!..

Проблемы воспитания

Когда Игорь пришел из детсада, Петр спросил его, что он делал в детском саду. Игорь сказал, что он ел, спал, разбил за обедом чашку.

На следующий день в разговоре с директоршей детского сада Петр спросил ее о разбитой чашке. Директорша удивилась тому, что Игорь сам признался в своей провинности, и просила Петра сделать на родительском собрании доклад о том, как они воспитывают ребенка: почему он вежлив (говорит «спасибо, пожалуйста»), общителен, приветлив и вот, как оказалось, даже правдив.

Фантазия

Выдумал какого-то воображаемого зверя. Зовут тигрикон. Существует тигрикон — папа, тигрикон — мама и тигрикон — маленький сыночек.

— Я его исколотил, тигрикона,— заявил как-то Игорь.— Так ему и надо!

— За что же ты его? — спрашиваю.

— Он поломал дом!

Нечего и говорить, что и дом существовал только в воображении.

Сравнение

Игорь ел новенькой, купленной недавно деревянной ложкой.

— Какая,— говорю,— у тебя ложка красивая!

— Как светофор,— сказал он и поставил ложку на стол торчком.

В другой раз, когда умывался, показал на мыло непривычной для него овальной формы и говорит:

— Мыло, как лодка.

Насмешка

Я возвращался домой и, когда, поднявшись на пятый этаж, вышел из лифта, увидел у двери Таню с Игорем. Они тоже как раз откуда-то вернулись и открывали дверь. Неожиданно обернувшись и увидев за своей спиной меня, Таня сказала:

— Ты откуда вылез?

— Вылез, как таракан! — подхватил Игорь и расхохотался.

Он моментально уловил, что слово «вылез» употреблено здесь не в буквальном, а в переносном смысле, с целью насмешки, и даже усилил эту насмешку сравнением с тараканом, который действительно всегда неожиданно вылезает из какой-нибудь щели.

Игра

Придумал игру. Говорит мне:

— Давай я буду сыночек, а ты мой папа.

— Давай,— говорю.

— Папа, давай поедem к дедушке Коле.

— Поедем,— соглашаюсь я.

Захотелось ему пить. Он побежал к Пете и говорит:

— Дедушка Коля, дай мне попить водички.

— Разве я дедушка? — удивился Петр.— Я — папа.

Игорь говорит:

— Сейчас ты — дедушка, а дедушка — папа. Это игра такая.

Выкрутился

Петр купил Игорю диафильм про поросят, которые строили лодку.

Увидев поросенка, Игорь сказал:

— Голый зайчик.

— Разве это зайчик? — возразил Петр.— Посмотри как следует.

— Конечно, голый зайчик.

— Эх, ты! Да это же поросенок!

— А я и говорю: голый зайчик-поросенок.

Забота о пропитании

Таня пришла на кухню. Видит, Игорь сидит за столом. В каждой руке у него по куску сахара. Таня спрашивает:

— Зачем тебе сахар? Ты будешь есть?

Он отвечает:

— Нет сахару.

— Как так — нет сахару? — удивляется Таня.— Есть! Вот видишь — полная сахарница.

— У нас нет сахару, дома,— объясняет Игорь.

— Ну, мама пойдет и купит.

— Маме некогда.

— Ну папа купит.

— А папа не хочет идти.

Таня взяла несколько кусков сахара, завернула в бумажку и положила в сумочку Лиды:

— Не беспокойся. Видишь, и у вас теперь будет дома сахар.

Начало грамоты

Купил ему кубики с азбукой. Показал букву «А» и спросил, где еще буква «А». Совершенно самостоятельно отыскал букву «А» на двух других кубиках.

Потом демонстрировал свои знания папе, маме, Тане. Пришлось поставить ему пятерочку в дневнике.

Дразнилка

(Из детсадовского фольклора)

Плакса-вакса, гуталин!
На носу горячий блин!
Это не годится,
Можно простудиться.

(Кричат тому, кто плачет.)

Сон

По телефону позвонил Петя и сказал, что со мной хочет поговорить Игорь.

Игорь тут же начал рассказывать по телефону, что был на даче, видел там кроликов, кормил их хлебом. Я никак не мог сообразить, почему он в феврале месяце вдруг на дачу попал. Игорь же тем временем рассказывает дальше, что на даче он видел дедушку Колю (это меня, значит). «Что же это? — думаю. — Он, видимо, не понимает, что со мной по телефону говорит».

Дальше Игорь рассказал, что с дедушкой Колей он ходил на пруд, мы пускали бумажные лодочки и бросали в них камнями. Потом он видел корову с рогами, большую, как лошадь...

Тут трубку взял Петя и объяснил, что Игорь рассказывает мне свой сон.

Интересно, что ему приснилось в точности то, что было на самом деле, но более полугода назад, прошлым летом. Мы с ним и лодки в пруду пускали, и камнями в них бросали, и корову на лугу видели.

Однако он, видимо, еще не отличает сновидения от действительности, путает их.

Тоже игра

Играет с самолетами, с которых падают летчики и попадают в больницу. Там он делает им «уколы», заботливо спрашивая:

— Больно?.. Не больно?..

Недоразумение

Петя оставил нас с Игорем погулять на улице, а сам сел на машину и уехал. Отъезжая, он помахал Игорю рукой, но Игорь в это время отвлекся чем-то и не видел. Потом говорит:

— Помашу папе.

Стал махать ручкой, но Петр уже не оборачивался.

Игорь расстроился.

— Папа не помахал мне! — твердил он, и глаза его наполнялись слезами.

Успокоился лишь после того, как я объяснил, что папа махал ему, но он смотрел в другую сторону, а потом, когда Игорь стал махать, папа должен был смотреть вперед и рулить, чтоб на кого-нибудь не наехать.

Нужна мораль

Прочитал ему сказку «Кошкин дом». Прослушал с огромнейшим интересом до конца и спрашивает:

— Дедушка, а почему загорелся кошкин дом? Котята играли со спичками, да?

Телевидение

Повысился интерес к телевизору. Смотрел что-то военное, со взрывами и со стрельбой. Когда кончилось, сказал:

— Я, дедушка, люблю про войну смотреть.

Каждый раз, когда ему кажется, что идет передача про войну, бросает игру и бежит к телевизору. Если видит, что не про войну, спрашивает:

— Когда война будет? Почему нет про войну?

Однажды мылся в ванне, услышал какую-то бодрую музыку и закричал, стараясь выскочить из ванны:

— Война! Идем скорей телевизор смотреть.

В другой раз шла детская передача. Какой-то художник рассказывал что-то вроде сказки про дырки в сыре, который съели вороны. Художник при этом рисовал и ворон, и сыр, и дырки — все как полагается. Интересно, что Игорь досмотрел эту передачу только до половины, после чего сказал:

— Пойдем играть.

Из подобного рода передач он уже вырос, хотя ему еще и трех лет нет. В общем-то, он предпочитает что-нибудь реальное, из настоящей жизни.

Попал как-то к телевизору как раз в тот момент, когда Отелло душил Дездемону. Я всячески старался увести его от этой душераздирающей сцены, но он упорствовал в своем желании досмотреть до конца. Потом все же не выдержал, отошел и сказал:

— Нехороший дядька! Плохой дядька!

Объяснил

Ел как-то макароны. Ему попалась очень длинная макаронина. Глядя на нее, сказал:

— У, какая здоровая! Как змея!

— Где ты видел змею? — спрашиваю.

— Это червяк такой.

Чувство превосходства

Любит отыскивать разбросанные в разных местах монеты или лесные орешки. Однажды играл с Таней, отыскивая орешки, и придумал:

— А теперь,— говорит,— пусть солдатик найдет орех.

Оловянный солдатик в руках Тани «пошел» куда-то совсем в противоположную сторону от лежащего на виду орешка. Заметив его ошибку, Игорь сказал:

— Не туда!

— Он заблудился,— сказала Таня.— Это ведь сложное дело — найти орех. Это Игорек может...

— А не какой-нибудь глупый солдатик,— добавил Игорь.

Обида

Играли в прятки. Игорь неумело спрятался, и я его сразу нашел. Как он обиделся на меня! Злой, глядит исподлобья:

— Ты зачем меня сразу нашел?!

Море

Игорь играл с Тамарой на полу. Вошла Таня. Игорь кричит:

— Ну, куда ты идешь? Тут море!

— Ну и что ж, что море?

— Утонуть можно!

Отмерил шагами:

— Вот тут море. Тут берег. Стой тут.

Стишки

(Из детсадовского фольклора)

Дритатушки, дри-та-та!
Поймал дедушка кота,
А бабушка кошку
За левую ножку.

Новое понятие

Играл с Игорем в солдатики. Игорь попросил, чтоб я дал ему одного из моих конных солдатиков. Я дал.

— Тебе не жалко? — спрашивает.

— Нет, нет, не жалко, — успокоил я его.

Стали с ним рисовать. Изрисовал цветными полосами и какими-то загогулинами весь лист.

— Дай еще. (Бумаги.)

Я дал лист бумаги.

— Бумаги не жалко? — спрашивает.

— Нет, нет! Рисуй.

Каждый раз, как только он измажет краской бумагу, я даю ему новый листок, а он неизменно задает все тот же вопрос:

— Бумаги не жалко?

«Что это, — думаю, — на него эта «жалость» напала?»

Оказалось, что он дома рисовал. Нарисует на целом листе какую-нибудь огромную каракулю и берет новый лист. А Лида сказала:

— Что же ты так рисуешь? Надо много на листке нарисовать. Ведь бумаги жалко!

Погружился

Пошли купать Игоря в ванне.

— Ну, погружайся в воду, — говорю.

— Уже, — говорит, — погружился.

Листья

За обедом увидел у себя в тарелке с супом два лавровых листа и сказал:

— Листья упали в суп.

Таня сказала:

— Они не упали. Я нарочно положила, когда варила.

— Их можно есть? — спросил Игорь и уже хотел сунуть лист в рот.

— Нет, они кладутся для запаха. Это лавровый лист.

— А!

Сравнение

Кружится на полу. Говорит:

— Я верчусь, как воздушный шар. Я никому не дамусь в руки!

«Все спокойно»

Мы играли с Игорем в комнате. Ему показалось, что кто-то пришел. Выбежал за дверь, увидел, что в прихожей никого нет, и сказал:

— Все спокойно. Можно играть.

Новые стихи

Ох! Ох!
Ловите блох!

Верх вежливости

Играя со своими зверятами, Игорь нечаянно свалил с ног плюшевого медвежонка. Тут же сказал:

— Прости, пожалуйста!

И поставил медвежонка на ноги.

«Пальтожник»

Рассматривал с Тамарой картинки в книжке. Увидел рисунок сапожника за работой. Тамара говорит:

— Это сапожник. Он шьет сапоги. А как называется тот, который шьет пальто? Знаешь?

— Знаю. Пальтожник.

«Давай тучу!»

Мылся в ванной. Петр принялся поливать его из душа. Игорь же больше всего боится, когда вода попадает на голову.

— Ой, не надо! — взмолился Игорь. — На голову не надо!

Петр принялся объяснять:

— Это шла туча. Понимаешь? Ведь когда идет туча, дождичек льется куда попало.

Такое объяснение показалось Игорю занимательным, и он сказал:

— Давай еще тучу!

«Вдалеке»

Играли в пароход (пароход на диване). Игорь бросил на пол солдатику и сказал:

— Этот будет плавать тут вдалеке.

«Дети»

Играя, залез под стол и говорит мне:

— Бери всех детей сюда.

Дети — это собачка, зайчик, овечка, плюшевый медвежонок и другие звери.

Привык, что в детском саду говорят:

— Ведите детей. Берите детей.

Дофантазировал

Вечером, когда разойдутся по домам ребятишки из детского сада, который рядом с нашим домом, мы с Игорем заходим к ним во двор поиграть. Игорю нравится сидеть там в маленьких фанерных домиках, которых нет в его детском саду.

Однажды мы пришли вечером и увидели, что одного из трех домиков не было. Два, как прежде, стояли на месте, а третьего не оказалось.

Игорь спросил, почему нет этого домика. Я сказал, что его перенесли в другой детский сад, который был рядом. Игорю захотелось пойти посмотреть на домик. Как раз в это время во двор вышел Петя и пошел с нами.

По дороге Игорь рассказал ему очень толково и подробно, что в детском саду было три домика, а осталось два, потому что приехал подъемный кран, поднял один домик и перенес его в другой детский сад, а теперь мы идем туда посмотреть.

Насчет подъемного крана — это он нафантазировал. Я ему ничего не говорил о подъемном кране и думаю, что такой домик очень легко, без всякого подъемного крана, могли перенести двое рабочих.

«Еще поешь»

Я пришел домой поздно. У нас был Игорь, и я стал с ним играть. Мне надо было пойти пообедать, но он не отпускал меня. Насилу я уговорил его поиграть с Тамарой, пока я ем.

Игрой с Тамарой он, видимо, увлекся, и, когда я пришел, он сказал:

— Пойди еще поешь.

«Буфет» цветов

Однажды Таня пришла с букетом цветов. Игорь увидел и говорит:

— Дай мне буфет.

— Какой буфет?

— Ну, цветы.

Оказывается, спутал «буфет» и «букет».

«Российские»

Где-то услышал или сам произвел слово «российские». Скорее всего, придумал сам, так как солдатики у него делятся по национальностям: есть немецкие, есть французские, а эти, значит,— российские.

Баба-яга

Игорь играет с Тамарой. Я захожу в комнату.

И г о р ь. Дедушка, ну куда же ты? Здесь баба-яга! Вот сидит. (Показывает рукой на Тамару, которая сидит на диване.)

«Правильно сказал»

Игорь уходит со своими родителями домой. Мы с ним, по обыкновению, бежим вперед, чтобы спрятаться за машиной и, неожиданно выскочив, напугать родителей, когда они подойдут. На этот раз мы спрятались не за машиной, а за лестницей под аркой, чтобы напасть на них сзади, когда они будут проходить мимо. Войдя под арку, Петя и Лида, конечно, сразу заметили нас. Петя сказал:

— А кто это там за лестницей?

— Это не мы,— пропищал я, стараясь изменить голос.

Они прошли мимо, сделав вид, что не обратили на нас внимания.

Игорь и говорит:

— Это ты правильно сказал им, что это не мы.

Сюжетосложение

Рассказывает сказку собственного сочинения:

«Жила собака. Пошла она в лес на охоту. Ее там застрелили...»

Спохватился, что так рано прикончил героя, и говорит: «А другая собака пошла и встретилась с солдатами. Они помогли ей от фашистов спрятаться. Все».

«Гребло»

Были в парке культуры. Катались на пруду на лодке. Когда выехали на середину пруда, Игорь и говорит:

— Ну-ка дай мне сюда гребло.

Большое достижение

Однажды, придя к нам, сразу встал на одну ножку:

— Смотри, как я умею на одной ножке стоять. Как гусь!

Эксперимент

Играя на диване, нечаянно упал и ударился головой о пол. По лицу было видно, что хотел заплакать, но почему-то раздумал. Продолжая лежать на полу, уже нарочно, как бы для проверки, еще раз стукнулся головой о пол, подумал еще немножечко, как бы прислушиваясь к своим ощущениям, и решил не плакать.

Почему?

В зоопарке увидел посреди большого пруда остров, по которому ходили лебеди, гуси и другие водоплавающие птицы.

— А что там? — спрашивает.

Я объяснил, что там остров, то есть земля, а вокруг вода, и на этом острове живут птицы.

Обойдя пруд и убедившись, что вокруг острова действительно вода, Игорь спросил:

— А почему остров не тонет?

Современные мотивы в кино

Окончив смотреть по телевидению очередной шпионский фильм, Игорь удовлетворенно сказал:

— Чикнули гада! И тех перестреляли, и этих!

Сила характера

В жаркий день ловили на лесной опушке с Игорем бабочек. Сачка не было. Игорь ловил просто шляпой. Все же ему удалось поймать несколько бабочек. Изрядно устав и захотев есть, он сказал:

— Поймаю еще одну бабочку, и пойдем домой.

Но поймать последнюю бабочку никак не удавалось.

Выбившись окончательно из сил, он лег на траву под палящими лучами солнца и заплакал.

В порыве благодарности

Показывал родителям подаренную мной игрушку:

— Это мне дедушка Колечка подарил!



Глава четвертая

ОТ ТРЕХ ДО ТРЕХ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ

Воображение работает

Из окна нашей квартиры видно с пятого этажа, как ездят и маневрируют по Киевской железной дороге поезда. Игорю нравятся синие и зеленые тепловозы. Не любит черные паровозы. Все поезда поделил на наших и фашистских. Фашистские — это товарные. По фашистским мы с ним палим из ружей.

Говорит уже не отдельными словами, а целыми фразами:

— Вон фашистский поезд! Вот русские победили фашистов. Вон едет уже товарный поезд. Во! Нет, это наш: там люди сидят. Вот он. В него нельзя стрелять — зеленый знак. Там наши, русские. Ту-у! Вон две собаки-забияки! (Это фантазия — никаких там собак не было.) Пойду возьму еще оружие. Как он загудит, быстро прибегу.

Уходит и приносит еще ружье и игрушечную собачку:

— Посади сюда собачку, чтоб она все видела.

Я сажаю собаку на подоконник.

— О! Она как в лесу села! Во! Идет фашистский поезд! Он уже туда проехал. Вон, это наш. А это не наш. Я в товарного! (Целится из ружья.) Тра-та-та-та!

В это время маневрировавший поезд остановился и поехал обратно. Это вызвало шумный восторг у Игоря:

— Ха-ха-ха! Испугался! Удирает от нас! Тра-та-та-та! Трах-тах! Бф! Бф! Бф! Все! Разбился! Во! Вот они, фашистские! Бф!.. Нет, это наши — не будем трогать...

И т. д.

Рисование или игра?

Игорю захотелось порисовать. Говорю ему:

— Я буду рисовать, а ты смотри и рисуй, как я.

У каждого по листку бумаги.

Я нарисовал пароход. Игорь довольно сносно скопировал мой рисунок. Потом я нарисовал вокруг парохода волнистое море и рыб. Игорь взял мой рисунок, стал закрашивать рыб синей краской.

Говорит:

— Рыбы тонут.

После чего таким же образом «утопил» пароход.

Сам процесс рисования часто превращается у него в действие. То вдруг начинает лить дождь, который затопляет и дома, и людей, и зверей, и все, что вокруг находится. То вдруг нарисованные танки и пушки начинают палить: рисунок покрывается траекториями полета, снарядами, разрывами бомб и дымом. Самолеты падают, входя в штопор. Все сопровождается соответствующими звуками: «Бум! Буф! Бф! В-з-з-з!»

Постепенно рисунок с танками, самолетами и пехотой покрывается сплошным слоем краски, и рисование, а вместе с ним и «война» на этом кончаются.

Морковки на стене

Расшалился, купаясь в ванной. Шлепался с размаху животом в воду. Обрызгал все стены и потолок. На стенах появились следы каких-то длинных хвостатых брызг. Когда Игоря удалось унять, он сказал, показывая на стену:

— Смотри, морковки.

Действительно, эти хвостатые брызги имели удивительное сходство с морковками.

Вспомнил!

Как-то мы играли с Игорем шариком для пинг-понга. Я неловко бросил шарик и попал Игорю по лбу. Конечно, ему не было больно.

Месяца через два он почему-то вдруг рассказал Тане про этот случай:

— Меня дедушка раз стукнул шариком по лбу. Я с ним не водился тогда за это!

Счастье

Петя рассказывал. Обычно утром Игорь просыпается перед уходом в детский сад и, увидев мать, которая к этому времени уже на ногах и занимается по хозяйству, молча улыбается ей долгой счастливой улыбкой. Потом спрашивает:

— А где мой папа?

Высунувшись из своей кровати и увидев отца в постели, он громко смеется от радости и забирается к нему на кровать.

Радость

Игорь уехал с детским садом на дачу. Пробыл там почти полтора месяца. За это время родителям позволили всего лишь два раза навестить его. Соскучившись, родители решили взять Игоря из детсада домой, чтоб провести остаток лета вместе (намечалась поездка на юг).

Лида рассказывала, что, когда, приехав на дачу детского сада, она сказала Игорю, что они приехали взять его домой совсем, он застыл на месте, словно окаменел; от охватившего волнения кровь бросилась ему в лицо, он густо покраснел, потом почему-то стал прыгать не сходя с места, как на пружине, после чего принялся бегать по двору, задирать ребят и громко смеялся, не говоря ни слова.

Какой Крым!

Решено было, что родители привезут Игоря к нам на дачу, как только возьмут его из детского сада. Я встретил их на шоссе километрах в двух от дома и сел к ним в машину.

— А где бабушка Таня? — сразу спросил Игорь, увидев меня.

— Бабушка Таня дома. Мы сейчас к ней приедем.

— А где тетя Тамара?

— Уехала в Крым.

— В какой Крым? — с заметным удивлением спросил он.

— Ты не знаешь, какой Крым? — переспросил я, стараясь выиграть время, чтоб найтись, как потолковее объяснить ему.

— Знаю, — говорит он. — Крым — это такой маленький домик...

В это время мы увидели Таню, которая шла по улице поселка навстречу нам. Посадили и ее в машину.

— А где тетя Тамара? — спросил Игорь Таню.

— Я ведь тебе сказал, уехала в Крым, — говорю я.

И опять:

— В какой Крым?

По-видимому, суть происшедшего с тетей Тамарой географического перемещения была непонятна ему.

— Ну, Крым — это там, где море, — начал объяснять я.

— А! — подхватил он. — На юг?

— Вот, вот, — говорю. — На юг.

Выяснилось, что в детском саду ему говорили, что он поедет с папой и мамой на юг, там, где море.

Стал добиваться, встретит ли он тетю Тамару, когда поедет на юг.

Пусть подрастет

Были с Игорем в лесу. Собирали грибы. Он нашел какие-то крошечные грибочки на тонюсеньких ножках. Я говорю:

— Эти маленькие. Таких не надо брать. Пусть подрастут.

После этого он, увидев маленький гриб, сорвет его, осмотрит внимательно, бросит на землю и говорит:

— Пусть подрастет.

Гриб с маслом

Игорь нашел гриб со шляпкой, покрытой густым слоем слизи. Посмотрел на испачканные слизью пальцы и с недоумением сказал:

— Этот с маслом.

Точный ответ

В лесу ловили с Игорем бронзовых жуков. Спрашиваю:

— Сколько поймал жуков? Четыре?

— Нет. Два и два.

Плохая утка

Ездили в зоопарк. Бросали, по обыкновению, хлеб уткам. На пруду было несколько уток с маленькими утятами, которые плавали отдельными выводками. Один совсем крошечный утенок заплыл случайно в чужой выводок с более крупными утятами. Утка тут же принялась долбить клювом чужака, и притом очень свирепо: хватала его клювом поперек живота и отбрасывала в сторону с такой силой, что он летел вверх тормашками и шлепался в воду. Было удивительно, что крошечный утенок все же уцелел после такой потасовки. Игорь смотрел на все это происшествие с какой-то беспокойной серьезностью. Потом сказал:

— Плохая утка! Какая нехорошая утка!

Через несколько дней мы с ним опять были в зоопарке. Почти все время потратили на то, чтоб покататься на пони, потом Игорь играл в детском городке, спускаясь с горки. Когда ехали домой на такси, шофер спросил Игоря, что он видел в зоопарке. К моему удивлению, Игорь начал, волнуясь, рассказывать про нехорошую утку, которая была маленького утеночка, хотя в этот день мы с ним ни утят, ни утки не видели.

Доверчивость

За обедом Таня дала Игорю маленьких помидоров и сказала, что их принесли маленькие зверята. Игорь встретил это заявление с полным доверием и стал расспрашивать, какие именно зверята принесли помидоры, как они их несли, как они их растили и пр.

Попробуй объясни!

Вышли с Игорем во двор. Он увидел на небе луну, которая в этот вечер была не полная, а ущербленная немного больше чем наполовину, и спросил:

— Дедушка, а почему луна бывает круглая, а бывает кусочек луны?

Страшный конец

Были в кино, смотрели мультфильм («Светлячок» № 6). На кузнечика, лягушонка, одуванчик смотрел более-менее спокойно, а когда на экране появился мышонок, сказал:

— Пойдем домой, не хочу больше смотреть.

Когда мы вышли на улицу, я спросил:

— Почему ты не захотел смотреть?

— Я боялся, что мышонок утонет в реке.

Сказал зеркалу

Играя с Тамарой, Игорь увлекся и назвал ее балдой.

Таня сказала:

— Так даже детей нельзя называть, а ты называешь взрослых. Вот тетя Тамара обидится и не станет с тобой играть.

Тамара делает движение, чтоб уйти. Игорь говорит:

— Это же я не ей сказал — балда. Это я зеркалу.

Червяк

Показал ему на картинке в книге змею. Спрашиваю:

— Кто это?

— Червяк.

— Это змея, — говорю. — Ты видел когда-нибудь змею?

— Только раз. В зоопарке.

Горилленок

Гулял с Игорем в переулке возле нашего дома. Там небольшие кустистые деревья, на которые легко вскарабкиваться. Игорь залезал на дерево, говоря, что он маленький горилленок, делал вид, что срывает с веток орехи и «давал» их мне.

Потом сказал:

— Завтра пойдем с бабушкой Таней, чтоб она посмотрела, как я могу по деревьям лазить.

Обман

Уходя от нас, любит спускаться со мной по лестнице, пока родители спускаются в лифте. Чтоб обогнать их, говорит обычно:

— Дедушка, давай обманем их: выйдем раньше.

Петр постоянно твердит, что обманывать — это нехорошо.

— Надо говорить «обгоним», а не «обманем», — советует он.

Но Игорю почему-то слово «обманем» больше нравится, может быть, потому, что оно вернее обозначает смысл действия. В конце концов он находит выход в такой формулировке:

— Дедушка, — говорит, — давай сделаем обман.

Кашляет

Мы шли с Игорем по двору мимо конуры, где жильцы первого этажа временно поселили привезенную с дачи собаку (кажется, для того, чтоб показать ветеринару). Не вылезая из конуры, собака глухо пролаяла.

— О, — сказал Игорь, — кашляет!

Камнесосы

Двое ребят постарше рассказывали во дворе друг другу о работе землесоса. Один из них сказал, что видел не только землесос, но и торфосос.

Игорь (*вмешиваясь в разговор*). А камнесосы бывают?

Философский вопрос

— Дедушка, я знаю, для чего коровы, цветы, деревья... А вот для чего люди?

«Выворот-нашиворот»

Долго возился, стараясь надеть рубашку. Наконец надел задом наперед. Говорит с досадой:

— Ну вот! Надел выворот-нашиворот!

Три состояния вещества

Игорь задумался над вопросом, почему пролитая вода высыхает.

— Куда она девается? — спрашивал он.

Я хотел рассказать ему о парообразовании: о существовании твердых, жидких и газообразных тел. Говорю:

— Возьми лед, нагрей — что будет?

— Вода.

— А воду нагрей — что будет?

— Горячая вода.

Песенка

(Из детсадовского фольклора)

Белый дом, белый дом!

Белое окошко!

Посредине чудачок

Кушает картошку.

Ноги остались

Игорь и его друг Андрейка стоят у подъезда с перепуганными физиономиями. Оба с палками в руках. Лида спрашивает:

— Чего же вы гулять не идете?

Показывает на конуру:

— Там собака.

— Так собака давно ушла. Ее нет.

— Да, ушла! А вон посмотри, какие ноги остались.

На снегу явно видны были следы собачьих лап.

Еще один непонятный вопрос

— Дедушка, а почему иголка в дерево втыкается, а в стекло не втыкается?

Явно перехватил

Говорит во дворе своему другу Сережке:

— Если б не дедушка, я бы мог сто кусков сахара съесть.

Мифический мальчик

Игорь лазил по снежным сугробам во дворе и говорил, что он горилленок.

— Видишь, как я хожу,— говорил он мне.— И ты так научишься, когда будешь гориллой.

Он тут же упал и скатился с сугроба, извалявшись в снегу.

— Видишь,— говорю,— упал!

— Это не я упал. Это меня мальчик толкнул. Скажи мальчику, чтоб не толкал горилленка.

Нечего и говорить, что поблизости никакого мальчика не было.

Искусство уговаривать

Очень не любит надевать ботинки, валенки, галоши. Уговоры часто не действуют. Тут лучше всего прибегать к хитрости.

Собирались идти гулять. Игорю надо было надеть валенки. Таня и говорит:

— Ну-ка, попробуй вскочить прямо с дивана в валенки. Только это очень трудно. У тебя, наверно, это не выйдет.

Для доказательства, что у него «выйдет», он охотно вскочил с дивана в стоящие на полу валенки.

Вечером пришла за ним Лида.

Игорь говорит:

— Смотри, я сейчас вскочу в валенки. Только это очень трудно, но у меня это выйдет.

«Зажгился» свет

Мы с Игорем и его другом Сережкой греемся в морозный день в темном подъезде. Вечерело. Под потолком загорелась лампочка.

— Во, и зажгился свет! — обрадовался Игорь.

А Сережка деловито добавил:

— Эта лампочка непотухлая, а там две потухлые.

Важный вопрос

— Дедушка, а великан как растет? Вот если бы мой папа вырос великаном, он все равно был бы мой папа?

«Долгительная» игра

— Во что бы поиграть, дедушка?

— Давай, — говорю, — в зоологическое лото.

— Нет, это слишком долгительная игра.

Сказка

— Давай расскажу тебе сказку, — говорит Игорь. — Жила бабушка, и был у нее дедушка. И была спокойная ночь. Никаких зайцев не было. И тигров не было. Ничего-преничего не было. А была у них девочка, которая была мальчиком. И пошла она в лес. И была избушка на курьих ножках. А девочка — она была Красная Шапочка — видит, стоит ракета. Она села в ракету и полетела на Луну. Все.

Удивительнейший вопрос

— Дедушка, керосин — это же вода. Как же он горит?!

Еще философский вопрос

— Дедушка, а как это — нигде нет конца?

Оценил юмор

Игорь просил Таню почитать ему.
— Принести книжку? — спрашивает.
— Тащи, — согласилась Таня.
Игорь засмеялся.

«Ветер толкает»

Я вышел с Игорем на улицу. Был сильный ветер. Игорь сказал:

— Пойдем скорее. Меня ветер толкает.

Специалист по бабам-ягам

Во дворе с Игорем и другими ребятами делали из снега замок бабы-яги. Ну и саму бабу, конечно. Игорь ткнул палку в голову бабы и говорит:

— Это нос бабы-яги. У людей и бабов-ягов только такие бывают носы.

Кинокритик

Игорь возвращается с родителями из кино.

— Где был? — спрашиваю.

— В кино.

— Понравилась картина?

— Нет.

— Почему?

— Собаки не было.

Еще один труднообъяснимый вопрос

Игорь часто прислушивается к разным шумам, стукам шорохам за стеной. Спрашивает с тревогой:

— Дедушка, кто стучит?

Выдумываю для него какую-нибудь историю, что за стеной живет мальчик, такой же маленький, как он, и мастерит себе игрушку, заколачивая гвозди молотком.

Вдруг спрашивает:

— Дедушка, а почему водопроводный кран пищит?

Попробуй объясни тут! Легче объяснить, почему самолет летает — у него крылья есть.

Папа

Игорь (*Тамаре*). Давай играть. Я буду папа, а ты будешь мой сын.

Тамара (*включаясь в игру*). Папа!

Игорь. Сейчас. Напечатаю одну фотографию и приду.

(Этот ответ Игорь, очевидно, частенько слышит от своего отца.)

Фантазия или сновидение?

Пока ехали с Игорем на такси, он рассказывал, что был с папой и мамой в зоопарке, перечислил, каких зверей там видел. Я удивлялся: зачем его среди зимы родители в зоопарк потащили.

Оказалось, что Игорь все насочинял. Петр рассказал, как Игорь однажды проснулся и с увлечением и смехом стал рассказывать про обезьянку, не понимая, что ее видел во сне, а не наяву.

Дразнилка

Коля-маля,
Купил коня.
Сколько стоит?
Два рубля.
Не доехал до горы,
Искусали комары.

Знакомый капитан

Очень трудно заставить Игоря обедать, вообще засадить за стол. Каждый раз приходится прибегать к уловкам.

Игорь приносит Тане из кухни банку с медом.

Игорь. Считайте, что этот мед вам подарил знакомый капитан.

Таня. А что вы знаете об этом капитане?

Игорь. Ничего... Как будто я плыл к вам с медом. Как будто я мед вам привез.

Таня. А мы вам дадим за это супу.

Игорь. А я вас покатаю на парохоме.

Удалось, таким образом, заставить есть, включив суп в игру.

Новый вопрос

— Дедушка, а барсук знает, что его барсуком зовут?

Сравнил

Играл в снежки. Показал замерзшую руку:

— Видишь, какая рука красная? Как у гуся!

Рано

Говорю ему как-то под вечер:

— Пойдем погуляем.

Посмотрел в окно, увидел, что уже стемнело, и говорит:

— Давай не пойдем лучше. Уже рано.

(Путает понятия: рано — поздно, завтра — вчера и т. п. Вернее сказать, не сами понятия, а их названия. Названия предметов запоминаются легче.)

Честно — нечестно

Когда уходит домой, у нас с ним задача: побыстрее спуститься с лестницы, чтобы, опередив родителей, устроить им в подъезде засаду и хорошенечко напугать. Чувствуя к концу дня усталость, он обычно просится на ручки. Однажды Петр сказал ему, чтоб он спускался с лестницы сам, не просясь на ручки.

Когда мы спустились этажом ниже, я предложил:

— Давай возьму на ручки.

Он говорит:

— Раз сказано не надо, значит, не надо. Папа выйдет, увидит — будет нечестно!

В телефоне

Разговаривает с Тамарой по телефону:

— Тетя Тамара, это ты? Тетя Тамара, ты в телефоне сидишь?

«Ха-ха!»

Играл со строительными кубиками. Говорит:

— Я лев, сейчас буду есть кроликов.

Берет кубик и делает вид, что кусает его.

— Ха-ха! Они деревянные!

Верх деликатности

Полез на диван, чтоб включить электричество, а на диване лежала Танина кофточка.

Игорь. Можно мне стать на твою кофточку?

Таня. Можно.

Игорь (*становясь на кофточку*). Спасибо.

Придумал игру

Игорь смотрел по телевизору сказку про мышку, которая помогла попавшему в сети льву. На другой день устроил игру.

Тамара — лев, я — охотник, Игорь — мышка.

Мышка (Игорь) идет и попадает в лапы ко льву.

Лев (*страшным голосом*). Ха-ха-ха! Я тебя съем!

Мышка. Отпусти меня! Я тебе пригожусь.

Лев. Ты?! Ха-ха-ха! Ты меня насмешила, мышка! Ну иди.

Мышка убегает. Охотник накидывает на льва сеть (одеяло). Лев сидит и жалуется на свою судьбу, громко взывает о помощи. Появляется мышка и перегрызает «сеть». Лев награждает ее медалью (значком ГТО). Они начинают дружить (это уже

сверх виденного по телевизору). Мышка забавляет детей льва — трех львят (в роли которых выступают плюшевый медвежонок, собачка и кошка), учит их умываться, чистить зубы, для чего берется настоящая зубная щетка. Когда непонятливый медвежонок (руководимый Тамарой) по ошибке чистит зубы обратной стороной щетки, Игорь громко смеется и кричит:

— Не так! Вот как надо!

Жалко акуленочка!

Рисует синим карандашом какие-то косые линии, потом зеленым, потом красным. Прочерчивает поперек листа жирную красную линию. Перечеркивает ее отрывистыми короткими штрихами. Говорит:

— Это в акуленочка стрельнули четыре пули. Жалко акуленочка! Он погиб!

Пизанская наклонная башня

— Дедушка, а где этот город, в котором стоит нагибная башня?

«Легну»

Пришел со двора уставший. Говорит:

— Ноги болят! Сейчас пойду легну на кровать.

«Котиха»

Лепили из пластилина.

— Давай,— говорит,— слепим котеночка и котиху.

Какая бывает музыка!

Игорь просмотрел по телевидению, как он сказал, мультипацию.

Говорит:

— Давай в кота и мышей играть. Сначала музыка хорошая, чтоб мыши танцевать могли. А потом музыка злая: кот просыпается и хватает мышку.

Вопрос, требующий объяснения

— Дедушка, а кто такой «освистент»? Он свистит, что ли?

Быстрее скорости

Играет с самолетиком:

— Бж-ж-ж! Лечу быстрее скорости!

Смешные стишки

Командир полка,
Рост до потолка,
Уши до дверей,
Сам, как муравей.

Еще смешные стишки

Дядя Федя великан,
Руки в брюки, нос в карман.

Словарь

АЯЯЙКАТЬ — говорить «Ай-ай-ай!». (Употребляется во фразе «Нечего здесь аяйкать!»)

БЕСКУДЫШНЫЙ — никудышный.

БЕЗНОГЕНЬКИЙ КАЛЕКА — инвалид.

БАВИЛОНСКАЯ МАЧТА — Вавилонская башня.

ВЕТРЯНОЕ СУДНО — парусное судно.

ВЗРИЖСКОЕ МОРЕ — Рижское взморье.

ГОЛОВЯТНИК — головастик. («Двух лягушонков поймали и одного головастика».)

ГОСТАПИЛЬ — госпиталь.

ДЕРЕВЯХА — деревяшка.

ЗАКИНЖАЛИТЬ — убить кинжалом.

ЗАПРОСТЯК — запросто, в смысле: просто. («Это я тебе за-простяк сделаю».)

ИМПЕРАТОР — кинооператор. («Дядя Витя работает на киностудии императором».)

КОПКИ — выкопанные ямки в песке.

КУТТО — как будто.

ЛЕГКОВУХА, или ЛЕГКОВУШКА, — легковая автомашина.

ЛОШАДИСТЫ — кавалеристы.

ЛЯЛИПУТ — лилипут.

НЕПРОМОКАШКИ — резиновые сапоги.

НЕТУШКИ — нет. («Нетушки! Уж теперь я с тобой не буду водиться».)

НОЖИТЬ — резать ножом.

МОЗГЛИВЫЙ — умный. («Он был мозгливый человек».)

ОКРУЖНЯШКА — окружная дорога.

ПЕХОТНИК — пехотинец.

ПОРТАЛА — полтора.

ПОФЛАГЛИТЬ — помахать флагом. («Дай мне флаг, я пофлаглю немного».)

ПРОБОЛОТИЛСЯ — промочил ноги в болоте.

ПРОДАВЩИК — продавец.

РАЗОСПАТЬСЯ — проснуться. («Спал, спал, а потом разоспался».)

РАЗУЗЛИВАТЬ — развязывать узлы.

РАСКАПУЛИТЬ — раскупорить.

СВЕТЛАЯ КОПЕЙКА — гривенник.

СТАРОДЁЖЬ — старики вообще. («Молодежь и стародёжь».)

ТЕПЛИТЬСЯ — греться. («Дедушка, пойдем, будем возле печки теплиться».)

ТОЧНЯК — точно.

ЧЕРЕПЯТКИ — дети черепахи. («У черепахи черепятки маленькие».)



Глава пятая

ОТ ТРЕХ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ ДО ЧЕТЫРЕХ

«Еще спроси»

Таня проверяла знание Игоря букв на кубиках. Не задумываясь, назвал «П» (там, где изображен петух), «В» (там, где вишни) и некоторые другие. Когда Таня перестала спрашивать, он говорит:

— Еще спроси.

Собезьянничал

Говорит Тане:

— Посмотри, какой мне автобусик дедушка подарил.

— У, какой яркий! Какая тонкая работа. Какие детали! — восторгается Таня.

Через минуту Игорь идет показывать автобус Лиде:
— Смотри, какой автобусик яркий! Какая тонкая работа! Какие детали!

Принципиальность

Вдруг говорит посреди игры:
— Хочу белой холодной воды.
Это он всегда так уточняет, протестуя против подсовывания ему всяких морсов, сиропов, чая и молока.
Пришел с ним на кухню, хотел налить воды в стакан.
— Пусть бабушка Таня нальет,— говорит Игорь.
«Что за принципиальность? — думаю.— Должно быть, у него считается не мужским делом — наливать воду».
— Ладно,— соглашаюсь,— пусть бабушка Таня.
В другой раз прибегает на кухню:
— Дайте белой холодной воды.
Тамара налила воды. Стал пить. Вдруг спрашивает:
— Кто мне налил воды?
— Я налила,— несмело признается Тамара.
— Я хотел, чтоб бабушка Таня налила!
Пришлось эту воду выливать и наливать новую Тане.

Сухая курица

Игорь играл со мной. Пришла Тамара. Игорь начал «выставлять» меня, чтоб поиграть с Тамарой, которую давно поджидал.

— Теперь ты иди поешь,— говорит мне.
Я пошел, отдохнул полчаса. Пришел обратно, но, как видно, рано.
— Ты уже поел? — спрашивает.
— Поел,— говорю.
— Суп ел?
— Ел,— говорю.
— Кашу ел?
— Ел.
— Компот ел?
— Ел.
— Курицу ел?
— Ел.
— А сухую курицу ел?

«Что это еще за сухая курица? — думаю.— Мокрая курица бывает, а про сухую я и не слыхал».

— Нет,— говорю,— не ел.

— Ну, пойдя поешь сухую курицу.

«Не спорь!»

Делали с Игорем дом, накрывали сверху коробкой, и тут произошёл спор, как накрывать. Игорь был не в духе, капризничал.

— Ты,— говорит,— не спорь со мной. Извинись!

— Я же ни в чем не виноват,— оправдывался я.

— Пойду бабушке Тане пожалуюсь... Бабушка Таня, он спорит! Не извиняется!

Тамара вмешивается:

— Почему же дедушка должен извиняться, если ни в чем не виноват?

— Дура!

Я говорю:

— Ты же воспитательницу в детском саду не называешь душой, а тетя Тамара у себя в школе старше, чем ваша воспитательница.

— Воспитательница старше. Не спорь!

Стишок

Номер два, номер два,
Улица Полянка.
А на пятом этаже
Скачет обезьянка.

Интересно?

Ни с того ни с сего вдруг — вопрос:

— Дедушка, а тебе интересно быть лысым?

— Да нет,— говорю,— миленький! Какой уж там интерес!

А сам думаю, почему вдруг такой вопрос. Но тут же вспомнил. Обычно, когда его купают, он категорически отказывается мыть голову: мыло-то в глаза лезет! Приходится всячески уговаривать его, приводить разные доводы в пользу мытья головы. Однажды, когда его купали, я нагнулся, и он заметил поредевшие волосы на моей макушке:

— Дедушка, а почему у тебя нет волосиков на голове?

— Да вот,— говорю, решив использовать ситуацию с воспитательной целью,— когда я был маленьким, то не любил мыть голову, вот волосики и повыпадавали. А ты всегда мой головку, волосики и будут целы. Разве тебе интересно быть лысым?

Не помню, что он тогда ответил, но месяца через полтора обнаружилось, что разговор этот не был забыт. Должно быть, тут задела его мыслительный аппарат сама мотивировка вопроса. Можно было сказать: «Плохо быть лысым», «Некрасиво быть лысым» — это было бы более доступно его уму. А тут вдруг такая несколько странная ситуация: интересно или неинтересно быть лысым.

Вот он и решил еще разочек провентилировать этот вопрос.

Во сне

Игорь рассказывал длинную историю о том, как, когда он был в Крыму, ходил со своими двумя друзьями в пещеру, а там ехали танки. Потом танки остановились, из них вылезли фашисты с автоматами и стали стрелять. Ребята притаились в пещере и спрятались за камни — пули не могли попасть в них. Тут пришли наши войска и прогнали фашистов.

Потом он помолчал и сказал:

— Это мне во сне снилось.

Как котенок

Мы с Таней приехали навестить больного Игоря.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил я.

— Я больной еще.

— А что у тебя болит?

— У меня по бокам, по бокам... чего бывает?

— А когда делали укол, больно было? — спрашиваю.

— Больно! Я только пискнул, как котенок.

Хвост виден

На кубиках-азбуке узнает почти все буквы. Однако ж, если показывать буквы отдельно от картинок, часто путает. Конечно, на кубиках, даже не зная буквы, он отвечает правильно, угадывая по картинке.

Тамара внесла предложение: показывать ему кубик, прикрывая картинку.

— Ну-ка, Игорь, какая это буква? — спрашивает она, закрывая пальцем нарисованную на кубике ящерицу.

— «Я», — уверенно отвечает Игорь.

— Как же ты догадался? — удивляется Тамара.

— Так хвостик же виден!

Посмотрели мы, а хвост ящерицы на рисунке виден из-под закрывающего ящерицу пальца. По хвосту нетрудно догадаться, что нарисована ящерица.

Игоренок

Спросил как-то Лиду при Игоре:

— А завтра Игоренок приедет к нам?

Игорь услышал, повторил:

— Игоренок!

И усмехнулся.

Вообще-то в глаза мы его никогда так не называем, и он, конечно, не знал такого уменьшительного варианта своего имени. Однако сразу догадался, что речь идет о нем, и по достоинству оценил.

Уловил сходство

Глядя на букву «Ч» (печатную), говорит:

— «Ч» похоже на умывальник.

Произвело впечатление

Я заехал за Игорем в детский сад, и, когда ехали к нам, он с каким-то изумлением на лице рассказал:

— Меня папа обманул сегодня. Я забыл дома варежки, он сказал, что принесет их мне в детсадик. И не принес.

Я постарался объяснить ему, что папу могли задержать на работе, могли послать куда-нибудь далеко на съемку: он просто не смог привезти варежки, но не обманул — это не обман.

Мне показалось, что мои доводы были убедительны для него, но, когда мы приехали домой и прошло уже довольно много времени, он вдруг прервал игру и с тем же изумленным выражением лица рассказал об «обмане» Тане.

Вечером приехал Петр и, вынув из кармана Игоряшкины варежки, сказал:

— Вот, весь день возил твои варежки в кармане. Как только вернулся домой, позвонили, понимаешь, из редакции и велели срочно ехать на аэродром снимать прилетевших французских волейболистов. Поэтому и не успел к тебе в детсадик.

На лице Игоря была какая-то радостная и вместе с тем смущенная улыбка. Радостная, потому что уверился, что папа не забыл о нем, смущенная же потому, что на какое-то время плохо подумал о своем папке.

Рисует

Рисует, разговаривая сам с собой:

— Это рыбка высовывается из водорослей. Это ворон... Это хвостик такой пестренький...

Потом удлинил у ворона хвост и сказал:

— Это павлин. Это у него пятна на хвосте...

Стал рисовать на новом листке:

— Это кит... Это хвост... Это у него желудок.

Рисует черточки внутри кита:

— Это у него рыбки в желудке... Это кости.

Обращается ко мне:

— Правда, у рыб кости и у человека кости?

(Был с отцом в зоологическом музее и видел скелет кита.)

Продолжает рисовать:

— Это такой хвост у всех рыб... Рыба-кинжал. Хвост-кинжал.

Он, должно быть, имел в виду меченосца и спутал меч с кинжалом.

Рисует третью картинку:

— Это пальма... Это цветы «анютины глазки»... Маленький лягушонок. Маленький гусенок. Это крылья. Это глаза. Это нога. Смотрите!! Он сидит на ветке и держит веревку за клюв!!!

Поровну — по-братски

Говорит как-то мне:

— Ты написал три книги о Незнайке, а я напишу четвертую. Я десять книг напишу. Пять отдам тебе, а пять — мне.

Полгода спустя

Ранняя весна. Снег почти всюду растаял, и теперь можно пойти поиграть на любимую нашу песчаную горку возле железнодорожного депо, где мы не были с прошлой осени, то есть уже полгода.

Уходя, Игорь говорит:

— Мы пойдем гулять. Вы нас не увидите. Мы будем как в тумане.

В карманах у нас игрушки: автомобильчики, оловянные солдатики и плюшевый цыпленок.

Проходим по виадуку над железнодорожными путями. Говорит:

— Покажи цыпленку поезд. Только не урони!

Я достаю из кармана цыпленка и «показываю» ему проходящий внизу железнодорожный состав.

Игорь фантазирует на тему о том, что цыпленок может пасть под поезд.

У Игоря новые, подаренные только сегодня Таней варежки.

Говорит:

— Варежки легкие и крепче держатся.

Стал бояться поездов. Спустившись по лестнице, идем через железнодорожное полотно.

— А тут я совсем боюсь! — говорит. — Могу даже упасть от страха.

Стали играть, взобравшись на вершину его любимой песчаной кучи.

— Давай, — говорит, — скульптуру сделаем.

«Что такое? — думаю. — Что он понимает под скульптурой?»

Соорудил из песка полушарие, натывал в нем пальцем дырочек.

Говорит:

— Тут дырочки... Вот и скульптура.

Пошли к паровозному депо по утопанной снежной дорожке. Игорю, видимо, страшновато:

— Дедушка, иди вперед. Правда, все маленькие ходят за своими дедушками, папами и мамами?

— Правда, — соглашаюсь я.

— А помнишь, — говорит, — как с нами разговаривал дядя на паровозе, и ты сказал, что я твой внук?

Меня удивило, что он помнит не только факт, но и разговор полугодовой давности со всеми подробностями. Очевидно, разговор с машинистом, выглядывавшим из паровозной будки, про-

извел сильное впечатление своей необычностью и потому запомнился.

Когда шли домой, почему-то развивал теорию о том, что лошади — это верблюды без горбов.

Вверх головой

Вечером Игорь неохотно уходит от нас домой и отказывается одеваться. Чтобы добиться согласия, придумали что-то вроде взятки: покачать его на коврике, как на гамаке, после чего он безропотно начинает надевать пальто. Однажды родители спешили, и в этом удовольствии ему было отказано. В результате он закапризился.

— Что это за мода! Каждый раз его качать надо! — сказала Лида.

— Дура! — надув губы, проворчал Игорь.

— Что ты сказал?

— Дурочка!

— Что делается! А? — возмущалась Лида. — Мы были маленькими — родителей дураками не называли! А ну, одевайся сейчас же без разговоров! Не будет тебе никакого качания!

Пришлось ему подчиниться. Однако, натягивая пальто, он угрюмо сказал:

— Вот пойдем домой, я тебя толкну с лестницы, и полетишь вверх головой!

Признание

Ехали на такси с Петром и Игорем. Я попросил Петра отдать в починку сломавшуюся пишущую машинку. Игорь некоторое время сидел молча. Потом сказал:

— Дедушка, а может быть, машинка сломалась, потому что я на ней печатал?

— Нет, миленький, — говорю. — Мы ведь с тобой на большой машинке печатали, а сломалась-то маленькая.

Он посидел молча, как будто о чем-то думал, и сказал:

— Нет, дедушка, я и на маленькой печатал, когда никто не видел.

— Ну и что ж, — говорю. — Все равно ты не мог сломать. Машинка для того сделана, чтоб на ней печатать. А раз сломалась, значит, была плохо сделана — и ты не виноват.

Солнце улыбается

Игорь нарисовал дом довольно правильной четырехугольной формы с двумя четырехугольными окнами и форточкой, с крышей в виде полукруга, с трубой и дымом. Внутри дома нарисовал горизонтальную черту в виде полочки, и на ней — вертикальные черточки вроде палочек.

— Это,— говорит,— полочка с кактусами.

(У них дома есть полочка с кактусами.)

Вверху над домом нарисовал солнце (почему-то в виде полукруга) с лучами и сказал:

— Солнце улыбается.

Завтра

Говоря с Игорем по телефону, обещал заехать за ним с Таней, чтоб взять из детского сада на следующий день в час дня. Когда ехали с ним на следующий день из детского сада, он сказал Тане:

— А Вовка сказал, что дедушка за мной не заедет!

Значит, он успел расхвастаться перед ребятами, что его возмут пораньше, и по этому поводу возник спор.

Ребята все очень ценят, когда их берут домой раньше, и объявляют друг другу, если кому-нибудь на этот счет повезет.

Я говорю:

— Я ведь сказал тебе по телефону, что приеду сегодня?

— Сказал.

Зная, что он путает понятия «вчера» и «завтра», я спросил для проверки:

— Когда я сказал?

— Завтра.

Ну вот!

— Вчера,— говорю,— а не завтра. Завтра — это еще будет.

«Семь человек зверей»

Играли в охотников. В игру были включены плюшевые медвежата, собачка, лисичка, зайчик... Зачем-то Игорю понадобилось пересчитать их всех. Сосчитал и сказал:

— Семь человек зверей.

«Лентяйная»

Рассказывает сказку про мать, у которой были две дочери: одна трудолюбивая, а другая, как он выразился, лентяйная.

«Или я тебе огурец!»

Игорь оцарапал палец. Таня аккуратно забинтовала царапину. Пришла Тамара и стала смеяться:

— Какой хороший маленький пальчик!

Игорь. Ну чего ты смеешься? (Тане.) Правда, ничего тут смешного нет?.. Что тут, хрюшка какая-нибудь нарисована или я тебе огурец?

Динамическое рисование

(Настольное кино)

Рисует что-то в виде разреза двояковыпуклой линзы или огромной чечевицы и комментирует:

— Огромное чудовище! Во!.. Рыба-кит!

Внутри чечевицы рисует какие-то черточки:

— Это у него кости такие.

Пририсовывает впереди чечевицы что-то вроде растопыренных усиков:

— Это он рот открыл.

Ставит кисточкой между усиками пятнышко:

— Во! Рыбку проглотил.

От пятнышка прорисовывает линию прямо внутрь чечевицы:

— Во! И в живот пошла.

Рисует во рту кита вертикальную черточку вроде перегородки.

— Во! Рот закрыл!

Пририсовывает по бокам чечевицы две черточки:

— Это плавники такие.

Рисует что-то совсем непонятное:

— Это уточка... Рыбак идет ловить рыбку. Здесь рыбка плавает в водичке. Буль-буль-буль-буль!.. Такие плавнички.

Берет чистый лист и рисует на нем какой-то завиток:

— Во! Английский язык! Вот такой высывается. Это у него дудка такая. Э-э-э! (Подражает дудению дудки.)

Дружба

Скучает по своему заболевшему другу из детского сада Валерику. Однажды Петр был с Игорем в поликлинике, и они встретили там Валерика с его бабушкой. Рассказывая мне об этой встрече, Игорь радостно сообщил, что в понедельник Валерик уже придет в детский сад.

Петр рассказал, как Игорь обрадовался, когда увидел Валерика. Он закричал, бросился к нему, стал что-то громко рассказывать. Потом уже, когда они ушли из поликлиники, стал просить отца, чтобы он покатал Валерика и его бабушку на машине, когда Валерик выздоровеет.

Забота

Мы с Таней уходили в кино, а Игорь с родителями должен был уехать домой несколько позже. Игорь спросил:

— Мы уедем, а тетя Тамара одна останется?

Петр объяснил, что я и Таня скоро вернемся из кино, так что тете Тамаре не придется слишком долго скучать в одиночестве.

Что такое «7»!

Пересчитал своих игрушечных зверей и говорит:

— Здесь семь зверей, а семь — это пять и два.

Родственные связи

Спросил:

— Дедушка, а кто старше, ты или папа?

Я объяснил ему, что я папа его папы, и потому старше. Для него было как будто неожиданностью, что его папа — мой сын, как он сын своего папы.

В другой раз спросил:

— Дедушка, а что, тетя Тамара твоя дочка, что ли?

Я объяснил, что тетя Тамара сестра бабушки Тани.

Подумав, спросил:

— А почему она не живет отдельно, а с вами?

— Ну вместе-то ведь лучше жить, веселей. Правда?

— Правда, — согласился он. — Так даже лучше. У нас три Носовы, я, папа и мама, и у вас три Носовы.

Какое-то чувство удержало меня от того, чтобы сказать, что у Тани, как и Тамары, фамилия Середина.

Услышав, что Таню кто-то называл Татьяной Федоровной, спросил:

— Почему дяденька называл тебя Татьяна Федоровна? Ты же Таня Тимофеевна.

— Почему ты так думаешь? Я на самом деле Татьяна Федоровна.

— Почему же мама Лида Тимофеевна?

Таня объяснила ему, как образуются отчества людей.

Как пальмы

Игорь увидел у нас на балконе высаженную в ящике рассаду огурцов и сказал:

— У вас огурцы, как пальмы.

Меня каждый раз удивляет заложенная в нем потребность сравнивать и способность давать верные, меткие сравнения. Это у него органично.

Как шлагбаум

Ехали с Игорем на такси. На перекрестке увидели милиционера-регулирующего с полосатым жезлом в руке.

Игорь сказал:

— Милиционер, как шлагбаум.

Опять до чего верно схвачено! И зрительно полосатый жезл регулировщика напоминает полосатую перекладину шлагбаума, и по существу регулировщик играет роль шлагбаума, открывающего и закрывающего доступ движению транспорта.

Удивительное сравнение

Взял мои очки, стал смотреть сквозь них.

Я спросил:

— Видишь что-нибудь?

— Как через окно, покрытое каплями дождя.

Он мог сказать, вижу неясно, расплывчато, туманно, нерезко... Хотя вернее предположить, что именно так он и не мог сказать, поскольку подобного рода слов не знает вовсе. Однако,

чтоб передать, как именно он видит сквозь очки, он подобрал сравнение из знакомых ему явлений, и притом удивительно верное, образное.

Гипербола

Ехали с Игорем и Таней в автобусе. Таня сказала:

— Вот дом — пять этажей.

Игорь сказал:

— Не пять, а гораздо больше.

Дом на самом деле был десятиэтажный.

Потом Игорь сказал:

— У нас есть дома восемнадцатиэтажные. У нас много восемнадцатиэтажных домов. А у фашистов таких домов нету. У фашистов ничего нет — одни заборы.

Развитие речи

Еще не исполнилось четырех лет, а уже употребляет такие сложные слова, как «вообще», «абсолютно».

Попробовал копать песок палкой.

— Этим вообще плохо копать, — говорит.

Ночью смотрел на что-то в окно.

— Ничего, — говорит, — абсолютно не видно.

Купили ему кепку, но большую. Он примерил и, посмотревшись в зеркало, сказал:

— Возьми ее, я вообще не буду ее носить.

В последнюю очередь

Рисовал красками. Провел коричневой краской вертикальную черту. Лида спрашивает:

— Что это?

— Дерево.

— А листочки где?

— А листочки в последнюю очередь.

Головой

Заезжал с Таней за Игорем в детский сад. Когда ехали домой, Таня спросила:

- Ты знал, что дедушка заедет за тобой сегодня?
- Знал.
- Тебе папа сказал?
- Нет, я сам догадался. Это я папе сказал, что дедушка Коля за мной сегодня заедет.
- Как же ты догадался?
- Так, как все люди догадываются.
- Ну, так ты, может быть, объяснишь, как все люди догадываются? — спрашиваю я.
- А вот угадай, какая будет навстречу машина, — скажу. Навстречу как раз шла «Волга». Я говорю:
- «Волга». Угадал?
- Угадал.
- Теперь ты скажи, как люди догадываются, — говорю.
- Головой. Не знаешь разве?

Проверка памяти

Игорь разговаривал с Таней. Таня спросила:

- Помнишь, как мы прошлым летом на даче жили?
- Помню.
- В лес как ходили, помнишь?
- Помню.
- А помнишь, как грибы собирали?
- Помню.

Таня больше вопросов не задавала, и он сказал:

- Ну спроси меня, чего я еще помню.

Киплинг

После обеда читали, лежа на диване, «Слоненка» и «Откуда у кита такая глотка?» Киплинга. Слушал чрезвычайно внимательно, отчаянно боролся с одолевавшим его сном, переворачиваясь с боку на бок. Однако интерес превозмог сон.

Я никогда не думал, что Киплинг может так быть доступен и интересен ребенку, не достигшему и четырех лет.

Почему!

Купали Игоря, а времени было мало, так как нужно было смотреть детскую телепередачу, и Таня сказала:

— Давай не будем сегодня ему голову мыть.

— А почему? — вскинулся он.

Это было тем более комично, что обычно он сам умоляет не мыть ему голову, боясь, что мыло будет щипать глаза; тут же почувствовал, что ему вроде как бы чего-то хотят недодать.

«Это я радуюсь»

Мы с Игорем гуляли на пристани на Москве-реке. Увидев проплывавший по реке пароход, катер или буксир, тащивший за собой баржи, он начинал прыгать на месте как заводной.

Я спросил:

— Ты чего прыгаешь? Тебе холодно?

— Это я радуюсь.

Забыл

Нашел в сквере у Киевского вокзала гриб неопределенной породы. Очень бережно нес этот гриб, завернутый в бумажку, и поминутно останавливался, чтоб полюбоваться своей находкой. Когда дошли до его любимой песчаной кучи, решили поиграть в песочек.

Увлечшись, Игорь поломал гриб на мелкие кусочки, зарыл их в песок, чтоб на следующий год новые грибы выросли.

Под вечер возвращаемся с ним домой. Вдруг останавливается и недоумело спрашивает:

— А где же гриб?

— Какой гриб?

— Ну, который я нашел.

— Ты же его поломал на кусочки и посадил в песок.

— А!

Математик

Во дворе Игорь и его приятель Борька хвастают друг перед другом своими знаниями в счете. Игорь просчитал до десяти. Борька сказал, что он и до ста просчитает. Игорь сказал, что

тоже может до ста. Я сказал, что до ста он не сможет. Ох, как он обиделся на мои слова! Я даже не ожидал. Кулаком замахал на меня. Стал считать. До 15 досчитал правильно, а там пошло: 17, 19, 16, 22, 34...

— Ну умеешь, умеешь,— успокоил я его.
А что было делать?

Вот так!

Поднимались на лифте с каким-то незнакомым гражданином.

— Вам на какой этаж? — спросил я его перед тем, как нажать кнопку.

— На пятый.

Игорь говорит:

— Нам тоже на пятый.

— А вам нет,— сказал гражданин шутя.

Игорь потихоньку спрашивает меня:

— Правда, нам на пятый?

Я говорю:

— Правда.

— Вот видите! — торжествующе сказал Игорь нашему спутнику.— Нам тоже на пятый. Вот так!

Гражданин даже опешил и переспросил:

— Как «вот так»?

Преклонение перед границей

За ужином Таня дала Игорю круглую чайную ложку, непривычной для него формы. Он не захотел ею есть.

— Какая хорошая ложка! — сказала Таня.— Это, знаешь, японская ложка.

Сразу стал есть этой ложкой, и с тех пор, как только садится за стол:

— А где моя японская ложка?

Чтоб скорей пришло завтра

Проснувшись утром, спрашивает Петра:

— Папа, сегодня — уже завтра?

— А почему ты спрашиваешь?

- Дедушка сказал, завтра ко мне приедет.
Как-то спрашивает меня:
- Дедушка, а когда завтра?
- Вот ляжешь, поспишь — и завтра.
- Ночью посплю?
- Да, ночью.
- А если я днем посплю?

Мамочка

После купания, натягивая Игорю на ноги чулочки, Лида нагнулась. Он прижался грудью к ее спине, обнял:

- Мамочка тепленькая! Мамочка хорошенькая!



Глава шестая

ОТ ЧЕТЫРЕХ ДО ПЯТИ ЛЕТ

День рождения

В день рождения сказал:

— Мне сегодня четыре года, а завтра тоже будет четыре года.

Подаренные ему цветы поставил под стол, потому что под столом, по обыкновению, была игра со всеми зверятами.

Уходя домой, цветы забыл взять, но, когда пришел через два дня, сразу спросил:

— А цветы стоят под столом?

Нашел выход

Игорь уже давно научился говорить «пожалуйста» в ответ на «спасибо». Таня за какую-то его услугу однажды сказала ему:

— Большое спасибо.

Он на мгновение задумался, как бы озадаченный, и тут же ответил:

— Большое пожалуйста.

Уроки пения

Когда ест мороженое, Таня нарочно дает ему не сразу всю порцию, а с интервалами, придумывая разные предлоги, чтоб не застудить горло.

Однажды ел мороженое и просит еще.

— Спой песенку, дам еще,— говорит Таня.

Спел какую-то песенку про танки и самолеты, выученную в детсадике. Съел еще часть порции и снова просит.

Т а н я. Спой еще песенку.

И г о р ь. Эту же?

Т а н я. Другую.

И г о р ь. А другой не знаю.

Т а н я. Ну, пой эту же.

Расправился с остатками мороженого.

— Дай еще.

— Больше нет.

— А если я спою?

— Все равно, миленький, нет. Тут хоть пой, хоть не пой. Если даже споешь, мороженое не появится.

Что такое любовь

Приходит и сразу спрашивает:

— Какая будет картина по телевидению?

— «Да, вот она, любовь!» — говорит Таня.

— У! Это неинтересно!

— Почему ты думаешь? Ты знаешь, что такое любовь?

— Конечно. Это когда целуются и любят.

Считалка

Жили-были сто ребят.
Все ходили в детский сад.
А потом ложились спать.
Начинай считать опять.

Молния

Была гроза. Игорь ел за столом. Сверкнула молния. Я сказал:

— О, молния!

Он встал из-за стола, подошел к окну и сказал:

— Давно я молнии не видел!

И верно! С прошлого лета, то есть больше полугода (а это огромный срок в жизни ребенка), он не видел молнии, а все же не забыл о существовании такого явления природы.

Подаренный «километр»

— Дедушка, мне папа километр подарил.

— Какой километр? — удивляюсь я.

— Который на север показывает.

— Может быть, компас?

— А, да! Компас!

Кто такой Добран

— Дедушка, а как они жевали Добрана?

— Какого Добрана?

— Ну ты в сказке читал: «Стали они жить-поживать да Добрана жевать».

Игра

Играет в песочке с кубиками и игрушками и приговаривает про себя:

— Тут норка. Туда маленькая мышка полезла, а там оказался волк. И вылезла, и стала плакать... Маленький кремль стоит. Теперь больше кремль стал. Копал, копал — получилась нора

у мышки подземная. Это маленький сыночек у нее. Он делал домики мышатам из песочка. Это лужа маленькая из песочка. Через эту лужу не ходят. Она уже засохла... «Ура! Шведская наша армия!» — кричит мышка. Здесь была вся земля, а здесь был окоп. Пришли фашисты: «Тра-та-та-та!» А она вырыла себе норку, и мышка сама потерялась. Теперь добра она не наживает. Только книжки читает. И песни поет. И пошла домой.

«Шучу!»

Ехали с Игорем в зоопарк. По дороге фантазировал:
— В зоопарке один морж, один слон, один тигр — и больше зверей нету... Это я шучу!

«У них ножки есть!»

Гуляли в Тимирязевском парке. Игорь поймал двух зеленых гусениц, бережно посадил в коробочку. Шедшая навстречу женщина любопытствовала: заглянула в коробку.

— Фу, какая дрянь! — говорит.

Игорь (изумленно). Разве дрянь?! Дедушка, правда не дрянь? У них ножки есть!!

Маленький принц

Вышли с Игорем во двор. На нем бумажная шапочка корабликом, которую сделала по его просьбе Лида. Маленькая девочка, лет трех, увидела его, захлопала в ладоши, закричала:

— Маленький принц! Маленький принц!

— А ты мартышка! — ответил Игорь.

Наверно, решил, что «принц» — это что-то оскорбительное. А может быть, «мартышка», по его мнению, не ругательство. Ведь называет же он сам себя горилленком.

Змея

Ездили в зоопарк. Как только приехали, спросил:

— А где змея? Пойдем змею смотреть.

Я предлагал посмотреть зверей сначала на старой территории, потому что змея — на новой.

Нет! Заладил:

— Хочу змею!

Пошли с ним на новую территорию, посмотрели змей разных пород.

Вернулись на старую территорию, и тут вдруг вопрос:

— А орел где?

Опять ничего другого не хотел смотреть, кроме орлов. Оказалось, что разговаривал с Тамарой и спросил, каких зверей она видела в зоопарке. В числе упомянутых ею были змея и орел, то есть как раз те, которых он еще не видал.

После того как посмотрели орлов, еще долго ходили по зоопарку, и он спрашивал:

— А еще есть что-нибудь новое?

То есть зверь, которого он еще не видел, новый для него.

Наверно, хотел удивить Тамару зверем, которого она не видела.

Когда приехали домой, хвастливо сказал Тамаре:

— Ты видела одну змею, а я видел много змей.

Чем кончилось увлечение

После того как видел змей в зоопарке, Игорь слепил из пластилина змею. Попросил меня слепить другую, поменьше — чтоб были папа-змея и мама-змея — потом еще маленьких сыночка и дочку.

На другой день Лида рассказывала, что ночью он проснулся, вылез из кровати и не хотел ложиться.

— Там змея,— говорил.

Потом рассказывал мне:

— Ночью мне показалось, что у меня в кровати змея.

Скорее всего, ему приснилась змея, но он еще не всегда отделяет сны от действительности.

«Ботинок потерял!»

Ехали с Игорем на такси. На перекрестке дорогу переходил мужчина на костыле. Одна нога у него была в ботинке, другая — в теплом шерстяном носке. Он на эту ногу не наступал. Игорь увидел, как закричит:

— О! О! Смотри — ботинок потерял!

Шофер чуть не лопнул со смеха.

У ребятешек в детском саду часто соскакивают с ног ботинки, туфли или сандалики. Явление это у них привычное. Вот Игорю и показалось, что дяденька просто потерял ботинок и теперь ходит в одном ботинке, подпираясь костылем, чтоб не испачкать ногу в носке.

Забота о маленьких

Были в детском городке парка культуры и отдыха. Там есть и ящик с любимым песочком, и качалки, и осаждаемая со всех сторон горка для спуска на коврик. Но главным образом детишки борются за место у штурвала фанерного парохода, стараясь вытеснить друг друга и покрутить рулевое колесо, воображая себя заправдашними моряками.

Неожиданно слышу крик Игоря:

— Ну-ка, пустите! Отойдите! Дайте маленькому покрутить!

Смотрю: Игорь отыскал среди ребят малыша двух с половиной лет.

— Иди сюда,— говорит.— Они дадут тебе покрутить. Дай руку, я отведу тебя.

Взял малыша за ручку, протащил сквозь толпу ребятешек, толпившихся на «пароходе», вытеснил ребят, которые завладели штурвалом.

— Крути,— говорит малышу.

Малыш стал с упоением крутить штурвал.

— Как тебя звать? — спрашивает Игорь.

— Сережа.

— А меня Игорь. Сколько тебе лет?

— Два с половиной годика.

— А мне четыре. Теперь мы с тобой знакомы.

Вообще он легко сходится с ребятами. Особенной симпатией его пользуются маленькие, которым он любит оказывать покровительство.

Родители Сережи, наблюдавшие эту картину, говорят:

— Скажи мальчику спасибо, за то что он дал тебе покрутить.

Сережа сказал «спасибо».

— Пожалуйста,— вполне серьезно ответил Игорь.

Потом Сережа дал покрутить Игорю.

— Спасибо,— взяв штурвал, сказал Игорь и добавил: — А ты мне скажи — пожалуйста.

Потом он учил Сережу кататься с горки, вместе играли в пе-

сочек. Когда родителям пришла пора уходить, Сережа ревел и рвался к Игорю. Его никак не могли унять. Но Игорь и тут нашелся:

— Приходи завтра в это же время в парк, я тоже тут буду, и будем снова играть.

Согласие было получено, и слезы кончились.

Воробьям можно

Гуляли в зоопарке. Проход по одной из дорожек был перегорожен доской, к которой была прибита надпись: «Проход воспрещен». Когда Игорь хотел пролезть под загородкой, я сказал, что туда нельзя.

Неподалеку продавалось мороженое. Мы сидели на лавочке возле загородки с запретительной надписью и ели мороженое. Игорь увидел, что воробьи свободно пролетают под загородкой на запрещенную территорию, и спросил:

— А воробьям можно под этим проскакивать?

Домой!

После месячного пребывания на детсадовской даче родители взяли на один день Игоря погостить дома и привезли его на дачу к нам. Я удивился происшедшей в нем всего лишь за один месяц перемене. Это был тихий, спокойный ребенок, без какой-либо свойственной его возрасту стремительности, порывистости. Голос был тихий, ровный, какого я у него никогда не слыхал. Он не кричал, не порывался куда-то бежать, не смеялся, и если улыбался иногда, то какой-то спокойной, я даже сказал бы, снисходительной улыбкой. Спокойно спрашивал, если его что-нибудь интересовало, спокойно, без свойственного ему увлечения, отвечал, если его о чем-нибудь спрашивали. Проходя по улице и увидев в каком-нибудь дворе играющих ребят, он спрашивал, во что они играют. Последив за игрой с минутку, он улыбался своей спокойной снисходительной улыбкой, и мы отправлялись дальше. Казалось, переменилось не только поведение, но сам характер ребенка.

Вечером родители повезли его обратно на детсадовскую дачу. Он ехал безропотно, без слов, без возражений. По дороге родители почему-то передумали и решили взять его на оставшуюся часть лета домой. На следующее утро Игорь был снова у

нас, и я еще раз был удивлен происшедшей в нем перемене. Это был очень живой, подвижный, веселый, разговорчивый, даже, я бы сказал, болтливый ребенок. Он бегал, прыгал, кричал и громко смеялся. Словом, это был прежний маленький чертенок — ничто не переменилось в нем.

Возможно, вчера мысль о том, что ему предстоит снова разлука с родителями, подсознательно тревожила его и убивала в нем инстинктивную радость бытия.

Петр рассказывал, что, уезжая с дачи, он говорил ребятам: — Ребята, я уезжаю домой!

И раздарил им все свои игрушки.

Чтобы видеть и есть

Ездили с Игорем в Архангельское. На загородной дороге он увидел светофор, на котором были нарисованы глаза и рот. Спросил:

— А для чего на светофоре глаза и рот? Чтобы видеть и есть?

Чтоб больше было

В лесу пекли на костре картошку. Игорь поделил доставшуюся ему картофелину на кусочки величиной с ноготок и сказал: — Чтоб больше было.

Грустная музыка

Сидим во дворе на лавочке. Откуда-то доносится по радио минорный марш. Игорь говорит:

— Это музыка скучная. Это солдаты уходят с войны. Правда, дедушка, когда солдаты уходят с войны, у них такие глаза?

— Какие?

Опускает ресницы, почти закрывая глаза.

— Это потому, что на войне скучно.

Прислушивается к музыке:

— Это по телевидению сейчас показывают, как солдаты уходят с войны.

— Почему ты так думаешь?

— Потому, что музыка скучная.

Можно не сомневаться, что словами «скучно», «скучная» он заменяет слова «грустно», «грустная», которых еще не знает.

Еще один чрезвычайно важный вопрос

— Дедушка, а кто это такая, Кибернетиха?

Не все колесо, что крутится

Нарисовал что-то вроде усеченного конуса.

— Что это? — спрашиваю.

— Это такое... забыл — что крутится.

— Колесо?.. Карусель?

— Не только колесо и не только карусель крутится.

Гусь

К вечеру разыгрался, надел мою белую рубашку, которая ему до пят. Из-под рубашки видны ноги в красных пуховых носочках, которые связала ему бабушка Маня. Длинные рукава свисают вниз, словно крылья.

Говорит:

— Я гусь.

На самом деле в своих красных носочках похож на гуся. Ходит по комнате, согнувшись, и говорит:

— Вот такие бывают гуси. Вот так согнутся, а сами на своих лапах ходят.

Нетерпеливые кубики

Я наделал Игорю по его просьбе из пластилина кубиков. Потом они с Тамарой наделали кубиков, но более небрежно и гораздо больших размеров. Говорю Игорю:

— Что же это у вас такие большие кубики? Не хватило терпения сделать маленькие?

Пришла Тамара. Игорь говорит:

— Знаешь, что дедушка сказал: «Наши кубики нетерпеливо большие».

Кузнечик

Ездили за город. Увидел на обочине лесной дороги оставленный кем-то мотоцикл ярко-зеленого цвета. Сказал:

— Вот мотоцикл стоит, зелененький, как кузнечик.

Мотоцикл, стоявший на опоре, с несколько приподнятым над землей задним колесом, был на самом деле удивительно похож на готовящегося прыгнуть кузнечика.

Хотел пошутить

- Дедушка, знаешь, дельфины, они с колесами.
- Да что ты?!
- Я хотел пошутить.

Воображение

На даче любит ходить к новостройке и рыться в куче песка, отыскивая разные камешки, которым, не задумываясь, дает названия по сходству со знакомыми предметами: «катушка», «ромашка», «подушечка», «лодочка», «диванчик», «дедушкин табачок» (похож на гриб, именуемый дедушкиным табачком).

Очень белый камешек почему-то назвал: «Белоснежка». Говорит:

- Смотри, я какой кругленький камешек нашел, как мячик. Очень ценит, если попадется хоть маленький обломок чертова пальца, которые называет чертовыми камешками.

Низкие облака

Погода испортилась. Сидим дома и смотрим в окно. По небу ползли низкие темные тучи.

— Видишь,— говорю,— какие низкие облака? Кажется, можно достать рукой.

— Нет, рукой нельзя,— деловито говорит Игорь.— Палочкой можно.

Как тигренок

Возит по своей руке игрушечный трактор, оставляющий на теле следы гусениц.

- Будешь полосатый,— говорит ему Лида.
- Как тигренок,— подхватил Игорь.

Сам потерял, сам нашел

Вынимает из кармана пуговицу и показывает мне:

— Вот это я в детском саду нашел. Сам потерял, и сам нашел.

Японцы по-своему рисуют

Рассматривал с Таней в журнале японский рисунок.

— Бабушка, смотри, смешно очень: неправильно нарисовали — снизу деревья, а сверху речка течет.

— Действительно! — поддержала разговор Таня. — И облака — неправильно. Облака голубые не бывают.

— Ну, японцы же по-другому рисуют, — сказал Игорь.

Крепенькое

Бегал по дому, что-то искал и говорил:

— Нам бы чего-нибудь крепенькое.

Оказалось, что строили с Тamarой из диванных подушек дом, и нужно было сделать крышу.

У игрушечного магазина

Проходили с Игорем по улице мимо витрины игрушечного магазина.

Говорит как бы про себя:

— Хоть бы купили игрушку какую, что ли!

Много всякого хорошенького

Шарит палкой под шкафом, вытаскивает по очереди пузырек от духов, закатившийся шарик, деревянный кубик, оторвавшуюся от куклы-голышки ручку. Говорит:

— Вообще здесь много всякого хорошенького.

На игрушки свои не обращает внимания, а вытащенную из-под шкафа заваль ценит.

Фото

Взял у отца пачку фотографий, часть которых была снята во время пребывания в Крыму.

— Вот смотри: море такое было в Крыму. Там волна запрыгивала на берег.

Показывает другую фотографию:

— Это экскурские пароходы.

Показывает еще фотографию:

— Это уже не Крым.

— А что?

— Пальмы! Африка.

Показывает фотографию, на которой пароход ниже горизонта моря. Говорит с недоумением:

— Почему же наверху море? Это, что ли, подводный корабль плывет?

Смотрит на фотографию с вулканом:

— Вообще в Крыму не бывает вулканов. Это надо в Америку ехать.

Смешно!

Рассказывает:

— Когда мы вечером легли спать, кино про шпионов видели. Два было шпиона. Одного заперли в машине. Он раз! — разбил окно и вылез. Там матросы были, капитаны. Они там узнавали одну машину. А один дядька позвонил — шпион-то! Потом капитан пошел, где не надо искать, и сказал... Ха-ха-ха! (Не может удержаться от смеха.) Смешно так сказал, не помню, что!

«В один миг»

Рассказывая Игорю сказку, Таня сказала:

— Это произошло быстро...

— В один миг, — подсказал Игорь.

В чем выражается радость

К первому сентября не все ребята пришли в детский сад. Особенно ждал Игорь своего лучшего друга Валерика. Наконец пятнадцатого сентября Игорь возвращается из детского сада:

— Ты знаешь, сегодня мой друг пришел. Угадай кто?

Я уже знаю, что угадывать с первого раза не полагается, и нарочно долго ломаю голову:

— Миша?

— Нет.

— Дима?

— Нет.

— Павлик?

— Да что ты? Ха-ха! Павлик уже давно пришел, как и я!

— Так кто же? — спрашиваю. — Валерик?

— Да!

— Ты радовался, когда Валерик пришел?

— Нет.

— Почему же?

— А в детском саду нельзя громко смеяться.

Объяснил

Видел автомашину заграничную. Стал объяснять, какая она:

— Здесь вот так, а здесь так, тут вот это, а здесь такая вот ровная штука, а здесь такая длинная, как колбаса квадратная.

Еще «плохее»

Рисовал, все время меняя карандаши. Потом говорит:

— Этот карандаш плохой, а этот еще плохее!

«Хочу быстрее играть»

Игорь играет с Таней. Строят домик.

И г о р ь (*торопливо, как бы захлебываясь словами*). Давай, мы как будто маленькие крокодильчики, строили себе домик и жили в нем, а нам кто-то сломал крышу...

Т а н я. Говори помедленнее. Почему ты так быстро говоришь?

И г о р ь. Я хочу быстрее играть.

Пчелка и пчелята

Играем с Игорем на диване. Говорит:

— Давай, как будто я пчелка маленькая, а ты мама. Как будто мы пчелы, играли вот тут на пляже. Мы как будто маленькую пчелку купали (пчелку изображает тряпичная кукла-лисенок). А она кричит: «Не хочу!» А мы ее как бросим далеко в море. А кубики, знаешь, как будто рыба... Правда, пчелки любят рыбок?.. Я не пчелка. Я умею рыбок ловить. А он (лисенок) будто мне помогал. Рыбка осталась у нас, а пчелка плавает вообще. Я как будто была пчела. Как будто я потом прилетел и поймал маленьких пчелят.

Птица «Пульван»

После того как был в зоопарке, рассказывает:

— Там такая птица... Пульван.

— Павлин, может быть?

— Да.

«Зайчиковые» и «медведные»

Игорь просит купить ему и его другу Юре маски для представления в детском саду.

— Мне,— говорит,— зайчиковую надо, а ему медведную.

«Давай привет»

— Игорь, тетя Ляля передала тебе апельсин и привет.

— Не хочу апельсин. Давай привет.

Важный вопрос

Просмотрев по телевидению фильм, спрашивает:

— А почему белогвардейцы не ели и никто не ел?

Я стал припоминать содержание фильма и убедился, что были показаны бои, походы, даже выступление самодеятельности, а вот такая важная вещь в жизни, как принятие пищи, выпала из поля зрения создателей фильма.

Дразнилка

Злятина, зрятина,
Злятина, козлятина!

(Кричат тому, кто сердится.)

В детском саду

Спрашиваю:

— Ну, как вы живете в детском саду?

— Покушаем и пойдем гулять, потом покушаем и ложимся спать.

Крокодил

Приносит мне слепленное из пластилина подобие крокодила с зубастой пастью.

— Угадай,— говорит,— что это?

— Крокодил,— говорю.

— Не угадал! Подъемный кран. Хочешь, и тебе такой сделаю?

— Хочу.

— Хочешь, сделаю тебе красивее, чем этот?

— Хочу, конечно.

Ради подарка

Любит выпрашивать подарки, ради чего выдумывает всевозможнейшие предлоги:

— Дашь подарочек, расскажу, что сегодня в детском саду на обед ел.

Страшно смешной случай

Играл, бросая своих овечек в загон. Вдруг застыл с деревянным домиком в руках и громко расхохотался:

— Я домик хотел тоже бросить!

Кто такой «сотрудник»?

- Слепил из пластилина две фигурки. Говорит:
— Это будет милиционер. А это сотрудник.
— А кто такой сотрудник? — спрашиваю.
— Он проверяет документы.

Вопрос из области теории относительности

- Дедушка, меня вот что интересует: когда поезд едет, а муха летит по вагону, то муха трясется?

Дразнилка

Андрей-воробей,
Не гоняй медведей!
Медвежки боятся,
На землю садятся.

Ячмень под глазом

- У Игоря под глазом вскочил ячмень.
— Что это у тебя под глазом? — спрашиваю.
— А это у меня этот... овес.

Самой-то хорошо!

- Игорь бегает по комнате босиком.
— Надень сейчас же носки, — говорит Лида.
— Да! Сама-то в чулках, а чулки-то все в дырочках!

Разговор с приятелем

- Вышли с Игорем во двор, где увидели гулявшего Колю.
Игорь спросил:
— Ты давно гуляешь?
— Да, — говорит. — Только что вышел. А вы?
— Мы тоже давно, — говорит Игорь. — Только что пришли.

Нежная иностранка

В детском саду девочка Адва, дочь иностранца из близлежащего посольства.

Спрашиваю:

— Игорь, а Адва умеет по-русски говорить?

— Плохо. Говорит: мороток (молоток), граза (глаза). Говорит: «Игорь», а потом целуется — подходит и волосы мои целует.

Наврал

— А я сегодня петуха ел... живого!.. Это я наврал. Жареный был.

Любитель точности

Таня рассказывает Игорю сказку:

— ...Котенок и медвежонок пробирались по лесу. Уже было поздно. Совсем темно...

— А сколько было часов?

Свой Лобачевский

Игорь начал считать. После шестнадцати сказал девятнадцать. Я поправил. Он был не в духе и стал капризно настаивать:

— Нет, девятнадцать!

— Но я же, — говорю, — лучше знаю, что после шестнадцати — семнадцать.

— А я хочу, чтоб было девятнадцать.

— Нельзя, миленький, чтоб было девятнадцать. Всю математику придется переделывать из-за тебя.

— Ну и пусть!

«Драгоценный» кирпич

Путает слова «кирпич» и «камень». Это у него синонимы. Играл в пиратов, которые зарывали клад.

— Здесь, — говорит, — у них драгоценный кирпич был.

Игрушечный Алеша

Маленький Алеша хорошо ест — толстенький, румяный, кругленький. Алешина мать говорит Игорю:

— Надо побольше кушать. Вот и ты будешь, как наш Алеша.

— А я и не хочу быть похож на вашего игрушечного Алешу!

«Снег танцует»

Игорь пришел со двора замерзший. Сказал:

— Погода очень хорошая.

— Почему?

— Там снег танцует.

Я посмотрел в окно. Ветер передувал снег с места на место, образуя маленькие завихрения.

Спутал

Слепил из пластилина солдата со шпагой.

— А это что у него? — спрашиваю.

— Шпика.

— Может быть, шпага?

— Ну да, шпага!

Вельможа

Лида говорит:

— Игорь, дай мне нож, вон лежит.

— А ты что, вельможа какая-нибудь?

Пантера

— Дедушка, а пантера маленькая злая?

— Нет, маленькая не злая.

— А которая уже в школу ходит?

— Та может быть злая.

«Хи-хи-хи! Три-хи-хи!»

Играет на полу и бормочет про себя:

— Тут шла криновогая баба... Тут мужичок с коготок... Я придумал такую машину, летающую на облаках. Две машины

столкнулись. Тут и милиционер: «Послушай, друг, что ты нарушаешь движение?» Летит динозавра...

Поднимает в руке слепленное из пластилина длинношеее животное без ушей.

— А это что у тебя за животное? — спрашиваю. — Без ушей почему-то.

— Хи-хи-хи! Три-хи-хи! А это старинное животное — динозавр!

Уже большой

Я спросил Игоря об одном мальчике, с которым он обменивался почтовыми марками.

— Он уже большой, — говорит Игорь. — В восьмом классе учится. Ему тридцать лет, наверно.

Не так нарисовал

По просьбе Игоря рисовал море с плывущим пароходом. Потом он захотел, чтоб я еще нарисовал лодку. Пришлось поместить лодку на переднем плане, то есть ниже парохода. Игорь посмотрел и говорит с недоумением:

— Что ли, она затонула? Или это подводная лодка?

Скотенок

Лепили с Игорем из пластилина индейцев. Я сделал возле вигвама загон для скота.

— Здесь, — говорю, — у них будет скот жить.

— А скота у них не будет, — говорит Игорь. — Хотя нет, — спохватился он, — пусть у них будет один скотенок.



Глава седьмая

ОТ ПЯТИ ДО ШЕСТИ ЛЕТ

На день рождения

Утром в день рождения спрашиваю Игоря:

— Кто к тебе на день рождения придет?

— Будто не знаешь! Ребята придут.

— А зачем к тебе ребята придут?

— Зачем! Зачем! Они принесут мне подарки, а я им дам подарки, а потом поедим и пойдем во двор, соберем железо и сделаем танк.

— А девочек в танк возьмете?

— Нет. Они боятся. Под водой поплывем, а они: «Ай! Ой!» Из люка пых, пых, пых — и плывут!..

История

— Послушай,— говорит Игорь,— сейчас я расскажу тебе историю. У нас в детском садике Маринку считали самой умной, потому что она хорошо кушала: все съедала, ничего не оставалось. И все говорили: «Вот умная! Умная! Умная!» А вчера каждому нужно было сложить в коробочку пять кружочков, поверх них пять четырехугольничков и еще сверху пять треугольничков. Когда открыли у всех коробки, у меня было все правильно. А Маринка оказалась дура. Она все перепутала: треугольнички лежали с кружочками и четырехугольничками, все перемешанные!

Сильное воображение

Смотрели детскую телепередачу: сказку, иллюстрированную неподвижными рисунками слоненка, осленка и других зверей. Когда передача окончилась, Игорь спросил:

— Дедушка, а звери живые были?

Я сказал, что звери были нарисованные.

— Ты же заметил,— говорю,— что они не двигались?

— Нет, дедушка, они двигались: бегали, кувыркались, копали лопатами землю, спускались с горки...

«Не прилизывайся!»

Не слушался бабушку Таню и считал себя с нею в ссоре. Приносит показать мне привезенный из дому бивень моржа.

— Дедушка, смотри, бивень мамонта.

— А может быть, это бивень моржа? — говорит Таня.

— А ты не прилизывайся!

Удовольствие

Игорь попросил Таню достать стоявшую на шкафу фарфоровую фигурку.

— С удовольствием,— выполняя его просьбу, сказала Таня.

— Почему с удовольствием?

— Потому, что ты человек хороший, и мне доставляет удовольствие сделать то, что ты просишь.

— А!

Спустя некоторое время мы рисовали с ним. Вдруг говорит:

— Бабка Танечка! Пойду покажу ей картинку!

Основы педагогики

Лепил из пластилина по просьбе Игоря верблюда, но морда верблюжья у меня никак не получалась. Игорь говорит:

— Дай мне верблюда. Научу тебя я, как морду верблюду делать, а то я сам не знаю, как ему морду делать.

(И верно! Иной раз не знаешь чего-нибудь сам, возьмешься объяснять другому — и сам поймешь.)

Неподкупность

Таня рассказывала Игорю детективную историю о похищении из нью-йоркского музея какой-то знаменитой картины, которую охраняли двое сторожей, четверо полицейских и сторожевая собака.

— Потом оказалось, что сторожа и полицейские были подкуплены,— сказала Таня.

— А собака не могла быть подкуплена! — поспешно вставил Игорь, и его лицо осветилось торжествующей улыбкой гордости неподкупностью зверя.

Бедная кошечка

Есть у Игоря резиновая кошечка с умильным выражением глаз. Однажды, забираясь на спинку дивана, взял эту кошечку и сказал:

— Давайте возьмем эту бедную кошечку. Она будет с нами играть.

Я спрашиваю:

— Почему же она бедная?

— Так!

«Иногда-преиногда»

Уверял меня, что карасята живут на суше. Я утверждал, что — в воде.

— Но они хоть иногда, иногда-преиногда ведь вылезают на берег?

«Царя поймали!»

Ходили с Игорем в Тимирязевский парк. Там ручей и обширное болото с тритонами. Ребята разных возрастов ловят тритонов кто сачком, кто старой корзинкой, кто просто руками. Когда попадается особенно крупный тритон, кричат:

— Королевский тритон!

Или просто:

— Король!

Нам с Игорем тоже посчастливилось выловить одного большого тритона. Ребята подходили, заглядывали в банку с тритоном.

— Ого,— говорили.— Король! Короля поймали.

Игорь пришел домой с уловом. Заявил с гордостью:

— Царя поймали!

Тритономания

У нас новое увлечение. Чуть ли не ежедневно ходим ловить тритонов. Однажды отправились прямо с утра и вернулись с хорошим уловом. После обеда я прилег на диван. Таня читала Игорю книжку. Потом он пришел, залез ко мне на диван. Посидел молча. Я говорю:

— Пойдем за тритонами?

Он обрадовался. Сказал:

— Дедулька!

Принялся прыгать, дурачиться, обнимать меня.

Без сомнения, я угадал его желание и то, что ему самому неловко было просить меня тащиться на болото вторично.

Отчего бывает тепло?

Однажды возвращаемся с ловли тритонов. Таня спрашивает:

— Игорь, тебе не холодно на дворе было?

Он сказал:

— Сначала, когда шли туда (на болото), было холодно, и потом было холодно, а как только поймали одного тритончика, сразу стало тепло.

Прелестный котик

Гуляли в лесу. Игорь сорвал пушинку с вербы:

— Дедусь, посмотри, какого я котика сорвал прелестного!

Достижение

Перед обедом настойчиво уговаривали Игоря помыть руки. Потом как-то забыли об этом. После обеда он говорит с торжествующей улыбкой:

— А руки-то я и не помыл!

Новое слово

Лепили с Игорем из пластилина. Сделали дом. Он нечаянно прижал его коленом и смял.

— Что же ты так дом изувечил? — говорю я.

— Изувечил? — удивился он. — Что, там овечка, что ли, сидит?

«Шпана»

В магазине покупали Игорю матросскую фуражку. Надев фуражку, он критически посмотрел на себя в зеркало.

— Ну, — говорит, — шпана!

— Что, не будете брать? — не то испуганно, не то озабоченно спросила продавщица.

— Нет, — махнул Игорь рукой. — Возьмем!

Игра

Играем в морские приключения после чтения «Незнайки».

— Акулу возьмем на буксир, — говорит Игорь, — она будет коротышек от врагов защищать. Стекляшкин тоже поплыл, да за бочку зацепился: дрын! Да и в бочку свалился! Вниз головой! Враги его засмолили да и бросили в воду. И все. А его там акула съела. Он плыл, плыл, увидел свою знакомую акулу. Она его за ножки взяла. Она приплыла на берег, да и все. Они там подружили.

Пушкин

Петр учит Игоря читать. Дал ему мою книжку и велел прочитать фамилию на обложке.

— Эн, о, эс, о, вз, — читает Игорь по буквам.

— Ну и что получилось?

— Пушкин?

(До этого они читали сказки Пушкина, и Игорю такой писатель уже был известен.)

Утешил

Ходили с Игорем и его приятелем Сережкой в парк. Сережка ударился ногой о пень. Игорь, чтоб утешить его, сказал:

— Я тоже раз стукнулся ногой по пеню.

«Дребезги»

Рисовал цветным мелком и, уронив на пол, разбил его вдребезги.

— Ну ничего,— говорит.— Положим все дребезги в коробочку.

Птица-председатель

— Дедушка, ты знаешь, мы с мамой и папой ходили вчера в зоопарк, а там была птица; знаешь, как называется? Председатель!

— Может быть, секретарь?

— А, да! Секретарь!

До одурения

Очень долго играли в ванной. Делали мыльную пену, пускали корабли, устраивали бурю. Наконец Игорь посмотрел на меня каким-то смущенным, уставшим взглядом и сказал:

— Знаешь, дедусь, мне, по-моему, уже неохота больше в это играть!

Долго

Играли в Химках возле огромной лужи, где было очень удобно пускать бумажные кораблики. Игорь спросил, сколько еще можно играть. Узнав, что полчаса, удовлетворенно сказал:

— Полчаса — это много. Мы с мамой полчаса поезда ждали. Я спросил, сколько ждать. Мама сказала: полчаса. Мы долго ждали!

Я сказал:

— Полчаса ждать — это долго, а когда играешь, время быстрее идет.

— Да,— согласился Игорь.

Оправдался

В лесу хотел поймать ящерицу, но она убежала. Говорит:

— Она на таком далеке от меня сидела, что я не успел схватить.

Живая лошадь

— Знаешь, дедусь, вчера я был у бабушки Мани и видел, как по улице настоящая лошадь шла... Живая!!!

Тюлень

Приходит с отцом из зоопарка.

— Ну, кого в зоопарке видел? — спрашиваю.

— Тюленя. Черный, как резина!

Изобретатель

Мы с Игорем видели с балкона, как кошка подкрадывалась к зазевавшемуся воробью. Начали кричать и прогнали кошку.

— Знаешь,— говорит Игорь,— пусть кошка поймает воробья, мы отнимем у кошки, и у нас воробей будет.

(Он давно мечтает поймать птичку.)

«Тонкий» намек

За обедом Игорь говорит Тане:

— А один маленький мальчик из нашего детского сада уже клубнику ел.

— Интересно, почему один маленький мальчик мне говорит об этом? — как бы ни к кому не обращаясь, спрашивает Таня.

Игорь смотрит на нее вопросительно, но тут же поняв, что его намек разгадан, заливается смехом. Говорит:

— Вкусная была!

Тяжелое испытание

Намек не пропал даром, и на следующий день Игорь сидит за столом и ест клубнику. Сначала он съедает самые маленькие и самые незрелые ягодки.

— Почему же ты больших не ешь? — спрашиваю его.

— Хочу оставить маме.

Постепенно он все больше входит во вкус. В конце концов на тарелке остаются четыре самые крупные ягоды. Вижу, что ему очень трудно бороться с собой. Говорю:

— Раз клубника появилась в продаже, то мама тоже, конечно, купила.

Обрадованно доедает оставшиеся ягоды, а я начинаю понимать, почему раньше, когда ел черешню, он тоже начинал с самых маленьких и незрелых ягод, постепенно доходя до более крупных. Я думал, он просто оставляет то, что повкусней, на потом. Оказывается, он для мамы берег.

Салют

Пойманный в лесу еж с аппетитом лакал молоко, так что брызги веером взлетали кверху.

— Смотрите, салют! — сказал Игорь, показывая на разлетающиеся брызги.

Романтика

Отец подарил Игорю альбом с рисунками эволюции животного мира. Игорь очень любит рассматривать этот альбом, выясняя, какое животное от какого произошло. Все эти мамонты, бронтозавры, ихтиозавры внушают ему какой-то романтический интерес.

Такой же интерес вызывают у него и первобытные люди, индейцы, вообще дикари.

Однажды мы лепили с Игорем разных доисторических мамонтов, носорогов, саблезубых тигров, людей. Слепили и динозавра.

Игорь вдруг спохватился:

— А когда были динозавры, людей-то не было еще!

Пришлось людей из игры исключить.

Корабль

Ездили с Игорем на прогулочном парходике по каналу
Пока ждали парход на пристани, он все спрашивал:

— А скоро корабль придет? Мы на каком корабле поедем?

Из мира фантастики

Показывает мне банку с рыбками:

— А ты знаешь, откуда рыбки? Я вечером положил в банку камешек, налил воды, а утром встаю — там рыбки!

(Накануне он сам ездил с отцом на Птичий рынок за рыбками.)

«Напоминай как звали»

Играет со своими игрушечными зверушками, говоря за них:

— И тут, ниоткуда возмись, запищал заяц!

Или:

— Человечек хотел спрыгнуть в воду, но не тут-то был: там акула сидела.

Однажды я попросил на минутку его любимый маленький карандаш.

— Да! Возьмешь на минутку, а потом напоминай как звали!

Совсем запутался

Игорь еще плохо ориентируется во времени. Часто спрашивает:

— Что сейчас, утро, или уже вечер, или день?

Однажды проснулся после дневного сна. Зевал, зевал; слез с кровати, сидел. А потом:

— Что это — сегодня, или еще вчера, или уже завтра?..

«Хорошо пачкается»

Нашел где-то кусок черной смолы.

— Что это? — спрашиваю.

— Смола.

— Зачем тебе?

— Хорошо пачкается.

Точное предвидение

Расшалился так, что унять нельзя: прыгает на диване, как на батуте. Таня спрашивает:

- А что сказал бы папа, увидев, что ты так бунтуешь?
- Смеялся бы.
- А мама?
- Сердилась бы.
- А дедушка?
- Тоже смеялся бы.
- А тетя Тамара?
- Беспокоилась бы.

Расшифровал

Как-то спрашивает:

- Что сегодня по телевидению будет?
- «Операция «Трест».
- Трест?.. Что, там кто-то треснул кого-то, что ли?

«Ем зря»

За обедом не соглашается есть, пока Таня не начнет рассказывать ему какую-нибудь занимательную историю. Однажды увлекся едой и не заметил, что история кончилась. Вдруг спохватился:

- Ну, рассказывай! Что, я должен зря есть?!

Мечты на дороге

Шли с Игорем из леса в районе Тушина. Дорога длинная, идти скучно. В такой ситуации лучше всего мечтать. Игорь мечтает:

- Мне хочется купить четыре хомячка, нет, пять хомячков. Двух отдам в детский садик, одного дома оставлю. Одного — бабушке Мане, и одного — вам. Куплю синичек (снова определяет общее количество, и кому сколько достанется). Куплю еще пять цыпляток. Нет, одиннадцать цыпляток... Нет, двадцать цыпляток. Девять отвезу бабушке Мане, девять — себе и одиннадцать — вам... нет, двенадцать вам (небольшая ошибка: всего на одну единицу второго разряда). Вам два будет беленьких,

два рыженьких, один желтенький и один серенький; бабушке Мане два желтеньких, два сереньких... (и т. д.); мне два сереньких, три желтеньких... Нет, лучше четыре желтеньких...— И так всю дорогу.

Первая скульптура в мире

Лепили с Игорем деревья из пластилина и первобытных людей, живших в доисторическом лесу. Игорь слепил что-то вроде колонны.

— Это,— говорит,— была как будто первая скульптура в мире.

Предосторожность

Игорь в детском саду учится кататься на велосипеде.

Я говорю:

— Ты не ездь по асфальтовым дорожкам. Если упадешь, можешь больно удариться об асфальт. Ездь по земляным дорожкам. Там падать мягче.

— А там у нас молодое деревцо посажено. Вдруг я упаду да прямо на деревцо. Евгения Анатольевна сказала, зеленые насаждения беречь надо.

Запас беды не чинит

Гуляли в лесу. Мне захотелось есть. Я спросил Таню, не взяла ли она с собой конфет. Оказалось, нет. В следующий раз, когда шли в лес, Игорь дважды предупредил меня:

— Дедушка, не бери конфет. У меня вафли есть. Мне в детском саду на полдник дали, а я не съел.

В лесу усиленно угощал нас своими вафлями.

Авиаграмма

Пускали мыльные пузыри с балкона. У Игоря несколько пузырей слиплись комком, облипли снизу мыльной пеной, ветер подхватил всю эту комбинацию, поднял кверху и стремительно понес в сторону.

Игорь сказал:

— Это авиаграмма.

Я не сразу понял, что это слово он образовал по аналогии с радиограммой.

Зарыбление

Удили рыбу в пруду, вокруг которого сидели во множестве такие же незадачливые, как и мы с Игорем, рыболовы. Игорь сказал:

— Надо будет наловить рыбы в реке и напустить в этот пруд, а то люди приходят, сидят, сидят...

«Руководительный» палец

Звонит по телефону:

— Дедуля, я поймал кузнечика, большого такого, величиной с палец... забыл, как этот палец называется: сначала мизинец, здесь другой, потом еще... А! Вспомнил: руководительный.

— Указательный,— говорю я.

— А, да! Указательный.

Кто услышит

Игорь сидит на веранде совершенно один. Вдруг говорит:

— Духота невероятная! Прямо голова раскалывается! (Накануне он слышал, как эти слова говорила соседка.)

Входит отец:

— Кому ты это говоришь?

— А кто услышит!

Сейчас смешно будет

Игорь рассказывает содержание виденного кинофильма:

— Была война. А там фашистская цистерна с бензином была. Вдруг из пулемета: тра-та-та-та! Попали в цистерну. Бензин потек. А один фашист — сейчас смешно будет — закурил и бросил спичку. А бензин — п-ф-ф-ф! — и сгорел. Приходит фашистский генерал: «Заправить машины!» А заправлять нечем! Ха-ха-ха!

Пульверизатор

Услыхал слово «пульверизатор». Говорит как бы про себя:
— Пульверизатор. Что он, пулями стреляет?

Еще вопрос, требующий выяснения

— Дедусь, почему говорят: «Червячка заморить»?

— А ты где слышал?

— По телевидению говорили: «Надо червячка заморить».
А зачем его морить?

«Включи солнышко»

Игорь играл с солдатиками на полу. Штора была закрыта, а на дворе светило солнце. Игорь заметил пробивавшийся сквозь штору свет. Говорит:

— Дедуля, включи солнышко.

Я даже не сразу понял, что моя задача заключалась в том, чтоб открыть штору.

Поговорили

Игорю звонит по телефону его двоюродный брат Саша.

С а ш а. Здравствуй, Игорь!

И г о р ь. Здравствуй.

С а ш а. Ты что делаешь?

И г о р ь. Что делаю? Возле телефона стою.

Забота о людях

Возвращались с Игорем из детского сада. Во дворе он увидел Леночку, которая вернулась из детского сада раньше и уже вышла гулять. Игорь сказал ей, что сейчас переоденет мокрые чулки и тоже выйдет гулять.

Дома торопил с переодеванием. Говорил:

— Пойдем скорей, а то Леночке одной во дворе скучно.

В другой раз, играя с Таней, старательно втягивал в игру и меня.

— А то тебе скучно,— говорил он.

«Доисторическая тетка»

Игорь — Тамаре:

— Пойдем играть. Я буду доисторический котенок, а ты — доисторическая тетка...

Немного погодя:

— Нет, ты будешь тетенька, а не тетка.

Считает друзей

— У меня два друга в детском саду, да один у бабушки Мани, да я еще. Сколько всего будет?

Море

Сидим на диване. Это пароход. А на полу у нас море. Игорь бросает пластмассовый кубик в море:

— Это будет бутылка. Она будет плавать по морю. Ее бросили матросы и положили письмо, что у них случилось кораблекрушение, чтоб к ним пришли на помощь. А тут кит плывет. Как хвостом огромным плюхнет, так брызги. И еще у него фонтан... Дедушка, а откуда у кита фонтан?

Сон

— Мне приснилось,— говорит Игорь,— что папа подарил мне собаку.

(Он давно мечтает о собаке.)

— Ты с ней играл? — спрашиваю.

— Нет.

Он усмехнулся: должно быть, подумал, что я подразумеваю игру с автомобильчиками или с солдатиками.

— Что же ты с нею делал?

— Ну, мы бегали с ней.

Потом он сказал, что папа обещал подарить ему собаку самку, чтоб она вывела ему щенят. Спрашивает:

— А она сколько может вывести? Двоих?

— Может двоих, может и шестерых,— говорю.

— Пять, наверно, может...

Любитель музыки

- Дедушка, ты знаешь песню композитора Васецкого?
- Нет.
- Я тоже не знаю. Одно слово знаю.
- Какое?
- Забыл.

Только для девочек!

Пришел из детсада. С обидой рассказывает, что для девочек в группе устроили «Медпункт» с красным крестом, бинтами и ватой, а мальчиков не допускают к этой игре. Им можно играть только в магазин. Я говорю:

— Ты бы попросил Ларису Григорьевну, чтоб и тебе разрешили.

Но, видимо, он уже научился стесняться играть с девчонками.

Говорит:

— Девочки бинтовать умеют, а я нет.

Еще стишки

Ай да я! Ай да я!
Это выдумка моя.
Говорят, что великаны
Очень слишком велики.
Говорят, что великаны —
Это просто чудаки.

«Я бы посмотрел»

Зову Игоря посмотреть по телевизору фигурное катание на коньках.

Спрашивает:

- Хорошо катаются?
- Хорошо! — говорю.
- Ну! Если бы плохо, я бы посмотрел.

Соблюдение условий

Таня заставляла Игоря поест. Согласился лишь после того, как она сказала:

— До половины второго к тебе никто больше приставать не будет.

После завтрака Тамара говорит Игорю:

— Что ты все носом шмыгаешь? Давай-ка высморкаем нос.

— Мне бабушка Таня сказала, что до половины второго ко мне никто приставать не будет.

Больше количества

Лепили с Игорем «сырки» из пластилина, завертывая их в серебряную бумажку, для игры в магазин. Один сырок был продолговатый, другой квадратный. Продолговатый казался Игорю больше, что он доказывал мне в таких выражениях:

— Он, во-первых, толще, и в нем больше пластилина. В нем больше количества, понимаешь?

Почему?

Игорь спрашивает у Тани:

— Почему: вас трое, а только ты и дедушка делаете мне подарки?

— А знаешь, сколько тетя Тамара получает? На что она будет покупать себе одежду, ботинки? — спрашивает Таня.

— Ну, иногда хоть! — говорит Игорь.

— Так ведь иногда она и дарит тебе. По праздникам.

— Ну, по праздникам и еще иногда.

Пожаловался

В семь часов вечера Игорь спрашивает:

— Уже было четыре часа?

— Было, — говорю. — А что?

— Бабушка Маня сказала, в четыре часа приедет, если не заболеет. Значит, она заболела.

— Сегодня очень холодно, — говорю я. — Может быть, бабушка Маня от этого и не приехала.

— Нет, она заболела. Не спорь со мной! Вот пойду пожалуйюсь на тебя маме!

Ушел. Тут же вернулся:

— Вот, пожаловался на тебя маме. Давай играть.

Усвоил

Игорь играет с Лидой в огород.

— Вот здесь,— говорит Игорь, показывая места на ковре,— растут репки, здесь — подсолнухи, здесь — помидоры, здесь — огурцы, здесь — соленые огурцы.

Лида говорит, что соленые огурцы не растут: их надо солить, и рассказывает, как их солят.

— Ну ладно,— говорит Игорь.— Здесь растут репки, здесь — подсолнухи, здесь — помидоры, здесь — простые огурцы, а соленые не растут.

Страшно!

Смотрели с Игорем мультфильм, где мальчик один блуждал по пустынному городу.

Игорь смотрел, смотрел, потом говорит:

— Страшно! А для маленьких было бы совсем страшно. Давай не будем эту картину смотреть.

Основа творчества

Игорь лепил из пластилина зайца, а получилась лиса. Потом сделал овечку.

— Очень похоже,— похвалил я.

— А я и человека могу сделать,— говорит.

— Кто же тебя научил?

— А я, что ли, людей не вижу?

«Гидрописьмо»

Рассказывая что-то про морских путешественников, Игорь сказал:

— А потом они послали ему... это... гидрописьмо.

— Может быть, авиаписьмо? — спрашиваю.

— Как же?! Его же на пароходе везли!

«Могу быть воспитанным»

Вращаясь в кругу своих сверстников в детском саду, Игорь привык к какому-то грубоватому, командирскому тону. Приехал к нам:

— Ну, тетя Тамарка, топай, топай!

— Игорашка, какой ты у нас невоспитанный,— обиделась Тамара.

Он посмотрел на нее долгим, серьезным взглядом и сказал:

— А я могу быть и воспитанным.

— Когда ты был маленьким,— сказал я,— ты был очень вежливым: всегда говорил «спасибо»...

— Ну, дедусь, чего же я буду говорить «спасибо», когда мне никто не говорит «пожалуйста»,— с какой-то не то обидой, не то досадой ответил он.

И это верно. Я давно заметил, что не каждый даже взрослый человек скажет ребенку «пожалуйста» в ответ на выражение благодарности. Однажды мы ехали на такси. Вылезая из машины, Игорь сказал шоферу «спасибо», но тот только бросил на него косой взгляд и ничего не ответил. Мне самому было как-то неловко, и с тех пор я уже не напоминал Игорю, что, дескать, надо сказать дяде «спасибо». Еще неизвестно, какой попадется дядя!



Глава восьмая

ДОШКОЛЬНИК

Любимец публики

Воспитательница Лариса Григорьевна как-то сказала, что Игоря все ребята в детском саду любят и ходят за ним табуном, потому что он рассказывает им какие-то ужасно интересные истории. Выяснилось, что он пересказывает им истории, которые рассказывает ему за обедом Таня, про шпионов, про пиратов, про обезьянку, которая везла ему из Африки ананас, тайком пробираясь на пароходы, поезда, самолеты; про японскую девочку, которая ехала со своей мамой к бабушке, но вышла на остановке, а поезд с мамой ушел, после чего она блуждала по лесам, спасаясь от диких зверей, по чужим городам, попадая к разным людям, испытывая разные превратности судьбы.

Эта история об озорной японской девчонке (как и рассказ про обезьянку и некоторые другие) рассказывалась в течение нескольких дней, обрастая все новыми приключениями, в результате чего Игорь стал для ребят из детского сада каким-то подобием журнала, в котором печатается увлекательный роман с продолжением.

Как делать слона?

По телефону позвонил из дому Игорь:

— Дедушка, как ты делал из пластилина слона: голову с хоботом вместе или отдельно?

— Я делал голову с туловищем и хоботом вместе.

— А! А я делал отдельно, и он у меня не получился.

— Ты,— говорю,— делай туловище сразу вместе с головой из одного куска, тут же вытягивай хобот и наклеивай большие толстые уши: сразу станет похож на слона.

— А! А! Понимаю! Я кладу трубку.

Сговорчивость

— Летом ты куда на дачу поедешь? — спрашивает Игоря Таня.— Наверно, опять к тете Оле?

— Наверно,— без особенного энтузиазма говорит Игорь.

Т а н я. А с нами бы ты поехал на дачу?

И г о р ь. (*заметно оживляясь*). У! Поехал бы!

Т а н я. Но у нас, видишь ли, там реки нет.

И г о р ь. Ну ничего. Будем на пруд ходить.

Т а н я. Но у нас, знаешь, и пруда-то ведь нет.

И г о р ь. Ну что ж, будем в лес ходить.

Т а н я. Да у нас, понимаешь, и леса-то почти совсем нет.

И г о р ь (*почти возмущенно*). Что же у вас там?.. Лягушки хоть есть?

Т а н я. Лягушки есть.

И г о р ь. Ну ладно, поеду. Будем лягушек ловить.

Поскорее

Я зашел за Игорем в детский сад, как обещал накануне, к часу дня. Обычно он одевается медленно, не торопясь, расспрашивая о чем-нибудь или рассказывая о своих делах. На этот раз он как-то странно торопился, тревожно бормоча про себя:

— Я хочу поскорее одеться!

Я вспомнил, что последнюю неделю его брали из детского сада позже обычного, одним из последних. Его волнение и торопливость объяснялись желанием попасть поскорее в домашнюю обстановку.

Подарок

При Игоре записывал что-то авторучкой, которую мне подарил Петя на день рождения. Невольно поймал себя на мысли, что каждый раз, беря ручку, думаю о том, кто ее подарил. В это же время Игорь, как бы угадав мои мысли, спрашивает:

— Дедушка, ты рад, что тебе папа подарил ручку?

— Очень рад.

— Это хорошая ручка, правда?

— Очень хорошая.

— Ты ее любишь?

— Конечно, люблю.

— Ведь ее подарил тебе папа! Ты ею пиши.

— Буду писать.

Всех жалко!

Вечером, перед тем как лечь спать, мы сидим с Игорем за столом и занимаемся рисованием. Я рисовал ему первобытных людей в пещере. Вокруг были разные звери и птицы и, конечно же, мамонт. Один доисторический человек стрелял в мамонта из лука. Увидев это, Игорь сказал:

— Не надо!

Отняв у меня карандаш, нарисовал, как стрела обогнула мамонта, полетела в стоявшего на пригорке оленя, но и у него перед самым носом свернула вверх, полетев в утку, которую он тоже пожалел, в результате чего стрела обогнула утку и полетела вниз. Падая, она опять-таки попадала в мамонта, но обогнула в конце концов его еще раз и упала на землю.

Смешно!

Игорь сидит в задумчивости. Вдруг громко смеется:

— Знаешь, это я думал про фашиста, как он прыгал в кино со второго этажа и кости себе переломал.

Первоклашки

Шли по улице. Навстречу нам шла группа ребятишек, построившихся парами. Игорь говорит:

— Детский садик идет.

Я заметил, что ребята были постарше.

— Школа,— говорю.

Он говорит:

— Первоклашки.

Дети и абстракционизм

Таня рассказывала Игорю про художников-абстракционистов: как один художник в Америке, вместо того чтоб нарисовать картину, взял поломанный грузовик, набил его гнилыми помидорами, тухлыми яйцами, обмазал томатным соком... (Игорь слушал с несвойственным ему недовольным видом.) Грузовик не влезал в двери музея, поэтому художник поставил его не внутри помещения, а снаружи, у входа на выставку. Все это он сделал вечером, а утром пришли дворники. Говорят: «Какая гадость! Еще и воняет!» Прицепили грузовик к тягачу и увезли на свалку. Тут только Игорь в первый раз улыбнулся и сказал:

— Ты мне не про глупости, а про что-нибудь настоящее рассказывай.

Вопрос

— Дедушка, а ветер и воздух — это все равно?

Немного не угадал

Смотрели по телевидению отрывок из «Трех сестер». Входит Игорь. Только взглянул на телевизор:

— Это что, Горький?

— Нет, Чехов. Тоже хороший писатель.

— А!

Уловил мораль

Лида рассказывала Игорю историю об одном глупом мальчишке, который прыгал с крыши на крышу.

— Понимаешь, такой дурак! — время от времени вставляла она.

Что-то помешало продолжению рассказа, и Игорь сказал:

— Ну давай рассказывай дальше, чтоб я дураком не был.

Понял юмор

— Лекарство от кашля пил? — спрашивает Игоря Таня.

— Пил.

— Сколько? Ложку?

— Больше.

— Разве ты не из ложки пил?

— Нет. Из бутылки.

— Ты бы еще из ведра пил!

Смеется.

Нехорошо сделал!

Игорь рассказывал содержание фильма про индейцев, который недавно смотрел с отцом.

Потом мы с ним стали играть в индейцев, повторяя содержание фильма. Но когда дошли до слов «краснокожая собака», Игорь сказал:

— Не будем играть. Это нехорошо он сделал, что назвал его краснокожей собакой!

Любимое дерево

— Дедусь, ты какое дерево больше всего любишь?

— Пальму.

— А я березку. Знаешь, почему? На березке больше всего майских жуков бывает и муравьев.

Драма и комедия

Игорь пришел к нам и сразу спросил:

— Дедушка, что сегодня по телевидению будет?

— Комедия,— говорю.— Знаешь, что такое комедия?

— Знаю. Это когда смеются.

— А драма?

Махнул рукой:

— Знаю: когда ругаются.

На войне как на войне

Играли в войну. Строили из кубиков крепости. Игорь свою крепость построил покрепче, а я свою сделал с украшениями. Говорю:

— Вот положи еще эти кубики для красоты.

А он:

— На войне не бывает для красоты.

«Обсинился»

Испачкал синей краской руку и сказал с досадой:

— Обсинился!

Старик

Игорь рассказывает:

— Старик был старый такой, престарый, вот с такой бородой. Двадцать лет ему уже, наверно.

— Да разве двадцать лет — старый?

— Ну, ему уже сто лет, наверно.

Точка зрения

Играет в солдатики. Говорит:

— Из этой точки зрения вылетает самолет.

В другой раз сказал:

— Самолет, в конечном счете, полетел за игрушками.

«Небезногие и небезносые»

— Знаешь, какие змеи противные? — говорит Игорь. — Они без шерсти! Ящерицы лучше. Они небезногие и небезносые.

Довели!

Таня читала Игорю стихи. Спрашивает:

— Ты стихи любишь?

— Нет.

— Почему?

— Да у нас в детском садике что ни праздник, так обязательно стихи учить!

Это самое

Научился у кого-то вставлять между словами «это самое»:

— Что, комары тебя не за... это самое... не закусили?

Краткая рецензия

— Юрий Никулин здорово умеет играть роль жуликов, правда?

«Елочковый» лес

— Игорь, а у тети Оли на даче какой лес, сосновый?

— Сосновый и елочковый.

«Я и вам привезу»

В лесу выкопали с Игорем два кустика земляники и посадили их в цветочный горшок. Увозя горшок домой, Игорь сказал, что у него вырастет много земляники.

— Вот поешь своей земляники! — говорю я.

— А я и вам привезу. Знаешь, как с молоком вкусно!

Забота о маленьких

Поймали в пруду пиявку. Игорь говорит:

— Брось ее лучше под корягу, а то какой-нибудь маленький ребенок придет и схватит.

Любитель поспорить

Игорь говорит отцу:

— Папа, а давай с тобой поспорим, что самая сладкая дыня — это «колхозница».

— А чего спорить? Я и так с тобой согласен, что самая сладкая дыня — это «колхозница».

— Нет! Давай все-таки поспорим! Ну, давай!

Как была съедена дынька

Когда дынька была куплена, ее порезали на кусочки, и Игорь разделил кусочки на части: что будет съедено сейчас, что оставлено на вечер, что — на завтра. Потом он сел и съел все за один присест.

Заведующий всех зверей

Шли с Игорем и Сережкой в лес, надеясь увидеть белок. Игорь расфантазировался: принялся уверять Сережку, что у него завтра же могут быть две белки.

— У папы есть знакомый в уруситете (университете). Он заведующий всех зверей. Там есть всякие звери. Там даже тигр есть. Настоящий. Только неживой. Чучело. И даже крысы. Звери вылезают и могут бегать по уруситету.

Утешил

Искали в парке божьих коровок. Я разрывал палкой сухие листья. Игорь нашел одну божью коровку, но она оказалась раздавленной.

— Это, наверно, я палкой задел,— говорю.

Прошло некоторое время. Игорь говорит:

— Дедусь, ты не думай, что это ты раздавил божью коровку. Может быть, это я ботинком.

— Может быть, на нее кто-нибудь давно наступил,— говорю я.— Тут много народу ходит.

«Никогда-никогда!»

Игорь пошел в детский сад. Впервые в дошкольную группу. Вернувшись, рассказывает, что у них новая воспитательница, а Лариса Григорьевна и Евгения Анатольевна уже не будут у них «никогда-никогда!».

— Здесь хуже! — говорит он.— Это потому, что я еще не привык. Но я ведь привыкну, правда?

Он вопросительно глядит на меня снизу вверх. В глазах его светится надежда, что я подтверждаю его веру в то, что тяжесть на душе от разлуки с людьми, ставшими близкими, со временем сделается легче.

— Да,— говорю я ему.— Ты привыкнешь.

— Мы будем учиться писать,— продолжает он.— Правда, хорошо? Нам уже принесли доску. А новая воспитательница плохая! Только мы вышли во двор, она наказала всех мальчиков, а мы и не виноваты были! Разве могут быть все виноваты?

«Над чем смеетесь!»

Игорь увидел старую фотографию, где он совсем маленьким снят вместе со мной и своим отцом. Игорь что-то лепечет с серьезным видом, а мы с Петром отчаянно хохочем.

— Дедушка, ты не помнишь, что я вам рассказывал такое смешное?

— Я и сам бы хотел узнать, миленький,— говорю,— да теперь уж не могу вспомнить.

Оказалось, что он уже спрашивал об этом Таню.

Занятой человек

— Что же ты, Игорек, обещал мне щеточку принести, да все не приносишь? — говорит Игорю Таня.

— Да все забываю: то в детский сад надо идти, то спать.

«Упал вдругорядь — уж нарочно»

(Почти по Грибоедову)

Однажды пришел за Игорем в детский сад пораньше, то есть к концу обеда. Расправившись наскоро с компотом, Игорь принялся одеваться. Увидев, что за Сережей пришел его дедушка, побежал доложить об этом Сережке, но так как колготки успел натянуть на ноги только до колен, то запутался в них и со словами: «Сережка, за тобой дедушка пришел», упал прямо в дверях, на виду у всех ребятишек, продолжавших обедать. Услышав громкий смех, Игорь поднялся с пола и уже нарочно упал еще раз. Услышав еще более громкий взрыв смеха, он поднялся и упал в третий раз и еще ногами в воздухе задрыгал. Смеялись все, начиная с ребятишек и кончая нянечкой и воспитательницей.

Сережкин дед молча прятал в седых усах улыбку и с любопытством поглядывал на Игоря.

Что на Кавказе

Возвращаемся с Игорем из детского сада. Он долго идет молча, не спрашивая ни о чем. Меня интересует, думает ли он о чем-нибудь. Вдруг вопрос:

— Дедушка, а что на Кавказе, на весь Кавказ один дом?

— Почему ты так думаешь?

— А вот в картине «Кавказская пленница» там они в одном доме были.

На него произвело впечатление, что похищенную девушку прятали в отдельном доме, построенном в горах. Я объяснил ему его ошибку, и он вспомнил, что в картине были показаны и другие дома и даже больница, куда мошенники упрятали незадачливого героя. Потом вспомнил, что видел целые улицы и даже город.

Устами младенцев глаголет истина

Игорь самостоятельно прочитал на новом строении широко-вещательную вывеску: «Пивной бар».

— А что это — пивной бар? — спрашивает.

— Это там, где пьют пиво, — ответил я.

- А что, пиво пьют дядьки, которые хотят пьяными быть?
- Да.
- Лучше что-нибудь другое построили бы! — резюмировал он.

Мудрое решение

Целый вечер мастерили с Игорем вертушки, которые он хотел взять, чтоб раздать ребятам в детском саду. Несколько штук сделали из белой бумаги и одну из золотой. Сначала Игорь сказал:

- Золотая моя будет.
- Но, уходя, передумал:
- Золотую брать не буду, а то каждый из ребят будет хотеть ее.

«Дрянь такая!»

Шесть раз смотрел картину «Бриллиантовая рука», и каждый раз, когда его спрашивали, понравилась ли картина, отвечал:

- У! Хорошая!
- Наконец посмотрел в седьмой раз. Таня спросила:
- Понравилась картина?
- Дрянь,— говорит,— такая!

«Обману»

— Дедушка, дай мне карандаш и резинку, я в детский сад возьму. Если неправильно напишу, обману воспитательницу: сотру резинкой и напишу наново.

Интересно, что стирание резинкой он считает обманом, чем-то вроде подлога.

Который час?

К концу дня пришел к Игорю в детсад. Ребята играли во дворе, и я издали увидел, как Игорь подбежал к воспитательнице с каким-то вопросом. Она посмотрела на часы и ответила ему. Когда я подошел, она сказала:

— Неужели ему так не терпится покататься на машине: уже несколько раз прибежал и спрашивал, который час?

— А почему вы думаете, что ему хочется покататься на машине? — спросил я.

— Ну отец-то обычно приезжает за ним на машине, — отвечала она.

— По-моему, Игорь больше любит ездить на метро или в автобусе, — сказал я. — А спрашивает он потому, что ему хочется поскорей увидеть отца, поехать с ним к маме...

Она как-то недоверчиво пожала плечами.

Среди воспитательниц детского сада иногда попадаются странные люди: они не понимают, что ребенок может просто скучать по родителям, и даже самому естественному душевному движению способны приписывать какой-нибудь корыстный расчет.

Интригующий вопрос

Как-то Игорь спросил:

— Дедушка, а что у вас бывает, когда меня нет у вас?

Он хотел спросить, что мы делаем, когда он дома. Но вопрос задан в более интересной форме. Обычно, когда он у нас бывает, то всегда что-нибудь бывает: мы лепим из пластилина, рисуем, читаем, играем в прятки, устраиваем под столом дом, играем в солдатики и в другие игры, в том числе и в настольные. Словом, идет кипучая игровая жизнь. Может быть, он думает, что такая жизнь у нас кипит и без него. Но, может быть, ему пришло на мысль, что без него у нас скука и тишина и не с кем нам без него поиграть...

«Дурохимики»

Тамара уже давно купила набор «Юный химик», и они с Игорем время от времени добывают кислород, водород, углекислый газ, жгут родановую ртуть, делая так называемых «фараоновых змей», делают опыты с горящей в кислороде лучиной и пр. Тамара рассказывает ему об известных химиках, а также об алхимиках, которые соединяли что попало с чем придется и смотрели, что получится.

Однажды, когда вещества в наборе уже были израсходованы, а у Игоря возникло желание заняться химией, они с Тамарой крошили мелко огурец и залили его раствором йода. Когда все это задымилось, и вспенилось, и полезло из пробирки, Игорь сказал:

— Тетя Тамара, мы с тобой как дурахимики, про которых ты говорила.

— Я тебе об алхимиках говорила,— поправила его Тамара.

— А, я спутал! Думал, они дурахимики вроде нас с тобой.

Аш два о

Родители записали Игоря в плавательный бассейн. Когда он явился туда в первый раз, руководительница сразу решила предупредить его, что вода — вещь серьезная, с которой не шутят и т. д. Начать она решила с вопроса:

— Ты знаешь, что такое вода?

— Знаю: аш два о,— без запинки ответил Игорь.

Услышав такой ответ, руководительница опешила и не нашлась, что еще сказать о воде и что объяснить Игорю. Потом она рассказала об этом случае Петру и просила его объяснить Игорю, что вода — вещь серьезная, с которой не шутят, что в бассейне нужно вести себя примерно, слушать руководительницу и т. д.

Скучно

Играли с Игорем дома. Он посмотрел в окно, увидел, что уже темнеет. Спросил, сколько времени. Узнав, что уже семь часов, спросил:

— А зимой раньше будет темнеть?

Я сказал, что зимой в пять часов уже бывает темно.

— Знаешь, дедусь, когда на дворе темно, в детском саду бывает скучно.

Я сказал, что буду приходить к нему пораньше, до наступления темноты. Он стал просить прийти за ним завтра пораньше.

— Завтра,— сказал он,— а послезавтра не надо.

Угадал!

Смотрел по телевидению «Каштанку» Чехова. Когда Каштанка начала выступать в цирке, Игорь сказал:

— Вот сейчас придет старый хозяин Каштанки с сыном!
(Рассказа он не знал.)

Рассказ

Игорь рассказывает:

— Сегодня мы в детском саду гуляли во дворе. Оля Антипова потеряла варежку. А Рита Зыкина нашла и спрятала в карман.

— Для чего же она так сделала? — спрашиваю.

— А чтоб другие искали.

— Может быть, она хотела себе взять?

— Для чего же ей одна варежка? — возразил Игорь. — Просто вредная!

— И часто она у вас так делает? — спрашиваю.

— Нет, потому что ребята ведь не часто теряют варежки.

«Лыжничек»

Были с Игорем в парке. Ребятишки катались на лыжах с небольшой горки. Игорь на них и смотреть не хотел. Но тут пришел молодой человек, одетый в яркую фуфайку, пеструю вязаную шапочку — полный спортивный гарнитур. Игорь остановился как вкопанный, чтоб посмотреть, как скатится этот на все сто процентов обмундированный профессионал. А тот только встал на свои новенькие лыжи, тут же и растянулся, извываясь в снегу.

Игорь только сказал без всякой усмешки:

— Лыжничек называется!

И пошел дальше.

Знаток пословиц

Прихожу домой из книжного магазина.

— Дедушка, какую ты книгу купил?

— Сборник пословиц.

— А ну прочитай какую-нибудь смешную.

— Откуда ты знаешь, что пословицы бывают смешные?

— Не знаю.

— «Одной рукой трудно развязать узел».

Усмехнулся.

— «На одной ноге далеко не убежишь».

Засмеялся.

— «Одним пальцем не ущипнешь».

Расхохотался.

Бандура

По телевидению смотрели выступление ансамбля бандуристов. Игорь спросил, как называется этот инструмент, и недоверчиво смеялся, когда я сказал:

— Бандура.

Наверно, думал, что «бандура» — это какое-то смешное слово вроде «драндулет».

Сон

Игорь рассказывал, что видел во сне маленьких оловянных солдатиков, величиной с полспички, как он определил, которые воевали с великаном величиной с карандаш.

«Не пойму!»

Начали смотреть фильм, в котором одни вооруженные солдаты вели других, безоружных, но нельзя было определить принадлежность как тех, так и других к той или иной армии. Игорь смотрел, смотрел, наконец говорит с недоумением:

— Не пойму, кто кого в плен взял: хорошие плохих или плохие хороших!

Приятно слышать

Игорь приходит к нам и прямо с порога:

— Я хочу есть. Давай скорее есть!

Т а н я. Вот это хорошо. Приятно слышать!

И г о р ь. Правда?

Плаксивый

Игорь пришел со двора:

— Папа, знаешь, наш Алешка с третьего этажа плаксивый какой! Его ребята стукнули головой о землю, он тут же и заплакался.

Почему люди бывают злые?

И вот снова весна, и мы снова на даче. Недалеко от дома, где мы живем, канава, наполненная водой. Проходя мимо, я увидел ребят, ловивших в канаве тритонов. Из калитки вышел старик и стал прогонять ребят.

— Воду мутите! Мы этой водой на огороде огурцы поливаем!

Игорь был очень обрадован, узнав, что в канаве тритоны. Мы с ним поймали парочку. Я ушел на минутку домой за банкой для тритонов, а когда возвращался, увидел издали старуху, которая что-то говорила Игорю. Увидев меня, старуха поспешно скрылась в калитке.

Когда я подошел, Игорь сказал:

— Дедушка, здесь нельзя ловить тритонов. Бабушка сказала, что в эту канаву течет вода из уборной.

Я заметил, что у него даже появилось брезгливое чувство к пойманным тритонам.

— Это неправда,— сказал я.— Утром старик прогонял ребят и говорил, что этой водой они поливают свои огурцы. Разве стали бы они поливать огурцы водой из уборной?

Игорь задумался. А когда мы возвращались с пойманными тритонами домой, спросил:

— Дедушка, а почему люди бывают злые?

Говорю:

— От жадности.

И такие люди бывают!

У Игоря мечта завязать дружбу с сидящим на цепи хозяйским сторожевым псом Пиратом. Собрав от обеда остатки, он идет к собачьей конуре покормить Пирата. Возвращаясь с пустой тарелкой, говорит:

— Дедушка, Пират все съел и даже не лаял, а смотрел на меня веселыми глазами и хвостом махал. Я скоро смогу уже его даже погладить. А помнишь, как в первый раз на меня лаял?

— Собака,— говорю,— понимает, кто ей добро делает. Она благодарна тому и любит его. Так же как и человек. Он же не станет делать зло тому, кто сделал ему добро.

— Но ведь и такие люди бывают?!

— Бывают. Редко, правда, но все же бывают,— приходится согласиться мне.

— А собаки не бывают, дедушка, правда?

— Собаки? Нет, не бывают, пожалуй...

— ...Дедушка! Ну, а раз Пират меня полюбил, может быть, ему еще что-нибудь дать?

— На, отнеси ему сахару.

Положив сахар в карман, Игорь снова идет к Пирату. Возвратившись, рассказывает:

— Дедушка, Пират съел весь сахар, а один кусочек я незаметно бросил ему в конуру. Пусть, когда я уеду вечером, он найдет этот сахар, и ему станет весело. Ему же скучно весь день на цепи сидеть!

«Мы с тобой друзья, дедушка!»

На даче у нас с Игорем все дни проходят в работе. Мы делаем из сосновой коры лодочки. Воображая себя доисторическими людьми, лепим из глины горшки, миски, кувшины и, просушив, обжигаем их на костре. Отливаем из свинца средневековые медали, монеты...

— Мы с тобой умельцы, дедушка,— с гордостью говорит Игорь.

Но вот возникает идея сделать парусный корабль: какой-нибудь средневековый фрегат, бригантину или трехмачтовую каравеллу, на которой Христофор Колумб достиг берегов Нового Света.

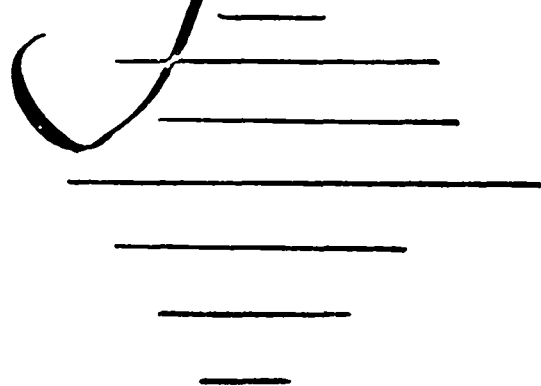
Чуть ли не весь день потрачен на выпиливание и выстругивание из бесформенной деревяшки корпуса корабля. Сидя в саду за столом, мы оснащаем корабль тремя мачтами, делаем реи, на которые навешиваем паруса из выпрошенной у Тани тонкой белой материи.

И корабль наконец готов. Оснащенный парусами, которые висят на реях один над другим в три ряда, он действительно похож на готовый тронуться в путь средневековый фрегат.

Игорь поднимает корабль одной рукой кверху, и налетевший порыв ветра вздувает паруса. Другой рукой Игорь обнимает меня за талию. Так, обнявшись, мы несем корабль с наполненными ветром парусами в дом. И Игорь говорит голосом, в котором слышится глубокое чувство:

— Мы с тобой друзья, дедушка!

Иронические
заморески



ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Писать предисловие, скажу я вам,— это самое последнее дело для автора. Последнее — в том смысле, что автор обычно берется за предисловие уже после того, как написал книгу: в последнюю, так сказать, очередь. Ведь задумав книгу, еще толком не знаешь, что из нее получится. Как же тут писать о ней? Сам автор, будь он хоть семи пядей во лбу, не сможет на этот вопрос ответить. Вместе с тем дело это последнее не только в прямом смысле слова, но и в переносном, то есть в том смысле, что писать предисловие — занятие вообще муторное, неприятное, не доставляющее никакой творческой радости. С одной стороны, в предисловии автору обычно хочется сказать о том, почему он написал свою книгу так, а не иначе. А он и сам часто не знает, почему именно написал так. С другой стороны, ему обязательно хочется объяснить читателю, как следует понимать его книгу, в то время как он (то есть автор) и сам иной раз не знает, как именно ее следует понимать. Хоть он (автор этот самый) и понимает, что не понимает, что и как надо понимать в его книге, но все же берется писать предис-

Печатается с сокращениями.

словие, надеясь, что, пока пишет, он и сам что-нибудь наконец поймет. И это, между прочим, не лишено основания (нечего тут смеяться). Неспроста процесс литературного творчества сравнивают часто с научным исследованием. В процессе писания автор как бы исследует тот или иной кусок жизни и, написав свое сочинение, уясняет для себя тот или иной вопрос — обогащается каким-то знанием. Ну, и заодно обогащает читателя. Разумеется, если у читателя есть желание обогащаться, то есть в том случае, когда он читает книгу не для того, чтоб поскорей заснуть.

Итак: «Иронические юморески».

У пытливого читателя сразу может возникнуть вопрос: почему «иронические», а не какие-нибудь еще?

Объясняем.

«Иронические» — потому, что наиболее распространенным художественным средством, из числа тех, которые автор употребил при написании предлагаемых читателю литературных этюдов, является ирония. Ирония же, как известно каждому, кто изучал литературу в школе (если, конечно, изучение это происходило не при помощи одних шпаргалок), — это такой оборот речи, фраза, слово, в которых притворно (с целью насмешки) утверждается противоположное тому, что думают о каком-либо лице, явлении или предмете.

С иронией школьники знакомятся в довольно ранний период обучения, а именно, когда «проходят» басню Крылова «Лисица и Осел». В этой басне есть такие слова, с которыми Лисица обращается к встреченному ею Ослу:

Отколе, умная, бредешь ты, голова?

Преподаватель обычно объясняет учащимся, что хитрая Лиса называет Осла умной головой, в то время как сама-то считает его, безусловно, глупым. Это и есть ирония. Пример с беднягой Ослом считается вообще классическим и приводится чуть ли не во всех учебниках по теории литературы.

Мы и сами часто употребляем в нашей обычной, повседневной жизни иронию, когда, вместо того чтобы сказать кому-нибудь, к примеру, «дурак», говорим «умник». «Умник» — это уже не так грубо, как просто «дурак», а более, так сказать, вежливо, деликатно, более, так сказать, современно, что ли. Существует научная гипотеза, то есть предположение, что первобытный человек вообще не знал иронии, а бухал, как говорится, все в прямом смысле. И принимал, опять же, все

сказанное за чистую монету, что приводило подчас к нежелательным осложнениям, в результате которых обычное словопрение переходило в рукопашную схватку. Но теперь времена не те. С тех пор мы стали не в пример мягче, уживчивей и тактичней: стали говорить не все прямо, но и несколько, как бы это сказать, уклончиво, обиняком, намеком, иносказательно. Ирония, таким образом, родилась из потребностей жизни и свидетельствует о прогрессивном развитии общества, о нашем неуклонном движении вперед.

В искусстве, каковым является и художественная литература, ирония — это один из видов метафоры, иносказания, без которых вообще немыслима никакая художественность. Как и в жизни, ирония употребляется в литературе не только ради изящества языка (деликатности), но и ради содержащейся в ней насмешки, то есть для осмеяния, для осуждения какого-либо нежелательного явления жизни. Ирония, таким образом, помогает читателю уяснить авторскую позицию, иначе говоря, помогает понять, как сам автор относится к описываемому предмету, событию или изображаемой личности, то есть считает он их хорошими или плохими. Можно не сомневаться, следовательно, что ирония — не какая-нибудь новомодная придурь, а штука полезная, нужная.

Ирония, родившись, живет. И мы живем вместе с ней и уже не можем без нее обойтись, как не могли бы обойтись одними каменными топорами и деревянными палками, которыми пользовались наши доисторические пещерные предки. Читатель, читая, должен постоянно думать, в каком значении автор употребил то или иное слово, и внимательно следить, нет ли здесь какого-нибудь подвоха или иносказания, что имеет свою полезную сторону, поскольку ум читателя благодаря этому находится все время в деятельном состоянии. Автор как бы заставляет читателя непрестанно (если тут позволительно такое выражение) шевелить мозгом, не давая ему задремать над книгой.

В этом, кстати сказать, и заключается секрет художественности. Читатель, шевеля мозгом, как бы самостоятельно додумывается до выводов, на которые его хотел натолкнуть автор, и как бы соучаствует в творчестве, то есть в какой-то мере повторяет тот процесс, который проделывал автор, когда писал свое сочинение. Это, конечно, трудно, так как требует от читателя постоянных мозговых усилий. Главное же — нужно разбирать, где автор говорит просто по-человечески, а где прибегает к художественной иносказательности. Ведь никакой

автор не может говорить одними иносказаниями. Это было бы равносильно тому, как если бы кто-нибудь попытался печь пироги из одной начинки, то есть без теста. А какие же пироги без теста? Это уже и не пироги вовсе!

Ну, конечно, очень может случиться, что при таких обстоятельствах какой-нибудь читатель чего-нибудь и не поймет в книге, но это все же не может служить сигналом к тому, чтобы исключить из литературного арсенала иронию, метафору, аллегорию и тому подобные средства художественной выразительности. Такому читателю можно прямо сказать, что ему надо учиться, надо подтягиваться под общий уровень. Нельзя же норовить прожить жизнь так, чтоб чему-нибудь и не научиться. Да и, сказать по правде, таких читателей у нас не так много. Они еще есть кое-где, но не они все же определяют общее, так сказать, читательское лицо. В общем и целом читатель не такой дурак, и нечего бояться, что он не поймет какой-нибудь шутки, аллегории или иронии. Как сказал один мудрый узбек: «Хозяину нечего бояться, что у гостя из пирога выскочит начинка». Так что писателю не для чего печь свои пироги пустыми, то есть из одного теста, а если у какого-нибудь гостя, то бишь читателя, что-нибудь там и выскочит изо рта или из пирога, то это уже его личное читательское дело. На писателя за это не следует быть в обиде.

А теперь перейдем к слову «юморески».

Автор употребил это слово для того, чтоб показать, что писал в данном случае, так сказать, не на полном серьезе, а позволяя себе иногда пошутить. Как сказано в Кратком словаре литературоведческих терминов, составленном профессором Л. Тимофеевым, «юмореска — небольшое произведение в прозе или стихах, беззлобно высмеивающее отдельные частные явления в общественной или личной жизни». Автор действительно предлагает читателю не какие-нибудь многотомные труды или трактаты, а именно небольшие литературные этюды (или, как их модно теперь называть, эссе), в которых и на самом деле позволяет себе кое над чем беззлобно посмеяться (то есть именно над тем, что заслуживает такого беззлобного смеха, а не так чтоб уж над всем подряд). Таким образом, с точки зрения серьезной литературоведческой науки, здесь все в порядке.

Правда, в обычном, читательском понимании слова, юмореска — это совсем уж какая-нибудь чутошная литературная крохотулька, или, как теперь принято говорить, хохмочка. Читатель, привыкший к такому микроскопическому пониманию этого слова, возможно, будет разочарован, не встретив в

предлагаемом сборнике столь полюбившихся ему крохотулек, но, может быть, он все-таки не будет очень сердиться, найдя несколько иную, но все же вполне съедобную пищу для своего ума, и извинит автора, которому очень хотелось напомнить, что слово «юмор» имеет отношение не к одним крохотулькам, смешинкам, хохмочкам, чепушинкам, хохотулькам, хохморескам и пр., а содержит в себе и более серьезный смысл.

Так или иначе, автор считает возможным оставить придуманное им название хотя бы как некую допустимую поэтическую вольность. Позволил же себе некогда Николай Васильевич Гоголь свои «Мертвые души», написанные чистейшей прозой, наименовать поэмой.

В данном случае автор решил последовать примеру великого классика, хотя и вполне сознает свое место и помнит существовавшую некогда поговорку: «Что игумену можно, то братии — зась» (смотри примечание в конце книги).

Кстати, о примечаниях.

Настоящее издание снабжено научными комментариями, или, попросту говоря, примечаниями, включающими толкование малопонятных слов, выражений и оборотов речи, а также различные высказывания и замечания автора, которые по тем или иным соображениям не могли быть включены в основной текст. Главный и, пожалуй, единственный недостаток подобного рода комментариев заключается в том, что они помещены в особом разделе, в конце книги, что значительно затрудняет чтение, так как, отыскивая нужное примечание, читатель каждый раз теряет страницу, на которой оставил чтение основного текста, отыскав же эту страницу, он теряет страницу, где следует читать очередное примечание, и бьется, таким образом, словно рыба об лед, без конца, или, вернее сказать, до конца, то есть пока окончательно не потеряет терпение. Во избежание подобных эксцессов лучше всего зажимать книгу на нужных страницах пальцами, а еще лучше пользоваться бумажными закладками, хотя, правду сказать, они часто выскакивают и теряются, что очень злит читателя. Я лично нахожу выход в том, что обычно читаю в книге сразу целый раздел, а потом прочитываю сразу все комментарии к этому разделу. Таким образом, мне не приходится то и дело скакать по книге, подобно воробью, скачущему по земле в поисках хлебных крошек.

И тем не менее рекомендовать этот способ каждому из читателей не представляется возможным. Дело в том, что все читатели делятся по темпераментам, в соответствии с которыми и поступают. Как известно, по темпераментам люди делятся на

сангвиников, флегматиков, холериков и меланхоликов. Сангвиники — это те, которые читают книги в спешке, не особенно вдумчиво и не обращая никакого внимания на всяческие комментарии, сноски и примечания, отчего, конечно, много теряют. Флегматики — люди дотошные. Эти читают с толком, с чувством, все подряд, вместе с предисловиями, эпиграфами и послесловиями, а если встречаются примечание, они и его аккуратно прочитывают. Холерики читают кое-как, вразброд, пропуская неинтересные (по их мнению) места, выковыривая, так сказать, из пирога одну начинку; комментарии же, когда читают, а когда — нет; вообще очень неряшливая в этом отношении публика! Наконец, меланхолики — народ подозрительный, придирчивый, мрачный. Если им попадается в руки книга, они ее не читают или раскрывают с конца и прочитывают одни комментарии (разумеется, если таковые имеются), после чего швыряют книгу куда-нибудь в темный угол и уже больше не возвращаются к ней. И правильно, между прочим, делают, ибо, как сказал один неизвестный литературовед: «Важен не Шекспир, а комментарии к нему».

Необходимо отметить, что темпераменты никогда не встречаются в человеческих особях в чистом виде, а каждый человек является как бы смесью различных темпераментов с преобладанием все же какого-нибудь одного из них, что не всегда легко обнаруживается, в связи с чем делать рекомендации, как кому читать книгу (от начала к концу или от конца к началу), — дело весьма затруднительное, и это лучше оставить на усмотрение самого читателя. Всем, как говорится, своего ума не вставишь. Для писателя в конце концов важнее всего написать свою книгу правдиво, остальное — уже не его забота. Эту мысль прекрасно выразил один петух, который, как известно, изрек: «Мое дело — прокукарекать, а наступит рассвет или нет, я за это не отвечаю».

Тем не менее, движимый милосердием, идя, как говорится, навстречу потребителю, автор решил не снабжать свои сноски, как это обычно делается, номерами, избавив таким образом читателя от необходимости заглядывать каждый раз в конец книги. Пусть читатель читает себе без помех основной текст, так как и без комментариев ему все будет понятно, а потом, если захочет, пусть почитает и комментарии.

Вот приблизительно все, что автор хотел сказать в своем предисловии. А теперь читатель, если не потерял, так сказать, аппетита, может приступить к чтению пирога, то бишь — тьфу! — к чтению книги.

НУЖНО ЛИ НАЗЫВАТЬ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ ПРЕДКАМИ И КОНЯМИ И О ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВОПРОСАХ

1

Милая девочка Лялечка!
С куклой гуляла она
И на Таврической улице
Вдруг увидала слона...

Ха-ха! Я пошутил просто! Не слона увидела Лялечка. И вовсе не гуляла она, а шла первого сентября в школу. И не с куклой, а с сумкой, где лежали у нее букварь, и тетрадочки, и пенал с карандашиками — все, что нужно каждому, кто идет первый раз в школу. Тема эта столь поэтична, что хотелось заговорить о ней какими-нибудь милыми, трогаящими за сердце стихами и настроить таким образом читателя на лирический лад.

На душе у Лялечки распускались цветы и гремели оркестры. Все вокруг казалось изумительным и полным значения. Уже столько дней — да что дней! — уже не первый год она мечтала

о том, как пойдет наконец в школу. Сколько раз с завистью смотрела на школьников, которые ранним утречком бодро шагали по улице с сумками. Для нее было бы счастьем хотя бы дотронуться до какого-нибудь из них. Они казались ей особенными существами. И сколько раз она расспрашивала и маму, и папу, и бабушку о школе, какие там мальчики и девочки, как они учатся, какие учителя? И мама, и папа, и бабушка рассказывали ей. И о школе, и об учителях, и о ее будущих школьных друзьях, и о том, как Лялечка будет прекрасно учиться, и как учительница похвалит ее, и о многом другом.

Еще задолго до того как идти в школу, Лялечке купили школьную сумку со всеми принадлежностями и сшили новое платьице. Лялечка не раз примеряла платьице: боялась, что как-нибудь ненароком вырастет из него, и не раз просила бабушку достать из шкафа школьную сумку, чтобы полюбоваться ею.

А когда наконец наступило долгожданное первое сентября и Лялечка, поднявшись ни свет ни заря с постели, нарядилась в свое новое платье и взяла в руки сумку со всеми принадлежностями, она была как бы на седьмом небе от счастья. Все только и говорили ей, что теперь она уже первоклассница, самая настоящая первоклассница, самая-самая. что ни на есть настоящая-пренастоящая первоклассница... И само слово «первоклассница» казалось ей прекрасным и полным высокого смысла. Оно как бы говорило Лялечке, что теперь она первая. А Лялечка уже знала, что быть первой — ужас до чего хорошо. Хорошо, например, встав поутру, первой побежать умываться. Хорошо за обедом первой съесть манную кашу. Хорошо прибежать первой, когда бегаешь взапуски. Вообще во всем, во всем хорошо быть первой!

И слово «класс» тоже хорошее. И в школе есть классы. И есть еще соседский Вовка — он все, что ему очень нравится, называет классным. У него и пистолетик классный, и оловянные солдатики классные, и заводной автомобильчик классненький. А когда папа и мама спорят о прочитанных книгах, они, если писатель им очень понравился, говорят, что он классик. Это значит, очень хороший писатель, классный.

Ну, а слово «первоклассница» — это просто чудо какое слово! Оно звучит гордо и уважительно. Когда Лялечка шагала с сумкой по улице, она твердила про себя это слово, и оно было для нее, словно музыка. И теперь уже она сама себе казалась особенным существом, вроде марсианина, который каким-то чудом перенесся на нашу планету.

А когда Лялечка очутилась наконец на школьном дворе с массой других мальчиков и девочек — и таких маленьких, как она, и побольше, и совсем больших, — ее увидела тетенька с веселым улыбающимся лицом и сказала:

— Ну, иди-ка, иди сюда. Ты ведь первоклашка, я вижу.

— Я первоклассница, — с достоинством ответила Лялечка. Тетенька засмеялась:

— Ну, первоклассница или первоклашка — это же все равно, глупенькая. Пойдем, я покажу тебе, где первоклашки строятся.

И она, взявши Лялю за ручку, отвела ее туда, где собирались самые маленькие ученики и ученицы, и велела, чтоб все они построились парами. Потом пришел какой-то высокий дяденька (а он был директор той школы) и, изобразив на своем лице широкую улыбку, спросил:

— А это ваши первоклашки, Ирина Дмитриевна?

— Мои первоклашки, — широко улыбнулась Ирина Дмитриевна.

— Ну, ведите, — милостиво разрешил директор.

И все маленькие ученики и ученицы, все, кто впервые пришел в этот день в первый класс, взявшись за ручки, двинулись к дверям школы.

И мы не знаем, что там было дальше.

Знаем только, что, когда Лялечка вернулась домой и все с радостным изумлением бросились к ней и закричали: «Вот пришла наша первоклассница!» — Лялечка угрюмо насупилась и сказала, что она вовсе не первоклассница.

— Кто же ты? — удивились все.

— Первоклашка.

— Первоклашка?!

— Первоклашка!

Ее милые пухленькие губки, которые самой природой, казалось, были созданы только для того, чтоб смеяться, как-то не по-детски дрогнули. Она бросила на пол свою любимую сумку.

— Не пойду больше в школу! — сердито сказала она.

И слезы закапали из ее удивительных голубых глаз.

Вот не вру, честное слово! Детишки ведь глупенькие и часто плачут по каким-нибудь совсем пустяковым поводам.

На этом с лирикой разрешите покончить и перейти к другим, более прозаическим вопросам.

Недавно иду по улице. Навстречу две девушки. Одна говорит другой:

— А Маринка-то наша, знаешь, со своими предками поссорилась.

Эта фраза сперва как-то проскользнула мимо моих ушей, а потом меня словно толкнуло.

«Предки! — подумал я. — Так они же, как бы это сказать, давным-давно перемерли все! Как могла Маринка поссориться с мертвецами, от которых, может быть, уже и костей не осталось?»

Я, конечно, тут же сообразил, что речь в данном случае шла не о предках в прямом значении этого слова, а об обыкновенных родителях, самых простых, так сказать, но горячо любимых и уважаемых папе и маме, которых девушки в силу установившейся среди них традиции называли условно предками.

В следующий момент меня уже беспокоила мысль, почему я не понял этого сразу. Ведь я не раз встречал это слово на страницах так называемых молодежных повестей и романов, молодые герои которых изъясняются не иначе как на так называемом молодежном жаргоне.

«Видно, однако ж, что к чему уже привык глаз, к тому еще не привыкло ухо, — догадался я. — Вот буду почаще слышать такие слова в жизни (хотя бы в той пропорции, в какой они встречаются в литературе) и попривыкну. Может быть, и сам начну называть себя предком. Или конем. Чего не бывает на свете! До всего можно дойти».

Могут сказать, что такие милые словечки произносятся в шутку. Да ведь в каждой шутке есть доля правды. Родители и на самом деле близки к тому, чтобы стать в некотором роде предками. Называя родителей так, пусть даже в шутку, молодой человек как бы заранее хоронит их, начинает думать о них как о чем-то уже неживом, отжившем, несуществующем, мертвом. Ему поначалу, может быть, и самому больно и неприятно так думать о своих родителях, то есть о самом святом и близком, что есть у человека в жизни, но понемногу он привыкает наплеватьски относиться к подобным мыслям, а заодно и к подобным понятиям. А тут еще в модном романе прочтет он, как этакие хорошие симпатяги с элегантно-небрежностью бросают это слово направо и налево: «прэ-эдки». Ему ведь тоже хочется симпатягой быть. Этаким бесшабашным удальцом,

острословом, которому сам черт не брат, а не то что какие-то там папа с мамой.

Или вот конь еще. Разве не остроумно отца с конем сравнить? Ведь конь, он кто? Разве конь не тот, кто работает на нас, возит нас на своем горбу? Раз так, то и отец — конь. А может быть, еще и осел! Чего там стесняться! В древние времена один древний грек сказал другому древнему греку: «Я назвал тебя добрым отцом, потому что не знаю имени почетнее». Молодец, древний грек! Чужого человека отцом назвал. А этот родного отца зовет лошадью. Вот уж, как говорится, ради красного словца не жалеет ни матери, ни отца.

Сказать по совести, такого даже как-то жалко становится. Отец у него уже не отец, а конь или предок, друг — не друг, а корешок или кореш, приглянувшаяся девушка — вовсе не девушка, а чувиха или шмакодявка. Как ее и полюбить, если она шмакодявка? Может быть, поэтому он и не пытается любить, а создает теорию о том, что никакой любви нет, а есть, дескать, одно физиологическое влечение, вроде как у собаки. Если он заметит, что девушка равнодушна к нему, то не поступит с ней благородно, как какой-нибудь там Евгений Онегин. Он-то уж не упустит того, что плывет в руки, «будь спок»! Но так как не все человеческое еще в нем убито, то и он может влюбиться. Влюбившись же, начнет строить все отношения с подругой на полном подчинении ее воли своей. Если же встретит с ее стороны отпор, то начнет беситься, приходить в раж и выворачиваться наизнанку. И наоборот. (Наоборот в том смысле, что так может вести себя и особа противоположного пола.)

Просто удивительно, до какой степени этот так называемый молодежный жаргон может влиять на мысли и чувства молодого человека, на его общественное самосознание. Вернее было бы сказать, что он сам, этот жаргон, является выражением определенного самосознания, миропонимания. В действительности, термин «молодежный жаргон» неточно отражает суть самого понятия, так как далеко не вся молодежь употребляет эти унижающие человеческое достоинство слова, а только какая-то ее часть, которую объединяют определенные (эгоистические) взгляды на жизнь, на общество, на человеческие взаимоотношения, на труд (вспомним такие уничижительные словечки из этого лексикона, как «ишачить», «тудяга» и др.).

Хотелось бы поспорить с теми, кто так усердно доказывает, что в употреблении подобных слов ничего страшного нет, кто говорит молодому человеку, заболевшему жаргонной коростой,

что это-де ничего, что это-де у тебя от молодости, что это-де у тебя пройдет с возрастом, и ты будешь, как все.

А что такое «как все», позволительно было бы спросить? Разве все такие, как все? Черта с два! Все разные!

3

Однажды прихожу в школу. Передо мной ученик четвертого класса, или, как его принято теперь именовать, четвероклашка. (Теперь уже успели появиться не только первоклашки, но второклашки, и третьеклашки, и четвероклашки. Скоро, должно быть, и десятиклашки появятся. Быть четвероклашкой, вероятно, обидней всего — на четвероножку похоже.)

— Ну как,— спрашиваю,— у вас в классе идет учение?

В школе всегда стараюсь говорить «учение», а не «учеба». Педагогам почему-то не нравится это, на мой взгляд, вполне хорошее и нужное слово, и они предписывают заменять его всюду словом «учение». (Всякие «клашки» — это им ничего, а вот «учеба» — плохо.)

Ученик говорит:

— У нас в классе шесть отличников и десять хорошистов.

— Ого!

Мое восклицание относится, впрочем, не к приведенным цифровым показателям, а к этому неожиданному для меня слову. Я все же стараюсь не обнаружить своей отсталости в области языка.

— А ты как учишься?

— Я хорошист,— не без гордости заявляет он.

«Видать, ребяташки сами изобрели это слово,— думаю я.— Если пятерочники — это отличники, то четверочники — хорошисты. Не называть же их хорошиниками! Еще нелепее будет».

Попадаю на педсовет. Там учительница с вполне благообразной педагогической внешностью так и сыплет: «В таком-то классе столько-то отличников и столько-то хорошистов, в таком-то классе столько-то...» и т. д.

«Ну,— думаю,— у ребят подхватила... а может быть, учителя сами придумывают такие словечки для внутришкольного, так сказать, употребления?»

И вдруг: «Подростковый возраст... Ребят подросткового возраста... Дети, вступая в подростковый возраст...» Сначала никак не могу понять, почему это словосочетание так активно не нравится. Потом замечаю, что здесь два однокоренных слова

подряд — масло масляное! Теперь можно не сомневаться, что тут не ребячье, а чисто педагогическое творчество. На кой леший ребятишкам такое понятие, как «подростковый возраст»? Они и без него проживут!

Ухожу с педсовета и уже в коридоре слышу, как одна учительница предлагает другой отправиться вместе куда-то.

— Сейчас не могу, — отвечает другая. — Мне еще в девятом «А» провести задушевку надо.

«Какую еще задушевку? — думаю озадаченно. — Звучит еще страшнее, чем «душегубка»!»

Конечно, догадываюсь, что речь идет о задушевной беседе, которую учительнице предстоит провести с учениками девятого класса.

С любопытством оглядываюсь на преподавательницу, которая допускает в своей речи подобного рода слова: волевая такая, с властной ухваткой, в румянце во всю щеку: заметно, что из бывших пионервожатых. Вижу: такой тетеньке что сготовить яичницу, что провести задушевку одинаково, как теперь некоторые говорят, запросто. Провести задушевку небось даже проще. Там еще разведи огонь да яйца раскокай, а тут мели языком, не особенно утруждая себя выбором слов...

А утруждать все же надо, потому что слово-то, оно, как сказал поэт, «полководец человеческой силы»! А только его чуток попробуй переверни, глядь — и ничего уже в нем человеческого, никакой силы, не говоря уже о какой-то там задушевности!

Как видно, у педагогов свой жаргон. Педагогический, так сказать (вернее — антипедагогический). Не особенно страшно, что в этом учительском лексиконе попадают такие слова, как «хорошисты», и словосочетания, вроде «подросткового возраста». Слова эти попросту некрасивые, образованные в несоответствии с законами, с эстетикой языка. Гораздо вреднее слова оскорбительные, принижающие, извращающие сами понятия, которые пытаются обозначать. Это всякие вертящиеся на языке у невзыскательных педагогов первоклашки, задушевки, речевки, продленки, компашки и пр. Уже скверно хотя бы то, что и ребята знают эти слова. Они сами уже готовят речевки, участвуют в задушевках, обзывают друг друга первоклашками и прочими «клашками». Разве это только отрицательно сказывается на формировании их речи? Нет! И на формировании самого мировоззрения, самой нравственности!

В последнее время особенно заметна тенденция к переименованию слов по типу «компашки» и «задушевки». Теперь уже не зачетная книжка, а зачетка, не читальный зал, а читалка, не совещание по планированию, а планерка, не авторучка, а самописка (будто она сама за нас пишет), не корреспондентка детской газеты, а деткорка, не кругосветное путешествие, а кругосветка, не музей имени Пушкина, а Пушкинка, не «Сикстинская мадонна», а «Сикстинка», не «Пионерская правда», а «Пионерка», не аморальное поведение, а аморалка, не музыкальное училище, а музыкалка... и пошло, и поехало по раз заведенному шаблону.

И теперь уже не только мальчики стали «мальчишки», но и вполне взрослые двадцатидвухлетние парни, которых и юношами уже не назовешь, тоже «мальчишки». И не только девочки, а даже девушки (и даже преимущественно девушки) — это теперь «девчонки». Их называют теперь так уже и в глаза, и за глаза, и по телевидению, и в печати, и в песнях (мальчишки, девчонки, девчонки, мальчишки, тра-ля-ля, тра-ля-ля, ля-ля!).

Откуда вдруг это стремление заменить нежное, ласкательное «ушка» (девушка, голубушка, матушка, хозяйюшка, лапушка, зазнобушка) презрительным, уничижительным «онка» (девчонка, книжонка, газетенка, правденка)? Дальнейшая демократизация речи, что ли? Но ведь слово «демократический» еще куда не значит «хамский»!

Почему нам и в голову не придет сказать или написать, что Татьяна Ларина была девчонка? Или назвать девчонкой Наташу Ростову? Неужто потому, что Татьяна Ларина — помещичья дочка, а Наташа Ростова и вовсе графиня? Нет же, честное слово! Для нас их образы — выражение чистого, прекрасного, высокого, светлого, с чем слово «девчонка» уж никак не вяжется.

Если слово является выражением мысли, то ведь слово «девушка» выражает одну мысль, а слово «девчонка» совсем другую. Попробуйте мысленно назвать Наташу Ростову Наташкой Ростовой, и вы почувствуете, как у вас в голове что-то болезненно переименовывается, и на собственном опыте убедитесь, что не только слово, а уже одна буква в слове — не пустой звук. Нет уж! Заменить слово «девушка» словом «девчонка» — это не значит попросту изменить форму слова. Это значит заменить одно понятие другим, заменить одно отношение к предмету

другим, что законно, лишь когда сам предмет претерпевает изменения.

Куда, впрочем, ни шло, если бы такая замена производилась лишь в каком-то кругу, при обычном, никого ни к чему не обязывающем разговоре, но она производится, так сказать, громогласно, всеобщно, с использованием всех современных средств общения между людьми. Еще там, где два-три года назад автор иной газетной статьи написал бы «юноши и девушки», теперь он пишет «мальчишки и девчонки», ни капельки не смущаясь тем, что разговор идет не о первоклашках, которых, кстати сказать, тоже уважать следовало бы, а об учащихся десятых классов, о выпускниках, то есть юношах и девушках в возрасте Наташи Ростовской и Татьяны Лариной, или об учащихся вузов и молодых рабочих, многие из которых успели пережениться и повыходить замуж. Этим уже, как видно, до самых бабушек суждено оставаться девчонками.

Чует сердце, что наряду с так называемым блатным, молодежным, педагогическим и другими жаргонами существует — как бы его назвать? — журналистский жаргон или писательский. Журналист или писатель, желая максимально приблизиться к своему читателю (а его читатель — обычно он же и герой его произведения), старается и мыслить, и писать на языке своего героя. Он (такой писатель) считает, что его герой сам говорит «первоклашка» там, где следовало бы сказать «первоклассник», и тоже пишет вслед за ним «первоклашка»; он полагает, что его герой говорит «кругосветка», вместо того чтоб сказать «кругосветное путешествие», и пишет, что Магеллан, дескать, совершил кругосветку (это беспримерный исторический подвиг — кругосветка!). А так как ему кажется, что его герой (он же читатель) считает безнадежным пижонством называть девушку уважительно девушкой (подумаешь, какое там еще уважение!), то и называет ее если не чувихой, кадришкой или шмакодявкой, то хотя бы девчонкой.

Словом, у него постепенно накапливается набор таких популярных ходовых словечек, которые являются как бы дежурным блюдом на его столе и которые он употребляет по мере надобности для пущей популярности и живописности изложения.

Иной литератор прекрасно понимает, что если он начнет в своем сочинении твердить: мальчишки да девочки, юноши да девушки, матери да отцы, то его произведение будет выглядеть слишком благообразным и его, пожалуй, и читать-то никто

не станет. Вот он и заведет: мальчишки да девчонки, кодла да шмотки, чуваки да лабухи, кони да предки, а когда дойдет до шмакодявок, то так-то хорошо станет, что читателя и клещами от книги не отдерешь.

Знаем. Найдутся такие люди, которые скажут, будто мы хотим наложить на язык узду, запечатать всем рты, стать поперек прогресса и подгрызть само дерево, на котором вся литература сидит.

Скажем прямо: ничего мы такого не хотим, ничего подгрызть не собираемся. Мы считаем, что можно пользоваться всеми красотами языка, в том числе и красочными словечками из разных жаргонов. Только делать это надо так, чтоб ни у кого не возникало желания подражать тем несчастным, которые уже досыта этой словесной дряни наелись и сами не замечают, что сидят по самую челку в грязи.

А вот как это делать — это уже другой вопрос. Это уже относится к проблемам писательского мастерства, разговор о котором пойдет в другом месте.

Вопрос же, поставленный в начале этой статьи, то есть нужно ли называть своих родителей предками и конями, кажется нам совершенно ясным. Тем же, кто не разобрался, скажем прямо, что называть своих родителей предками и конями не стоит. С этим лучше пока погодить.



ЕЩЕ ОБ ОДНОМ, ВСЕМ НАДОЕВШЕМ ВОПРОСЕ

Нынче все о мещанстве пишут. И я в том числе. Чтоб не подумали, что хочу оригинальным быть. Или новатором. Или, не дай бог, модернистом. Тема эта настолько обширна, что здесь каждый может сказать что-нибудь свое. Правда, многое уже сказано, да все ж таки далеко не все.

Вот, к примеру, разве сказано о мещанине хоть одно доброе слово?.. Не сказано! Все мурло да мурло! Нельзя же так! Это хоть кого разобидеть может. Затравили беднягу совсем! Это, что ли, педагогично? Уже и самого мещанина совсем мало осталось. Не знаю, где теперь и увидишь его. Совсем недавно еще выйдешь, бывало, на улицу вечерком, глянешь на освещенные окна домов — батюшки, сколько там на всех этажах мещанина сидит! Один на одном! У каждого под потолком шелковый абажур: у кого голубой, у кого оранжевый, у кого нежно-розовый (это самые оголтелые мещане под нежно-розовым абажуром сидели). А что теперь? Выйди да посмотри:

редко в каком окне цветной абажур заметишь — кругом все люстры. Такой прогресс культуры за каких-нибудь пять-шесть лет, что удивительно даже!

В общем, мещанин редкой фигурой стал. А это немало-важный факт. Еще Мигуэль де Сервантес де Сааведра сказал: «Излишество даже в самых лучших вещах приводит к тому, что они теряют цену, между тем как плохое, когда его мало, начинает цениться». Таким образом, и мещанина надо ценить, а не то что обзывать его всякими некультурными кличками.

Впрочем, некоторые мещане небось своевременно поразнюхали, что шелковые абажуры — это признак мещанства, да и повыбрасывали их на помойку, а на освободившееся место понавешали модных люстр. Чтоб, как говорится, не вякали. Ведь он, мещанин, — существо тонкое, деликатное и не любит, когда его всячески обзывают.

А кто же любит? — позвольте спросить. Вы, что ли, читатель, любите?

Хороший мещанин — не какой-нибудь гаврик. Это уже доказано. Он — существо дисциплинированное, послушное. Ему сказано было в свое время, что герань — мещанство... Раз! И где она, эта ваша герань? Теперь хоть сто городов вдоль и поперек исходи, ни в одном окне не увидишь герани. А что раньше творилось? Ого!

А фарфоровые слоники на комодѣ? Сказали — мещанство, и всех слоников, как корова языком слизнула. У кого их теперь найдешь? Скорее живого слона увидишь.

И канарейка, как говорится, «попела». Где теперь канарейка? Простой чирик и то в диковинку!

Короче говоря, в этой области — только команду дай. Было дело — дали команду насчет тюлевых занавесок. Фьють — и как корова языком. Всюду плюшевых штор понавешали. Потом пошла команда насчет плюшевых штор. Фьють — и опять, как корова: нет этих рассадников пыли! Потом фьють — и уже обедаем без скатертей. Потому как — мещанство!

Словом, нет никого старательнее, никого исполнительнее, никого усерднее, чем самый простой, рядовой, ничем не выдающийся обыватель, сиречь мещанин. Его ко всему приучить можно и от всего отучить. Можно его напугать голубым цветом, и он будет его отовсюду гнать, можно заставить его истребить такой красивый, радующий глаз (и полезный притом) цветок, как герань, и разводить вместо него на окнах уродливые, нелепые кактусы. Нельзя отучить его только спать по ночам на подушке. Но это уже пустяк, не стоящий внимания.

Говорят: мещанин глуп. Дескать, думать не любит. Любит чужим умом жить.

Да уж коли глуп, то зачем думать? Только хуже наделаешь. Значит, умнее — чужим умом. Однако ж если он это понимает, то не такой уж дурак, выходит!

Дурак тот, кто хочет все вокруг по своему дурацкому образцу устроить. Если же у человека есть жилка самокритичности, то ему уже не откажешь в уме. Мещанин хорошо понимает, что он не семи пядей во лбу. Поэтому и не пытается жить по своему разумению, а тщится, чтоб у него все было в аккурат, как у других людей.

А у людей как?

У людей все по моде.

С модой же тоже не просто. Потому что мода теперь на все: не только на штаны или дамские часики, а и на рюкзаки, унитазы, на кухонную утварь, даже на мебель. А что может хуже новомодной мебели быть! Во-первых, не знаешь, что делать со старой, вышедшей из моды. А во-вторых, она ведь хуже немодной, потому что поди-ка выдумай что-нибудь лучше старого, испытанного, немодного стула с удобной спинкой.

И думаете, мещанин этого не понимает? Понимает, гадюка! Но терпит.

Недавно я был у одного знакомого мещанина. Он очень хороший человек, чуткий, на редкость внимательный. Он не архитектор, но живет в доме архитекторов (не в Доме архитектора с большой буквы, а, как бы это сказать, в доме, который архитекторы построили для себя).

— Да у тебя все по моде, — сказал я, заметив, что он сменил обстановку в квартире.

— Черт бы побрал эту моду и всех, кто ее выдумал! — сердито проворчал он. — Я скоро, кажется, околею от всего этого.

— Что так? — удивился я.

— Никак не могу привыкнуть, — объяснил он. — Вот стол, например. Треугольный зачем-то! Да это черт с ним. Но почему такой низенький? К нему только подсядешь, сразу в висках начинает стучать. Или — кресло. На нем ведь вроде как на полу сидишь. Пять минут посидел — и готов: под ребрами начинает колоть. С него и подняться в двадцать раз трудней, чем с простого человеческого кресла. И это при моей-то подагре в обеих ногах! А спать как? Кровать теперь стала — мещанство! И диван-кровать теперь тоже — мещанство. Теперь тахта — не мещанство. А что такое тахта? Вот, пожалуйста: на полу

просто ящик без ножек, на нем пластиковый матрац из трех секций — и все. Лег спать, через полчаса просыпаешься и начинаешь подушку на полу искать. Спинки-то нет, подушку опереть не на что, вот она и выскальзывает из-под головы. За ночь намаешься, наутро, не проспавшись, на работу идешь. Тяжело! Да и негигиенично. Раньше кровати с ножками делали, чтоб клопам и другой какой нечисти несподручно было взбираться. Оно, конечно, теперь клопов не должно быть, потому как, известное дело, клопы — мещанство, но сами-то клопы пока об этом не знают. Правда, у нас никакой такой живности нет, а вчера просыпаюсь, смотрю — таракан по спине ходит. Не знаю, откуда и забежал. Теперь мне на этой тахте и спать-то боязно. Может быть, ножки приделать?

— Да ты бы оставил кровать, — говорю.

— Так нельзя ж ведь — мещанство!

Вот какой человек мещанин. Он все стерпит, лишь бы не попрекали мещанством. А тут как ни вертись, попрекать будут. Не поспешил выбросить допотопный комод — мещанин! Поспешил купить модный сервант — опять мещанин (за модой гонишься).

А кто же за модой не гонится, позвольте спросить? Разве лишь тот, у кого денег нет. А заведись у него денежки, он сейчас же свое мещанское нутро и покажет. Выглянет, как принято говорить, мурло мещанина. Уж разве он одержимый какой-нибудь. Хобби какое-нибудь у него. Может быть, он старые футбольные мячи собирает. Или на свои личные сбережения решил африканскую обезьяну для научно-исследовательского института купить. Да таких много ли? В том-то и дело, что считанные единицы. А в остальном все люди как люди. Ничто человеческое им не чуждо.

Тут читатель, пожалуй, посчитает себе вправе обидеться. Этак, скажет, и я — мещанин! А что тут плохого, спросим его. Мещанин — не хам, не грубиян, не хулиган, не взломщик, наконец! К тому же кого не называли у нас мещанином? Например, Зощенко. Это он-то, который над мещанами столько смеялся (действительно ирония судьбы). Или Ильф и Петров. Эти не просто были мещане, а взбесившиеся. Так что ничего в этом особенного нет. Дело житейское.

И потом, что это за мода пошла людей, как какие-нибудь селедки, по сортам делить?! Этот-де — мещанин, этот — не мещанин. Любит во сне храпеть — мещанин, не любит храпеть — не мещанин. Любит хорошо покушать — мещанин, не любит покушать — нормальный человек. Иной, может быть,

и любил бы покушать, да у него желудок больной, а дай ты ему желудок покрепче, он себя еще как покажет! Да и какую тут можно демаркационную линию провести? Какой предел установить? Съел фунт краковской колбасы — хороший человек, а скушал фунт с четвертью — мещанином стал? Так, что ли? Или кушал без особого удовольствия — не мещанин, а поел с аппетитом — опять в мещанское сословие угодил? С такими критериями и запутаться можно, потому что, бывает, и зернистая икра в рот почему-то не лезет, а иной раз под настроение краюху простого хлеба с удовольствием навернешь.

Да притом как же так, чтоб совсем без удовольствия есть! Кто может о себе сказать, что он без греха в этом деле? А раз так, то и делить нечего. Как сказал поэт: «Все мы немножко лошади». Вот как! Все — лошади! Все — мещане (конечно, в той или иной мере). Что там и говорить! Тем более, что мещанство проявляется не только в грубой материальной сфере, но и в сфере, так сказать, идеальной, нравственной.

Какой основной девиз мещанина в нравственной сфере? Их (то есть этих девизов) несколько, а точнее, десять (как заповедей):

№ 1. Моя хата с краю, я ничего не знаю.

№ 2. Своя рубашка ближе к телу.

№ 3. Я — не я, и лошадь не моя.

№ 4. Держи язык за зубами.

№ 5. Не суйся поперед батьки в пекло.

№ 6. Что, нам больше всех надо?

№ 7. Держи нос по ветру.

№ 8. Рыба ищет, где глубже, а мещанин — где жирней.

№ 9. После нас хоть потоп.

№ 10. С деньгами и без ума проживем.

Может, думаете, так просто эти заповеди соблюдать? Как бы не так! Возьмем любую, хотя бы № 4, насчет недержания языка. Пушкин уж до чего умный был, а не умел удержать язык. Не умел, да и все тут! И Лермонтов не умел! И Радищев, и Герцен, и Николай Гаврилович Чернышевский... Что, им больше всех надо было? Нет ведь! Они люди вполне скромные были, а вот лезли поперед батьки в пекло... Скажем прямо — плохие мещане были, совсем как есть никудышные!

Да и то сказать, трудно небось найти мещанина, который бы дотошно все эти мещанские заповеди соблюдать мог. Чтоб на все сто, как принято говорить, процентов. Нет-нет да на какой-нибудь и сорвется. Хотя, правду сказать, и такого едва ли найдешь, который ни одной заповеди не соблюдал бы.

Хоть за какую-нибудь да держится. Будь он даже работник культурного фронта или служитель муз. Разве какой-нибудь художник, деятель, так сказать, изобразительного искусства, у которого, как сказано, нос по ветру да еще хвост трубой, он, что ли, не лошадь, то бишь — тьфу! — он, что ли, не мещанин? Ему, что ли, своя рубашка не ближе к телу? Он, что ли, лезет, где глубже?.. Или, к примеру, работник критического цеха, наложивший печать молчания на свои уста, у которого все честь по чести: и язык на привязи, и рот на замке. Тоже не лошадь, скажете? Во всяком случае от него не больше добьешься слов, чем от лошади. Правда, иной подобного рода апостол молчания молчит, молчит, да вдруг так разразится, что и не поймешь сразу, откуда гром: из тучи или... Из этой самой... Или, например, наш брат писатель, труженик пера, так сказать, который... впрочем, молчание! Зачем на своих кидаться? Нам тоже не больше всех надо. Слово, как сказал древний философ, — серебро, а молчание — золото.

Мы тоже не против золота, потому скажем только, чтоб завершить мысль, что такой работник культуры, будь он художник, критик или наш брат писатель, он и есть вполне достойный своего сословного звания, вполне идейный (если вам так больше нравится) мещанин, хоть он и не сидит уже с фикусом под цветным абажуром и давно завел себе модный сервант. По сравнению с ним какая-нибудь старушка пенсионерка, которая и не помышляет о том, чтоб избавиться от своего абажура, — она просто ноль без палочки, отрицательная величина, ее и мещанкой-то как назовешь! Правда, вид ее окошка, освещенного изнутри оранжевым абажуром, вносит диссонанс в общую картину, нарушает, как бы это сказать, гармонию и возбуждает в нас какую-то непонятную злость: дескать, вот оно, мещанство-то, где сидит!

Но не будем спешить так уж слишком. Остановимся на минутку, заглянем в окно. И увидим человека, хотя и доживающего свой век, но не злого, который не пожалеет своего времени, чтоб посидеть с малышом заболевшей соседки, сбегать за молоком для него, помочь ребятишкам, вернувшимся из школы, решить задачку или посадить деревце во дворе под окном без особенной надежды услышать в будущем, как оно зашумит листвою.

По аналогии с этой старушкой вспоминается деревенская бабка, несущая с рынка глиняного расписного кота, на которого так ярятся наши фельетонисты. Ее трогательная любовь к этому яркому зверю, право же, достойна если не сочувствия,

то хотя бы внимания. Уже и тем знаменателен этот факт, что на сей раз тащит она не ведро эмалированное, не графин, не сервант, не кило мармеладу, а предмет, так сказать, для глаза, который не засолишь в кадучке, не съешь с горчицей, не спрячешь в скрыню. Сам этот факт свидетельствует, что питает она пристрастие к этому коту не по злему умыслу, не из какой-то там фанаберии или ненависти к настоящей культуре, к подлинным произведениям высокого искусства, а по какому-то внутреннему побуждению (может, совсем невредному), но истоки которого еще полностью никем не изучены, в которых мы еще не разобрались до конца. А разобратся бы надо было, так как одними ругательствами да проклятиями тут не поможешь. Взял бы кто-нибудь из фельетонистов да поговорил по душам с этой бабкой: как, мол, бабусенька, что здесь к чему у тебя с этим котом?.. Впрочем, оставим в покое фельетонистов. Им и без нас трудненько живется.

Помимо материальных признаков мещанства, каковы, например, абажуры, серванты, торшеры, подушки (вот где подлинная эмблема мещанства), кисейные занавески, кактусы, книги с красивыми корешками, существуют, оказывается, еще признаки, охватывающие так называемую вторую сигнальную систему, то есть область человеческого языка. Недавно в одной из журнальных статей случилось прочесть мне, что слово «извиняюсь» — мещанское, дескать, слово. Почему оно мещанское — я так и не уразумел. Этим словом и Горький пользовался. Или, может быть, он «не допер», что оно мещанское. С каждым может случиться оплошка. А тут изволь теперь разбери, какое слово мещанское, какое — нет.

Да и что криминального, если слово мещанское? Слово «извиняюсь» — вполне красивое слово (не в пример другим некоторым), а мещанин, как цветок к солнцу, тянется ко всему красивому. Мещанин и говорить любит красиво, как неизвестный Аркадий Кирсанов, которого еще Базаров, если помните, снисходительно поучал: «Друг Аркадий, не говори красиво» (И. Тургенев. «Отцы и дети». Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 326). А как же ему, бедному мещанину, обходиться без красоты, если ему со всех сторон только и твердят, что о красоте, да о прекрасном, да об эстетике в быту, если чуть ли не в каждой газете его глаз то и дело натывается на такие примерно статьи: «Искусство красиво одеваться», «Умение подобрать к лицу шляпу», «Интерьер. В чем его красота и изящество», «Как красиво обставить квартиру», «Умеете ли вы красиво сидеть?» и т. д. и т. п.

Бедный мещанин набрасывается на всю эту духовную пищу, как цинготный больной на свежие овощи, и с ужасом убеждается, что люстра, которую он недавно завел, уже выходит из моды, и ее место начинают занимать какие-то (черт бы их драл!) переносные светильники; что высокий шкаф очень подходит к комнате с трехметровыми потолками, и не следует спешить заменять его низеньким шкафом (а он как раз поспешил и теперь готов рвать на себе волосы от досады).

А что делается с бедными женщинами, когда они узнают, что начес (который усиленно рекомендовался в последние годы) делать не следует, так как от него выпадают волосы и женщины становятся лысыми?

Не читать всех этих статей мещанин, конечно, не может, так как он существо любознательное и обязательно хочет знать, какие галстуки будут модными в наступающем сезоне, как подобрать красивую шляпу, может ли женатый мужчина полюбить замужнюю женщину и современно ли это, и пр.

Думается, что неверно думать, будто мещанина можно распознать по каким-то употребляемым им словам, или по жилетке, в которой он якобы любит ходить после обеда по комнате, или по какому-то присущему ему запаху. Его можно заставить (в особенности с помощью прессы и телевидения) употреблять совсем другие слова, ходить после обеда не в жилетке, а, скажем, в пижаме и переменить запах. Он ко всему этому приспособится с похвальной гибкостью, как приспосабливается гриппозный вирус к антибиотикам, не теряя при этом своей зловредности. Заметив это, мы начинаем долбить его за другие слова, за пижаму или халат, уже не за тот запах, который был, а за новый, и даже за самую похвальную его гибкость. Он же, бедняга, чувствует, что его не за то бьют, и только кряхтит и сердится.

Правда, есть парочка слов, к которым мещанин все же неравнодушен. Он ужасно любит слово «современный» и не любит слово «модный». Он никогда не скажет вам «модный шкаф», «модный диван», а обязательно «современный шкаф», «современный диван», «современная полочка для книг» и т. д. Этим он хочет показать, что он человек современный, передовой, идейный, идущий «в лапу» с эпохой, а не какой-нибудь отсталый обыватель, помышляющий лишь о какой-то там моде. Впрочем, можно через газету внушить ему, что слово «современный» теперь стало несовременным, и порекомендовать заменить его ну хотя бы словом «модерный». Думается, что он и на это охотно пойдет.

Принято думать, что мещанин любит вещи ради самих вещей, но это неверно. Не вещи он любит и даже не деньги. На самом деле он только не любит казаться бедным, не любит, чтоб думали, что у него нет денег. Быть бедным, не иметь денег — это кажется ему унижительным и даже позорным. Ему нестерпима мысль, что кто-нибудь может подумать, будто он необоротистый малый, будто он шляпа, тюфяк, будто не сумел извернуться и пропустил, что плыло в руки. А поди не подумай этого, если он не успел завести себе модный шифоньер, козетку или трельяж!

В этом своем недостатке мещанин нисколько не виноват, поскольку это у него наследственное, перешедшее в плоть и кровь вместе с генами и хромосомами от прежних старорежимных времен, когда обладание богатством уважалось больше всякого рода добродетелей и талантов. Тут-то и зарыта собака. В этом и заключается социальная суть мещанства.

Каждый может без особенного труда проверить, как у него самого обстоит с этими генами. Когда к вам в гости придет мещанин и, увидев у вас высокий платяной шкаф, скажет, что он несовременный, так как теперь современны низенькие шкафы, напоминающие отполированные четырехугольные ящики, вы должны стойко выдержать его взгляд и спокойно объяснить, что высокий шкаф лучше, так как, занимая столько же места на полу, дает возможность не только повесить одежду, но и напихать чего-нибудь сверху и снизу, и к тому же еще и на шкаф чего-нибудь наложить (снизу-то все равно не заметно), в то время как низенький шкаф очень непоместителен. Он-то (ваш гость), будьте уверены, подумает, что вы хитрите, или просто осел, или отпетый мещанин, который держится за старье, или, еще того хуже, заподозрит, что у вас нет денег. Если вы сумеете стойко выдержать его взгляд, то с генами у вас все в порядке. Если же вы почувствуете себя хоть чуточку ущемленным, хоть чуточку задетым подобными подозрениями, если вам хоть на секунду покажется неприятной мысль, что кто-нибудь может подумать, что вы парень необоротистый, что у вас нехватка с деньгами, то, дело ясное, с генами неблагополучно, и мещанин хоть каким-то, пусть самым малюсеньким кусочком еще сидит внутри вас.

Нечего и говорить, что испытание это чертовски трудное. Вроде барокамеры. Я лично не знаю никого, кто бы с честью выдержал его до конца.

Что касается меня, то я к этому попросту неспособен. Физические данные не те.

Из всего сказанного можно сделать краткие выводы, которые сводятся всего к трем пунктам:

1) Все мы лошади (немножко, конечно).

2) Нечего тыкать по сторонам пальцами, потому что мещанин звон где: внутри нас сидит.

3) Поскольку так, то давайте наберемся терпения и займемся самовоспитанием: будем по каплям выживать мещанина из себя. Каждый из самого себя.

В этом и состоит основной принцип нравственного совершенствования.



О ДЕТСКИХ ИГРУШЕЧКАХ, ГЛУПЫХ ШУТОЧКАХ, УДОБСТВАХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ПР.

Взрослые — чудаки! Они думают: какой глупый ребенок! Ему купили дорогостоящую заводную автомашинку, она и ездит сама, и рулит, и трещит, как настоящая, даже бибикать может, а он возит ее собственноручно по полу, протирая коленки, сам трещит, сам рулит, сам бибикает за нее.

На самом деле недостаточно умны взрослые. Им невдомек, что ребенку трех-четырех лет неинтересно сидеть на месте и глядеть, как что-то там движется. Ему самому хочется двигаться, действовать, делать, творить. Он не дошел еще до того состояния, когда высшим счастьем почитается сидеть сложа руки и зевая по сторонам. Правда, постепенно его можно к этому приучить. Как говорится, при усердии и зайца можно научить зажигать спички. Но это уже будет насилие над его природой.

Понаблюдайте, как самозабвенно малыш возит по комнате свой самый простой, незаводной грузовичок (иной раз за грузовик сойдет обыкновенная деревянная чурка), как он фырчит и дудит, подражая шуму машины. Воображение его кипит и бьет через край. Он всерьез представляет себя всамделишным шофером и даже самой машиной. И ничего уж тут не поделаешь — в этом возрасте он романтик больше, чем в каком-либо другом.

Интерес к заводным игрушкам появится у ребенка позже. Но и тогда он не в силах будет часами глазеть, как ездит заводная машинка. После первого чувства удивления проявит себя природная любознательность. Малышу захочется узнать, отчего машина ездит, что ее заставляет двигаться, и он примется игрушку ломать.

И нечего приходить в ужас. Нечего кричать: «Не бережет! Не жалеет! Не надо покупать ему игрушки! Все равно на один день» и т. д. От того, что ребенок разберет игрушку да увидит, что там внутри, получится в двадцать раз больше пользы, чем если он до самой старости будет бездумно глядеть на нее. И дело здесь не только в том, что, ломая игрушку, ребенок постигает нехитрую механику, заставляющую ее двигаться, но и в том, что при этом удовлетворяется, упражняется его познавательный инстинкт, его творческий, исследовательский порыв, что небезразлично уже для формирования самого характера будущего человека, самого склада его ума.

Или вот — во дворе сценка. Двор, в общем, довольно культурный, благоустроенный. Тут за карликовыми заборчиками — клумбы с цветочками и зеленые насаждения, для детишек — ящик с песочком, лавочки для мамаш и бабушек, стол для козлистов. Вокруг ребятишки, в основном детсадовского возраста. Все тихо, мирно, благородно... Вдруг крик:

— Ты куда, дрянь, полезла? Задушу я тебя, паскуда этакая! Сколько раз тебе говорилось, не лезь в грязь с ногами. Вылезай сейчас же, холеры на тебя нет!

Это орет бабка, сидящая на лавочке, на свою внучку. Можно подумать, что девочка натворила невесть чего, а у нее и вины-то всего, что забрела в лужицу, оставшуюся после дождя.

Смотрю на бабку — в узеньком старомодном черном пальто и черном платочке с цветочками. На вид ничего страшного. Душить ребенка, в общем, не собирается. И лицо вовсе не злое, только глаза какие-то пустоватые, отсутствующие. Покричав, словно для формы, и убедившись, что девочка пошла

играть в песочек, бабка как ни в чем не бывало продолжает прерванный разговор с соседкой по лавочке. Вдруг снова истошный крик:

— Ну что ты сделала со штанишками, паршивка этакая! Задушу я тебя, тварь поганую! Только штанишки надели новые, чтоб ты пропала! Не настираешься на тебя! Сколько раз тебе говорилось, не становись на коленки, сиди на корточках!

И все это так привычно, обыденно, что как-то даже не по себе становится. С одной стороны, в бабкино положение войти можно. Бабка есть бабка. У нее одна задача: чтоб ребенок вернулся со двора чистеньким; чтоб, не дай бог, не пришлось стирать снова штанишки; чтоб не заругал дома сын за то, что плохо следит за внучкой; чтоб не сказали соседи, что ребенок замарашкой ходит. Но, с другой стороны, ребенку поиграть хочется, ощутить в своих руках и снежок, и песочек, и травку, и воду, и камешки. Да и трудно ему — все на корточках! Пошла бы бабка сама да посидела часок на корточках, так неделю небось потом спины бы не разогнула.

И чего только не придумывают взрослые для своего удобства, а ребенок ради них, значит, сиди на корточках! Да оденьте вы его лучше во что-нибудь старенькое, но дайте побегать, попрыгать, покопаться в песочке, покувыркаться в зеленой травке, поваляться в снегу, сделать запруду в луже, да мало ли чего! Ведь ребенок формируется в игре. Пока пройдет детство, он должен успеть развить все свои мускулы, а не одни только корточки. К тому же что выйдет, если он начнет думать лишь о том, как бы не упасть, да не замараться, да пройти по жизни как-нибудь этак, чтоб не прилипла к штанам пушинка или соломинка? Что за характер, что за натура, что за мировоззрение сформируются при этом? Здесь и думать, казалось бы, не о чем, да куда там! До мировоззрения ли тут, когда штаны разодрать можно. К сожалению, многие взрослые ведут себя так, будто уверены, что для ребенка самое главное — это научиться беречь, сберегать, хранить, экономить, копить; мировоззрение же он успеет приобрести, когда в вузе начнет диамат проходить.

Не следует, конечно, думать, что детей надо замарашками водить. Костюмчик может быть и не первой свежести, но стираный, когда же малыш отправляется в гости или в театр, можно и во все новенькое нарядить. Вот тут пусть он приучается бережно относиться к вещам. Но не нужно все же делать из штанов культ. Не нужно приходить в неистовство, если дитя как-нибудь ненароком испачкало или разорвало платье. Честное

слово, себе дороже. А то ведь послушать эту дворовую бабку, так просто мороз по коже! Девочке от роду и двух лет нет, а тут и «тварь», и «дрянь», и «паскуда», и «задуш», и «паршивка», и «холеры на тебя нет». Разбойников не костят такими словами в милиции, какие приходится выслушивать этой бедной девчушке. Уж до такой степени неэстетично все это, что и сказать нельзя!

Никто, конечно, не утверждает, что подобные бабки толпами по дворам ходят, но они есть, как есть, впрочем, вполне культурные (казалось бы) люди, которым плевать на паркет воспитание не позволяет, а вот наплевать в душу ребенку — это они могут, не сморгнув глазом.

Кстати, о паркете. Существуют родители, для которых враг номер один — это не что иное, как пластилин. Одни мои знакомые муж и жена, у которых трехлетний сынишка, больше всего на свете боятся именно пластилина. При мне пришел дедушка и подарил ребенку коробку с пластилином. Радости было! Чего только не лепили в тот вечер! Но когда дед ушел, а ребенок лег спать, просвещенные родители собрали весь пластилин и вместе с коробкой выбросили в мусоропровод.

— Мы уже знаем, что это за штука! — ворчливо сказал муж. — Эта гадость так и липнет к паркету. Чуть не доглядел — пятно на полу.

— Нет, нет! — подхватила жена. — Что угодно, только не пластилин! Это ему все дед приносит. Будто ничего другого на свете нет. Мало ли чем можно забавляться ребенку!

Мало, сказал бы я. Ох, как мало! Да, пожалуй, лучше и нет ничего, так как ничто не развивает в такой степени зрительную память и наблюдательность, как лепка из пластилина, глины, замазки или какого-нибудь другого пластического вещества. Я лично убедился в этом, после того как мне пришлось забавлять ребятишек, лепя по их просьбе всех этих козчиков, зайчиков, лошадок и прочее столь любезное детскому сердцу зверье. Каждый раз я мучительно напрягал память, пытаюсь вызвать в голове образ нужного зверя, стараясь как можно явственнее представить его себе, причем обнаружил, что до этого как-то не обращал внимания не то что на какие-нибудь отдельные детали предметов, но даже и на их общий вид. После двух, однако ж, или трех занятий с детишками я заметил, что мне как-то свободнее стали являться нужные образы. Уже и не глядя на живую лошадь, я мог отметить в сознании, что морда у нее хоть и длинная, но скуластая, что надбровные дуги у обезьяны совсем не такие, как у собаки, а у кошки фактически

и носа-то почти нет. Я обнаружил вдруг, что на улице и вообще в жизни стал невольно подмечать то, мимо чего проходил раньше, не обращая внимания.

Нет сомнения, что и у ребенка, лепящего свои немудрящие фигурки из пластилина, неосознанно протекает тот же процесс, подспудно приучая его к более ярким, живым представлениям о действительности, к пытливости и наблюдательности, без которых нет ни художника, ни писателя, ни актера, ни ученого, нет вообще творческой личности, открывающей в мире новое, не подмеченное до него никем.

Стоит сказать, что лепка — более доступный для малыша процесс, нежели рисование, которое требует известных навыков, хотя бы умения держать карандаш в руке или разводить краски, не говоря уже о том, что рисунок по сравнению с объемной фигуркой — вещь более условная и, следовательно, менее понятная. Для ребенка проще, естественней, органичней отражать, изображать мир в формах самого мира, то есть в трех измерениях, поскольку и сам мир трехмерен, к тому же здесь получаются фигурки, которые тут же могут быть включены в игру, а это немаловажный фактор, стимулирующий пусть самую примитивную, но все же творческую деятельность малыша.

И еще одно обстоятельство. Когда ребенок лепит или рисует (пусть это будет самое первичное, беспредметное размазывание по бумажному листу краски), мышцы рук его укрепляются, пальцы приобретают способность к более точным движениям, начинают лучше повиноваться мозгу, а это ох как понадобится малышу, когда он начнет учиться писать. Ведь рука человеческая самой природой не приспособлена для таких тонких движений, какие требуются при письме, и поэтому полезно исподволь потренировать ее.

Словом, и без слов ясно, что отнимать у малыша пластилин не нужно, и замазку — не нужно, и глину, и красочки, даже в том случае, если он может испачкать пол или замарать ручки. А к взрослым, которые это делают, стоило бы применять какие-нибудь крутые меры (в частности, можно пороть ремнем), так как своим необузданным поведением они могут нанести вред ребенку и загубить заложенный в нем талант, а этого прощать уж никак нельзя. Величайшим заблуждением человеческого ума является мнение, что воспитывать надо только детей. Нет, воспитывать надо и взрослых. Точнее, оба эти процесса должны идти бок о бок. Впрочем, многие взрослые уже до того закоснели в своих привычках, что некоторым,

видать, и ремнем не поможешь. Усвоив, что нельзя отнимать у детей пластилин или краски, они начнут отбирать у них дудочки, свистульки, игрушечные флейты, гармошечки и столь распространенные в детской среде ксилофоны, именуемые в просторечии цимбалами.

Недавно я был свидетелем разговора между молодыми родителем и родительницей в игрушечном магазине. Родительница предложила купить сынишке игрушечную флейту. Флейта была яркая, нарядная и сверкала со всех сторон, как новогодняя елка. На ней было восемь клапанов, охватывающих полную гамму. Продавщица очень ловко исполняла на этом музыкальном инструменте несложные мелодии, вроде «Ах, Самара-городок» и даже «Сердце красавицы склонно к измене».

— Ну что он понимает! — возразил против покупки родитель. — Рано ему. Разве он сможет? К тому же проснется раньше всех утром и начнет тебе на флейте дудеть.

Если бы я не побоялся оказаться навязчивым, то все же посоветовал бы молодым родителям купить сыну флейту. Пусть он не научится исполнять на ней «Самару-городок», этого в его возрасте и ожидать нечего, но пусть он дудит в свое удовольствие, нажимая на клапаны пальцами. При всем его неумении флейта будет все же издавать чистые музыкальные звуки, а его ухо будет понемногу привыкать к ним. Постепенно он научится выделять из хаоса звуков, из тысяч и миллионов неорганизованных шумов музыкальные звуки, которые отличаются совершенно определенным числом колебаний и математически точным отношением друг к другу. Многие люди, не научившись в детстве выделять и воспроизводить, хотя бы собственным голосом, музыкальные звуки, остаются на всю жизнь с неразвитым музыкальным слухом и даже воображают, что лишены его от природы, мучительно переживая свою неполноценность. И притом даже не подозревают, что виновата в данном случае не природа (на нее всегда легче валить), а их собственные родители, которые не подсунули им вовремя игрушечную флейту или хотя бы цимбалы, не пели им в детстве песенку и не учили их самих петь, хотя бы вполголоса. Эх, да что тут и говорить! Мало ли на свете еще родителей, которые только и ждут, когда их сын подрастет, чтоб засадить его учиться на пианино. Но если вдруг денег у них на пианино не хватит, то не купят ему и простой балалайки. Зачем! Это же не модно, да и Ван Клиберном с балалайкой не станешь. А им обязательно надо, чтобы Ван Клиберном.

В общем, никогда не знаешь, что придет в голову взрослому.

Да навряд ли это и ему самому известно. Недавно еду в метро. В вагоне мамаша пристроила сынишку возле окна, сама села с противоположной стороны на свободное место. Ребенок загляделся в окно, потом обернулся — не видит матери.

— А где моя мама? — спрашивает испуганно.

— Эка хватился! Твоя мама сошла на предыдущей станции, — говорит сидящая рядом тетка.

Раздается душераздирающий вопль. Ребенок, что называется, заходится и падает на спину. Подоспевшая мать долго не может утешить свое дитя.

— Зачем же вы так? — укоризненно спрашиваю тетку.

— А я что? Я пошутила просто.

Сколько нервных и психических заболеваний, отравляющих иной раз человеку всю жизнь, является результатом перенесенного в детстве испуга, об этом знают лишь одни психоневрологи. А надо бы, чтоб знала каждая вот такая глупая тетка. Впрочем, происшествие это, надо полагать, нетипично. Если применить к этой тетке меры покруче (ремнем бы), то шутить столь ехидно в другой раз она, возможно, не станет. Но откуда все же у нас это желание пошутить, посмеяться над малым, откуда такое несочувствие его горю, его волнению. Вот ведь плачет ребенок, ему не менее тяжело, чем нам, в минуту душевной невзгоды, а мы как-то равнодушно смотрим на его слезы и частенько считаем их просто дурью или капризами.

Вот, например, картиночка в зоопарке. На площадке, где катают детишек на пони, все пассажиры с радостным оживлением усаживаются в тележки, но одна маленькая девочка плачет. Может быть, она боится этого пони, которого видит впервые в жизни и у которого такая нелепая, нечеловеческая голова и длинное, покрытое темными волосьями тело? А может быть, она просто боится свалиться с тележки? Может быть, боится разлучиться с родителями? Все это не ясно. Но ясно одно — ей страшно. Растерянные родители не знают, как поступить: то сунут девочку в тележку, то вытащат обратно. Контролерша, отбирающая у детишек билеты, начинает терять терпение. Девчонка задерживает весь кортеж, состоящий из нескольких пони и одного осла. Уже подходит главный распорядитель, этакий солидный грузноватый дядя:

— Ну, что тут еще?

— Да вот девочка плачет.

— Ну и поплачет, что тут такого. Сажайте.

— Но зачем же сажать, если ей это никакого удовольствия не доставит? — вмешиваюсь в разговор я. — Девочка может

еще больше испугаться, когда поедет. Ночью дома проснется и будет плакать.

Родители, почувствовав с моей стороны поддержку, снова пытаются вытащить из тележки ребенка.

— Ну, тогда пропал гривенник. Касса уже закрыта,— говорит дядя.

Родители снова начинают терзаться сомнениями, но под моим нажимом решают пожертвовать гривенником, и я чувствую моральное удовлетворение, сознавая, что совершил доброе дело.

Такие добрые дела здесь можно творить десятками, стоит только прийти пораньше и не пожалеть нервов для уговаривания родителей. Здесь часто кто-нибудь из малюток поддается эмоции страха. Один такой пассажир едет, расширив глазенки и потеряв от испуга дар речи, зато другой ревет громогласно, во всеуслышание, отравляя удовольствие от поездки своим спутникам. Несмотря ни на что их все-таки возят — деньги-то плачены.

Хотелось бы знать, почему вполне взрослые, приставленные к работе с детьми сотрудники зоопарка, изо дня в день сталкивающиеся с подобной реакцией малышей, так равнодушно взирают на это? Они могли бы советовать родителям не подвергать, особенно малолетних и впечатлительных, ребятишек этому испытанию.

Впрочем, мало ли чего хотелось бы. Хотелось бы, например, узнать, кто это придумал устроить для детей телевизионную передачу «Спокойной ночи, малыши»? Да помилосердствуйте, добрые тети! Какая уж там спокойная ночь, если на сон грядущий телевизор смотреть! Один мой знакомый малыш приходит в страшное возбуждение, как только услышит уже ставшую привычной музыку, предваряющую эту передачу.

— Детская передача! — вопит он не своим голосом.— Папа, мама, детская передача! Бабушка, детская передача! Тетя Лиза, детская передача!

Если кто-нибудь медлит и не бросается со всех ног к телевизору, он хватает его за руку и тащит. Когда же начинается передача, он сидит, широко раскрыв глаза и впиваясь всем своим крошечным существом в экран, все принимая всерьез, как взаправдашнее, стараясь не пропустить ни одного словечка, ни одного движения. Когда же заветная передача кончается, он, не обращая внимания на дикторшу, на ее пожелание зрителям спокойной ночи, на ее совет ложиться в постельку, затевает игру, в которой старается повторить все виденное на экране.

— Давай, кутто (кутто — на его языке значит как будто), давай кутто ты морской царь,— говорит он отцу,— и у тебя кутто такая страшная борода, а я кутто рыбак на лодке; я поплыл в море, а ты кутто мою лодку схватил и тащишь под воду на дно. Ну, давай!

И он не успокоится и не отойдет ко сну, пока не набегается по комнате и не повторит несколько раз эту игру. А какой уж тут сон, когда перед глазами так и маячат поразившие его воображение картины.

Я не хочу сказать ничего плохого о содержании этих телепередач. Они вполне безобидны на первый взгляд, да ведь смотрят их пятилетние дети, и даже четырехлетние, и трехлетние, даже двухлетние. А в этом возрасте малыши — страшно серьезный народ, для которого приключения заблудившегося в лесу полевого мышонка — истинная трагедия, потому что иных трагедий он пока и не знает вовсе. Нет, никаким ребятишкам я бы не советовал на ночь эти передачи смотреть. Ни с какими педагогическими и врачебными рекомендациями это несообразно. Ведь не то что детишкам, даже взрослым не рекомендуется на ночь читать. Так то читать, понимаете ли, чи-та-ать! Чтение все же не так будоражит воображение. А тут изволь на ночь глядя телевизор смотреть.

Короче говоря, есть предложение. Ничего не меняя в этих передачах, называть их не «Спокойной ночи, малыши», а «Добрый вечер, малыши» и показывать их хотя бы часа за два, за три до того, как ребятишкам идти в постель. Думается, что сотрудники телевидения последуют этому доброму совету, так как люди они вполне благоразумные, способные внимать голосу рассудка и ни в каких крутых мерах воздействия не нуждающиеся.

А детишки за это только спасибо скажут.



О СТАРЫХ ПЕСОЧНИЦАХ, ВОЛШЕБНЫХ ЛАВКАХ, СМЕЛЫХ ЗАМЫСЛАХ И ЗОЛОТОМ ОСЛЕ

«Все лучшее — детям!» Какой замечательный лозунг, не правда ли? Разве найдется на свете что-нибудь, что мы пожалели бы для наших детей — нашей радости, нашей гордости, нашего будущего! И без всякой надежды получить от них что-либо взамен, заметьте. Ведь истинная любовь бескорыстна. И она, эта любовь, проявляется всюду. Буквально на каждом шагу. Вот, к примеру сказать, когда мы предпринимаем строительство нового дома, то не бросаем дело, доведя постройку до предусмотренного типовым проектом пятого или десятого этажа, а соорудим еще сверх того во дворе беседку, чтоб детишки могли поиграть в тени, устроим песочницу с ярко раскрашенной крышей в виде гигантского гриба-мухомора и, конечно же, деревянную горку, с которой так любят ребятишки спускаться на своих собственных штанишках.

В последние годы строительство ведется у нас чаще всего не отдельными зданиями, а целыми кварталами, районами или микрорайонами. И у каждого дома теперь обязательны и ярко раскрашенная беседка, и гриб-мухомор, и деревянная горка. А некоторые доходят даже до того, что по собственной инициативе устраивают сверх плана еще крошечные, миниатюрные фанерные домики размером чуть побольше пчелиного улья и до того симпатичные, представьте себе, что некоторые детишки способны просиживать в них чуть ли не по целым дням. Как приятно смотреть на все это цветистое великолепие! Как радостно ощущать заботу о детях, особенно нам, которые этой заботы не видели!

Конечно, если сказать по правде, то и в этом деле еще не все так полностью гладко, как надо бы. Бывают и здесь отдельные шероховатости. Попробуйте заглянуть в какой-нибудь из этих очаровательных уголков через год-полтора — и вашему взору представится менее живописная картина. «Гриб» слинял и поник головой — бедняжка! У беседки проломан бок; двери и окна домиков грубо заколочены крест-накрест досками; в песочницах не песочек, а какая-то серая пыль пополам с бумажками и пожелтевшими окурками; перила у горки обломаны, желоб растрескался и почернел, из него угрожающе торчат острые, как шипы, щепки. Ребят нет, и царящая вокруг тишина настраивает на элегический лад. Вам почему-то начинает казаться, будто вы каким-то чудом перенеслись в давние времена. Перед вами уже не современный уголок двора, а извлеченный из-под вековых наносов доисторический город. По уцелевшим остаткам строений вы можете судить, как жили в те далекие времена люди, как заботились о своей детворе, строили для нее деревянные горки, «грибы» с песочницами. Ваш глаз невольно реконструирует, приводит в первоизданное состояние пришедшие в негодность строения. Вы очарованы. И вам уже слышатся веселые голоса ребят. Вы даже видите их. Вот они бегут к вам. Двое самых маленьких — мальчик и девочка — резво скачут к песочнице и начинают играть с песочком, то бишь с пылью, перемешанной с разного рода дрянью: мальчик постарше пытается скатиться с деревянной горки, но, занозив о растрескавшийся желоб руку, с плачем бежит домой... Очарование пропадает. Вы возвращаетесь к суровой действительности и с выражением глубокомыслия на лице идете, куда вам нужно.

Хотя, собственно говоря, особенно глубоко раздумывать тут, безусловно, нечего. Все это дело простое, житейское.

Когда у вас лопнут брюки, что вы делаете? Берете брюки и несете в починку. А когда придет в негодность деревянная горка, вы берете горку и несете. Куда? Горка тяжелая! Никуда вы ее не несете, а поступаете более хитро: избираете родительский комитет. Родительский комитет будет ходить с молоточком и, как только что-нибудь прохудится, тут же и заколотит... и песочку свежего принесет.

Впрочем, родительский комитет можно и не избирать. Дети в крайнем случае проживут без горки и без песочка. Потому что детям в первую очередь нужны не горка и не песочек, а игрушки. Вот без игрушек им действительно никак нельзя. Это они вам и сами скажут. Многие из них согласятся не есть вовсе супу, но чтоб были игрушки. Некоторые согласятся даже весь век не есть манной каши, но с условием, чтоб им дарили игрушки. Хоть иногда. Хоть изредка! А что для этого надо? Чтоб повсюду были игрушечные магазины. Так ведь? У нас же они пока еще далеко не повсюду. Кое-где только. Да и то...

Вот был, к примеру сказать, в Москве на Арбате игрушечный магазин, недалеко от ресторана «Прага», небольшой такой, уютненький, с низенькими потолочками. Войдешь, бывало, и сразу почувствуешь себя пятилетним, счастливым. По правую руку было тут отделение мягкой игрушки со всевозможными куклами, яркими плюшевыми медвежатами, косоглазыми ушастыми зайчиками, хитроносыми оранжевохвостыми лисичками и другим различным зверьем. По левую руку — игрушка жесткая: автомобильчики, паровозики, пароходики, самолетики, тракторчики, экскаваторчики, вездеходики... В глубине магазина, где царил какой-то особенный, романтический полумрак, а потолки еще ниже, было целых три отделения. В одном — все для младенца: погремушки, матрешки, целлулоидные шары, колечки, мячики, резиновые зверушки со свистульками и без свистулек. В другом — различнейшие конструкторы, наборы инструментов, строительные кубики. В третьем — настольные игры. Сколько тут толпилось по целым дням ребятишек со своими мамами и папами, бабушками, дедушками, старшими братцами и сестричками, дядюшками и тетусками! Сколько тут было сияющих глаз и замирающих от счастья сердец! И что же?... Прихлопнули, как говорится, все это очарование со всеми его сокровищами, дернули, так сказать, с корнем, или, попросту говоря, закрыли! Не пожалели детишек вместе со всей их радостью!

Некоторое время магазин стоял с заляпанной краской окнами и лаконичной надписью: «Ремонт», потом открылся,

конечно, но уже не игрушки там были, а иного рода товар — детская обувь. Взрослые своим практическим, трезвым умом рассудили: обувь для детей важнее, чем какие-то там игрушки.

Знал я еще одно прелестное местечко: такой крохотный игрушечный магазинчик на углу улицы Воровского и площади Восстания, ни для чего, казалось бы, и не годный, кроме того, чтоб игрушками в нем торговать. И торговали. Даже бойко. Сам видел! А потом опять те же взрослые со своим умом: откроем-ка здесь лучше кафе — будет все-таки кофейку где попить, пожевать чего-нибудь.

...Оно, конечно, открывать что-нибудь новое надо, в том числе новые кафе, тут и говорить нечего, но ведь для этого приходится у кого-то помещение отнимать. А у кого легче всего отнять? Ну конечно же, у детишек. Вот и отняли. И сидят там теперь за столиками, попивают кофеек свой.

И еще один игрушечный магазин помню — на улице Горького: где-то между Васильевской и Большой Грузинской, по левую руку, если идти от площади Маяковского. Замечательный магазин был. Внутри светлый, высокий, торжественный, с мягко освещенными витринами вдоль стен, а снаружи какой-то скромненький, неприметный, даже таинственный, я бы сказал. Нечто вроде описанной Гербертом Уэллсом волшебной лавки, которая, если помните, имела свойство по временам исчезать. Бывало, нарочно пойдешь от Маяковской пешком, чтоб заскочить по пути в магазин, да так и дойдешь до Белорусского вокзала, а магазина и не заметишь. Ну, думаешь, пропал магазин. Прихлопнули, словно муху, вечная ему память! А в другой раз идешь — вот он, на месте! Я его так и прозвал тогда — «Волшебная лавка».

В один прекрасный день «Волшебная лавка» все же исчезла. Подчистую, как говорится. Мне даже не верилось первое время. Все думалось: наверно, я опять по рассеянности мимо прошел. В конце концов я поставил себе задачей разыскать ее. Надо же, думаю, как-то с рассеянностью бороться. Искал, искал, да так и не нашел. Даже места, где она была, не удалось обнаружить. А недавно иду случайно, глядь — знакомая витрина. За стеклом — нарядные куклы, расписные глиняные козлики, матрешки — мал мала меньше... Вхожу в магазин: все как бы — то, и в то же время — не то. На прилавках — палехские шкатулки, пудреницы, металлические браслеты, янтарные бусы, шелковые платочки с видом «Василия Блаженного», деревянные орлы и медведи, пестрые варежки, настенные коврики ручной работы, серебряные рюмки с яркой эмалью. Куклы есть,

правда, но не те, которые дарят детишкам, а безногие, которыми накрывают горячие чайники. Спрашиваю молоденькую продавщицу:

— Скажите, пожалуйста, тут раньше «Волшебная лавка», то есть — тьфу! — тут раньше игрушечный магазин, кажется, был?

— Ликвидирован,— говорит.— Здесь теперь сувениры.

— Ах, сувениры! А игрушечный магазин?..

— Ликвидирован. Я же сказала.

— Это вы точно знаете? Может быть, его в другое ме...

— Да что вы, гражданин: «Ме! Ме!» Я же вам человеческим языком: ли-кви-ди-ро-ван!

Вышел на улицу — на вывеске действительно «Сувениры» написано. А что такое сувениры? Те же игрушки, только для взрослых. Сейчас, как известно, у взрослых мода на сувениры пошла. А ради моды взрослый человек тебе что хочешь сделает: пожертвует всем на свете, в том числе и самим волшебством.

Жалко «Волшебную лавку»! Помню, раньше детишки так и тянулись к ней, словно пчелы к родному улью, а теперь... Впрочем, я все же верю, что «Волшебная лавка» не исчезла совсем, а когда-нибудь в один прекрасный момент я снова увижу ее на прежнем месте. А может, она появится на какой-нибудь другой улице, в другой части города. Что ей стоит! Она же волшебная! Для нее это пустяки, а какая была бы радость детям!

Конечно, могут сказать, что мы не только обижаем как-нибудь невзначай детишек, но и делаем для них много добра. Вот, например, магазин «Детский мир». Где еще есть такое четырехэтажное чудо? Там можно купить для ребенка все. В том числе и игрушки. Это верно. Игрушки там продаются, и притом в огромных количествах. Но разве до открытия теперешнего «Детского мира» на площади Дзержинского у нас совсем не было «Детского мира»? Был «Детский мир» (правда, не таких гигантских размеров) на улице Кирова. Там и игрушки были. А теперь разве там есть игрушки? Теперь там книги, а игрушек никаких нет. До открытия «Детского мира» на площади Дзержинского игрушки продавались и в ЦУМе, и в Петровском пассаже. А теперь пойдите спросите: торгуют ли они игрушками? Вам ответят, что за игрушками надо идти в «Детский мир». Скоро, наверно, кроме «Детского мира» да еще, может быть, Дома игрушки на Кутузовском проспекте, нигде нельзя будет купить ребенку игрушку.

А разве так надо игрушками торговать? Торговать игруш-

ками надо, как торгуют иногда книгами. Не идет, бывает, в магазине какая-нибудь книга — залежалась, ее сейчас же на лотки да на улицу или просто навалят кучей где-нибудь в подземном переходе метро, и какой-нибудь дядя кричит зычным голосом:

— А вот мировая книга! О любви мужчины и женщины. Очень смело написана! За 83 копейки будете читать всю жизнь. Книга, которую ищут по всей Москве. Имеется только у нас и в 76-м магазине. Ограниченный тираж! Всего две пачки осталось.

И берут. Хватают! Человек, который и не подумает пойти в магазин за книгой (он этой привычки не приобрел с детства), здесь купит ненароком такую книгу, которая ему и не нужна вовсе. Такова психология покупателя: что видит, то и берет. Значит, надо, чтоб покупатель видел игрушку. Чтоб она ему на каждом шагу в глаза кидалась. Стоит, скажем, шашлычная или пивная, а рядом киоск с игрушками или хотя бы столик. Даже не обязательно, чтоб большой выбор был. Можно наполнить корзину пластмассовыми автомобильчиками (теми, которые по 12—15 копеек штука), или глиняными жучками, или обезьянками с трясущимися конечностями и пустить вразнос. Постоит продавщица у дверей гастронома и за какой-нибудь час распродаст всю корзину. И никому от этого никакого вреда. Только польза!

Вообще надо, чтобы по пути следования каждого родителя домой с работы попадался минимум один игрушечный магазин или хотя бы киоск, хотя бы столик, хотя бы вот такая тетка с корзиной. Увидев у гастронома тетку, родитель вспомнит и о ребенке. Иной родитель не принесет своему малышу игрушку только потому, что встретит на своем пути скорее пивную, нежели тетку с игрушками. Ну, а дети из-за этого, конечно, сильно проигрывают. Бывает, малыш ждет, ждет, когда ему подарят игрушку, да так и вырастет. Ребята ведь быстро растут. Время-то не ждет!

И еще: пора нам наконец взяться за ум и начать разводить пони и осликов. Ведь сейчас покататься на ослике ребята могут лишь в зоопарке. А там что творится? Очередь вокруг площадки, где происходит катание, закручивается в иной день такой гигантской спиралью, что на нее без головокружения смотреть нельзя. А катание?.. За пятак обвезут ребенка вокруг клумбы с цветами — и вылезай! Впрочем, за пятак теперь никого и не возят. Берут сразу гривенник и обвозят вокруг клумбы два раза, чтоб побыстрее оборачиваться. Но все равно: два раза

вокруг клумбы за такие деньги — это чудовищно мало! Я подсчитал, в тележку помещается семь ребят; с каждого по гривеннику — семьдесят копеек. Если бы ребяташки додумались взять такси, то шофер за семьдесят копеек обвез бы их вокруг клумбы не два раза, а, наверно, раз двести. Правда, на такси детишкам, надо полагать, не так интересно кататься. А за интерес приходится папам и мамам расплачиваться.

Увлечшись арифметическими подсчетами, я обнаружил, что обыкновенный осел в зоопарке зарабатывает умопомрачительные суммы. Обвез дважды тележку с ребятами вокруг клумбы — получай 70 копеек. На всю поездку затрачивается от одной до полутора минут; еще столько же уходит на посадку и высадку (я по часам смотрел). Возьмем максимум: на то и другое по полторы минуты. Значит, 70 копеек осел зарабатывает в течение трех минут. За час он совершит 20 таких поездок и получит 14 рублей, а за восьмичасовой рабочий день, следовательно, 112 рублей. Месячная его зарплата, таким образом, выразится в размере 3360 рублей. Такую зарплату ему не положили бы, если бы сделали самым директором зоопарка. За год осел заработает — 3360 помножить на 12 — получится 40 320 рублей. Это новыми деньгами, а в пересчете на старые — 403 200, то есть почти полмиллиона рублей!..

Если затратить все эти денежки на уход за таким ослом, то поселить его придется в королевском коттедже, окружить целым штатом фрейлин и кормить одними рябчиками и петушиными гребешками, да и то он всего не сожрет. За деньги, которые он получает за день, можно купить его самого со всеми потрохами. А за те деньги, которые он получает с детишек за год, можно отлить его фигуру из чистого золота в натуральную величину и поставить посреди зоопарка в назидание всем финансовым гениям настоящих времен и будущих.

Скажем прямо: не разобрались еще в этом деле детишки, а то бы они нам сказали: «Да ну вас с вашими понями и ослиами! Нечего эксплуатировать интерес ребенка к животным! На те деньги, которые мы прокатали на пони и осликах, можно было съесть целые горы мороженого, выпить реки газированной воды с сиропом, закупить Монбланы игрушек и книжек с картинками, просмотреть километры кинокартин, настроить всюду деревянных беседок, и горок, и песочниц с чистым песочком, и качелей, и каруселей, и чертовых колес в придачу... Короче говоря, гоните деньги обратно!»

Может быть, мы, конечно, чего-нибудь недопонимаем по части финансов. Бухгалтерии, безусловно, видней, что к чему

в этом вопросе. Но думаем, что если бы детишки сообразили кооперироваться и купить на свои сбережения хоть одного ослика, то в течение года он заработал бы для них кругленькую сумму. На эти деньги они смогли бы построить для себя сказочный парк, о котором давно мечтают. В этом парке у них были бы этнографические уголки разных стран и народов, там были бы сталактитовые пещеры, лунные кратеры, модели спутников и космических кораблей. Там стояли бы взаправдашние самолеты, в которые можно залезть и подергать за рычаги, там падали бы с гор водопады, били бы из земли гейзеры и курились вулканы; там на каждом шагу попадались бы киоски с игрушками и была бы хоть одна настоящая волшебная лавка с подлинными магическими кристаллами, цилиндрами и шарами и прочими атрибутами волшебства; там ребята могли бы встретиться со всеми своими любимыми сказочными героями, а уж кататься стали бы не только на пони и осликах, но даже на слонах, динозаврах и дрессированных кенгуру.

Словом, все это у наших детей еще впереди, и для нас тут открывается широкое поле деятельности.



А, Б, В...

(Мечты и фантазии)

Для того чтобы научиться читать, необходимо прежде всего выучить азбуку, то есть названия отдельных букв алфавита: А, Б, В, Г, Д и т. д. Это, так сказать, обязательное условие, без которого никакое человеческое знание на современном уровне недоступно. Азбуку же обычно начинают изучать в детстве, когда человек еще мал и недостаточно смыслит. Некоторые родители, желая, чтобы их дитя явилось первый раз в школу подготовленным, усаживают его за букварь. Понуждаемый взрослыми, ребенок начинает зазубривать по книжке все эти непонятные для него закорючки, с самого начала получая отвращение к науке. Ведь удержать в памяти без какой-либо предварительной тренировки начертания и наименования более трех десятков не связанных ни с какими конкретными представлениями знаков — работа огромная даже для более раз-

витого ума, во всяком случае, требующая от ребенка той усидчивости, которой у него еще нет. Всем известно, что для его возраста сидеть на месте — дело самое ненавистное.

Гораздо разумнее поступают родители и воспитатели, которые исподволь показывают ребенку отдельные буквы, добиваясь, чтобы он, как бы играя, запомнил хотя бы некоторые из них. Огромную помощь здесь может оказать такая игра, как кубики-азбука. Ребенок, строя из таких кубиков свои сооружения, невольно обращает внимание на буквы, постепенно привыкает к их виду, начинает их различать. В таких обстоятельствах малышу совсем не трудно запомнить для начала хотя бы одну букву, зато когда его спросят, он испытает удовлетворение, дав правильный ответ. Ребенок ужасно любит похвалиться своими знаниями и, если получает возможность продемонстрировать их, испытывает неподдельную радость.

Один мой знакомый четырехлетний малыш, которому недавно купили такие кубики, очень быстро выучил почти всю азбуку, и теперь от него никому спасения нет. Он ходит за всеми со своими кубиками и пристаёт то и дело:

— Ну-ка, спроси меня, какая это буква.

Так на место угнетающей детскую душу принуждения становится внушающая радостную эмоцию творческая инициатива, что хорошо уже не только для усвоения азбуки, но и для формирования самого характера ребенка, для воспитания самостоятельно мыслящей личности.

К чести нашей игрушечной промышленности надо сказать, что она не оставляет без внимания нужд ребенка и хотя, может быть, еще в недостаточных количествах, но поставляет столь необходимые ему кубики. Беда лишь в том, что, помимо этих допотопных кубиков, по которым учились еще наши прабабушки, мы за последние двести лет ничего, по сути дела, не придумали, чтоб облегчить усилия ребенка на его трудном пути. На месте директоров игрушечных фабрик я бы почаще подбрасывал ребятишкам все эти букочки. Пусть бы они видели их не только на вывесках магазинов, попадая на улицу, но и на своих игрушках, в домашних условиях.

В продаже часто имеются дешевые пластмассовые автомобильчики, сделанные в виде цистерн или фургончиков с надписями: «Бензин», «Хлеб», «Молоко», «Книги», «Игрушки»... Я бы на такой молочной цистерне помещал большую яркую букву «М», на цистерне с бензином — букву «Б», на пожарной цистерне — «В» (вода, значит), на хлебном фургончике — «Х» и т. д.

Видя на разных машинах разные буквы, играющий малыш нет-нет да и задумается о их значении, может быть, даже спросит, а запоминание будет облегчено тем, что каждая буква связана тут с уже знакомыми ему вещами: «А» — автобус, «М» — молоко, «Х» — хлеб... Главное здесь в том, что буква придет к ребенку вместе с игрушкой и включится в игру.

Будь я игрушечным директором, я бы и еще кое-что придумал. Я бы выпускал для ребятишек игрушечные печатки. Это такие деревянные колодочки, к которым приклеены резиновые буковки. Приложишь такую печатку к подушечке с штемпельной краской, притиснешь к бумаге, и получится оттиск буквы. Интереснейшее занятие, даже для взрослого, честное слово! Ребенок обязательно хоть на время увлечется печатанием, в процессе которого будет постигать и названия букв.

А вот если бы меня сделали вдруг директором кондитерской фабрики, я бы выпускал для детишек конфеты «Азбука». Существуют же конфеты «Золотой ключик», «Мишки», «Забава», а то будет еще и «Азбука». Разве не все равно, что на бумажках печатать? Полиграфические затраты все равно идут. А тут на одной бумажке — буква «А» и нарисован автобус или традиционный арбуз, на другой — буква «Б» и рядом белочка нарисована — все как на тех же кубиках, только поярче и с золотом, ведь на конфеты мы не жалеем ни бумаги, ни краски.

А зато польза какая! Ребята страшно любят собирать фантики. Задавшись целью собрать полную коллекцию, то есть всю азбуку, ребенок сам будет стараться запомнить вид и название недостающей ему буквы. Меняясь между собой дубликатами, юные коллекционеры уже без помощи взрослых начнут просвещать друг друга: если какой-нибудь малыш не так назовет букву, его тут же поправят более опытные товарищи. Дело изучающих азбуку перейдет, таким образом, в руки самих изучающих. Тому, кто соберет полную азбуку, можно будет выдавать премию. Думаю, что в будущем мы учредим для этой цели особую государственную премию, которая будет выдаваться малюткам в любом конфетном магазине по предъявлению ими полного комплекта азбуки. Ну, а пока этого нет, родители и сами могли бы выделить для этой цели кое-какие средства, что безусловно, усилило бы интерес к предлагаемому нововведению, полное научное значение которого сейчас еще трудно даже предугадать.

Среди настольных игр в магазинах игрушки можно часто видеть различные электровикторины. Это очень простая штука. На небольшом картонном щитке справа изображены, скажем,

портреты известных писателей или корабли различных систем, а слева тексты с именами писателей или описаниями кораблей. Под каждой картинкой и текстом — электрические контакты, которые можно соединять гибким проводом. При правильном соединении контактов, то есть при соединении картинки с соответствующим ей текстом, вверху на щитке загорается лампочка от карманного фонаря.

Тоже увлекательное занятие, тут и говорить нечего! Сидишь и соединяешь контакты, проверяя свои знания в кораблестроении или достопримечательностях Москвы. Все это, однако ж, для более старших ребят. А я бы пришел на помощь самым маленьким, сделал бы для них электроазбуку. Им ведь тоже хочется, чтобы лампочка загоралась. Вместо писателей с кораблями здесь на табличке будут буквы: А, Б, В... а с другой стороны картинки: арбуз, белочка, вишенка и т. д... Сделав соединение правильно, например соединив контакт буквы «А» с изображением арбуза, ребенок получит поощрение в виде засиявшей вверху лампочки. Даже не зная какой-нибудь буквы, ребенок может узнать ее при помощи такой викторины. Соединив конец провода с контактом буквы, он будет другой конец поочередно прикладывать к контактам возле картинок. Заметив, что лампочка зажглась, когда он присоединил конец провода к изображению гуся, он может сообразить, что интересующая его буква — «Г», поскольку слово «гусь» начинается с этой буквы. Не трудно представить себе, что будет, когда такие азбуки-викторины повесят на стенах в детских садах, в детских парках и уголках, в комнатах матери и ребенка, в детских комнатах милиции и т. п. Детишки то и дело будут подходить к викторине и включать контакты, добиваясь заветного сияния лампочки. Те, кто уже знает хоть несколько букв, будут делиться своим опытом с теми, кто еще ничего не знает, и процесс обучения пойдет, так сказать, своим ходом, и даже без вмешательства взрослых. Стоимость такой азбуки будет не дороже обычных кубиков, и ее сможет приобрести любой родитель для индивидуального пользования.

Нечего и говорить, что предлагаемая электроазбука и подобные ей викторины явятся, по сути дела, первыми в жизни ребенка обучающими машинами, и переход на программированное обучение совершится на детсадовском уровне, не дожидаясь введения программированного обучения в школах и вузах.

Просто обуревают радость, когда подумаешь, до чего это все замечательно будет! А вот если бы мне наконец повезло в жизни и меня назначили директором какого-нибудь издатель-

ства, я выпускал бы еще для детишек наборы красочных плакатиков, хотя бы по одному на каждую букву. Посредине — большая яркая буква, к примеру «К», а вокруг рисунки котят, козлят, курочек, китят, крокодильчиков — в общем, всего, что начинается на «К». Это для того, значит, чтоб ребенок понемногу учился обобщать жизненные явления (это вообще), а в данном случае, чтоб учился схватывать, какая буква является общей во всех этих разных, непохожих друг на дружку словах.

И еще я выпускал бы очень веселые и смешные, и в то же время дидактические картинки с такими примерно вопросами: какие предметы ты видишь на этой картинке на букву «А» или на букву «Б» и т. д. Малышу обязательно надо научиться выделять отдельные звуки из слов на слух, тогда ему легче будет понимать и смысл букв, являющихся, по сути дела, обозначением этих звуков. Пользуясь такими картинками, можно даже затевать с ребятами игры: кто больше предметов назовет, тот и победил. Можно даже настольную игру выпустить в виде набора картинок, как для картинного лото, в красивой коробке. Это было бы весьма кстати, так как настольных игр для дошкольников явно недостаточно.

Вообще я бы много чего наделал. А главное, навывпускал бы для детишек книжонок, которые можно было бы назвать первыми книжками до букваря. В одной такой книжке я бы каждой букве посвятил отдельную страничку или разворот. В другой наделал бы веселых картинок с вопросами и без вопросов. В третьей у меня были бы загадочные картинки на буквенную тематику. Еще была бы книжка с окошечками и шарнирами, чтоб можно было загадывать, какая в окошечке появится буква. Ну и так далее. И еще выпустил бы книжку — руководство для родителей, как всем этим игровым богатством пользоваться.

Такая книжка могла бы сослужить большую службу и детишкам, и взрослым. Ведь ребята сейчас приходят в школу в основном уже со знанием азбуки и даже умея читать. Таким образом, самый трудный путь они проделывают не под руководством опытных педагогов, а под руководством родителей, часто не имеющих ни знаний, ни опыта в этом деле, каждый из которых учит как может, без какого-либо пособия или руководства. Между тем все усилия сейчас должны быть направлены на то, чтоб ребята приходили в первый класс наилучшим образом подготовленными. Ведь теперь им предстоит проходить четырехлетнюю программу в три года. Это легко сказать. Или предписать. А на деле будет проходить с большими потерями,

связанными с человеческими судьбами. Надо заранее знать, откуда черпать ресурсы для такого сокращения сроков.

Я убежден, что подготовка ребят, являющихся в первый класс, должна быть примерно равноценной. Сейчас нередки случаи, когда часть поступающих уже умеет читать. Другие в то же время и с буквами не знакомы. Кто знает, может быть, поэтому некоторые ребяташки начинают отставать уже с первого класса. Им, должно быть, попросту не угнаться за остальными. Хорошая подготовка в добукварный период с использованием игровых материалов помогла бы ребенку нормально учиться в школе.

У кого-нибудь, возможно, явятся опасения. А не хватим ли мы в этом деле лишку? Не засыплем ли бедного малыша всеми этими кубиками, плакатами, вертушками, викторинами по самую так называемую макушку? На это можно сказать с уверенностью: не засыплем. Во-первых, наша игрушечная промышленность не сразу и раскачается, а во-вторых, когда начнем доходить до макушки, надо будет своевременно позаботиться, чтобы весь этот мощный поток не оседал преимущественно в больших городах, а помаленечку направлялся и в не столь крупные города, и в колхозы, в которых сейчас не то что каких-то там кубиков, а даже простой разрезной азбуки днем с огнем не найдешь.

Так что можно не беспокоиться. Лишку не хватим. А для наших будущих Лобачевских и Ломоносовых, Пушкиных и Маяковских, Гагариных и Терешковых скупиться не следует. Какими бы они ни вышли впоследствии гениями, все равно азбуки им не миновать.

Ребенка, по моему глубокому убеждению, надо готовить к учебе исподволь, не бросая сразу в холодную воду, стараясь привить ему творческий подход к делу стараясь пробудить и развить в нем инстинкт познания. И делать это надо еще до того, как ребенок встретится с букварем. Букварь — книга, безусловно, полезная, но скучная. Если мы сразу оторвем малыша от беготни, от игры и без всякой предварительной подготовки засадим за этот серьезный, строгий на вид и совсем не смешной учебник, он будет смотреть на него букой. Не исключено, что и на другие книги, и на нас самих он тоже начнет смотреть букой. И тогда будет ох как нехорошо. Одного такого буки будет достаточно, чтобы навести страх на весь класс и испортить жизнь двум десяткам учительниц и учителей во главе с директором школы и завучем в придачу.

Поэтому не будем Плюшкиными!



ВТОРОЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Второй раз в первый класс я попал лет сорок спустя после того, как его закончил. У писателя, пишущего для детей, появляется иногда потребность понаблюдать, как живут его герои. (Каюсь: с этим делом я лично не слишком спешил, да теперь уж что сделаешь.) Школа мне попала как раз такая, в которой часто бывали различные методисты, наблюдатели, практиканты и дебютанты (то есть будущие и начинающие учителя), работники РОНО и МОНО, так что ребята уже привыкли видеть у себя на уроках кого-нибудь из незнакомых взрослых людей и не обращали на них внимания. Когда я пришел, ученики уже сидели за партами. Учительница стояла возле стола и разговаривала с медсестрой в белом халате. Между обеими женщинами стоял маленький ученик ростом не выше стола. В руках у учительницы была беленькая бумажка, которой она энергично размахивала над головой ученика.

— Не знаю, где он взял медицинскую справку,— раздраженно говорила учительница.— Мать утверждает, будто он был болен, а между тем ребята видали, как он играл на улице.

Малыш задирает свою круглую стриженую головенку кверху и, пугливо помаргивая, следил за порхающей над ним бумажкой.

— Где ты взял эту справку, Калитин? — спросила его медсестра.

— Мама дала.

— Вот видите! — развела руками учительница.— Ну, иди, сядь на место.

Она отдала справку медсестре и, провожая взглядом Калитина, который путешествовал между рядами парт к своему месту на так называемой «Камчатке», отрекомендовала его мне:

— Отстающий. В школу часто является, не приготовив уроки. Дома никто не следит за ним. По русскому очень отстал. Останется на второй год.

Произнеся этот категорический приговор, она махнула рукой, после чего велела ученикам достать книгу для чтения и отыскать на нужной странице стихи. Захлопали крышки парт. По классу словно пролетел ветерок. Это ребята зашелестели листочками в книгах.

— Все нашли? — спросила учительница.

И не дожидаясь ответа:

— Галкин, читай первую строчку.

Медленно, запинаясь на отдельных слогах, как обычно читают малыши, едва закончившие букварь, Галкин прочитал первую строчку стихотворения:

Ель растет перед дворцом...

— Молодец! Кто скажет, о чем здесь говорится?

Сразу поднялось несколько рук.

— Скажи ты, Арефьев.

— Здесь говорится о ели.

— Правильно. Садись. Что такое ель?

Опять потянулись кверху руки.

— Скажи ты, Иванов.

— Ель — это елка.

— Ель иначе называется елкой,— милостиво согласилась учительница.— А что такое ель или елка? Птица это или насекомое?

Пока Иванов усиленно думает, находится множество желающих ответить.

— Ну, скажи ты, Потапов.

— Ель — это дерево.

— Вот правильно! Какие вы еще знаете деревья?

Поднимая руки, ученики в организованном порядке сообщают известные им породы деревьев.

Когда все вопросы по прочитанной строке оказываются исчерпанными, учительница переходит к чтению следующей строчки стихотворения. Возникают новые вопросы. Активность класса растет с каждой минутой. Со всех сторон тянутся руки. Глаза малышей устремлены на учительницу с мольбой. Каждому хочется, чтоб спросили именно его.

За одной из парт в среднем ряду сидит черноволосый мальчик в голубой рубашке. Он очень возбужден всем, что происходит вокруг. Лицо его покраснелось от волнения. При каждом вопросе он вскакивает и изо всех сил вытягивает руку вперед. Ему кажется, что учительница не видит его из-за сидящих перед ним учеников. Не опуская руки, он мечется из стороны в сторону, словно посаженный в клетку зверек, и чуть не вываливается из-за парты. Учительница же, как нарочно, спрашивает кого-нибудь другого, и он каждый раз плюхается обратно на место, с отчаянием откидываясь на спинку парты. В его глазах появляется спокойное разочарование человека, привыкшего к мысли, что ему не везет в жизни... И вдруг... О счастье! Учительница спросила его. Бойко ответив, он садится на свое место с гордым видом победителя.

Наконец стихотворение прочитано. Учительница велит достать тетради и выписать из стихотворения названия предметов, то есть слова, отвечающие на вопросы «кто?» или «что?».

Все достают тетрадки и начинают писать. У ребят возникает ряд недоумений, с которыми они обращаются друг к другу или к учительнице. Одному кажется, что надо выписать слово «растет», потому что можно спросить. «Кто растет?» Другому кажется, что слово «дом» не надо выписывать, потому что нельзя сказать: «Кто дом?»

Мое внимание привлекает ученик, сидящий в крайнем ряду у окна за последней партой. Он сидит один, без пары. Я его уже давно заметил, еще когда читали стихотворение и учительница задавала вопросы. Он сидел тихо, положив ручонки перед собой на парту, жмурился, словно котенок на солнышке, спокойно поглядывая то в окно, то на ребят, и ничем не обращал на себя внимания учительницы.

Это и был Калитин, которого учительница отрекомендовала мне как будущего второгодника. На его розовощекой, безмятежной физиономии по временам блуждала мечтательная улыбка. Трудно сказать, к чему она относилась. Может быть, он улыбался ответам ребят, может быть, собственным мыслям. Он ни разу не поднял руку, не ответил ни на один вопрос. Учительница «работала» с более активными учениками, а о нем как будто забыла. И он, видимо, забыл о ней и мечтал о чем-то своем. Теперь же, когда все ребята стали писать, Калитин тоже достал тетрадь и пишет. Работает он усердно. Стараясь поаккуратнее выводить буквы в тетрадке, он низенько наклоняется к парте, словно прислушивается к скрипу пера, и чуть ли не ложится на парту щекой. Время от времени он нагибается и исчезает с головой в недрах парты, после чего появляется с промокашкой или резинкой в руке.

Меня начинает удивлять, что у Калитина не возникает никаких вопросов. Он ни разу не обратился за помощью к товарищам или к учительнице. Ведь если более успевающие ученики в трудных случаях прибегают к помощи учительницы, как может отстающий Калитин обходиться без нее.

Задание между тем выполнено. Занятия окончились, и ребята стали расходиться. За партами оставались только те, кто не успел списать с доски задание на дом. Я подошел к заинтересовавшему меня Калитину. Учительница неодобрительно взглянула в мою сторону.

— Вы на него не смотрите, — сказала она.

— Почему? — удивился я.

— Да что на него смотреть! Он — плохой ученик, отстающий! — бросила она, уходя из класса.

Но, признаюсь, я не послушался ее и заглянул в тетрадку Калитина. Оказалось, что малыш честно трудился, но вместо того чтобы выписать из стихотворения пять-шесть слов, он проделал огромную для него работу: переписал все стихотворение целиком.

— Что же ты, дружок, наделал? — сказал я, приходя в замешательство. — Ведь надо было выписать только названия предметов, а ты все стихотворение переписал.

Он посмотрел на меня, приоткрыв рот, виновато улыбнулся и, ничего не ответив, принялся списывать с доски упражнения на дом. В трехзначных числах номеров задач по арифметике он запутался, и я стал помогать ему разобраться. Малыш пристально вглядывался в цифры, написанные на доске, но все равно делал ошибки.

— Тебе, наверно, плохо видно отсюда? — спросил я его.

— Плохо.

— А ты бы попросил учительницу, чтоб она пересадила тебя поближе.

— Он отстающий, — сказал мне мальчик в голубой рубашке, который так старательно прыгал, когда учительница задавала вопросы.

— Что же такого, что отстающий? Разве ему не надо учиться?

— Он все равно на второй год останется.

— Что ты, на второй год! — деланно удивился я. — Еще до конца года далеко. Он успеет выправиться. А вы бы помогите ему. Разве у вас товарищи не помогают друг другу?

— Почему не помогают? Мы занимаемся с отстающими.

— Как же вы занимаетесь?

Ко мне подскочил шустренький мальчишка с рыжими волосами и веснушками по всему лицу.

— У нас сегодня будет занятие с отстающими, — доложил он мне и вдруг заорал пронзительным голосом: — Не расходишь! Не расходишь, говорят!

Погнавшись тут же за кем-то из отстающих, он выскочил за дверь и ускакал в неизвестном направлении.

Я решил остаться и посмотреть на занятия с отстающими. Интересно было, как такие маленькие ребята справляются с делом, которое не удастся даже их преподавателям. В это время несколько малышей (а это была бригада по озеленению класса) принесли в кружках воды и принялись поливать на окна цветы. Пока я разговаривал с ними, остальные ученики понемножечку расходились. Потом вдруг снова прискакал этот рыжеволосенький и закричал:

— Где же отстающие? Ты куда, Соколов? Не расходишь! Ты же отстающий!

Он нагнал Соколова в дверях и со всего размаха треснул его сумкой с книжками по спине. Соколов на это даже не оглянулся и удалился с невозмутимым видом. Рыжеволосый выскочил на середину класса, трагически расставил руки и закричал:

— Ну вот! Все отстающие разошлись! С кем теперь заниматься?

Я огляделся вокруг. В классе, кроме поливальщиков цветов, никого не было. Я попрощался с ними и тоже пошел домой.

«Отстающий» Калитин, однако ж, не выходил у меня из головы. Все мои мысли почему-то возвращались неизменно

к нему. Он, на мой взгляд, вовсе не был каким-нибудь умственно отсталым ребенком, которому не место в нормальной школе. С начала учебного года прошло лишь каких-нибудь три месяца, а Калитин за это время научился и читать, и писать. Стихотворение он переписал, в общем-то хорошо для его возраста: не посадил в тетради ни одной кляксы, не измазал в чернилах пальцы, в то время как у некоторых более успевающих учеников чернильные пятна были не только на руках, но и на щеках, а один маленький остроносенький мальчишка умудрился перепачкать губы и даже зубы, потому что имел привычку совать, в задумчивости, перо с чернилами в рот. Книжки и тетради у Калитина аккуратно лежали в сумке, карандаш, ручка, перья — в пенале. Если ему казалось, что нужно сменить перо, он доставал из парты сумку, из сумки вынимал пенал, из пенала — перо, потом клал пенал обратно в сумку, а сумку прятал в парту. По всем его методически рассчитанным действиям было видно, что ребенок он аккуратный, собранный, смирный, дисциплинированный и к тому же вполне серьезный.

Дома этому мальчику, должно быть, никто не помогает учиться. Возможно, родители его считают, что, отдав ребенка в школу, они сделали все, требовавшееся от них, и не проверяют, выполняет ли он домашние задания, не думают о том, что ему могут потребоваться какие-нибудь объяснения. В результате Калитин отстал, может быть, вовсе не потому, что был менее способным, а в силу того, что пришел в класс без той подготовки, которую имели другие ученики. Учительница же, вместо того чтоб помочь ему, слишком поспешно махнула на него рукой и авансом оставила на второй год. Она решила, что он досидит, как говорится, этот год в ее классе, а в следующем году с ним будет заниматься уже не она, а другая учительница. К тому времени он подрастет, наберется побольше ума, и ему будет легче учиться. Но учительница не подумала все же о том, как отразится на ребенке такое бесцельное сидение на уроках в качестве постороннего наблюдателя. Думая, что для него еще не все потеряно, он пытается учиться как следует, но так как его фактически никто не учит, он учится сам, делает все не так, получает за это двойки, теряет уверенность в своих силах. Он, конечно, замечает, что учительница относится к нему не так, как к другим ученикам, у него появляется недоверие к ней, а может быть, и вообще к учителям, может быть, даже вообще к взрослым людям.

А когда наступит новое первое сентября и Калитин, сложив свои книжечки в сумку, будет идти в первый класс во второй

раз, на душе у него будет уже не так радостно, как было в первый. Он будет чувствовать себя изгнанным из коллектива, словно совершил что-то ужасное, скверное, словно заболел какой-то страшной болезнью, вроде проказы, и ему теперь не место, где все. Много в течение его жизни еще будет нанесено ему обид, но с этой обидой уже ничто не сравнится. Ему со всей убедительностью будет доказано, что он и есть самый глупый, самый неспособный, самый плохой, никудышный из всех, а никогда человеку так не хочется быть хорошим, как в тот год, когда он учится в первом классе.

Когда он явится второй раз в первый класс, у него уже будет твердо установившаяся репутация неспособного ученика (что-то вроде неполноценного, дефективного, дегенерата с замедленной реакцией, который по недоразумению попал в нормальную школу). К тому же предыдущий год, проведенный в состоянии вынужденной пассивности, все же как-то скажется на его характере, и ему нелегко будет сразу превратиться в активного ученика, полноценного члена школьного коллектива. Новая учительница будет считать, что в лице второгодника получила плохое наследство. Она будет стараться подтянуть его, но если не найдет правильного подхода к нему, начнет подтягивать не его, а его отметки. Не сидеть же мальчишке третий год в первом классе! Этого учительнице могут и не позволить: скажут, что она с ним плохо работала. В результате он перейдет в следующий класс с недостаточными знаниями. Разница в развитии между ним и его одноклассниками увеличится еще больше. Поспевать за ними будет еще трудней. К тому же он увидит, что переползать из класса в класс можно и так: не учась. В дальнейшем ему надоест сидеть на уроках смирно. Не участвуя в жизни всего коллектива, он начнет шалить, чтобы как-нибудь поразвлечься. Учителя и учительницы будут мучиться с ним. И директор школы будет мучиться тоже. Тогда помочь Калитину будет гораздо трудней, чем сейчас.

А помочь ему нужно теперь. И только теперь. И это нетрудно сделать, необходимо только уделить ему побольше внимания.

И мне даже кажется, что я вижу, как это будет сделано.

Учительница, как всегда, придет в класс и будет задавать детям вопросы. Дети будут поднимать руки. Каждый будет стараться, чтоб она спросила его. Такая активность класса будет радовать сердце учительницы. Но вдруг она заметит в углу за последней партой маленького ученика, который с любопытством поглядывает на ребят, но сам почему-то не поднимает руки, хотя вопрос задан самый пустячный.

«Это плохой ученик! — скажет учительница сама себе.— Однако ж разве плохой ученик — это плохой человек? — по-думает она.— Пока он так мал, он плох только потому, что мы сами плохо учим его, плохо воспитываем. Неужели же не любить нам его только за то, что мы сами нанесли ему вред?»

И она скажет:

— А ты, Калитин, почему не поднимаешь руку? Разве ты не знаешь ни одного дерева, кроме елки?

Тогда ученик встанет и скажет:

— Я знаю березку.

— Вот видишь, ты знаешь! А сидишь и молчишь. Ты смотри, как другие ребята. Они всегда поднимают руку и отвечают. Неужели ты не хочешь получить хорошую отметку?

— Хочу!

Конечно, он хочет. Он еще не дошел до полного равнодушия к отметкам. И никогда не дойдет, впрочем, даже если бы его исключили из школы за полную неуспеваемость. Нет такого ученика от первого класса и до десятого, который был бы равнодушен к хорошим отметкам, хотя находятся такие ребята, которые утверждают, будто это им безразлично (а что станешь говорить, когда больше и говорить нечего!). В глубине души они этого все же не думают. Даже вполне взрослые люди очень любят, когда их иногда хвалят.

Потом учительница пересадит Калитина на первую парту, поближе к своему столу. Даст ему в товарищи хорошего ученика. Она лишний раз заглянет в его тетрадку, чтоб отстающий Калитин не исписал целую страницу своими каракулями там, где нужно написать лишь несколько слов, и если он выполнит на первых порах задание сносно, то она похвалит его.

И Калитин оценит это. Он увидит, что учительница добрая, справедливая, что она не считает его каким-то оборотнем, вурдалаком, не называет поминутно отстающим, не грозит оставить на второй год. И ему будет стыдно перед ней, если он не выполнит дома уроки. Он сделает все, и как можно лучше, пусть даже мать не напомнит ему об этом, потому что он любит свою учительницу и не захочет доставлять огорчения ей.

Недавно я перечитал «Педагогическую поэму» А. С. Макаренко и еще лишний раз убедился, что не какие-то особенные педагогические приемы, а прежде всего огромное чувство любви к детям помогало этому большому человеку и педагогу находить правильное решение в каждом отдельном случае.

А Макаренко ведь помогал и не таким «отстающим», как Калитин.



О ВЕЖЛИВОСТИ, ВОСПИТАННОСТИ И ЧУВСТВЕ СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА

*(Капельку об одном, чуточку о другом
и совсем немножко о третьем)*

«Золото редко, поэтому изобрели позолоту; точно так же для замены недостающей нам доброты мы придумали вежливость».

Это не я сказал, а один очень мудрый человек еще в позапрошлом веке.

И это, конечно, верно. Живя в обществе, мы не можем относиться к любому встречному, словно к родному брату, а чтоб мы не хамили на каждом шагу друг другу, даны нам правила вежливости, которые не следует переступать даже в том случае, если физиономия нашего ближнего нам почему-либо не нравится. Вежливость, таким образом, — штука хорошая, но не нужно забывать, что она все же не золото. Настоящее, неподдельное

золото — это доброта, чуткость, отзывчивость, внимательность, искренне доброжелательное отношение к людям.

Казалось бы, быть вежливым очень нетрудно: заучил ряд правил — и валяй себе на здоровье. На самом деле это не так. Жизнь настолько сложна, ситуации, в которые мы попадаем в наших отношениях с себе подобными, так многочисленны и разнообразны, что выполнение самих правил требует от нашего мозга иной раз весьма серьезных логических операций, которые мы не в силах бываем произвести без помощи электронной кибернетической машины, а ее, как известно, таскать за собой всюду не станешь по причине ее абсолютной нетранспортабельности. Проще говоря, правил на все случаи жизни не напасешься. Да и мало знать правила. Надо уметь ими пользоваться. И иметь охоту к тому.

Вот случай. В вагоне метро. Молодой парень (вполне современного роста, то есть около двух метров в продольном измерении) сидел, а рядом стояла пожилая женщина с бледным утомленным лицом и с тяжелой сумкой в руках. По всему было видно, что она очень устала, бегая за покупками, и даже испытывает дурноту — вот-вот свалится. Парень, однако ж, продолжал сидеть с выражением благоразумия на лице, пока она наконец не попросила его уступить ей место.

И что же? Думаете, он сгорел от стыда? Провалился сквозь землю? Выскочил из вагона на ближайшей станции, чтоб не ощущать на себе насмешливых взглядов? Нет! Он поднялся не торопясь, учтиво отступил на полшага в сторону, чтоб дать возможность женщине сесть, да так и висел над ней всю дорогу, уцепившись за поручни, с видом ученика, схватившего на уроке двойку. А вы знаете, какой вид бывает у школьника, когда он получит двойку? Отнюдь не пристыженный, не смущенный, а вполне независимый, я бы сказал, даже молодцеватый. Вот, мол, двойку поставили, а мне хоть бы хны! Плевать!

Скажете, просто молодой человек не знал, что в каких-то случаях надо уступать своему ближнему место. Но ведь это был вовсе не какой-нибудь ископаемый волосатик из тех, что по лесу бродят с транзисторами, а вполне благообразный, благовоспитанный на вид мальчик (у нас теперь до двадцати лет — все мальчик).

Ну так просто, не догадался юноша, скажете, недосообразил! Это, пожалуй, уже ближе к истине будет. Недосообразил! А точнее, не особенно и торопился с этим. Его ведь учили уступать место кому: пассажирам с детьми и инвалидам, ну еще, может быть, старикам и старухам, да еще беременным

женщинам... А тут женщина попалась и без детей, и на вид как будто бы не беременная, к тому же и не совсем старуха. Вот он и рассуждал без особенной спешки, прикидывая в уме: «И не инвалид вроде, и не беременная как будто, и без детей (это уже совершенно бесспорно), и не так чтоб уж очень старуха (не спрашивать же у нее паспорт)...», а драгоценное время между тем шло... Нет, он, безусловно, усвоил, что о стариках и беременных в данном случае говорится лишь для примера, а уступать вообще надо немощным: тем, кто нуждается в отдыхе больше тебя. Только зачем ему, скажите на милость, лезть поперед батьки в пекло, показывать себя таким уж передовым? Этак-то, если уступать каждому, то и вовек посидеть не дадут. Пусть, думает, воображают, что я чего-нибудь по молодости не докумекал, а я посижу покуда. Ну, а сгонят — и ладно. Смущаться нечего. Каждый понимает, что своя рубашка-то ближе к телу.

Читатель уже догадывается: сейчас, мол, начну на современную молодежь кидаться: и такая она, и сякая, мы в наше время лучше были. Никоим образом! Кидаться я буду, но только не на молодежь, а на старшее поколение. На тех, кому этак под тридцать, под сорок. Ведь в тридцать — сорок лет человек, что называется, в самой силе. Сорокалетние даже космонавты бывают. А что на практике происходит? Сидит этакий, в полном соку, мужчина и чувствует себя в полном, так сказать, своем праве: уж он-то никому своего места уступать не собирается. Пусть, думает, кто помоложе уступит.

Но почему? На каком основании?

— А на том основании, — скажет, — что я рррработаю. Я, может, с рррработы еду: устал!

— А я не работаю? — ответит молодой человек. — Я учусь, а учеба — тот же труд. Мне небось иной раз и потяжелей приходится, особенно в старших классах. Да еще и нагрузки тут: макулатура, металлолом, дребедень всякая. Взрослые к тому же себе два выходных оттяпали, а нам по-прежнему приходится всю неделю напролет вкалывать. Выходит, я должен поминутно вскакивать да уступать место лишь потому, что мал еще, молод, не достиг равноправия, потому что каждый — надо мной начальник. Такое положение меня только унижать может, а если и учит чему, так только хитрости: погоди, мол, вот войду в полную силу — меня тоже не скovyрнешь с места!.. И наконец, кто из нас все же умней, я или взрослый? Взрослый умней. А раз так, пусть он мне пример показывает.

И верно! Почему бы взрослому не показать пример вежли-

вости, не встать, уступив место старухе, не дожидаясь, чтоб это за него сделал кто-нибудь менее опытный и смывленный? А молодежь уже будет под взрослых подтягиваться. Ведь молодому-то ох как хочется поскорей взрослым стать и во всем быть на него похожим.

Но, конечно же, всему свое оправдание есть, на все есть причины. Каждый (в том числе и человек взрослый) знает, что нужно быть вежливым. Да ведь одно дело сказать «здравствуйте» или «до свидания», или там «извините», «спасибо», «пожалуйста». Это что? Слова! Этого добра, как говорится, для хорошего человека не жаль. А вот уступить место в автобусе или метро — это вопрос уже более сложный. Тут поневоле задумаешься, поскольку приходится поступаться чем-то существенным для себя, жертвовать своим удобством для черт его знает кого, кого до сих пор и в глаза не видел, и в дальнейшем наверняка не встретишь, так что нет никакой надежды получить за свою любезность что-либо взамен.

Скажете, что делается это скорее по невоспитанности, без каких-либо расчетов и соображений. Сомневаюсь! В общем-то публика наша стала более воспитанна, чем была когда-то. В последнее время не только юноши, но и девушки стали как-то усерднее уступать престарелым место на городском транспорте. Но это, заметьте, только на городском, а пойдите-ка вы на пригородный поезд — черта с два вам там кто-нибудь место уступит. Оно и понятно. В метро-то ехать всего две-три каких-нибудь остановки. А тут, выходит, уступил место, а сам как дурень будешь до самых Белых Столбов на своих на двоих маяться.

Может быть, думаете, на пригородном поезде какая-нибудь особенная, загородная публика, еще не приобщившаяся к вершинам передовой городской культуры? В таком случае пойдите вечером в театр или в кино в центре города и ждите, чтоб вам перед началом сеанса в фойе кто-нибудь уступил место на лавочке. Можете и не надеяться. Все равно никто не уступит, будь вы самый что ни на есть старик-перестарик или старуха-перестаруха. Удивительнейшую прямо-таки скажу вам вещь! В метро уступят, в трамвае уступят, в электричке даже, на худой конец, уступить могут, а в кино — и думать не могли, как принято говорить! Я долго ломал голову, стараясь понять, в чем здесь дело, и только случай помог уразуметь истину.

Однажды еду в троллейбусе. С трудом протискиваюсь к выходу сквозь толпу пассажиров пенсионного возраста, вошедших через переднюю дверь. Вдруг слышу позади возмущенные возгласы:

— Эй, вы там! Стариچه! Пенсионеррры! Налезли через переднюю площадку, черт вас дери! Не вылезешь из-за вас тут на своей остановке!

Уже выходя из троллейбуса, я обернулся невольно, чтоб взглянуть на этого пенсионероненавистника: нет, не юноша, не десятиклассник, а вполне зрелый, по всей видимости, самостоятельно зарабатывающий на жизнь молодой мужчина в изящной фетровой шляпе и с модными бакенбардами на тщательно выбритом, слегка располневшем, румянном лице. Заметив мой взгляд, он сказал вполне дружелюбно и как-то успокоительно:

— Это я не вам. Это я их вот, пенсионеров, ругаю. Налезли, понимаете.

— Чем же человек виноват, если дожил до пенсионного возраста? — начал было я.

— А дожил, так надо дома сидеть! — проворчал он.

Тут и стало все ясно. Если ты старый, если ты дряхлый, если в тебе душа еле держится, то нечего вылезать на свет божий. Твое дело дома сидеть, благо государство обеспечивает тебя пенсией, а ты, вишь, еще лезешь куда-то, лишая удобства тех, в ком кипят еще силы, да еще требуешь к своей особе внимания! Ну ладно, если ты мне попался в метро, то я тебе окажу внимание: уступлю место на лавочке, потому что в метро установлено такое правило. Но в театре — это уж увольте, пожалуйста. Здесь такого правила нет, потому что никто тебя силком не тянет в театр ходить. В театр или кино каждый ходит по своей доброй воле, за свои денежки, и если тебе тяжело стоять в фойе, подпирая стенку спиной, то сиди дома да ешь галушки.

Как видите, есть в этом рассуждении своя логика. Нет лишь понимания того, что пенсия — это для человека еще не все, что сидение дома — не предел мечтаний, а галушки — не такое уж счастье, что старый человек, хоть он и старый, но еще живой, в качестве какового тянется к жизни, к свету, к людям, к искусству, и ему не так просто вычеркнуть себя из списков живущих и чувствующих.

Нет, я вовсе не хочу утверждать, что человек недостаточно воспитанный рассуждает именно в такой грубой форме. Но таков все же смысл его рассуждений, вернее, был бы смысл, если бы он взял на себя труд размышлять. Он, однако, в каких-то случаях действует рефлекторно, без размышлений, проявляя скорее эмоциональную сторону своей натуры, нежели способность к логическим умозаключениям. Его, к примеру, толкают — ему это неприятно, — он и кричит: «Стариچه!» Он по инстинкту

знает, что сидеть удобнее, чем стоять, вот и приспособливает свои мысли под свои ощущения, иначе говоря, ставит свои мыслительные способности на службу удовлетворения этого так называемого инстинкта комфортабельности, что в конечном итоге сводится к созданию жизненной философии, наглядным выражением которой являются всем известные афоризмы насчет башки, поперек которого не следует скакать в пекло, и рубашки, которая ближе к телу.

Власть инстинкта комфортабельности над нашим бранным телом (хоть он и послабей таких инстинктов, как пищевой, скажем, или оборонительный) настолько велика все же, что если находится какая-нибудь лазеечка в виде мыслишки, оправдывающей наше свинство, мы сейчас же ею воспользуемся («Дома надо сидеть, а он лезет еще куда-то!», «Ему в крематорий пора, а он...» и т. д.). Для удовлетворения этого комфортабельного инстинкта иной человек может поступиться многим, в том числе и собственным достоинством. Некоторые молодые люди, вполне респектабельные на вид, настолько не заботятся о собственном достоинстве, что при всей своей двухметровости умудряются прошмыгнуть под локтем у какой-нибудь крошечной старушонки, торопясь занять раньше нее место в вагоне. Ну, этих мы амнистируем авансом, понимая, что в них еще за-тянувшееся детство играет. А вот те, которым под тридцать, под сорок — с них-то ведь и спрос больше. Эти, правда, под локтем не проскакивают (солидность не позволяет), но есть среди них такие, что если уж сядут, то так и будут сидеть, низенько опустив голову и уткнувшись носом в газету, словно их не учили в детстве, что, находясь в общественном месте, надо поживей вертеть головой в стороны, чтобы не пропустить невзначай того, кому твоя помощь может понадобиться, словно не говорили им, что в качестве оправдательной причины в данном случае никак не принимается то, что ты, к примеру сказать, крепко задумался или увлекся чтением.

Ну учить-то их, наверно, учили, если не в детском возрасте, то хотя бы в юношеском, но они, видать, полагают, что такого рода жизнепрепровождение с опущенной головой не унижает их человеческое достоинство. Э, да шут с ним, с этим достоинством, думают, должно быть, они, какая от него польза! К тому же что оно такое, достоинство это самое? Как его прикажете понимать? Ведь на этот счет единого мнения нет. Если верить четырехтомному Словарю русского языка (изд. Академии наук СССР, 1957 г.), то достоинство — это «уважение к себе, сознание своих прав, своей ценности», а также «внешнее проявле-

ние сознания своей значимости, уважения к себе». Поскольку так, то как же я смогу проявить внешне сознание уважения к себе, если буду поминутно вскакивать, уступая кому-то там место? Это достойно скорее какого-нибудь мальчишки, школьника, а не человека солидного, полного сознания своей значимости. Я-то ведь и на работе у себя кое-что значу, и возраст у меня внушительный, так что пусть лучше вскакивают те, кто посопливей да поменее меня значат.

Но, с другой стороны, если верить четырехтомному Толковому словарю Ушакова, то достоинство — это «необходимые моральные качества, моральная ценность человека». То есть уже нечто совсем другое, как видите. Если по словарю академии достоинство — это то, что человек думает о себе, то по Ушакову — это уже то, чем человек на самом деле является (то есть во мнении других людей), причем, конечно, не с одной производственной стороны, а вообще со стороны моральной, этической, нравственной.

Однотомный Словарь русского языка Ожегова определяет достоинство как «совокупность свойств, характеризующих высокие моральные качества, а также сознание ценности этих свойств и уважение к себе». Это, пожалуй, наиболее полно и верно. Мы уважаем себя, сознавая общественную ценность наших моральных качеств. Мы чувствуем, что нам есть за что себя уважать, так как ведем себя достойно культурного человека (гомо сапиенс), и замечаем, что другие уважают за это нас.

Что ж, составители словарей тоже ведь не какие-нибудь оракулы или пророки, а все те же люди, которым ничто человеческое не чуждо. И это имеет свою положительную сторону, хотя бы ту, что, даже не обращаясь к самой жизни, а лишь заглянув в словари, мы можем узнать, что думают и как живут люди. Одни, как нетрудно убедиться, думают и живут по словарю академии и, хотя не имеют необходимых моральных качеств, относятся к своей особе с величайшей почтительностью и держат голову высоко (поскольку никому ведь не возбраняется иметь о себе самое высокое мнение). Другие живут по словарю Ожегова или Ушакова и, хотя признают ценность моральных качеств вообще, все же не задирают особенно головы, поскольку сами-то придерживаются рубашечной философии. Одни полагают, что сохраняют достоинство, пока сидят, в стоячем же виде того достоинства уже не имеют. Другие думают: «А что такое достоинство?» Фу-фу, как любил говорить Чичиков, вещь совершенно неощутимая, а рубашка-то эвон, ее и пощупать можно.

Между этими двумя демографическими категориями существуют, без сомнения, и другие. Имеются и вполне безупречные люди. И таких множество, я бы сказал — подавляющее большинство. Так что положение в области вежливости и воспитанности у нас, в общем, благополучное. Отдельные промахи в счет не идут, поскольку они всегда могут быть ввиду сложности обстановки (о чем уже говорилось).

И если у нас в этой области чего нет, то лишь одного. А именно:

Представьте себе сидящего в вагоне метро милого юношу (скажем, десятиклассника), вполне культурного вида, с хорошими манерами, которого никак не заподозришь в незнании правил вежливости, то есть такого, который без раздумий уступит место не только какой-нибудь древней старушке, но даже и не окончательно еще пожилому мужчине. Вообразите еще сверх того стоящую рядом девушку, его ровесницу, чудесное создание удивительной красоты. Девушка вошла в вагон позже, когда все места уже были заняты, и теперь, естественно, едет стоя.

Итак, представляете себе?.. Поезд мчится, стучат колеса, на остановках хлопают двери, входят новые пассажиры. От внимания нашего милого юноши не ускользает красота его юной спутницы. С невольным восхищением он поглядывает снизу вверх на стоящее перед ним «мимолетное видение», на этого, как выразился поэт, «гения чистой красоты», и испытывает явное эстетическое наслаждение. На губах его играет улыбка счастья. Его ресницы все чаще вскидываются кверху, а глаза с трудом, да и то ненадолго, отрываются от лица незнакомки. Но странное, однако ж, дело! Молодой человек почему-то не чувствует вместе с тем позыва послужить прекрасному и, поднявшись с места, предложить своей спутнице сесть.

И он прав (скажем сразу, чтоб не пускаться в излишние рассуждения), потому что не хочет быть смешным. Он же видит, что перед ним не старуха, не инвалид безногий, не женщина с ребенком и даже не беременная. А уступать место женщине просто так, за то что она женщина, это еще под каким соусом? Ведь — равноправие! Если бы он уступил вдруг девушке место, получилось бы — только за то, что она красавица. И это тотчас же бросилось бы всем в глаза (не устоял, дескать, парень! Ха-ха! Не выдержал!). А что, если бы девушка оказалась и не с такой блестящей внешностью, а чуть покурнее, и не ровесница, а на год или на два старше, а может быть, и на все пять или десять лет — и тогда, значит, уступать надо? Он бы и усту-

пил, может быть, и в том, и другом, и в пятом, и даже десятом случае, да ведь знает, что... равноправие. Конечно, на этот раз нечего было опасаться подозрения девушки, что ее за старуху приняли. Но ведь в сложном круговороте жизни и такие ситуации возможны.

Однажды еду в метро. На остановке входит не совсем еще пожилая женщина с измученным, утомленным лицом и с плотно набитой хозяйственной сумкой в руках (в этом возрасте они почему-то почти всегда с сумкой). Я как-то совершенно невольно, ну, как-то совсем машинально встаю, чтоб уступить ей место, а она говорит:

— Да мы с вами как будто в одном возрасте.

Признаюсь, я почувствовал себя в положении человека, совершившего по меньшей мере бестактность. Стараюсь выпутаться из смущения, лепечу что-то вроде:

— Простите, пожалуйста! На мой взгляд, вы даже моложе, но вы все-таки женщина... (ох, еще это «все-таки» здесь!)

— Ну, теперь это уже... — махнула она рукой, но все-таки села.

Думаю, что «теперь это уже» должно было означать: «Теперь это уже перестало иметь значение; в наше время не принимается в расчет, женщина ты или мужчина, потому что у нас равноправие и т. п.». Хотя в тоне, каким эти слова были сказаны, явно слышалось сожаление по поводу того, что «теперь это уже и т. д.», я все же почувствовал себя несколько старомодным (да что там «несколько»! — просто старомодным, да и все тут). Как-то незаметно для самого себя я отстал от жизни, от передовых идей, не отдаю себе отчета, что и сам уже далеко не молод, и теперь уже имею «полную праву» сидеть и глядеть бесстрастно на то, как женщина приблизительно моих лет, возвращаясь с работы и заскочив предварительно в магазины, мается на ногах с сумкой, которая мучительно оттягивает ей руки, а ее вдобавок толкают со всех сторон и в бока, и в живот, и в спину (часы «пик» — ничего не поделаешь). Если же я встану и уступлю ей место, так это ее еще и обидеть может: напомним о ее не так чтоб уж слишком молодых годах (подумает, что и совсем за старуху приняли). А какой женщине это приятно? Никакой женщине это не приятно! Да и нашему брату мужику — тоже. Все хотят быть молоды и красивы.

Другое дело — если бы существовало правило, что при прочих равных условиях (отсутствие или наличие тяжелых увечий, свежих перевязанных ран, тяжелой клади и пр.), мужчина должен уступить женщине место, поскольку женщина по приро-

де своей вообще более слабое существо, и само равноправие требует, чтобы ей в таких случаях было оказано предпочтение. Если бы существовало такое обыкновение, женщина могла бы свободно принять от любого мужчины эту ничтожную в конечном счете услугу без подозрения в том, что она оказывается ей по причине ее слишком преклонного возраста или, наоборот, в награду за ее молодость и привлекательность. В таком случае обе стороны чувствовали бы себя, как бы это сказать, ловчее, что ли, и, по крайней мере, знали бы, как поступать, то есть мужчины оказывали бы предпочтение женщинам с готовностью и без смущения, женщины же принимали бы эти «жертвы» с удовлетворением и благодарностью.

Мы, однако ж, и самой женщине как-то исподволь, как-то стихийно внушили иное понимание этого «равноправия»: дескать, имеет равное со всеми право маяться на ногах, даже в том случае, когда мужчина ее возраста (и даже более молодой) спокойно посиживает и в ус, как говорится, не дует только на том основании, что раньше захватил место.

Выступая в печати с сожалениями по поводу того, что нами утрачен якобы существовавший когда-то дух рыцарства, некоторые из авторов, пишущих на темы воспитания, часто высказывают мысль, что воспитывать уважение к женщине надо чуть ли не с пеленок, по крайней мере с первого года обучения в школе, рекомендуя приучать первоклассников помогать своим соученицам носить сумки с книжками по дороге в школу, помогать снимать пальто в гардеробной и т. д. Авторы подобных статей на полном, как говорится, серьезе утверждают, что из тех мальчиков, которые в первом классе будут носить своим сверстницам сумки с учебниками, получатся в будущем хорошие мужья, а из тех, которые не будут этого делать, вырастут мужья скверные, не способные создать крепкую, хорошую семью.

Я думаю, это все же не так. По-моему, действуя по такому рецепту, можно добиться лишь того, что мальчишка на всю жизнь возненавидит девчонку, которой вынужден прислуживать подобным образом, а вместе с ней и всю остальную прекрасную половину человеческого рода. Хоть он и мал, но хорошо видит, что девочка не такое бессильное существо, чтоб не дотащить своей сумки до школы. К тому же он больше всего на свете ценит свободу, и тащить две сумки там, где, по его мнению, и одной достаточно, может показаться ему вопиющей несправедливостью. Особенностью его возраста является то, что он не терпит никакого насилия над собой, любит, чтобы обе руки его были свободны от ноши, и, даже путешествуя в школу с одним

портфелем, размахивает им на всяческие лады, превращая его силой воображения то в саблю, то в самолет, то в космическую ракету или в подводную лодку.

Это правда, конечно, что воспитывать уважение к женщине надо с младенческих лет, но самая правильная система воспитания уважения к женщине на данном этапе заключается в основном в том, чтобы не воспитывать неуважения к ней. А мы, в сущности, только этим и занимаемся, когда, например, отказываем девочке в игрушках, предназначенных (по давно установившейся негодной традиции) для мальчиков, или, наоборот, внушая мальчику, что ему стыдно играть в девчоночьи игры.

Какая мать не говорит своей маленькой дочке:

— Эта игрушка не для девочки. Тебе не автомобильчик надо, не паровозик, не саблю или солдатики, а куплю я тебе лучше игрушечную посуду, куклу или заводную стиральную машину.

Нужно знать этот возраст (а его нужно знать), чтобы понимать, с каким доверием относится он ко всему, сказанному взрослыми, и с каким усердием стремится он выполнять предписываемые обществом правила. Мне лично трудно представить девочку, которая не посмеялась бы над своей подружкой, взявшей в руки так называемую мальчишечью игрушку.

Взрослая женщина уже давно обходится запросто с автомобилем, трактором, самолетом и даже с космическим кораблем, а маленькой девочке мы отказываем в удовольствии поиграть игрушечным автомобильчиком, ограничивая ее жажду познания, угнетая ее познавательный инстинкт как раз в тот период, когда он нуждается во всемерной активизации и поощрении. Уже в детском саду можно наблюдать это постыдное размежевание, когда мальчики играют между собой с машинками, самолетиками, возводят посреди комнаты крепости и с пренебрежением поглядывают на девочек, которые, пристроившись где-нибудь под стеночкой или в углу, потихоньку возятся со своими куклами. Такое размежевание не может не внушать мальчикам идею о какой-то ограниченности, неполноценности девочек, интересы которых не выходят за пределы кухонной утвари и кукольных гарнитуров. Откуда мальчишке четырех-пяти лет знать, что эти чисто девчоночьи интересы в основном навязаны девочке взрослыми, а вовсе не являются ее, так сказать, «расовой» принадлежностью.

Пусть мальчики и девочки (по крайней мере в дошкольном возрасте) будут равноправными гражданами, пусть они играют в общие игры, а они могут и будут это делать, если взрослые не

станут им мешать, а, наоборот, будут разумно направлять их. Тогда никому из детей не станут приходить в голову мысли о каком-то преимуществе или неполноценности того или иного пола. Не воспитав предварительно пренебрежительного отношения к девочке (следовательно, вообще к женщине), легче будет воспитывать уважение к ней в тот период, когда это уважение уже в какой-то мере может испытываться.

Надо понимать, что в деле воспитания требуется вообще больше ума, чем рвения, и не следует забывать, что здесь, как в лечебной практике, большую роль играет не только само лекарство, но и правильная дозировка. Заставить малыша носить помимо своей сумки еще и сумку сверстницы — это все равно, что вкатить котенку дозу лекарства, рассчитанную на слона. Лечебный эффект может оказаться совершенно противоположным ожидаемому. На первое время, я думаю, будет достаточно, если мы сообщим малышу, к примеру, правило, что если ребят двое — мальчик и девочка, а место одно, то принято, чтоб мальчик уступил место девочке. Такое правило можно преподать уже младшему школьнику и даже дошкольнику, а мы до сих пор не внушили его даже десятикласснику, иначе он не сидел бы в вагоне, как пень, когда рядом стоит девушка, его ровесница, или, что еще непригляднее, женщина не первой молодости.

Положа руку на сердце, никто не скажет, будто не знает, что к женщине вообще следует быть внимательным. Путешествуя на городском транспорте (и даже на пригородном), ожидая в фойе театра, кино и прочих местах, мы всегда предоставим право сидеть жене, родственнице или знакомой девушке, а не усядемся сами. В этом, однако ж, никакой нашей заслуги нет, так как, оказывая услугу человеку близкому, мы оказываем ее как бы самим себе, в силу чего такое деяние никак не влияет на нашу психику, никакой пользы не приносит нашей нравственности. А вот оказать услугу человеку совсем чужому — это деяние уже воспитывающее, развивающее наши добрые чувства к человеку вообще, к человеку как таковому.

Тацит сказал: «Человеку свойственно ненавидеть того, кому он причинил зло». Подумаем все же, какой человек способен причинить зло? Злой человек, конечно! Перевернем пословицу — и получим: «Человеку свойственно любить того, кому он сделал добро». Древнегреческая мудрость гласит: «Доброта, встречая благодарность, увеличивается, а претерпев поругание, гневом раздражается». И верно, конечно! Доброта как бы поощряется благодарностью. Пусть сделанное нами человеку доб-

ро — невелико, но, уловив в человеческих глазах выражение благодарности, мы словно заглянем на секундочку ему в душу (глаза-то ведь — зеркало человеческой души), и увидим в нем уже нечто родственное нам самим, то есть истинно человеческое, духовное, а не сугубо механическое, без толку толкущееся, куда-то прущее и мешающее нам на каждом шагу.

Давайте попробуем быть добрей с женщиной только за то, что она женщина — наша мать, сестра, жена, просто подруга, которая делит с нами все наши тяготы, беря на себя из жизненной ноши подчас наиболее тяжелую часть. Давайте, на первое время, попробуем уступать ей при случае место — и увидим, как сами станем от этого совсем другими: сделаемся сразу лучше, и мягче, и ласковей, и добрей; и не только по отношению к ней самой, но даже друг к другу. И тогда убедимся, что невозможны станут случаи, подобные описанному недавно в «Вечерней Москве», когда сын отказался встречаться с матерью только потому, что этого потребовала от него жена. Ведь если мы станем добрей к женщине, то и она станет добрей к нам, и тогда уже невозможна будет такая жена. Давайте попробуем, ведь это нам совсем ничего и стоить не будет, а выиграть мы можем многое. Только не будем забывать, что и тут надо не без ума, не без размышления; что и тут нужен индивидуальный, нешаблонный, неавтоматический, некибернетический подход; что негоже будет, если мы станем ждать, чтоб молоденькой девушке уступал место старик и даже не совсем еще старый мужчина, годящийся ей в отцы; а что, наоборот, будет прекрасно, если девушка и даже молодая женщина уступит место старику, что, кстати сказать, многие из них и теперь делают, причем с присущей им мягкостью и добросердечностью.

Пусть юноша не чувствует неловкости, уступая место девушке, своей ровеснице. Пусть он относится к этому как к норме, как к своему человеческому долгу, выполнение которого внушает чувство удовлетворения; пусть он понимает, что это не пижонство, не галантность, не соблюдение правил хорошего тона, не рыцарство, не телячьи нежности, не средневековое учтивство, не селадонство, не колбасятина, не этикет, а вполне нормальное, вполне достойное человеческое поведение.

Знание этого правила даст молодому человеку неизмеримо больше знания того, что уступать место надо старикам и старухам. Молодому человеку придется иметь дело в основном не со старухами, а с девушками его возраста, во мнении которых он заинтересован и в общении с которыми складываются его характер и нравственные понятия, его мировоззрение.



ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ

А теперь поговорим о пьянстве, или, выражаясь так, чтоб культурней было, об употреблении спиртных напитков: о том, значит, что пить, где пить, как пить и в каких примерно количествах. На этот счет в нашей периодической печати содержатся самые разнообразные сведения, и подчас настолько противоречивые, что человеку, даже вполне освоившемуся в этой обширной акватории, бывает не разобрать без пол-литра, в каком направлении плыть и каких берегов держаться. Так, в вопросе, что именно надлежит нам пить, одни печатные органы ратуют за пиво, другие, не менее уважаемые, подают свой голос за сухое вино, третьи, столь же уважаемые,— за «Столичную» или коньяк и т. д.

Такой весьма популярный орган, как, например, «Неделя», в статье «Кружка пива» свидетельствует: «Пиво не алкоголь,— говорят врачи,— оно даже полезно». (Какие врачи это говорят,

заметим в скобках, еженедельник не сообщает, но мы и без врачей знаем, что пиво не алкоголь, и с таким же успехом могли бы ответить этим «врачам», что и водка не алкоголь. Как пиво, так и водка лишь содержат алкоголь, то есть винный спирт, но в различных пропорциях, и именовать их алкоголем было бы не совсем точным.) Сообщив ряд интересных подробностей о пиве, автор статьи спрашивает: «А можно ли опьянеть от пива?» И отвечает на этот вопрос утвердительно: все в конечном счете зависит от количества выпитого. Выходит — сплошная выгода: и не алкоголь — и опьянеть можно, и пьян ходишь — и алкоголиком никто не назовет.

Другой, не менее авторитетный печатный орган, а именно газета «Культура и жизнь», в статье «Солнце против «Змия» приводит высказывание одного профессора виноделия о том, как он лично, будучи на Кавказе в 1918 году, излечился от «самой настоящей чахотки» путем употребления сухого вина марки «Каберне». (Сколько именно надо выпить вина этой марки, чтоб исцелиться от самой настоящей чахотки, профессор не сообщает.) Остается лишь пожалеть, что этот случай чудесного исцеления от чахотки (если, конечно, ее не прикончил целебный кавказский воздух) не был использован в медицинской практике. Трудно даже вообразить, сколько десятков тысяч несчастных были бы возвращены к жизни за те тридцать лет, которые прошли с 1918 года до того, как этой ужасной болезни был наконец нанесен сокрушительный удар с помощью стрептомицина!.. В общем, профессор всячески рекомендует к употреблению сухие вина и уверяет, что водки и крепленой гадости в рот не берет (что именно в данном случае подразумевается под крепленой гадостью — не совсем ясно).

Третий, на этот раз ежемесячный орган «Знание — сила», внушающий в силу своего «знания» особенное доверие, не ограничивает пользу, получаемую человечеством от алкогольных напитков, сухим вином, а трактует этот вопрос более расширительно, в статье «Поднимем бокалы» пишет: «Купите как-нибудь «Пино-Гри» или «Токай», «Узбекистон» или «Малагу», попробуйте. Жалеть вам не придется. (Еще бы! — Н. Н.) А несравненные крымские мускаты: белый, розовый, черный! Их по праву считают лучшими в мире».

Еще один автор, пострадавший в свое время, как он сам признается, от «снисходительного отношения к рюмке», но не ставший от этого, как он с удовлетворением констатирует, «угрюмым трезвенником», обращается к читателям со страстным призывом. «Я хочу, — пишет он, — лишь, чтобы замечатель-

ные грузинские вина, прославленная во всем мире «Столичная» (40°!), знаменитый армянский коньяк всегда были для наших людей источником радости...» Право, заслушаться можно — какие эпитеты! «Замечательные», «Знаменитый», «Прославленная во всем мире!», «Источник радости». Сколько любви, я бы даже сказал, обожания к предмету! Оно и не удивительно. Разговор ведь идет не о молочных продуктах, явно не способных внушить подобного рода эмоции.

Таким образом, по вопросу о том, что пить, в нашей прессе выступают представители различных направлений, начиная от желающих ограничивать утоление жажды одним пивом до включающих в «букет» не только крепленые вина, коньяки, ликеры, но и саму матушку-сорокаградусную. Нет, правда, агитации за употребление чистого 96-градусного спирта в неразбавленном виде. Это можно отметить как единственное упущение.

В вопросе о том, где пить, потребителям спиртопродуктов также предоставляется полная свобода выбора, если не считать того, что некоторые печатные органы вполне резонно возражают против такого, действительно мало располагающего к произнесению заздравных тостов места, как обычная подворотня, столь сугубо абонированная приверженцами распития «на троих».

Что касается вопроса о том, как пить, то все или почти все печатные органы высказываются в том смысле, что пить можно как угодно, только, как говорится, не до чертиков, не до положения риз, не до свинского состояния. И это понятно. «Ничего — слишком», — как сказал древний философ. В конце концов даже хлеб (не то что водка!), принятый внутрь в излишнем количестве, может повредить организму. Кто этого не знает!

В этом аспекте вопрос «как пить?» смыкается с вопросом «сколько пить?», но так как давно известно, что у каждого своя норма, то установить здесь какие-то точные количественные показатели не представляется возможным, и все рекомендации сводятся к тому, чтобы пить с умом, с головой (не теряя, значит, соображения). В целом ряде статей указывается на то, что пить надо уметь, а мы как раз этого и не умеем: пьем зачастую по-многоу и притом в некультурной обстановке: в каких-то тесных пивных, заплеванных забегаловках, а то и просто на улице, во дворе или темном подъезде. По мнению ряда авторов, дело сразу пойдет на лад, если мы научимся пить как следует. Так, один автор пишет, что необходимо «создать в нашем повседневном быту такие условия, которые учили бы пить, то есть учили бы культуре потребления вина. Ведь именно культуры потребления нам не хватает», — взывает он.

Эту же мысль подхватывает другой автор. «Вместо того чтобы проклинать крепкие напитки,— пишет он,— вместо того чтобы тратить деньги на плакаты о «злодейке с наклейкой», не лучше ли позаботиться о новой, так сказать, современной застольной культуре. Да, да, именно культуре, то есть целом комплексе житейских обычаев и кулинарных законов (?), под действием которых употребление напитков превращается в церемонию красивую, сопряженную с радостью человеческого общения, а не с потерей дара вразумительной речи. Начинать можно с воспитания в народе хорошего, даже гурманского — не побоимся такого слова — вкуса к вину».

Оно, конечно, красиво, что и говорить, да, видать, немало придется насосаться всякого рода жидкостей, пока воспитаешь в себе этот истинный гурманский вкус и достигнешь полной нирваны!

«Вино требует к себе внимания и уважения,— развивает эту же мысль третий автор.— Налитое в обычный стакан, оно никому своей прелести, своего букета не откроет. Существует какая-то трудно определяемая эстетическая ассоциация между тем или другим вином и формой и цветом бокала. Предпочтительнее всего бокалы из тонкого стекла, бесцветного, без какого-либо рисунка. Они элегантны и не мешают любоваться самим вином».

Вот она где, подлинная, так сказать, эстетическая культура и элегантность! Тут тебе и форма, и цвет, и всяческая ассоциация. Это тебе не то что дербалызнуть «на троих» в подворотне!

Впрочем, так ли уж виноваты эти «трое из подворотни» в том, что не могут приобщиться к настоящей культуре? Нет! Тысячу раз нет!

«Сейчас посидеть с товарищем за рюмкой водки можно лишь в ресторане. А там эта рюмка в копеечку влетает: очень высокие наценки. Вот и сколачиваются «на троих»,— свидетельствует очередной поборник культуры и ратует за то, чтобы водку продавали и в кафе, и в закусочных, и в привокзальных буфетах, и везде, где только можно, без всяких наценок.

К счастью, прогрессивные идеи, как говорится, носят в воздухе, то есть приходят в голову сразу многим. В Ленинграде, оказывается, уже даже приступили к овеществлению этой передовой мысли. Еще один автор из числа выступающих за культуру пьянства, то бишь за культуру поглощения алкогольных напитков, пишет в своей статье: «В Ленинграде теперь открыты «рюмочные», где подают с закуской. Хорошо? Если хорошо, то нужно ли, чтобы люди толпились у дверей этих НЕМНОГИХ

«рюмочных»? И если хорошо, то почему только в Ленинграде?»

И верно! Почему только в Ленинграде? Валяй открывай всюду! Один из представителей Министерства торговли очень обрадовался, ознакомившись с этой статьей, и в свою очередь пишет: «Надо создавать условия, которые учили бы культуре потребления вина. В статье упоминаются ленинградские «рюмочные». Разве это плохо? Захотел выпить — получай за полтинник 50 граммов «Столичной» и бутерброд. Мы намерены рекомендовать опыт ленинградцев другим городам. И вообще этого принципа следовало бы придерживаться везде, где подают крепкие напитки».

Так что лед тронулся, господа присяжные заседатели, как любил говорить Остап Бендер. Теперь, когда за дело возьмется Министерство торговли и повсюду откроются эти высококультурные заведения, действующие по принципу «Захотел выпить — получай за полтинник 50 граммов «Столичной» и бутерброд», все любители сообразить «на троих» перекочат из подворотен туда, и никто больше не будет наблюдать этого безобразия. Со своей стороны, мы можем порекомендовать Министерству торговли устроить повсеместно автопоилки, действующие по принципу «Захотел выпить — опускай гривенник и подставляй рот». Главное ведь, чтоб было дешево, быстро, культурно, без драки — и тогда пьянство исчезнет как бы само собой.

Наивно? Казалось бы! Можно подумать, что авторы выше цитированных статей решили включиться в откровенную пропаганду пьянства. Но это не совсем так, уважаемые читатели! Тут дело глубже и имеет, как мы сможем убедиться в дальнейшем, философскую подоплеку.

Целый ряд авторов, объединенных общностью взглядов в вопросе борьбы с антиалкоголизмом, предлагает нам обратить свои взоры по ту сторону границы и абсорбировать все полезное, что может представиться в этой области. Один из представителей этой группы, опубликовавший статью «Пить или не пить», но, очевидно по рассеянности, оставивший ее без подписи, взволнованно сообщает: «Пример винодельческих стран и краев всегда перед глазами — во Франции, в Италии, у нас в Грузии и Молдавии вино пьют каждый день, между тем пьяниц там почти нет, на улице, по крайней мере, не встретишь человека, упившегося до положения риз. Это потому, что вино уважают, чтят, как дар земли и солнца, как непреходящую радость бытия».

Вона куда махнул! Дар земли и солнца! Непреходящая радость бытия! Пьют каждый день и не пьянеют!.. Что же это

с ними? А привыкли, потому как — культура! Это мы по своему невежеству пьем лишь от случая к случаю, по праздникам там, или в дни получек, или по поводу покупки новых ботинок, а вот пили бы каждый день регулярно, и тоже втянулись бы: научились бы и винцом непрерывно накачиваться, и сохранять вертикальное положение торса, да еще на работу ходить, и там как-то с затуманенными мозгами мараковать.

Оно, конечно, заманчиво, что и говорить! Жаль только, что утверждение, будто во Франции да в Италии пьют каждый день, как-то маловато дает для того, чтобы тут же приступить к освоению этого ценного опыта. Что значит «пьют каждый день»? Ежедневно пьют за завтраком, обедом и ужином? Или так просто, походя, вместо воды хлещут? И потом, кто пьет? Все поголовно? И мужчины, и женщины? И, может быть, дети?

Невольно начинаешь следить за газетами, стараясь не пропустить каких-нибудь новых сведений. И попадается кое-что, конечно. Не без того. Вот, например, ценное свидетельство некоего служащего, застенчиво подписавшего свою статейку лишь двумя буквами Т. Г.: «У нас есть целые республики, где производится (не только на вывоз) огромное количество вина и спирта и где — в силу воспитываемых с детства национальных традиций — человеческое достоинство и за столом, и на улице всегда оказывается сильнее пьяного дурмана».

Вот, стало быть, как! С детства надо воспитывать в себе традиции. Коли выдержишь за детские годы эти традиции (ежедневное накачивание винном) — вырастешь человеком, умеющим поддерживать свое человеческое достоинство в любой компании, за любым столом. А не выдержишь... — туда тебе и дорога! Наша непреходящая радость по этому поводу все же несколько омрачается, когда из авторитетного источника мы узнаем, однако, что «в странах, где население употребляет преимущественно вина (Италия, Франция), как и в наших винодельческих республиках (Молдавия, Грузия, Армения), заболевания хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами отнюдь не исключение».

Вот тебе, как говорится, и нá! В одном месте вам объясняют, что в винодельческих странах пьяниц нет, в другом — даже разобъясняют, почему именно нет, а в третьем — бац, словно поленом по голове: «Заболевания хроническим алкоголизмом отнюдь не исключение». Поскольку это утверждение высказано не кем-то, пожелавшим остаться неузнанным, и не безвестным служащим, укрывшимся за двумя буковками, а известным врачом, кандидатом медицинских наук Г. Энтиным, который,

надо полагать, лучше нас с вами знает, на какой почве успешнее возвращаются алкоголики, то невольно засомневаешься, стоит ли торопиться с новомодной методой и приучать с детских лет свой неокрепший организм к ежедневному винопитию, или, может быть, все же лучше продолжать пить по старинке, от случая к случаю? По крайней мере, не так безнадежно втянешься и при необходимости (мало ли что может случиться) легче будет отвыкнуть.

Предоставим, однако, слово поборникам перенимания передового опыта. «Пиву,— пишет один из этих поборников,— можно сказать, «все возрасты покорны»: в Чехословакии, например, выпускают сорта пива специально для детей. И не надо этому удивляться. Ведь, давая детям обычный хлебный квас, немногие, вероятно, знают, что и он содержит до полпроцента спирта».

Ну хоть бы детишек оставили в покое! Неймется им! Узнав, что в квасе содержится какая-то доля спирта, можно было бы сказать: полпроцента — не велика штука, но детский организм — нежная вещь! — надо подумать, стоит ли давать детям квас; может быть, до детальной проверки следует воздержаться? Мысль, однако, с каким-то злонравием развивается совсем в другом направлении: раз в квасе есть спирт, а квас дают детям, то можно давать им и пиво (а раз можно пиво, то и вино, и водку, чего уж там!).

Просто диву даешься, до чего железная логика! Но погодим удивляться. Все это имеет свое теоретическое обоснование.

Уже цитированный нами еженедельник сообщает:

«Там, где пьют МНОГО пива, не в почете крепкие вина и водка,— свидетельствуют социологи (вот уже социология появляется!).— Низкое содержание спирта — от 6 процентов в самом крепком из светлых сортов — «Ленинградском», до 2,8 процента в «Жигулевском» — обещает пиву большое будущее. Оно, по нашему мнению, призвано вытеснить и заменить в употреблении крепкие спиртные напитки».

«Борясь с алкоголизмом, надо стремиться к тому, чтобы виноградные вина вытеснили водку и ее многочисленную «родню». Поднимем за это бокалы!» — это уже из журнальной статьи.

«В городе (разговор идет о городе Куйбышеве) — культ пива. Пожалуй, в других городах не видел я, чтобы пиво так вошло в быт людей. И в этом ничего плохого нет. Пиво может вытеснить водку. Должно вытеснить».

Вот какие слова все: «Пиво», «Култ пива», «У него большое будущее», «Оно призвано», «Оно может», «Оно должно»,

«Вытеснить», «Заменить», «Поднимем бокалы», «Ничего плохого»... Оказывается, пока мы бездумно пили, не отдавая себе отчета в том, что и зачем пьем, в головах социологов созрела хитроумная теория механической перекантовки алкоголиков с водки на пиво или хотя бы на вина. Расчет простой (все гениальное просто): пусть лучше пьяница выпьет не 150 граммов водки, от которой его физиономию перекосит на сторону, а кружку пива, отчего никакого перекоса произойти не может.

Забывается при этом все же, что пьяница тоже не дурак. Он лучше нас знает, что ему лучше. Вместо одной кружки он хватит две или четыре, и все равно не сумеет сохранить симметрию на лице. Увлеченные, однако ж, своим мировым прожектором, апостолы перекантовки развивают между тем деятельность в широких масштабах.

«В Москве,— узнаем мы из очередной статьи,— в широких масштабах должна быть организована бестарная система перевозок и продажи, открыты десятки новых пивных залов и баров, в том числе фирменных». «За два года мы должны открыть 25 баров,— обнадеживает нас другой печатный орган.— Уже разработан проект ресторана на полторы тысячи мест, который будет находиться на ВДНХ. Скоро откроется пивной зал в Столешниковом переулке. Интересный бар будет в Киевском районе. Над ним берет шефство коллектив пивзавода имени Бадаева. Там вы сможете попробовать все сорта пива, выпускаемые предприятием». (Вот уж напробуемся!)

«О том, что «рюмочные» — это, наверное, неплохо, уже писали. А пивные? — вопрошает один из адептов пивного культа и разъясняет авторитетно: — Хорошая культурная пивная не рассадник пьянства, а своеобразный форпост против него. Нужно только, чтобы это были действительно хорошие пивные. С большим выбором сортов пива. Чтобы в них были и раки, и вобла, и моченый горох, и ржаные сухарики, и соленые орешки. Пьяных же — не было».

А куда же они денутся, эти пьяные, позвольте спросить? Если будут ржаные сухарики, да моченый горох, да раки, да вобла, да соленые орешки, то есть предметы, на то и созданные, чтоб возбуждать жажду, то будут и захмелевшие, в этом можно не сомневаться... Впрочем, и беспокоиться нечего, так как из каждого положения отыщется выход. На первое время можно будет организовать специальные линии маршрутных такси, курсирующих между этими своеобразными форпостами культуры и ближайшими вытрезвителями, и пьяные исчезнут как пить дать. Впоследствии и еще кое-что можно будет придумать.

Конечно, провозвестники пивного и винного Ренессанса понимают, что пьяницы не так легко пойдут на перекантовку с крепких, забористых напитков на жиденькие водянистые, и пытаются хоть чем-нибудь соблазнить их, уверяя в своих статьях, будто пиво не алкоголь, что оно вкусно, полезно и даже питательно, вроде хлеба (и углеводы-то там, и витамины-то там, и калории-то там, и чего-то там только нет!), а вот вина — так это просто какие-то чудодейные средства от всех болезней.

«Пиво — «жидкий хлеб», старинный народный напиток. Оно обладает освежающим свойством, тонким солодовым и хмелевым вкусом и ароматом. Оно полезно всякому здоровому человеку». Читаешь эти строки, и невольно слюнки бегут, а от газетной страницы уже веет не типографской краской, а этим изумительным, подлинно жигулевским запахом (галлюцинация, что ли!).

«Много неприятностей человеку, особенно под старость, доставляет холестерин, накапливающийся в крови: атеросклероз, желчнокаменная болезнь — это все из-за него. Твердо установленный факт: при потреблении вина свободный холестерин накапливаться уже не может... Болезнетворные бактерии погибают в вине за 30 минут».

Вот видите — «твердо установленный факт»! Но если это настолько твердо установленный факт, то куда же врачи наши смотрят? Или им хочется, чтоб нас этот проклятый холестерин до конца заел, чтоб нас атеросклероз замучил?

Дадим, однако, слово врачу, уже упоминавшемуся нами кандидату медицинских наук Г. Энтину:

«Бывают ли алкоголики, употребляющие только вина? — спрашивает он и отвечает: — Безусловно. Зайдите на сеанс лечения в отделение больных, страдающих алкоголизмом, и вы увидите на столе не только водку, но и вина, в том числе такие, как гурджани, цинандали, а также и пиво. Их приносят сами больные для выработки отвращения к спиртным напиткам, которые они обычно употребляют».

Как-то живо представляешь себе скромного человечка с бутылочкой любимого цинандали в руках и врача в белом халате, готового приступить к сеансу «лечения». И невольно хочется крикнуть зарвавшемуся эскулапу: «Остановись, несчастный, ибо не ведаешь, что творишь! Неужели ты хочешь, чтоб бедняга, отвратившись навсегда от вина, начал накапливать холестерин в крови и заболел желчнокаменной болезнью и атеросклерозом?»

Читаем, однако ж, дальше:

«Систематическое употребление пива приводит к повышенной нагрузке на сердце, к перерождению его мышцы. Это заболевание вошло в медицинскую литературу под названием «пивное сердце»... Цирроз печени — страшное заболевание, которое приводит к сморщиванию печени, водянке живота и к смерти, — наиболее распространен во Франции, где пьют натуральные сухие вина. В винодельческих районах Франции наибольшее количество умственно неразвитых детей — следствие употребления спиртных напитков: слабых вин, сидра (яблочного кваса) их родителями, частично и самими детьми...»

«Пивное сердце», цирроз печени, водянка живота, умственная неразвитость, не говоря уже о болезнях желудочно-кишечного тракта, целой оравы нервных и психических заболеваний, истерии, шизофрении, белой горячке, а также водянке головного мозга, которым подвержены алкоголики, — все это вещички, способные свести человека на нет задолго до того, как у него начнется накопление свободного холестерина (о котором, кстати сказать, толком еще никто ничего не знает). В общем, так или иначе, а тут уж начинаешь задумываться, что тебе лучше: цирроз печени или водянка мозга, «пивное сердце» или желчно-каменная болезнь? Однако закончим нашу выписку:

«Подобных фактов бесчисленное множество. В то же время нет ни одного факта, свидетельствующего о полезности спиртных напитков. «Губительное» влияние их на микробы — возбудители заразных заболеваний, «тонизирующее» действие и т. д. — давно разоблаченные наукой выдумки невежд».

Вот и опять мы лицом к лицу с этой пресловутой двойственностью. С одной стороны, человек, по всей видимости, хорошо разбирающийся в содержании винных бутылок, сообщает, что польза от вина — «твердо установленный факт», а с другой стороны, врач, посвятивший свою жизнь ликвидации печальных последствий всей этой «пользы», утверждает, что «нет ни одного факта, свидетельствующего о полезности спиртных напитков». С одной стороны, человек, по-видимому, слышавший звон, но так и не узнавший, где он, уверяет, что «болезнетворные бактерии погибают в вине за 30 минут», а с другой стороны, кандидат наук, оперирующий точными экспериментальными данными и обобщенным опытом науки, свидетельствует, что «губительное» влияние спиртных напитков на микробы — «давно разоблаченные наукой выдумки невежд».

По правде, нам и самим показалась подозрительной столь решительная декларация о пагубности вина для каких-то микробов. Есть ведь микробы, которые не только живут в вине, но от

которых само вино болеет, чахнет и даже гибнет, превращаясь в какую-то несусветную дрянь. Но даже если болезнетворные микробы и погибают в чистом вине за 30 минут, то в кровеносных сосудах у нас вино ведь никогда не течет в чистом виде. Принятое внутрь, оно разбавляется ранее выпитыми жидкостями, а также пищеварительными соками. Всасываясь в стенки кишечника, оно разбавляется еще самой кровью, в результате чего консистенция получается столь слабая, что микробы не только не погибнут, а, возможно, даже и не почешутся.

Должно быть, именно эту сторону дела учитывают опытные алкоголики, предпочитая пить чистую сорокаградусную. С одной стороны, это поднимает убийственную для микробов дозу спиртного в крови, а с другой стороны — избавляет организм от насыщения излишней жидкостью.

Допустим, однако, что мы даже как-то сумеем сбить с толку пьяницу и уговорить его переключиться с водки на пиво или хотя бы на вина — разве ему легче будет? Так или иначе он наберет свою норму, но болезнетворных микробов не убьет в желудке и наживет еще к тому же такие болезни, которые прекрасно обходятся без помощи микробов (общее ожирение, неестественное разбухание сердца от излишней жидкости, язва желудка, при которой пиво просто противопоказано, цирроз печени и т. д.).

Выходит, как ни кинь — все клин! Поневоле задумаешься: а не произойдет ли осечки, если мы дадим пиву, а вместе с ним и вину «зеленую улицу» в надежде на то, что они самосильно вытеснят водку? Во-первых, количество алкоголиков от этого не уменьшится. Полновесный, так сказать законченный алкоголик так и останется алкоголиком, если не решится всерьез лечиться, что предполагает полный, категорический отказ от всего спиртного, в том числе и от пива. Это общеизвестно. Между тем, стараясь (в благих целях, конечно) увлечь всех пивом и легкими винами, мы рекламируем эти коварные продукты, внушаем мысль об их бесспорной полезности и даже необходимости для организма, что при расширении производственной пивоваренной и винодельческой базы, при резком увеличении сети пивных залов, баров, портерных, забегаловок, ресторанов, при расширении продажи пива в магазинах, киосках, палатках и просто на улицах из цистерн, бочек, жбанов и пр., приведет к тому, что на одного прежнего забулдыгу появятся четверо новых, и, когда процесс перекантовки будет полностью произведен и трансмутация алкоголиков повсюду закончится, мы будем только стоять да чесать в затылках, глядя на творящееся безоб-

разие и вспоминая известное изречение: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги...»

И во-вторых: как это пиво может вытеснить крепкие напитки, если под влиянием других «антиалкогольных» сил начинает разворачиваться широкая торговля этими самыми напитками в различных рюмочных, стопочных, шашлычных, сосисочных, бутербродных, пончиковых, в обычных кафе и закусочных и пр. и пр. по известному уже принципу «захотел выпить — получай в зубы 50 граммов водки и т. д.», если вместе с тем ведется еще агитация за продажу водки не только в пол-литровой таре, но и четвертинками, и даже совсем уже какими-то жалкими шкаликами, когда любителям выпить не понадобится уже растрачивать свое драгоценное время на подыскивание компании, чтоб сколотиться на поллитровку, а достаточно будет купить шкалик и опрокинуть его тут же за воротник, как это делалось в старину, в царской, так называемой, «монопольке».

Удивляет, между прочим, та уверенность в своей непогрешимости, с которой высказываются авторы всех этих прожектов. Они как бы вовсе не допускают мысли, что жить можно на свете, и не употребляя алкогольных напитков. Для них словно не существует вопроса «пить или не пить?». «Бог ты мой, да конечно же пить! — твердят они. — Но с умом, с головой». А о том и не думают, что ум — такая штука, которая улетучивается из головы как бы сама собой с первой же порцией вина, и ей, голове этой самой, лишенной ума, уже и море кажется по колено, и готова она это море выпить. В том-то и сила вина, что оно дурманит человеку голову, отнимает последние остатки разума, толкая на безрассудные поступки, подлые выходки и страшные преступления.

«Но зачем пить, хотя бы и с головой? — спросите вы такого проповедника умеренного питья. — Почему нельзя совсем не пить?»

«А как же тогда веселиться?» — с недоумением спросит он.

И действительно! Как вы ему объясните? Как же и веселиться иначе человеку, приобретшему привычку к вину, пусть он даже натренировался пить так, чтоб устойчиво на ногах держаться? Ведь истинные человеческие радости уже не доступны ему. Пока не принял постоянно недостающей ему дозы спиртного, он чувствует неудовлетворение в груди: он зол, раздражен и сам белый свет ему не мил. И уже не испытывает он радости от общения с людьми, даже с близкими, даже с собственными детьми; и нелепой ему кажутся выдумкой все эти разговоры о радости труда (какая там радость, когда сосет под «ло-

жечкой»!), о радости познания, о радости общения с природой, с искусством (он и в театр пойдет с женой, так и то только о том мечтает, чтоб поскорей начался антракт, когда можно заскочить в буфет и тяпнуть бокал вина или кружку пива). Веселье (не радость!) начинается у него, лишь когда он дорвется до вина и достигнет надлежащей степени опьянения. Он, конечно, не признается, что пьет для того, чтоб испытать этакое легкое двоение предметов в глазах, ощущение пустоты в голове и малинового звона в ушах. Он говорит, что просто любит посидеть за столом в хорошей компании, любит поговорить по душам с приятелем за рюмкой водки, опьянение же его вовсе не интересует. А попробуй, дай ему приятеля да не дай водки, так и разговор не получится. Не полезут слова из горла, хоть тресни! Зато когда выпьют они наконец с приятелем да заговорят, так только уши раскрывай шире.

Апологеты умеренного питья, как один, выступают против сухого закона с таким усердием, словно кому-то на самом деле хочется его ввести, обзывая людей непьющих угрюмыми трезвенниками, пуританами, почему-то толстовцами и даже ханжами, то есть лицемерами. «Мы просто считаем,— пишет один из этих апологетов,— что пьянство — порок сколь отвратительный, столь и живучий — нельзя победить с помощью ханжеских деклараций и наивных нравоучений...» И буквально через несколько строк: «...в нашем общественном питании почти начисто отсутствует понятие небольшого и недорогого вечернего кафе или бара. Самого обыкновенного, где не проводят мероприятия, а просто пьют хорошее вино и разговаривают о жизни. В тепле, да чистоте, да за хорошей беседой человек вполне удовлетворится скромной дозой спиртного». Прочитав подобное, только руками разведешь! Ну, а это что, как не ханжество и не самые что ни на есть душеспасительные речи? Отчего это, скажите на милость, любитель выпить удовлетворится скромной дозой спиртного, если будет сидеть в тепле да чистоте? А не будет ли он сидеть в столь располагающей к сидению обстановке, посасывая спиртное и беседуя о жизни, до тех пор, пока его за задние ноги не выволокут? Просто сказать: «Удовлетворится скромной дозой спиртного», а попробуй удовлетвори его скромной дозой, он тебе тут и покажет «скромность»!

И потом: что это за нелюбовь такая к «мероприятиям», к разговорам о «злодейке с наклейкой», к виду «разреза печени алкоголика» на противоалкогольном плакате? Оно, правда, пьющему человеку неприятно глядеть на эту «печень», слушать нарекания на «злодейку с наклейкой» и быть объектом каких-то

мероприятий. Да только где они в наши-то дни, эти мероприятия, хоть какие-нибудь? Их теперь даже в молодежных кафе не стало (просто пьют вино и разговаривают о жизни по вышеприведенному рецепту). А «печень в разрезе» — ее где увидишь? Разве что в вытрезвителе?

Это полное исчезновение «разреза печени» и другой наглядной агитации при полном расширении торговли всякими «распивочно и на вынос» может привести лишь к полному торжеству пьянства, а никоим образом не к его посрамлению.

Скажу прямо: я тоже не за сухой закон. И не за то вовсе, чтоб пили в грязном нетопленном помещении. Я не призываю к тому, чтобы человека где-то там в тесноте толкали. Но не говорите и вы, ради всего святого, что он, человек этот, делает такое важное дело, когда, сбегав от жены, от семьи, сидит с приятелем за своей скромной дозой спиртного. Я за то, чтоб пивная была просторная, теплая (а то много ли выпьешь, если будешь пить в давке да на холоде?). Но я также за то, чтоб и «печень в разрезе» осталась. Не тут же в пивной, разумеется (зачем портить настроение людям?), а хоть где-нибудь там, подальше. Пишут вполне резонно, что не действует, дескать, эта «печень» на алкоголика. Да, на него не действует, а вот на других, на тех, которые не втянулись еще в беспробудное пьянство, может подействовать. В особенности на молодежь, из которой вербуются когорты будущих алкоголиков.

От внимания юноши обычно не ускользают статьи, в которых утверждается, что вино — «здоровый гигиенический напиток», что оно «источник радости, бодрости, долголетия», что «пиво не алкоголь, оно даже полезно», что оно «жидкий хлеб» и т. д. и т. п. Молодой человек, конечно, сразу догадывается, что это как раз то, что ему нужно, и что пора начинать пить, пока не поздно (кто себе враг?). И единственное у него сомнение: с чего начинать — с пива или с вина? Чаще всего он начинает с пива, после чего (уж сколько об этом писали!) переходит на вина, а там и на водку. Конечно, для юноши, обдумывающего житье, не проходит незамеченным, что все эти уверения в полезности, питательности, целебности сопровождаются предостережениями, что пить надо с умом.

«А я, что ли, не с умом? — говорит молодой человек. — Я ведь тоже с умом».

Кому, однако же, не известно старое изречение: «Никто не доволен своим состоянием, зато каждый доволен своим умом». Заметьте — «каждый», в том числе, значит, и человек вполне взрослый. А что же хотеть от молодого?

«Моему сыну Андрею пятнадцать лет. Учится он в восьмом классе. Учится плохо, стал пить вино, совершил преступление», — пишет в газету несчастная мать. Дальше в газетной статье рассказывается, как этот подросток со своим дружкой распил бутылку вермута (того самого вермута, который особенно целебен, так как настаивается на лекарственных травах), потом пошел в кино. После кино приятели захотели выпить еще, но денег не хватало. Увидели возле магазина подвыпившего пожилого гражданина и уговорили его войти в долю. Нашли место потемней, распили второй сосуд. И этого показалось мало. Начали требовать от пожилого гражданина денег. Тот не дал. Тогда парни жестоко избили его.

Что сказать о таких ребятах?.. Мальчишки? Пить не умеют? Еще научатся, да?.. Так они ведь, пока будут учиться пить, не одно преступление совершат, не одну, может быть, жизнь загубят, и свою в том числе. Кто их бедных матерей утешит? Вы, что ли, милостиво разрешающие пить всем от мала до велика?

А вот другой случай. На этот раз вполне взрослый пьяница напился где-то с приятелем. Пришел домой, «раздавил» еще четвертинку. Годовалая дочурка Иринка расплакалась. Он ее баюкал, баюкал — не сумел унять да со злости и швырнул вниз с балкона пятого этажа.

А о нем что сказать? Тоже, скажете, пить не умеет? Не научился? Скажете: его ведь предупреждали, что с умом надо, а он, вишь, без ума! Сам виноват!.. Что ж, сам-то сам. Он и понесет положенную ему судьей и присяжными заседателями кару. Да каким хваленым вином он зальет кару собственной совести?! Единственное облегчение ему может принести сознание, что ответственность за содеянное должны разделить с ним те, кто внушал мысль, что пить можно (умеренно, конечно).

Или вот угнетающая душу история о маленьком мальчике, который попал в психиатрическую лечебницу и устраивал ежедневно истерики, требуя пива, к которому его приучили дома. Бедный малыш уже в пятилетнем возрасте сделался алкоголиком, терзаемым неутолимой жаждой спиртного. Что сказать о его родителях?.. Слов нет! А что же сказать о тех, кто с газетных страниц советует взрослым приучать детишек к вину и пиву?

Вот как заканчивает свою беседу о пользе вина уже цитированный нами профессор виноделия: «Проклятого вопроса «пить или не пить?» просто не существует. Повторяю, вино родилось вместе с человечеством и будет его добрым спутником всегда... расскажу вам, как я себе это представляю... «Отец,—

скажет сын, оторвавшись от своих интегралов,— что такое водка? Я ни в одном словаре не нашел...» В ответ двадцатилетний папа пожмет могучими плечами и нальет себе и сыну (мальчику на одну треть, конечно) золотого, как солнце, вина. Урожай 2065 года...»

Вот мы и дошли наконец до философии. Проклятого вопроса «пить или не пить?», оказывается, вовсе нет, и нет вообще никаких проклятых вопросов. Человечеству ничего другого не остается, как пить, потому что оно всегда пило, пьет и будет пить: так ему от бога положено. Поэтому ничего думать не надо и никаких проклятых вопросов задавать не надо, а чтоб легче было жить, не думая, наливай молча себе и сыну (а дочери?) искрометного, золотого, как солнце, игристого, животворного и пр. и пр. вина... и пей, пей!..

Что тут сказать? Если ты выпиваешь сам да еще философскую базу под свое выпивание подводишь, то уж ладно. Что с тобой сделаешь, если ты никаких резонов слушать не хочешь! В конце концов это твое личное дело. Но если ты приучаешь к спиртному своего сына, то это уже дело в известной мере общественное, так как общество не может наблюдать равнодушно, как кто-то из его членов наносит вред своему ближнему, пусть этот ближний даже его собственный сын. Но если ты имеешь дело не с одним своим сыном, если ты печатно призываешь тысячи и миллионы читателей приучать детишек к спиртному, то это дело уже далеко не личное и даже не общественное, а антиобщественное, мимо которого проходить молча нельзя.

Конечно, профессор виноделия может сказать: моему сыну ничего не сделается, если он будет пить с умом. Я вот пью с умом — и ничего, даже толстею. На это можно сказать, что не у всех жизнь складывается одинаково. Да и сам ум — понятие растяжимое. У каждого он свой. И не каждому дано научиться пить с умом. Сила воли, сила характера, способность противостоять соблазну у людей разные. Иному и вина не надо, чтобы распуститься сверх положенного предела, повести себя в какой-то сложный момент жизни неверно и наделать не только глупостей, но и вещей вовсе недопустимых. Вино же даже и в небольших количествах может совсем выбить такого человека из колеи. Советовать каждому пить, в то время как прекрасно и счастливо можно жить, не зная вина,— это по меньшей мере необдуманно, неосторожно и уж во всяком случае безответственно. За кого можно поручиться, сказав, что ему можно пить без опасений сделаться алкоголиком? И за себя-то не каждый поручится, не зная, какие обстоятельства его ждут впереди.

Я лично никому не советовал бы даже и пробовать пить, потому что это как цепная реакция: при надлежащих условиях только огонек поднеси, а дальше все пойдет само собой.

И я бы сказал: сказки, что вино всегда было добрым спутником человечества. За один день на нашей планете происходит столько зла от вина, сколько не принесло оно добра за всю историю своего существования.

Я бы сказал: сказки, что вино родилось вместе с человечеством. Питекантроп, если и любил пропустить рюмашку, то надо все же учитывать, что ни просторных пивных, ни водочных заводов к его услугам не было. Жить ему было трудно. Денно и ночью он думал о том, как бы добыть пропитание для себя и для своих детишек, а чтоб брагу варить или самогон гнать — это ему недосуг было. А какое же без досуга пьянство? Роль досуга, а вместе с ним и роль вина в нашей жизни, конечно, повышалась с ростом культуры, и теперь, когда роль досуга у нас еще больше повысится, нам нужно серьезно подумать, как веселиться, потому что водки или вина, сколько их ни дай, все будет казаться мало.

И я бы сказал: сказки, что бывают угрюмые трезвенники. Угрюмые бывают алкоголики, когда им не хватает денег на выпивку. Я бы не кивал на зарубежные страны и, уж если говорить о заграничном опыте, указал бы на опыт Финляндии, где четвертая часть населения страны состоит членами «Общества трезвенников» (и ничего, живут без вина и не тужат), или на опыт Чехословакии, где принят закон против алкоголизма несовершеннолетних (не варили бы специально для детей пива, не пришлось бы небось и закон придумывать!).

И я бы не старался внушить людям мысль, что одно только неумеренное пьянство ведет ко всяческим бедам. Я бы сказал, что и умеренное, тихое, безмятежное, перманентное выпивание — тоже не такая уж доблесть; что и при умеренном питье, если не наступает так уж быстро сморщивание печени и разбухание сердечной мышцы, то наступает все же, и, кстати сказать, довольно скоро, сморщивание души и непомерное разбухание эгоизма, в результате чего получают люди, хотя еще и молодые и даже довольно шустрые, но у которых безнадежно погас огонек романтики, которых уже не манит ни подвиг, ни желание познать неизвестное, ни желание увидеть новое, ни желание сделать доброе, смелое, у которых не сохранилось никаких, лелеемых с детства стремлений, никаких интересов, никаких желаний, кроме одного: всякими правдами и неправдами раздобыть денег на очередную выпивку.

И я бы сказал людям, выступающим за умеренное потребление алкогольных напитков: вы пьете, друзья, ну и пейте себе потихоньку, если ничего интересней придумать не можете, но не ведите себя, как в некультурной компании, когда изрядные выпивохи ставят своей задачей обязательно накачать вином непьющего соседа, чтоб за столом совсем не оставалось трезвых, вид которых для них просто несносен.

Я бы сказал, что у нас, как в жизни, так и в печати, большой разницей во взглядах на питейный вопрос, и что если одни пишут «за здравие», стараясь дать бой увлечению спиртными напитками, в какой бы форме оно ни проявлялось, то другие тянут «за упокой», стараясь сохранить пьянство, хотя бы в рамках умеренности, с помощью различных минималистских теорий, вроде ханжеской маниловской теории непротивления злу и вышибания клина клином (теории перекантовки). Они словно боятся, что если кто-нибудь скажет, что пить не надо совсем, то все пьяницы сразу исчезнут и не найдешь даже компании, с кем можно было бы выпить... Напрасно боятся! Никуда пьяницы не исчезнут. Хоть караул кричи! Хоть ежедневно заполняй все столбцы в газетах статьями о вреде алкоголя, их не будет становиться меньше, а уж и то будет великое достижение, если их не будет становиться больше, так как улучшение сервиса в этом деле, расширение сети пивных, рюмочных и тому подобного рода злачных заведений — тоже своего рода агитация в пользу спиртного, и притом такая, с которой не в силах справиться никакое всемогущее слово, даже печатное.

И я бы не тешил никого, и себя в том числе, надеждами на создание какой-то особой «современной застольной культуры». Сверх того, что мы пьем некультурно, мы научимся еще пить и «культурно», со вкусом. И даже если перейдем на всеобщее, поголовное, каждодневное винопитие, зеленый фантастический змий с мистическим упорством будет продолжать выхватывать из наших рядов свои жертвы. Одну за другой!

И я бы сказал: не уступим зеленому змию! Не дадим в обиду наших детей! Вот они стоят перед нами и глядят на нас своими вдумчивыми, серьезными и доверчивыми глазами, в полной уверенности, что мы — люди большие и сильные, сооружающие огромнейшие дома, и мосты, и атомные ледоколы, и межпланетные корабли, и стиральные машины, и холодильники, — не отдадим их зеленому змию, не пустим его вместе с ними в Светлое Будущее, а оставим навечно в Музее Прошлого наряду с другими реликтами... Остальное они сделают сами. И будут счастливы.



ЕЩЕ ОДНО НЕБОЛЬШОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Маленькие дети, как только немножечко подрастут, сейчас же научаются чтению. Научившись же читать, они невольно задаются вопросом, как пишутся книги. Их это почему-то ужасно волнует. Впрочем, это понятно, так как ребята очень дотошный народ. Им обязательно надо все знать. По мере того как они растут, это желание у них не умалается, а, наоборот, даже увеличивается, потому что многие из них безнадежно втягиваются в чтение и становятся прямо-таки, я бы сказал, профессиональными читателями, а некоторые, особенно к окончанию школы, когда приближается пора выбора профессии, и сами начинают мечтать сделаться писателями. В этом ничего удивительного, конечно, нет, поскольку быть писателем — очень заманчиво. Во-первых, сразу становишься известным, так как твоя фамилия печатается крупными буквами на обложке книги, а во-вторых... ну и во-вторых тоже совсем не так плохо, когда

можешь сказать, что ты не кто-нибудь там такой, а писатель, ну, что-нибудь там вроде братьев Гонкур или Оноре де Бальзака какого-нибудь. Правда, с годами тяга к писательству у многих пропадает, вытесняясь разными жизненными заботами и семейными обстоятельствами. Но у молодых людей, повторяю, интерес к этому делу велик, в связи с чем они часто задают вопрос, как пишутся книги или что надо знать, чтобы стать писателем, и т. д. Мне очень хотелось бы помочь этой любознательной молодежи. Однако написать, как надо писать,— очень трудно, ввиду большой сложности литературного мастерства. Гораздо легче написать, как не надо писать. Я лично решил пойти по этому, более легкому пути, чтоб не утруждать особенно свою голову, полагая, что лучше все-таки что-нибудь, чем совсем ничего, или, как говорил один мой кишиневский знакомый: «Лучше маленькая рыбка, чем большой черный таракан».

Узнав же, как не надо писать, каждый уже своим умом может дойти до всего остального, то есть в данном случае до того, как надо писать. Этот метод, называемый в геометрии доказательством от обратного, очень часто употребляется в жизни и дает хорошие результаты. Правда, не следует забывать все же, что в деле литературного мастерства большую роль играют способности. Писателем, говорят, надо родиться, поскольку, как любил говорить все тот же мой кишиневский знакомый: «Сколько ворона ни гогочи, а гусем не станет».

У меня, однако ж, на этот счет другое мнение. Я убежден почему-то, что писательские способности есть у каждого. В различной степени, безусловно. По-моему, на свете не сыщется такого чудака (грамотного, разумеется), который не сумел бы написать хотя бы письмо. А разве в этом, так называемом эпистолярном стиле не было создано ничего заслуживающего внимания читателя? (Я имею в виду широкого читателя, а не того индивидуума, которому письмо адресовано.) Такие случаи в истории уже бывали. Взять хотя бы Марка Туллия Цицерона, письма которого коллекционировались любителями, переписывались во множестве экземпляров и даже издавались отдельными сборниками еще при его жизни. В общем, надежда прославиться на этом поприще есть у каждого, а насобачившись писать письма, вполне естественно перейти к писанию повестей и романов и других литературных произведений. Так что работать в области литмастерства может каждый.

«Пишите,— как говорил Марк Твен.— Пишите и присылайте в редакцию... И вам возвратят обратно».

— И еще хорошо, если возвратят,— добавим мы.

О ЛИТМАСТЕРСТВЕ

Введение

Все, что относится к писателям, к их жизни и творчеству, живо интересует читателей. Как читатель, так и писатель — звенья одной и той же цепи. На одном конце этой цепи сидит писатель и пишет, на другом конце сидит и читает читатель. Писатель пишет, потому что любит делиться с читателями своими глубокими мыслями. Читатель тоже читает не по обязанности, а потому, что любит книгу, увлекается книгой, дня не может прожить без книги. Следует учесть, что многие читатели сами со временем становятся писателями. Достоверно известно, что все существовавшие когда-либо писатели были в свое время самыми обыкновенными рядовыми читателями и так или иначе вышли из читательской среды. Вот почему вопрос о том, как

пишутся книги, как работает писатель, как он творит, не может не интересоваться самой широкой читательскую публику. Для того чтобы удовлетворить этот интерес, мы и решили написать настоящее исследование, в котором даем ряд ценных сведений об основах литературного мастерства. Не берясь судить огульно обо всех видах литературы, мы будем говорить сперва только о прозе и прозаиках, то есть о людях, которые пишут главным образом длинные повести и романы, являющиеся, как известно, наиболее ценными для читателя и наиболее трудными с точки зрения литературного жанра.

В основном весь огромный отряд прозаиков делится по методам работы на две большие группы, или на два подотряда. К первому подотряду относятся те прозаики, которые пишут просто из жизни, используя свои наблюдения и жизненный опыт, не подражая никаким литературным образцам, работая как бы наобум, как бог на душу положит. Ко второму подотряду относятся те, которые, наоборот, создают свои произведения на основе заранее изученных правил, законов, приемов, канонов и рецептов литературного мастерства.

Представители первого подотряда — народ часто нескладный, угрюмый, вздорный и неудобоваримый. У этого подотряда скверная привычка — писать о том, о чем другие не пишут, если же они берутся писать о вещах известных, то пишут так, как никто не писал раньше. Это они делают нарочно, чтоб досадить критикам, с которыми находятся в постоянной и неусыпной вражде. Читая произведения подобных авторов, критики обычно становятся в тупик и только руками разводят, не зная, с какой меркой подойти к ним. Поэтому мы создавали предлагаемое руководство лишь на основе анализа произведений второго подотряда прозаиков, так как только здесь оказались налицо кое-какие общие признаки, которые можно было анализировать, классифицировать и систематизировать, чтобы представить в конце концов в виде определенной методологии.

Спешим, однако, оговориться, что на практике между представителями той и другой группы нет определенной четкой границы и в действительности существует, выражаясь научно, перманентная, то есть непрерывная, миграция из одной группы в другую. Если у писателя первой группы не хватит жизненных наблюдений, то он также может пойти по проторенной другими дорожке и выдать, так сказать, на-гора произведение, типичное для представителей второй группы. И наоборот, часто бывает так, что у представителя второй группы вдруг прорежется собственный голос, и тогда автор, изменив своему творческому

кредо, неожиданно выдаст абсолютно новое и оригинальное произведение, достойное первой группы.

Такие литературные миграции — явление очень распространенное, что не должно никого удивлять, поскольку творческий процесс — дело сложное и зависит не только от знания жизни и литературных правил, но также и от мировоззрения и даже характера автора.

Иной автор и рад бы написать по-своему, но его ни на минуту не оставляет забота о критиках: как же они, мол, бедные, критиковать будут, а вдруг не разберутся и обругают... Иногда такой слишком осторожный автор проделывает в угоду критикам довольно извилистый путь, напоминающий след улитки на дне пруда. Начав довольно храбро переползать границу между двумя группами, он вдруг пугается собственной храбрости и, еще не закончив миграцию, пускается в эмиграцию, то есть лезет назад. На протяжении одного и того же произведения он претерпевает целый ряд метаморфоз, то и дело перескакивая из одной группы в другую. Этот процесс весьма затрудняет отнесение подобных авторов к той или иной разновидности, что дает основание сторонникам так называемой диффузионной теории утверждать, будто никаких двух подотрядов на свете нет и что все прозаики, дескать, пишут одинаково. Нелепость этого утверждения совершенно очевидна, и поэтому мы, не вдаваясь в ненужный спор, приступим к практическому изучению вопроса, руководствуясь вышеизложенным принципом.

Искусство портрета

Основной фигурой художественного произведения, будь то повесть или роман, является человек, поэтому первое, на что следует обратить внимание прозаику, — это изображение человека, то есть его портрет. Главных героев, как известно, необходимо изображать во весь рост, иначе говоря, с ногами и руками, но начинать для порядка все-таки надо сверху, то есть с головы или лица. Наиболее важной деталью лица являются у героя глаза, которые в качестве зеркала человеческой души имеют самый большой набор эпитетов. Чаще всего встречаются глаза мутные, пустые, выцветшие, блеклые, водянистые, тусклые, неподвижные, подслеповатые, бутылочные, подозрительные, плутоватые, с хитрым прищуром, испуганно бегающие, холодные, с лихорадочным блеском, маленькие, большие, узенькие, широкие, жадные, глубоко спрятавшиеся в подлобье, добрые,

ясные, озорные, вдумчивые, отражающие внутренний мир, смешливые, хитрые, въедливые, колючие, точно шилья, сверлящие, как буравчики, лисьи, хорьковые, воловьи, коровьи, раскосые и свиные. Пример: «Хитрые, въедливые глаза старика, точно буравчики, ввинтились в лицо бригадира».

Описывая глаза, необходимо тут же упомянуть о веках, бровях и ресницах. Веки большей частью бывают тяжелые, припухшие, красноватые, иссеченные прожилками, сонные и мигающие; ресницы — обычно длинные, короткие, черные, белые, золотистые, густые, облезлые и телячьи; брови — седые, кустистые, нависшие, взъерошенные, торчкастые, сросшиеся на переносице, редкие, узенькие, широковатые, ярко-коричневые, иссиня-черные, ехидно играющие и весело прыгающие: «Узенькие, иссиня-черные брови весело прыгали на ее желтоватом мясистом лобике».

После бровей идут лбы, которые, как показано на предыдущем примере, могут быть желтоватые и мясистые, а также низкие и высокие, узкие и широкие, выпуклые и бугристые, костлявые, шишковатые и покатые.

За лбами следуют волосы: жесткие, прямые, волнистые, кудрявые, темно-каштановые, муруго-пегие, копной и щетиной. Затем идут губы: тонкие, сжатые, сосредоточенные, чувственные, бескровные, смело очерченные, пересохшие, брюзгливые, капризноватые, с непреклонными складками вокруг, свежие, алые, пунцовые, толстые, мокрые, мягко шлепающие: «Мягко шлепали одна о другую мокрые толстые губы». Еще у героев бывают уши. Они обычно опять же маленькие и большие, длинные или короткие, острые, сморщенные, оттопыренные, серые, сизые, волосатые и хрящеватые: «Его редкие, сухие волосы были зачесаны за большие хрящеватые уши, хитроватые глазки, окруженные короткими бесцветными ресницами, настороженно мигали».

Теперь о носах. Носы, как показал опыт, бывают прямые, кривые, классические, хищные, крючковатые, вздернутые, уныло висящие, загорелые, облупившиеся, изъеденные красноватыми жилками, мягкие, хлюпающие, лоснящиеся, пористые, шершавые, малиновые, колбасно-красные, багровые, картофельные, горбатые, а также сочные, толстые и цветущие. «Иваненко раскрыл навстречу Акулине объятый, толстый нос его цвел».

Носы обычно помещаются среди щек, которые, в свою очередь, бывают круглые, пухлые, полные, одутловатые, с багровыми пятнами, бархатистые, с нежным румянцем, вялые, отвислые, потерявшие свежесть, покрытые сетью морщин, просвечиваю-

щие тонкими синеватыми жилками. Кстати сказать, всякие жилки, прожилки, просвечивающие на щеках, на носу, на ушах и прочих деталях, очень оживляют портрет.

Закончить описание лица можно подбородком: острым, тупым, круглым, квадратным, тяжелым, мужественным, упрямым, волевым, безвольным — какой кому больше подходит по характеру.

Описав лицо, можно дать себе передышку, выкурить папиросу, а кто не курит, может просто поваляться на диване, после чего с новыми силами приступить к шее и остальным деталям портрета. Шеи могут быть длинные и короткие, жирные и худые, красные, наливающиеся кровью, с фиолетовыми пятнами, со складками, как у свиньи, и жилистые, бычьи, медвежьи. Шеи постепенно переходят в плечи, которые бывают остренькие, овальные, круглые, пухлые, голые, матовые, розовые, мерно колышущиеся и пышные: «Здоровой рукой он держался за прилоку, а глазами следил за мерным колыханием пышных плеч Пелагеи Ивановны». Плечи, в свою очередь, переходят естественным образом в грудь, которая может быть широкая, молодецкая, богатырская, высокая, открытая, узкая, впалая и чахоточная. За грудью следуют животы: сытые, тугие, веселые, гладко круглящиеся и мягко вываливающиеся. К животам непосредственно примыкают ноги, но не следует забывать и о руках, без которых портрет был бы неполным. Согласно выработанной номенклатуре, руки бывают сухонькие, костлявые, жилистые, пухловатые, безмускулатурные, белые с рыжими светящимися волосиками, холеные, шероховатые, корявые, сильные, загрубевшие, с узловатыми, прозрачными, нервными, желтыми, толстыми, тонкими, трясущимися пальцами. Ноги же бывают худые, без икр, мерзнущие даже летом, не гнущиеся в коленях, тощие, волосатые, стройные, голенастые и высоко открытые: «На ней было модное, короткое платье, прозрачные чулки, словно струей, обливали высоко открытые ноги».

Для довершения портрета требуются окончательные удары кистью в виде веснушек, веселых огоньков в глазах, ямочек на подбородке, широкой окладистой или курчавой бороды, мягких шелковистых усиков над красиво очерченной верхней губой, вертикальной складки на лбу, устремившейся к переносице, или же, наконец, большой плеши с остатками рыжеватых волос, напоминающих изъеденный молью воротник от пальто.

Беглые зарисовки

Изображать во весь рост необходимо только главных героев. В основном же романы и повести заселены второстепенными и даже третьестепенными, так называемыми проходными персонажами, которые появляются на две-три минуты, скажут полдесятка фраз и тут же исчезают с лица земли, словно их и не бывало. На изображение таких героев не следует затрачивать лишних слов. Рисовать их надо не целиком, а лишь обозначать головы или лица. Головы у этих персонажей обычно бывают круглые, как шары, длинные, бочковатые, тыквообразные, хорошо сработанные, лобастые, шишкастые и лохматые. Лица же могут быть плоские, узкие, вытянутые, лопатовидные, лошадиные, отекшие, несколько поношенные, испытые, заплывшие, сморщенные, как печеное яблоко или сухая груша, сердитые, холено-нежные, грубоватые, желтоватые, с жиринкой и без жиринки, а также усталые, будничные, прыщеватые и тупые.

Иногда попадаются и вовсе незначительные людишки, которых можно изображать совсем без лиц, рисуя только какую-нибудь приметную деталь, например: «Сидор Иванович был широкоплечий, чуть грузный мужчина, в очках». Больше ничего о Сидоре Ивановиче сообщать не следует, а читатель пусть сам догадывается, было ли у этого симпатичного, чуть грузного Сидора Ивановича что-нибудь для прикрытия своей наготы, кроме очков. Такие проходные мужчины могут быть не только чуть грузные, но и чуть грязные, с рябоватым лицом или с бычьей зашейной, большерукие, сутуловатые, в белых косоворотках или поношенных пиджаках, угрюмые, замкнутые, молчаливые, тучные, коренастые, домовитые и худые.

Женщины тоже бывают худые, смуглые, лет тридцати с лишком, черные, не выпускающие изо рта папиросы, увядшие, с холодными серыми глазами, крупнокостные, с широким и сильным тазом, большие, дородные, дебелые, с гладкой дюжей спиной, хорошо сохранившиеся и крикливые.

Девушки, напротив, бывают обычно сочные, свежие, крепкие, упругие, как огурцы, уверенные в себе, прочные, как сама жизнь, румяные, крупитчатые, белобрысенькие, в очках, круглощечные со вздернутым носиком, светлоглазые, чернявые, пухлявенькие, хрупкие, тоненькие, с острыми локотками, невысокие, светловолосые, с удивленным лицом.

А вот парни, эти всегда молодцеватые, долговязые, щекастые, конопатые, чубатые, сухопарые, а также с вытянутыми бледными лицами, тарзаньими прическами, в длинных, до колен,

пиджаках, узеньких брючках и с походкой паралитиков (стиляги).

Кроме вышеуказанных, попадают еще старики и старухи. Это персонажи крайне дряхлые, слабые, разбитые жизнью, хилые, кряжистые, жилистые, лысоватые, облезлые, даже совсем плешивые и дохлячие. Они не ходят, а с трудом переставляют свои согнутые в коленях ноги.

Наконец, есть еще дети: белокурые девочки с яркими бантиками и курносые вихрастые мальчики. Впрочем, детей можно совсем не описывать, ограничившись указанием возраста: «Надюше было шесть лет, Толику — десять».

Искусство пейзажа

Покончив с маленькими детьми, если они уже успели появиться в произведении, автор обычно переходит к описанию обстановки, в которой надлежит действовать героям. Если герой находится на работе, то описываются окружающие его станки, пульта, краны, лебедки, блумсы, блюминги, тубинги и прочие механизмы. Если герой у себя дома или зашел к приятелю, то дается описание комнат, которые бывают большие, светлые и уютные, а также маленькие, тесноватые, сыроватые, со стенами, покрытыми унылыми пятнами серо-зеленой плесени. Тут же приводится опись всей мебели, включая и то, что висит на стенах: ковры, часы, картины, фотографии любимой женщины и т. п. Такими описаниями можно наполнять целые страницы, так как читатель ужасно любит читать про все, что так или иначе относится к герою произведения. С такой же легкостью описываются зубоврачебные кабинеты, гастрономические и бакалейные магазины, театральные залы и прочие помещения. Гораздо сложнее обстоит вопрос с описаниями природы, так как здесь требуются особенно оригинальные краски, которые не у каждого имеются в запасе. Приводим здесь для общего пользования некоторые пейзажные зарисовки, полученные путем анализа соответствующих произведений.

Самым распространенным является так называемый календарный пейзаж, который существует в четырех видах:

1) Весенний пейзаж.

Весной природа просыпается, как ото сна. С мокрых, еще не просохших крыш и от парной сыроватой земли поднимаются голубоватые дымки испарений. Небо глубокое, синее. Облака рыхлые, клочковатые и косматые. На груди легко, на сердце

радостно, из земли пробивается молодая зеленая травка. Воздух крутой, густой и бодрящий, напоенный влагой, прохладой, солнечными лучами, весенней свежестью и журчанием талой воды. Дышать становится трудно. (Не будет также ошибки, если сказать, что дышать становится легко.)

2) Летний пейзаж.

Летом обычно жарко. Воздух знойный, удушливый, расслабляющий и давящий. Небо ровное, белое, безоблачное. Если бывают облака, то по большей части редкие, легкие, неподвижные, тающие. Дышать вообще нельзя: «Лето стояло знойное. Белое, как бумага, небо неистово пылало. Жаркий, неподвижный воздух давил. Дышать было нечем».

3) Осенний пейзаж.

Осенью неуютно на душе и тревожно. Небо тяжелое, плотное, сырое, обложенное тучами. Тучи мрачные, угрюмые и свинцовые. Воздух мгlistый, сыроватый, осклизлый. Мелкий, словно сквозь сито, дождь заряжает всегда с утра. Мокрые воробьи скачут по покрытой лужами мостовой.

4) Зимний пейзаж.

Зимой, как известно каждому по личному опыту, холодно. Небо низкое, затянутое, сизое. Снег мокрый, липкий, густой, мелкий, крупный, пушистый, сухой, ноздреватый и игlistый. Воздух жгучий. Но хуже всего мороз: «А мороз рвал и метал... Рвал дико, свирепо и бессмысленно... Воздух был жгуч, как самогон, из ноздрей рвался пар, снег сверкал, скрежетал, взвизгивал». Вот какие бывают страсти!

Помимо календарного, существует еще так называемый тематический пейзаж, например, колхозный. В него входит описание колхозных сараев, топкой навозной жижи, сеялок, всялок, борон, культиваторов, сенокосилок и других механизмов, вытасненных для ремонта. Мелькают пиджаки, шапки, бороды, загорелые лица и пористые носы. Греются на солнышке куры, гуси, свиньи, собаки, большие синие мухи и прочая живность. Кроме колхозного, бывает степной пейзаж, над которым с самого раннего утра и до позднего вечера струится тяжелое марево; лесной пейзаж с деревьями и лесным воздухом, пропитанным смоляным духом или горьковатым запахом осины, рябины, ольхи, тополевых почек или перестоявшихся грибов. У всего этого всегда один и тот же постоянный горьковатый запах. Речной пейзаж с неизменно извивающейся серебряной или голубой лентой реки, с заливными лугами, полными сырых пьянящих запахов свежей и сочной травы. Сюда относится также и болотный пейзаж с земснарядом и багерской кабиной у края карьера.

В общем, в тематическом пейзаже можно описывать все, что придет в голову, начиная с серовато-голубоватых гор, дремлющих под своими седыми шапками в торжественном спокойствии, и кончая голубовато-зеленым морем, которое дико ребячится, глухо ворчит и, бросаясь на берег, царапает его своими широкими когтистыми лапами.

Наконец, существует так называемый суточный пейзаж, в котором описываются звездные и лунные и безлунные ночи, утренний и предутренний розоватый туман, пурпурные восходы, багровые закаты и загустевающие сумерки. Очень красиво, например, начинать главу фразой: «Пылал закат» или: «Сумерки загустевали». Такой же фразой очень красиво также кончать главу.

Речевые характеристики

Читатели очень любят знать, о чем говорят герои. Некоторые читатели даже пропускают описания природы, чтобы поскорее добраться до разговоров, которые принято называть диалогами. Писать диалоги очень удобно в пьесах, так как у драматургов существует довольно простое правило, согласно которому слева всегда пишется, кто говорит, а справа — что говорит. Писать диалоги в романе — дело более сложное, так как здесь нет такого четкого правила. В беллетристике требуется большое разнообразие приемов, и если в одном случае романист напишет, кто говорит слева, то в другом случае он должен поступить как раз наоборот. Кроме того, недопустимо писать просто: «Сказал такой-то», нужно обязательно написать, как он это сказал, например: «Прошу садиться, — энергично сказал Тихон Иванович». Или: «Прошу садиться, — добродушно сказал Тихон Иванович и широким жестом подвинул собеседнику кресло». Или: «Прошу садиться, — ледяным тоном сказал Тихон Иванович и кривовато усмехнулся». При этом сразу видно, что первый Тихон Иванович — человек энергичный, второй Тихон Иванович — человек добродушный, широкий, услужливый, третий же Тихон Иванович — человек ледяной, кривоватый и вообще, должно быть, отрицательный персонаж. Однако нельзя также писать из разу в раз: сказал, сказал, сказал... Это очень однообразно и может наскучить читателю. Слово «сказал» необходимо разнообразить, заменяя его другими. Это не представляет больших трудностей, в чем каждый может убедиться на примере, который мы составили, взяв по одной фразе из различных произведений:

«— К тебе можно? — кивнул бородой Кузьма.

— Заходи,— замигала она бровями.

— Влопались! Вот так клюква! — выдавил из себя он.

— Под чужими кроватями хоронишься? — страшным шепотом сказала Фетиса Гурьевна.

— Богиня! — шептал он, сидя на полу в темной кладовке и потирая колени, больно ушибленные о высокий порог.

— Ничего, за дело,— выдохнула Авдотья.

— Н-да,— перестал есть суп отец.

— Ты что, папа, опять улетаешь? — догнал его Гриша на велосипеде.

— Веселое дельце! — погладил свой «ежик» Танцура».

Слово «сказал» можно заменять не только такими словами, как «перестал есть суп» или «погладил свой «ежик», но и такими, как вспыхнул, всхлипнул, буркнул, брякнул, промямлил, прошепелявил, прошлепал губами, прогугнил, прогнусил, рявкнул, промычал, гоготнул, хрюкнул и многими другими.

Необходимо учесть, что женщины говорят нежными, мягкими, мелодическими, журчащими, вкрадчивыми, грудными и воркующими голосами; старики — старческими, скрипучими, надтреснутыми и расколотыми; старухи, пьяницы — сиплыми, глуховатыми, истошными и заплетающимися; подростки — ломающимися; взрослые мужчины — густыми, раскатистыми, сдавленными, низковатыми, окающими, акающими, противными и курлыкающими; турки, афганцы, греки и вообще южане — гортанными; остальные — кто как придется. Кроме того, говорить можно посапывая, побряхтывая, почесываясь, нервно покашливая, натужно кряхтя, гмыкая, хмыкая, вздрагивая, поеживаясь, пришептывая, хлюпая носом, охая, ахая, нечленораздельно мыча и т. д. Слушать можно поддакивая, кивая головой, сокрушенно или сочувственно вздыхая, сдвигая на лоб очки, закуривая папиросу, постукивая пальцами по столу или по собственному носу, позевывая, нетерпеливо поглядывая на часы, ероша на голове волосы от досады, сжимая под столом кулаки от злости, морща лоб и двигая всклокоченной шевелюрой на голове.

Следует принять во внимание, что герои не могут говорить безостановочно. Иногда они должны и помолчать, например: «Я сегодня уже пообедал,— сказал он и, помолчав, добавил: — А погода-то, кажется, портится». Обычно герой, помолчав, добавляет какой-нибудь пустяк, вроде вышеуказанного умозаключения о погоде. Ведь и умолкать-то ему приходится, когда совсем уже нечего говорить. Каждый раз, когда герой испытывает

затруднение в разговоре, для автора формула «и, помолчав, добавил» является своего рода спасательным кругом. Не будь ее, повествование прекратилось бы на том месте, где герою в первый раз захотелось бы помолчать. Благодаря же этой спасительной формуле повествование отнюдь не прекращается, а движется как ни в чем не бывало дальше. Случается иной раз, что герой как начнет добавлять чуть ли не на первой странице, так и добавляет, пока не дойдет до последней. Нелишне напомнить, что и тут нужно чувство меры. Эту фразу тоже необходимо разнообразить, то есть написав раз: «Сказал он и, помолчав, добавил», в другой раз писать: «Сказал он, помолчал, потом почесался и полушутливо добавил», или: «Сказал он, крикнул и, помолчав, добавил, позевывая». Варьируя таким образом эту фразу, можно достичь огромного разнообразия, чем, однако, некоторые авторы довольно легкомысленно пренебрегают, что ведет к снижению качества их продукции.

Диалоги называются речевыми характеристиками именно потому, что по речи героев мы узнаем об их характерах, как это было указано на примере с тремя Тихонами Ивановичами. Совершенно естественно, что герои охарактеризуются полнее, если их речь будет строго индивидуализирована. Для индивидуализации речи употребляются такие слова, как: дык, аль, хучь, энтот, только, сумленье, жисть, ндрав, вчирась, полкила, чижолый, обнаковенно, маманя, опчиство, дохтур, гумага (гумага все терпит), вдарить, бонба, болезный, хранцузы, окстись, евонный, бабоньки, нивирситет, выпимши и другие. Эти слова надо употреблять тоже не сплошь, а с разбором. Каждый без труда поймет, как может получиться нехорошо, если в романе из жизни ученых профессора и доценты начнут употреблять выражения вроде: «съездить по рылу», «наше вам с кисточкой», «кругом шестнадцать», «идол дубовый» или такие слова, как «карахтер» и «булгахтерия».

Метод физических действий в литературе

В театральном искусстве имеется вполне разработанная теория, по которой актерам полагается не только произносить заученный текст, но и как-то двигаться по сцене, то есть физически действовать. Эта теория имеет отношение не только к театру, но и к литературе, поскольку литературных героев тоже можно уподобить актерам, волей авторадвигающимся по жизненной сцене.

Как известно, двигаться легче всего при помощи ног, поэтому для выявления характера героя огромное значение имеет его походка, которая может быть легкая и тяжелая, спокойная и напряженная, быстрая, бодрая, энергичная, твердая, решительная, резвая и, наоборот, медленная, задумчивая, мечтательная, меланхолическая, безвольная и усталая. У одних героев походка упругая, эластичная, гибкая, у других она шаткая, развинченная, спотыкающаяся, заплетающаяся, прыгающая, негнувшаяся и даже деревянная.

Вот пример, как внутреннее состояние и характер героя отражаются на его походке: «Как только Пахом Никитич чувствовал на себе взгляд Катеньки, его походка становилась деревянной, он спотыкался и готов был провалиться сквозь землю». Ходить можно широко, ровным и ритмическим шагом, но можно ходить мелко, сбивчиво, угловато, можно и не ходить, а просто семенить ногами, некоторые даже не семянят, а только шевелят конечностями, и все тут. Можно шагать смело, уверенно, гордо, но можно шагать трусливо, стыдливо, вкрадчиво, подобострастно, заискивающе, с ехидством выделявая ногами какие-то совсем уж непотребные кренделя. Походка может быть утиная, когда человек переваливается на ходу, словно жирная утка, журавлиная, когда герой выдергивает свои длинные ноги, словно журавль из болота, и высоко поднимает их кверху, куриная, когда герой или героиня на каждом шагу двигает вперед головой, словно что-то клюет своим носом. Человек может ходить, как бегемот, как слон, как медведь, может топать, как лошадь, но может ходить и вполне прилично, изящно, мягко и даже пружинисто. «Скажи мне, как ты ходишь, я скажу тебе, кто ты». Это мудрое изречение рекомендуется запомнить каждому, кто берется за изображение человеческих нравов, все равно, будет это актер или писатель.

Однако не только в походке, но и во всем, что бы ни делал герой — плачет он, улыбается или смеется, — сказывается его характер. Одни герои плачут громко, навзрыд, всхлипывая и вздрагивая плечами, другие плачут беззвучно, украдкой, как бы стыдясь своих слез. Одни улыбаются ласково, нежно, доверчиво, широко и радушно, другие — робко, неловко, застенчиво. Вообще улыбки могут быть разные: светлые и тусклые, грустные и веселые, сладенькие, даже приторные, и горькие, едкие, кислые, ехидные, угрюмые, хитроватые, кривоватые, змеящиеся, саркастические и блудливые. Смеяться тоже можно по-разному. Одни могут смеяться сочно, заразительно, густо, раскатисто, хлопая себя руками по бедрам и колыхая плечами. Другие

смеются жиденько, неслышно, мелко трясясь дородным телом или одним животом. Одни герои глядят настороженно, испытующе, умоляюще, другие и глядеть-то не могут просто, а обязательно упираются в собеседника своими тяжелыми, недобрыми, ледяными, стеклянными, оловянными и свинцовыми взглядами; есть еще такие, которые пронзают друг друга острыми, скреещающимися, сверкающими взорами или мечут, бросают, швыряют эти взоры в лицо друг другу.

Одни герои едят скромно, не делая из процесса еды никакого особенного события, другие едят так, чтоб всем было заметно, громко хрустя зубами, икая, нервно шевеля ноздрями, быстро жуя и двигая всем лицом или хотя бы одними острыми скулами, твердыми желваками на щеках или тяжелой челюстью.

Есть герои, которые ужасно любят во что-нибудь погружаться. Они то и дело погружаются то в кресло, то в ванну, то в чтение, то в задумчивость, то в разврат, то в спячку, то в горячее сусло лиманов. Другим очень нравится застывать. Чуть отвернешься от него — он уж застыл: «Он повернулся к застывшему у двери швейцару». «Покосившись на испуганно застывшего у стола чиновника, он доложил тихим голосом» и т. д.

В общем, у каждого героя свои привычки и интересы. Однако все интересы сходятся, как только герои очутятся за столом с хорошей закуской. Впрочем, закуска может быть и, как говорится, нехитрая, лишь бы было что выпить. Пьют герои главным образом водку. Без водки невозможно обойтись ни в повести, ни в романе. Даже в рассказе должна наличествовать выпивка, хотя бы лаконично и скупой описанная, вроде:

«Вечером пришел Шустриков, принес бутылку спирта.

— Выпьем? — спросил он.

— Выпьем, — кивнул Брусков.

Они пили почти до утра, а когда стали гаснуть звезды, Брусков сказал Шустрикову, чтобы тот уходил. Шустриков, перебирая руками по стенке, добрался до двери и скрылся».

Вот и все. Очень симпатичные ребята, не правда ли? Заметьте: пили всю ночь и сказали друг другу всего два слова: «Выпьем!» — «Выпьем!» Зато уж назюзюкались так, что пришлось перебирать руками по стенке.

Многие полагают, что если писатель описывает выпивки и попойки, то его замысел состоит в том, чтобы читатель почувствовал пагубность употребления алкоголя и пришел к соответствующим выводам. Но это неверно. По установившейся традиции попойки изображаются для полноты передачи жизни. К тому же некоторые писатели полагают, что как только у кого-либо

из героев появится в руках поллитровка, кусок колбасы и головка луку, читателя от книги уже не оторвешь, поскольку подобные сцены возбуждают жажду к чтению. Главное для писателя, конечно, не в этом, а в выявлении характера героев. Вот пример, какой благодарной почвой для яркой обрисовки героев может явиться хорошая домашняя вечеринка. Пример этот также представляет собой как бы сборную конструкцию и является своего рода обобщением в данном вопросе:

«На сверкающей белизной скатерти было наставлено множество блюд: холодное мясо, соленые грибки, тонко нарезанные колбасные диски с белыми пятнышками свиного жира, свежие зеленые пупырчатые огурчики, пироги с нежно хрустящей золотистой корочкой, кильки, селедочка. В центре стояла (ну, конечно же!) бутылка водки.

— Ну, детушки и все гости любезные, выпьем,— сказал Сверлизубов, наполняя рюмки.

— Да будет так,— подтвердил Подкалюжный.

Все чокнулись.

— Давайте выпьем по очереди за всех,— закричал кто-то.

— А давайте выпьем за ассенизаторов!

Все засмеялись, задвигались, заговорили вразнобой.

— Хорошо прошла! — одобрил дедушка Аникей.

Он крякнул и потянулся к закуске. Застучали ножи о тарелки. После третьей чарки Герасим повеселел. Чубаров пил больше всех, но не пьянел, а только становился задумчивей. У Филиппа кружилась голова и сердце растворялось в блаженном удовольствии. От него густо несло сивухой. Аркашка дернул сразу целый стакан и стал куражиться, заявляя, что он плевал на всех, кто его не ценит, пусть они провалятся. Много ли они выпили и из-за чего поссорились, неизвестно, только отец вернулся домой избитый, в синяках и крови. Мать поливала водой его всклокоченную голову, положила ему примочку к носу».

Герои могут выпивать не только дома, но также и в ресторане или пивной. Это даже колоритнее получается:

«В пивной густо сидел народ. Официант, уже знавший в лицо Кондакова, принес несколько бутылок пива, графин с водкой и тарелку с копченым угрем. Дубков наполнил из графина четыре стакана. Степан Кондратьевич выпил и припал к бутерброду. Геннадий Васильевич быстрым движением выплеснул водку в рот и стал мрачно доказывать, что копченые угри — это те же змеи, только живут в воде. Официант принес еще графин. Выпили снова. Все заговорили разом. Кондаков окончательно утратил ощущение времени и пространства и положил голову на

стол, прямо в тарелку с объедками. Геннадий Васильевич захмелел и по привычке приставал к Кондакову:

— Слуш-шай, а ты в гражданскую где был? А в окопах ты гнил? Тебя вша ела? А? Слуш-ш-ш. Дай я тебя поцелую!

Кондаков отмахнулся от него, но Геннадий Васильевич уцепился за его шею, и они оба мягко соскользнули под стол.

Через полчаса позади пивной стояли Дубков и Степан Кондратьевич. В сухом пыльном бурьяне, на земле, покрытой всяческой дрянью, валялись Кондаков и Геннадий Васильевич. Дубков плюнул и попал на воротник пальто Геннадия Васильевича. Тот даже не пошевелился».

Но довольно примеров о пьянстве. Поговорим теперь о любви, от которой, судя по некоторым сочинениям, человек дуреет не хуже, чем от вина. Когда герой встречается с любимой девушкой, на него по всем установившимся литературным канонам должна нападать необъяснимая робость. Самые обыкновенные глаза девушки начинают казаться ему такими большими, что в них хватает места и для радости, огромной, как небо, и для печали, глубокой, как море, и для хитрой лукавинки, и еще для чего-то, чего и не разобрать. Пределом мечтаний для каждого влюбленного является взять «ее» руки в свои. Героиня же в это время обычно любит улыбаться, но улыбается она не как все люди, а лишь одними глазами. Способность улыбаться одними глазами так же редка, как умение шевелить ушами или дергать кончиком носа. Лично мы несколько часов подряд вертелись перед зеркалом, стараясь воспроизвести на своем лице улыбку одними глазами, но у нас так ничего и не получилось. Каждый раз, когда мы готовы были уже улыбнуться одними глазами, губы сами собой неожиданно разъезжались в стороны, и получалась самая пошлая, заурядная усмешка, не имеющая ничего общего с той поэтической улыбкой, которая так часто описывается в книгах. Потренировавшись с неделю, мы научились, однако, довольно сносно улыбаться одной переносицей, все же, к сожалению, не глазами.

После того как герой научился брать «ее» руки в свои, наступает период более активных физических действий, в чем, впрочем, проще всего убедиться на конкретном примере:

«Я погладил ладонью ее нежную руку и наклонился к ней так близко, что услышал запах волос. Голова моя все ниже склонялась к ее плечу, а Мариночка точно не замечала этого. Меня начала пробивать мелкая дрожь. Ладонь моя медленно скользила вверх по холодной, как мрамор, девичьей руке и задержалась где-то повыше локтя». Это «где-то повыше локтя»

очень верно передает состояние рассказчика, который даже не замечал, где именно задержалась его рука. Однако дальше: «Поддавшись неожиданно нахлынувшим чувствам, я обнял Мариночку и крепко поцеловал ее в самые губы. Девушка замерла. Она не оттолкнула меня, не вскрикнула. И тогда я прижал ее еще сильнее к своей груди. Ее губы раскрылись навстречу моим. Они были прохладные, точно родник. Наконец я выпустил Мариночку из объятий».

На этом мы заканчиваем описание метода физических действий в литературе.

Искусство сюжетосложения

Теперь о сюжетах. Сюжеты бывают двух родов: 1) сюжеты, где главный герой — мужчина и 2) где — женщина. Сюжет первого рода строится примерно так. Директор колбасной или какой-либо другой фабрики Семен Семенович Бочкин влюбляется в тоненькую светловолосую девушку с удивленным лицом, которую зовут Наденькой. Они женятся, и Наденька превращается в большую, крупнокостную, кряжистую женщину с маленькими серыми холодными глазками, глубоко упрятавшимися под крепкой лобной костью. Семен Семенович молча страдает. У него появляются культурные запросы, а жене по-прежнему нравится устраивать семейное гнездышко, священнодействовать у плиты и нянчиться с детишками. Потом Семен Семенович уезжает в командировку. Там он приятно проводит время с некой Мирандолиной Кондратьевной, а по окончании командировки захватывает ее с собой, подыскав для нее квартиру в своем городе. Он навещает Мирандолину Кондратьевну в этой квартире и наконец совсем переселяется к ней. Дома остается жена, мальчик Алеша двадцатитрех лет и дочь Алевтина, окончившая консерваторию и временно находящаяся на иждивении родителей. Мирандолина Кондратьевна оказывается нехорошей женщиной. Ее интересуют только деньги. Бедному Бочкину приходится придумывать разные побочные статьи доходов. Мирандолина Кондратьевна знакомит его со своим бывшим любовником, юристом Похлебкиным, который учит Семена Семеновича приписывать проценты к плану и получать незаконные премиальные, а также выписывать зарплату на подставных лиц. Пустившись в аферы, Семен Семенович перестает думать о производстве. План выпуска колбасы систематически недовыполняется. Качество колбасы катастрофически ухудшается. Рабочие на

собрании резко критикуют директора. Главный инженер предлагает ввести новый технологический процесс набивки колбас, но директор добивается увольнения главного инженера. Главный инженер доказывает в министерстве необходимость введения новой технологии. Нагрянувшая на фабрику ревизия обнаруживает злоупотребления. Бочкину дают по шапке. Мирандолина прогоняет его, а ставшая на ноги семья не принимает его обратно. Как бездомный пес, он бродит по улицам. Главного инженера восстанавливают на работе. Производственное колесо снова вертится. Качество колбасы налаживается, и на этом — конец.

В изложенном нами сюжете могут быть разные варианты. Бочкин может встретить свою Мирандолину не в командировке, а на курорте или у себя на фабрике. Он может незаслуженно прибавлять ей зарплату, что должно возмущать честных сотрудников и разваливать дисциплину. Уйдя от Мирандолины, он может вернуться к жене, и жена не прогонит его, а, наоборот, даже обрадуется, но, возможно, она все-таки и прогонит, потому что успела уже выйти замуж за одного своего знакомого, которого любила в молодости. Бочкин же, уйдя от Мирандолины Кондратьевны, вовсе не обязательно должен вернуться к жене, а, войдя во вкус, может переселиться к какой-нибудь очередной Сирене Карповне, потом к Афродите Дементьевне и т. д. Он по очереди будет обманывать всех женщин, обещая жениться, но ни на ком не женится. Проходит время, и он начинает чувствовать себя одиноким и сам уже не прочь жениться, но теперь никто не хочет выходить за него замуж. Будучи уволенным с колбасной фабрики, он переходит с места на место, пока не доходит до директора пивной палатки. Там он сидит, горько жалуется на судьбу, пьет пиво и терзается угрызениями совести. Но может быть, ревизия обнаруживает такие большие хищения, что нашего бедного Семена Семеновича сразу сажают в кутузку, а может быть, ничего криминального нет и Семен Семенович отделяется лишь строгим выговором и легким испугом.

Возможен и такой вариант, когда Бочкин — и не директор колбасной фабрики, и даже не Бочкин, а обыкновенный молодой шофер, тракторист, комбайнер, а Мирандолина Кондратьевна — не Мирандолина Кондратьевна, а просто Катенька — молодая колхозная трактористка, тоненькая, с удивленным лицом. Влюбившись нечаянно в Катеньку, Семен Семенович назначает ей свидание, но, вовремя спохватившись и вспомнив, что он уже женат, возвращается домой и смотрит, как его крупнокостная Наденька священнодействует у плиты. «Что ж,— вздыхает

Семен Семенович,— придется тянуть лямку. Жизнь разбита, зато не поколебались основы семьи». Если он этого не сделает и подчинится железным законам колбасного сюжета, то неизбежно докатится до директора пивной палатки, получит строгий выговор или попадет в тюрьму.

В качестве примера сюжета второго рода, то есть такого, где главным героем является женщина, приведем следующий. Муж Софьи Викторовны, которого она горячо любит, уезжает в командировку. Бедная женщина первые дни ужасно скучает по мужу и с тоской оглядывает опустевшую квартиру, где все так живо напоминает ей о нем, но потом начинает понемножечку изменять ему с одним знакомым мужчиной. Этот мужчина, кстати сказать, геолог, большой друг ее мужа. Он помогает ей писать диссертацию. Дальше — больше. Постепенно она входит во вкус, а мужу пишет так, будто ничего такого не происходит. Наконец она даже устает лгать мужу в письмах и хочет признаться ему во всем. Назревает ужасная катастрофа, так как в результате признания могут поссориться два таких прекраснейших друга, как ее муж и любовник. Однако к приезду мужа любовник успевает ей наскучить. Горячее чувство любви к мужу поднимается в груди Софьи Викторовны, и она решает не признаваться ему. Счастливый муж так ничего и не узнает об измене. Трогательнейшая дружба двух замечательнейших друзей остается крепкой и нерушимой. Устой семьи не поколебались, и колесо вертится дальше.

Этот сюжет также имеет множество вариантов. Дело может кончиться и не так счастливо. Софья Викторовна может разойтись с мужем и уйти к своему геологу, от геолога перекочевать к актеру, от которого может потихоньку катиться дальше, пока не докатится до директора пивной палатки. В описанном варианте жена изменила мужу просто потому, что его не было дома. В других вариантах она действует более осмысленно и изменяет только тогда, когда замечает, что муж не работает над собой и не растет или, наоборот, сильно растет и слишком увлекается своей работой, но не заботится о культурном росте жены, не ходит с нею в кино, не водит в театр, не придумывает для нее разных культурных развлечений. Такие романы пишутся главным образом для мужчин, чтоб они знали, чем занимаются их жены, когда остаются дома скучать одни.

Мы описали только по одному сюжету первого и второго рода, хотя как тех, так и других множество, но зато дали описание многочисленных вариантов, из чего видно, что сюжет не является чем-то стабильным, а весьма легко может быть изме-

нен, переделан на любой лад. Отсюда ясно, какую большую ошибку делают авторы, которые пишут, не признавая никаких образцов. Им приходится постоянно присматриваться к жизни, ездить, ходить, бегать, рыскать, буквально охотиться за новыми сюжетами, что очень трудно, хлопотно и беспокойно. Когда же ценой времени, трудов и невероятных лишений такой автор добудет из гущи жизни новый сюжет, его сейчас же подхватят любители готовых образцов, начнут его переделывать, перекраивать, перелицовывать и перелицуют в конце концов так, что родная мать не узнает.

Не следует забывать, что сюжет — это только внешняя форма, так сказать, оболочка произведения, и, как таковая, нуждается в хорошей начинке. В качестве начинки употребляют описания героев, комнат, квартир, пейзажей, производственных процессов, объяснений в любви, ночных прогулок, поездок за реку, вылазок на охоту, свадеб, крестин, разных непредвиденных случаев, вроде наводнения, нашествия саранчи или смерти старого, никому не нужного дедушки с похоронами, отпеваниями, поминками и т. д.

Чтобы произведение не оказалось каким-нибудь куцом или кургузым, описание героини надо начинать не с того момента, когда уехал в командировку ее муж, а с момента ее рождения или лучше с момента рождения ее бабушки, с крепостных времен. Рассказывая последовательно, как рождалась бабушка, потом мать героини, потом сама героиня, как она росла, развивалась, как начала наконец изменять мужу, можно дать очень содержательное и объемистое произведение. Чем длиннее будет в данном случае оболочка, тем длиннее окажется и сама колбаса, то бишь, не сама колбаса конечно, а само произведение.

Творческий процесс

Для писателей, которые не признают образцов, творческий процесс, то есть процесс писания произведения, — это сплошная мука. Пишут они, то и дело вымарывая написанное, и переписывают по двадцати раз наново. Некоторые из них от злости рвут свои рукописи и дают клятву никогда в жизни не писать больше и тут же садятся и пишут снова. Все-то им кажется, что получилось не так, как нужно. Оно и не мудрено, потому что, встав утром и сядь за свой письменный стол, такой автор не знает, куда заведут его герои к вечеру.

Иное дело писатель, который следует изложенным нами

приемам литмастерства. У него все само собой получается. Ему даже думать не надо. Единственное, над чем ему приходится задумываться, — это имена, отчества и фамилии своих героев. Если имя героя есть, остальное можно черпать из неисчерпаемых речевых богатств, которые всегда в изобилии под рукой. Сидит такой литмастер, которого мы для удобства пользования назовем Иваном Ивановичем, у себя за столом перед стопой чистой бумаги и крепко думает. Он еще не знает, о чем будет писать, но уже придумывает имя героя. Минута глубокой задумчивости — и вдруг его мозг, словно сверкающая молния, прерывает мысль: а что, если героя назвать Виталием Аркадьевичем Погорельским? Идея! Виталий Аркадьевич Погорельский — очень звучное и красивое имя, и кажется, еще ни у кого из писателей не фигурировал. «Здорово это я!» — с удовлетворением думает о себе Иван Иванович и, подвинув поближе стопу бумаги, начинает писать:

«Виталий Аркадьевич Погорельский сидел за столом у себя в кабинете и читал книгу. Его вдумчивые голубые глаза глядели рассеянno, красиво очерченные капризноватые губы были плотно прижаты одна к другой, на высоком бугристом лбу пролегла вертикальная складка, устремившаяся к переносице, мягкие, шелковистые, темно-каштановые волосы были гладко зачесаны за большие хрящеватые уши...»

Следуют пять страниц описания лица Виталия Аркадьевича, его туловища, верхних и нижних конечностей, в результате чего весь Виталий Аркадьевич предстает перед нами как живой, со своей манерой зябко поеживаться и потирать одна о другую руки. Дальше страницах на десяти описывается комната со всеми столами, стульями, коврами, занавесками на окнах и всем прочим. Виталий Аркадьевич подходит к окну. Следует описание улицы, которая видна из окна, черной тучи, загрозоздившей все небо, дождя, зарядившего с утра, мокрых воробьев, которые прыгают по покрытой лужами мостовой. Это занимает еще четыре страницы. Затем мы узнаем о внутреннем состоянии Виталия Аркадьевича, вызванном скверной погодой, которая помешала намеченной поездке на пляж со знакомой девушкой Зиночкой, которая работает на заводе, где Виталий Аркадьевич директором, и живет на окраине города со своей бабушкой. Неожиданно открывается дверь и входит... минута глубокой задумчивости... Виктор Васильевич Скрежетов, главный инженер завода, который зашел поговорить о проекте переоборудования литейного цеха. Три страницы описания Скрежетова — дюжий нос, висячие уши и т. д., затем тридцать пять страниц

проекта переоборудования. Погода разгуливается, и Виталий Аркадьевич улетучивается к Зиночке. Скрежетов остается, чтобы рассказать о своем проекте жене Виталия Аркадьевича... минута задумчивости... Лире Яковлевне, на которой Виталий Аркадьевич женился одиннадцать лет назад. В то время это была тоненькая девушка с удивленным лицом, а теперь это большая, крупнокостная женщина с сильным тазом. Пять страниц Лире Яковлевны — какие уши, какая спина. Количество страниц быстро растет и уже перевалило за сто. Иван Иванович с удовольствием поглядывает на довольно пухленькую пачку исписанных листов, лежащую перед ним. Его работу можно было бы уподобить работе художника, который смело орудует своей кистью, если бы художнику не приходилось все же подбирать краски, смешивать их на палитре, добываясь нужных оттенков, то и дело отходить от холста, чтоб охватить взором всю картину в целом, и время от времени переписывать заново ту или иную деталь. Нет, работу Ивана Ивановича скорее можно уподобить работе штукатура, который уверенно бросает известковый раствор при помощи специальной лопаточки, или даже работе штукатурной машины, которая брызжет из брандспойта известковым раствором прямо на заранее подготовленную дранку, в результате чего после затирки получается вполне доброкачественная, ровная серая стенка.

Итак, быстро бежит перо по бумаге — брызжет известковый раствор. Скрежетов давно влюблен в Лире Яковлевну и считает, что Виталий Аркадьевич не заслуживает обладания такой замечательной женщиной. Двадцать девять страниц непотребного поведения Виталия Аркадьевича. Скрежетов ничего не говорит Лире Яковлевне о своих чувствах, но она догадывается сама. Бескорыстная любовь этого человека является единственной отрадой в ее жизни, и она с интересом слушает изложение его проекта, хотя ничего и не понимает в нем. Еще десять страниц проекта. «Ловко я этого Скрежетова сюда подпустил! — самодовольно думает Иван Иванович. — Обычно у других начинается с того, что инженер приезжает на завод со своим проектом, а я его прямо на квартиру к директору!» Дальше следует свидание Виталия Аркадьевича с Зиночкой, описание этой прелестной девушки, реки, солнечного заката и приятной вечерней свежести с постепенно загустевающими сумерками. Потом идет разговор Скрежетова с председателем завкома Бушлатовым. Бушлатов направляет проект в министерство. Виталий Аркадьевич находит дома письмо, которое Скрежетов написал Лире Яковлевне еще до ее замужества. Он устраивает сцену жене, а Скрежетова

обвиняет в том, что он нарочно придумал свой проект, чтобы подсадить его на работе и отбить жену. Лира Яковлевна узнает о существовании Зиновки. Чаша терпения ее переполнена, и она решает изменить мужу, но не желает этого делать со Скрежетовым, так как ей хочется, чтобы он сохранил чистоту своих чувств к ней. Она решает влюбиться в актера, с которым случайно познакомилась на именинах у своей тетки. Описание именин — двадцать страниц. После долгих колебаний она решает изменить мужу с актером, но потом раздумывает, потом все-таки изменяет — пять страниц. Актеру хочется, чтобы она развелась с мужем, но Лира Яковлевна не хочет лишать детей отца. Ирочку пяти лет и Додика шести... или, нет, лучше десяти. Мальчик сможет ходить в школу и приносить двойки, Виталия Аркадьевича могут вызвать в школу, а он не пойдет и скажет, что не обязан воспитывать своих детей. Тогда учительница сама придет к нему, а он примет ее, жуя котлету, что вызовет возмущение всего педагогического коллектива. У актера есть жена и прелестная дочка-крошка. Жена актера узнает о существовании Леры Яковлевны и идет, чтобы объясниться с ней, но не застаёт дома, а застаёт Виталия Аркадьевича. В это время возвращается домой Лира Яковлевна. Увидев мужа с незнакомой женщиной, она устраивает бурную сцену. Муж прогоняет и ту и другую, а сам идет к Зиновке, но не застаёт ее и разговаривает с бабушкой. Следует описание бабушки: вялые, чувственные, трясущиеся уши, тусклый, узловатый, задумчивый нос, жесткая курчавая борода клинышком... «Стоп, машина! Что-то не то в известковый раствор попало! Откуда у бабки вдруг борода взялась? Да и к чему вообще здесь эта старуха? Не похоронить ли ее? Э! Зажилась на свете! Кстати, можно описать похороны, поминальный обед...» И вот уже тащатся погребальные дроги, жалобно свищет ветер, качая деревья на кладбище, а вечером длинный стол сверкает тарелками с колбасными дисками, пупырчатыми огурцами, пирогами с обязательной нежно хрустящей корочкой. В центре блюдо с копченым сигом (никуда от него не денешься!) и, конечно, бутылка водки.

— Ну, детушки и все гости любезные, да будет так,— сказал Сверлизулов, наполняя рюмки.

Все выпили и заговорили. Бушлатов сразу утратил ощущение времени и пространства и положил голову в тарелку с объедками. Виталий Аркадьевич рухнул под стол. Он пил больше всех, но не пьянел, а только становился задумчивей. У Филиппа сердце растворялось в блаженном довольстве. Зиновка улыбалась одними глазами. Димка крякнул и улыбнулся носом. Он

стал мрачно доказывать, что сиги — это те же змеи, только живут в воде. Аркашка дернул целый стакан и стал плевать на всех. Акулина долго поливала водой его всклокоченную голову, положила ему примочку на нос. Один глаз у него не открывался, другой не закрывался. Через полчаса во дворе позади дома стояли Виктор Савельевич и Бушлатов. В сухом, пыльном бурьяне, на земле, покрытой всякой всячиной, валялся Виталий Аркадьевич. Виктор Савельевич плюнул и попал на воротник пальто Виталия Аркадьевича...

— Стоп! — шепчет увлекшийся было Иван Иванович. — Кажется, это уже у кого-то было. Я где-то читал, что плевком попал на воротник пальто. Надо исправить. Напишем так: плюнул и попал на лысину старику. Это даже интереснее будет... Однако откуда тут еще старик взялся? Опять известковый раствор подвел! В романе ведь никакого старика нет. Ну, нет — так будет! Значит, там еще пьяный старик валялся. Он мог из деревни приехать. Старуха-то померла, вот он, значит, и приехал в освободившуюся комнатку...

Иван Иванович улыбается, довольный своей находчивостью. Он чувствует себя чародеем, вершителем человеческих судеб. Захочет — поженит своих героев, захочет — и разведет, захочет — пустит их вниз по матушке по Волге на пустом баркасе за селедками в Каспийское море, захочет — заставит торговать колбасой. Между тем вызванный к жизни посредством неосторожного плевка старик уже ворочается на земле, нечленораздельно мычит и, нутужно кряхтя, пытается встать на свои не гнущиеся в коленях ноги. «А, черт! — шепчет в восторге Иван Иванович. — Здорово это у меня со стариком получилось! Ведь никакого старика и в помине-то не было. Вот что значит искусство, то бишь — тьфу! — известковый раствор!»

Иван Иванович бросает довольный взгляд на стопу исписанной бумаги и, определив на глаз, что стопа уже стала примерно толщиной с кирпич, решает на этот раз свою работу закончить.

Последуем и мы его примеру. Думаем, что сказанного вполне достаточно для понимания творческого процесса той группы писателей, работу которой мы подвергли рассмотрению. Мы во все не претендуем на исчерпывающую полноту изложения. Наша цель — дать толчок мыслям читателя, надеясь, что читатель, заинтересовавшись предметом, догадается сам обратиться к первоисточникам и изучит вопрос во всей его глубине.



ПОГОВОРИМ О ПОЭЗИИ

На первый взгляд может показаться, что разговор о поэзии — дело ненужное, так как читатели в основном интересуются прозой. Однако это неверно. Среди наших личных знакомых мы не встречали буквально ни одного, кто в тот или иной период своей жизни не увлекался бы поэзией и не сочинял стихов. Правда, как читатели они тоже чаще предпочитают прозу, но когда кому-либо из них придет в голову самому сочинить что-нибудь, то каждый обязательно норовит писать стихами. Многие из них увлекались сочинением стихов в детстве и в так называемом подростковом возрасте. Одна очень хорошая наша знакомая признавалась, что сочиняла стихи, когда была совсем маленькой девочкой. В этом отношении она была совершенно исключительным ребенком. Это дитя не любило играть во дворе со своими подругами, не лепило из песка пирожков, не наряжало кукол. Наивысшим удовольствием для него было, придя из шко-

лы и сделав уроки, приняться за писание стихов, которыми оно во множестве наполняло тетрадки. Со временем страсть эта прошла, тетради со стихами затерялись, а в памяти сохранились всего две строчки стихов, сочиненных в восьмилетнем возрасте:

Под сенью пагоды индус
Смотрел на синий автобус.

И это совсем неплохо, если, конечно, принять во внимание младенческий возраст сочинительницы.

Многие начинают писать стихи в юности, когда испытывают первое чувство любви. Один наш приятель рассказывал, что всегда ощущал непреодолимую тягу к сочинительству стихов, как только влюблялся, но каждый раз, когда влюбленность подходила к концу, желание писать стихи пропадало само собой.

Он совершенно серьезно утверждал, что мог бы стать известным поэтом, если бы обладал способностью пребывать в состоянии острой влюбленности хотя бы с полгода.

Иногда желание писать стихи приходит в более зрелые годы и в таком случае носит очень навязчивый характер. Человек не знает, о чем писать, но все же пишет и пишет, словно им движет какая-то находящаяся вне его сила. Другой приятель рассказывал нам по секрету, что пишет стихи, но сам понимает, что это — пустое занятие, так как его стихи, по его собственному выражению, не созвучны эпохе. Дело в том, что по какому-то странному предрасположению характера он может писать только о мертвецах, призраках, кладбищах и разрытых могилах. Только такая печальная тема в силах настроить его на поэтический лад, и никакая другая.

Один наш личный знакомый, журнальный редактор, уверял, что редакция, в которой он работает, ежедневно получает от разных авторов по четыре мешка стихов. Для чтения этих стихов в редакции держат целый штат литературных сотрудников. Помножив количество получаемых ежедневно стихов на число дней в году и на число журнальных редакций, этот наш знакомый редактор пришел к выводу, что стихи пишут поголовно все, не исключая даже новорожденных младенцев.

Учитывая столь огромную тягу к сочинительству стихов, мы решили пойти, как говорится, навстречу потребителю и изложить здесь некоторые секреты поэтического мастерства. Не имея за плечами никакого стихотворного стажа, мы задумали, однако ж, подойти к делу вполне научно и познакомиться

с новейшими достижениями в области поэтической продукции. Для этой цели мы отправились в книжный магазин, но там не могли предложить нам по части поэзии ничего новенького, поскольку новенькое уже все разошлось, но зато предложили большой выбор несколько залежавшихся новинок, которые не были своевременно распроданы. Среди этих новинок были главным образом небольшие лирические томики, пролежавшие на полке и месяц, и два, и три, и даже четыре, и пять, и полгода, и год, и два, и три, и пять, и чуть ли не десять лет. Большинство этих томиков пережило несколько снижений цен, о чем свидетельствовали многочисленные штемпеля с обозначением новых цен на обратной стороне обложек...

Заинтересовавшись этим явлением, мы разговорились с продавцом, симпатичным, еще довольно молодым человеком, хотя вполне серьезным и любящим свое дело. Он с огорчением и обидой сообщил нам, что ему смертельно надоели разговоры о том, будто во всем виноваты книгопродавцы, которых не устают обвинять в нерасторопности поэты, чьи стихи долгое время остаются нераспроданными. На самом же деле, по его мнению, виноваты вовсе не продавцы, а покупатели, которые не сумели до сих пор воспитать в себе вкус вообще ко всякой поэзии, а любят одних поэтов больше, других почему-то меньше, третьих по какой-то неизвестной причине совсем не любят. Именно этот факт создает затруднения в книжной торговле и вызывает нарекания на ни в чем не повинных работников прилавка.

Посочувствовав этому симпатичному молодому человеку и скупив за бесценок все, что было написано в этой области за последние десять лет и по тем или иным причинам осталось непроданным, мы вернулись домой и принялись усердно читать.

Читали мы до тех пор, пока у нас не зарябило в глазах, и тогда постепенно перед нами стала вырисовываться фигура поэта — автора этих стихов. Мы увидели, что поэты — очень милые, симпатичные ребята, свойские парни, очень добродушные и непосредственные люди. Пишут они о том, что с ними случается, без каких-либо хитростей и задних мыслей. Им ужасно нравится посвящать читателей в разные подробности своей жизни. Влюбится, например, поэт и сейчас же спешит сообщить читателям:

У меня девчонка, братцы, на примете,
Лучше я, сй-ей же, не видал на свете!

Назначит поэт свидание, а девушка опоздает или совсем не придет — поэт и тут спешит поделиться своим горем с читателем:

Опять не пришла. Не под силу мне.
Дышать скоро будет нечем.
Уж я ли не ждал, не торчал в окне
Меж двух косяков весь вечер.

Поэт ничего не сообщает о странном состоянии атмосферы, в которой, по его мнению, скоро нечем будет дышать, поскольку в его задачу входило выразить свое любовное томление, а не описывать разные феномены природы. Но вот поэту любимая девушка надоела. Поэт разлюбил и с не меньшим энтузиазмом пишет:

Я тебя не хочу встречать,
Я тебя не хочу любить.
Легче воду всю жизнь качать,
На дороге камень дробить.

Поскольку в данном случае стихотворение чисто лирическое, а вовсе не на тему о радости труда, то поэт изображает дробление камня на дороге, как самое худшее, что могло с ним в жизни случиться. Однако, как бы там ни было, поэт все же решил жениться и радостно сообщает:

Не бойкая тройка
В мороз прозвенела —
К районному загсу
Такси подлетело.

Затем начинают вырисовываться подробности другого рода:

Выполню просьбы, как приказы.
Мы вдвоем
и все же —
не вдвоем:
Выпущены в талии запасы
На любимом платице твоём...

И вдруг неожиданная новость:

Такие склеились дела,
Дела, скажу я, славные!
Жена мне сына родила,
А в доме это главное.

Если вместо сына родится дочь, то об этом сообщается в более лирическом плане:

Родилась Иринушка на Волге,
Поднималось солнце над водой,
Из роддома в полдень на двуколке
Привезли Иринушку домой.

Затем сын или дочь растут. Шумят. Мешают папе писать стихи. Поступают учиться. Сын, конечно, приносит двойки. Папу вызывают в школу. Потом сын становится юношей, влюбляется, женится, а папа начинает разводиться с мамой, и обо всем этом появляется регулярная информация в стихах.

Не нужно, однако, думать, что поэты только и пишут, что о любви да о своих семейных делах. Они обо всем могут. Поэт, что ни увидит, про то и напишет. Увидит на небе звезды — напишет про звезды, увидит луну — напишет про луну. Заметит у себя на голове седой волос и сразу — готово! — уже о седине пишет и близкой старости. Останется один с соседкой по квартире — тут же за соседку возьмется. В общем, у него все идет в дело: и чернозем, и весна, и еловые шишки, и почтальонша, и няня из родильного дома, и снегоочиститель, и электропоезд, и космические лучи. В этом смысле поэт — необыкновенное существо. Он не может даже прогуляться по улице, где ему на глаза попадают то парикмахерская, то пивная, то пошивочная мастерская, то фотоателье или гастрономический магазин. Простой человек гуляет спокойно, а поэт только и ищет, с какой бы стороны прицепиться к этим предметам, чтобы получились стихи.

Весь запас жизненных наблюдений, вся широта интересов и глубина мыслей поэта отпечатывается в его стихах, как на фотографической пленке, конечно, в той степени, в какой все это у него имеется, что читатель обычно и обнаруживает, читая стихи (от этого никуда не уйдешь, раз уж захотел быть поэтом).

Трудность перечисления поэтических тем привела нас к необходимости разбить стихи на группы по каким-либо общим признакам. Мы все же долго не могли найти принципа, по которому можно было бы классифицировать стихи. Помог в этом деле случай. Однажды мы попали на конференцию, на которой состоялась встреча поэта с читателями. Сначала высказывались читатели, а потом слово взял сам поэт и сказал:

— А сейчас, товарищи, я прочту вам свои последние целинные стихи.

Как только он это сказал, нам стало понятно: конечно же,

целинными стихами на языке поэтов называются стихи, написанные о целине, точно так же как стихи о Москве будут называться московскими, об Италии — итальянскими, об уборочной кампании — уборочными, о кукурузе — кукурузными и т. д. Классификация эта очень проста, и каждый может сам разбивать стихи на группы, какие кому понравятся.

Покончив с вопросом о том, что пишут поэты, мы переходим к вопросу, как они пишут. Иными словами, переходим от содержания к форме. Говоря о форме, необходимо в первую очередь принять к сведению, что поэты — народ очень порывистый и горячий. Они все очень остро переживают и во всем любят хватать, как говорится, через край. Вот, например, какую дерзкую мысль высказывает один поэт:

На небо взглянешь — звезд полночных тыщи.
Что юности в блескучей высоте?
Но яростнее, чем потребность в пище,
Была для нас потребность в красоте.

Если бы поэт остался на денек без пищи, он сразу узнал бы, что яростнее — потребность в пище или потребность в красоте. Из приведенных стихов можно сделать вывод, что изучаемые нами поэты на голодный желудок стихов, конечно, не пишут, а вот на сытый желудок фантазия у них работает гораздо яростнее, чем полагается.

Другой поэт пишет:

Поэма началась в груди,
Грудь разорвать грозя.
Теперь ее — как ни крути —
Не написать нельзя.

Конечно, к такому заявлению никто не отнесется серьезно и не поверит, что у поэта могла разорваться грудь под напором прущих изнутри рифм. Это не что иное, как самая обыкновенная поэтическая фантазия, которая, однако ж, доводит некоторых поэтов до крайне болезненного состояния. Нафантазировавшись сверх меры, такие поэты становятся крайне мнительными и даже суеверными, начинают верить в ведьм, домовых, водяных, леших и прочую чертовщину:

Случалось ли вам собирать грибы
В лесах, где тропинки протоптаны лешим...

Поэтам полагается писать стихи не простым языком, а по возможности поэтическим. Это достигается употреблением

красивых слов, а именно: мечта, струенье, упоенье, аромат, восторг, страсть, обаяние, миг, экстаз, зов, клекот, высь, поднебесье.

Большой любовью у поэтов пользуются слова: нега, нежность, нежный, нежная:

Легко ль очутиться бездомным, бесштанном,
Без женщины нежной и даже без родины?

В большом ходу у поэтов слово «девичий»: девичий убор, девичье сердце, девичья улыбка, девичья грудь:

Так девичья грудь не ласкала меня,
Как эта волна голубая:
Она набегала, играя, звеня,
Хмельной наготой полыхая.

Кстати «нагота», «нагая», «обнаженная» — тоже излюбленные слова поэтов. У них и ветвь обнаженная, и березка обнаженная, и небо обнаженное, и луна обнаженная, и тело нагое или обнаженное:

И, обнаженное, атомом каждым,
Волнуясь, впиваясь, жгло,
И пробуждением, и славой, и жаждой
Тугое тело цвело...

Хочется попутно обратить внимание на эпитет «тугое». Поэт никогда не скажет вам просто «тело», а обязательно прибавит к нему слово «тугое», «упругое», «жаркое», «жадное», «жгучее», «трепетное» или какое-нибудь еще. Все это тоже очень красивые слова, чего нельзя, однако, сказать о слове «морда», в особенности в том случае, когда под мордой поэт подразумевает самое обыкновенное человеческое лицо:

Жарко на мордах и алебардах
Рыжее солнце играло...

Кроме указанных красивых слов, существуют еще специальные поэтические слова: осокорь, чернобыл, купырь, пупырь и другие. Смысл этих слов несколько темноват, значение их почти никому не известно, употребляются же они исключительно для поэтичности.

Не нужно все же думать, что слова поэтами употребляются только для красоты. Некоторые из слов несут иногда смысловую нагрузку. Есть слова, которые придают стихам философский

смысл: фортуна, формула, первопричина, система, истина, гипербола, триумф, фосфоресценция и теорема. Другие слова придают стихам космический характер: космос, хаос, вселенная, планета, мироздание, перегиб времени, звездный распад, вращение земли. Наконец, есть еще слова, назначение которых — придавать стихам народный оттенок: пользительный, поблажаться, нет спасу, спозарань, глухомань, окаянство и другие.

Помимо любимых слов, у поэтов имеются также свои излюбленные цвета: алый, лазоревый, лиловый, бирюзовый, багряный, рдяной и пунцовый, которые можно употреблять в любых склонениях и спряжениях:

То не ребра гор залиловели,
Не туман багряный заалел,
То верхушки лип забирюзели,
Лес сосновый залазоревел.

Очень часто поэту хорошо известно все, что мы здесь изложили, но поэт не знает, как начинать стихи. Поэту подчас кажется, что будь у него хоть одна первая строчка, а дальше стихи потекут сами собой.

Для того чтобы добыть эту самую неуловимую первую строчку, можно поступать по-разному. Существует способ, по которому поэт берет первую строчку какого-нибудь известного стихотворения, например «Выхожу один я на дорогу», и начинает потихонечку бормотать: «Выхожу один я на дорогу, выхожу один я на дорогу, выхожу один я на дорогу...» Как будто случайно, а на самом деле в порыве бессознательного творческого вдохновения поэт заменяет слово «один» каким-нибудь другим словом, ну, хотя бы словом «спокойно», и как ни в чем не бывало бормочет дальше: «Выхожу спокойно на дорогу, выхожу спокойно на дорогу...» Почувствовав, что найденное слово прижилось в строке, он продолжает бомбардировать эту устойчивую поэтическую фразу словами, подобно физику, который бомбардирует атомное ядро нейтронами. Наконец ему удастся вышибить из фразы слова «на дорогу» и заменить их словами «за ворота». В результате фраза не теряет своей поэтической устойчивости, но звучит уже совершенно самостоятельно. Таким образом, выкристаллизовывается искомая первая строчка стихотворения: «Выхожу спокойно за ворота».

Остальное получается само собой:

Выхожу спокойно за ворота
И, придя с товарищами в цех,
Начинаю по гудку работу
Без каких-нибудь особенных помех.

Или поэт, например, берет строку из известного всем стихотворения «Никогда я не был на Босфоре» и начинает ядерную бомбардировку, в результате которой у него может получиться ряд новых устойчивых соединений вроде: 1) «На Кавказе не был никогда я», 2) «На Днепре я не бывал ни разу», 3) «Не бывал на Волге я вовеки». Любое из этих трех «соединений» может послужить основой для создания нового поэтического произведения, совершенно отличного от своего прототипа.

Изготовленные по вышеуказанному методу стихи принято называть подражательными, но в этом названии нет ничего зазорного, поскольку никого из поэтов никогда не упрекали за подражательность. Наоборот, говорят так: «Подражательные стихи? А что в этом плохого? Кто же не писал подражательных стихов? Даже талантливые поэты начинали с подражания, и раз автор подражает — значит, он еще молод, если не телом, то душой, значит, он начинающий, значит, он талантливый. Как же можно возражать против каких-либо начинаний, против молодости и талантливости! Другое дело, если бы автор взял да переписал целиком чье-либо стихотворение, ну, скажем, Пушкина, и, подписав своей фамилией, тиснул в печать, тогда уж, конечно, да, — а так что ж!»

Иногда поэту достаточно придумать только первое слово, и сейчас же за этим словом уже без всяких творческих потуг выстраивается вся первая строчка. Беда лишь в том, что некоторые авторы никак не могут придумать это первое слово, между тем тут и думать нечего, а надо просто начинать стихотворение со всем известного слова «ой». Попробуйте мысленно произнести «ой», и вы убедитесь, что тут же, как бы помимо вашей воли, к нему подстроятся другие недостающие вам слова:

Ой, дороженька ты моя дальняя!
Ой, цвела белым цветом черемуха!
Ой, забыть я тебя не могу!
Ой, гудут мои старые ноженьки!
Ой, я помню чудное мгновенье!

Сколько вы ни повторяйте «ой», каждый раз у вас будут получаться фразы, и, заметьте, все разные. После того как наберется достаточно стихотворений на «ой», можно начинать их на «ох», потом на «ах», на «эх», на «эй», на «ух» и т. д. Каждое из этих междометий придает особый характер стихотворению: «ой» — напевный, лирический, «ах» — грустный, элегический, «эх» — эпический, народно-былинный, «ох» — трагический, «эй» — призывный, исторический.

Иные поэты, наоборот, очень легко создают первую строчку стихотворения, а дальше, как говорится, ни тпру ни ну. Напишет такой поэт строку вроде: «Мой дядя самых честных правил», а «Когда не в шутку занемог» у него никак не получается. Это происходит оттого, что данный поэт еще недостаточно овладел речью. Между тем здесь особенно сложного ничего нет. Что такое эта пресловутая речь? А это не что иное, как самые обыкновенные слова, которые мы употребляем каждодневно при разговоре.

Слов много, и если брать все речевое богатство сразу, без строгой научной классификации, то возникает чувство растерянности, при котором не знаешь, за какое слово хвататься. Наука установила, что все слова делятся на имена существительные, прилагательные, числительные, глаголы, местоимения и т. п. Если отобрать слова однородные, то с ними уже гораздо легче будет справляться. Пользуясь, например, одними существительными с небольшой добавкой предлогов, очень нетрудно создать вполне приличное стихотворение:

Сток. Овин. Осокóрь. Тишина...
Блеск реки под горой. Холодище!
Купыри у оврага. На небе луна.
Тень плетня на родном пепелище.

В последнюю строчку вкралось одно прилагательное, но это отнюдь не портит стихотворения.

Освоив существительные, можно постепенно вводить в стихи и другие части речи. Составив списочек коротеньких фраз, каждая из которых состоит только из существительного и глагола, можно путем расположения этих фраз в определенном порядке получить довольно звучные и действенные стихи:

Дышал октябрь. Стонала непогода.
Шумел камыш. Шепталась трава.
Скрипел осóкорь. Уходили годы.
Деревья гнулись. Падала листва.

Таким образом, потихоньку да полегоньку, пристегивая к существительным глаголы, местоимения, союзы, междометия и другие части речи, можно добиться того, что стихи постепенно обрastут мясом и будут иметь вполне законченный профессиональный вид. Следует учесть, что существительные передают существо предмета и поэтому являются основой для создания поэтических картин, прилагательные придают этим картинам своеобразие, глаголы придают действенность, динамичность,

междометия — эмоциональную окраску, местоимения — лиричность: «я», «она», «ты», «меня».

Наконец, последний, очень важный вопрос — рифмы. Есть немало поэтов, у которых хватает совести вставлять в свои стихотворения рифмы вроде следующих:

локти — блоки,
приказы — запасы,
крыши — ближе,
уши — лужи.

Подобные рифмы, как известно еще с прошлого века по сочинениям Козьмы Пруtkова, есть «рифмы негодные и уху зело вредящие». Один наш знакомый (он музыкант и играет на скрипке в оркестре) рассказывал, что если ему попадется в стихотворении такая злобредная рифма, то он не может читать дальше, пока не исправит рифму на более благозвучную. Это у него вроде болезни. Он останавливается посреди стихотворения словно вкопанный и повторяет строки с негодной рифмой до тех пор, пока вместо «локти — блоки», «приказы — запасы» у него не получится «локти-блоки», «приказы-запасы». Только после такой переделки он может читать дальше. Смысл стихотворения при этом, конечно, теряется, так как в нем появляются такие слова, как «блоки», «запасы», «брыши», «луши», которые неизвестно что и обозначают.

Другой наш знакомый, человек от природы несколько раздражительный, сравнивал чтение таких стихов с быстрой ездой по неровной дороге, причем рифмы в этом случае он уподоблял ухабам. На ином стихотворении его, как он утверждает, изрядно потряхивает, и он не может отделаться от ощущения, что вот-вот вывалится из машины. Нужно сознаться, что такие «туговатые» рифмы, хотя и очень скребут уши некоторых чересчур музыкально одаренных читателей, встречаются все же не так часто, чтобы была необходимость кричать караул. Более распространенными являются рифмы другого сорта. Например:

стол — пол,
стоит — сидит,
удаляется — появляется,
хаживал — унаваживал,
деревянный — оловянный,
утятина — поросятина.

Такие рифмы не действуют вредоносно на слух, но и радости от них — как от козла молока. В отличие от предыдущих такие

рифмы принято называть унылыми, поскольку они наводят уныние как на читателей, так и на самих поэтов.

Справедливость требует отметить, что в изученных нами поэтических томиках, помимо вышеуказанных, попадаются также вполне звучные и оригинальные рифмы. Так, один поэт неожиданно оригинально срифмовал слова «моря» и «тараторя». Другому также удалось создать комбинацию из двух слов, удивляющую своей неожиданностью: «яйцо — деревцо». Таким образом, картина здесь не такая мрачная, как могло показаться сначала. Все-таки среди словесной руды попадаются иногда и радиоактивные вещества.

Мы, конечно, сознаем неполноценность и однобокость нашего труда, так как делали свои научные выводы не на основе всего нашего поэтического богатства, а только стихов с солидным стажем лежания на магазинных полках, выдержавших, так сказать, испытание временем.

Нас успокаивает, однако, сознание того, что в каждом труде могут быть свои недостатки. Надеемся, что критика не преминет своевременно указать нам на них. Мы, со своей стороны, не собираемся успокаиваться на достигнутом, а почаще будем наведываться в книжные магазины, с тем чтобы вовремя покупать появляющиеся поэтические новинки. Накопив достаточный материал, мы проведем исследование, чтобы узнать, в чем же наконец разница между той поэзией, которая раскупается быстро, и той, которая имеет тенденцию залеживаться в магазинах. Вообще у нас большие планы.

Кстати сказать, нам бы очень хотелось провести анализ такого явления: почему, например, у Маяковского замечательно рифмуются слова, окончания которых совсем не похожи: «обнаруживая — оружие», «в слезу бы — обеззубел», «выжиг — книжек» и тысячи других, в то время как у иного незадачливого поэта не рифмуются даже слова с абсолютно одинаковыми окончаниями, например: «думает» и «хромает»? В чем тут собака зарыта?

Но не будем, как говорится, забегать вперед.



ТРАКТАТ О КОМЕДИИ

Предлагаемый вниманию читателей трактат о комедии имеет то огромное преимущество, что составлен не специалистом в области драматургии, а обыкновенным зрителем. Известно, что самый простой, рядовой зритель разбирается в спектаклях гораздо лучше, чем любой театральный деятель, будь то актер, режиссер, драматург или даже сам директор театра. Ни для кого не секрет, как часто в театре ошибаются в выборе пьес, как носят иной раз с какой-нибудь постановкой, разучивают роли чуть ли не по два года, строят пышные декорации, шьют дорогие костюмы, затрачивают уйму денег, шумят, восхищаются, афишируют, анонсируют, а зритель, с радостью и надеждой устремившийся на новую постановку, разочаровывается и уходит с поникшей головой и потухшим взором. Обманувшись в своих ожиданиях, он перестает посещать спектакль. В результате театру приходится снимать пьесу с репертуара, не окупив и половины затраченных на нее расходов.

Все это вполне подтверждает право зрителя высказываться по вопросам драматургии, поэтому мы без лишних слов приступим к изложению дела.

Главное, без чего не бывает никакой пьесы, в том числе и комедии, — это действующие лица, или, как их иначе называют, персонажи или герои, почему мы и начнем изложение с персонажей, используя для этой цели свой многолетний зрительский опыт.

Главный герой

Мы познакомились с ним лет десять тому назад. В то время это был пожилой субъект с гладким, припухшим, словно распаренным в бане лицом, из тех лиц, которые принято называть бабьими. Голова его уже начала лысеть, но лысела не с макушки, как это бывает обычно, а по краям, главным образом с затылка и от ушей. Уши у него были толстые, мясистые: каждое ухо по полкилограмма весом. Короткие ручки непреодолимо тянулись друг к дружке и привычно складывались на круглом животике. Такие же коротковатые ножки имели ту же тенденцию и, когда он сидел, складывались под стулом кренделем. Голос у него был сиплый, сюсюкающий. Дикции — никакой абсолютно. Вместо «у» он говорил «ю», вместо «с» — «ш», а «ш» у него было похоже на «с». Если не особенно вникать в разговор, то только и слышалось: «пшю-пшю-пшю-пшю». Характер ворчливый. Впрочем, ворчал наш герой без всякой злобы, а больше по привычке. В общем, это был тип, который в общежитии принято называть старым хрычом. Это прозвище не следует смешивать со старым сычом и старым хреном. Старый сыч — тоже пожилой мужчина лет пятидесяти, но он никогда не ворчит, а злится главным образом молча. Старый же хрен — это довольно безобидный старик лет под девяносто. Он уже наполовину глухой, совсем выжил из ума и поэтому производит впечатление несколько чудаковатого. Впрочем, речь не о нем, а о старом хрыче. Время стерло в нашей памяти имя и фамилию этого персонажа, поэтому мы и будем называть его здесь условно Старым хрычом, зная, что за это на нас никто не обидится.

В то далекое время он был директором обувной фабрики. Сидя за столом у себя в кабинете и беседуя с кем-нибудь из подчиненных, он просматривал не спеша лежавшие перед ним бумажки, деловито перекладывал их с места на место или при-

хлебывал из стакана чай, который в любом количестве доставляла ему из буфета уборщица тетя Поля. Если звонил телефон, он спокойно брал трубочку, не высказывая никакой досады по поводу прерванной беседы. Разговаривал по телефону он с толком, с чувством, что называется — со вкусом. Наговорившись всласть, он спокойно клал трубку на рычаг и продолжал беседу точно с того места, на котором остановился. Словом, на своем руководящем посту он держался с какой-то прирожденной грацией, хотя из всех разговоров можно было понять, что он человек простого происхождения и даже сам когда-то работал обыкновенным рабочим на этой же фабрике. Главной своей задачей он считал перевыполнение плана, за что ежемесячно получал премиальные, обувь же выпускал такую, которую никто не хотел носить. Как на беду, фабрика имела свой фирменный магазин, в котором и начали оседать эти вышедшие из употребления допотопные бутсы.

Все уговаривали директора поскорей изменить технологию производства и наладить выпуск новых, более изящных фасонов обуви. Об этом ему твердили и на фабрике, и в тресте, и в главке, и в министерстве. Все понимали, что производство для того и существует, чтоб удовлетворять запросы покупателей, только один директор ничего не хотел понимать. Он слишком уж привык существовать спокойно, выпуская товар по раз навсегда заготовленному шаблону, и страшно боялся, что ломка производства приведет к срыву плана, что может лишить его авторитета, а заодно и получения премиальных.

Дело кончилось тем, что его сняли с работы и послали в магазин торговать той обувью, которую он сам же и выпускал. Это было очень смешное зрелище. Бедный директор и без того мучительно переживал понижение в должности, а тут ему приходилось еще выслушивать язвительные насмешки покупателей, которые называли излюбленный им товар не иначе как чеботами, ноевыми ковчегами, кандалами и тому подобными оскорбительными названиями. Такие разговоры действовали на него самым отрезвляющим образом. Осознав свои ошибки, он рьяно принялся за торговлю и проявил в этом деле большую сметку, ловко всучивая зазевавшимся покупателям свой залежалый товар. В этом деле ему очень помогло то, что новый директор фабрики быстро перестроил производство и стал подбрасывать в магазин новые, оригинальные фасоны модельной обуви. Наплыв покупателей увеличился, и возможность сбывать пресловутые ноевы ковчеги значительно возросла. В конце концов наш директор расторговался так, что руководство оце-

нило его старания. В результате он был возвращен на фабрику и восстановлен в прежней должности.

Вот какие вещи случаются в жизни! Нам очень понравилась эта комедия, и мы решили при первой же возможности снова пойти в театр и посмотреть еще что-нибудь такое же смешное и поучительное. Впоследствии мы как нарочно попадали почему-то не на комедии, а на драмы, и нужно признаться, что многие из этих драм были вполне хорошие, но они все же не могли удовлетворить нашей потребности в смешном. Поэтому мы очень обрадовались, когда наконец увидели новую комедию про одного председателя колхоза, который прославился тем, что вытащил свой колхоз из отстающих в передовые. Чем дольше мы смотрели на этого прославленного председателя, тем больше нам казалось, что мы с ним уже где-то встречались: довольно бесхарактерное, бабье лицо, уши по полкилограмма каждое, ручки, складывающиеся на животике, ножки кренделем. Да, это, без сомнения, был не кто иной, как уже известный нам Старый хрыч, с которым мы познакомились в предыдущей комедии. Должно быть, его в конце концов все-таки прогнали с обувной фабрики, а может быть, ему самому надоело глотать городскую пыль, и он решил поехать на свежий воздух в колхоз.

На нем по-прежнему был уже знакомый нам коричневый пиджачок, который плотно облегал его несколько расплывчатый стан, но вместо привычных ботинок он носил теперь сапоги, вместо фетровой шляпы — обыкновенный картуз с черным глянцевым козырьком. Сапоги и картуз в сочетании с легким загаром лица придавали ему более свежий, подтянутый вид, что несколько скрашивало его невзрачную фигуру.

Все эти перемены были, однако ж, внешние. Характер его не претерпел никаких изменений. Добившись неизвестно каким путем выполнения плана, он тут же и успокоился на достигнутом. Теперь он только и делал, что поминутно твердил, будто вытащил колхоз на своем собственном горбу в передовые, но уже больше не расширял посевных площадей, не добивался повышения урожайности, удовлетворяясь обычной прошлогодней нормой. Такое безмятежное существование продолжалось у него до тех пор, пока он не повздорил с агрономом из-за Зеленого дола. Агроном утверждал, что Зеленый дол — это огромный неподнятый пласт земли, который может дать большой урожай, если его засеять новым сортом пшеницы и провести искусственное орошение. Но председатель в этом Зеленом доле видел только новый источник беспокойств для себя и, вместо того чтобы помогать агроному в его мероприятиях, стал стра-

щать колхозников тем, что им придется рыть своими руками оросительный канал, а это-де тяжело, так как можно-де натереть мозоли. Конечно, ему не удалось запугать колхозников мозолями. Никто не поддержал его. Зеленый дол засеяли, и к самому жаркому времени года, когда хлеба уже начали сохнуть, канал был готов и живительная, как говорится, влага хлынула на поля, напоив истосковавшуюся по воде землю. Урожай получился огромный. Председателя сняли с работы, назначив на его место агронома. Агроном все же не стал мстить бывшему председателю и назначил его своим заместителем. Бывший председатель тут же раскаялся и стал уверять, что все случившееся пойдет ему на пользу.

«Критика — она, брат, сила,— говорил он,— кого в дугу гнет, кого выпрямляет. Ты думаешь, если степному орлу перья из хвоста повыщипали, так он и летать перестанет? Он еще взлетит!»

...И взлетел, не соврал. Просмотрев еще несколько пьес из современного и классического репертуара, мы попали опять на комедию и увидели, что наш герой, которого мы оставили в таком плачевном состоянии, на самом деле расправил крылья и превратился в крупного руководящего работника областного масштаба. Он распрощался со своим уютным, принявшим его собственные очертания пиджаком и надел вместо него хорошо сшитую гимнастерку серо-стального цвета, с широким ремнем из толстой, добротной кожи. Разговор его сделался более отрывистым и категорическим. У него даже появились собственные излюбленные поговорки, а именно: «Грохнем во все барабаны», «Всем шишек наставим» и «Давай, давай». Впрочем, характер его отнюдь не переменялся, а только усугубился соответственно более широким масштабам работы. Едва добившись на новом месте успехов, он тут же по привычке почил на лаврах и стал думать больше о том, чтобы пустить людям пыль в глаза, нежели о процветании вверенной ему области. Для своей любимой футбольной команды он выписал лучшего вратаря из Москвы, велел организовать самодеятельный хор из пятнадцати тысяч колхозников, стал проектировать постройку концертного зала в собственной квартире, чтоб у него на дому могли выступать писатели и артисты. Проделав ряд подобных головокружительных мероприятий, он стал зажимать проект постройки канала для орошения засушливых районов области, так как быстро сообразил, что для осуществления этого проекта придется как следует поработать, вместо того чтоб жить без хлопот, по старинке. Все уверяли его, что канал очень нужен для области,

но он, как это было ему свойственно, ничего не хотел понимать и противодействовал этому нужному, полезному делу до тех пор, пока его опять-таки не сняли с работы. Это уже была не комедия, а целая драма. Нас даже мороз продирает по спине, когда мы в последний раз видели этого человека, рухнувшего под ударами судьбы, как подгнившее снизу дерево. «Что это со мной? — вопрошал он, дико блуждая взором по стенам опустевшего кабинета. — За что?.. Сколько крови и пота в область всадил, и, как котенка, за хвост — и в яму!.. Батюшки, никого кругом! Одна пустота!» Это были его последние слова. Занавес упал, и мы, потрясенные, ушли из театра, полагая, что со Старым хрычом покончено навсегда...

Плохо же мы его знали! Когда мы попали в театр на новую комедию, то увидели, что наш главный герой жив и здоров. Он словно птица феникс возродился из пепла и явился перед нами в образе маститого писателя, который написал толстую книгу и очень прославился. Новая профессия уже наложила на него свой отпечаток. Навсегда распрощившись с гимнастёркой, он переселился в пестрый домашний халат, мягкие шлепанцы и, напялив на голову тубетейку с кисточкой, расхаживал по комнате с длинным чубуком в руках, напоминая своим видом захолустного байбака-помещика. Должно быть, он воображал, что все писатели одеваются подобным нелепым образом.

Верный своей натуре, он и на этот раз, добившись успеха, успокоился на достигнутом и, вместо того чтоб писать новый роман, принялся выступать с чтением своих старых произведений, сидеть в президиумах, разглагольствовать на собраниях, смотреть на жизнь из окна своей дачи и дремать под соловьиный рокот приятельских рецензий. Окончательно отгородившись от жизни, он, как было сказано в пьесе, окружил себя изгородью из льстецов, мелких деляг, прихлебателей и лживых критиков. Искренние друзья убеждали его встряхнуться, отбросить от себя всякий мусор и хлам, перестать дремать, а вместо этого писать что-нибудь новое, но он, по укоренившейся привычке, продолжал кейфовать и затеял даже празднование своего юбилея.

Кончилось тем, что о нем появилась в газете разгромная статья. Только после этого он спохватился и взялся за новое произведение, но вместо того чтобы писать, как все люди пишут, он нанял стенографистку и принялся диктовать ей какую-то дребедень из молодежной жизни. За две недели был надиктован пухлый роман. Но что это был за роман! Молодежь прочитала его и бросила обратно в лицо писателю.

На этом представление окончилось, и мы пошли домой очень довольные таким исходом, питая в душе надежду, что автор исправится и к следующему представлению напишет какую-нибудь новенькую интересную книжицу. Предчувствия эти, однако, не оправдались, так как нашему герою не удалось все же удержаться в литературе. Об этом он, впрочем, сожалел мало, так как в следующей комедии, которую нам удалось посмотреть, он превратился в крупного ученого-академика и на свою писательскую деятельность в прошлом смотрел теперь, надо полагать, не более как на шалость.

Соответственно своему новому положению, он стал жить теперь в доме старинной архитектуры, с лепными потолками, со стенами, выложенными почерневшим от времени резным дубом, с шикарной, несколько обветшалой мебелью красного дерева, с огромными угрюмыми шкафами, наполненными чудовищного размера книгами в крепких кожаных переплетах. На носу у него появились внушительные очки в роговой оправе, а на лице — выражение глубокомысленной сосредоточенности. Голос по-прежнему присюсюкивал, но в нем появились басовые нотки с оттенком металла. Благодаря этому, когда он, задумавшись над своими толстыми книгами, многозначительно произносил: «м-м-д-а-а», в зрительном зале казалось, что на сцене мычит корова. Он стал что-то самоуглубленно бормотать про себя, переходя от одного книжного шкафа к другому, и женился на молоденькой. К своей молодой подруге он относился с нежностью и обращался к ней на «вы», по обычаю старых ученых, сохранившемуся от прошлого века. Он считал, что молодая жена досталась ему в награду за его непосильные научные труды заодно с учеными степенями и званиями, и, поглядывая на нее, как кот на сало, все время тянулся рукой, чтоб погладить ее по спине. В общем, добившись от жизни всего, чего надо, наш академик, как сказал о нем жених его дочери, сидел у своего роскошного ученого стола, отдыхал в приятной безмятежности и все глубже погрязал в своем довольстве. Что ж, это было на него очень похоже!

Между тем, пока он безмятежно дремал в своем кресле, какой-то молодой ученый сделал научное открытие и провозгласил, будто всем известные вирусы — это живые существа и при желании могут быть превращены в микробов. Мало того, он набрал где-то вирусов, посадил в колбу и наделал из них микробов. Узнав об этом, наш маститый академик очнулся от спячки и сказал молодому ученому: «Ерундистика! Из мышьяка нельзя сделать пирожное. А вы берете самый чистый яд — ибо

вирус потому и назван вирусом, что он есть яд,— и воображаете, что из него делаете живых микробов». Молодой кандидат наук мог спокойно ответить, что если вирус — яд, то микробы тоже не сахар, но он скромно спросил своего старшего коллегу, откуда, по его мнению, в колбе при опыте берутся микробы, если не из вирусов, на что наш маститый осел ответил: «Из грязи». Началась борьба. Молодой ученый боролся за торжество нового взгляда в науке, старый же ученый боролся против нового взгляда, ибо все эти новые взгляды мешали ему спокойно дремать и пребывать в безмятежности. Испортив много крови молодому ученому, не оказав никакой поддержки рождению нового в науке, наоборот, задержав, насколько было в его силах, это рождение, Старый хрыч увидел, что дело кончится для него плохо, если он будет продолжать упорствовать, и, проверив опыты с получением микробов из вирусов, он решил наконец признать себя побежденным.

Комедия кончилась, а Старого хрыча даже не выгнали из академии, даже выговора не объявили. Это можно было объяснить только тем, что театральная дирекция так благоговела перед его академическим саном, что не отважилась поступить с ним по обычным драматургическим канонам, согласно которым на Старого хрыча перед окончательным закрытием занавеса должны валиться все шишки.

После этого мы опять некоторое время ходили только на драмы, а один раз смотрели даже трагедию, но потом на комедийном фронте началось настоящее оживление. Попад на очередную комедию, мы были страшно удивлены, увидев, какую новую штуку отмочил Старый хрыч.

Распростившись с научной карьерой, он помолодел лет на двадцать, окончил художественный институт, написал большую картину, получил за нее премию, купил холодильник, женился и, успокоившись на достигнутом, стал писать копии со своей картины, с выгодой продавая их разным организациям. Ему бы следовало писать что-нибудь новое. Все говорили ему об этом: и отец, и жена, и брат, и сестра, и старая тетка, но он, несмотря на свою талантливость, ничего не понимал и по-прежнему пек копии, как блины. Приближалась очередная выставка, на которую нужно было представлять работы, он же за все это время не написал ни одного нового шедевра. Засев в самый последний момент за мольберт, он намалевал на скорую руку какую-то чепуху, послал на выставку и с треском провалился со своим новым «шедевром» под занавес.

В следующей комедии он вынырнул уже в образе знатного

шофера, зачинателя движения стотысячников, впервые наездившего на автомобиле сто тысяч километров без аварий и капитального ремонта. Опять, значит, блеск славы, портреты в газетах, сидение в президиумах... Результат — безмятежное почивание на лаврах. Движение, так успешно начатое нашим героем, росло и крепло, уже многие шоферы наездили без аварий по двести тысяч километров, один даже умудрился наездить триста, а наш Старый хрыч как застрял на ста тысячах, так и не двигался с места. Он, как было сказано о нем в пьесе, «зажирел характером» и «ехал затылком вперед на подножке собственного движения». Все вокруг говорили ему, что нельзя успокаиваться на достигнутом, но он никого не хотел слушать и твердил свое: «Я начал. Я двинул. Я толчок дал». Наконец он задумал жениться, и все дело устраивалось как нельзя лучше, но невеста узнала, что он уже четвертый год едет на подножке и затылком вперед глядит, и все дело разладилось. Потерпев аварию в личной жизни, бедный инициатор движения понял, что кругом был не прав, и горько раскаивался.

Впрочем, девушка все равно согласилась выйти за него замуж, да было поздно, так как пьеса на этом кончилась, а в следующей комедии наш герой отколол такой номер, что ни о каком замужестве уже нечего было и думать.

Представьте себе, сам превратился в женщину. Нарядился в трикотажную кофточку и юбку, пробрался на текстильную фабрику, устроился там директоршей и начал выпускать ткани таких убийственных расцветок, что кони шарахались в стороны, мухи на лету мерли, а у людей перехватывало дыхание, как только эта материя попадалась им на глаза. Все говорили директорше, что надо выпускать ткани многоцветные, красивые, с тонким, художественным рисунком. Да где там! Директорша, как в бытность свою на обувной фабрике, только и делала, что твердила, будто вытащила фабрику на своем горбу из прорыва и теперь план, дай бог каждому, выполняется на все сто сорок процентов. «Тебе лишь бы процент! — стыдила ее старушка мать. — Все магазины завалены твоим хламом. Уж очень ты вознеслась. Не назад, а вперед глядеть надо». Но директорша даже родную мать не послушалась. Тогда эта принципиальная старушка пожаловалась на нее заместителю министра. Вот до чего дошло! Заместитель министра вызвал строптивую директрису в министерство и предупредил, что, если она не оставит своих художеств, ее уберут с фабрики.

Пришлось Старому хрычу осознать свои ошибки и спешно перековаться на новый лад. Должно быть, он поработал на

славу, так как очень быстро получил повышение и уже в следующей комедии сам стал не более не менее как заместителем министра. Эвон куда хватил! Забравшись на такую высоту, наш герой снова зазнался, купил еще один холодильник, оторвался от масс, стал зажимать критику и пить боржом. Куда бы он ни поехал, следом за ним обязательно везли ящик с боржомом. Все остальные действующие лица только и делали, что твердили: «Не отрывайся от масс! Не зажимай критику! Не пей боржом!» Но он никого не слушался, продолжал пить боржом и говорил: «Чего вы лезете в мою душу со своими нравоучениями? Кто вам дал на это право?» В результате он, по его же собственному признанию, стал расти не ввысь, а вширь, обюрократился, превратился в шляпу и ротозея, окружил себя свояками, знакомыми и каким-то Жорой, который хапнул двадцать вагонов строевого леса и тридцать тонн цемента, после чего нашего бедного замминистра освободили от обязанностей и послали на работу куда-то в район.

Продолжение этой печальной истории мы увидели в следующей комедии. Очутившись в районном центре, наш герой стал грубым и раздражительным. Свою жену он называл теперь не иначе, как шельмой, дурой и чертовой куклой. Для подчиненных ему председателей колхозов у него не было иных слов, кроме как: «Я цацкаться с вами не буду! Я вам сабантуй устрою! В порошок сотру! Блин сделаю! Дух вон и жилы на телефон!» И откуда только таких слов набрался! Как и в предыдущих случаях, когда он выполнял план за счет снижения качества продукции, он и на этот раз решил идти не прямым путем, а каким-то кривым, загогулистым. Вместо того чтоб сдавать государству хлеб, он набрал где-то фиктивных квитанций и вышел на первое место, сдав государству вовсе не хлеб, а просто кукиш. Эта, если можно так выразиться, негоция была разоблачена прокурором еще до полного ее завершения, и пьеса на этом кончилась.

После знакомства с прокурором наш герой уже не брался за дела в районном масштабе, а появлялся лишь в ролях директоров мелких фабрик, заводов, небольших учреждений, научно-исследовательских институтов, мебельных комбинатов, игрушечных фабрик, где старался все сделать не как получше, а как полегче, на худой же конец, воровал чью-нибудь диссертацию, присваивал чужое изобретение или ставил обманным путем спортивный рекорд.

В последний раз мы его видели в качестве директора дома отдыха горздравотдела. В этом доме отдыха он чувствовал себя как рыба в воде. Однако страшно даже подумать, какой

отпечаток накладывает на человека его профессия! Отъевшись на казенных харчах, наш герой разбух, как насосавшийся крови клоп, лицо его побурело, набрякло и, казалось, вот-вот лопнет. Он нарядился в какой-то невозможный зеленый пиджак и совсем уж невыразимые небесно-голубые брюки. Подобострастно вертя ногами в красных полуботинках, он юлил перед женами ответственных работников, приехавшими в дом отдыха. Стараясь выслужиться перед ними, он то и дело принимался плясать, словно шансонетка из кабаре, и, даже стыдно сказать, пел куплеты какого-то пошленького содержания:

Вы поймите, в самом деле,
Без знакомств нам не прожить.
В курбюро, и в промартели,
И в райфо, и жилотделе
Надо их заплучи-ить.

Все отдыхающие делились у него на две группы. Перед одними он лебезил, подхалимничал, подличал и кормил их клубникой, к другим же относился наплевательски и не давал даже манной каши. Единственный куст сирени он обломал, чтоб соорудить букет для жены начальника горздравотдела, из железной решетки, предназначенной для теннисного корта, сделал себе курятник, съел кишмиш, приобретенный для кренделей, и свалил на мышей. Такой же участи подверглись ветчина и липовый мед. Сверх того он продал на сторону целый вагон клубники. Пронюхав, что отдыхающие собираются подать на него жалобу, он организовал за ними слежку, стал писать анонимные письма и готовить какие-то компрометирующие фотодокументы, ради которых носился с фотоаппаратом, как дурень с писаной торбой. Ничего у него, конечно, не вышло: его сняли с работы, даже заместителем не оставили.

Мы смотрели на этого горе-руководителя и не переставали удивляться: почему так не везет всем этим театральным директорам?

Нам почему-то вспомнился один наш знакомый директор, которого мы знали в жизни. По сравнению со своими театральными коллегами этот директор был прямо-таки святой человек, самоотверженный труженик, забывавший ради работы все на свете, вплоть до самого себя. Едва он появлялся утром у себя в кабинете, как сейчас же к нему начинали приходить разные люди: начальники цехов, отделов, лабораторий, инженеры, техники, мастера, заказчики, поставщики, толкачи, ревизоры, контролеры, бухгалтеры и просто сотрудники с требованием раз-

решить тот или иной вопрос; со всех сторон несли к нему на подпись бумажки, с которыми нужно было внимательно знакомиться, чтоб не подписать впопыхах какую-нибудь чепуху; тут же начинали трещать над ухом звонки, телефоны, то и дело приходилось прерывать разговор, бросать начатое письмо, хватать ту или иную трубку, что-то кричать в нее, либо бежать в цех, пролет, лабораторию, ехать в трест, главк, райком, министерство; готовить отчет, делать доклад, проводить совещание, разбирать конфликт... да мало ли что! Для того чтоб все сделать, ему не хватало дня. Он засиживался на работе и возвращался домой поздно вечером. А у него была маленькая дочка, которую он очень любил и почти никогда не видел, так как она ложилась спать задолго до его возвращения. Врачи давно рекомендовали ему поехать на юг, так как это требовалось для его здоровья, но он предпочитал никуда не ездить, а всегда проводил отпуск дома, чтоб хоть некоторое время побыть со своей семьей. Нужно также сказать, что он никогда не делал никому пакостей, не продавал на сторону клубнику, не воровал чужих диссертаций и изобретений, не пел куплетов, не наряжался в голубые брюки, а одевался как самый простой нормальный человек, то есть вполне прилично.

Мы вспомнили также одного очень хорошего нашего знакомого академика. И опять-таки нас поразило, как далеко было этому академику до той безмятежности, в которой пребывал академик из виденной нами комедии. Положение, занимаемое им в науке и обществе, накладывало на него столько разных обязанностей, что бедняге буквально вздохнуть было некогда. Он к тому же и не мечтал ни о какой безмятежности. Вся его жизнь была сплошной труд. Без этого своего любимого труда он чувствовал бы себя несчастным, а вынужденное безделье было для него хуже болезни. Любовь к труду была его натурой, она-то и сделала его крупным ученым и академиком. Эта любовь к труду, конечно, не могла исчезнуть только из-за того, что человеку присвоили ученую степень и выбрали его в академию.

Мы, конечно, понимаем, что подобным хорошим людям нечего делать в комедии, поскольку над ними никто не станет смеяться, а в комедии нельзя без смеха. Мы только хотели предупредить читателя, что в жизни все обстоит не так мрачно, как это может показаться, если судить о ней по комедии. Поэтому не станем впадать в уныние и не будем по комедии судить о жизни. По комедии можно судить только о комедии, а о жизни надо судить по жизни.

Отрицательный тип

Комедия для того и существует, чтоб показывать в ней разных отрицательных персонажей, но было бы все же ошибочным изображать главного героя в виде целиком отрицательного типа, как это иногда делают не совсем опытные драматурги. Изображать в лице Старого хрыча все пороки и недостатки — это значит обкрадывать самого себя.

Отрицательный тип или персонаж — это совершенно самостоятельное действующее лицо в комедии. По своему нравственному уровню он стоит значительно ниже, чем описанный нами главный герой. В сущности, Старый хрыч не такой уж плохой человек. Наряду с отрицательными чертами в нем много и положительных, однако ведущей чертой его характера является полная, можно даже сказать, абсолютная бесхарактерность, благодаря которой он то и дело попадает под дурное влияние и совершает ошибки.

Отрицательный тип — это человек злонамеренный, закосневший в своих пороках, не имеющий ни одной, хотя бы самой маленькой, положительной черточки. Обычно он появляется в пьесе в самый ответственный момент и только для того, чтоб подложить свинью главному герою и так или иначе подвести его под монастырь. Так, например, когда Старый хрыч работал на обувной фабрике, отрицательный тип пробрался на эту же фабрику и устроился там в качестве главного инженера. Не кто иной, как он, подучил доверчивого директора выпускать никуда не годную обувь, с чего, собственно говоря, и начались все беды. Когда наш герой работал в областном масштабе, этот инженер превратился в ученого, который объявил план постройки канала для орошения засушливых районов области пустой фантазией. Старый хрыч и тут наивно ему поверил, за что в результате и полетел с руководства. Пострадав ни за что, главный герой принялся снискивать себе пропитание литературным трудом. Отрицательный тип и тут не растерялся и тоже, как он выразился, «нырнул в литературу». Вынырнув в виде уполномоченного литературно-лекционного бюро, он принялся метаться вокруг новоявленного писателя, как какой-то злой дух, стал таскать его по каким-то коммерческим «точкам» и добился в конце концов того, что бедный автор зазнался со всеми вытекающими отсюда последствиями. А когда главный герой нашел себе прибежище в науке и сделался академиком, разве этот злой дух не превратился в маститого ученого, разве не втерся он в доверие к почтенному академику, разве не стал он настраивать его против

опытов молодого кандидата наук? Дорого обошлась академику его доверчивость! Из-за этого он чуть не потерял весь свой ученый авторитет. Да что говорить! А когда наш главный герой был художником, разве не вертелась вокруг него некая темная, вечно что-то жующая личность в шляпе и круглых роговых очках, тоже выдававшая себя за художника? Разве мы видели хоть раз, чтобы этот «художник» держал в руках палитру или хотя бы кисточку? Нет, он только и делал, что толкал нашего доверчивого героя на неправильный путь, заставляя его писать бесконечные копии, сам же заключал на эти копии договоры с разными организациями и получал за это соответствующую мзду. Однако всех его деяний и не перескажешь!

Отрицательный тип — темный блондин, стрижется под польку, волосы мажет вежеталем и причесывает на боковой пробор. Роста высокого, хорошо сложен, но несколько худощав, носит очки с золотым ободком, во рту — золотой зуб, любит курить дорогие папиросы, разговаривает приятным, бархатистым баритоном, манеры солидные, в обращении вежлив, даже вкрадчив, но, попавшись на воровстве, злобно сверкает глазами, хищно оскаливает зубы, становится нахальным и грубым. Одевается в хорошо сшитый розовато-бежевого цвета костюм. В этом розовато-бежевом костюме он переходит из пьесы в пьесу, не давая даже себе труда на переодевание. По всем этим признакам, а главное, по цвету костюма, который виден за версту, Старый хрыч мог бы легко распознавать своего противника и своевременно принимать меры предосторожности, однако не может этого делать в силу прирожденной своей близорукости, из-за которой не видит ровным счетом ничего дальше собственного носа. Отрицательный тип прекрасно осведомлен о таком органическом недостатке главного героя и поэтому не прибегает ни к какой маскировке, будучи уверенным в полной своей безнаказанности.

Отрицательный тип любит должности научных работников, заведующих кафедрами, главных инженеров или технологов, иногда просто инженеров, но не на производстве, а в главке или министерстве, заместителей директора по научной или хозяйственной части; но может быть также художником, директором продбазы, уполномоченным отдела заготовок или лекционного бюро, начальником службы тяги на железной дороге, квартирным склочником, клеветником, перестраховщиком, конъюнктурщиком и многим другим. Короче говоря, он не гнушается никаким делом и берется за все, лишь бы довести до конца свою гнусную роль в пьесе.

Подруга жизни

Подобную роль, только несколько в иной сфере, играет другой персонаж комедии, а именно подруга жизни, или, попросту говоря, жена Старого хрыча. Фигура эта очень колоритная и представляет собой просто находку для драматурга, благодаря чему без нее не обходится почти ни одна комедия. Она особа довольно грузная и пожившая на свете, однако выдает себя за женщину средних лет, еще способную (как она о себе воображает) нравиться мужчинам, для чего усиленно мажет физиономию разными мазями, кремами, притираниями, красит губы в яркий пунцовый цвет, а волосы в черный, подрисовывает брови таким диким образом, что это заметно даже с галерки. Одевается она обычно в расписные халаты или капоты, купленные по случаю в комиссионном магазине, но если узнает, что в дом должен прийти кто-нибудь из знакомых или незнакомых мужчин, то сейчас же бежит переодеваться в модное платье. Умственные способности этой женщины крайне ограничены. Полдня она вертится перед зеркалом, другую половину болтает по телефону с портнихой, в промежутках сплетничает, рассуждает о нарядах, пилит мужа, заводит патефон, причем любит пластинки с заграничными фокстротами и считает, что наши композиторы «так не умеют». Со сцены она исчезает только для того, чтоб пойти в парикмахерскую. Появляясь же на сцене, никогда не забывает поставить в известность зрителей, что была в парикмахерской. Иногда, впрочем, она приходит из театра, и тогда все ее разговоры сводятся к тому, что на ком было надето, кто на ком из актеров женат и за кем замужем та или иная актриса.

Она очень любит командовать своей дочерью. Отваживает от дома всех ее женихов, которые ей не нравятся тем, что являются скромными тружениками и стремятся на периферию. Такого специалиста сельского хозяйства, как агроном, она считает не парой для своей дочери и с презрением говорит: «Какой-то агрономишка! Я понимаю: профессор, драматург, замминистра».

Положением своего мужа она очень гордится и говорит дочери: «Не забывай, Юлия, чья жена твоя мать». Не удовлетворяясь, однако, ролью спутника, который светит отраженным светом, тут же прибавляет: «Твоему отцу, милочка, стали завидовать с того дня, как я вышла за него замуж». Вместе с тем она постоянно третирует своего мужа, как деревенского увальня, говорит, что у него ужасный вкус, только на том основании,

что бедняга любит пельмени; считает, что его нужно подтягивать до ее уровня, сама же верит в сны и воображает, что увидеть во сне печку — это к печали.

У нее очень смутное представление о той деятельности, которую ее муж ведет за стенами дома. Его работа представляется ей местом, где получают разные отличия, повышения в должности, прибавки к окладам, почетные звания, ученые степени, а также зарплату, премии и персональные машины. Она не устает твердить мужу, чтоб он не зевал и не давал себя обскакать другим сослуживцам, готова издохнуть от зависти, если кому-нибудь из знакомых директоров дадут в качестве персональной машины «ЗИЛ», в то время как у ее мужа простая «Победа».

Главной своей задачей она считает заботу о здоровье супруга, все время повторяет ему, чтоб он не волновался, но как только он успокаивается, сейчас же рассказывает ему новость о том, что кого-нибудь из знакомых повысили в должности, а он-де «как родился телятком, так и умрет телятком», в результате чего бедный главный герой начинает волноваться снова. Она постоянно твердит, что у нее «интуиция», что она каждого человека видит насквозь, и, считая, что ее муж «окружен шипением завистников», наговаривает ему на всех его подчиненных, главным образом на его заместителя, которого подозревает в том, будто ему хочется выжить Старого хрыча с работы, а самому сесть на его место. В общем, она ни на минуту не дает мужу покоя — дергает его, теребит, толкает, мешает, долбит, что называется, в самое темя, сбивает с толку, доводит каждый раз до беды и говорит: «Если бы не я, ты никогда бы не был тем, что ты есть». Она с ножом к горлу пристаёт к нему, требуя наряды денег, а когда муж отказывает, она входит в контакт с отрицательным типом, который делает ей всякие подношения, достает откуда-то панбархат, шерсть букле, японский шифон, китайские вазы, лисьи шкурки, ранние огурцы и даже начинает по секрету от Старого хрыча строить ему дачу. Таким образом, отрицательный тип втирается к главному герою в дом, незаметно влезает в самую душу и, окончательно войдя в доверие, начинает топить в ложке воды, что ему обычно и удается.

Если отрицательный тип вредит главному герою в силу своей природной гнусности и зловредности характера, то описанная нами подруга жизни делает это по своей глупости и несознательности. В сущности, это грубая, невоспитанная баба и такая дуреха, что только тряпку не сосет. Наличие этого персонажа в комедии все же необходимо, так как он очень обостряет действие

и вызывает у публики сочувствие к главному герою. Каждый зритель без труда понимает, какое для человека счастье иметь вот такую подругу жизни. Для драматурга же возбудить сочувствие к своему герою — это на девяносто процентов обеспечить успех спектакля.

Положительный герой

Назначение положительного героя — олицетворять положительное начало, доказывая своим наличием в пьесе, что мир состоит вовсе не из одних шляп, ротозеев, мерзавцев, пошляков, дур, дураков и перестраховщиков.

Для того чтоб доказать, какой он, в сущности, замечательный человек, положительный герой режет всю правду-матку прямо в глаза отрицательному типу и, не зная устали, направляет на путь истинный главного героя. Еще в те времена, когда главный герой был директором обувной фабрики, положительный герой работал секретарем одного из райкомов и всеми силами старался вытащить незадачливого директора из той рутины, в которой он погряз по самые уши. Для этой цели он действовал, однако ж, не путем административных взысканий, пропесочивания, намыливания шеи, натирания холки и прочих методов обуздания зарвавшихся руководителей; нет, он старался пробудить в нем добрые чувства, действовал деликатно и, только убедившись, что никакие разумные доводы тут не помогут, пошел на крутые меры. Однако после того как Старый хрыч слетел со своего пьедестала и попал за прилавок обувного магазина, положительный герой не отвернулся от него с презрением, как это всегда делает отрицательный тип, а продолжал бороться за то лучшее, человеческое, что еще сохранилось в нем под покрывавшей его с ног до головы корой грязи. Непосредственно после разразившейся катастрофы он пришел в обувной магазин и, не пожалев собственных денег, купил ненужные ему допотопные башмаки только лишь для того, чтоб смягчить сердце пострадавшего по своей собственной глупости директора.

В другой комедии, в которой Старый хрыч наломал дров в областном масштабе, этот бывший секретарь был назначен к нему заместителем. Старый хрычишка обрадовался, думал, бывший секретарь на положении старого друга будет смотреть сквозь пальцы на все его чудачества. Однако новый заместитель и тут не стал смешивать личное и общественное и, как по-

ложено было ему по штату, старался воздействовать на своего друга сначала лаской и только потом уж принялся подвинчивать гайки потуже. Так же деликатно он поступал и в той пьесе, в которой главный герой выбился на вершины науки и пребывал в стадии академического покоя и безмятежности. «Покой заслуженный, не спорю, но покой есть состояние, близкое к нулю», — говорил бывший заместитель своему старому другу, тонко намекая на то, что никакое лоботрясничество в настоящем не может быть оправдано заслугами в прошлом.

Положительный герой является антиподом отрицательного типа и, обладая целым ворохом положительных качеств, не имеет ни одного недостатка, если не считать недостатком то, что при своей приземистости ему хочется казаться повыше ростом, для чего он носит сшитые на заказ ботинки с высокими каблуками. Возраст его — тридцать — тридцать пять лет; шатен; волосы зачесывает назад и слегка подвивает (самую малость, так, что издали почти незаметно). Узнать его можно по элегантному, сшитому у хорошего портного костюму, не так чтоб уж слишком светлого, но и не слишком темного серого цвета, а также по умению со вкусом подобрать галстук. У него нет ни жены, ни детей, ни кола ни двора, ни близких, ни даже далеких родственников. Он обычно не собирается жениться и дает понять, будто в прошлом не то был обманут в любви, не то прозевал свое счастье. Считая, что для него в этой области уже все потеряно, он думает только о счастье других и очень любит устраивать дела влюбленных героев.

Он всегда учтив, мягок, обаятельно прост, никогда не повышает голоса, выслушивает собеседника, слегка наклонив голову и с чуть улыбочиво сложенными губами. Обладая тонким вкусом и будучи натурой очень художественной, он глубоко чувствует красоту природы и часто посреди серьезного разговора может вдруг остановиться, чтобы застыть в немом восторге перед каким-нибудь изумительным пейзажем или обратить внимание собеседников на исключительно колоритный закат солнца и процитировать несколько прочувствованных строк из подходящего к данному случаю художественного произведения. Услышав щелканье соловья в саду, он опять-таки застывает с раскрытым ртом, блаженной улыбкой на лице и поднятым кверху указательным пальцем.

Из вин предпочитает коньяк высшей марки, за неимением какового легко довольствуется рюмкой московской горькой.

Влюбленные герои

Необходимо отметить, что одного Хрыча с подругой жизни и положительного героя с отрицательным типом далеко не достаточно для того, чтобы получилась комедия. Все, что имеют сказать друг другу эти лица, уже давно всем известно и может быть высказано в течение одного часа; нормальная же комедия должна тянуться часа три или четыре, иначе публика, купившая билеты и законно считающая, что за эти деньги у нее полностью должен быть убит весь вечер, останется недовольна. Для того чтоб растянуть спектакль и не дать при этом зрителю помереть от скуки, в комедии обычно наличествуют персонажи, которых принято называть любовниками или влюбленными героями.

Первая пара таких персонажей — он (влюбленный герой) и она (влюбленная героиня) — появляется на сцене в самом начале пьесы и затевает какую-нибудь ссору, которую тянет, елико возможно, в течение всех трех или четырех действий, и только перед окончательным закрытием занавеса они мирятся и женятся к величайшему удовольствию зрителей, которые всегда почему-то горячо сочувствуют влюбленным и всеми силами души желают, чтоб они наконец поженились.

Такие ссоры могут происходить от множества причин. Иногда влюбленный молодой человек становится на сторону главного героя, который считает, что вместо доброкачественной продукции можно выпускать какую-нибудь дрянь, лишь бы план выполнялся. Влюбленная же в него героиня считает, что продукция должна выпускаться только хорошего качества. В результате в отношениях влюбленных возникает трещинка, которая все разрастается и неминуемо должна привести к разрыву. Однако положительный герой всегда успевает вовремя помирить молодых людей. Иногда влюбленный герой боится объясниться девушке в любви, потому что не знает, как будет принято его чувство. Героиня же прекрасно видит, что он влюблен в нее по уши, и ждет, прямо-таки жаждет признания. Но так как он малодушно медлит, начинает сама вызывать его на объяснение, делать намеки и, почти признавшись ему в любви, спохватывается, начинает говорить колкости, чтоб он не принял ее намеков всерьез, от колкостей переходит к насмешкам и издевательствам, он же в ответ начинает грубить и вот-вот уже готов признаться в любви, но каждый раз, когда признание готово сорваться с его языка, она обдаёт его ледяным холодом или обжигает таким острым словом, от которого он взвивается на дыбы и ска-

чет, закусив удила, в сторону. Дорого ему приходится платить за то, что она, на минуту забывшись, сама чуть не призналась ему в любви. Убедившись, однако, что такая канитель без конца тянуться не может, влюбленная героиня прибегает к последнему самому испытанному средству и объявляет, что уезжает работать или учиться в другой город. Окончательно потерявшему голову влюбленному кажется, что рушится небо. Он бросается к положительному герою, который либо учит его, как объясниться в любви девушке, либо сам объясняется за него. Дело, как известно, кончается примирением, и положительный герой, радуясь чужому счастью, обещает погулять на свадьбе у молодых.

Иногда осложнения между влюбленными начинаются и вовсе без каких-либо разумных причин. Молодому человеку случается просто постоять на улице со знакомой девушкой. Влюбленная героиня решает отплатить ему чем-нибудь в этом же роде и отправляется с кем-нибудь из знакомых в кино. Дальше — больше, взаимные обиды растут наподобие снежной лавины. Бывает и так, что осложнения начинают возникать из-за какой-нибудь глупой случайности. В одной веселой комедии влюбленная героиня пригласила своего возлюбленного к себе на дачу и заранее предупредила бабушку, чтоб она никого не принимала, кроме молодого человека в сером костюме. Молодой человек, к своему несчастью, приехал в синем костюме и был выставлен бабушкой за ворота. В результате — опять канитель до конца пьесы. Конечно, такие осложнения очень мучительны для влюбленных, но зато очень поучительны для зрителя, который может вывести для себя из пьесы мораль о том, что приглашая к себе на дачу молодого человека, лучше сообщать бабушке его фамилию, а не цвет костюма.

На отношения между влюбленными может оказывать влияние не только злая судьба или слепой случай, но также и злая воля, как это случилось с одним влюбленным инженером, который поехал отдыхать, но не поладил с директором дома отдыха. Этот злобный директор сообщил невесте инженера, будто ее жених, проживая в доме отдыха, совратил с пути истинного двух девушек и одну замужнюю женщину. Конечно, директор набрехал просто из мести, как самый последний шелудивый пес, но влюбленная героиня всему этому поверила и устроила влюбленному в нее инженеру такую веселую жизнь, что бедняга готов был утопиться в пруду, который находился неподалеку от дома отдыха.

Иногда влюбленные и не ссорятся, а просто не могут дого-

вориться между собой, так как она слишком высокого мнения о своем женихе и считает, что еще не доросла до него, он же почему-то считает, что не дорос до нее. Бывает же и так, что жених, едва перевалив за тридцать лет, считает себя слишком старым для своей невесты, хотя она, по всей видимости, готова выйти за него хоть сегодня. Бывают еще и такие случаи, когда влюбленные женятся в первом действии или уже в самом начале пьесы оказываются женатыми. Случай этот для драматурга вовсе не безнадежный, так как молодой муж сразу же погружается в работу, а жена начинает воображать, что он ее уже не любит; на этой почве они ссорятся, расходятся, страдают друг от друга вдали и сходятся не раньше, чем пьеса подойдет к концу. Такие молодые муж и жена ничем не отличаются от обычной пары влюбленных, и любая размолвка между ними может быть использована как затравка для канители.

Следует помнить, что путь влюбленного героя очень нелегок. Одной любовью, как известно, сыт не будешь, а поэтому молодому человеку приходится где-нибудь работать, причем ему очень нравится что-нибудь изобретать, делать научные открытия, создавать проекты каналов для обводнения засушливых земель и т. п. Старый хрыч, как мы в этом уже убедились, терпеть не может никаких новшеств, в том числе и проектов, и обрушивается на них со всей силой своей инерции. Положение бедного молодого человека осложняется еще тем, что при всем этом он часто не может обойтись без того, чтобы не влюбиться в дочь Старого хрыча, а у Старого хрыча в каждой комедии обязательно есть взрослая дочь. Таким образом, влюбленному герою приходится воевать с папашей как с рутинером и бюрократом и в то же время мириться с ним как с будущим тестем и сверх того стараться поладить с мамашей, которая его терпеть не может, потому что считает недостойным своей дочери. Попробуйте, однако, поладить с особой, которой вы вполне вежливо говорите: «Здравствуйте», она же вместо приветствия отвечает: «Нельзя ли потише!»

Влюбленного можно узнать по счастливому, дико блуждающему взгляду, по желанию рассказывать каждому встречному о своей любви или сочинять плохие стихи. Галстук у него почти всегда на боку или повязан наизнанку. Прическа всклокочена. Он очень рассеян: будучи занят своими мечтами, отвечает невпопад, при отсутствии собеседников разговаривает сам с собой, ходит словно во сне, как лунатик.

Влюбленную героиню очень трудно отличить от обыкновенной девушки, так как женщины очень сдержанны в проявлении

своих чувств и ловко умеют скрывать их. При известном опыте, влюбленную все же можно обнаружить по мечтательному выражению глаз, по легкой, беспредметной улыбке, блуждающей по лицу, а также по тому, что она уже в пятидесятый раз заставляет бабушку рассказывать о том, как она впервые встретила с дедушкой и что она почувствовала в тот момент.

Одной пары влюбленных почти никогда не бывает достаточно, чтобы тема любви могла развернуться в пьесе во всей своей полноте. Опытный драматург обязательно вводит в пьесу еще одного молодого человека, с которым влюбленная героиня могла бы слегка пококетничать, чтобы позлить жениха, возбудить в нем ревность, заставить его мучиться, волноваться, совершать идиотские поступки и тем самым доказывать всю силу своей любви. Этот второй молодой человек также может влюбиться в героиню, но, поскольку она не может выйти замуж сразу за двоих, в пьесе должна быть еще одна девушка, которую он может полюбить к концу спектакля и даже жениться на ней. Эта вторая героиня с самого начала спектакля обычно любит этого дополнительного героя, но так как сам дополнительный герой воображает, что любит первую девушку, сердце которой принадлежит основному герою, то не обращает на вторую героиню никакого внимания и, только убедившись, что основная героиня нисколько не интересуется им, вдруг замечает, что вовсе и не любил ее, после чего переносит весь жар любви на вторую героиню, которую, как теперь становится ясным, он только и любил с самого начала пьесы. Бывает и так, что эта дополнительная девушка вовсе не любит дополнительного юношу, так как воображает, что любит основного, в то время как дополнительный любит ее, она же не обращает на него внимания и только после того, как убедится, что основной герой ее вовсе не любит, решается выйти замуж за дополнительного. Возможен и такой случай, когда первому влюбленному герою только кажется, что он любит первую героиню, и вот он спорит с ней, ссорится, мучится ревностью, совершает в полной последовательности все идиотские поступки и только к концу пьесы убеждается, что вовсе и не любил первую героиню, а, наоборот, все время только и любил вторую, второй герой тоже убеждается в своих противоположных чувствах и женится на первой героине, если тут вдруг не спутает карты какая-нибудь третья влюбленная. Для оставшейся за бортом первой влюбленной в этом случае необходимо вводить в пьесу еще одного молодого героя.

Пока в пьесе только одна пара влюбленных, для драматурга

выбор комбинаций несколько ограничен, хотя и тут есть кое-какие возможности, так как роли влюбленных могут играть и положительный герой, и отрицательный тип, и даже сам Старый хрыч. Зритель бывает обычно вполне доволен, если в конце пьесы женится одна пара влюбленных. Если женятся две пары, зрители приходят в восторг и устраивают автору бурную овацию. Если же драматургу удастся в конце комедии переженить три пары, то зрители приходят в исступление, кричат «браво», «бис», хлопают в ладоши, стучат ногами, ломают стулья и, счастливые, расходятся по домам.

Тетя Поля

Единственное действующее лицо в комедии, которое можно увидеть за работой,— это домработница. Ее обычно зовут Полей. Она все время слоняется по комнатам, шаркает по полу щеткой, вытирает пыль с мебели, то и дело бросается отворять дверь по звонку, подает обед, бьет посуду, таскает тяжелый самовар, который бухает на стол с таким остервенением, словно задумала ошпарить кипятком все сидящее за столом общество.

Хозяйка, то есть жена главного героя, называет ее постарорежимному прислугой, считает, что от нее «положительно можно сойти с ума», все время покрикивает и грозит вычестить из жалования стоимость разбитой тарелки. Поля хотя на вид совершенно безобидное существо, однако не дает спуска хозяйке, называя ее мадамой и пиявкой в панбархате, абсолютно не слушает никаких приказаний и делает все по-своему.

К Старому хрычу Поля относится более сочувственно, так как видит, что он далеко не плохой человек и страдает исключительно из-за своей слабыхарактерности и желания угодить сумасбродке жене. Однако она и Хрычу не дает потачки, считая, что ему полезно выслушивать в самой резкой форме горькую правду.

«Будет глотку-то рвать,— говорит она, замахиваясь на него половой щеткой.— Хоть бы дома дал ей продых! Критики-самокритики не любишь, вот что!»

Если Старый хрыч отважится прикрикнуть на нее, она отвечает:

«А ты не кричи, не боюсь. Ох, тяжкий ты человек, Романыч, ох, тяжкий! Слава тебя одолевает. Каплет она с тебя, ровно сало. Кому говорю: образумься!»

На что Хрыч, по обыкновению, отвечает:

«Пошли вы все от меня ко всем чертям!»

Нам понятно раздражение главного героя и желание послать всех ко всем чертям, ибо кто только его не поучает: и жена, и дочь, и положительный герой, и даже жених дочери, который лезет с каким-нибудь новым проектом, а тут еще Поля!

Хозяйка все время собирается прогнать Полю, но Хрыч каждый раз заступает за нее, так как Поля замечательно готовит пельмени, без которых он не мыслит своего существования. Но Поля и сама не хочет оставаться у них и все время грозит уехать в колхоз или уйти на фабрику, где собирается стать новатором производства. В конце пьесы она и на самом деле складывает свои вещички и покидает дом, иногда с целью выйти замуж, и этот вариант наиболее устраивает зрителя, так как в перспективе появляется еще одна свадьба, иногда же действительно поступает на фабрику, где становится после все же не новатором, а уборщицей. Нам часто случается после этого видеть ее в директорском кабинете, куда она заходит со щеткой, чтобы подмести пол и сообщить зрителю недостающие сведения о самочувствии директора после очередной нахлобучки в тресте или министерстве.

Язык Поли очень ярок и красочен. Вместо «кухня» она говорит «куфня», вместо «спит» — «дрыхнет» и т. п. Драматурги очень любят пользоваться колоритностью ее языка, так как это способствует индивидуализации речи героев и должно очень смешить зрителя. Заметим в скобках, что на самом деле смеется далеко не каждый зритель, но это зависит уже от самого зрителя, а не от драматурга.

В старости тетя Поля (с годами Поля постепенно превращается в тетю Полю) работает обычно в каком-нибудь санатории или доме отдыха нянечкой. Там она сидит в вестибюле за столиком, дежурит у телефона и, поглядывая поверх очков на окружающий мир своими добрыми старушечьими глазами, проворно вяжет на спицах нескончаемый шарф. Она очень любит поговорить с приезжающими, и с уезжающими, и просто с отдыхающими, а также со всем обслуживающим персоналом, благодаря чему в ее руках постепенно сосредоточиваются нити всех драматургических интриг. В результате, несмотря на всю свою неказистость и эпизодичность, тетя Поля в преклонном возрасте становится очень важной фигурой на драматургической шахматной доске.

Секретарша

Она носит плотно облегающий фигуру костюм с узкой юбкой. Главной своей задачей считает не пропускать в кабинет к Старому хрычу посетителей. С этой целью она напускает на себя недоступный, сердитый вид, однако моментально расцветает улыбкой, как только на горизонте появляется отрицательный тип, которому она явно благоволит. Основное ее занятие — это подпиливание ногтей маленькой пилочкой. Этого дела она не прекращает, даже разговаривая с посетителями, но как только последние оставят ее хоть на митуточку одну, она сейчас же выхватывает из сумочки пудреницу и энергично пудрит пуховкой нос, благодаря чему вокруг ее головы возникает светящийся ореол, состоящий из мельчайших, взвешенных в воздухе, частичек пудры.

Иногда, впрочем, она решается попечатать на машинке, причем делает это очень своеобразно: стучит по клавишам пальцами до тех пор, пока строчка не кончится, после чего возвращает каретку назад, не переводя регистра, и принимается стучать снова, благодаря чему новая строка ложится на старую. Прodelав такую операцию раз двадцать, она вытаскивает из машинки лист бумаги с единственной строчкой, на которой сам бог ничего не разберет, и дает на подпись директору. Чудак директор подписывает, по обыкновению, этот «документ», не читая, иногда даже просит напечатать еще какой-нибудь приказ по фабрике или список сотрудников. Покорно выслушав просьбу, она берет лист бумаги, на котором до этого печатала рапортичку о выполнении плана, и начинает выстукивать приказ по фабрике поверх этой рапортички, в результате чего опять получается невообразимая чепуха. Такая рассеянность может быть объяснена лишь тем, что секретарша по воле драматурга играет сверх своих производственных обязанностей роль одной из влюбленных и, мечтая о предмете своей страсти, совсем не замечает, что делает. Обычно она влюблена в кого-нибудь из сотрудников своего предприятия и иногда выходит за него замуж.

Если ей не удастся вовремя выйти замуж, то с годами она становится очень томной и стильной дамой, приобретает этакую элегантную импозантность, надевает на нос очки, чтоб казаться внушительней и серьезней, натягивает на себя костюм, еще более плотно облегающий фигуру, ширину же юбки сокращает до такой степени, что начинает казаться, будто она отрезала от обыкновенных мужских брюк штанину и влезла в нее. Допусти-

мая длина шага в такой юбке не превышает пяти сантиметров, однако она все же как-то умудряется перебирать ногами по сцене, сохраняя совершенно невозмутимый вид и стараясь не отвечать на дружный смех публики, доносящийся из зрительного зала.

Накопив опыт, такая секретарша помогает Старому хрычу писать доклады и отчеты, подбирает для него цитаты из классиков, за которые ему приходится потом краснеть, так как употребляются они невпопад. Питая по-прежнему слабость к отрицательному типу, она помогает ему во всех его злодеяниях и кончает тем, что подсовывает ловко состряпанную им бумажку на подпись Старому хрычу, за что последнего и притягивают в конце представления к ответу.

Соседка

Эта особа выдает себя за вдову, хотя на деле просто перерзлая дева. Возраст неопределенный. Живет постоянно за стенкой и мечтает женить на себе кого-нибудь из действующих лиц пьесы. Рада была бы выйти даже за верблюда, лишь бы в штанах. Как только услышит на сцене мужской голос, так сейчас же вылезает из-за кулис и напропалую начинает кокетничать с каждым, кто подвернется под руку, будь то юноша, мужчина средних лет или старик. В ответ ей раздаются постоянно только иронические замечания, но поскольку она глупа, как улитка, то всякая ирония отскакивает от нее, как от стены горох. Несмотря на всю свою глупость, эта особа все же бывает кстати, когда кто-либо из героев остается на сцене один. Каждый без труда может представить себе, как неловко должен чувствовать себя актер, на которого устремлены тысячи глаз, в то время как ему на сцене не с кем даже перекинуться хотя бы словечком. В таком отчаянном положении и соседке обрадуешься!

Почувствовав, что ее слушают со вниманием, она начинает разводить турусы на колесах, рассказывает разные, никому не интересные случаи из своей жизни, вспоминает о том, как давала уроки музыки, как до революции участвовала в любительских спектаклях, и порывается петь надтреснутым голосом куплеты на французском языке. Все ее рассказы никому не нужны, так как не имеют никакого отношения к пьесе, однако она удаляется со сцены лишь после того, как надоест зрителю хуже горькой редьки.

Особенно от нее достается влюбленным.

Многие театральные зрители уже, наверное, заметили, с каким сочувствием относятся к влюбленной паре все действующие лица комедии. Всем им, так же как и публике в зрительном зале, ужасно хочется, чтобы поссорившиеся влюбленные наконец помирились. Как только на сцене появляются влюбленные герой и героиня, все остальные персонажи начинают перемигиваться между собой, понимающе кивать друг другу головами, показывая взглядом на дверь. Почин обычно делает положительный герой, который вдруг заявляет, что забыл купить папирос, и, потихоньку ступая на цыпочках, уходит со сцены. За ним тянутся остальные персонажи, не исключая даже отрицательного типа, который сначала в недоумении пожимает плечами, но потом понимающе разевает рот и тоже выскальзывает за дверь. Поле боя оказывается очищенным. Влюбленные начинают с того, что обмениваются сердитыми взглядами, затем выражение их лиц понемногу смягчается. Влюбленный уже готов сказать, что виноват во всем он, и попросить прощения, героиня же тоже хочет сказать, что виновата она, готова с рыданием броситься на грудь влюбленному. Вот он уже весь подался вперед, чтоб взять ее за руку. Публика уже развесила уши и сидит в зале как на иголках, но тут вместо красивого объяснения в любви и сладких поцелуев вдруг открывается дверь и входит соседка со своей стереотипной фразой о том, что она принесла жировку или что-нибудь в этом роде. Влюбленные как ужаленные отскакивают друг от друга, словно их уличили в чем-то постыдном. Зрителю ясно, что примирение теперь уже невозможно, что теперь снова придется ждать подходящего случая, который может и не повториться. Все от досады ерзают на своих стульях и от всего сердца посылают к черту соседку вместе с ее проклятой жировкой...

Персональный водитель

Хотя его дело водить персональную машину своего начальника, мы никогда не видим его за этим занятием. Обычно машина стоит во дворе, когда действие комедии происходит в доме, и где-нибудь за углом, когда комедия происходит во дворе или на даче. Доказательством того, что персональная машина существует на самом деле, служит сигнал, который раздается каждый раз перед тем, как водитель появляется на

сцене. Почти всегда он приходит нагруженный, как верблюд, разными свертками, пакетами, с огромной вазой, о которой известно, что она куплена в комиссионном магазине, с ящиком боржома под мышкой или холодильником на спине, напоминающим кафельную печку средних размеров.

Одевается он чаще всего в допотопный френч защитного цвета, кирзовые сапоги и кожаную фуражку номера на два меньше, чем полагается по его голове. Бреется всего два раза в месяц, иногда даже отпускает усы, с которыми делается похож на моржа.

Отнеся ящик с боржомом или холодильник на кухню, он остается на сцене, чтобы высказать несколько критических замечаний в адрес Хрыча, если, конечно, последнего нет поблизости, после чего начинает «шутить» с Полей. Все его шуточки касаются лишь одной темы — выпивки. Поля предлагает ему пойти с ней в загс, обещая после женитьбы отучить его от вина, он же с презрением отвергает ее предложение, заявляя, что он как мужчина — венец творения, а она при ближайшем рассмотрении — всего-навсего женщина. Так они мирно беседуют, безбожно коверкая слова на потеху нетребовательной части зрительного зала, потом начинают уже более серьезно объясняться в любви, причем она довольно любовно называет его чучелом, а он ее — ведьмой.

В конце концов они решают пожениться и отправляются трясти ковры.

Неизвестно, состоится ли когда-нибудь эта женитьба на самом деле, так как на сцене ее никогда не показывают, должно быть из-за не особенно знатного происхождения молодых. Известно только, что водитель делает все же попытки «отстать от вина». Это особенно заметно по тем комедиям, где он появляется «как стеклышко», то есть «ни в одном глазу». По всей видимости, ему очень трудно «крепиться», настроение его мрачноватое, и мы не слышим от него прежних веселых шуточек. Когда все вокруг оживленно спорят, пройдет ли в дверь новый, недавно купленный зеркальный шкаф, он стоит угрюмо в сторонке и, дав остальным вволю наговориться, достает из кармана рулетку, измеряет ширину двери и изрекает только одно слово: «пройдет» или «не пройдет».

Стоит сказать, что в таком виде герой этот для комедии не обязателен. Вовсе ни к чему ему вылезать на сцену, чтоб сказать одно слово, в котором и смешного-то ничего нет.

Приживалка

Она появилась в комедии с тех пор, как Старый хрыч достиг наиболее ответственных должностей и стал окружать себя всякими льстецами и прихлебателями. Обычно приживалкой бывает какая-нибудь дальняя родственница жены, которая при ближайшем рассмотрении оказывается даже не родственницей, а просто знакомой, которая и взялась-то совершенно неизвестно откуда. Она рассказывает о себе, будто работала раньше в искусстве, на самом же деле, как потом выясняется, была просто модной портнихой. Последнее обстоятельство и является основной причиной ее тесной дружбы с женой Старого хрыча, которая, как известно, больше всего на свете любит потолковать о нарядах.

Ее чаще всего зовут Рашель, Мадлен или каким-нибудь другим именем в этом роде. Она любит все заграничное, хвастается знанием французского языка, при разговоре слегка картавит, вместо «л» говорит «в»: «Я вижу его высую говову». Все время охает, ахает, закатывает глаза, употребляет массу присущих только ей словечек и выражений; если чем-нибудь довольна, то говорит: «Я в диком упоении», если хочет кого-нибудь похвалить, то лепечет, мило сощурив глаза: «Очень, очень и весьма». Постоянно твердит, что у нее бездна вкуса, и напяливает на себя такие пестрые тряпки, что у зрителей начинает рябить в глазах. Подозревает у себя разные несуществующие болезни, вроде бестемпературного гриппа, и все время пищит, что не может жить без культурной среды.

Точно так же, как и соседка, она мечтает женить кого-нибудь на себе; если встречается с незнакомым мужчиной, обычно говорит: «Какое знакомое лицо. По-моему, мы где-то встречались». Так же, как и секретарша, питает слабость к отрицательному типу. Считает, что в жизни ей «жутко не везет» и что близкие люди ее не ценят. Когда зарвавшегося Старого хрыча начинают публично прорабатывать, она возмущается больше всех, волнуется и кричит: «У человека имя, положение, дача!.. А тут взяли и на глазах у всех высекли». Узнав, что катастрофа, угрожающая главному герою, неизбежна, она первая бежит из его дома, как крыса с идущего ко дну корабля.

Старики и старухи

Самые неинтересные роли в комедии выпадают на долю стариков и старух. В каждой комедии употребляется не больше одного старика или старухи, хотя их всего существует в театре четверо: два старика и две старухи. Первый театральный старик — это отец Старого хрыча. Он обычно живет в деревне и приезжает в город, лишь когда узнает, что сына пропечатали в газете за нелюбовь к критике. Его отцовскому самолюбию лестно, что сын занимает важный пост в городе, и тем более обидно, что он зазнался и об этом стало известно даже в родном селе. В общем, он относится к сыну неплохо, хотя и с некоторой иронией, особенно не одобряя его привычку пить боржом, так как считает, что для него полезнее было бы пить водку.

Другой старик — это тесть, то есть отец жены Старого хрыча. Он ниоткуда не приезжает и никуда не уезжает, так как живет в семье постоянно на положении приживала. Его дочь то и дело покрикивает на него, Старый хрыч посылает его в лавочку за папиросами, сам же он слоняется по целым дням из комнаты в комнату в своем старомодном жилете и больших белых стоптанных валенках. Больше всего он любит распаковывать притащенные шофером пакеты и особенно оживляется, приготавливая к столу водочку и закусочку. Это его специальность и вместе с тем приятная обязанность.

Одна из театральных старух — это теща главного героя или какая-нибудь двоюродная тетка, которая тоже живет в семье на положении приживалки. Это незаметное, безмолвное, серое существо с серыми от седины волосами, с серым, землистым лицом, с серыми глазами и в сером, выцветшем от долгого употребления платье. Никому она не нужна, никто не разговаривает с нею и не обращает на нее никакого внимания. Вид у нее забитый, запуганный. Улучив момент, она украдкой хватается со стола что-нибудь съестное, например пирожок, и, давась, жует, стараясь поскорей проглотить, чтоб никто не увидел. В этом и заключается вся ее роль, которая вводится в комедию специально для смеха, так как, по мнению некоторых драматургов, подобная склонность старой женщины к чревоугодию очень комична.

Другая комедийная старуха — это приезжая бабушка, чаще всего мать главного героя, которая приезжает из деревни специально для того, чтобы ее внучка могла расспрашивать у нее о том, как она впервые встретила с дедушкой и как они полюбили друг друга. Поскольку есть уверенность, что

бабушка не останется жить навсегда в семье, отношение к ней более терпимы, чем к первой старухе. Эта старушка на вид бойкая, держится бодро, но, не имея привычки к городской жизни, не перестает удивляться, как только здесь живут люди. Наиболее страшная для нее вещь в городе — это телефон, который начинает звонить каждый раз, как только все разойдутся по своим делам и она остается одна в доме. Услышав телефонный звонок, она вздрагивает всем телом и, несмело подойдя к аппарату, долго о чем-то думает, склонившись над ним и озабоченно подпирая рукой подбородок. Так как телефон продолжает нетерпеливо звенеть, она с недоумением пожимает плечами и, крутнув головой, протягивает к трубке руку, но тут же отдергивает ее. Услыхав позади себя смех, она оглядывается на публику в зрительном зале и, набравшись наконец смелости, снимает с рычага трубку. Проговорив с испугом: «Тю ты, скаженный!» — она долго рассматривает трубку, вертя ее во все стороны, после чего прикладывает к уху сначала одним концом, потом другим и кричит так, что за версту слышно: «Але!.. Слюшию!.. А?.. Это ктоича? А? Чивоича?.. Да ето кто говорить-то?»

И так все время, пока не положит трубку.

Исполнив этот свой сильно комический номер, она вскорости уезжает обратно в деревню.

Дополнительные персонажи

Кроме вышеописанных, бывают еще персонажи, которые выступают в комедии от случая к случаю, работая по совместительству также и в драме. Это дворники, управдомы, вахтеры, железнодорожные проводники и пожилые, никому не нужные тетки, которые, однако же, очень обижаются, когда родные только на следующий день вспоминают, что вчера был их день рождения.

Точно так же попадают иногда из драмы в комедию и новомодные персонажи, известные под общим названием «плесени». Один из этих персонажей — стилига — очень хорошо всем известен по юмористической литературе и по своим выступлениям на эстраде, где он очень смешит публику, соорудив идиотскую физиономию и танцуя «буги-вуги». Другой персонаж — фифа. Это совсем еще молоденькая девушка, с далеко не законченным средним образованием, с некрасивым, широким, обсыпанным пудрой лицом, с тоненькими, нарисован-

ными черной тушью бровями и огромными ресницами, которые нелепо торчат вокруг крошечных глазок. Одета она безвкусно, на ногах какие-то неуклюжие водолазные башмаки, в качестве головного убора — крошечный берет, который держится даже не на голове, а где-то сбоку, на ухе. Говорит она только о танцульках, о знакомых мальчиках и о своей заветной мечте покататься на такси; красит губы, щедро размазывая краску по щекам чуть ли не до самых ушей, и всем своим видом старается показать, насколько противно, пошло и непривлекательно мещанство.

Послесловие

Мы дали описание всех действующих лиц, которых обычно выпускает на сцену драматург, задумавший написать комедию. Необходимо отметить, что все описанные персонажи имеют значение не сами по себе, а служат лишь для более полного выявления характера главного героя.

Читатель, добросовестно изучивший предлагаемый трактат о комедии, мог заметить, что этот главный герой очень сценичен, то есть максимально удобен как для драматурга, так и для актера. Для драматурга удобство заключается в том, что, не затрачивая лишних сил на отыскивание новых персонажей для своих комедий в жизни, не меняя по сути дела героя, можно создавать все новые и новые комедии с тем же действующим лицом, придумывая для него лишь новые должности или просто переводя его с одного места работы на другое. Для актера же выгода заключается в том, что ему не нужно в каждой новой комедии мучительно перевоплощаться все в новых героев и можно создавать различные образы путем последовательного переодевания из пиджака в гимнастерку, из гимнастерки в халат, из халата в пижаму, из пижамы в блузу, толстовку, косоворотку или обратно в пиджак и т. д. Если есть уже пьесы о самоуспокоившихся, самоперезастраховавшихся и шарахающихся из стороны в сторону директорах обувной, текстильной, мебельной, игрушечной и других фабрик, то нет еще комедии о директоре ресторана, фабрики-кухни, спиртозавода, водонапорной башни, макаронной фабрики или хлебозавода, на котором такой директор, не считаясь со вкусами потребителей, мог бы выпускать хлеб одного лишь сорта и к тому же в недопеченном виде, так как это дает процентов на тридцать больше припека. Если уже сделано достаточно пьес про

инженеров, доцентов, руководителей научно-исследовательских институтов, не желающих шевелить собственным мозгом и присваивающих чужие диссертации, то можно сделать комедию про архитектора, присвоившего чужой проект и строящего все дома по одному и тому же, всем надоевшему образцу со звукопроводящими потолками, полами и стенами... Впрочем, помнится, что такого архитектора мы уже где-то видели. Если имеются в репертуаре комедии про таких творческих работников, как писатели и художники, то никому не возбраняется написать еще одну пьесу про драматурга, который жует, как сказал о нем А. П. Чехов, «один и тот же тип, один и тот же город, один и тот же турнюр» и, добавим от себя,— один и тот же конфликт.

Словом, для желающих написать комедию есть еще много возможностей.



ЕЩЕ ОДНО НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

(Совсем маленькое на этот раз)

После опубликования в 1955 году литературных этюдов «О литмастерстве», «Поговорим о поэзии» и «Трактата о комедии» автором были получены многочисленные читательские отзывы. Кстати сказать, и другие статьи автора не оставались без читательских откликов, а трактат «Об употреблении спиртных напитков» вызвал даже довольно широкий поток писем (подробнее об этих письмах см. в «Комментариях»), что, впрочем, никого не удивило, так как всем известен интерес публики к известного рода жидкостям. Однако ж то, что читатели увлеченно и заинтересованно откликнулись на такую, казалось бы, сугубо «сухую» тему, как разговор о литературном творчестве, было несколько неожиданно.

Эта неожиданность (скажем даже, приятная неожиданность) и дала автору толчок к написанию небольшого исследования или рассуждения «О читателях», которое и предлагается благосклонному и терпеливому читательскому вниманию.



О ЧИТАТЕЛЯХ

Если читатель, как уже было сказано, живо интересуется писателем, его жизнью и творчеством, то писатель, в свою очередь, с неменьшим вниманием относится к читателю. Для писателя в высшей степени не безразличен вопрос о том, что представляет собой тот человек, который бесперебойно поглощает его литературную продукцию: чего этот человек хочет, чем дышит, к чему стремится и каковы его, так сказать, планы на будущее.

Конечно, очень трудно залезть читателю в душу и узнать, что он там про себя думает, если читатель не подает голоса и никак не высказывает своих сокровенных взглядов. Но читатель вовсе не такой человек, чтоб сидеть втихомолку и скрывать от кого бы то ни было свои ценные мысли. Читатель — человек очень общительный и всегда спешит поделиться с писателем всеми чувствами, мыслями и соображениями, которые возни-

кают у него при чтении. Драгоценным свидетельством такой читательской отзывчивости являются те письма, которые в изобилии поступают во все редакции от читателей.

Помещенные в этой книге статьи в свое время были опубликованы в журналах, и на них также были получены многочисленные отклики, которые и послужили материалом для нашего исследования о читателе. Таким образом, мы и на этот раз пользовались материалом, который давался самой жизнью. Нам, однако, не удалось быть до конца последовательными и поделить всю читательскую массу на две категории, подобно тому, как мы поделили прозаиков. Читатель оказался чрезвычайно сложным, разношерстным, многоголым и многоголовым существом, которое не поддавалось такой четкой научной классификации. Единственное, что мы могли сделать,— это выделить из всего читательского коллектива некоторых типичных представителей, начисто отказавшись от мысли уложить столь сложное жизненное явление в рамки заранее намеченной теоретической схемы.

Читатель понимающий

Вот письмо, которое было получено одним из первых после напечатания в журнале статьи «О литмастерстве»:

Уважаемый тов. Носов!

От всей души благодарю Вас за прекрасные заметки «О литмастерстве». Давно я не получал такого удовольствия. Умно, остроумно, смешно и правда.

Подозреваю, что на Вас набросятся не только гонорарные Иваны Ивановичи, но и некоторые читатели, привыкшие к литературной соломе.

Желаю Вам успехов и надеюсь, что Вы напишете о поэзии и критике.

С глубоким уважением...

Это коротенькое, но в то же время очень содержательное и душевное письмецо очень порадовало нас и удовлетворило наше писательское самолюбие. Хотя читатель и не просил ответа, нам все же захотелось написать этому доброму человеку, который не пожалел своего времени и труда и подбодрил совершенно незнакомого для него писателя, сказав, что он, дескать, хорошо выполнил свое дело.

Нам хотелось поощрить этого чуткого, отзывчивого читателя на дальнейшую деятельность в этом направлении, тем более что в редакции чрезвычайно любят получать положительные отзывы на помещаемые в журнале материалы, после чего с большей охотой печатают произведения писателя, заслужившего одобрение читающей публики.

Мы поблагодарили автора письма за его теплый отзыв, указали, как важно писателю знать мнение читателя о его труде, и в заключение развили мысль о том, что хотя мы и побаиваемся нападок со стороны тех, кто уж очень привык к литературной соломе, но все же рискнули выступить со своей статьей. Нам казалось, что доколе среди читателей будут находиться охотники до такого литературного блюда, доколе будут находиться и любители подавать это блюдо на читательский стол. Хотя в своей статье мы показывали вовсе не потребителя подобного рода духовной пищи, а ее изготовителя, но делалось это нами исключительно для того, чтобы показать кухню, в которой эта пища готовится, и тем самым отбить к ней вкус у читателя.

Впоследствии нами были получены и другие не менее интересные и не менее лестные для нашего авторского самолюбия письма. Во многих письмах читатели говорили не только о том, что правильно и хорошо в наших статьях, но также объясняли, почему это правильно и хорошо, и делились с нами своими соображениями о литературе и жизни. Наша скромность, однако, не позволяет нам приводить здесь все эти высказывания. Довольно будет и одного приведенного, так как оно с достаточной яркостью характеризует данный читательский тип. Читатель этого типа отличается тем, что понимает творчество писателя, в результате чего и высказывает полное удовлетворение его произведением. У этого понимающего читателя нет обычно никаких вопросов, никаких сомнений, замечаний, пожеланий, сожалений или недоумений. Единственное, чего ему хочется, — это почитать еще чего-нибудь в этом же роде.

Из всех читательских типов писателю больше всего нравится именно этот тип. Ведь писатель только и думает о том, чтоб читатель остался доволен, и когда получает подтверждение, что эта его заветная мечта сбылась, его сердце наполняется радостью. Читая подобные отзывы, писатель с облегчением может воскликнуть: «Вот и прекрасно! Я счастлив, так как вижу, что не даром трудился!» — после чего с еще большей охотой берется за перо.

Конечно, каждый нормальный писатель любит прислушиваться и к критическим замечаниям, но это все же не так приятно, как выслушивать похвалы. В конце концов писатель такой же человек, как и читатель, и ему очень хочется, чтоб его иногда хвалили. Если читатель и не замечает подчас в наших трудах кое-каких огрехов, недоделок, недомолвок и прочих дефектов, то мы это ему охотно прощаем.

Читатели должны писать как можно больше подобного рода писем, так как этим они лишний раз напоминают писателям о том, что на свете существуют не одни только скверные, злые, придирчивые, брюзжащие по любому поводу люди, но также и добрые, деликатные, чуткие и понимающие литературу. Писателю очень полезно время от времени получать подтверждение, что такие люди еще не перевелись вокруг нас. От этого настроение у писателя улучшается и появляется желание изображать в своих книжках не только каких-нибудь отрицательных жуликов и мерзавцев, но и вполне хороших положительных людей.

Читатель неудовлетворенный

Статья «Поговорим о поэзии» хороша и остроумна, но в самом деле однобока,— сообщает нам в своем письме одна из читательниц.— К сожалению, Вы ограничились рассмотрением только лирики. В статье Вы пишете о своих больших планах. Верю, что это действительно так и Вы еще доберетесь до всевозможных романов в стихах, од, кантат и «слов». Желаю Вам успехов.

Назвав статью хорошей и остроумной, читательница отдала нам, как говорится, должное, но вместе с тем высказывает законное неудовлетворение по поводу однобокости и ограниченности нашего труда. Мы действительно облегчили себе задачу, ограничившись рассмотрением коротеньких лирических стишков того сорта, который не пользуется почему-то большим спросом у читающей публики, однако не можем ничего сказать в свое оправдание, кроме того, что это уже само собой как-то вышло. Среди некоторых залежавшихся в магазинах поэтических сборничков нам попались главным образом книжечки с лирическими стихами. Правда, среди них было несколько более или менее длинных поэм, которые, однако, не возбудили в нас никаких особенно оригинальных мыслей и не дали материала для обобщающих выводов. Поэтому мы и сочли за лучшее поговорить обстоятельно о том немногом, о чем у нас имелось собствен-

ное суждение, нежели говорить о том многом, по поводу которого у нас никакого суждения не было. Это все же, конечно, не снимает с нас упрека в ограниченности, так как мы на самом деле, к своему стыду, имеем несколько одностороннюю склонность к лирике и недостаточно знакомы с другими, может быть даже более важными, разделами поэзии, в чем мы чистосердечно и признались автору письма.

Подобного рода упреки не ограничиваются одним письмом. Так, например, другой читатель пишет: «Статья «Поговорим о поэзии» могла быть шире и глубже. Ведь и у многих наших заслуженных и маститых поэтов также есть слабые места — фальшивая патетика, лженоваторство, подражательность, банальность, сусальность и пр.». Третий читатель пишет: «Можно было бы еще продернуть и высмеять творчество так называемых «поэтов-песенников» — еще имеющуюся зачастую в их произведениях псевдонародность, настроенчество, слащавую и лакированную лирику». Еще один пишет: «Жаль, что ничего не сказали о баснописцах. А на этом фронте тоже не все в порядке. Это что же творится такое? Скоро зверья не хватит!» Следующий пишет: «Почему ничего не сказали о детской поэзии?» и т. д.

Возможно, все эти читатели правы. Может быть, и у больших поэтов имеются отдельные слабоватые места, но, для того чтоб эти места обнаружить, необходимо немножко больше разбираться в поэзии. Мы же, как это бывает со многими, часто попадаем под обаяние большого поэта, в результате чего нам начинают нравиться не только сильные места его произведений, но даже и слабые. Зная за собой такой недостаток, мы и не брались судить о больших поэтах, а писали только о грубых ошибках, которые мог бы сделать и сам читатель, если бы вдруг взялся писать стихи. Охотно допускаем, что мы и сами бы написали стихи не лучше, а даже хуже.

Должно быть, по той же причине нам непонятны также читательские выпады против «поэтов-песенников» и то басне-ненавистничество, которое проявляет читатель, высказавший опасение в том, что будто бы скоро не хватит зверья для басен.

Не обладая большими вокальными данными, мы довольно безразличны к продукции «песенников», почему, возможно, и не замечаем как выдающихся достижений, так и досадных срывов на песенном фронте. На наш слух все песни почему-то кажутся одинаковыми. То же самое мы можем сказать и о баснях. Правда, нам часто приходится слышать, что за последние годы наши баснописцы стали писать несколько хуже Крылова. Мы этого, однако, не замечаем. Что же касается зверья, то его,

по нашим расчетам, должно хватить. Если в ближайшем будущем не хватит чистопородных животных, то наука к тому времени создаст какие-нибудь новые гибриды, которыми с успехом можно будет воспользоваться. Уже и теперь можно предоставлять поле деятельности в баснях не только таким животным, как лошади и ослы (последним приходится особенно много терпеть от сочинителей басен), но и таким их помесям, как мулы и лошаки. Думается, что освоение этих новых, гибридных персонажей должно явиться нашей очередной неотложной задачей.

Впрочем, мы отвлеклись в сторону, так как собирались говорить не о мулах и лошаках, а о читателях. Читатель неудовлетворенный — человек очень серьезный, взыскательный, строгий, но справедливый. Основной чертой его характера является ненасытная жажда знания. Он хочет знать обо всем и никогда не скажет вам, что теперь уже сыт по горло и больше ему уже ничего на свете не надо. Отличительным его признаком является то, что он постоянно считает, будто писатель чего-то недодал читателю, чего-то недосказал, недописал, недопоказал или недоизобразил. Читатель этого типа тоже настоящий друг и помощник писателя, так как не дает ему застояться на месте, задремать и успокоиться на достигнутом и к тому же постоянно указывает на скрытые, еще не использованные возможности, тем самым толкая его на новые творческие подвиги.

Читатель сомневающийся

Товарищ!

Я прочитал Вашу статью в журнале «Новый мир». Вы здесь деловито пишете о том, что некоторые труды поэтов лежат по несколько лет. Ссылаетесь на то, что наши поэты, правда, некоторые, плохо пишут.

А вы, дорогой товарищ, не задумывались над тем, а сколько же экземпляров издают издатели, возможно, это тоже на залке отражается. Частично писатели не виновны. И мне кажется, что Вы, дорогой товарищ, слишком сильно обвиняете поэтов. Я Вас, дорогой, прошу ответить мне — прав я или нет. Возможно, я ошибаюсь.

В своем ответе мы сообщили читателю названия залежавшихся стихотворных книг, которые послужили материалом для нашей статьи о поэзии, а также время их издания и количество выпущенных экземпляров. Как нарочно, все эти книги были изданы самым маленьким тиражом, всего лишь в пять тысяч

экземпляров, и только одна книжечка вышла десятитысячным тиражом. Мы указали также, что книги многих других поэтов за тот же период были изданы стотысячными и даже миллионными тиражами, и все эти миллионы книг были распроданы и не залежались ни в одном магазине. Мы полагаем, что автор письма должен был согласиться, что на «залежке» в данном случае отразилось не слишком большое количество изданных стихотворных книг, а главным образом их качество.

Вместе с тем мы должны были согласиться с читателем, что писатели если и виновны в том, что их книги залежались в магазинах, то действительно только частично. Если бы издательства выпустили их книги тиражом не по пять тысяч экземпляров, а штукек этак по сто или двести, то тиражи разошлись бы гораздо быстрее.

Мы обратили внимание читателя на то, что он как будто даже не допускает мысли о том, что стихи вообще-то могут быть не только хорошие, но и плохие, и привели пришедшие нам на память слова В. Маяковского:

Конечно,
 различны поэтов сорта.
У скольких поэтов
 легкость руки!
Тянет,
 как фокусник,
 строчку изо рта
и у себя
 и у других.
Что говорить
 о лирических кастратах?!
Строчку
 чужую
 вставит и рад.
Это
 обычное
 воровство и растрата
среди охвативших страну растрат.

Конечно, со времен Маяковского немало уже прошло лет, и поэты с тех пор стали писать значительно лучше, и хороших поэтов стало куда больше, но разве теперь уж совсем не стало тех, которые, по выражению Маяковского, тинтидликают мандиолой и дундуют виолончелью, тех, которых поэт обзывал птицами в человеческий рост, чижиками и дроздами?

Нет спору, что со времен Маяковского все мы стали не в пример обходительнее и деликатнее и теперь никто из нас не

станет говорить, что печатать плохие, никому не нужные стихи — это равносильно воровству и растрате, поэтому мы и не можем согласиться с заявлением читателя, будто мы слишком сильно обвиняем поэтов. Во-первых, мы обвиняем не вообще поэтов, а только тех из них, которые считают допустимым печатать свои еще не совсем зрелые стихи. Во-вторых, мы обвиняем не слишком сильно. Этого мы себе никак не можем позволить.

В заключение считаем своим долгом сказать, что читатель, с которым у нас завязался такой интересный и поучительный разговор,— человек очень добрый, хороший, вдумчивый, деликатный. Главной же чертой его характера является то, что он не очень уверен в своем мнении и во всем сомневается. Он никогда и ничего не пишет в категорической форме. Наоборот, он всегда пишет: «я думаю» или «мне кажется» и даже «может быть, я ошибаюсь». Он вполне допускает мысль, что, как и каждый человек, он может ошибиться, и поэтому просит объяснить ему его ошибку. Если отличительной чертой недовольного читателя является то, что он обычно считает, будто писатель чего-то недодал читателю, недопоказал или недоизобразил, то читатель данного типа обычно подозревает писателя в том, что он, наоборот, что-то передал читателю, перепоказал и переизобразил, в связи с чем и считает своим долгом вступить за справедливость.

Читатель упрекающий

Уважаемый тов. писатель Носов!

Я прочитал Ваши сатирические заметки «Как написать комедию». Вы действительно верно подметили и хорошо высмеяли недостатки, свойственные многим нашим комедиям за последние годы. Но то, что Вы пишете, нужно прямо сказать, уже вчерашний день. Сейчас все меньше появляется комедий об отставшем или ошибающемся руководителе, которого Вы так удачно вывели в лице Старого хрыча. Скажу даже больше, за последнее время вообще появляется все меньше комедий, а все больше драм семейного содержания, и теперь уже пора бы посмеяться над другими персонажами, как, например, неверные мужья, бросающие своих жен, покинутые, одинокие жены, роковые женщины легкого поведения и прочие аморальные типы. А то, что Вы пишете,— уже дело прошлое.

С приветом и уважением...

Это письмо напомнило нам об одном эпизоде, с которым мы познакомились в суде. Один гражданин довольно солидной комплекции выпил неизвестно по какому поводу лишнее и, вместо того чтоб спокойно лечь спать, вышел на улицу и изувечил случайно подвернувшегося под руку прохожего: свернул ему челюсть, вышиб четыре зуба, сломал ребро. Когда его привлекли за это к суду, он страшно недоумевал и с мрачным раздражением говорил судьям: «Не понимаю, об чем разговор! Ведь все это дело прошлое и никогда больше не повторится». Он, как видно, не отдавал себе отчета в том, что если общество взыскивает с нас за прошлое, то делает это с целью назидания на будущее, а не просто для того чтоб отомстить нам за свинские выходки, совершаемые в нетрезвом виде.

Смеем уверить, что мы также не хотели отомстить театру за какие бы то ни было его выходки в прошлом, а писали в назидание на будущее. Мы вовсе не рассчитывали, что наша статья поможет театральным деятелям поскорее расстаться со столь полюбившимися им комедийными персонажами, какими являются Старый хрыч и его спутники. Старый хрыч — это действительно фигура, уходящая в прошлое и для театрального зрителя никакой опасности уже не представляющая. Над этим театральным типом теперь можно только смеяться, как смеемся мы над всем отживающим, не имеющим будущего. Правда, старое никогда не сдается без боя. Старый хрыч очень живуч, и, если его начинают гнать со сцены, он лезет в кино, гонят из кино — он лезет в повести и рассказы, и даже в романы и, попадая таким образом в большую литературу, заявляет особенные претензии на значительность. Но речь не об этом. В своей статье мы хотели лишь показать, как создаются театральные типы (не жизненные типы, а именно театральные), которые живут своей призрачной, театральной жизнью, переходя из одной пьесы в другую, постепенно теряя человеческий облик и связь с действительной жизнью. Таким образом, мы хотели возразить не против тех или иных персонажей, а против того драматургического метода, по которому комедийные персонажи берутся авторами не из жизни, а достаются им по наследству от предыдущих комедий. Мы показали это на примере тех пьес, с которыми знакомились исподволь в течение последних лет, но могли бы, возможно, показать это и на примере семейных драм, которые появились уже в недавнее время, если бы этому не помешала наша врожденная медлительность, неумение поспевать за явлениями действительности и привычка отставать от жизни.

Читатель описываемой нами категории отличается от других читательских разновидностей тем, что не устает упрекать нас именно в этом недостатке. Читателю, точно так же как и зрителю, очень хочется видеть в художественных произведениях сегодняшний день, а не только вчерашний, и самого себя, а не только своих предков. Поскольку писатели, судя по многочисленным высказываниям критики, вообще склонны отставать от жизни, их, конечно, нужно время от времени подстегивать. В этом и заключается положительная роль данной читательской категории.

Читатель недоумевающий

Дорогая редакция!

Мне сейчас тридцать лет, и я сама начинаю писать стихи, рассказы, повести. У меня их накопилось большое количество. Я писала свободно, как подсказывает мне память, до тех пор, пока мне не попался в руки журнал «Новый мир» № 12 за 1955 год, и стала в тупик, прочтя заметку сатирика Н. Носова «О литмастерстве». Мне давно хотелось узнать, как же надо писать? Какие существуют для этого принципы, правила, но нигде и ни от кого так и не пришлось узнать. Немного я и зачерпнула в этой заметке.

Я часто сижу в библиотеке и наблюдаю за читателями. Вот одна сдает книгу с таким кислым лицом, что сразу видно, что чем-то не понравилось. Беру книгу, открываю первую страницу, а там точно так, как тов. Носов предлагает: несколько страниц одного описания лица, десятки страниц описания какой-то деревни, еще десятки страниц описания комнаты, во всем точно соблюден творческий процесс писания, но зато какая скука! Сколько я уже перечитала книг об этих глазах: испуганных, серых, мутных, пустых и т. д., бровях, лбах, носах, что уже выбрасываю эти страницы, я их уже наизусть знаю. В иной книге как начнешь выбрасывать, глядь, а уж и конец!

Мне кажется, что интереснее всего будет книга, если об этих описаниях глаз, носов, ушей, улиц и т. д. писать не все сразу, а постепенно вставлять их между промежутками интересных эпизодов, что и делает уже много писателей.

Ухватившись сразу за статью тов. Носова, я выписала из нее все виды носов, ушей, походок, и, когда написала один рассказ по творческому процессу, мне почему-то очень не понравилось: одно и то же, что читала во многих книгах, только с той разни-

цей, что в одной нос синий, в другой красноватый, мясистый, в одной губы тонкие, в другой толстые, а в итоге получается по шаблону, как раз то, против чего Носов выступает в своей статье.

Дорогая редакция, прошу разъяснить мне, если я что, может, непонятно написала, и мне очень хочется узнать, как приготовить материалы для печати, на какой бумаге писать и как пересылать по почте, ведь в конверт не положить все!

К сему с уважением и приветом Тамара...

Ознакомившись с этим письмом, мы вначале даже опешили, и только постепенно до нашего сознания начала доходить мысль, что читательница поняла нашу сатиру в буквальном смысле. В своем ответе мы попытались растолковать читательнице, что писали не обычную журнальную статью, а сатирическую, что основной художественный прием нашей сатиры — это ирония, а под иронией обычно понимается насмешка, прикрытая серьезной формой выражения или внешне положительной оценкой явления.

Мы указали, что ироническая статья наша говорит совсем не о том, как надо писать, а, наоборот, о том, как писать не надо, и с этой стороны могла бы быть полезной тому, кто интересуется вопросами литературного мастерства, необходимо только понимать статью правильно.

Читатель данного типа отличается тем, что не понимает шуток, не имеет привычки думать о прочитанном, не способен отличить наукообразной литературной пародии от обычной литературоведческой статьи и обладает редкой способностью видеть в произведении автора не то, что в нем есть, а то, что ему хочется в нем увидеть. С этой целью недоумевающий читатель читает произведение не целиком, а с пропусками, то есть выбрасывая страницы, как признается приславшая письмо читательница: «В иной книге как начнешь выбрасывать, глядь, а уж и конец!» Таким образом, выбрасывая все, что им не надо, читатели этого типа вычитывают из любого произведения все, что им, по их мнению, надо, и тут же начинают недоумевать по поводу того, что полученные выводы находятся в явном противоречии с тем, что хотел сказать автор.

Не допуская, однако, мысли, что могут ошибаться сами, такие читатели, да простит им бог, спешат сообщить в редакцию, что писатель, дескать, ошибся. Этим самым они могут сбить с толку редакторов, которые вправе задать вопрос, следует ли давать нашим читателям столь сложный материал да

еще в сатирическом плане, если они его все равно не понимают, и не лучше ли печатать какие-нибудь статьи типа инструкций, которые никого ввести в заблуждение не могут? Спешим подчеркнуть, что мы вовсе не говорим, будто такие читатели на самом деле сбивают с толку редакторов. Мы говорим в более условной форме — «могут сбить с толку». Редакторы сами хорошо знают, что если бы писатели плелись в хвосте у таких читателей, то давно принуждены были бы изгнать из своих произведений и иронию, и сарказм, и вообще какое-либо иносказание, даже простую шутку, начисто отказавшись от сатиры и юмора, без которых наша литература стала бы не в пример более скучной и менее интересной.

Конечно, было бы хорошо, перед тем как шутить или иронизировать, предупреждать на всякий случай читателя, что сейчас, дескать, будет шутка или ирония, которую понимать надо так или этак. Это означало бы не просто завернуть гайку пальцами, а как следует довернуть ключом, чтоб было крепче. К сожалению, по существующим литературным правилам этого почему-то не принято делать. Мы, однако, позволяем себе нарушить это правило и предупреждаем читателя, что сейчас шутить не будем, так как хотим ответить на два серьезных вопроса: 1) Как же в конце концов надо писать? и 2) Как читать?

Писать, нам кажется, надо из сердца, как находил нужным Лев Толстой, который говорил: «Я останавливал себя всегда, когда начинал писать из головы, и старался писать только из сердца». Надо полагать, что вставлять в свои сочинения вычитанные в других книжках описания глаз, носов, ушей, лиц и пр.— это не значит писать из сердца, а скорее из головы и даже не из своей головы, а из чужой. С этой точки зрения будет одинаково плохо, давать ли эти шаблонные описания сразу или, как предлагает приславшая письмо читательница, «постепенно вставлять их между промежутками интересных эпизодов».

Теперь — как читать. Читать, по-нашему, надо, как А. П. Чехов, который, по свидетельству А. Грузинского, рассказывал: «Взял я прочесть рассказ NN. Начинается так: «Мороз крепчал». Дальше я не стал читать: бросил». Смешно было бы представить себе А. П. Чехова, который, надев на нос пенсне, сидит за столом и сосредоточенно читает рассказ, пропуская все эти давно известные «мороз крепчал», «снег скрежетал», «сумерки загустевали» и пр., перескакивая с пятого на десятое, лишь бы поскорее добраться до конца и узнать, вышла ли ге-

роиня замуж. Бестолковее этого занятия трудно себе что-либо вообразить, тем не менее некоторые читатели настолько привыкают к этому, что иначе уже ничего читать не могут, в результате чего чтение теряет для них вообще какой-либо разумный смысл.

Таким образом, читать, стало быть, надо с толком, стараясь понять, что хотел сказать автор, или уж лучше совсем не читать. Предупреждаем читателя, что сейчас мы разрешим себе пошутить, сказав, что если все писатели будут писать по-толстовски, а все читатели будут читать по-чеховски, то все будет хорошо и никаких недоразумений больше не будет. Понимать эту шутку не надо так, будто писать по-толстовски можно совсем без участия головы, а читать по-чеховски — значит совсем ничего не читать. Нет, писать по-толстовски — это значит вообще хорошо писать, а читать по-чеховски — значит быть очень квалифицированным, добросовестным читателем.

Читатель сердитый

Уважаемый тов. редактор!

Препровождаю к Вам письмо тов. Носову. Если найдете нужным, прошу поместить его в Вашем журнале в разделе «Трибуна читателя». Адрес тов. Носова я не знаю. С читательским приветом Ф...

Уважаемый тов. Носов!

Последними своими работами, помещенными в журнале «Новый мир», Вы обратили на себя внимание не только профессионалов-критиков, поэтов, прозаиков, но также и многих читателей — это бесспорно.

Правда, еще ни один из критиков не высказал своего печатного слова о Ваших работах, но надо думать, что они высказутся. Не будем гадать, какие у них будут отзывы, во всяком случае будут разные: хорошие и плохие.

Я в свою очередь, как читатель, не могу удержаться себя в молчании и тоже хочу вмешаться в Ваши работы и высказать свои читательские суждения.

Смотришь на Вас, вернее на работы Ваши, и думаешь: «Вот рубака выискался! Взмахнул один раз — и нет прозы, взмахнул второй раз — и поэзии как не бывало».

А что будет, если Вы напишете еще одну-две такие статьи? Пожалуй, и классиков перевернете вниз головой?!

Мы склонны просить Вас: не делайте, пожалуйста, этого, а расскажите лучше по существу.

Кто Вас настроил так против литературы? Откуда взялось у Вас желание хватать литературу в два приема?

Так вот, тов. Носов!

Давайте не будем делать это!

С приветом читатель Ф...

Прочитав это письмо, мы даже пришли в уныние от сознания наделанного нами вреда. Подумать только — литература безвозвратно погибла, и нет теперь уже ни прозы, нет и поэзии, даже над классиками нависла угроза непосредственной ликвидации!

Но как могло это с нами случиться? Как могли мы утверждать подобные вещи, и если задумали упразднить вообще всю литературу, то что же можем предложить вместо нее? Нет, нам все же кажется, что этого не могло быть! Да и откуда видно, что мы вообще против литературы? Разве мы не выступали лишь против штампа и серости, против ремесленничества, против той сорной травы, которая отнимает место под солнцем и питательные соки у настоящей литературы, мешает правильному ее росту, а порой даже глушит? Разве не ясно, что мы вовсе не выступали против прозы или поэзии, а только против посредственности, против тех, которые «птицы в человеческий рост», которые чижики и дрозды, против тех, которые тянут «строчку изо рта и у себя и у других»? Нет, разрешите заверить вас, что мы нисколько не против литературы, которую очень любим, а вот вы, уважаемый товарищ сердитый читатель, вы действительно против литературы, потому что заступаетесь за то, что, по сути дела, может только повредить ей.

Недавно мы прочитали в «Литературной газете» ряд высказываний писателей, которые были помещены под рубрикой «О нашем читателе». Нам очень понравилась умная и серьезная статья Веры Инбер, в которой писательница указывала на то, что если среди писателей бывают как сильные, так и слабые, то и читатель также может быть слабый.

«Слабый читатель,— пишет Вера Инбер,— не столько интересуется самим произведением, сколько «откликами» и «проработками». Он объявляет «нетипичным» все, что выходит за пределы полюбившегося ему штампа. Боясь ушибиться об острые углы (а их много в жизни), такой читатель предпочитает все округлое, обтекаемое, лакированное и полированное и яростно нападает на все беспокоящее его».

Узнаем в этом слабом читателе того, которого мы по нашей номенклатуре назвали сердитым. Он на самом деле вступился в своем письме за полюбившийся ему литературный штамп, который и считает за настоящую литературу, высказал надежду на проработку, ожидая разных «откликов» (плохих и хороших), и можно думать, что именно острые углы наших статей привели его в такое сердитое состояние. Из своих наблюдений над данным читательским типом мы можем прибавить, что в своей ярости он не прочь припугнуть писателя критикой, угрожая ему, что они (критики), дескать, еще выскажут свое печатное слово.

Кстати сказать, сердитый читатель потому-то и сердится, что не прав. Однако мы на него не будем обижаться за это. Когда нам удастся немножечко подтянуть его и доказать ему, что он ошибался, то он сам перестанет на нас сердиться.

Пожелаем же ему успехов на этом трудном для него пути.

КОММЕНТАРИИ

Слово «комментарии» значит «толкования», «разъяснения», все равно что «примечания». Автор предпочел слово «комментарии», потому что оно звучит как-то элегантнее и научнее, чем просто «примечания», и, безусловно, вызовет к себе со стороны читателя больше внимания и уважения.

Предлагаемые читателю комментарии отличаются от обычных тем, что написаны они не каким-нибудь посторонним для автора лицом, а самим автором, что придает им особенное, можно сказать, двойное значение. Упоминавшееся нами изречение «Важен не Шекспир, а комментарии к нему» в данном случае несколько не применимо, так как здесь уже нет деления на что-то важное и не важное, на Шекспира и не Шекспира. Здесь, так сказать, все важно, все — Шекспир (не в буквальном, конечно, смысле, а в переносном).

Еще одним преимуществом подобного рода автокомментариев является то, что автор не ограничивался простым толкованием того или иного малопонятного слова, а попутно пускался в новые рассуждения и высказывался по интересующим его вопросам, как говорится, сверх плана, что, конечно, небезразлично для читателя.

В предлагаемых читателю комментариях автор дает название комментируемой статьи, после чего указывает непонятное слово, фразу или часть фразы, предварительно указав номер страницы, на которой эта фраза находится. Если читатель забыл, к чему комментируемая фраза относится, он всегда может разыскать ее на указанной странице и подновить в своей памяти. Больше никакой специфической читательской квалификации для чтения комментариев не требуется, и можно переходить к чтению. Итак...

Предисловие автора

Стр. 395. *«Что игумену можно, то братии — зась»*. В прежние времена существовали (а кое-где существуют и посейчас) так называемые монастыри, в которых жили так называемые монахи. Эти монахи именовали себя совокупно братией. Среди этой братии был один самый главный монах — нечто вроде командира или директора монастыря, который назывался игуменом. Иногда игумен позволял себе какое-нибудь непотребство, к примеру, напиться пьяным. На это обычно смотрели сквозь пальцы. Но если такую же штуку позволял себе обыкновенный монах, то его всячески срамили и даже наказывали: накладывали эпитимью (заставляли часами стоять на коленях, отбивать по сто поклонов в день и пр.). Если монах оправдывался, указывая, что такое же непотребство учинил сам игумен, ему говорили: *«Что игумену можно, то братии — зась»*. «Зась» в переводе на обыкновенный русский язык означает — «нельзя», «запрещается».

Приводя эту пословицу, автор как бы хочет сказать, что те вольности, которые допускают в своих произведениях великие мастера слова, не к лицу, однако ж, рядовой писательской братии, потому что, что же будет, если каждый начнет позволять себе вольности? Всяк сверчок, как известно, должен знать свой шесток и не уподобляться тому самонадеянному раку, о котором сказано в поговорке: *«Куда конь с копытом, туда и рак с клешней»*.

Стр. 396. ...как сказал один неизвестный литературовед: *«Важен не Шекспир, а комментарии к нему»*. Весьма возможно, что вышеприведенные слова относительно Шекспира сказал не литературовед, а человек какой-нибудь другой профессии и, может быть, даже не неизвестный, а вполне, так сказать, известный. Назвав его неизвестным, автор только хотел сказать, что для самого автора он не известен, или, попросту говоря,

автор не знает, кто именно это сказал. Предположение, что изречение это принадлежит все же литературоведу, основано на том, что с его, литературоведовой (не литературоведческой!), точки зрения важны действительно комментарии, а не сам Шекспир, поскольку сам литературовед пишет отнюдь не сочинения Шекспира или какого-нибудь другого автора, а лишь комментарии к ним, каковые (комментарии то есть) и являются для него основным делом. Весьма вместе с тем возможно, что это крылатое изречение принадлежит какому-нибудь известному остряку или юмористу. Однако и в таком случае острота этого остряка как бы отражает (осмеивает) точку зрения литературного буквоеда, который до такой степени зарылся в свои комментарии, что забыл о самом предмете исследования (в данном случае о Шекспире) и считает его за нечто второстепенное. Нетрудно заметить, что эта смешашая нас острота построена на иронии, так как автор ее говорит противоположное тому, что думает, то есть называет важным как раз не то, что является в данном случае важным.

Изучая подобного рода остроты, разгадывая, что лежит в их основе: ирония, преувеличение (гипербола), каламбур, парадокс, метафора или сравнение, молодой человек и сам может постепенно научиться острить. О пожилых мы не пишем, полагая, что им уже не до того. Молодой же человек, то есть человек, вступающий в пору цветения, хочет как можно больше острить, главным образом для того, чтобы привлечь к себе внимание противоположного пола, который, как известно, ценит в мужчине часто скорее ум, нежели физическую красоту. Впрочем, и при красивой внешности способность блеснуть остроумием несколько не помешает...

Нужно ли называть своих родителей предками и конями и о других подобных вопросах

Стр. 404. *Татьяна Ларина*. Героиня романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Это она влюбилась в вышеозначенного Евгения Онегина и написала ему известное всем письмо:

Я к вам пишу — чего же боле?
Что я могу еще сказать?

Не будем, однако ж, опошлять своим небрежным прикосновением этот дивный поэтический образ. Скажем только, что и в наши дни находятся девушки, которые пишут письма, если не современным Евгениям Онегиным, то хотя бы в редакции

молодежных газет, озадачивая их вопросами глубоко философского содержания, вроде следующего: «Может ли девушка первой объясниться в любви понравившемуся ей мальчику и через сколько дней можно начать целоваться с ним?»

Но не будем все же и их судить слишком строго. Такие вопросы часто бывают внушены подобного же рода письмами, время от времени появляющимися на страницах комсомольской печати, и жаркими дискуссиями, разгорающимися вокруг них. Как говорится: «Как аукнется, так и откликнется». Вот и идет это непрекращающееся аукание, захватывающее все более широкие круги умов и сердец. Это, безусловно, неприятности мелкие. Однако ж «и мелкие неприятности,— как сказал Джонатан Свифт,— могут отравить жизнь. Если нет крупных».

Но до этого, кажется, еще далеко.

Стр. 404. *Наташа Ростова*. Одна из героинь романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир», к которому мы и отсылаем любознательного читателя. Книга вообще-то, честно говоря, толстая, но стоящая. По многочисленным наблюдениям автора, человек, даже не имеющий аттестата зрелости, но прочитавший «Войну и мир» и того же «Евгения Онегина», чем-то выгодно отличается от благополучно закончившего десятилетку, но не удосужившегося прочитать эти произведения или прочитавшего их пятое через десятое, как часто читают школьники, понуждаемые не интересом к чтению, а лишь надвигающимися экзаменами.

Еще об одном, всем надоевшем вопросе

Стр. 409. *Мещанин хорошо понимает, что он не семи пядей во лбу. Поэтому и не пытается жить по своему разумению, а тщится, чтоб у него все было в аккурат, как у других людей.* «Мещанин,— писал А. М. Горький,— существо ограниченное тесным кругом издавна выработанных навыков, мыслей, и в границах этого круга мыслящее автоматически». По другому свидетельству того же А. М. Горького, который, как известно, был знатоком в этом вопросе: «Мещанин хочет плясать на всех свадьбах и быть покойником на всех похоронах» (то есть быть в центре внимания, попросту говоря). Вот и поди, сочитай тут! И мыслить приходится автоматически, и в центре внимания хочется быть. А что делать, если оригинальных мыслей нет как нет? Автоматически же они не приходят в голову! Но без этого невозможно и в центре внимания быть. Вот и приходится бедно-

му мещанину выкручиваться: заимствоваться оригинальностью у других, заниматься трюкачеством, выкрутасами, псевдоноваторством, вытаскивать на свет божий полузабытое старье, выдавая его за нечто новое, за модерное, за свое.

О детских игрушечках, глупых шуточках, удобствах для взрослых и пр.

Стр. 418. *Стол для козлистов.* К о з л и с т ы — любители «забивать козла», то есть играть в домино. От обыкновенных, нормальных людей отличаются тем, что, играя в домино, любят громко стучать по столу костями. Ведь что бы, казалось, стоило положить на стол костяшку тихо, спокойно. Нет! Обязательно надо со стуком, бряком. Без этого бряка и игра уже — не игра, и ощущение такое, словно воздуха не хватает. Уж сколько выступали в печати по этому поводу, сколько карикатур рисовали — ничто не помогает.

В доме, где живет мой знакомый, козлисты облюбовали во дворе место под окнами. Стонут все жильцы от первого до четвертого этажа включительно. Никто не может отдохнуть спокойно после работы или заняться чем-нибудь. Да и попробуй отдохни тут, когда то и дело — стук да стук! Ляп да ляп! — словно по голове хлопущей, да еще и междометия разные.

Однажды, прогуливаясь в районе Тушино, недалеко от канала, каким-то образом я забрел на пустырь позади кино «Метеор» и очутился возле глухого высокого забора, огораживавшего какую-то законсервированную стройку. Неподалеку — заброшенный, наполовину заполненный желтой глинистой водой котлован. Несколько ям, забросанных мусором, среди которого преобладали проржавевшие жестянки из-под компота... Тишина — никого нет, и только простой деревянный стол, сколоченный из грубых досок, с крепкой крышкой и огороженный, словно крепость, со всех четырех сторон низенькими лавочками, напоминал о существовании людей. И невольно в голову лезла недоуменная мысль: «Для чего стол? Место самое что ни на есть безлюдное, и притом прозаическое!» Однако чем-то знакомым в то же время веяло от стола. Уже не раз я видел подобные незатейливые, кондовые столы во дворах, казалось бы, самой природой предназначенные для «забивания козла». И уже воображение само собой рисовало козлистов, мирно усевшихся вокруг стола и усердно стучащих своими костяшками здесь на пустыре, вдали от людей, которым они могли помешать.

И мое воображение не обмануло меня. Впоследствии я неоднократно видел этих симпатичных людей, оказавшихся жителями вновь отстроенного дома на другом конце пустыря. Они, как говорится, радикально разрешили задачу: и сено, как говорится, было цело, и козлисты, то бишь козы, — сыты. С одной стороны, можно было стучать костями до одурения, но с другой стороны — это уже никому не могло повредить. Кроме самих стучавших, конечно.

Стр. 425. ...ни в каких крутых мерах воздействия не нуждающиеся. Нет, как видно, все же нуждающиеся! Вот уже два года прошло с тех пор, как была опубликована эта статья («Литературная Россия» от 6 января 1967 г.), а передачи «Спокойной ночи, малыши» как шли, так спокойненько и идут себе в те же часы, то есть непосредственно перед отходом детишек ко сну. И действительно, что сотрудникам телевидения до того, что пишут в газете! Мало ли чего там написать могут! Кстати, о телевидении на самом деле пишут столько, что сами телевизорщики, очевидно, уже давно приобрели стойкий иммунитет ко всякого рода печатным высказываниям, и для того, чтобы произвести на них хотя бы ничтожное впечатление, нужны какие-то особенные, крутые или сверхкрутые меры. Мы, однако ж, никаких мер предлагать не собираемся. Автор, в сущности, сказав в своей статье правду, сделал, что мог, и от него больше требовать нечего. Как написал Жан-Жак Руссо в своей «Исповеди»: «Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее».

Основная беда в просмотрении детских передач перед отходом ко сну далеко не в том, что ребенок после этого будет плохо спать или ему приснится что-нибудь нехорошее. Беда в том, что вырабатывается привычка вообще смотреть телевизор на ночь, что может с годами привести к тому, что человек без телевизора вообще не заснет или заболит...

Вообще-то мы очень привыкли к разным демографическим и статистическим изысканиям и исследованиям. Вот пройдет еще лет двадцать или пятьдесят, и какой-нибудь демограф обнаружит, что из граждан, смотревших на ночь телепередачу «Спокойной ночи, малыши», на 10% больше шизофреников, чем из числа не смотревших, на 20% больше паралитиков, на 52,4% больше разведенных жен и мужей, на 43,75% больше погибших под колесами городского транспорта, на 7,7% больше заболевших ишиасом или сибирской язвой и т. д. Вот тогда-то мы и начнем чесаться, а пока этого не произошло, мы, как говорил мой кишиневский знакомый, плохо чешемся по разным вопросам.

О старых песочницах, волшебных лавках, смелых замыслах и золотом осле

Стр. 432. ...за те деньги, которые он получает с детишек за год, можно отлить его фигуру из чистого золота в натуральную величину... Да не подумает какой-нибудь наивный читатель, что все это сказки или какие-нибудь фельетонные выдумки. Выше-описанный осел на самом деле существует на свете и живет в Московском зоопарке. Имя этого осла Валет. С виду это обыкновенный осел, каких много. Однако ж внешность часто бывает обманчива. Помимо того что Валет великий труженик, он еще и незаурядный актер, творческая личность, как теперь принято говорить. Кроме того, что он по целым дням трудится не покладая рук (вернее было бы сказать, не покладая ног), катая по целым дням вокруг клумбы детишек в коляске, он еще выступает в Большом театре (Государственный академический Большой театр — ГАБТ) в балете «Дон Кихот» — возит на своем многотрудном хребте актера, играющего роль Санчо Пансы.

Нужно сказать, что к своей славе бедняга Валет привык и ничуть не гордится. С блеском выступив перед отборной публикой, то есть перед счастливыми, которым удалось разжиться билетиком в Большой театр (ГАБТ), он на другой день как ни в чем не бывало катает детишек вокруг излюбленной клумбы. То, что говорилось нами о рябчиках, петушиных гребешках, королевских коттеджах, — безусловно, ирония, или, лучше сказать, просто шутка. Из тех денег, которые буквально сыплются на ослиную голову, Валет берет лишь столько, сколько нужно на небольшую охапку сенца, или на малую толику овсеца (по праздничным дням), остальные же денежки идут на покрытие разных прорех, на замазывание различных дыр, на приобретение новых животных, которые, как известно, отнюдь не бессмертны и требуют себе замены, ну и, как говорится, и т. п.

Стр. 432. *Короче говоря, гоните деньги обратно!* Конечно, можно было бы скалькулировать все это как-нибудь так, чтобы с детишек брали бы не больше того, что стоит кормежка и незатейливый уход за этим неприхотливым животным. Есть, однако же, опасение, что это могло бы оказаться невыгодным самим детям. Сделавшись малоодоходным, это мероприятие перестало бы интересовать администрацию зоопарка, и, лишившись привычных доходов, она постепенно могла бы прикрыть его. Ослов и пони, на которых можно кататься, не стало бы в зоопарке, и детишкам оставалось бы разве что кататься лишь друг на дружке (а это, кстати сказать, они могут делать и без всякого зоопарка).

Таким образом, сами детишки заинтересованы (как это ни странно на первый взгляд) в сохранении статус-кво, то есть в сохранении существующего положения, если говорить по-русски.

А, Б, В...

Стр. 435. ...на пожарной цистерне — «В» (вода, значит), на хлебном фургончике — «Х» и т. д. Только буквы эти надо писать хорошим, простым, немодерным шрифтом. Бывает, ребенок хорошо знаком с какой-нибудь буквой в ее обычном, так сказать, классическом начертании. Но перед этой же буквой на игре или игрушке, изображенной художником, выше всего на свете ставящем свои художнические искания, он, бедняжка, стоит словно баран перед новыми воротами, не решаясь войти в свой родной двор, бессознательно чувствуя в то же время, что над ним кто-то не то потешается, не то издевается, или, в лучшем случае, думая, что на этот раз он встретился с каким-то совсем незнакомым знаком, который еще предстоит изучить.

Все же следовало бы уважать ребенка, следовало бы его любить, потому что не любить его, право же, не за что!

Стр. 437. *Стоимость такой азбуки будет не дороже обычных кубиков...* Надо сказать, что такая азбука будет азбукой-викториной 2-й ступени. Азбука-викторина первой ступени будет еще проще. На ней не будет картинок. Слева азбука, и справа азбука, может быть, даже не вся, а какая-нибудь группа букв. Малыш, соединивший попарно две одинаковые буквы, получит психопоощрение в виде засветившейся лампочки. Это нужно, чтобы на первых порах ребенок научился различать буквы. Ведь вначале они для него все на одно лицо, все — просто-напросто непонятные закорючки.

Стр. 439. *На это можно сказать с уверенностью: не засыплем.* Автор смело может считать себя хорошим предсказателем. С тех пор как появилась эта статья («Литературная газета», 21 июня 1966 г.), прошло немало времени, однако с тех пор никаких таких игровых материалов в продаже не появилось. Никаких таких книжечек для угадывания букв, никаких плакатиков или картинок, никаких настольных игр, никакой самой самомалюсенькой викториночки. Хоть бы конфеты «Азбука» выпустили, но и того нет.

Может быть, все это так уж трудно, что и сил не хватает. Да уж чего, казалось бы, труднее десятиэтажный дом построить, но и то строят ведь. Ну, когда надо, конечно. Или, может быть, кому-нибудь кажется, что эти мероприятия не такие чтоб уж

чересчур радикальные, что ли? То есть не такие, в результате которых грамота как бы сама собой в рот полезла бы. Да ведь этого никто и не ждет. Это мероприятия, лишь в какой-то небольшой степени облегчающие овладение грамотой, чуть-чуть, так сказать, немножечко. Но ведь и затрат никаких дополнительных (как, скажем, на конфетные бумажки) не требующих.

Недавно в журнале «Курьер ЮНЕСКО» (апрель 1968 г.) мне попала статья о том, что в Эквадоре, где многие жители еще неграмотны, выпущены спички, по которым можно учиться грамоте. На каждом спичечном коробке — картинка с изображением какого-нибудь предмета, написано слово, этот предмет обозначающее, и большая первая буква этого слова (все, как на тех же кубиках). Здесь же в журнале фотография со всеми этими ликбезовскими этикетками. Очень мило, я бы сказал. Взрослому человеку трудно обойтись без спичек. Он то и дело хватается за коробок, и если будет видеть на коробках буквочки, то невольно будет и задумываться об их значении. Во всяком случае, букварь всегда под руками, особенно у курящего.

Ну, у нас-то все взрослые давно грамотны, им такие спички и ни к чему, а детишки еще не курят, да и не стоит им в руки спички давать. А вот конфетки-то они любят. Да и грамоте им как раз самое время учиться. Так что на конфетки с буквочками можно было бы как-то пойти.

Стр. 439. ...*без всякой предварительной подготовки.* Очень выразительное, красивое слово: «Предварительный». Происходит от слова «варить» и обозначает нечто предшествующее чему-либо более важному, существенному, например варке пищи или чего-нибудь другого. Перед тем как варить, скажем, чай, надо предварительно (чувствуете: пред-варительно!) запариться заваркой чая, сахаром, стаканами или чашками, из которых пить, предварительно развести огонь и т. д.

От этого же слова «варить» происходят и такие слова, как «предварительность», «предварение», а также существовавшая некогда «предварилка», то есть место предварительного заключения. Таким образом, слова, в которых, казалось бы нет никакого сходства, оказываются сходными не только по звучанию, но и по смыслу.

Второй раз в первый класс

Стр. 446. ...*на душе у него будет уже не так радостно...* Автор, конечно, хочет сказать, что на душе у ребенка вовсе не будет радостно, но говорит в такой форме, будто ему все же будет

радостно (не так, правда, как прежде, но все-таки). Сообразительный читатель, безусловно, понимает, что автор здесь опять-таки прибегает к иронии, то есть говорит противоположное тому, что думает. Это дает ему возможность, не растрачивая лишних слов, напомнить нам, что ребенку в такой момент все же должно быть радостно. Если ему, однако ж, не радостно, то мы, следовательно, ему чего-то недодаем, в чем-то его обездоливаем.

Стр. 446. *А помочь ему нужно теперь. И только теперь. И это нетрудно сделать...* Теперь (именно теперь) это уже, пожалуй, и потрудней будет! (Статья была опубликована в «Литературной газете» 7 декабря 1951 г.) Если раньше Калитину на то, чтоб одолеть курс начальных наук, давалось четыре года, то теперь мы даем ему на это тяжелое дело только три года. Правда, некоторые особенно сердобольные педагоги спешат помочь Калитину (а заодно и покончить со всяческим второгодничеством), обещая переводить его из класса в класс даже в том случае, если он систематически отстает по какому-нибудь предмету.

Недавно я присутствовал в редакции одной из газет на так называемом «круглом столе», посвященном вопросам школы. На этом совещании вполне солидные, казалось бы, опытные педагоги говорили примерно так:

— Ну не идет у парня грамматика или арифметика! Что тут поделаешь! Не оставлять же его из-за этого на второй год!

А другие подхватывали:

— Да, да! И Белинский, говорят, получал в школе двойки. А Ньютон? А великий Эйнштейн? Эти просто не вылезали из двоек, да еще по математике!

Тут уже в административно-педагогическом порыве как-то забывалось, что если у парня сегодня «не идет» арифметика, то завтра «не пойдут» и алгебра, и геометрия, не говоря уже о физике, химии и других предметах, изучение которых невозможно без знания элементарной математики. Ведь не все же у нас Ньютоны или, скажем, Эйнштейны! Если же у парня никак «не идет» грамматика и ничего с этим поделать нельзя, то, выходит, школа не даст этому бедняге даже элементарной грамотности, без которой невозможно не только учиться в старших классах, но вообще невозможно достойно жить.

Думается, что выступающие с подобными предложениями школьные работники понимают, что если переводить из класса в класс всех парней, у которых что-нибудь «не идет», то найдутся среди них и такие, которые к моменту окончания школы не будут иметь необходимых знаний (то есть ни в зуб ногой, что называется). Но во всяком случае и на это готов ответ:

— А такому,— говорят,— не будем давать аттестат зрелости. Вместо аттестата будем вручать справку «в том, что он прослушал курсы предметов». Вот как!

Разговоры о таких справках, равно как и о вышеуказанном способе избавления от второгодничества, ведутся уже давно, и даже в печать проникли (см. статью «Быть или не быть второгодничеству». — «Известия», 3 июня 1968 г.).

И опять мы как-то не задаемся вопросом, что значит такая справка для самого прослушавшего курсы этих самых предметов. Ведь это не что иное, как удостоверение в глупости — диплом дурака! И не думаем мы, какое большое спасибо нам скажет сам выпускник за такой, если его можно так назвать, «аттестат незрелости», когда войдет в возраст и чуточку поумнеет.

— Ну, я-то был дурак,— скажет.— Не понимал, что делаю. Но они-то, взрослые, умные люди, что думали? Уж лучше бы они одернули меня вовремя, ну, на второй год оставили, что ли, я бы им в ножки поклонился сейчас за это. Разве я думал тогда, что значит выйти в жизнь с таким «аттестатом» в кармане!

Я, впрочем, не допускаю мысли, что подобного рода псевдо-аттестаты могут быть когда-либо введены. Поговорим да и забудем! Но меня интересует другая, так сказать психологическая сторона дела, а именно вопрос, как устроена наша психика? Как-то странно она у нас иной раз устроена. Нам почему-то иногда кажется, что вся задача состоит не в том, чтобы взяться за дело засучив рукава, а в том, чтоб провести в жизнь какое-нибудь решение, осуществить очередную реорганизацию, после чего дело уже пойдет как бы само собой, без каких-либо усилий с нашей стороны. И доводы в пользу такого очередного мероприятия всегда находятся.

— Да зачем нам тратить народные деньги на обучение второгодника, на сидение его в одном классе! — убежденно говорим мы.— Лучше мы дополнительно позанимаемся с ним — и все будет в порядке. Вот не оставим его (как он этого ждет от нас) на второй год, а переведем его, собаку этакую, в следующий класс с плохими отметками, да обяжем учительницу дополнительно заниматься с ним, вот он увидит, что так от нас не отвертится, и возьмется за ум.

И уже не принимаем мы почему-то в расчет, что если надо все же дополнительно заниматься с учеником, то лучше делать это, когда отставание только началось; что здесь, как и в медицинской практике, лучше начинать лечение при первых признаках заболевания, а не тогда, когда болезнь успела пустить глубокие корни. И уж если думать о выгоде, то выгоднее все же

деньги, отпущенные на дополнительные занятия, истратить пораньше, пока второгодник еще не стал второгодником или тем, кем мы решим его называть, когда перестанем называть второгодником. А его, этого будущего «бывшего второгодника», как ни назови (его хоть ангелом назови и сразу в десятый класс переведи), а легче от этого никому не будет. Ибо, как справедливо сказал однажды Ходжа Насреддин: «Сколько ни говори «халва», а во рту сладко не станет».

Отсюда вывод: от слов надо переходить к делу, то есть, попросту говоря, надо лучше учить ребят, особенно маленьких. Им ведь трудней, чем тем, кто постарше. Мне лично кажется, что судьба ученика (и будущего человека, следовательно) в основном решается в первом классе. Конечно, по разным, случайным причинам он может застрять и во втором, и третьем, и четвертом, и даже в десятом классе, но и в этих случаях многое будет зависеть от того, как ребенок учился в первом классе. В первый класс детишки приходят очень разные (из разных семей, из разных коллективов) и не только по своим склонностям, характерам и здоровью, но и просто по подготовке. Здесь, как нигде (как никогда потом), важен индивидуальный подход, умение и желание прийти на помощь в нужный момент. А это все не так легко. Это надо уметь. Этого надо хотеть. По-моему, легче быть профессором и преподавать студентам дифференциальное исчисление или квантовую механику, чем возиться с детишками и учить их чтению и грамматике.

Преподавание в первом классе — дело очень трудное, очень серьезное, и притом очень ответственное и очень почетное. Вот об этом мы как-то не думаем, а это и есть самое важное. Гораздо важней, чем вопрос, по каким программам учить.

О вежливости, воспитанности и чувстве собственного достоинства

Стр. 455. *Имеются и вполне безупречные люди. И таких множество, я бы сказал — подавляющее большинство.* Такие люди, я бы сказал, — как воздух, наполняющий все наше околоземное пространство, который, несмотря на свою, казалось бы, абсолютную чистоту и прозрачность, всегда содержит какое-то количество пыли. Если всю эту пыль собрать в одном объеме, то на кубический метр чистого воздуха ее не наберется небось и кубического миллиметра. При обычном освещении ее и не видать вовсе. Но когда в затененном месте солнечный луч выхватит эти

ничтожные, мерцающие, как бы толкущиеся в пространстве частички и представит нам их в виде яркой полосы или светящегося столба, нам начинает казаться, будто мы уже не воздухом дышим, а чистой пылью.

Конечно, мы отдаем себе отчет, что это всего-навсего безобидная пыль, а не какие-нибудь радиоактивные осадки, губительные для здоровья, точно так же, как понимаем, что обычная невоспитанность, проявляющаяся в некотором невнимании к людям, это все же не ругань, не сквернословие, не мордобой, так что нечего, казалось бы, караул кричать... А все-таки возникает иной раз желание подышать чистым воздухом. Так уж человек устроен. Ему всегда чего-нибудь да не хватает, и когда, казалось бы, совсем хорошо — хочется, чтоб еще было лучше.

Стр. 459. *...Иначе он не сидел бы в вагоне, как пень, когда рядом стоит девушка...* Среди газетных выступлений на темы воспитания нередки статьи о школьных походах, авторы которых умиляются по поводу того, что парни в пути и на привалах вели себя «по-рыцарски»: таскали на себе большую часть клади, не позволяли девчатам носить воду из ручья, а учительницу и вовсе освободили от всякой ноши. Что и говорить, это прекрасно! Но ведь одно дело то, что происходит в своей среде (дома, в школе, у себя на работе). Чего не сделаешь, чтоб не прослыть неотесанным чурбаком среди людей, с которыми постоянно встречаешься, мнением которых дорожишь, от которых, может быть, даже как-то зависишь. Другое дело — там где-то: в глубинах метро, в недрах автобусов, где никакая собака тебя не знает и даже фамилии не спрашивает. Вот там-то и видно, каков ты на самом деле, а не каким хочешь казаться; истинно ли ты воспитанный человек, то есть сумел ли ты воспитать в себе добрые чувства к людям или попросту выполняешь предписанные правила, стараясь прикрыть дешевенькой позолотой необделанную древесину своей души.

Об употреблении спиртных напитков

Стр. 462. *...если, конечно, ее (чахотку) не прикончил целебный кавказский воздух.* А может, и чахотки никакой не было. Бывают ошибки в диагнозе (и довольно часто!). В таких случаях излечиться можно не только путем употребления сухого вина марки «Каберне», но и путем употребления любого другого вина, а также хлебного кваса и даже простой водопроводной или колодезной воды.

Стр. 464. *...употребление напитков превращается в церемонию красивую, сопряженную с радостью человеческого общения.* Во! Общения! Это как раз то, чего так хочется человеку «под градусом». Ради общения он хоть на стенку полезет. Я знаю одного выпивоху, который, как только наберет свою норму, сейчас же выходит на улицу, ухватится руками за фонарный столб и начинает общаться с ним, развивая различные общественные, политические и даже сугубо личные темы. Известно, что водка развязывает языки. Язык же в развязанном состоянии начинает болтать всякую чушь, и хозяину (хозяину языка) уже, в сущности, безразлично, есть у него собеседники или нет. Он способен беседовать хоть со столбом. Даже и при наличии собеседников каждый из них твердит что-то свое, не слушая других. В этом нетрудно убедиться, послушав разговор в какой-нибудь подвыпившей компании. Следует только помнить, что для успеха эксперимента самому необходимо оставаться трезвым, иначе может создаться иллюзия, что разговор ведется по всем правилам классической риторики и поражает глубиной мыслей.

Стр. 473. *...нельзя победить с помощью ханжеских деклараций.* Ханжество, если сказать проще, означает лицемерие. Обычно пьющие ругают трезвенников ханжами, то есть лицемерами, притворщиками. Они-де, вишь, тоже пьют, но умело скрывают. Таким образом, к пороку пьянства трезвенникам приписывается еще порок лживости, скрытности, лицемерия, в результате чего непьющий человек считается чем-то вроде подлеца, прощелыги или мерзавца. Проследите, если в какой-нибудь пьесе или кинофильме подчеркивается, что человек не пьет, отказывается от рюмки водки в компании, то он обязательно отрицательный персонаж: шпион, сектант, развратник, бюрократ, его ни за что не полюбит девушка, а если и полюбит, то вскоре одумается и ни за что не выйдет за него замуж, и т. д. На самом деле — все не так. Трудно найти пьяницу, которому удавалось бы разыграть в жизни роль трезвого человека. Если и найдется любитель выпить в одиночку, где-нибудь взаперти, то, выпив, он все же обязательно захочет вылезти наружу и покуражиться на людях. Таково действие алкоголя. Да к тому же кому охота выдавать себя за трезвенника, если сама трезвость не считается чем-то популярным и достойным подражания. Поэтому подлинный ханжа — это вовсе не пьяница, выдающий себя за трезвенника, а трезвенник, прикидывающийся пьяницей, человек, не отказывающийся пропустить за воротник рюмку в компании, чтоб прослыть свойским парнем, чтоб войти в доверие собутыльнику, который может оказаться ему полезным, приобрести чью-ни-

будь дружбу и т. д. К ханжам относятся также пьяницы, которые сознают свой недостаток, но пытающиеся выдать его за доблесть. Вместо того чтоб сказать, что он не может расстаться со своей скверной привычкой, такой человек лицемерно утверждает, что он-де пьет для здоровья, для аппетита, для компании, потому что, видите ли, ужасно любит людей и пр. Вместо того чтоб сказать другому, в особенности человеку неопытному, молодому: я влип, дорогой друг, я втянулся, я гибну, но ты не пей, не бери с меня пример, он начинает уверять, что водка полезна (проспиртовывает, убивает микробы), что в вине витамины и целебные вещества, что пиво питательно и помогает пищеварению... Мы, конечно, далеки от утверждения, что все пьющие — ханжи. Есть среди них такие, что нелицемерно признаются, что не в силах справиться со своим пороком. Есть в то же время и такие, которые искренне верят, что водка проспиртовывает, а вино и пиво — дар божий. Эти, конечно, — люди заблуждающиеся, но не безвредные.

Стр. 478. *И будут счастливы.* С этим утверждением согласны читатели, которые щедро откликнулись на появление статьи «Об употреблении спиртных напитков» («Литературная Россия», 23 июня 1967 г.). Видно, что затронутый в статье вопрос волнует многих....

Еще одно небольшое предисловие

Стр. 479. *...научаются...* Слово не особенно, я бы сказал, научное. В словаре оно значится устаревшим. Есть, однако ж, подозрение, что составители словарей каждое редко употребляемое слово суют в разряд устаревших или областных. Так оно, видать, проще. Если слово редко употребляется, то оно, значит, давно уже не попадает на глаза составителям и как бы стирается в памяти, забывается. В таком случае его естественно причислить к вышедшим из употребления, иначе говоря, к устаревшим. Однако если употреблять только те слова, которые рекомендуются словарями в качестве чисто литературных, то писать придется самыми расхожими, заезженными словами, действующими на читателя усыпляюще, что крайне нежелательно.

Автор, безусловно, мог подыскать какое-нибудь другое слово вместо «научаются», но решил оставить его в виде протеста против вышеуказанной тенденции составителей словарей.

Стр. 480. *Марк Туллий Цицерон.* Древний грек. Или нет! Кажется, древний римлянин. Да, точно: римлянин! Современник Цезаря, Антония, Октавиана, Брута («И ты, Брут!»), Суллы,

Катилины, в том числе предводителя восстания римских рабов Спартака и многих других. Работал адвокатом и государственным деятелем. Занимал много различных государственных постов. Избирался даже консулом (в те времена консулу принадлежала верховная власть в Риме) и проконсулом (что-то вроде помощника консула). Вообще был блестящим оратором, прославившимся в веках своим красноречием, писал замечательные письма своим родным и знакомым, но в конце концов его все же зарезали его политические враги.

Стр. 480. *...насобачившись писать письма...* «Насобачиться» — значит «научиться». Хотя, если сказать по правде, то никакое слово не заменяется вполне другим, так как каждое слово, если даже имеет сходное с каким-либо другим словом значение, то у него есть все же какой-то другой оттенок, вносящий различие в смысловое значение слова, то есть в его содержание, иначе это другое слово было бы абсолютно ненужным.

В чем различие слов «научиться» и «насобачиться», предоставляется судить самому читателю.

Стр. 480. *И еще хорошо, если возвратят.* Шутка! Возвратят обязательно.

О литмастерстве

Стр. 481. *На одном конце этой цепи сидит писатель и пишет, на другом конце сидит и читает читатель.* Вовсе не следует воображать, будто писатель и читатель на самом деле сидят на цепи, словно какие-то цепные псы. Это метафора, то есть один из видов иносказания или сравнения.

Если бы автор сказал, что писатель и читатель сидят, как на цепи или словно на цепи, — это было бы простое сравнение, а когда автор говорит прямо: сидят на цепи и все — это уже метафора (см.: Л. Т и м о ф е е в. Краткий словарь литературоведческих терминов).

Стр. 482. *...даем ряд ценных сведений об основах литературного мастерства.* Ирония или, вернее сказать, автоирония, то есть тот случай, когда автор иронизирует над самим собой. Автор прекрасно понимает, что даваемые им сведения не могут быть ценными, поскольку (как уже было сказано) взялся писать не о том, как надо писать, а о том, как писать не надо.

Стр. 486. *...в длинных, до колен пиджаках, узеньких брючках и с походкой паралитиков.* Теперь еще сверх того появились расклешенные брюки с бубенчиками, штиблеты с высокими каблуками и длинные спутанные волосы, нависающие на глаза. В дальнейшем же, безусловно, и еще кое-что появится.

Поговорим о поэзии

Стр. 504. ...*может показаться, что разговор о поэзии — дело ненужное...* Прежде чем начинать разговор о поэзии, следовало бы определить, что такое сама поэзия, эта самая. Поэзия — это стихи, то есть когда мы пишем или говорим в рифму. Однако ж это условие не обязательное, так как существуют стихи и без рифмы, так называемые белые стихи. Вернее было бы сказать, что стихи — это, когда мы пишем или говорим, соблюдая определенный размер или ритм. Но и это определение не совсем верно, так как речь прозаика также подчиняется какому-то своему ритму. Таким образом, определить, что такое стихи, — очень трудно. К тому же не всякие стихи — поэзия. Еще во времена В. И. Даля это было известно, на что указывает записанная им поговорка: «Стихоплет не поэт, кропает и табачком занюхивает».

Поэзия — это когда слова произносятся как бы сами собой, словно рождаясь внутри нас.

Поэзия — это как мелодия в музыке, слушая один из чередующихся звуков которой, уже догадываешься, какой должен быть последующий звук, в результате чего словно сам творишь эту музыку или сочиняешь стихи.

Поэзия — это когда слова опережают мысли, а мысли опережают слова, и вообще творится что-то несообразное, но вместе с тем глубоко близкое, нужное и понятное каждому.

Поэзия — это то, что хочется повторять, поражаясь глубиной мыслей и силой чувств, выраженных в обыкновенных, простых человеческих словах.

Поэзия — это... Нет, трудно определить, что такое поэзия. Гораздо легче определить, что такое не поэзия. Хотя нет! Это тоже чертовски трудно. Да и зачем это нам? Пусть поэты сами решают, что такое поэзия. Пусть им в этом помогают литературоведы. А мы посмотрим, что выйдет.

Стр. 508. ...*поэт только и ищет, с какой бы стороны прицелиться к этим предметам, чтобы получились стихи.* Теперь появилось новое направление в поэзии. Поэт уже не выходит на улицу и не глядит вокруг, а сидит дома и читает энциклопедию или научно-популярный журнал. Попадается ему заметка о холестерине, он тут же и пишет:

Из заметки я узнал секрет один:
Растворяется в крови холестерин.
Ну, а если растворяется,
Значит, можно кушать яйца.

Такое направление в поэзии получило название интеллектуализма, а подобного рода стихи называются холестериновыми.

Стр. 514. ...уши — лужи. И теперь дело не лучше. Рифмуют: «природа — работа», «тесна — светла»... И действительно, чего стесняться. Ведь рифмы как-никак сковывают, а сейчас нам важнее всего раскованными ходить. Главное же, чтоб не думать, мозги не напрягать.

Что представляет собой рифма? Рифма — это созвучие, благодаря которому одно слово вызывает в памяти другое (мы как бы еще раз возвращаемся к первому рифмованному слову). В результате фонетической схожести слова обращают на себя наше внимание, и мы полнее, глубже постигаем их смысл. Чем талантливее (звучнее, богаче, неожиданнее) рифма, тем крепче слово вызывает в памяти другое, тем сильнее выражается содержание слов (мысль). И наоборот, чем слабее, беднее, затасканнее рифма (чем она менее талантлива), тем хуже слово вызывает в памяти другое, тем скорее ускользает от нас смысл. Слова как бы пролетают мимо ушей, не застревая в сознании, или тут же вылетают из головы.

Звучность рифмы определяется не наличием одной лишь ударной гласной, но вместе с ней и наличием послеударной согласной в рифмующихся словах. Рифма богаче, если созвучны и предударные согласные. Например: «природа — народа» — рифма звучная и богатая (сейчас не говорим об оригинальности). Рифма «природа — свобода» уже беднее, хотя еще звучная. Рифма «природа — ворота» — уже и не звучная и крайне слабая. А вот «природа — работа» — это уже совсем «В огороде бузина, а в Киеве дядька». Такая рифма именуется рифмой только потому, что стоит в стихах на месте рифмы, а на самом деле — не рифма вовсе. Поэту, употребляющему такие псевдорифмы, легко живется на свете. Все доступно его уму. Стихи он может писать уже не километрами, а мегапарсеками, проникая с легкостью необыкновенной в мыслях в отдаленнейшие галактики Поэтической вселенной. Счастливый, как говорится, путь! Ни пуха ему, ни пера!

Стр. 515. ...хотелось провести анализ такого явления: почему, например, у Маяковского замечательно рифмуются слова, окончания которых совсем не похожи: «обнаруживая — оружие», «в слезу бы — обеззубел», «выжиг — книжек». Для такого анализа многие пуды можно было бы исписать. Это нам не под силу. Скажем коротко. Даже самые неожиданные рифмы у Маяковского — звучные, почти всегда полные, почти всегда

богатые, часто не просто богатые, а щедрые, многозвучные, полифонические. В приведенных рифмах совпадают не только ударные гласные, но и предыдущая и последующая согласные «руж-руж», «зуб-зуб», «жик-жик» (произносится «выжик-книжик»). В рифме: «обнаруживая — оружие» к основе рифмы приплюсовывается неударная гласная: «аруж-аруж» (произносится «аружие»). Точно так же и в словах «выжиг-книжек» рифмуются «ыжик-ижик». В рифме «в слезу бы — обеззубел» какую-то роль играет имеющийся в обоих случаях звук «л». Или вот неожиданная рифма из стихотворения «Праздник урожая»: «ни около — и свекла». Основа рифмы: «ок-ок» (произносится «свьокла»), но она обогащена посредством последующей «л» и предшествующей «и».

Все это, конечно, не с потолка падает. Тут поработать надо, поискать, попромыть золотоносный песок. Правда, и у Маяковского бывает, что не совпадает послеударная согласная: «ночам — начал», да как-то оно у него и тут, словно вопреки здравому смыслу, звучит. Какой-нибудь незадачливый поэт и в своих стихах подпустит что-нибудь этакое, но у него не звучит почему-то, словно назло (у людей, как говорится, и долото брет, а у нас и бритва не берет). Конечно, и тут можно доискаться, почему в одном случае звучит, а в другом не звучит, но это уже, как говорится, предмет специального исследования.

Трактат о комедии

Стр. 548. ...*для желающих написать комедию есть еще много возможностей.* Возможности действительно имеются. Это правда. Но как писать? Однажды пошел в театр. Публика еще не заполнила зрительный зал. До звонка еще далеко. А занавес — не поймешь, что с ним: не то он открыт, не то не закрыт. Потом оказалось, что его вовсе нет (новаторство). В перерывах между картинами появлялись какие-то тщедушные женщины и волочили со сцены деревья, изображавшие лес, а вместо них тащили на сцену тяжелую мебель: шкафы, диваны, столы, после чего являлись здоровенные дяди и начинали изображать среди этих аксессуаров различные свои переживания и чувства. Было как-то непривычно и почему-то неловко.

В следующий раз прихожу в театр: уже нет не только занавеса, но и декораций никаких нет. Сцена еще, правда, есть, и актеры кое-какие имеются, но их непрерывно вертят на вращающемся кругу или заставляют ходить по наклонной плоскости. В ре-

зультате на лицах актеров, вместо игры, вместо вживания в образ,— озабоченность, как бы не потерять равновесия во время вращения, как бы не поскользнуться на покатом полу. Один из актеров в конце концов все же поскользнулся и шлепнулся носом. Было смешно, хотя в этот день была не комедия, а так называемое «ни то ни се», то есть не драма, не трагедия, а просто пьеса в двух актах.

Когда я пошел в театр в следующий раз, то уже не только занавеса и декорации, но и самой сцены не было. То есть сцена была, или, вернее, было место, где сцена была, но актеров на ней не было, а были стулья для зрителей. Пришлось самому на сцене сидеть. Было и непривычно, и неудобно, и как-то неловко. И не смешно.

С тех пор в театр меня уже как-то не тянет. Сажу дома. О новых новациях узнаю только от знакомых по телефону и вообще питаюсь всякими слухами.

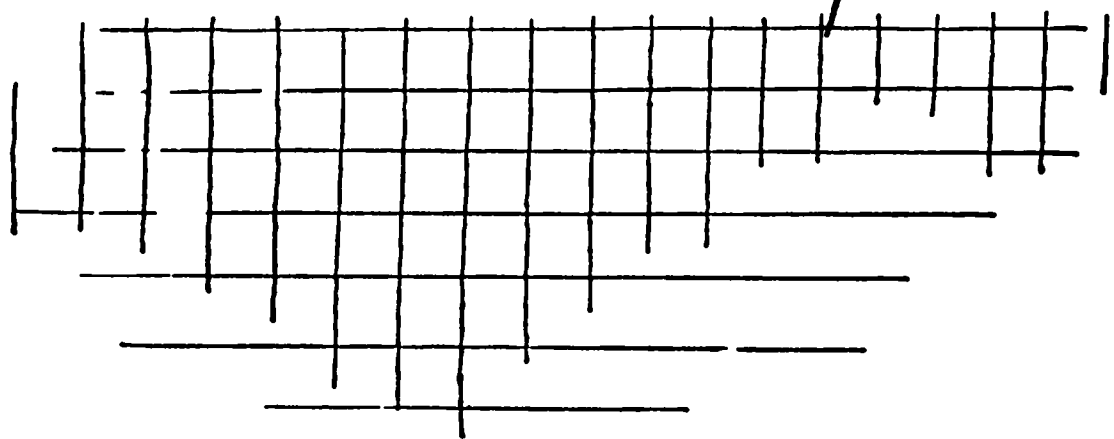
Говорят, теперь уже и актеров в театре скоро не будет. Или актеры еще пока будут, но играть не будут. Говорят, некоторые театральные режиссеры будто бы уже свели количество актеров в некоторых пьесах до минимума, то есть до двух человек. Некоторые, хотя и оставили прежний состав актеров, но заставляют их не играть, не произносить слова с соответствующими интонациями, стараясь передать обуревающие их чувства, а бесстрастно цедить текст сквозь зубы, с неподвижным, словно маска, лицом (современный стиль), чтобы не отвлекать зрителя от режиссерской трактовки пьесы какими-то там переживаниями и психологизмом.

Впрочем, думаю, что это пока еще не везде и не надолго, а может быть, и неправда.

О читателях

Стр. 560. *К сему с уважением и приветом Тамара...* Это пожалуй, одно из курьезнейших писем, которые автору довелось получить на своем веку. Бывает, конечно, что и наш брат писатель озадачит читателя, однако ж и читатель, как это хорошо видно на вышеприведенном примере, не остается у писателя в долгу.

Колментарии





Произведения Н. Н. Носова, помещенные в этом томе, обращены не к младшим школьникам, как рассказы и сказки в первом томе или романы-сказки во втором и третьем томах, а к читателям старших возрастов. Они и не были задуманы как книги для детей. Но только они появились в печати, как их очень быстро заметили и полюбили юные читатели. Носов, собственно, и хотел этого. Он писал эти книги для читателей всех возрастов.

ТАЙНА НА ДНЕ КОЛОДЦА

Стр. 5

Повесть вышла в издательстве «Детская литература» уже после смерти автора, в 1978 году, с предисловием писателя М. Бреженера. При жизни автора она публиковалась в журналах для взрослых.

Существуют два журнальных варианта повести, о которых Н. Н. Носов в пору их написания говорил как о двух самостоятельных произведениях: «...За последнее время я написал две повести о своем детстве. Одна так и называется «Повесть о детстве» и будет напечатана в апрельском номере журнала «Нева» за этот год. Другая повесть называется «Все впереди» и начинает печататься (с продолжением) с четвертого номера журнала «Семья и школа»¹. Начиная с девятого номера повесть печаталась уже после смерти Носова и сопровождается послесловием М. Бреженера.

¹ Носов Н. Повести о детстве.— «Комсомольская правда», 1976, 24 марта.

«Повесть о детстве» является первой частью «Все впереди», но опубликована как произведение законченное.

О замысле своих автобиографических произведений, об их герое и о том, кому они адресуются, Носов рассказывает так: «...герой моих новых повестей,— я сам. Так можно сказать, но это будет верно только отчасти. Когда я писал, мне хотелось, чтобы читатели увидели в моем герое не только меня, но и самих себя. Я хотел изобразить не просто себя, не просто мальчишку. Я хотел изобразить детство...

...И если ты мальчик или девочка, не смущайся тем, что повесть моя напечатана в журнале для взрослых. Бери и читай. Ты все поймешь. И если вы юноша или девушка или совсем взрослый человек, не смотрите на то, что книга моя о ребенке. Читайте. И вы увидите, что ребенок такой же человек, как и мы с вами, а мы с вами — все те же дети, если по-прежнему различаем, что хорошо и что плохо, где добро и где зло, и способны радоваться и цветку в поле, и птице в небе»¹.

Начало работы над автобиографическим произведением нужно отнести ко времени не позднее 1974 года, когда Н. Носов заявил об этом в печати и высказал то, что было, видимо, постоянным предметом размышлений писателя, пишущего для детей и о детях: как, каким самым достоверным способом воссоздается художником мир детства. «Мой замысел — показать читателю, что ребенок воспринимает действительность, мыслит, чувствует не так, как взрослый. Понимание этой стороны очень важно для воспитания. Имея дело с ребенком, взрослый должен стать на его точку зрения, должен пытаться взглянуть на мир глазами ребенка, вместо того чтобы заставлять ребенка глядеть на мир глазами взрослого». И дальше: «Не хочу, чтобы сложилось мнение, будто я пишу книгу назиданий, наставлений. Нет, способ, которым я пользуюсь,— это способ изображения чувствующего, мыслящего и действующего ребенка, о котором мне достоверно известно все, так как этот ребенок — я сам»¹.

Время окончания книги автор указал в интервью газете «Московский комсомолец», сообщив также новое, теперь ставшее общеизвестным, заглавие ее: «Сейчас я закончил роман-дилогию «Тайна на дне колодца». О чем этот роман? О детстве, о школе и учебе, о призвании и романтике труда, о ребенке, о подростке, юноше...»

Была задумана и новая повесть, которая могла бы стать, возможно, продолжением «Тайны...». «Тема ее — жизнь человека, когда ему 14—17 лет, романтика, присущая этому возрасту, а главное — первая юношеская любовь. Раньше я на тему о любви не писал, но сейчас герой мой подрос, повзрослел, и пришла пора ему полюбить. Название — «Повесть о первой любви»².

Написать он ее не успел...

¹ Носов Н. Мир глазами ребенка.— «Книжное обозрение», 1974, № 18, с. 10.

² Носов Н. Легко ли писать для детей? — «Московский комсомолец», 1976, 22 сентября. (Опубликовано посмертно.)

ПОВЕСТЬ О МОЕМ ДРУГЕ ИГОРЕ

Стр. 255.

Повесть опубликована в журнале «Нева», 1971, № 5. Первое отдельное издание — «Советская Россия», М., 1972. В издательстве «Детская литература» вышла в 1973 году с предисловием «От автора».

И эта книга, написанная не для детей, нашла своего юного читателя. О ребенке, прототипе героя книги, автору тоже «достоверно известно все», так как этот ребенок его внук. Носов — детский писатель и дед, с пристальным вниманием повседневно наблюдавший рост ребенка, — предельно убедительно показывает развитие интеллекта, формирование характера человека с самого раннего возраста. Как тут юным читателям не вспомнить свое недавнее прошлое, свое детство. Но эта книга и об «искусстве быть дедушкой» (если использовать известное выражение Виктора Гюго), в основе которого Носов видит глубочайшее уважение к личности ребенка.

ИРОНИЧЕСКИЕ ЮМОРЕСКИ

Стр. 389.

Публиковались в периодической печати в 50-е и 60-е годы. Они были написаны на самые злободневные для своего времени темы. Автор стал получать многочисленные письма от читателей, и, сочтя, что его «юморески» не утратили актуальности, он собрал их в книгу, которая в 1969 году вышла в издательстве «Советская Россия». Не просто собрал наиболее значительные из них под одним заголовком, но снабдил книгу выразительным подзаголовком: «Издание научно-образное, с предисловиями, послесловиями, автокомментариями и комментариями к комментариям». Тексты, помещенные в издании 1969 года: «Предисловие автора», «Еще одно небольшое предисловие», «Еще одно необходимое предисловие» (последние два к разделам «О литмастерстве» и «О читателе»), «Комментарии», «Комментарии к комментариям», соединили эти столь разнообразные по теме «чепушинки» (выражение автора) воедино. Отметим, что в «Комментариях» и в «Комментариях к комментариям» Н. Н. Носов во многих случаях давал сведения о том, где публиковал тот или иной материал, рассказывал о читательских письмах, побудивших его издать эту книгу.

Ф. Э б и н, кандидат педагогических наук

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Тайна на дне колодца. Повесть	5
Повесть о моём друге Игоре	255
Иронические юморески	389
Комментарии	587

О ф о р м л е н и е

Евгения Савина

Для среднего и старшего
школьного возраста

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ НОСОВ

Собрание сочинений в четырех томах

ТОМ IV

ИБ № 5819

Ответственные редакторы

Л. И. Гульбинская, С. В. Орлеанская

Художественный редактор

Н. И. Комарова

Технический редактор

Е. М. Захарова

Корректоры

Ю. В. Дубовицкая и Л. Г. Петроченко

Сдано в набор 11.01 82 Подписано к печати 18.06 82 Формат 60×84¹/₁₆. А03701. Бум. типогр. № 1. Шрифт литературный. Печать высокая Усл. печ. л. 34,41. Усл. кр.-отт 35 81. Уч.-изд. л. 33,17. Тираж 300 000 (150 001—300 000) экз. Заказ № 235 Цена 1 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм
«Целлофот».

Носов Н. Н.

Н84 Собрание сочинений в 4-х томах / Коммент.
Ф. Эбин; — М.: Дет. лит., 1979.— т. IV. Тайна на
дне колодца: Повесть. Повесть о моем друге Игоре.
Иронические юморески.— 1982.—590 с., ил.

В пер.: 1 р. 50 к.

В четвертый том Собрания сочинений входят повесть «Тайна на дне колодца»,
«Повесть о моем друге Игоре» и «Иронические юморески».

Н 4803010102—384 Подп. изд.
М101(03)82

Р2

Сканирование и обработка:
Алексей Н. (Lion)

И. И. Маслов

1р. 50к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „НАУКА“ ЛИТЕРАТУРА

4 Николай Носов